

БЕЛЫ

енрвэ

БЕЛЫ

3

Г БЕЛЫ

енрвэ

3

Генрих БЁЛЛЬ

Г БЭЛЛЪ

Henry

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

А. В. КАРЕЛЬСКИЙ

Н. С. ПАВЛОВА

И. М. ФРАДКИН



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1996

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ ТРЕТИЙ

РОМАНЫ
ПОВЕСТЬ
РАДИОПЬЕСЫ
РАССКАЗЫ
ЭССЕ
РЕЧИ
ИНТЕРВЬЮ

1959 - 1964

Перевод с немецкого



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1996

ББК 84.4Г
Б43

HEINRICH BÖLL

Издание выпущено в счет дотации,
выделенной Комитетом РФ по печати

Составление

И. М. ФРАДКИНА

Комментарии

Г. А. ШЕВЧЕНКО

Оформление художника

Ю. Ф. КОПЫЛОВА

Б 4703010100-001 Подписное
028(01)-96

ISBN 5-280-01218-1 (Т. 3)

ISBN 5-280-00825-7

© Составление. Фрадкин И. М.,
1996 г.

© Комментарии. Шевченко Г. А.,
1996 г.

© Оформление. Копылов Ю. Ф.,
1996 г.

БИЛЬЯРД В ПОЛОВИНЕ ДЕСЯТОГО

Перевод Л. Черной

роман

BILLARD UM HALB ZEHN

Roman

В то утро Фемель впервые был с ней невежлив, можно сказать, груб. Он позвонил около половины двенадцатого, и уже самый голос его предвещал беду; к таким интонациям она не привыкла, и именно потому, что слова были, как всегда, корректны, ее испугал тон: вся вежливость Фемеля свелась к голой формуле, словно он предлагал ей H_2O вместо воды.

— Пожалуйста,— сказал он,— достаньте из письменного стола красную карточку, которую я дал вам четыре года назад.

Правой рукой она выдвинула ящик своего письменного стола, отложила в сторону плитку шоколада, шерстяную тряпку, жидкость для чистки меди и вытащила красную карточку.

— Пожалуйста, прочтите вслух, что там написано.

Дрожанием голоса она прочла:

— «Я всегда рад видеть мать, отца, дочь, сына и господина Шреллу, но больше я никого не принимаю».

— Пожалуйста, повторите последние слова.

Она повторила:

— «...но больше я никого не принимаю».

— Откуда вы, кстати, узнали, что телефон, который я вам дал, это телефон отеля «Принц Генрих»?

Она молчала.

— Разрешите напомнить вам, что вы обязаны выполнять мои указания, даже если они даны четыре года назад... пожалуйста.

Она молчала.

— Просто безобразие...

Неужели на этот раз он не сказал «пожалуйста»? Она услышала невнятное бормотание, потом чей-то голос прокричал «такси, такси», раздались гудки; повесив труб-

ку и подвинув красную карточку на середину стола, она почувствовала облегчение: эта его грубость, первая за четыре года, показалась ей чуть ли не лаской.

Когда она бывала не в своей тарелке или же когда ей надоедала ее до мелочей упорядоченная работа, она выходила на улицу почистить медную дощечку на двери: «Д-р Роберт Фемель, контора по статическим расчетам. После обеда закрыто».

Паровозный дым, копоть от выхлопных газов и уличная пыль каждый день давали ей повод достать из ящика шерстяную тряпку и жидкость для чистки меди; ей нравилось коротать время за этим занятием, растягивая удовольствие на четверть, а то и на полчаса. Напротив, в доме 8 по Модестгассе, за пыльными стеклами окон были видны типографские машины, которые неутомимо печатали что-то назидательное на белых листах бумаги; она ощущала вибрацию машин, и ей казалось, будто ее перенесли на плывущий или отчаливающий корабль. Грузовики, подмастерья, монахини... на улице кипела жизнь; перед овощной лавкой громоздились ящики с апельсинами, помидорами, капустой. А в соседнем доме, перед мясной Греца, два подмастерья вывешивали тушу кабана — темная кабанья кровь капала на асфальт. Она любила уличный шум и уличную грязь. При виде улицы в ней поднималось чувство протеста, и она подумывала, не заявить ли Фемелю об уходе, не поступить ли в какую-нибудь паршивую лавчонку на заднем дворе, где продают электрокабель, пряности или лук; где хозяин в засаленных брюках с болтающимися подтяжками, расстроенный своими просроченными векселями, того и гляди станет к тебе приставать, но его по крайней мере можно будет осадить; где надо бороться, чтобы тебе позволили просидеть часок в приемной у зубного врача; где по случаю помолвки сослуживцы собирают деньги на коврик с благочестивым изречением или на душещипательный роман; где непристойные шуточки товаров напоминают тебе, что сама ты осталась чиста. То была жизнь, а не безукоризненный порядок, раз навсегда заведенный безукоризненно одетым и безукоризненно вежливым хозяином, вселявшим в нее ужас; за его вежливостью чувствовалось презрение, презрение, выпадавшее на долю всех тех, с кем он имел дело. Впрочем, с кем, кроме нее, он имел дело? На ее памяти он не говорил ни с одним человеком, не считая отца, сына и дочери. Матери его

она никогда не видела: госпожа Фемель находилась в клинике для душевнобольных, а этот господин Шрелла, чье имя тоже значилось на красной карточке, ни разу не вызывал его. У Фемеля не было приемных часов, и когда клиенты звонили по телефону, она предлагала им обратиться к хозяину письменно.

Поймав ее на какой-нибудь ошибке, он ограничивался пренебрежительным жестом и словами:

— Хорошо, тогда переделайте это, пожалуйста.

Но такие случаи бывали редко, она сама находила те немногочисленные ошибки, которые допускала. И уж конечно Фемель никогда не забывал сказать «пожалуйста». Стоило ей попросить, и он отпускал ее на несколько часов, а то и на несколько дней; когда умерла ее мать, он сказал:

— Значит, закроем контору дня на четыре... или на неделю.

Но ей не нужна была неделя, четырех дней и то было много, ей хватило бы и трех; даже три дня в опустевшей квартире показались ей чересчур долгим сроком. На заупокойную мессу и на похороны он явился, разумеется, во всем черном. Пришли его отец, сын и дочь, все с огромными венками, которые они собственноручно возложили на могилу; Фемели прослушали литургию, и старик отец, самый из них симпатичный, прошептал ей:

— Семья Фемель знакома со смертью, мы с ней накоротке, дитя мое.

Он беспрекословно исполнял ее просьбы и давал ей всякие поблажки, так что ей становилось все труднее обращаться к нему за каким-нибудь одолжением; ее рабочий день все больше сокращался, и если в первый год она еще отсиживала с восьми до четырех, то вот уже два года, как работа настолько упорядочилась, что ее с успехом можно было выполнить с восьми до часу, да еще оставалось время поскучать и повозиться полчаса с дверной дощечкой. Теперь на медной дощечке не было ни пятнышка. Она со вздохом закупорила бутылку с жидкостью для чистки, спрятала тряпку; типографские машины по-прежнему стучали, печатая что-то неумолимо назидательное на белых листах бумаги; с кабаньей туши по-прежнему капала кровь. Подмастерья, грузовые машины, монахини... на улице кипела жизнь.

Письменный стол и красная карточка, исписанная его безукоризненным архитекторским почерком: «...но больше я никого не принимаю». И этот номер телефона, в часы скуки она с большим трудом установила, чей он, краснея за свое любопытство. Отель «Принц Генрих». Это название дало ее любопытству новую пищу: что он делает по утрам с половины десятого до одиннадцати в отеле «Принц Генрих»? Его ледяной голос в трубке: «Просто безобразие...» Неужели он так и не сказал «пожалуйста»? Внезапная перемена в тоне Фемеля вселила в нее надежду, примирила с работой, которую мог бы выполнять и автомат.

В ее обязанности входило составлять письма по двум образцам, не претерпевшим за четыре года ни малейших изменений. Копии этих образцов она нашла уже в папках своей предшественницы; одно письмо предназначалось для клиентов, присылавших им заказы: «Благодарим Вас за оказанное доверие, постараемся оправдать его быстрым и точным исполнением Вашего заказа. С совершенным почтением...»; второе письмо, сопроводительное, отсылалось заказчикам вместе со статическими расчетами: «При сем прилагаем необходимые данные к проекту «Х». Гонорар в размере «У» просим перевести на наш текущий счет. С совершенным почтением...» Ей оставалось только выбрать нужный вариант: так, вместо «Х» она писала «вилла для издателя на опушке леса», или «жилой дом для учителя на берегу реки», или же «Виадук на Холлебенштрассе». А вместо «У» — сумму вознаграждения, которую она сама должна была высчитать, пользуясь нехитрым ключом.

Кроме того, она вела переписку с тремя сотрудниками конторы — Кандерсом, Шритом и Хохбретом. Она распределяла между ними полученные заказы в порядке их поступления, чтобы, как говорил Фемель, «справедливость соблюдалась совершенно автоматически и все имели равные шансы на заработок». Когда готовые материалы поступали в контору, она посылала вычисления Кандерса на проверку Шриту, вычисления Хохбрета — Кандерсу, вычисления Шрита — Хохбрету. Ей приходилось вести картотеку, записывать накладные расходы, снимать с чертежей копии, изготавливать для личного архива Фемеля по одной копии каждого проекта размером в две почтовые открытки; но большую часть времени отнимала у нее наклейка почтовых марок: раз за разом проводила она оборотной стороной зеленого,

красного или синего Хейса по маленькой губке, а потом аккуратно наклеивала марку на правый верхний угол желтого конверта; когда же Хейс оказывался, скажем, коричневым, лиловым или желтым, она воспринимала это как приятное разнообразие в своей работе.

Фемель взял себе за правило приходить в контору не больше чем на час в день: он ставил свою подпись после слов «С совершенным почтением» и подписывал денежные переводы. Когда заказов поступало столько, что с ними нельзя было управиться за час, он их не принимал. Для таких случаев существовал бланк, отпечатанный на ротаторе: «Мы весьма польщены Вашим заказом, однако из-за перегрузки вынуждены от него отказаться. Подпись: Ф.».

Просиживая напротив патрона каждое утро с половины девятого до половины десятого, она ни разу не видела его за отправлением каких-нибудь естественных человеческих потребностей — не видела, чтобы он ел или пил, у него никогда не было насморка; краснея, она думала о еще более интимных вещах. Правда, он курил, но и это не восполняло пробела: слишком уж безупречно белой была его сигарета; утешали ее только пепел и окурки в пепельнице; этот мусор говорил хотя бы о том, что здесь присутствовал человек, а не машина. Ей приходилось работать и у более могущественных хозяев, у людей, письменные столы которых походили на капитанские мостики, у людей, чьи физиономии внушали страх, но даже эти властелины, случалось, выпивали чашку чая или кофе и съедали бутерброд, а вид жующих и пьющих владык всегда приводил ее в волнение — хлеб крошился, на тарелке оставались колбасная кожица и обрезки сала от ветчины, владыкам приходилось мыть руки, доставать из кармана носовой платок. И тогда на гранитном челе полководца разглаживались грозные складки, а человек, чье изображение со временем будет отлито в бронзе и водружено на постамент, дабы возвестить грядущим поколениям его величие, вытирал губы.

Но когда Фемель в восемь тридцать утра выходил из жилой половины дома, никак нельзя было заметить, что он завтракал. Как положено хозяину, он не проявлял ни беспокойства, ни нарочитого спокойствия, а его подпись, даже если ему раз сорок приходилось ставить ее после слов «С совершенным почтением», была разборчивой и красивой. Он курил, подписывал бумаги, изредка

бросал взгляд на какой-нибудь чертеж, ровно в половине десятого брал пальто и шляпу и, сказав «до завтра», исчезал. С половины десятого до одиннадцати его можно было застать в отеле «Принц Генрих», с одиннадцати до двенадцати — в кафе «Цонз», он был всегда рад видеть «...мать, отца, дочь, сына и господина Шреллу», с двенадцати он гулял, а в час встречался с дочерью и обедал вместе с ней «У льва». Она не знала, как он проводит вторую половину дня и что делает вечерами; знала только, что по утрам, в семь часов, он ходит к мессе, с половины восьмого до восьми сидит за завтраком вместе с дочерью, а с восьми до половины девятого — один. И каждый раз ее поражало, с какой радостью он ждал в гости сына; он то и дело открывал окно и окидывал взглядом улицу до самых Модестских ворот; в дом приносили цветы, на время приезда бралась экономка; маленький шрам на переносице Фемеля багровел от волнения; уборщицы завладевали мрачной жилой половиной дома и вытаскивали на свет бутылки из-под вина. Их сносили в коридор, для старьевщика; там скапливалось очень много бутылок, сперва их ставили по пять, а потом даже по десять в ряд, иначе они не поместились бы в коридоре — темно-зеленая изгородь, застывший лес; краснея, она пересчитывала горлышки бутылок, хотя понимала, что ее любопытство неприлично: двести десять бутылок, выпитых с начала мая до начала сентября,— больше чем по бутылке в день.

Но от Фемеля никогда не пахло спиртным, его руки не дрожали. Темно-зеленый застывший лес терял свою реальность. Действительно ли она его видела, или лес существовал только в ее воображении? Ни Шрита, ни Хохбрета, ни Кандерса она никогда не встречала. Они сидели где-то далеко друг от друга по своим углам. Всего два раза один из них нашел у другого ошибку: впервые это случилось, когда Шрит неправильно рассчитал фундамент городского плавательного бассейна и его ошибку обнаружил Хохбрет. Она была очень взволнована, но Фемель попросил только, чтобы она указала, какие пометки красным карандашом на полях чертежа сделаны Шритом и какие — Хохбретом; в первый раз ей стало ясно, что и сам Фемель, очевидно, тоже специалист в этой области; полчаса он просидел за своим письменным столом со счетной линейкой, таблицами и остро очиненными карандашами, а потом сказал:

— Хохбрет прав, бассейн развалился бы не позже чем через три месяца.

Ни слова порицания по адресу Шрита, ни слова похвалы по адресу Хохбрета, и когда он, на этот раз собственноручно, подписывал заключение, то рассмеялся, и его смех показался ей почему-то жутким, как и его вежливость.

Вторую ошибку допустил Хохбрет при расчете статических данных железнодорожного моста у Вильгельмскуле; на этот раз ошибку обнаружил Кандерс, и она снова увидела — второй раз за четыре года — Фемеля за письменным столом погруженным в вычисления. Опять она должна была указать ему, какие пометки красным карандашом сделаны рукой Хохбрета и какие — Кандерса; этот инцидент навел его на мысль предложить каждому сотруднику пользоваться карандашом особого цвета: Кандерсу — красным, Хохбрету — зеленым, Шриту — желтым.

Она медленно выводила: «Загородный дом для киноактрисы», а во рту у нее таял кусочек шоколада; потом она написала: «Перестройка здания общества «Все для общего блага», и во рту у нее растаял еще один кусочек шоколада. Хорошо еще, что заказчики отличались друг от друга именами и адресами, и когда она глядела на чертежи, ей казалось, что она принимает участие в каком-то настоящем деле: камень, пластмассовые и стеклянные плитки, железные балки и мешки с цементом — все это можно было себе представить, в отличие от Шрита, Кандерса и Хохбрета, адреса которых она ежедневно надписывала. Они никогда не заходили в контору, никогда не звонили по телефону, никогда не писали. Свои расчеты и документацию они посылали без всяких комментариев.

— К чему нам их письма? — говорил Фемель. — Ведь мы не собираемся издавать полных собраний сочинений.

Время от времени она снимала с книжной полки справочник и находила в нем названия мест, которые ежедневно надписывала на конвертах: «Шильгенауэль, 87 жителей, из них 83 римско-кат. вероисповед., знаменитая приходская церковь с шильгенауэльским алтарем XII века». Там жил Кандерс, анкетные данные которого сообщала страховая карточка: «37 лет, холост, римско-

кат. вероисповед. ...». Шрит жил далеко на севере, в Глудуме: «1988 жителей, из них 1812 евангел., 176 римско-кат. вероисповед., консервная промышленность, миссионерская школа». Шриту было 48 лет, «женат, евангелич. вероисповед., двое детей, один старше 18 лет». Местожителство Хохбрета ей не надо было искать в справочнике, он жил в пригороде Блессенфельд, в тридцати пяти минутах езды от города на автобусе: иногда ей приходила в голову шальная мысль — разыскать его и убедиться в том, что он действительно существует, услышать его голос, увидеть его лицо, ощутить пожатие его руки; от этого дерзкого поступка ее удерживали только сравнительная молодость Хохбрета — ему едва исполнилось тридцать два года — и тот факт, что он был холост.

И хотя местожителство Кандерса и Шрита было описано в справочнике так же подробно, как описывают в паспортах приметы их владельцев, и хотя она хорошо знала Блессенфельд, ей все же трудно было представить себе этих троих людей, а ведь она ежемесячно выплачивала за них страховку, заполняла на их имя почтовые переводы, отправляла им журналы и таблицы; они казались ей такими же нереальными, как пресловутый Шрелла, чья фамилия значилась на красной карточке, Шрелла, который имел право прийти к Фемелю в любой час дня, но так и не воспользовался этим правом ни разу за четыре года.

Она оставила на столе красную карточку, из-за которой он впервые был с ней груб. Как звали господина, явившегося в контору около десяти и потребовавшего срочного, сверхсрочного, неотложного разговора с Фемелем? Он был высокого роста, седой, с чуть красноватым лицом; от него пахло дорогими ресторанными яствами, за которые платили из представительских расходов, на нем был костюм, от которого прямо-таки несло добротностью; сознание власти, чувство собственного достоинства и барственное обаяние делали этого человека неотразимым; когда он, улыбаясь, скороговоркой сообщил ей свой чин и звание, ей послышалось что-то вроде «министра» — не то советник министра, не то заместитель министра, не то начальник отдела в министерстве, а когда она отказалась назвать местопребывание Фемеля, он выпалил, доверительно положив ей руку на плечо:

— Но, милое дитя, по крайней мере подскажите, как я могу его разыскать.

И она выдала тайну, сама не зная, как это случилось; ведь тайна, так долго занимавшая ее воображение, была спрятана в ней глубоко-глубоко.

— Отель «Принц Генрих».

Тогда он забормотал что-то насчет однокашника, насчет какого-то срочного, сверхсрочного, неотложного дела, касающегося не то армии, не то вооружения; после его ухода в конторе долго держался аромат дорогой сигары, так что даже час спустя отец Фемеля уловил его и стал возбужденно нюхать воздух.

— Боже мой, боже мой, ну и табачок, вот это табачок, ну и табачок! — Старик прошелся вдоль стен, обнюхивая все вокруг, потом потянул носом над письменным столом, нахлобучил шляпу, вышел и через несколько минут вернулся вместе с хозяином табачной лавки, где вот уже пятьдесят лет покупал сигары; некоторое время они оба, принюхиваясь, стояли в дверях, а потом забежали назад и вперед по комнате, словно собаки, идущие по следу; хозяин лавки полез даже под стол, где, по-видимому, задержалось целое облако дыма, а затем встал, отряхнул руки, торжествующе улыбнулся и сказал:

— Да, господин тайный советник, это была «Партагас эминентес».

— И вы можете достать мне такую же?

— Конечно, они есть у меня на складе.

— Горе вам, если аромат у них не такой.

Хозяин лавки раз понюхал воздух и сказал:

— «Партагас эминентес», даю голову на отсечение, господин тайный советник. Четыре марки за штуку. Сколько вам?

— Одну, дорогой Кольбе, только одну. Четыре марки — это был недельный заработок моего дедушки, а я уважаю умерших и, как вы знаете, не чужд сентиментальности. О боже, этот табак уничтожил все двадцать тысяч сигарет, которые выкурил здесь мой сын.

То, что старик раскурил эту сигару в ее присутствии, она восприняла как великую честь; он сидел, развалившись в кресле сына, слишком для него просторном; а она, подложив старику под спину подушку, слушала его, занятая самым безобидным делом, какое только можно себе представить, — наклеиванием марок. Не спеша проводила она обратной стороной зеленого, красного, синего

Хейса по маленькой губке и тщательно наклеивала марки в правый верхний угол конвертов, отправляемых в Шильгенауэль, Глудум и Блессенфельд. Она вся ушла в свое занятие, а старый Фемель упивался блаженством, которого, казалось, тщетно жаждал целых пятьдесят лет.

— Боже мой,— сказал он,— наконец-то я узнал, что такое настоящая сигара, милочка. Почему мне пришлось так долго ждать, до самого моего восьмидесятилетия?.. Ну вот еще, чего вы так разволновались, конечно же, мне сегодня стукнуло восемьдесят... ах, так, значит, не вы послали мне цветы по поручению сына? Хорошо, спасибо, поговорим о моем рождении потом, ладно? От всего сердца приглашаю вас на мой сегодняшней праздник, приходите вечером в кафе «Кронер»... но скажите, милочка Леонора, почему за все эти пятьдесят лет или, точнее, за пятьдесят один год, что я покупаю в лавке Кольбе, он ни разу не предложил мне такой сигары? Разве я скряга? Я никогда не был скупердьяем, вы же знаете. В молодости я курил десятипфенниковые сигары, потом, когда стал зарабатывать немного больше,— двадцатипфенниковые, а затем несколько десятков лет — шестидесятипфенниковые. Скажите мне, милочка, что это за люди, которые расхаживают по улице, держа в зубах такую штукину за четыре марки, заходят в конторы и снова уходят с таким видом, будто они сосут грошовую сигарку? Что это за люди, которые между завтраком и обедом прокуривают в три раза больше, чем мой дедушка получал в неделю, и оставляют после себя такое благоухание, что я, старик, прямо столбенею, а потом, словно пес, ползаю по конторе сына, обнюхивая все углы? Что? Однокашник Роберта? Советник министра... Заместитель министра... начальник отдела в министерстве или, может, даже сам министр? Я ведь должен знать его. Что? Армия? Вооружение?

Внезапно в его глазах что-то блеснуло, казалось, с них спала пелена: старик погрузился в воспоминания о первом, третьем или, может быть, шестом десятилетии своей жизни — он хоронил кого-то из своих детей. Но кого? Иоганну или Генриха? На чей белый гроб сыпал он комья земли, на чьей могиле разбрасывал цветы? Слезы выступили у него на глазах,— были то слезы 1909 года, когда он похоронил Иоганну, или слезы 1917 года, когда он стоял у гроба Генриха, или слезы 1942 года, когда пришло известие о гибели Отто? А может быть, он плакал у ворот лечебницы для душевнобольных, за

которыми исчезла его жена? И снова на глазах старика показались слезы, меж тем как его сигара таяла, превращаясь в легкие колечки дыма,— эти слезы были пролиты в 1902 году, он похоронил тогда свою сестру Шарлотту, ради которой откладывал золотой за золотым, чтобы вызвать к ней врача; веревки заскрипели, гроб пополз вниз, хор школьников пел «Куда улетела ласточка?». Щебечущие детские голоса вторглись в эту безукоризненно обставленную контору, и через полстолетия старческий голос вторил им; то октябрьское утро 1902 года казалось теперь старику Фемелю единственной реальностью: дымка над низовьем Рейна, клочья тумана, сплетаясь в ленты, словно приплясывая, неслись над свекловичными полями, вороны в ивняке каркали, как масленичные трещотки,— а в это время Леонора проводила красным Хейсом по мокрой губке. В тот день, за тридцать лет до ее рождения, деревенские ребятишки пели «Куда улетела ласточка?». Теперь она проводила по губке зеленым Хейсом... Внимание! Письма к Хохбрету идут по местному тарифу.

Когда на старика находило, он становился как будто слепым; Леонора с удовольствием сбегала бы в цветочный магазин, чтобы купить ему красивый букет цветов, но она боялась оставить его одного; он протянул руку, и она осторожно подвинула к нему пепельницу; тогда он взял сигару, сунул ее в рот, взглянул на Леонору и тихо сказал:

— Не думай, душенька, что я сумасшедший.

Она привязалась к старику; он постоянно заходил за ней в контору и уводил ее в «мастерскую своей юности» в доме на противоположной стороне улицы, над типографией. После обеда она должна была приводить в порядок его запущенные канцелярские книги; она разбирала документы, в которых рылись когда-то налоговые инспектора, чьи бедные могилы заросли травой еще до того, как она научилась писать,— вклады были вычислены в английских фунтах, а капиталовложения — в долларах; она просматривала акции плантаций в Сальвадоре, раскладывала пыльные бумаги, расшифровывала выписки из текущих банковских счетов, уже давным-давно закрытых; читала завещания — в них он отказывал имущество детям, которых пережил более чем на сорок лет. «И пусть право пользования моими усадьбами «Штелигерс-Гротте» и «Гёрлингерс-Штуль» будет сохранено всецело за моим сыном Генрихом, ибо в нем

я замечаю то спокойствие и ту радость при виде произрастания всего живого, которые представляются мне необходимыми для хорошего землевладельца...»

— Здесь,— закричал старик, размахивая в воздухе сигарой,— на этом самом месте я диктовал своему тестю завещание вечером, накануне того дня, когда должен был уехать в армию; я диктовал, а мой сын спал наверху; на следующее утро он еще проводил меня к поезду и поцеловал в щеку— о, губы семилетнего ребенка,— но никто, Леонора, никто не принимал моих подарков; все они неизменно возвращались ко мне: усадьбы, банковские счета, ренты и доходы от домов. Мне не дано было дарить, зато жене моей это было дано, ее подарки шли на пользу; и по ночам, лежа возле нее, я слышал, как она бормочет долго и нежно,— казалось, это журчит ручеек,— бормочет целыми часами: *зачемзачемзачем?*..

Старик опять заплакал, теперь он был в мундире; капитан запаса инженерных войск; тайный советник Генрих Фемель приехал во внеочередной отпуск, чтобы похоронить своего семилетнего сына; белый гробик опустили в семейный склеп Кильбов— темная сырая каменная кладка и яркие, как солнечные лучи, золотые цифры «1917», дата смерти. Роберт, в черном бархатном костюмчике, ожидал их в карете...

Леонора выронила из рук марку— на этот раз лиловую,— она помедлила, прежде чем наклеить ее на письмо к Шриту. У ворот кладбища нетерпеливо храпели лошади. Роберту Фемелю, двух лет от роду, разрешили подержать вожжи; вожжи были черные, кожаные, потрескавшиеся по краям, а свежая позолота на цифре «1917» сверкала ярче солнца...

— Чем он занимается, Леонора, что он делает, мой сын, единственный, кто у меня остался? Что он делает каждое утро с половины десятого до одиннадцати в «Принце Генрихе»? Тогда у ворот кладбища он с таким интересом смотрел, как лошадям повесили на морды мешки с овсом. Чем же он занимается там, в отеле? Скажите мне, Леонора!

Поколебавшись секунду, она подняла с пола лиловую марку и тихо ответила:

— Я не знаю, что он там делает, в самом деле не знаю.

Как ни в чем не бывало старик взял в рот сигару и, улыбнувшись, откинулся на спинку кресла.

— Что вы скажете, если я предложу вам окончатель-

но закрепить за мною ваши послеобеденные часы? Я буду заходить за вами. Мы бы вместе пообедали, а с двух до четырех или до пяти, если вас это устроит, вы помогли бы мне наводить порядок у меня в мастерской наверху. Как вы, милочка, к этому относитесь?

Леонора кивнула.

— Хорошо.

Она все еще не решалась мазнуть лиловым Хейсом по губке и наклеить его на конверт, адресованный Шриту: почтовый чиновник вынет письмо из ящика, а потом его проштемпелюют — «6 сентября 1958 года, 13 часов». Старик, сидевший перед ней, вернулся теперь в свой восьмой десяток и вступил в девятый.

— Хорошо, хорошо,— повторила она.

— Значит, будем считать, что мое предложение принято?

— Да.

Леонора взглянула на его худое лицо. Уже много лет она тщетно пыталась обнаружить в старике сходство с сыном; только подчеркнутая вежливость была общей семейной чертой Фемелей, но у старика она проявлялась в церемонной обходительности; в его учтивости старинного склада было что-то величавое, она не была просто алгеброй вежливости, как у сына, который держал себя нарочито сухо, только блеск в серых глазах порой наводил на мысль, что и он способен на нечто большее, нежели сухая корректность. Старик — тот действительно пользовался носовым платком, жевал свою сигару, иногда говорил Леоноре комплименты, хвалил ее прическу и цвет лица; было заметно, что костюм у старика далеко не новый, галстук всегда съезжал набок, пальцы были испачканы тушью, на лацканах пиджака виднелись соринки от ластика, из жилетного кармана торчали карандаши — жесткие и мягкие, а иногда он вынимал из письменного стола сына лист бумаги и быстро набрасывал на нем что-нибудь — ангела или агнца божьего, дерево или силуэт спешащего куда-то прохожего. Иногда он давал ей денег, чтобы она сбегала за пирожными; он попросил ее завести еще одну чашку. В его присутствии Леонора чувствовала себя счастливой — наконец-то она включит электрический кофейник не только для себя, но и для кого-то другого. То была жизнь, к какой она привыкла, — варить кофе, покупать пирожные и слушать рассказы, в определенной очередности: сперва о жизни людей в задней половине дома,

а потом о смертях, которыми они умирали. Несколько столетий дом принадлежал семье Кильб, здесь они, погрязая в пороках и стремясь к свету, греша и спасаясь, поставляли городу казначеев и нотариусов, бургомистров и каноников; казалось, в воздухе сумрачных покоев на задней половине дома еще носится что-то от строгих молитв юношей, ставших прелатами, от мрачных пороков девственниц из рода Кильбов, от покаянных молитв благочестивых отроков — в тех покоях, где в тихие послеполуденные часы бледная темноволосая девушка готовила сейчас уроки и поджидала отца. А может, эти часы Фемель проводил дома? Двести десять бутылок вина были выпиты с начала мая до начала сентября. Распил ли он их один или вместе с дочерью? А может быть, с привидениями? Или с этим Шреллой, который ни разу не попытался воспользоваться своим правом? Все это казалось ей нереальным, еще менее реальным, чем пепельные волосы секретарши, занимавшей пятьдесят лет назад ее место и хранившей в те времена тайны нотариальных документов.

— Да, здесь она и сидела, милая Леонора, на том же месте, что и вы, ее звали Жозефина.

Говорил ли старик той, как и ей, комплименты, расхваливая ее прическу и цвет лица?

Старик, смеясь, указал Леоноре на изречение, висевшее над письменным столом его сына; единственное, что сохранилось здесь от прежних времен, — белые буквы на табличке из красного дерева.

«И правая их рука полна подношений». Это изречение должно было свидетельствовать о неподкупности семьи Кильб, равно как и семьи Фемель.

— Оба моих шурина, последние отпрыски мужского пола в семействе Кильб, не питали склонности к юриспруденции — одного из них тянуло к уланам, другого к безделью, но оба они, и улан и бездельник, погибли в один и тот же день в одном и том же полку во время одной и той же атаки: под Эрби-ле-Юэтт они на рысях въехали под пулеметный обстрел, вычеркнув тем самым фамилию Кильбов из списка живых; они унесли с собой в могилу, в ничто, свои пороки, яркие как багряница, и случилось это под Эрби-ле-Юэтт.

Старик был счастлив, если у него на брюках появлялись пятна от известки и он мог попросить Леонору свести их. Часто он носил под мышкой толстые футляры

для чертежей; и она не могла понять, взяты ли они из его архива или же это новые заказы.

Сейчас он прихлебывал кофе, хвалил его, придвигал к Леоноре тарелку с пирожными, посасывал свою сигару. На его лице опять появилось благоговейное выражение.

— Однокашник Роберта? Но ведь я должен знать его. А не зовут ли его Шрелла? Вы уверены? Нет, нет, тот не курил бы таких сигар, что за чепуха. И вы послали его в «Принц Генрих»? Ну и нагорит же вам, Леонора, милочка, уж поверьте. Мой сын Роберт не любит, чтобы ему делали наперекор. Он и мальчишкой был такой же — внимательный, вежливый, разумный, корректный, но только пока не преступали известных границ, тогда он не знал пощады. Он бы не остановился перед убийством. Я всегда его побаивался. Вы тоже? Но, детка, он ведь ничего вам не сделает, не бойтесь, будьте благоразумны. Пойдемте, я хочу, чтобы мы вместе пообедали, давайте хоть скромненько отпразднуем ваше вступление в новую должность и мой юбилей. Не говорите глупостей. Если уж он обругал вас по телефону, значит, гроза миновала. Жаль, что вы не запомнили имени посетителя. А я и не знал, что он встречается со своими школьными товарищами. Ну ничего, ничего, пошли. Сегодня суббота, и он не будет в претензии, если вы закончите работу немного раньше положенного. Ответственность я беру на себя.

Часы на Святом Северине начали бить двенадцать. Леонора быстро пересчитала конверты — их было двадцать три; она сложила их и крепко зажала в руке. Неужели старик просидел у нее всего полчаса? Вот отзвучал десятый удар из положенных двенадцати.

— Нет, спасибо,— сказала она,— я не надену пальто, и, пожалуйста, только не «У льва».

Прошло всего полчаса; типографские машины больше не стучали, но из кабаньей туши все еще сочилась кровь.

2

Для портье это стало привычным ритуалом, почти таким же, как церковный обряд, вошло ему в плоть и кровь: каждое утро, ровно в половине десятого, он снимал с доски ключ и ощущал легкое прикосновение сухой холеной руки, бравшей у него ключ от бильярдной; портье бросал взгляд на строгое, бледное лицо с красным

шрамом на переносице, а затем задумчиво, с чуть заметной улыбкой — ее могла бы обнаружить разве что только жена — смотрел вслед Фемелю, который, не обращая внимания на призывный жест лифтера, поднимался по лестнице в бильярдную, слегка постукивая ключом по медным прутьям перил — пять, шесть, семь раз звенели прутья, — казалось, он играет на ксилофоне, воспроизводящем одну-единственную ноту, а через полминуты являлся Гуго, старший из мальчиков-лифтеров, и спрашивал: «Как всегда?» — на что портье кивал головой; он знал: Гуго побежит в ресторан, возьмет двойную порцию коньяка и графин с водой, а потом исчезнет наверху в бильярдной до одиннадцати часов.

Портье чуял недоброе в этом обыкновении играть в бильярд с половины десятого до одиннадцати утра в присутствии одного и того же мальчика — недоброе или порочное; от пороков существовала защита — тайна; тайна имела свою цену и свои законы; тайна и деньги зависели друг от друга, как абсцисса и ордината; тот, кто брал здесь номер, покупал вместе с тем полную секретность: глаза, которые смотрели, но не видели, уши, которые слушали, но не слышали. Однако от беды не было спасения — он не мог выпроводить за дверь каждого потенциального самоубийцу, ибо все постояльцы были потенциальными самоубийцами; самоубийца мог явиться в отель с семьей чемоданами, загорелый, точь-в-точь киноактер, смеясь взять ключ у портье, но как только чемоданы были сложены в номере и бой уходил, он вытаскивал из кармана пальто заряженный пистолет, заранее снятый с предохранителя, и пускал себе пулю в лоб; или это могла быть дама, казавшаяся выходцем с того света; она являлась, сверкая золотыми зубами, золотыми волосами, золотыми туфлями, скалила зубы, как скелет, дама, слонявшаяся по холлу, словно беспокойный призрак, алчущий удовлетворить свою похоть; эта дама заказывала завтрак к себе в номер на половину одиннадцатого, вешала на ручку двери трафарет «Просьба не беспокоить», а потом сооружала перед дверью баррикаду из чемоданов и глотала капсулу с ядом; задолго до того как у перепуганных горничных падали из рук подносы с завтраком, в доме шепотом передавали друг другу: «В двенадцатом номере лежит покойница». Шептаться начинали уже ночью, когда засидевшиеся в баре гости прокрадывались к себе в комнаты — им становилось жутко от тишины, царившей за дверью

номера 12; некоторые из них умели отличать тишину сна от тишины смерти.

Портье чуял недоброе, когда в тридцать одну минуту десятого Гуго поднимался в бильярдную с двойной порцией коньяка и графином воды.

В это время дня портье с трудом обходился без мальчика: на его конторке появлялось множество рук — рук, требующих счет или забирающих почту; портье ловил себя на том, что сразу после половины десятого он становился невежливым, и надо же, чтобы он как раз обрезал учительницу — восьмую или девятую по счету из тех, кто спрашивал, как пройти к древнеримским детским гробницам; судя по ее обветренному лицу, она родилась в деревне, а судя по перчаткам и пальто, не имела тех доходов, какие естественно было предположить у постояльцев отеля «Принц Генрих»; портье спрашивал себя, каким образом бедная женщина затесалась в толпу этих сумасшедших дур, из коих ни одна не нашла нужным осведомиться о цене номера; хотя, быть может, эта учительница, смущенно теребящая свои перчатки, как раз совершит чудо, за которое Йохен установил премию в десять марок: «Плачу десять марок каждому, кто назовет мне немца, спросившего о цене на что-либо»; нет, эта учительница не принесет ему премии Йохена; портье взял себя в руки и любезно разъяснил ей дорогу к древнеримским детским гробницам.

Большинство требовало как раз этого боя, запертого на полтора часа в бильярдной; все они желали, чтобы именно он отнес их чемоданы в холл, к автобусу авиакомпании, к такси или на вокзал; брюзгливые господа, слоняющиеся по всему свету, которые ожидали сейчас в холле счет и болтали о расписании самолетов, хотели, чтобы именно Гуго подал им лед для виски и поднес спичку к незажженной сигарете, свисавшей у них изо рта, дабы они могли лишний раз убедиться в его исполнительности; Гуго, и никого другого, желали они поблагодарить небрежным жестом руки; только в присутствии Гуго их лица вздрагивали от тайных конвульсий; у них были нетерпеливые лица, у этих господ, которые с трудом могли дождаться минуты, когда они перенесут свое дурное настроение в отдаленные части света; они были всегда готовы к старту, чтобы, переселяясь в иранский или верхнебаварский отель, так же внимательно, как и здесь, изучать свое лицо в зеркале, определяя, насколько задубилась их кожа от солнца.

Женщины визгливыми голосами наперебой требовали принести им забытые вещи: «Гуго, мое кольцо», «Гуго, мою сумочку», «Гуго, мою губную помаду», все они ждали, что Гуго стремглав кинется к лифту, бесшумно взлетит наверх и начнет разыскивать в номере 19, в номере 32 или в номере 46 кольцо, сумочку, губную помаду; а тут еще старухе Муш понадобилось вывести гулять свою шавку, которая к этому времени вылакала все налитое ей молоко, нажралась меду, пренебрегла глазуньей и теперь собиралась отправить собачью нужду у ближайшего киоска, у припаркованной машины или остановившегося трамвая, с тем чтобы попутно оживить свой отмирающий нюх; ведь один только Гуго мог понять сложные душевные потребности собаки; кроме того, бабушка Блезик, которая ежегодно приезжала сюда на месяц повидаться с детьми и внуками, все возраставшими в числе, бабушка Блезик, не успев переступить порог отеля, уже спросила о Гуго: «Он по-прежнему у вас, мальчуган с лицом церковного служки, худенький, бледный, рыжеватенький, у него еще всегда такой серьезный вид?» За завтраком, пока старуха ела мед, пила молоко и не пренебрегала глазуньей, Гуго должен был читать ей местную газету; Блезик закатывала глаза всякий раз, как он произносил названия улиц, знакомые ей еще с детства. «Несчастный случай на Эренфельдгюртель», «Ограбление на Фризенштрассе». «Когда я там каталась на роликах, у меня были вот такие длинные косы, вот досюда, мой мальчик». Старуха была хрупкой, но выносливой — уж не ради ли Гуго она перелетала через огромный океан?

— Что? — спросила она разочарованно. — Гуго освободится только после одиннадцати?

Водитель автобуса, принадлежавшего авиакомпании, уже стоял у вращающейся двери, жестами поторапливая отъезжающих, а в кассе еще только подсчитывали стоимость сложных завтраков; в холле сидел человек, который заказал глазунью из половины яйца, он с возмущением отверг счет, где ему поставили целое яйцо, с еще большим возмущением отверг предложение директора ресторана вовсе изъять из счета пол-яйца; он требовал новый счет, в котором значилась бы половина яйца.

— Я настаиваю!

Этот тип ездил по свету, как видно, только для того,

чтобы предъявлять потом письменные документы, где фигурировала бы глазунья из пол-яйца.

— Да,— говорил портье,— первая улица налево, вторая направо, затем опять третья налево, а потом, сударыня, вы увидите табличку с надписью: «К древнеримским детским гробницам».

Но в конце концов водителю автобуса все же удалось собрать своих пассажиров; в конце концов все учительницы были направлены по верному пути, а все жирные шавки выведены на прогулку. Вот только господин в одиннадцатом номере все еще спал, спал уже шестнадцать часов подряд, повесив на дверь трафарет «Просьба не беспокоить». Беда могла нагрязнеть из номера 11 или из бильярдной; привычный ритуал с бильярдом совершался как раз во время идиотской суеты, когда из отеля уезжали постояльцы; портье снимал с доски ключ, на мгновение ощущая прикосновение руки гостя, бросал взгляд на его бледное лицо с красным шрамом на переносице. Гуго спрашивал: «Как всегда?» Портье кивал головой — бильярд с половины десятого до одиннадцати. Но пока еще внутренняя служба информации отеля не донесла ни о чем страшном или порочном. Фемель действительно играл с половины десятого до одиннадцати в бильярд, играл один, без партнеров, тянул маленькими глоточками коньяк, запивая его водой, курил, слушал, что Гуго рассказывал ему о своем детстве, сам рассказывал Гуго о своем детстве; Фемель не возражал даже, если кто-нибудь из горничных или уборщиц по дороге к грузовому лифту останавливался в открытых дверях и смотрел на него; он только улыбался. Нет, нет, он совершенно безобидный.

Йохен, прихрамывая и качая головой, вышел из лифта, держа в поднятой руке письмо. Йохен жил под самой голубятней, рядом со своими пернатыми друзьями, которые приносили ему весточки из Парижа, Рима, Варшавы, Копенгагена; трудно было определить, какую роль играет в отеле Йохен, в своей причудливой ливрее, представляющей нечто среднее между мундиром кронпринца и унтер-офицера; он был отчасти фактотумом, отчасти «серым кардиналом», все ему доверяли, и он был посвящен решительно во все; при этом Йохен не был ни портье, ни официантом, ни

администратором, ни слугой, хотя он и был на все руки мастер и даже в поварском искусстве кое-что смыслил; ему принадлежала крылатая фраза, которую повторяли всякий раз, как возникали сомнения в моральном облике кого-либо из постояльцев: «Если все будут нравственны, нам не к чему хранить тайны; кому нужна секретность, коли нет вещей, которые следует держать в секрете?» Йохен был отчасти духовником, отчасти секретарем по особо важным делам, отчасти сводником. Ухмыляясь, Йохен вскрыл письмо искривленными от ревматизма пальцами.

— Ты мог бы сэкономить свои десять марок, я бы рассказал тебе в тысячу раз больше, чем этот щенок, и притом бесплатно: «Справочное бюро «Аргус». При сем прилагаем затребованную Вами справку о господине докторе Роберте Фемеле, архитекторе, проживающем по Модестгассе, 8. Д-ру Фемелю 42 года, он вдовец, имеет двух детей. Сын 22 лет, архитектор, проживает отдельно. Дочь 19 лет — учащаяся. Д-р Ф. состоятельный человек. Со стороны матери в родстве с Кильбами. Ни в чем предосудительном не замечен».

Йохен захихикал.

— Ни в чем предосудительном не замечен! Как будто молодого Фемеля можно заметить в чем-либо предосудительном. Он один из немногих людей, за которых я, ни минуты не задумываясь, положил бы руку в огонь, слышишь, вот эту старую, продажную, изуродованную ревматизмом руку. Ты можешь спокойно доверить ему мальчика, он не того сорта человек, но, будь он даже того сорта, я не вижу, почему бы не позволить ему все, что позволяют педерастам-министрам, но он не того сорта. Уже в двадцать лет у него родился ребенок от дочери одного нашего коллеги, может, ты его помнишь, его звали Шрелла, и он когда-то проработал здесь в отеле год. Не помнишь? Ну конечно, это было еще до тебя. Так вот, оставь в покое молодого Фемеля, пусть себе играет в бильярд. Он хороших кровей. Действительно хороших. Старой закалки. Я знал его бабушку, дедушку, мать и дядю; пятьдесят лет назад они уже играли здесь в бильярд. Семья Кильб — тебе это, видно, невдомек — живет на Модестгассе уже триста лет, вернее, жила — теперь никого из них не осталось. Его мать спятила — она потеряла двух братьев и троих детей. И не смогла этого перенести. Хорошая была женщина. Из породы тихих, понимаешь? Она не съедала ни

крошки сверх того, что выдавалось по карточкам, ни крупиночки, да и детям своим ничего не давала сверх положенного. Сумасшедшая! Все, что ей присылали, она раздавала, а ей много присылали: Фемели владели тогда несколькими усадьбами; кроме того, настоятель аббатства Святого Антония в Киссатале отправлял ей масло целыми бочонками, мед кувшинами и хлеб буханками, но она ни к чему не притрагивалась сама и не давала ни крошки детям, им приходилось есть хлеб из опилок, намазывая его подкрашенным повидлом, потому что мать все раздавала, даже золотые монеты она раздавала, я сам видел году в шестнадцатом или семнадцатом, как она вышла из дома с буханками хлеба и кувшином меда. Мед в тысяча девятьсот семнадцатом году! Можешь себе представить? Но где уж вам это помнить, вы никогда не поймете, что значил мед в тысяча девятьсот семнадцатом и зимой сорок первого — сорок второго годов! А как она бежала на товарную станцию и требовала, чтобы ей разрешили уехать вместе с евреями. Сумасшедшая! Ее засадили в сумасшедший дом, но я не верю, что она сумасшедшая. Таких женщин можно увидеть разве только в музеях на старинных картинах. Ради ее сына я дам себя четвертовать; и если здесь, в этой лавочке, перед ним не будут ходить на задних лапках, я устрою грандиозный скандал, пускай хоть целая сотня старых баб спрашивает Гуго, — раз Фемель хочет держать его при себе, пусть держит. Справочное бюро «Аргус»! Идиоты! Не к чему было выбрасывать десять марок! Ты еще, пожалуй, скажешь, что не знаешь его отца, старика Фемеля. Да? Ну так поздравляю, ты его знаешь, но тебе и в голову не приходило, что он-то и есть отец того клиента, который играет наверху в бильярд. Ну да, старика Фемеля знает каждый ребенок. Пятьдесят лет назад он приехал сюда в перелицованном костюме своего дяди с несколькими золотыми в кармане; он уже тогда играл в бильярд здесь, в отеле «Принц Генрих», тогда, когда ты еще понятия не имел, что такое отель. Ну и портье сейчас пошли! Оставь его в покое. Он не наделает глупостей и не причинит никому вреда, разве что спятит с ума — тихо и незаметно. Он был лучшим игроком в лапту и лучшим бегуном на сто метров в нашем городе за всю его историю; ведь он упрямый, и если уж что заберет себе в голову — его не переспоришь; он не выносил несправедливости, а кто не выносит несправедливости,

тот обязательно впутается в политику, вот он и впутался уже в девятнадцать лет; ему бы наверняка отрубили голову или запрятали лет на двадцать в тюрьму, если бы он не удрал. Да-да, не смотри на меня так, он убежал и года три-четыре пробыл за границей; не знаю точно, в чем тут было дело,— мне этого так и не удалось выяснить, знаю только, что в той истории был замешан старый Шрелла и его дочь, которая родила потом Фемелю ребенка; ну а когда он вернулся, его больше не тронули, он пошел в армию рядовым в мундире с черными кантами. Что ты вылупил глаза? Был ли он коммунистом? Не знаю, но пусть даже так, каждый порядочный человек когда-нибудь сочувствовал коммунистам. Ну а теперь ступай завтракать, с этими старыми дурами я сам управлюсь.

Беда или порок — что-то носилось в воздухе, но Йохен был слишком простодушен, он никогда не чуял самоубийства и не верил, что случилось несчастье, даже если перепуганным постояльцам удавалось отличить сквозь запертые двери номера тишину смерти от тишины сна; он разыгрывал из себя этакую продажную шельму, тертого старикашку, но в людей все же верил.

— Как хочешь,— сказал портье,— я пойду завтракать. Только не пускай к нему никого, он придает этому большое значение. Вот.— И он положил на конторку перед Йохеном красную карточку: «Я всегда рад видеть мать, отца, дочь, сына и господина Шреллу, но больше я никого не принимаю».

Шрелла? — испуганно подумал Йохен. Разве он еще жив? Ведь его тогда убили... а может, у него был сын?

Этот аромат свел на нет все остальные запахи, все, что люди выкурили здесь за последние две недели, этот аромат можно было нести перед собой наподобие знамени: вот я иду, видная персона, победитель, перед которым ничто не может устоять, рост — метр восемьдесят девять, седой, сорока с лишним лет, костюм из сукна особого, «правительственного» качества — коммерсанты, промышленники и художники такого не носят. Йохен сразу оценил сановную элегантность посетителя — то был министр или посланник, чья подпись имела почти что силу закона, этот человек беспрепятственно проникал сквозь обитые войлоком,

стальные и железные двери приемных, проходил повсюду, пробивая себе дорогу плечами, словно тараном, излучая вежливость и любезность, в которой чувствовалось что-то заученное; на сей раз он пропустил вперед бабушку, только что забравшую своего отвратительного пса из рук Эриха — второго боя, помог даме-скелету, которая казалась выходцем с того света, подойти к лестнице и схватиться за перила, пробормотав: «Не стоит благодарности, сударыня».

— Неттлингер.

— Чем могу служить, господин доктор?

— Мне нужно видеть доктора Фемеля. Срочно. Немедленно. По служебным делам.

Играя красной карточкой, Йохен качнул головой и вежливо отказал. «Мать, отца, сына, дочь, Шреллу». Неттлингера он видеть не желает.

— Но мне известно, что он здесь.

Неттлингер? Когда-то я слышал это имя. Да и лицо его напоминает мне что-то, что я поклялся не забывать! Это имя я слышал много лет назад и сказал себе: «Йохен, запомни его, возьми его на заметку»,— но теперь я не знаю, что хотел запомнить. Во всяком случае, будь начеку. Тебя бы наверняка стошнило, если бы ты узнал, что он успел натворить на своем веку, тебя бы рвало до самой твоей кончины, если бы ты увидел тот фильм, который покажут ему в день Страшного суда,— фильм о его жизни; он из тех молодчиков, которые приказывали выламывать у мертвецов золотые коронки и отрезать волосы у детей.

Беда или порок? Нет, в воздухе запахло убийством.

Эти люди понятия не имеют, как и когда давать чаевые, по чаевым легче всего определить человека; сейчас, пожалуй, уместно было бы предложить сигару, но, во всяком случае, не деньги, а тем более такие крупные, как зеленая кредитка в двадцать марок, которую этот господин, ухмыляясь, положил на конторку перед Йохеном. Что за олухи — они не знают простейших законов обхождения с людьми, не знают азбучных истин обращения с портье; как будто в «Принце Генрихе» оптом и в розницу продаются чужие секреты, как будто постояльца, который платит сорок — шестьдесят марок в сутки, можно купить за зеленую двадцатимарковую бумажку, за двадцать ма-

рок, предложенных совершенно незнакомым человеком, чье единственное удостоверение личности — дорогая сигара и костюм из добротного сукна. Подумать только, что такой тип становится министром или дипломатом, хотя не знает азов сложнейшей из всех наук — науки подкупа. Йохен огорченно покачал головой и не притронулся к зеленой бумажке. *«И правая их рука полна подношений».*

Трудно поверить, но к зеленой бумажке прибавилась синяя; предложенная сумма дошла до тридцати марок, и в лицо Йохену дохнули густым облаком дыма «Партагас эминентес».

Ну что ж, дыши на меня, дыши мне в лицо своей четырехмарковой сигарой, можешь даже прибавить еще кредитку — лиловую. Йохена нельзя купить ни за какие деньги, а тебе уж подавно; не многих любил я в своей жизни, но молодой Фемель мне по душе. Тебе не повезло, ты, конечно, важный господин, твоя подпись немало значит, но ты опоздал на полторы минуты. Тебе бы надо почуять, что деньги совершенно неуместны, когда дело касается меня. У меня, если хочешь знать, в кармане договор, заверенный нотариусом, и по этому договору моя каморка под крышей принадлежит мне пожизненно, к тому же я имею право держать голубей; на завтрак и на обед я могу выбрать себе чего моя душа пожелает, кроме того, я ежемесячно получаю полтораста марок чистоганом, прямо в руки; эта сумма в три раза больше той, что мне требуется на табачок; у меня есть друзья в Копенгагене и Париже, в Варшаве и Риме; если бы ты только знал, как стоят друг за друга голубятники; но ты ничего не знаешь, хотя и вообразил, будто за деньги можно добиться всего; эту философию вы внушаете самим себе и, разумеется, портье в отелях; за деньги портье готовы на все, они продадут тебе родную бабушку за лиловый полусотенный билет. Но я сам себе хозяин, друг мой, с одним-единственным ограничением — здесь внизу, когда я заменяю портье, мне запрещено курить мою трубочку; сегодня я в первый раз жалею об этом, ведь я мог бы выпустить навстречу дыму твоей «Партагас эминентес» дым из моей трубки, набитой черным табаком. Говоря ясно и недвусмысленно — можешь поцеловать меня в...

Фемеля я тебе всё равно не продам. Пусть спокойно играет себе с половины десятого до одиннадцати в бильярд, хотя я лично нашел бы для него более подходящее занятие, а именно — сидеть на твоём месте в министерстве. Или же делать то, что он делал в юности: бросать бомбы, чтобы у таких мерзавцев, как ты, земля горела под ногами. Но если он хочет играть в бильярд с половины десятого до одиннадцати, пожалуйста, пусть себе играет, на то я здесь и поставлен, чтобы никто не мешал ему, это моя обязанность. А теперь можешь забрать свои деньги и идти, проваливай, а если положишь ещё бумажку, пеняй на себя. Мне приходилось глотать бестактности и с терпеливым видом сносить человеческую глупость; в эту книгу я записывал нарушителей супружеской верности и эротоманов, не раз отшивал я обезумевших жен и роконосцев, но, пожалуйста, не думай, что я был создан для такой участи. Я всегда был порядочным малым и, конечно, прислуживал во время мессы так же, как и ты, а в певческом фереине распевал песни во славу отца Колпинга и святого Алоизия. К двадцати годам я уже шесть лет прослужил в этом заведении. И если я не потерял веру в человеческий род, то лишь потому, что на свете есть несколько таких людей, как молодой Фемель и его мать. Забирай свои деньги, вынь изо рта сигару и поклонись мне повежливей, ведь я уже старый человек и видел на своём веку столько пороков, сколько тебе и во сне не снилось; пусть бой подержит тебе вращающуюся дверь, и убирайся.

— Я не ослышался? Ты хочешь поговорить с директором?

Тут посетитель побагровел, а потом посинел от злости...

— Черт побери! Неужели я опять подумал вслух и, возможно, даже обратился к тебе на «ты»; разумеется, это никуда не годится, я совершил непростительную ошибку, потому что с такими людьми, как вы, я на «ты» не бываю.

Как я смею? Что же, я старик, мне уже под семьдесят, и я, бывает, заговариваюсь, у меня небольшой склероз, я малость впал в детство и нахожусь поэтому под защитой пятьдесят первого параграфа, а здесь я живу из милости.

Армия и вооружение?.. Этого ещё не хватало.

— К директору, пожалуйста, налево, за угол, вторая дверь направо; книга жалоб — в сафьяновом переплете.

А если ты закажешь себе глазунью и если твой заказ придет на кухню, когда я буду там, я сочту за особую честь лично плюнуть на сковородку. Ты получишь мое объяснение в любви, так сказать «о натюрель», смешанное с растаявшим маслом. Не стоит благодарности, милостивый государь!

— Я ведь уже сказал вам, сударь. Сюда за угол налево, потом вторая дверь направо, там дирекция. Книга жалоб — в сафьяновом переплете. Вы хотите, чтобы о вас доложили? С удовольствием. Коммутатор. Господина директора вызывает портье. Господин директор, здесь господин... Как ваша фамилия? Неттлингер, и прошу прощения, доктор Неттлингер хотел бы срочно поговорить с вами. По какому делу? Жалоба на меня. Да, спасибо. Господин директор ожидает вас... Да, сударыня, сегодня вечером фейерверк и парад, первая улица налево, потом вторая направо, затем опять третья налево, и вы увидите стрелку с надписью: «*К древнеримским детским гробницам*». Не стоит благодарности. Большое спасибо.

Не следует отказываться от марки, если получаешь ее из рук такой старой честной учительницы. Да-да, погляди, с какой милой улыбкой я беру маленькие чаевые, отказываясь от больших. Древнеримские детские гробницы — дело чистое. Лептой вдовицы здесь не пренебрегают. Ведь чаевые — душа нашей профессии.

— Да, за угол, совершенно верно.

Парочка еще не успеет выйти из такси, а я уже могу сказать, нарушают они супружескую верность или нет. Я чую такие вещи на расстоянии, различаю самые, казалось бы, невысказанные случаи. Среди любовников встречаются робкие, на их лицах все так ясно написано, что хочется сказать им: «Ничего страшного, детки, такие вещи случались и раньше, я пятьдесят лет служу в отелях, на меня вы можете положиться. Пятьдесят девять марок восемьдесят пфеннигов за двойной номер, включая чаевые; за эти деньги вы имеете право требовать известного снисхождения, но, даже если вам не терпится, не начинайте по возможности обниматься в лифте. В «Принце Генрихе» любят за двойными дверями... Не робейте, господа, не бойтесь; если бы вы знали, кто только не удовлетворял здесь свои сексуальные по-

требности! В этих комнатах, освященных высокими ценами, побывали верующие и неверующие, злые и добрые. Двойной номер с ванной и бутылка шампанского в номер. Сигареты. Завтрак в половине одиннадцатого. Очень хорошо. Пожалуйста, распишитесь здесь, сударь, нет, здесь,—будем надеяться, что ты не так глуп и не назовешь свое настоящее имя. Эти записи действительно идут в полицию, там на них ставят печать, и они становятся документом, который может служить уликой. Смотри не доверяй властям, мой мальчик, они не хранят чужих тайн. Чем больше тайн они узнают, тем больше им нужно. А если ты к тому же был коммунистом, тогда остерегайся вдвойне. Я был им когда-то, и католиком тоже был. Полностью это не выветривается. До сих пор я не позволяю себе ничего в отношении некоторых людей, и никто не смеет в моем присутствии отпустить глупую шутку насчет Девы Марии или обругать отца Колпинга: таким молодчикам не поздоровится».

— Бой, отведи господ в номер сорок два. К лифту в ту сторону, сударь!

Ага, вас-то я и ждал, голубчики, любовники из породы нахальных: эти ничего не скрывают и хотят показать всему свету, что им сам черт не брат. Но, если вам *нечего скрывать*, зачем же вы напускаете на себя такой нахальный вид и изо всех сил стараетесь показать, что вам *нечего скрывать*? Если вам действительно *нечего скрывать*, то вы и не должны ничего скрывать. Пожалуйста, распишитесь здесь, сударь, нет, здесь. С этой дурицей я лично не хотел бы иметь ничего такого, что надобно скрывать. Нет, нет. С любовью дело обстоит так же, как с чаевыми. Здесь главное интуиция. По женщине сразу видно, стоит с ней что-нибудь скрывать или нет. С этой не стоит. Можешь мне поверить, парень. Шестьдесят марок за ночевку в отеле плюс шампанское в номер плюс часвые и завтрак, да еще деньги на подарки—нет, не стоит! От порядочной, уважающей себя шлюхи, которая знает свое ремесло, ты все же хоть кое-что получишь.

— Бой, господа взяли комнату сорок три.

О боже, до чего люди глупы!

— Да, господин директор, я сейчас приду, слушаюсь, господин директор.

Конечно, такие, как ты, словно нарочно созданы быть директорами отелей; они похожи на женщин, которым удалили определенные органы; для этих женщин уже нет проблем, но любви без проблем не бывает! Все равно как если бы человек удалил себе совесть. Из него не вышло бы даже циника. Человек без огорчений — это уже не человек. Когда-то ты был не директором, а боем, и я тебя учил, четыре года я муштровал тебя, а потом ты повидал свет: посещал всякие школы, изучал языки, а затем наблюдал в офицерских казино — несоюзников и союзников — варварские забавы пьяных победителей и побежденных, после чего ты незамедлительно вернулся к нам в отель, и первый вопрос, который ты задал, приехав сюда гладким, жирным и бессовестным, был: «Старик Йохен еще здесь?» Да, я еще здесь, все еще здесь, мой мальчик.

— Вы оскорбили этого господина, Кульгамме.

— Не намеренно, господин директор, собственно говоря, это нельзя считать оскорблением. Я мог бы назвать сотни людей, которые сочтут за честь быть со мной на «ты».

Верх наглости. Неслыханно!

— У меня это просто вырвалось, господин доктор Неттлингер. Я старик и нахожусь до некоторой степени под защитой параграфа пятьдесят первого.

— Господин Неттлингер требует удовлетворения.

— И притом безотлагательно. С вашего разрешения, я не считаю за честь быть на «ты» с гостиничными портье.

— Попросите у господина доктора извинения.

— Прошу извинения у господина доктора.

— Не таким тоном.

— А каким же тоном? Прошу извинения у господина доктора. Прошу извинения у господина доктора. Прошу извинения у господина доктора. Вот вам все три тона, на какие я только способен, а вы уж, пожалуйста, выберите себе тот, какой вас больше устраивает. Я, видите ли, не боюсь унижений. Я готов встать на колени перед вами, вот на этот ковер, и бить себя в грудь кулаками; но я — старик и тоже хочу, чтобы передо мной извинились. Здесь была предпринята попытка подкупа, господин директор. На карте стояла репутация нашей старинной, всеми уважаемой фирмы. Профессиональную тайну хотели купить за тридцать паршивых марок. Я считаю, что была затронута и моя честь, и честь фирмы, которой

я служу вот уже больше пятидесяти лет, точнее говоря, пятьдесят шесть лет.

— Прошу вас прекратить эту неприятную и смешную сцену.

— Сейчас же проводите этого господина в бильярдную, Кульгамме.

— Нет.

— Вы сейчас же проводите этого господина в бильярдную.

— Нет.

— Будет крайне прискорбно, Кульгамме, если стародавние отношения, связывающие вас с этой фирмой, прервутся из-за отказа выполнить простое приказание.

— В этом доме, господин директор, еще ни разу не пренебрегли желанием гостя не беспокоить его. Исключая, конечно, те случаи, когда в дело вмешивалась высшая власть, то есть тайная полиция. Тогда мы были бессильны.

— Рассматривайте мой случай как случай вмешательства высшей власти.

— Вы из гестапо?

— На такие вопросы я не отвечаю.

— А теперь проводите этого господина в бильярдную, Кульгамме.

— Вы, господин директор, первый, кто хочет запятнать репутацию нашего отеля!

— Я сам провожу вас в бильярдную, господин доктор.

— Только через мой труп, господин директор!

Надо быть таким продажным, как я, и таким старым, как я, чтобы знать: есть вещи, которые не продаются; порок перестает быть пороком, если нет добродетели, и ты никогда не поймешь, что такое добродетель, если не будешь знать, что даже шлюхи отказывают некоторым клиентам. Но мне пора усвоить, что ты свинья. Неделями я натаскивал тебя наверху в моей комнате, учил, как незаметно брать чаевые — медью, серебром, бумажками, — это тоже искусство, незаметно принимать деньги, ибо чаевые — душа нашей профессии. Да, когда-то я тебя натаскивал (заниматься с тобой было адски трудно), но ты и тогда уже пытался меня надуть, врал, что для занятий у нас было всего три монеты по одной марке, хотя их было четыре, одну монету ты хотел утаить. Ты всегда был свиньей, никогда не понимал, что существуют

вещи, которых «не делают», а теперь ты снова делаешь то, чего «не делают». За это время ты научился принимать чаевые и согласен взять даже меньше тридцати сребреников.

— Сейчас же вернитесь в холл, Кульгамме, этим господином я сам займусь. Отойдите, я вас предупреждаю.

Только через мой труп, а ведь уже без десяти одиннадцать; через десять минут он все равно спустится вниз. Если бы вы немножко соображали, этой комедии можно было бы избежать, но пусть осталось всего десять минут — только через мой труп. Вы никогда не знали, что такое честь, потому что не знали, что такое бесчестье. Вот я перед вами — Йохен, здешний фактотум, продажный старик, прошедший сквозь огонь и воду, но вы попадете в бильярдную только через мой труп.

3

Он уже давно просто гонял шары; отказавшись от правил, отказавшись от счета, он толкал шар то чуть заметно, то резко, казалось, без всякого смысла и цели; каждый раз, как шар ударялся о два других шара, из зеленого небытия возникала новая геометрическая фигура; это напоминало звездное небо, на котором несколько точек находятся в движении; он прочерчивал в небе орбиты комет — белые по зеленому полю, красные по зеленому полю, следы появлялись, а потом вновь исчезали, тихие шорохи извещали о возникновении новых фигур; если шар, который он толкал, ударялся о борта или о другие шары, шорохи слышались раз пять или шесть; в этом монотонном шуме можно было различить и отдельные звуки — глухие или звонкие; ломаные линии, по которым двигались шары, зависели от величины углов, подчинялись законам геометрии и физики; энергия, которую он посредством кия сообщал шару, и незначительная энергия трения — все это поддавалось вычислению, все это было запечатлено в его мозгу и благодаря определенным движениям запечатлевалось потом в геометрических фигурах, но фигуры не были застывшими и прочными, все было мимолетным и все снова исчезало, как только шар приходил в движение: иногда Фемель в течение полчаса играл одним шаром; белый шар, как единственная звезда в небе, катился по

зеленому полю, он катился легко и тихо, то была музыка без мелодии, живопись без образов, почти без цвета, одна только голая формула.

Бледный мальчик стоял в стороне, прислонясь к белой блестящей двери: руки он держал за спиной, ноги заложил одна за другую; он был в лиловой ливрее отеля «Принц Генрих».

— Вы мне сегодня ничего не расскажете, господин доктор?

Фемель оторвал взгляд от бильярда, отложил кий, взял сигарету, закурил, посмотрел на улицу, на которую падала тень церкви Святого Северина. Подмастерья, грузовики, монахини — улица жила своей жизнью: серый осенний свет, отражаясь от лиловых плюшевых портьер, казался почти серебристым; фигуры запоздалых гостей, завтракавших в ресторане отеля, были обрамлены портьерами; при этом освещении все выглядело порочным, даже яйца всмятку, а простодушные лица почтенных матрон казались лицами развратных женщин; кельнеры во фраках, в чьих глазах светилась готовность ко всему, напоминали вельзевулов — личных посланцев Асмодея. А ведь они были всего-навсего безобидными членами профсоюза, усердно изучавшими после работы передовицы в своей профсоюзной газетке; казалось, они скрывали лошадиные копыта в искусно сконструированной ортопедической обуви; разве на их белых, красных и желтых лбах не росли маленькие элегантные рожки? Сахар в позолоченных сахарницах не походил на сахар; здесь случались всевозможные превращения: вино не было вином, хлеб не был хлебом; в этом свете все становилось составной частью таинственных пороков; здесь священнодействовали, но имя божества нельзя было произносить вслух.

— Что же тебе рассказать, дитя мое?

Память его никогда не удерживала слова и образы, он помнил только движения. Отец... он знал его походку, затейливую кривую, которую при каждом шаге описывала его правая штанина с такой быстротой, что, когда отец утром проходил мимо лавки Греца, направляясь в кафе «Кронер», чтобы там позавтракать, темно-синяя подшивка брюк мелькала всего лишь на секунду. Мать... он помнил замысловатый и смиренный жест, каким она складывала руки на груди, перед тем как изречь очередную избитую истину: «Сколько зла в мире» или «Как мало чистых душ на свете»; руки матери,

казалось, выписывали эти слова в воздухе, прежде чем она произносила их вслух. Отто... он слышал его четкие шаги, когда тот проходил по коридору и спускался на улицу: «враг, враг» — башмаки Отто выстукивали это слово на каменных плитах лестницы, хотя много лет назад они выстукивали совсем другое слово: «брат, брат». Бабушка... он вспоминал движение, которое она делала целых семьдесят лет, он и теперь видел его много раз на дню, так как его повторяла Рут; это извечное движение, передавшееся по наследству, каждый раз пугало Фемеля; его дочь Рут никогда не видела своей прабабушки, откуда у нее этот жест? Ничего не подозревая, она откидывала волосы со лба так же, как ее прабабушка.

Он видел и себя самого — как он нагибался над грудой бит для игры в лапту, чтобы найти свою; вспоминал, как он перекатывал мяч в левой руке до тех пор, пока мяч наконец не ложился удобно, чтобы в решающий момент его можно было подбросить вверх на точно рассчитанную высоту; мяч падал вниз ровно столько времени, сколько надо было, чтобы и второй рукой схватить деревянную битку, размахнуться и изо всех сил ударить по мячу; тогда мяч залетал далеко за черту.

Он помнил себя на лужайке, на берегу реки, в парке, в саду; помнил, как он стоит, наклоняется, а потом, выпрямившись, ударяет по мячу. Все зависело от расчета; это дурачье и не подозревало, что время падения мяча можно вычислить, что с помощью того же секундомера можно определить, сколько секунд требуется, чтобы перехватить битку обеими руками, и что все остальное — лишь вопрос координации движений и тренировки; каждый день под вечер он тренировался на лужайке, в парке, в саду; они не подозревали, что существуют формулы, которые можно применить к удару, и весы, на которых можно взвешивать мячи. Для этого требовалось всего лишь минимальное знание физики и математики, а также тренировка, но они презирали науки, от которых все зависело, презирали и тренировку; они предпочитали жульничество во всем. Они проделывали разные трюки с растяжимыми и к тому же лживыми сентенциями и читали всякую дрянь, в то время как Гёльдерлин был для них китайской грамотой: даже такое простое слово, как «лот», теряло в их устах всякий смысл, а ведь лот — это воплощение ясности: веревка

и кусок свинца; его бросают в воду и, почувствовав, что свинец достиг дна, вытаскивают наверх; лотом измеряют глубину воды; но когда они говорили «измерить лотом», это только раздражало; они не умели ни играть в лапту, ни читать Гёльдерлина: *«И, сострадав, сердце Всевышнего твердым останется»*.

Они толпились возле него, чтобы помешать ему ударить, и кричали: «Давай, Фемель, бей, давай!» — а другая группа игроков в это время беспокойно металась на том конце поля, двое были уже далеко за чертой, где обычно падали мячи, мячи Роберта, которых все боялись; большей частью они падали на шоссе, где как раз тогда, в эту субботу, летом 1935 года, взмыленные гнедые лошади выезжали из ворот пивоварни; позади тянулась железнодорожная насыпь, маневровый паровозик выбрасывал в небо невинно-белые барашки дыма; направо у моста, ведущего к верфи, шипели газосварочные аппараты — рабочие в сверхурочные часы сваривали пароход «Сила через радость», — вспыхивали голубовато-серебристые искры, и клепальные молотки отбивали такт; на крошечных огородных участках новехонькие пугала тщетно угрожали воробьям; бледные пенсионеры с потухшими трубками томились в ожидании первого числа, когда им давали пенсию; воспоминание о движениях, которые Роберт тогда делал, — только оно одно пробудило в его памяти картины, слова и краски; и эта фраза «Давай, Фемель, давай!» всплыла в его сознании, когда он вспомнил свои движения. Вот мяч уже там, где ему полагалось лежать, Роберт только слегка удерживал его пальцами и мякотью ладони; сопротивление, которое придется преодолеть мячу, будет наименьшим, он уже держит свою битку, самую длинную из всех (ведь никого не интересовали законы рычагов), битку, обмотанную сверху лейкопластырем. Фемель бросил быстрый взгляд на ручные часы; до завершающего свистка учителя гимнастики оставалось всего три минуты и тридцать секунд, а Фемель так и не решил для себя вопрос, почему команда чужой гимназии, Принца Отто, не возражала против назначения их учителя гимнастики судьей в финальной игре. Учителя звали Бернхард Вакера, но школьники прозвали его Бен Уэкс; это был довольно тучный меланхолик, говорили, что он питает к мальчикам платоническую любовь; Вакера обожал пирожные со сбитыми сливками и слащавые сентиментальные фильмы, в которых сильные белокурые

юноши переплывали реки, а потом лежали на полянах, держа во рту травинку, и глядели в голубое небо, жаждая приключений; этот Бен Уэкс больше всего любил копию головы Антиноя, которая стояла у него дома среди фикусов и полок, забитых руководствами по гимнастике; он ласкал эту голову, делая вид, будто стирает с нее пыль; Бен Уэкс называл своих любимцев «мальчишечками», а остальных «сорванцами».

— Ну давай, сорванец,—сказал Бен Уэкс, пыхтя, живот у него колыхался, во рту он держал судейский свисток.

Но до конца игры все еще оставалось три минуты и три секунды—тринадцать лишних секунд. Если он бросит мяч сейчас, следующему игроку тоже удастся бросить мяч, и Шрелла, который там у черты ждет избавления, должен будет еще раз побежать, а игроки еще раз изо всей силы кинут мяч ему прямо в лицо или в ноги, метя в поясницу; трижды Роберт наблюдал, как это делается: кто-нибудь из чужой команды попадал мячом в Шреллу, потом Неттлингер, игравший в одной команде с ним и со Шреллой, перехватывал мяч и бросал его в кого-нибудь из противников, то есть попросту кидал ему мяч, и тот опять попадал в Шреллу, который корчился от боли, а потом Неттлингер опять перехватывал мяч и просто-напросто перебрасывал его игроку команды противника, и тот бросал мяч в лицо Шрелле, а Бен Уэкс стоял тут же и свистел—свистел, когда они попадали в Шреллу, свистел, когда Неттлингер просто перебрасывал мяч противнику, свистел, когда Шрелла, прихрамывая, пытался отбежать подальше; все шло с головокружительной быстротой, мячи летали взад и вперед; неужели только он один видел все это? Неужели положения Шреллы не замечал никто из многочисленных зрителей с пестрыми флажками в петлицах и в пестрых шапочках, которые в лихорадочном возбуждении ждали окончания игры? За две минуты пятьдесят секунд до конца счет был 34:29 в пользу гимназии Принца Отто; может, то, что видел он один, как раз и было причиной, почему противники согласились назначить Бена Уэкса, их учителя гимнастики, своим судьей.

— Ну, а теперь быстрее, малый, через две минуты я дам свисток!

— Прошу прощения, через две минуты пятьдесят се-

кунд,— ответил Роберт, высоко подбросил мяч, молниеносно перехватил битую обеими руками и ударил; по силе удара и по отдаче дерева, отбросившего мяч, он почувствовал, что это снова был один из его легендарных ударов; прищурившись, он пытался проследить глазами за мячом, но не мог его обнаружить; потом он услышал «ах», вырвавшееся из глоток зрителей, громовое «ах», расплывшееся подобно облаку, становившееся все громче; он увидел, как Шрелла, прихрамывая, подошел ближе; Шрелла шел медленно, на лице у него выделялись желтые пятна, около носа виднелась кровавая полоска; пока помощники судьи отсчитывали: «...семь, восемь, девять», остаток их команды издевательски медленно прошествовал мимо расщепившего Бена Уэкса; игра была выиграна, выиграна с убедительным счетом, хотя Роберт забыл побежать и выиграть десятое очко; «оттонцы» все еще искали мяч—они ползали далеко за дорогой в траве вдоль стены пивоварни; в заключительном свистке Бена Уэкса явственно прозвучала досада. «Счет 38:34 в пользу гимназии Людвига»,— объявил помощник судьи. «Ах» перешло в громкое «ура», прокатилось по всему полю, а в это время Роберт взял свою битую и воткнул ее нижним концом в траву, немного приподнял, снова опустил и, найдя, как ему казалось, правильный угол, наступил ногой на самую хрупкую часть биты, туда, где у ручки она утончалась; восхищенные гимназисты окружили Фемеля, все замолкли, охваченные волнением; они чувствовали, что здесь свершается чудо—Фемель ломает свою знаменитую битую; древесина на месте перелома казалась мертвенно-белой; гимназисты уже завязали драку, они ожесточенно бились за каждую щепку, как за реликвию, вырывали друг у друга обрывки лейкопластыря; Фемель с испугом смотрел на их разгоряченные, поглупевшие лица, на горящие возбуждением и восторгом глаза; здесь в этот летний вечер 14 июля 1935 года он ощутил горечь дешевой славы—в субботу на окраине города, на вытопанной лужайке, по которой Бен Уэкс в эту минуту гонял первоклассников гимназии Людвига, чтобы они собрали флажки, воткнутые по углам. Далеко за дорогой у стены пивоварни все еще виднелись сине-желтые майки, «оттонцы» искали мяч; но вот они робкими шагами перешли шоссе, собрались посреди поля, построились в одну шеренгу в ожидании его, капитана команды гимназии Людвига, который должен был про-

кричать «гип-гип ура»; он медленно подошел к обеим шеренгам — Шрелла и Неттлингер стояли рядом, словно ничего не произошло, решительно ничего, а тем временем младшие гимназисты дрались за щепки от его биты; Фемель сделал еще несколько шагов; восхищение зрителей он ощущал физически как нечто тошнотворное; он три раза прокричал «гип-гип ура»; «оттонцы», словно побитые собаки, опять побрели искать мяч; не найти мяч считалось несмыслимым позором.

— А ведь я знал, Гуго, что Неттлингеру очень хотелось победить! «Любой ценой добиться победы», — говорил он, и сам же поставил на карту нашу победу, лишь бы противники имели возможность все время бить в Шреллу, да и Бен Уэкс был с ними заодно; я понял это, единственный из всех.

Подходя к раздевалке, Роберт уже заранее боялся Шреллы и того, что он скажет. Вдруг стало заметно прохладнее, ползучий вечерний туман подымался с лугов, шел от реки, как бы обволакивая слоями ваты дом, где помещалась раздевалка. Почему, почему они так обращались со Шреллой? Подставляли ему ножку, когда на перемене он спускался по лестнице, и Шрелла ударялся головой о стальные края ступенек, а металлическая дужка очков впивалась ему в мочку уха; Уэкс тогда с большим опозданием появлялся из учительской, держа в руках аптечку, а Неттлингер с презрительной миной брал лейкопластырь, и Уэкс, туго натянув, отрезал от него кусок. Они нападали на Шреллу, когда тот шел домой, затаскивали его в подъезды, избивали около мусорных ведер и поломанных детских колясок, спихивали вниз с темных лестниц, ведущих в подвалы, и однажды он долго пролежал там со сломанной рукой; он лежал на лестнице, где валялись пыльные консервные банки и пахло углем и прорастающим картофелем, до тех пор, пока мальчик, которого послали за яблоками, подняв тревогу, не переполошил жильцов. Только несколько человек не участвовали в этой травле: Эндерс, Дришка, Швойгель и Хольтен.

Когда-то давно он дружил со Шреллой; они ходили вместе в гости к Тришлеру, жившему в Нижней гавани: отец Шреллы служил кельнером в пивной у отца Тришлера; они играли на старых баржах, на заброшенных понтонах и удили с лодки рыбу.

Он остановился перед раздевалкой и услышал возбужденные голоса, все говорили разом, хрипло, охваченные миротворческим волнением, они обсуждали легендарный полет мяча; можно было подумать, что мяч исчез в надзвездных сферах.

— Я ведь видел, как он летел, словно камень, пущенный из пращи великана.

— Я видел его — мяч, который забил Роберт.

— Я слышал, как он летел — мяч, который забил Роберт.

— Им его не найти — мяч, который забил Роберт.

Когда он вошел, они замолчали; во внезапно наступившей тишине чувствовался благоговейный страх перед тем, что он совершил, перед тем, чему никто не поверит, перед тем, что никому невозможно рассказать: кто, в самом деле, возьмется засвидетельствовать это чудо — описать полет мяча Роберта?

Они побежали босиком в душевые кабинки, перекинув через плечо мохнатые полотенца; только Шрелла не пошел с ними, он оделся, так и не приняв душа, и лишь сейчас Роберт вспомнил, что Шрелла никогда не принимал душа после игры. Он никогда не снимал майки; сейчас он сидел на скамейке, и фонари у него под глазами отливали желтым и синим; над губой, там, где он стер кровавую полоску, еще не совсем просохло; кожа на предплечье посинела от ударов мяча, того самого, который «оттонцы» все еще искали; Шрелла опустил рукава своей застиранной рубашки, потом надел куртку, вынул из кармана книгу и прочел вслух: *«Когда колокола под вечер возвещают мир»*.

Было мучительно сидеть вдвоем со Шреллой и читать благодарность в его бесстрастных глазах, слишком бесстрастных, чтобы ненавидеть; он поблагодарил своего спасителя, забившего последний мяч, лишь чуть заметным движением ресниц и мимолетной улыбкой; и Фемель так же мимолетно усмехнулся в ответ, затем повернул голову к металлической вешалке, разыскал свою одежду, решив поскорее исчезнуть, не моясь под душем; над его вешалкой кто-то уже успел нацарапать на оштукатуренной стене: «Мяч Фемеля, 14 июля 1935 года».

Пахло кожаными гимнастическими снарядами и сухой землей, которая осыпалась с футбольных и волейбольных мячей и с мячей для игры в лапту, а потом

забивалась в трещины бетонного пола; в углах стояли грязные зелено-белые флажки, рядом с расщепленным веслом были развешаны для просушки футбольные сетки, на стене висел пожелтевший от времени диплом за треснувшей стеклянной витриной: «Зачинателям футбольного спорта, старшекласникам гимназии Людвига, 1903 год. Председатель окружного спортивного общества». Групповой фотоснимок был обрамлен лавровым венком; на Фемеля взирали мускулистые восемнадцатилетние юноши рождения 1885 года, усатые, с животным оптимизмом глядевшие в будущее, которое уготовила им судьба: истлеть под Верденом, истечь кровью в болотах Соммы или же, покоясь на Кладбище героев у Шато-Тьерри, побудить пятьдесят лет спустя туристов, направляющихся в Париж, занести в попорченную дождем книгу примирительные сентенции, продиктованные торжественностью минуты; в раздевалке пахло железом, пахло ранней возмужалостью, с улицы проникал сырой туман, поднимавшийся легкими облаками с прибрежных лугов; из трактира наверху доносились низкие голоса мужчин, подгулявших в этот субботний вечер, хихиканье кельнерш, звон пивных кружек, а в конце коридора игроки в кегли уже принялись за работу — они бросали шары, и кегли летели кувырком; торжествующие или разочарованные выкрики партнеров неслись по всему коридору, вплоть до раздевалки.

Щурясь, несмотря на тусклое освещение, и зябко подняв плечи, Шрелла притулился у стены. Фемель не мог больше оттягивать разговор; он еще раз проверил, хорошо ли завязан галстук, разгладил последнюю складочку на воротнике своей спортивной рубашки — он был аккуратен, неизменно аккуратен, — еще раз засунул в ботинки концы шнурков и пересчитал мелочь, приготовленную на обратную дорогу; из душевых уже возвращались первые игроки, разговаривая «о мяче, который забил Роберт».

— Пошли вместе?

— Хорошо.

Они поднялись по обшарпанным бетонным ступенькам, на которых грязь лежала еще с весны, валялись бумажки от конфет и пустые пачки из-под сигарет, и вышли на дамбу, где гребцы, обливаясь потом, вкатывали лодку на цементную дорожку; в полном молчании брели они рядом по дамбе, перекинутой через низкие

пласты тумана, словно мост; они слышали паровозные гудки, видели красные и зеленые сигнальные огни на мачтах пароходов; от верфи летели красные искры, вычерчивая геометрические фигуры в сером небе; мальчики молча дошли до моста, поднялись по лестнице вверх, туда, где на красном песчанике были нацарапаны надписи, увековечившие тайные вожеления молодых людей, возвращавшихся с купанья; грохот товарного поезда, проезжавшего по мосту, на некоторое время избавил их от необходимости говорить: на западный берег везли отходы — шлак; покачивались сигнальные огни, пронзительные свистки направляли поезд, который, пятясь задом, переходил на другой путь; внизу в тумане скользили пароходы, держа курс на север; жалобный вой сирен, предупреждавший о смертельной опасности, тоскливо разносился над водой; из-за всего этого шума, к счастью, нельзя было разговаривать.

— И я остановился, Гуго, прислонясь к перилам, лицом к реке, вытащил из кармана пачку сигарет и предложил сигарету Шрелле, он дал мне прикурить, и мы молча курили, в то время как позади нас поезд, громахая, съезжал с моста; под нами почти беззвучно двигался караван барж, направляясь к северу; было слышно, как баржи мягко скользили под пеленой тумана да временами из трубы какой-нибудь судовой кухни с легким треском вылетали искры; на несколько минут воцарилась тишина, а потом следующая баржа мягко заскользила под мостом — на север, на север, к туманам Северного моря; и мне стало страшно, Гуго, потому что теперь мне надо было задать вопрос Шрелле, а я знал: стоит мне произнести первый вопрос, и я увязну во всей этой истории, увязну накрепко и никогда больше с ней не разделаюсь, видно, это была страшная тайна, если из-за нее Неттлингер поставил на карту нашу победу и «оттонцы» согласились, чтобы судьей был Бен Уэкс; стояла почти абсолютная тишина, и она придавала вопросу, который просился с моих губ, особый вес, она приобщала его к вечности, и мысленно, Гуго, я уже прощался со всем, хотя еще не знал, почему и ради чего; я прощался с темной башней Святого Северина, вздымавшейся над низко стелющимся туманом, и с отчим домом, тут же, неподалеку от Святого Северина; в это время моя мать заканчивала приготовления к ужину —

поправляла серебряные приборы, бережно уставляла цветы в маленьких вазочках, пробовала вино, достаточно ли охлаждено белое и не слишком ли остыло красное. Собираясь справить субботний день с субботней торжественностью, она уже взялась за свой требник; мать сейчас начнет объяснять воскресную литургию своим кротким голосом, в котором звучали покаянные великопостные ноты: «*Паси агнцев Моих*»; я мысленно прощался со своей комнатой в задней половине дома, выходящей в сад, где вековые деревья еще стояли в летнем уборе и где я со страстью углублялся в математические формулы, в строгие кривые геометрических фигур, в по-зимнему ясные переплетения сферических линий, проведенных моим циркулем и моим рейсфедером,— там я чертил церкви, которые когда-нибудь построю. Щелкнув пальцем по окурку, Шрелла швырнул его в туман; красный огонек, медленно кружась, опускался вниз; Шрелла с улыбкой повернулся ко мне, ожидая вопроса, который я все еще не решался задать, и покачал головой.

Цепочка огней отчетливо вырисовывалась над пеленой тумана на берегу.

— Идем,— сказал Шрелла,— вот они уже явились, разве ты не слышишь?

Я слышал: мост дрожал от их шагов; они перечисляли места, куда скоро поедут на каникулы: Альгой, Вестервальд, Бадгастайн, Северное море; они говорили «о мяче, который забил Роберт». На ходу мне было легче задать ему вопрос.

— Что это значит? — спросил я.— Что это значит? Ты — еврей?

— Нет.

— Кто же ты тогда?

— Мы — агнцы,— сказал Шрелла,— мы поклялись не принимать «*причастие буйвола*».

— Агнцы.— Я испугался этого слова.— Это секта? — спросил я.

— Пожалуй.

— А не партия?

— Нет.

— Я бы не смог,— сказал я,— я не могу быть агнцем.

— Значит, ты хочешь принимать «*причастие буйвола*»?

— Нет,— сказал я.

— Пастыри...— сказал он,— есть пастыри, которые не покидают своего стада...

— Скорее,— прервал я его,— скорее, они уже совсем близко.

Мы сошли вниз по темной лестнице на западной стороне моста; когда мы добрались до шоссе, я колебался секунду: чтобы пойти домой, мне нужно было свернуть направо, а Шрелле налево,— но потом я все же отправился с ним налево; дорога к городу петляла между дровяными складами, сараями и небольшими огородами. За первым же поворотом мы остановились, теперь мы углубились в туман, низко стелющийся над землей, увидели, как силуэты школьных товарищей движутся над перилами моста, услышали шум их шагов, их голоса, а когда они начали спускаться вниз и эхо загрохотало, повторяя стук подбитых гвоздями башмаков, чей-то голос прокричал: «Неттлингер, Неттлингер, подожди же!» Громкий голос Неттлингера в свою очередь разбудил над рекой гулкое эхо; разбившись о быки моста, оно вернулось к нам, а потом затерялось где-то позади в огородах и в складских помещениях; Неттлингер закричал: «Где же наша овечка и ее пастырь?» — и смех, многократно повторенный раскатами эха, осыпал нас ледяными осколками.

— Ты слышал? — спросил Шрелла.

— Да,— сказал я,— овца и пастырь.

Мы смотрели на тени замешкавшихся мальчиков, которые двигались над мостом; пока они спускались, их голоса звучали глухо, а когда они пошли по шоссе, голоса стали звонче, дробясь под сводами моста: «Мяч, который забил Роберт».

— Расскажи мне все по порядку,— сказал я Шрелле.— Я должен знать все по порядку.

— Я тебе просто покажу,— ответил Шрелла,— пошли.

Мы ощупью пробирались сквозь туман мимо изгородей из колючей проволоки, потом дошли до деревянного забора, еще пахнущего свежим деревом и отсвечивающего желтым; электрическая лампочка над закрытыми воротами освещала эмалевую вывеску: «Михаэлис. Уголь, кокс, брикеты».

— Ты еще помнишь эту дорогу? — спросил Шрелла.

— Да,— сказал я,— семь лет назад мы часто ходили здесь вместе, а потом играли там внизу у Тришлера. Кем стал теперь Алоиз?

— Он моряк, как и его отец.

— А твой отец все еще служит кельнером внизу в портовом кабачке?

— Нет, он теперь работает в Верхней гавани.

— Ты хотел что-то показать мне?

Шрелла вынул изо рта сигарету, снял куртку, спустил с плеч подтяжки, поднял рубаху и повернулся ко мне спиной; при тусклом свете лампочки я увидел, что его спина сплошь покрыта небольшими красновато-синими рубцами величиной с фасолину—правильней было бы сказать, усеяна рубцами, подумал я.

— Боже мой, что это?—спросил я.

— Это—Неттлингер,—ответил он,—они занимаются этим внизу, в старой казарме на Вильгельмскуле, Бен Уэкс и Неттлингер. Они называют себя вспомогательной полицией; меня они схватили во время облавы на нищих, которую устроили в районе гавани; за один день там взяли тридцать восемь нищих, среди них был и я. Нас допрашивали, избивая бичом из колючей проволоки. Они говорили: «Признайся, что ты нищий», а я отвечал: «Да, я нищий».

Запоздалые посетители все еще сидели за завтраком в ресторане, потягивая апельсиновый сок с таким видом, словно это запретный напиток; бледный мальчик, прислонившийся к двери, походил на статую; от лилового бархата ливреи лицо его казалось зеленым.

— Гуго, Гуго, ты слышишь, что я говорю?

— Да, господин доктор, слышу каждое слово.

— Принеси мне, пожалуйста, рюмку коньяку, двойную порцию.

— Да, господин доктор.

Пока Гуго спускался по лестнице в ресторан, на него суровым оком взирало время с большого календаря, с которым мальчик каждое утро возился—он переворачивал большую картонную цифру и вдвигал под нее табличку с наименованием месяца, а еще ниже—года; было «6 сентября 1958 года». У Гуго кружилась голова, все эти события произошли задолго до его рождения, и это отбрасывало его на десятилетия, на пятидесятилетия назад—1885, 1903 и 1935, эти годы были скрыты в глуби времен, и все же они реально существовали; они воскресли в голосе Фемеля, который, прислонясь к биль-

ярд, смотрел на площадь перед Святым Северином. Гуго крепко держался за перила и глубоко дышал, как человек, который выплыл на поверхность; потом он открыл глаза и быстро шмыгнул за большую колонну.

Вот она спускается по лестнице, босая, в пастушеском наряде — поношенная кожаная безрукавка закрывает ей грудь и бедра, от девушки пахнет овечьим навозом; сейчас она примется за пшеничную кашу с черным хлебом, съест несколько орехов и будет пить овечье молоко, которое хранят для нее в холодильнике; она возит с собой термосы с молоком, возит маленькие коробочки с овечьим навозом, который заменяет ей духи; она пропитывает им свое грубое вязаное белье из небеленой шерсти; после завтрака она часами сидит в холле внизу, вяжет, вяжет без конца, прерывая это занятие только для того, чтобы подойти к стойке и взять стакан воды; скрестив голые ноги на кушетке, выставив на всеобщее обозрение грязные мозоли на ступнях и покуривая короткую трубочку, она принимает своих отроков и отроковиц, которые одеты так же, как она, и пахнут, как она; они усаживаются вокруг нее на ковре, скрестив ноги, и вяжут, время от времени открывая маленькие коробочки, которые дает им Госпожа, и вдыхая запах овечьего навоза с таким видом, словно это самый изысканный аромат; через определенные промежутки времени, не вставая с кушетки, она откашливается и спрашивает своим детским голоском:

— Как мы спасем мир?

А отроки и отроковицы отвечают:

— Овечьей шерстью, овечьей кожей, овечьим молоком и вязаньем.

Спицы позвякивают, в холле тихо, и только время от времени кто-нибудь из отроков подлетает к стойке и приносит Госпоже стакан холодной воды, и снова с кушетки доносится кроткий девичий голосок: «В чем блаженство мира?» — и все хором отвечают: «В овце».

Порой, когда они открывали коробочки и восторженно нюхали навоз, с треском вспыхивал магний и скрипели перья журналистов, быстро строчивших что-то на листках своих записных книжек.

Гуго медленно отступал все дальше, пока овечья жрица, огибая колонну, шла в зал завтракать: Гуго боялся ее, он видел, какими жесткими становились ее кроткие глаза, когда она оставалась с ним наедине, перехватив его на лестнице или у себя в номере, куда

приказывала Гуго принести ей молоко; она встречала его с сигаретой во рту, вырывала у него из рук стакан и, смеясь, выплескивала молоко в раковину, а себе наливала коньяк и с рюмкой в руках подходила к нему, заставляя его медленно пятиться к двери.

— Неужели тебе еще никто не говорил, что твое лицо — золото, чистое золото, глупый ты мальчик? Хочешь, я сделаю тебя агнцем божьим в моей новой религии? Ты будешь знаменит и богат, они падут пред тобой ниц в еще более шикарных отелях, чем этот. Ты, видно, здесь новичок и плохо знаешь людей — их скуку можно разогнать только какой-нибудь новой религией, и чем глупее, тем лучше,— нет, убирайся, ты слишком глуп.

Он смотрел ей вслед, пока она с неподвижным лицом проходила в ресторан завтракать и кельнер держал перед ней дверь. Тогда Гуго вышел из-за колонны и медленно направился в зал, сердце у него все еще сильно билось.

— Рюмку коньяку для доктора в бильярдной, двойную порцию.

— Из-за твоего доктора заварилась хорошая каша.

— Как так?

— Я еще сам толком не знаю. Кажется, кому-то он срочно понадобился, твой доктор. На тебе коньяк, и побыстрее сматывайся, за тобой охотится по меньшей мере два десятка старых и молодых баб. Да живет, одна из них как раз спускается по лестнице.

Вид у нее был такой, словно она за завтраком пила чистую желчь, она была в золотистом платье и золотых туфлях, в шляпке и с муфтой из львиного меха. Стоило ей появиться, как всех охватывало отвращение, некоторые суеверные постояльцы закрывали себе лицо. Из-за нее отказывались от места горничные, кельнеры не желали ее обслуживать. И только Гуго, когда ей удавалось его настичь, вынужден был часами играть с ней в канасту, пальцы ее походили на куриные когти; единственно человеческое, что в ней было,— это сигарета, торчавшая во рту.

«...Любовь, мой мальчик... Я никогда не знала, что это такое; все, решительно все дают мне понять, что я вызываю только чувство омерзения. Мать проклинала меня десять раз на дню, не стесняясь, выражала мне свое отвращение. Моя мать была красивая молодая женщина; мой отец, мои сестры и братья тоже были молодые

и красивые; если бы у них хватило мужества, они бы меня отравили, они говорили, что «такой, как я, не следовало родиться». Мы жили высоко на горе в желтой вилле над сталелитейным заводом; вечерами тысячи рабочих покидали завод: их ожидали веселые девушки и женщины; смеясь, рабочие спускались вместе со своими подружками по грязной дороге. Я вижу, слышу, чувствую, я ощущаю запахи, как все другие люди, я умею писать, читать, считать; я различаю, что вкусно и что невкусно, но ты первый, кто оказался в состоянии провести со мной больше получаса, слышишь, первый».

Эта женщина вселяла ужас, и за ней неотступно следовала тень беды; бросив ключ от номера на конторку, она крикнула бою, который заменял Йохена: «Гуго, где же Гуго?» — а когда бой пожал плечами, пошла к вращающейся двери; как только женщина вышла на улицу, она закрыла лицо вуалью.

«В отеле я ее не ношу, мой мальчик, пусть люди получают удовольствие, пусть за мои деньги смотрят мне в лицо, но прохожие... они этого не заслужили».

— Вот коньяк, господин доктор!

— Спасибо, Гуго.

Гуго любил Фемеля; каждое утро тот приходил в половине десятого и освобождал его до одиннадцати; благодаря Фемелю он уже познал чувство вечности; разве так не было всегда, разве уже сто лет назад он не стоял здесь у белой блестящей двери, заложив руки за спину, наблюдал за тихой игрой в бильярд, прислушиваясь к словам, которые то отбрасывали его на шестьдесят лет назад, то бросали на двадцать лет вперед, то снова отбрасывали на десять лет назад, а потом внезапно швыряли в сегодняшний день, обозначенный на большом календаре. Белые шары катились по зеленому полю, красные по зеленому — красно-белые по зеленому, — никогда не вылетая за пределы двух квадратных метров зеленого сукна, окруженного бортами; все здесь было чисто, ясно и точно и продолжалось с половины десятого до одиннадцати утра; раза два-три Гуго спускался вниз за двойной порцией коньяка; время переставало быть величиной, по которой можно было о чем-то судить, прямоугольная зеленая промокашка сукна, казалось, всасывала его; напрасно били часы, напрасно стрелки в бессмысленной спешке гнались друг за другом; с приходом Фемеля все останавливалось, все прекращалось,

и как раз тогда, когда было больше всего работы: старые постояльцы съезжали, новые появлялись, а Гуго стоял здесь как прикованный, пока на башне Святого Северина не пробьет одиннадцать. Но когда это будет? Кто знает, когда пробьет одиннадцать? Он находился как бы в безвоздушном пространстве, и часы переставали показывать время; он погружался куда-то очень глубоко, двигался по дну океана; действительность не проникала сюда, она оставалась снаружи, будто за стенками аквариума или за стеклами витрин; прильнув к ним, она сплющивалась, теряла свою объемность, сохраняя лишь одно линейное измерение, словно картинка, вырезанная из детского альбома; люди там, снаружи, казалось, набросили на себя одежды только на время, как картонные куклы, и беспомощно ударялись о стены из стекла, которые были толще, чем столетия; вдали виднелась тень Святого Северина, еще дальше — вокзал и поезда: курьерские поезда, поезда дальнего следования, экспрессы, воинские эшелоны и товарные составы, все они везли чемоданы к таможням, но единственной реальностью были три бильярдных шара, которые катились по зеленой промокашке, образуя все новые и новые геометрические фигуры; на двух квадратных метрах в тысяче образов рождалась бесконечность; Фемель создавал ее своим кием, а тем временем голос его терялся в глубинах времен.

— А продолжение у этой истории будет, господин доктор?

— Хочешь узнать его?

— Да.

Фемель засмеялся, пригубил рюмку с коньяком, закурил новую сигарету, взял в руки кий и толкнул красный шар; красный и белый шары покатались по зеленому полю.

— Через неделю после этого, Гуго...

— После чего?

Фемель опять рассмеялся.

— ...прошла неделя после игры в лапту, после этой даты — четырнадцатого июля тысяча девятьсот тридцать пятого года, которую они нацарапали на штукатурке поверх металлической вешалки, и я понял, как хорошо, что Шрелла напомнил мне дорогу к дому Тришлера. Я стоял в Нижней гавани, у балюстрады старой таможни; оттуда я мог хорошо обозреть дорогу, пробегавшую мимо дровяных сараев и угольных складов, спускавшуюся к лавке строительных материалов, а затем

к гавани, которая была обнесена ржавой железной оградой — теперь она служила только кладбищем кораблей. Последний раз я приходил сюда семь лет назад, но мне казалось, что с того времени прошло лет пятьдесят. Мне минуло тринадцать, когда мы вместе со Шреллой ходили к Тришлеру; длинные караваны барж становились по вечерам на якорь у откоса; жены моряков с кошелками в руках поднимались по шатким сходням на берег, у женщин были свежие лица и уверенный взгляд, а за ними шли мужчины; они спрашивали пиво и газеты; мать Тришлера с беспокойством оглядывала свои товары — капусту, помидоры и золотистые луковицы, связки которых висели на стене, а в это время пастух на дороге короткими резкими окриками понукал собак, сгонявших овец в загоны; напротив, на этом, здешнем, берегу, Гуго, зажигались газовые фонари; желтоватый свет наполнял белые колпаки, рядами убежавшие на север, в бесконечность; отец Тришлера зажигал фонари в своем кафе в саду, а отец Шреллы с белой салфеткой, перекинутой через руку, торопился в трактир для грузчиков, где мы, мальчики — Тришлер, Шрелла и я, — кололи лед, чтобы засыпать им ящики с пивом.

И вот, милый Гуго, семь лет спустя, в тот день, двадцать первого июля тысяча девятьсот тридцать пятого года, на всех заборах облупилась краска, и я увидел, что на угольном складе Михаэлиса заново выкрашены только ворота: у забора истлевала большая куча брикетов; я все время следил за петлями дороги — не преследует ли меня кто-нибудь; я устал, раны на спине давали себя знать, боль ощущалась вспышками, подобно ударам пульса; уже минут десять как на дороге никто не появлялся, я взглянул на узкую, покрытую рябью полосу прозрачной воды, соединявшую Нижнюю гавань с Верхней; лодок не было, взглянул на небо — самолетов тоже не было, и подумал: ты, видно, принимаешь себя слишком всерьез, если воображаешь, что за тобой пошлют самолеты.

Да, я это сделал, Гуго, отправился вместе со Шреллой в маленькое кафе «Цонз» на Бауссерештрассе, где встречались «агнцы», шепнул хозяину пароль «Паси агнцев Моих» и поклялся, поклялся, глядя прямо в глаза молоденькой девушке, которую звали Эдит, никогда не принимать «причастия буйвола», а потом в темной задней комнате произнес речь, в которой звучало немало зловещих слов, не имеющих ничего общего с агнцами,

эти слова пахли кровью, мятежом и местию, местию за Ферди Прогульске, которого утром казнили; все те, кто сидел за столом и слушал меня, казались уже обезглавленными; им было страшно, они знали теперь, что, когда дети задумали что-нибудь всерьез, они не менее серьезные, чем взрослые; их мучил страх и сознание того, что Ферди действительно мертв; ему было семнадцать лет, он был бегуном на сто метров и работал подмастерьем у столяра; я видел его всего четыре раза, но никогда в жизни не забуду — дважды я видел его в кафе «Цонз» и дважды у нас дома. Ферди прокрался в квартиру Бена Уэкса, и когда тот вышел из спальни, бросил ему под ноги бомбу; Бен Уэкс отделался всего лишь ожогом ног, в гардеробе разбилось зеркало, в комнате слегка запахло порохом... Это было, Гуго, глупостью, совершенной оттого, что Ферди по-детски понимал благородство. Ты слушаешь меня, ты в самом деле меня слушаешь?

— Слушаю!

— Я читал Гёльдерлина: *«И, сострадав, сердце Все-вышнего твердым останется»*, а Ферди читал только Карла Мая, который, как ему казалось, тоже проповедовал благородство; свою глупость он искупил под топором палача; это случилось на рассвете, когда колокола звонили к ранней мессе, когда булочники отсчитывали теплые булочки в полотняные мешочки, а здесь, в отеле «Принц Генрих», приносили завтрак первым посетителям; щебетали птицы, молочницы в туфлях на резиновой подошве неслышно входили в тихие парадные, чтобы поставить бутылки с молоком на чистые кокосовые циновки; рассыльные на мотоциклах носились по всему городу от одного афишного столба к другому, наклеивая плакаты, обведенные красной каймой: «Смертный приговор подмастерью Фердинанду Прогульске!» — плакат, который читали первые прохожие, трамвайщики, школьники и учителя, все те, кто по утрам с бутербродами в карманах спешит к остановкам трамвая и еще не успел раскрыть местную газету, сообщавшую об этом событии броским заголовком «Поучительная казнь»; я, Гуго, прочел это вот здесь, на углу, ожидая седьмой номер трамвая.

Когда я слышал голос Ферди по телефону, вчера или позавчера? «Ты ведь придешь в кафе «Цонз», как условлено?» Пауза. «Придешь или не придешь?» — «Приду».

Эндерс хотел втащить меня за рукав в трамвай, но

я вырвался, дождался, когда трамвай скроется за углом, подбежал к остановке на противоположной стороне улицы, где до сих пор еще ходит шестнадцатый номер, проехал через тихие пригороды к Рейну, а потом снова прочь от Рейна и все дальше от города, пока трамвай не завернул наконец на круг к конечной остановке, петляя между гравийными карьерами и бараками. Лучше бы сейчас была зима, думал я, зима, холод, дождь и небо, покрытое тучами, но зимы не было, и все казалось мне невыносимым; плутая между огородами, я видел абрикосы и горох, помидоры и капусту; я слышал, как дребезжат пивные бутылки и звонит колокольчик мороженщика, который стоял на перекрестке и накладывал ванильное мороженое в ломкие вафли. Как они только могут, думал я, как они могут есть мороженое, пить пиво и мять в руках абрикосы в то время, как Ферди... Было около полудня, я скармливал свои бутерброды угрюмым курам, которые чертили неясные геометрические фигуры на грязной земле во дворе у старьевщика; из окна раздался женский голос: «Ты читал про этого мальчика, которого...» — и мужской голос произнес в ответ: «Молчи же, черт побери, знаю...» Я бросил бутерброды курам, побежал дальше и начал блуждать между железнодорожными насыпями и ямами с грунтовой водой, добрался опять до какой-то конечной остановки, проехал через незнакомые пригороды, вышел, вывернул наизнанку карманы брюк: на серую дорогу тоненькой струйкой посыпался черный порошок; я побежал дальше, снова замелькали железнодорожные насыпи, склады, фабрики, огороды, дома; в каком-то кино кассирша как раз подняла стекло в окошке: «Сеанс в три часа». Было ровно три. «Пятьдесят пфеннигов». Я был единственным зрителем; железная крыша кино плавилась от жары; любовь... кровь... обманутый любовник обнажил нож... Я заснул и проснулся лишь в тот момент, когда зрители с шумком устремились в зал на шестичасовой сеанс; шатаюсь, я вышел на улицу. Где я забыл свой школьный портфель? В кино? А может, у гравийного карьера, я долго сидел там, наблюдая за мокрыми грузовиками. Возможно также, портфель остался в том месте, где я бросал хлеб угрюмым курам. Когда я слышал голос Ферди по телефону, вчера или позавчера? «Ты ведь придешь в кафе «Цонз», как условлено?» Пауза. «Придешь или не придешь?» — «Приду».

Свидание с обезглавленным. Глупость, которая уже

сейчас казалась мне священной, потому что за нее пришлось платить дорогой ценой. Вчера перед кафе «Цонз» меня ожидал Неттлингер. Они привели меня на Вильгельмскуле, избили бичом из колючей проволоки, исполосовали мне всю спину; сквозь ржавые решетки на окнах я видел откос, где играл ребенком; мяч все время скатывался по склону, и я то и дело сползал вниз и подымал мяч, боязливо вглядываясь в ржавые решетки; у меня было такое чувство, будто там, за грязными стеклами, свершаются недобрые дела; Неттлингер живого места на мне не оставил.

В камере я попытался снять с себя рубаху, но рубаха и кожа были совершенно искромсаны, они превратились в сплошное месиво, и когда я тянул за воротник и за рукава рубахи, мне казалось, что я через голову сдираю с себя кожу.

Нелегко даются такие мгновения; усталый, стоял я у балюстрады старой таможни, ощущая не столько гордость за то, что отмечен врагами, сколько боль; голова моя опустилась на перила, губы коснулись ржавых железных прутьев; было приятно ощущать во рту горечь старого железа; до Тришлеров — всего лишь минута ходу, там я узнаю, ожидают ли они меня. Я испугался: какой-то рабочий с котелком под мышкой шел вверх по улице, а потом скрылся в воротах лавки строительных материалов. Спускаясь по лестнице, я так крепко вцепился в перила, что к ладоням пристала ржавчина.

От веселого перестука клепальных молотков, который я слышал здесь семь лет назад, остался сейчас только слабый отголосок; всего лишь один молоток стучал на понтоне, где какой-то старик разбирал лодку: гайки, загремев, падали в коробку, доски ударялись о землю, и по стуку было ясно, что они совсем гнилые; старик выслушивал мотор так, как выслушивают сердце любимого существа; он низко нагибался, вытаскивая из лодки различные детали — болты, крышки, насадки; потом он поднял к свету цилиндр, и прежде чем бросить его в коробку с гайками, долго разглядывал и даже обнюхивал; за лодкой стоял старый ворот, на котором висел обрывок каната, гнилой, как истлевший чулок.

Воспоминания о людях и событиях были всегда связаны для меня с воспоминаниями о движениях,

которые запечатлевались в моей памяти в виде геометрических фигур. Я помню, как перегнулся через балюстраду, как поднял и опустил голову, поднял и опустил, чтобы осмотреть улицу,— воспоминание обо всем этом вновь вызвало в моем сознании слова, краски, образы и ощущения. Я не вспомнил, как выглядел Ферди, зато я вспомнил, как он зажигал спичку, как он слегка откидывал голову, говоря «да-да», «нет-нет», вспомнил складки на лбу Шреллы и как он пожимал плечами, походку отца, жесты матери, движение, каким бабушка убирала волосы со лба; старик, на которого я смотрел с откоса, в этот миг сбивал с большого винта кусочки прогнившего дерева; то был отец Тришлера — эти движения были свойственны только ему одному; когда-то я наблюдал за ним, видел, как он вскрывал ящики и снова забивал их гвоздями; в ящиках была контрабанда, которая тайно переправлялась через границу в темном чреве пароходов,— ром, изюм, сигареты и шоколад; там, в трактире для грузчиков, эта рука делала движения, присущие ей одной. Старик поднял глаза, подмигнул мне и сказал:

— Послушай, сынок, ведь эта дорога никуда не ведет.

— Она ведет к вашему дому,— ответил я.

— Мои гости приезжают ко мне по воде, даже полиция, да и мой сын тоже приезжает на лодке, правда, он приезжает редко, очень редко.

— Полиция уже там?

— Почему ты об этом спрашиваешь, сынок?

— Потому что меня ищут.

— Ты что-нибудь украл?

— Нет,— сказал я,— просто я отказался принимать *«причастие буйвола»*.

Корабли, думал я, корабли с темным чревом и капитаны, умеющие обманывать таможенников, я займу не много места, не больше, чем свернутый в трубку ковер; я хочу перебраться через границу, запятанный в свернутый парус.

— Спускайся вниз,— сказал Тришлер,— наверху тебя могут увидеть с того берега.

Я повернулся и начал медленно скользить вниз к Тришлеру, цепляясь за траву.

— Ах,— сказал старик,— я знаю, кто ты, но за-памятовал твое имя.

— Фемель,— сказал я.

— Ясно, тебя ищут, и сегодня утром даже объявили об этом по радио, я мог и сам догадаться, что речь идет о тебе, ведь они назвали твою приметку — красный шрам на переносице; ты ударился головой о железный борт лодки во время паводка, когда мы переплывали через реку и налетели на доски моста, — я тогда не сообразил, что течение такое сильное.

— Да, и мне не разрешили больше здесь бывать.

— Но ты еще бывал здесь.

— Недолго, до тех пор, пока не поссорился с Алоизом.

— Пойдем, только смотри нагнись, когда будем проходить под разводным мостом, иначе опять набьешь себе шишку и тебе больше не разрешат здесь бывать. Как тебе удалось удрать от них?

— Неттлингер пришел на рассвете ко мне в камеру и вывел меня через подземный ход, который тянется до самой железнодорожной насыпи на Вильгельмскуле. Неттлингер сказал: «Сматывайся, беги! Но в твоём распоряжении только один час, через час я должен сообщить о тебе полиции», — мне пришлось петлять по всему городу, чтобы добраться сюда.

— Так, так, — сказал старик, — значит, вам приспичило бросать бомбы! Приспичило устраивать заговоры и... Вчера я уже переправил одного парня через границу.

— Вчера? — спросил я. — Кого?

— Шреллу, — сказал он, — он здесь скрывался, и я заставил его уехать на «Анне Катарине».

— Алоиз когда-то хотел стать рулевым на «Анне Катарине».

— Он и стал рулевым на «Анне Катарине»... а теперь пошли.

Когда мы пробирались по берегу вдоль наклонной стенки набережной к дому Тришлера, я споткнулся и упал, встал и опять упал, и еще раз встал; от толчков моя рубашка то отрывалась от кожи, то снова прилипала к ней и опять отрывалась; я невольно бередил свои раны и чуть было не потерял сознание от боли; в этом состоянии краски, запахи и движения, навеянные тысячей воспоминаний, смешивались воедино и наслаивались друг на друга, но боль вытесняла эти пестрые письмена, мелькавшие как в калейдоскопе.

Половодье, думал я, мне всегда хотелось броситься в разлившуюся реку и дать отнести себя к серому горизонту.

В забытьи меня долго мучил вопрос, можно ли спрятать в котелок бич из колючей проволоки; воспоминания о движениях превращались в линии; линии, соединяясь между собой, складывались в геометрические фигуры — зеленые, черные, красные, они напоминали кардиограмму, изображающую биение человеческого сердца; взмах, которым Алоиз Тришлер вытаскивал свою удочку, когда мы ловили рыбу в Старой гавани, жест, которым он забрасывал в воду леску с наживкой, и жест, которым он указывал на быстрое течение, — все это было точной геометрической фигурой, нарисованной зеленым по серому; Неттлингер, подымающий руку, чтобы бросить Шрелле мяч в лицо, дрожь его губ, подергивание его ноздрей превратились в серую фигуру, похожую на паутину: казалось, какие-то самопишущие аппараты, неизвестно откуда взявшиеся, запечатлели в моей памяти образы различных людей: лицо Эдит вечером после игры в лапту, когда я шел домой со Шреллой, и оно же за городом в Блессенфельдском парке — тогда я смотрел на него сверху вниз, мы лежали в траве, и лицо ее было мокрым от теплого дождя, серебристые капли поблескивали на ее белокурых волосах и скатывались по бровям, лицо Эдит дышало, а вместе с ним подымалась и опускалась корона из серебристых капель. Эта корона в моих воспоминаниях походила на скелет диковинного морского животного, найденный на песке ржавого цвета, или на бесчисленные облачка одной и той же величины; я вспомнил линию ее губ, когда она говорила мне: «Они тебя убьют». То была Эдит.

В забытьи меня мучил также потерянный школьный портфель, ведь я всегда был так аккуратен; то я хватывал серо-зеленый том Овидия из клюва тощей курицы, то препирался с билетершей в кино из-за стихотворения Гёльдерлина, которое она вырвала из моей хрестоматии, так как оно ей очень понравилось: *«И, сострадав, сердце Всевышнего твердым останется»*.

Ужин, принесенный госпожой Тришлер, — стакан молока, яйцо, хлеб и яблоко; госпожа Тришлер обмыла вином мою истерзанную спину; ее руки были проворны, словно руки молодой девушки; боль вспыхнула во мне с новой силой, когда она выжимала губку с вином и вино текло по моей иссеченной спине; а потом она принялась лить на нее масло.

— Откуда вы знаете, что так надо? — спросил я.

— Можешь прочесть в Библии, как это делают, —

сказала она, — я уже обмывала раны твоему другу Шрелле! Алоиз послезавтра будет здесь, а в воскресенье он пойдет из Рурорта в Роттердам. Будь спокоен, — сказала она, — уж они все устроят; на реке люди знают друг друга, как будто век прожили на одной улице. Хочешь еще молока, дружок?

— Нет, спасибо.

— Не бойся, в понедельник или во вторник ты уже будешь в Роттердаме. Что такое, что с тобой?

Ничего, ничего. Меня все еще разыскивали по красному шраму на переносице. Отец, мать, Эдит: я не хотел ни определять степень моей нежности к ним, ни изливать свою тоску по этим людям в бесконечных жалобах; я смотрел на веселую реку с белыми праздничными пароходами и пестрыми вымпелами; веселыми казались даже грузовые суда — красные, зеленые, синие, — они сновали взад и вперед, груженные углем и дровами; на том берегу виднелась зеленая аллея и белоснежная терраса кафе «Бельвю», а за ними — башня Святого Северина и красная световая реклама на отеле «Принц Генрих». Оттуда было всего сто шагов до дома моих родителей; как раз сейчас они садились за ужин, за грандиозную трапезу; во главе стола, подобно патриарху, восседал мой отец; субботу у нас справляли с субботней торжественностью; и мать беспокоилась: не слишком ли остыло красное вино и достаточно ли охлаждено белое.

— Выпей еще молока, дружок.

— Спасибо, госпожа Тришлер, мне, право, не хочется.

Рассыльные на мотоциклах носились по городу от одного афишного столба к другому с плакатами, обрамленными красной каймой: «Смертный приговор гимназисту Роберту Фемелю...» Отец будет молиться за ужином: «...они били его ради нас», мать смиренно сложит руки на груди, прежде чем сказать: «Сколько зла в мире. Как мало чистых душ на свете», а башмаки Отто все еще будут выстукивать слово «брат», когда он пройдет по квартире, по каменным плиткам лестницы и по улице, удаляясь вниз к Модестским воротам.

Там, на реке, гудела «Стилте», пронзительные звуки сирены прорезали вечернее небо и, словно белые молнии, бороздили темную синеву. Я лежал на брезенте, будто умерший в открытом море, которого решили похоронить

в морской пучине. Алоиз поднял края брезента, чтобы завернуть меня, и я ясно различил слова, вытканные белыми буквами на сером брезенте: «Морвин. Эймёйден». Госпожа Тришлер склонилась надо мной и, плача, поцеловала, а Алоиз медленно завернул меня и бережно поднял на руки, точно я был дорогим его сердцу покойником.

— Сынок, — крикнул старик, — сынок, не забывай нас.

Подул вечерний ветер. «Стилте» еще раз загудела, дружески предостерегая; в загоне заблеяли овцы, мороженщик прокричал: «Мороженое! Мороженое!» — замолчал и, должно быть, стал накладывать ванильное мороженое в хрупкие вафли. Доска, по которой шел Алоиз, держа меня на руках, слегка пружинила, и чей-то голос тихо спросил: «Это он?» Алоиз так же тихо ответил: «Да, он» — и прошептал мне на прощанье: «Думай о том, что во вторник вечером ты уже будешь в роттердамской гавани». Чьи-то руки понесли меня вниз по лестнице: запахло машинным маслом, углем, а потом дровами; откуда-то издали доносились гудки, «Стилте» начала сотрясаться, гул нарастал, и я почувствовал, что мы плывем вниз по Рейну, с каждой минутой удаляясь все дальше от Святого Северина.

Тень Святого Северина подползала все ближе, она уже заполнила левое окно бильярдной, а потом дошла и до правого; время, которое передвигалось вместе с солнцем, угрожающе приблизилось, переполняя башенные часы; вот-вот они изрыгнут из себя ужасные удары. А шары все катились — белые по зеленому полю, красные по зеленому, расчлняя годы, нагромождая друг на друга десятилетия и секунды; о секундах Фемель говорил своим бесстрастным голосом так, словно это были века; только бы мне не пришлось снова идти за коньяком, увидеть число на календаре и часы, встретиться с овечьей жрицей и с той, которой *«не следовало родиться»*, только бы еще раз услышать слова Фемеля: *«Паси агнцев Моих»* — и узнать что-нибудь о женщине, лежавшей когда-то под летним дождем на траве; услышать о кораблях, встающих на якорь, и женах моряков, спускающихся по сходням, и о мяче, который забил Роберт, Роберт, никогда не принимавший *«причастие буйвола»*, Роберт, продолжавший молча играть в биль-

ярд, создавая своим кием разнообразные комбинации шаров на пространстве всего лишь в два квадратных метра.

— А ты, Гуго,— тихо спросил Фемель,— ты мне сегодня ничего не расскажешь?

— Не знаю, сколько это продолжалось на самом деле, но мне кажется — целую вечность; каждый раз после уроков они избивали меня; иногда я не решался выйти, пока не удостоверюсь, что все пошли обедать; женщина, которая убирала школу, находила меня в вестибюле и спрашивала: «Что ты так долго сидишь здесь, мальчик? Твоя мать уже, верно, ждет тебя не дождется».

Но я все еще боялся выйти и ждал, чтобы уборщица тоже ушла и заперла меня в школе. Это не всегда удавалось, чаще всего уборщица выгоняла меня перед тем, как запереть двери, зато как я радовался, если все сходило гладко и меня запирали: в партах и помойных ведрах, которые уборщица оставляла в вестибюле для мусорщика, я находил достаточно еды — бутерброды, яблоки, остатки пирога. Я был в школе один, и в полной безопасности. Согнувшись, я заползал в раздевалку для учителей, позади входа в подвал, потому что боялся, как бы мои мучители не заглянули в окно и не обнаружили меня; но прошло много времени, прежде чем они дознались, что я прячусь в школе. Нередко я просиживал там часами, до самого вечера, а потом открывал окно и вылезал на улицу. Часто я подолгу смотрел на пустынный школьный двор — может ли быть что-нибудь более пустынное, чем школьный двор под вечер? Все шло прекрасно до той поры, пока они не узнали, что я отсиживаюсь в запертой школе. Я прятался в раздевалке для учителей или где-нибудь под подоконником и ждал, когда во мне проснется то, о чем я знал только понаслышке,— ненависть. Я был бы рад ненавидеть своих врагов, но не мог, господин доктор. Я не испытывал ничего, кроме страха. Бывали дни, когда я высиживал в школе только до трех или до четырех, думая, что они уже ушли и мне удастся быстро промчаться по улице мимо конюшен Майда, обежать церковный двор и запереться дома. Но они сменяли друг друга, они ходили есть по очереди, ибо отказаться от еды было выше их сил; и когда они подбегали ко мне, я уже издали чуял,

чем их сегодня кормили: картофелем с подливкой, жарким или капустой со шпигом; они били меня, и я думал, ради чего умер Христос, какая мне польза от его смерти, какая польза от того, что они каждое утро читают молитву, каждое воскресенье причащаются и вешают большие распятия в кухне над столом, за которым едят картофель с подливкой, жаркое или капусту со шпигом? Никакой! К чему все это, если они каждый день подстерегают меня и бьют? Вот уже пятьсот или шестьсот лет — недаром они кичатся древностью своей религии, — вот уже тысячу лет они хоронят предков на христианском кладбище, уже тысячу лет они молятся и едят под распятием свой картофель с подливкой и шпиг с капустой. Зачем? Знаете, что они кричали, избивая меня? *«Агнец божий»*. Такое мне дали прозвище.

Красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому; новые геометрические фигуры возникали, подобно письмам, а потом быстро и бесследно исчезали, то была музыка без мелодии, живопись без образов; четырехугольники, прямоугольники, ромбы — все это многократно повторялось; звонкие шары катились между черными бортами.

— А потом я попытался сделать иначе: я запираю дома дверь, придвигаю к ней мебель, собираю все что мог — ящики, всякую рухлядь, матрасы — и нагромождаю одно на другое; но в школе подняли тревогу и известили полицию, чтобы она явилась забрать прогульщика; полицейские оцепили дом и начали кричать: *«Выходи, бездельник!»* Но я не выходил, тогда они выломали дверь, отодвинули мебель, поймали меня и отвели в школу, где меня продолжали избивать, продолжали сталкивать в сточные канавы, продолжали ругать, называя *«агнцем божьим»*; хотя Бог сказал: *«Паси овец Моих»*, но никто не пас Его овец, если людей вообще можно считать *овцами божьими*. Все бесполезно, господин доктор, напрасно дует ветер, напрасно идет снег, напрасно цветут деревья и опадают листья — они едят картофель с подливкой или шпиг с капустой.

Случалось, что моя мать была дома, пьяная и грязная, от нее пахло смертью и тленом, и она кричала: *«Зачемзачемзачем?»* Эти слова она произносила чаще, чем произносят *«Господи помилуй!»* в заупокойных

молитвах. Она часами кричала «зачемзачемзачем», доводя меня до иступления, и я убегал — мокрый агнец божий, я бегал голодный под дождем, глина прилипла к моим ботинкам и к телу, глина облепляла меня с ног до головы, но я предпочитал лежать под дождем, в борозде на свекловичном поле, нежели слышать это страшное «зачем»; потом кто-нибудь находил меня и рано или поздно приводил домой и в школу, приводил в эту дыру по имени Денклинген, и они опять били меня, называя «агнцем божьим», а моя мать все повторяла свою бесконечную и ужасную жалобу «зачем»; я снова убегал, и они снова приводили меня. В конце концов меня все же отправили в приют. Там меня никто не знал — ни дети, ни взрослые, но не прошло и двух дней, как меня прозвали «агнцем божьим», и мне опять стало страшно, хотя там никто не дрался; меня только высмеивали из-за того, что я не знал многих слов — не знал, что такое «завтрак», я знал лишь слово «есть»; я ел, когда была еда, когда я мог раздобыть себе что-нибудь поесть, но, увидев на доске объявление: «Завтрак — 30 г масла, 200 г хлеба, 50 г повидла, кофе с молоком», я спросил кого-то из ребят: «Что такое завтрак?» Дети окружили меня, а потом подошли взрослые; все смеялись и говорили: «Завтрак? Неужели ты не знаешь, что такое завтрак, неужели ты никогда не завтракал?» — «Нет», — ответил я. «А Библия, — напомнил один из взрослых, — разве ты не встречал в Библии слова «завтрак»? Но тут другой взрослый спросил первого: «А вы уверены, что в Библии встречается слово „завтрак“?» — «Нет, — сказал тот, — но где-нибудь, в какой-нибудь книге или же дома он должен был хотя бы раз встретить это слово, ведь парню уже скоро тринадцать, такие, как он, хуже дикарей, на этом примере видно, до какой степени беден язык народа». Я не знал также, что недавно была война; тогда они спросили меня, неужели я никогда не ходил на кладбище, где на могильных плитах написано: «Пал...» Я ответил, что ходил на кладбище; тогда они спросили, как же я понимаю слово «пал», и я сказал им, что, по моему мнению, покойники, похороненные под этими плитами, упали мертвыми. Тогда все опять начали смеяться еще громче, чем во время разговора о завтраке; в приюте нам преподавали историю с самых древних времен, но вскоре мне исполнилось четырнадцать лет, господин доктор, и в приют приехал директор отеля; всех четырнадцатилетних мальчиков построили в коридоре

перед кабинетом заведующего, а потом появились заведующий и директор отеля. Они обошли строй, глядя нам в глаза, и сказали оба в один голос: «Мы ищем мальчиков, которые могли бы обслуживать публику», но выбрали они одного меня. Мне пришлось сразу же уложить вещи в картонную коробку и отправиться с директором сюда; в машине он сказал мне: «Надо надеяться, ты никогда не узнаешь, что твоему лицу цены нет, ты самый настоящий *агнец божий*»,— и я почувствовал страх, господин доктор; я все еще боюсь и все еще жду, что меня начнут бить.

— Разве тебя бьют?

— Нет, никогда, но мне хотелось бы знать, что такое война, ведь мне пришлось уйти из школы до того, как учитель это объяснил. Вы знаете, что такое война?

— Да.

— Вы в ней участвовали?

— Да.

— Что вы делали?

— Я был подрывником, Гуго. Это тебе что-нибудь говорит?

— Да, я видел взрывы в каменоломнях за Денклин-геном.

— То же самое делал и я, Гуго, только взрывал не скалы, а дома и церкви. Этого я еще никогда никому не рассказывал, кроме моей жены, но она уже давно умерла, и теперь этого не знает никто, только ты; даже мои родители и мои дети не знают; ты слышал, что я архитектор и, собственно говоря, должен был бы строить дома. Но я их никогда не строил, я их только взрывал; то же было и с церквями: мальчиком я без конца рисовал их на гладкой чертежной бумаге, я мечтал строить церкви, но я никогда их не строил. В армии начальство узнало из моих документов, что я писал дипломную работу об одной проблеме статики. Статика, Гуго,— это учение о равновесии сил, учение о натяжениях и сдвигах несущих поверхностей, без статики нельзя построить даже негритянскую хижину; а противоположностью статики является динамика. Это слово звучит почти так же, как динамит, который используется при взрывах; и впрямь динамика связана с динамитом. Всю войну я имел дело с динамитом. Я знал, что такое статика, Гуго, я проглотил массу книг по этому вопросу. Но чтобы взорвать что-нибудь, надо знать только одно: куда заложить заряд и какова должна быть его сила. Это

я знал, дружок. Вот так и вышло, что я взрывал мосты и жилые кварталы, церкви и железнодорожные виадуки, виллы и уличные перекрестки; за это я получал ордена и меня повышали в чинах: от лейтенанта я дослужился до обер-лейтенанта, от обер-лейтенанта — до капитана; мне давали отпуска вне очереди и награды, и все потому, что я знал, как надо взрывать, а в конце войны я служил под началом генерала, который признавал только «сектор обстрела». Знаешь, что такое «сектор обстрела»? Нет?

Фемель взял кий наперевес, словно винтовку, и прицелился в башню Святого Северина.

— Вот видишь, — сказал он, — если бы я захотел стрелять в мост, который находится позади Святого Северина, то церковь лежала бы в моем «секторе обстрела», таким образом, ее следовало бы взорвать как можно скорее, сейчас же, без промедления, а то я не мог бы стрелять в мост; уверяю тебя, Гуго, я бы взорвал Святого Северина, хотя знал, что мой генерал сумасшедший, хотя знал, что «сектор обстрела» в данном случае сущая чепуха, ведь если стрелять сверху, понимаешь, что тебе не нужно никакого «сектора обстрела», и, в конце концов, даже до самых тупоумных генералов должно прийти, что за последние полвека изобрели самолеты. Но мой генерал был сумасшедший, он вызубрил на всю жизнь свои лекции о «секторе обстрела», вот я и обеспечивал ему этот сектор; у меня в части собрались хорошие ребята — физики, архитекторы, и мы взрывали все, что попадалось на нашем пути, под конец мы взорвали одно величественное сооружение, нечто грандиозное, целый комплекс гигантских, построенных на века зданий — собор, конюшни, монашеские кельи, административные постройки, усадьбу — целое аббатство, Гуго; оно находилось как раз между двумя армиями — немецкой и американской, и я обеспечил немецкой армии «сектор обстрела», который ей был совершенно ни к чему; стены падали к моим ногам, на скотных дворах ревела скотина, монахи проклинали нас, но ничто не могло меня остановить, я взорвал все аббатство Святого Антония в Киссатале, взорвал за три дня до окончания войны. При этом я был корректен, дружок, неизменно корректен — такой же, каким ты привык меня видеть.

Только теперь Фемель опустил кий и перестал целиться в изображаемую мишень, он снова положил его на согнутый палец, потом толкнул бильярдный шар;

белый шар, петляя, покатился по зеленому полю от одного черного борта к другому.

Колокола на Святом Северине изрыгнули время. Кто знает, *когда* в действительности прозвучали эти одиннадцать ударов?

— Взгляни-ка, дружок, почему за дверью такой шум?

Фемель еще раз толкнул красный шар по зеленому полю, подождал, пока шары остановятся, и отложил кий.

— Господин директор просит вас принять господина доктора Неттлингера.

— Ты бы принял человека по фамилии Неттлингер?

— Нет.

— Тогда покажи мне, как отсюда выбраться, минуя эту дверь.

— Вы можете пройти через ресторан, господин доктор, и выйти на Модестгассе.

— До свидания, Гуго, до завтра.

— До свидания, господин доктор.

В ресторане начался танец кельнеров, танец боев; они накрывали столы к обеду — толкали сервировочные столики по определенным маршрутам, раскладывали серебро, меняли вазы с цветами, вместо высоких вазочек с белыми гвоздиками ставили круглые вазочки со скромными фиалками; убирали со столов стаканчики с джемом и расставляли рюмки для вина: широкие — для красного, узкие — для белого; только на один стол, где сидела овечья жрица, они поставили молоко; в хрустальном графине оно казалось серым.

Фемель легкими шагами прошел между столиками, отодвинул лиловую портьеру, спустился по ступенькам вниз и сразу очутился на улице, как раз напротив башни Святого Северина.

Присутствие Леоноры успокаивало старого Фемеля; она осторожно ходила взад и вперед по его мастерской, открывала шкафы, выдвигала ящики, развязывала пачки бумаг, разворачивала свернутые в трубку чертежи; только изредка она подходила к окну, чтобы потревожить Фемеля; это случалось, когда на документе не было даты или на чертеже соответствующей надписи. Фемель любил порядок, но не умел его поддерживать. Леонора —

вот кто наведет у него порядок; на просторном полу мастерской она раскладывала документы, чертежи, письма и расчеты по годам — пятьдесят лет прошло, а пол все еще дрожал от стука типографских машин; тысяча девятьсот седьмой год, восьмой, девятый, десятый; по мере того как век взрослел, пачки становились все толще, пачка за тысяча девятьсот девятый год была больше, чем за тысяча девятьсот восьмой, а пачка за тысяча девятьсот десятый больше, чем за девятьсот девятый; Леонора сумеет составить диаграмму его деятельности, она такая дотошная, ее здорово вымуштровали.

— Да,— сказал он,— не стесняйтесь, можете спрашивать меня сколько угодно, голубушка. Это? Это больница в Вайденхаммере, я построил ее в тысяча девятьсот двадцать четвертом году, в сентябре ее открыли.

И Леонора вывела своим аккуратным почерком на полях чертежа: «1924 — IX».

Пачки военных лет, от тысяча девятьсот четырнадцатого до тысяча девятьсот восемнадцатого, были совсем тонкие, в них лежало по три-четыре чертежа, не больше; загородная вилла для генерала, охотничий домик для обер-бургомистра, часовня Святого Себастиана для стрелкового ферейна. Эти заказы он брал ради того, чтобы получить отпуск, за них платили драгоценными отпускными днями; чтобы повидаться с детьми, он бесплатно строил генералам дворцы.

— Нет, Леонора, это было в тысяча девятьсот тридцать пятом. Францисканский монастырь. Современная архитектура? Конечно, современные здания я тоже строил.

Большое окно в его мастерской всегда напоминало ему экран волшебного фонаря; цвет неба все время менялся, деревья во дворах становились то серыми, то черными, то опять зелеными, цветы в садиках на крышах цвели и отцветали. Дети, игравшие на свинцовых крышах, подрастали и сами становились родителями, а их родители превращались в бабушек и дедушек, и вот уже другие дети играли на свинцовых крышах; только очертания крыш не менялись, не менялся мост, не менялись горы, которые в ясные дни вырисовывались на горизонте; но потом вторая мировая война изменила силуэт города, появились зияющие бреши, бреши, через которые проглядывал Рейн, отливающий в солнечные дни серебром, а в пасмурные дни чем-то серым, проглядывал разводной мост в Старой гавани, но теперь бреши уже давным-давно

заполнили, на крыше дома Кильбов его внучка ходит взад и вперед с учебником в руках, точь-в-точь как пятьдесят лет назад ходила его жена. Или, быть может, это и впрямь его жена, Иоганна, читает там в солнечные дни *«Коварство и любовь»*?

Зазвонил телефон; как приятно, что Леонора взяла трубку, что ее голос ответил на телефонный вызов.

— Кафе «Кронер»? Я спрошу у господина тайного советника.

— Сколько человек ожидается к ужину? В мой день рождения? Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Двое внуков, сын, я и вы, Леонора, вы ведь не откажете мне?

Значит, всего пятеро. Их и в самом деле можно пересчитать по пальцам одной руки.

— Нет, шампанского не надо. Все, как мы договорились. Спасибо, Леонора.

Наверное, она считает меня сумасшедшим, но если я сумасшедший, значит, был им всегда; я все предвидел заранее, знал, чего хочу, и знал, что достигну этого; только одного я никогда не знал, не знаю и по сию пору: для чего я все это делал? Ради денег, ради славы, или только потому, что это меня забавляло? К чему я стремился в то утро, в пятницу, шестого сентября тысяча девятьсот седьмого года, пятьдесят один год назад, когда вышел из здания вокзала? Я продумал тогда заранее каждое движение, составил точный распорядок дня с того момента, как вступлю в город; я сочинил целое либретто, в котором должен был выступать в качестве танцора-солиста и балетмейстера одновременно; статисты и декорации были предоставлены мне совершенно безвозмездно.

Всего десять минут оставалось до того мгновения, как я сделаю свое первое па; мне надо бы перейти вокзальную площадь, миновать отель «Принц Генрих», пересечь Модестгассе и войти в кафе «Кронер». Я приехал в город как раз в тот день, когда мне минуло двадцать девять лет. Было сентябрьское утро. Извозчицьи клячи охраняли своих задремавших возниц, мальчишки в лиловых ливреях отеля «Принц Генрих» тащили на вокзал чемоданы, поспешая за своими клиентами; над подъездами банков поднимались солидные железные ставни и с торжественным грохотом исчезали из виду; голуби, продавцы газет, уланы; эскадрон улан прогарцевал мимо отеля «Принц Генрих», ротмистр махнул рукой

какой-то даме, стоявшей на балконе в палевой шляпке с вуалью, дама в ответ послала ему воздушный поцелуй; копыта цокали по булыжной мостовой, вымпелы развевались на утреннем ветру, из открытых дверей Святого Северина доносились звуки органа.

Я был взволнован: из кармана пиджака я вынул план города, развернул его и начал разглядывать красный полукруг, которым обвел вокзал,— пять черных крестиков обозначали главный собор и четыре ближайšie к нему церкви, я поднял глаза и разглядел в утренней дымке четыре церковных шпиля, пятый — Святого Северина — не надо было искать, он возвышался прямо передо мной, от его гигантской тени меня пробирала дрожь; я снова углубился в свой план; все было правильно: желтый крестик обозначал дом, где я снял себе на полгода квартиру и мастерскую, заплатив за них вперед.— Модестгассе, 7, между Святым Северином и Модестскими воротами, мой дом был, видимо, справа, там, где через улицу как раз в эту минуту переходили несколько священников. Радиус полукруга, очерченного мною вокруг вокзала, был равен одному километру, в пределах этой красной черты жила девушка, на которой я женюсь; я еще не был знаком с ней, не знал, как ее зовут, знал только, что она будет принадлежать к одной из тех патрицианских семей, о которых мне рассказывал отец; он служил здесь три года в уланах и унес с собой ненависть к лошадям и офицерам; я уважал это чувство, но не разделял его; я был рад, что отцу не пришлось увидеть меня офицером — лейтенантом запаса инженерных войск; я рассмеялся, я часто смеялся в то утро, пятьдесят один год назад; я знал, что возьму жену из знатной семьи, ее фамилия будет Бродем или Кузениус, Кильб или Ферве, ей должно быть лет девятнадцать, и сейчас, именно в данную минуту, эта девушка, вернувшись с утренней мессы, прячет свой молитвенник в гардероб; отец еще успеет поцеловать ее в лоб, прежде чем раскаты его баса раздадутся в вестибюле, постепенно удаляясь по направлению к конторе; на завтрак девушка съест кусочек хлеба с медом и выпьет чашку кофе: «Нет, нет, мама, яйцо я не буду», потом она прочтет матери вслух расписание балов. Разрешат ли ей пойти на университетский бал? Разрешат.

Я познакомлюсь с девушкой, на которой женюсь, самое позднее на университетском балу шестого января. На этом балу я буду танцевать с ней; я всегда буду с ней

хорошо обращаться, буду любить ее, и она родит мне детей — пятерых, шестерых, семерых; они вырастут и подарят мне внуков — пятью семь, шестью семь, семью семь; прислушиваясь к удаляющемуся цоканью копыт, я уже видел себя окруженным толпой внуков, видел себя восьмидесятилетним патриархом, восседающим во главе рода, который я собирался основать; я видел дни рождения, похороны, серебряные свадьбы и просто свадьбы, видел крестины, видел, как в мои старческие руки кладут младенцев-правнуков; я буду их любить так же, как своих молодых красивых невесток; невесток я буду приглашать позавтракать со мной, буду дарить им цветы и конфеты, одеколон и картины; и все это я знал заранее, выйдя в тот день из здания вокзала, готовый сделать свое первое па.

Я глядел вслед носильщику, который вез на тележке в дом номер семь по Модестгассе мой багаж: чемодан с бельем и чертежами и маленький кожаный саквояж, где лежали бумаги, документы и деньги — четыреста золотых, все мои сбережения за двенадцать лет работы в строительных конторах провинциальных подрядчиков и в мастерских посредственных архитекторов, когда я чертил, рассчитывал и строил рабочие поселки, промышленные здания, церкви, школы, дома для различных союзов, корпя над сметами, с трудом продираясь через канцелярские обороты договорных пунктов: «...с тем чтобы деревянная панель в ризнице была сделана из орехового дерева наивысшего качества, без сучков, а для обивки были использованы ткани лучших сортов».

Помню, я смеялся, выходя из вокзала, хотя до сих пор не знаю, над чем и почему; одно мне ясно: мой смех был вызван отнюдь не весельем и радостью — в нем слышались и насмешка, и издевка, и, быть может, даже злость; я так и не узнал никогда, сколько приходилось на долю каждого из этих чувств; мне вспоминались жесткие скамейки на вечерних курсах по усовершенствованию, где я учился составлять сметы, изучал математику и черчение; я осваивал свою профессию и в то же время упражнялся в танцах и плавании; вспоминалось, как я служил лейтенантом в восьмом саперном батальоне в Кобленце, как сидел в летние вечера на Дойчес-Экк, глядя на воды Рейна и Мозеля, которые казались мне одинаково серыми; в памяти моей всплывали двадцать

три мебелированные комнаты, которые мне пришлось сменить, и хозяйские дочери, соблазненные мною и соблазнившие меня, вспоминалось, как я крался босиком по затхлым коридорам, чтобы вкусить женских ласк, вплоть до самой последней, хотя каждый раз оказывалось, что это фальшивая монета; вспоминался запах лаванды и волосы, распущенные по плечам, и ужасные гостиные, где в зеленоватых стеклянных вазах увядали фрукты, которые не разрешалось есть, вспоминались жесткие слова, такие, как «подлец», «честь», «невинность»; в гостиных уже не пахло лавандой, и я, содрогаясь, читал свое будущее не на лице обесчещенной, а на лице ее матери, где было написано все, что мне уготовано. Я не был подлеем и не обещал жениться ни на одной из девушек, я не хотел провести всю свою жизнь в гостиных, где фрукты увядали в зеленоватых стеклянных вазах, потому что их не полагается есть.

Но и после возвращения с вечерних курсов, с половины десятого до двенадцати часов ночи, я все еще делал расчеты, чертил и рисовал, рисовал ангелов и деревья, облака, церкви и часовни — в готическом стиле и в романском, в стиле барокко, рококо и бидермайер и, конечно, в стиле модерн; я рисовал женщин с длинными волосами, их одухотворенные лица парили над входными дверями, а длинные волосы, подобно занавесу, обрамляли парадные справа и слева; четко нарисованный пробор женщин приходился как раз на середину двери; в тревожные вечерние часы хозяйские дочери, объятые томлением, приносили мне жидкий чай или жидкий лимонад и вызывали меня на ласки, которые казались им смелыми. Я все рисовал и рисовал, главным образом детали, ведь я знал, что они — кто бы ни были эти «они» — больше всего падки на украшения. Я рисовал дверные ручки, фасонные решетки, агнцев божьих, пеликанов, якоря и кресты, вокруг которых обвивались змеи с острым жалом, головками кверху или головками книзу.

У меня в памяти остался также трюк, которым очень часто пользовался мой последний шеф, Домгреве: в решающий момент он, чтобы расположить к себе сердца верующих, как бы невзначай ронял четки; это случалось в деревнях, когда набожные крестьяне с гордостью показывали ему участок, отведенный под новую церковь, или когда члены совета церковной общины в задних комнатах провинциальных пивнушек с простодушной застенчивостью выражали желание построить новый

храм божий,— тогда Домгреве вытаскивал из кармана вместе с часами, или ножом для сигар, или мелочью четки, с которыми он будто бы не расставался, ронял их, а потом с деланным смущением поднимал; смешная уловка Домгреве никогда не казалась мне смешной.

— Нет, Леонора, буква «А» на папках, на чертежах и сметах означает не «акты», а имя «Антоний», аббатство Святого Антония.

Тихо шагая по комнате, Леонора приводила все в порядок своими изящными руками; порядок старый Фемель всегда любил, но никогда не умел соблюдать. Для этого у него было слишком много всего: слишком много заказов, слишком много денег.

Если я сумасшедший, то был сумасшедшим уже тогда, когда, стоя на вокзальной площади, удостоверился, есть ли у меня в кармане пиджака мелочь, захватил ли я маленький блокнот для набросков и зеленый ящичек с карандашами, когда проверил, хорошо ли завязан мой атласный галстук, а потом провел рукой по полям моей черной артистической шляпы и отряхнул полы пиджака, единственного моего хорошего пиджака, который я унаследовал от дяди Марселя, молодого учителя, умершего от чахотки; плита на его могиле в Мезе уже поросла мхом, в Мезе, где двадцатилетний учитель размахивал когда-то дирижерской палочкой на хорах перед органом или, взобравшись на учительскую кафедру, вбивал в голову деревенским ребятишкам тройное правило, а в сумерках, гуляя вдоль болота, грезил о девичьих губах, о хлебе, о вине и о славе, которую должны были принести ему, в случае удачи, его стихи; вот какие сны снились ему на заболоченных тропках два года подряд, пока кровохарканье не оборвало жизнь учителя и не унесло его к темному берегу; после него осталась тетрадка стихов в четвертушку листа, черный костюм, перешедший по наследству ко мне, его крестнику, две золотые монеты и кровавое пятно на зеленоватом занавесе в классе, пятно, которое жена его преемника никак не могла вывести; детские голоса пропели на могиле горемыки учителя «Куда улетела ласточка?».

Я еще раз оглянулся на здание вокзала, еще раз прочел плакат, висевший у выхода на перрон и обращен-

ный к прибывающим в город призывникам: «Всем военнообязанным рекомендую нижнее белье, которое я изготавливаю уже много лет,— нижнее белье по системе профессора Густава Егера, трикотаж, запатентованный во всех цивилизованных странах мира, белье «Реформ», по системе доктора Ламана!» Настало время сделать первое па.

Я перешел трамвайную линию, миновал отель «Принц Генрих», свернул на Модестгассе и, поколебавшись секунду, остановился перед кафе «Кронер»; в стеклянных дверях, затянутых изнутри зеленым шелком, я увидел свое отражение — я был хрупкий, можно сказать, маленький, и походил не то на молодого раввина, не то на художника; волосы у меня были черные, и весь я был в черном; нечто неуловимое в моей внешности обличало во мне провинциала; я еще раз рассмеялся и открыл дверь; кельнеры ставили на столики вазы с белыми гвоздиками и перекладывали с места на место меню, переплетенные в зеленую кожу; кельнеры были в зеленых фартуках и черных жилетах, в белых рубашках с белыми галстуками; две молоденькие девушки — румяная блондинка и бледная брюнетка — возводили на прилавке целые кондитерские сооружения, выкладывали штабелями бисквиты, обновляли вензеля из крема, начищали до блеска серебряные лопаточки для тортов. В кафе еще не было ни одного посетителя; повсюду царил безукоризненная чистота, как в больнице перед обходом главного врача, и кельнеры исполняли свой балетный номер, пока я проходил мимо них легким танцующим шагом,— ведь я был солист; статисты и кулисы находились в полном моем распоряжении; статисты были хорошо выдрессированы, все шло отлично, я восхищался тем, как эти три кельнера двигались от столика к столику и точно рассчитанными движениями ставили то солонку, то вазу с цветами, то слегка подвигали меню,— очевидно, оно должно было лежать под определенным углом к солонке,— то ставили пепельницы из белоснежного фарфора с золотым ободком. Как хорошо! Все мне нравилось, притяно поражало меня. Вот это город так город, таких кафе я не видел в глухом захолустье, где мне приходилось жить до сих пор.

Я прошел в левый угол зала, бросил шляпу на стул, положил рядом с ней блокнот и ящичек с карандашами и сел: кельнеры возвращались из кухни, бесшумно толкая впереди себя сервировочные столики,— они рас-

ставляли судки с приправами, развешивали газеты, укрепленные на палках. Я открыл свой блокнот и прочел — в который раз! — вырезку из газеты, приклеенную к внутренней стороне обложки: «Открытый конкурс на постройку бенедиктинского аббатства в долине реки Кисса между селениями Штелингерс-Гротте и Гёрлингерс-Штуль, приблизительно в двух километрах от деревни Кисслинген; каждый архитектор, верящий в свои силы, может участвовать в конкурсе. Документация выдается в нотариальной конторе доктора Кильба — Модестгассе, 8, за плату в размере 50 (пятьдесят) марок. Последний срок подачи проектов — понедельник 30 сентября 1907 года, 12 часов дня».

Целыми днями я лазил между кучами цемента и штабелями новеньких кирпичей, определяя, хорошо ли они обожжены, и осматривал целые горы ломаного базальта, так как собирался использовать базальт для облицовки дверных и оконных проемов; обшлага моих брюк были забрызганы грязью, жилет измазан известью; в конторе то и дело раздавался крик: неужели до сих пор не прибыли камни для мозаичного изображения «агнца божьего» над главным порталом? На строительной площадке возникали бесконечные перепалки; ассигнования то приостанавливали, то снова разрешали; каждый четверг перед моей конторой выстраивалась целая очередь десятников — в пятницу им надо было выдавать рабочим заработную плату; а вечером, совершенно измотанный, я сидел на станции Кисслинген в чересчур натопленный вагон пассажирского поезда, опускался на мягкий диванчик в купе второго класса, и в темноте меня везли через нищие деревеньки, затерявшиеся среди свекловичных полей; кондуктор заспанным голосом выкрикивал названия станций: Денклинген, Додринген, Кольбинген, Шаклинген; на товарных платформах высились горы свеклы, приготовленной для погрузки, в темноте они казались серыми и походили на горы черепов, а поезд шел все дальше через свекловичные поля, неизменно через свекловичные поля; выйдя из вокзала, я валился в первую попавшуюся извозчичью пролетку, а дома падал в объятия жены; жена целовала меня, с нежностью гладила мои усталые глаза, с гордостью проводила рукой по следам известки на рукавах моего пиджака; после кофе, положив голову к ней на колени, я закуривал

сигару, о которой так мечтал, сигару за шестьдесят пфеннигов, и рассказывал жене о каменщиках, проклиная все на свете; этих ребят надо знать — они не злые, пожалуй, только немного грубоватые и немного слишком красные, но я умел с ними ладить; время от времени им надо было поставить ящик пива и отпустить несколько шуток на нижненемецком диалекте, не следовало только брюзжать, иначе они вывернут тебе под ноги полное корыто известкового раствора (так они сделали, когда на стройку приехал уполномоченный архиепископа по делам строительства) или же сбросят балку с лесов (так они сделали, когда к нам явился правительственный инспектор, — гигантская балка рухнула к самым его ногам).

— Разумеется, моя дорогая, я знаю, что я от них завишу, а не они от меня, ведь сейчас так много строят, строят повсюду. И конечно, они красные, почему бы им не быть красными? Но самое главное, они хорошие каменщики и помогают мне выдержать сроки; стоит мне подмигнуть им, когда я взбираюсь на леса с какой-нибудь очередной комиссией, и они готовы на все.

— Доброе утро, сударь. Вам завтрак?

— Да, пожалуйста, — сказал я и покачал головой, когда кельнер предложил мне меню; я поднял карандаш и, скандируя, перечислил по пунктам свой завтрак с таким видом, будто ни разу в жизни иначе не завтракал: небольшой кофейник на три чашки кофе, потом, пожалуйста, поджаренный хлеб — два ломтика черного хлеба, масло, апельсиновый джем, яйцо всмятку и сыр с красным перцем.

— Сыр с красным перцем?

— Да, плавленый сыр, приправленный перцем.

— Слушаюсь.

Кельнер беззвучно заскользил по зеленому ковру, зеленый призрак пробирался мимо столиков, покрытых зелеными скатертями, к окошку кухни, и тут прозвучала первая из задуманных мною реплик; статисты были хорошо вымуштрованы, а я оказался хорошим режиссером.

— Сыр с перцем? — переспросил в окошке повар.

— Да, — сказал кельнер, — плавленый сыр, приправленный красным перцем.

— Спроси гостя, сколько он хочет перца и сыра?

Я начал набрасывать фасад вокзала; кельнер возвратился в тот момент, когда я уверенными штрихами рисовал оконные наличники на безгрешно чистой бумаге; он остановился передо мной в ожидании: я поднял голову, удивленно воззрился на него и отложил карандаш.

— Позвольте спросить, сударь, сколько вы желали бы перца и на какое количество сыра?

— Сорок пять граммов сыра и с наперсток перца; всю массу хорошенько вымесить, а теперь послушайте, уважаемый, я буду завтракать здесь завтра и послезавтра, через три дня и через три недели, через три месяца и через три года. Понятно? И всегда в одно и то же время, около девяти.

— Слушаюсь.

Так я себе все представлял, и именно так оно и вышло. Позднее меня часто пугала точность, с какой исполнялись мои планы, непредвиденного почему-то никогда не случалось; через два дня все уже называли меня «господином, который заказывает сыр с перцем», через неделю — «молодой художник, который всегда заказывает около девяти», а через три недели — «господин Фемель, молодой архитектор, выполняющий крупный заказ».

— Да-да, детка, все это относится к аббатству Святого Антония; работы тянулись много лет, Леонора, десятилетия, вплоть до нынешнего дня: то требовался ремонт, то аббатство расширялось, а через сорок пять лет его восстанавливали по старым чертежам; один Святой Антоний займет у вас целую полку. Да, вы правы, вентилятор бы здесь не помешал. Сегодня жарко. Нет, спасибо, я не хочу сесть.

В окне, как на экране, виднелось голубое небо шестого сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, линия крыш снова была непрерывной, без зияющих брешей; на пестрых скатертях в садиках на крышах стояли чайники. Женщины загорали на солнце, растянувшись в шезлонгах; вокзал бурлил, в город возвращались отпускники. Может, именно поэтому старый Фемель так нетерпеливо ждал свою внучку Рут. Уж не уехала ли она за город, оставив на время *«Коварство*

и любовь»? Он несколько раз осторожно отер лоб носовым платком, всю жизнь он был нечувствителен к жаре и холоду; в правом углу окна Гогенцоллерны все еще скакали на бронзовых конях, обратясь лицом к западу; они ничуть не изменились за сорок восемь лет, не изменился и его, Фемеля, верховный главнокомандующий; все роковое тщеславие этого монарха обнаружилось в посадке головы. Улыбаясь, рисовал я тогда за столиком в кафе «Кронер» постамент, на котором еще не было изваяния; тем временем кельнер принес мне сыр с перцем. Я был всегда так уверен в своем будущем, что настоящее казалось мне законченным прошлым; был ли это мой первый, самый первый завтрак в кафе «Кронер» или же трехтысячный? Каждый день я приходил в кафе «Кронер» ровно в девять часов, только высшая сила могла мне помешать; я перестал приходить, когда верховный главнокомандующий, этот дурень, который все еще скачет на бронзовом коне, держа путь на запад, призвал меня под свои знамена. Сыр с перцем? Ел ли я тогда эту странную красновато-белую размазню в первый раз? Она, кстати, была не такая уж невкусная. Я придумал это блюдо час назад в курьерском поезде, который на всех парах мчался к городу с севера; я хотел придать своему неизменному меню необходимую индивидуальную черточку. Ел ли я все это впервые или уже в тридцатый раз намазывал красноватую кашницу на черный хлеб, в то время как кельнер убирал рюмку для яйца и отодвигал в сторону джем?

Осторожно! Я вынул из кармана пиджака единственно надежный инструмент для корректировки таких вот мимолетных, но точных видений — карманный календарик, который помогал мне блуждать по лабиринту прошлого, напоминая о месте и времени действия; то была пятница шестого сентября тысяча девятьсот седьмого года, и этот завтрак в кафе «Кронер» был первым; до сих пор я никогда не пил за завтраком натурального кофе, ограничиваясь солодовым, никогда не ел яиц, довольствуясь овсянкой, серым хлебом с маслом и ломтиком свежего огурца, но миф, который я решил создать, был сразу же при своем возникновении подхвачен, а недоуменный вопрос повара — «сыр с перцем?» — доказывал, что миф проложил себе дорогу туда, куда следовало, то есть в широкую публику; мне оставалось лишь, так сказать, при сем присутствовать — сидеть на месте до десяти или до половины одиннадцатого, ожидая, пока

кафе постепенно наполнится людьми, сидеть и попивать минеральную воду и рюмку коньяку, держа на коленях блокнот для рисования, во рту сигару, а в руке карандаш; я не переставая рисовал, а в это время банкиры и их важные клиенты проходили мимо моего столика в комнату для совещаний, и кельнеры проносили следом за ними зеленые подносы с батареями бутылок; в это время местные священники и их заграничные собратья являлись в кафе после осмотра Святого Северина и восхваляли на исковерканной латыни или же на ломаном английском и итальянском языках красоты города; в это время чиновники правительственной канцелярии демонстрировали здесь свою независимость и свое высокое положение тем, что позволяли себе около половины одиннадцатого выпить в кафе чашечку мокко и рюмку вишневки; в это время сюда приходили дамы с зеленого рынка, нагрузив свои плетеные кожаные сумки капустой и морковью, горошком и сливами; хозяйственные таланты этих дам заключались в том, что, заговорив усталых крестьянок, они умели дешево выманить у них товар, чтобы затем потратить на кофе и на пирожные в сто раз больше, чем они сэкономили; размахивая кофейными ложечками, словно шпагами, они возмущались каким-то ротмистром, который, находясь на службе — «на службе», подумать только, — послал воздушный поцелуй известной кокетке, стоявшей на балконе; к тому же, по достоверным сведениям, самым достоверным сведениям, ротмистр покинул эту даму только в половине пятого утра, пробравшись через служебный вход отеля. Ротмистр и служебный вход. Какой срам!

Я смотрел на посетителей кафе и прислушивался к их разговорам, к разговорам моих статистов, я зарисовывал ряды стульев, столы и балетные па кельнеров; без двадцати одиннадцать я потребовал счет — он был меньше, чем я ожидал; я заранее решил показать себя человеком с широкими замашками, хоть и не слишком расточительным, эту формулу я где-то вычитал и нашел приемлемой для себя. Распростившись с кельнером и вознаградив этого человека, устами которого будет создан миф обо мне, пятьюдесятью пфеннигами, я ушел из кафе усталый, как после тяжелой работы; лакеи проводили меня внимательным взглядом, но никто из них так и не догадался, что я-то и был солистом; держась прямо, я проходил пружинящим шагом сквозь ряды кельнеров, демонстрируя им то, что они должны

были видеть, — художника в широкополой черной шляпе, маленького, хрупкого, с виду лет двадцати пяти, без особых примет, чем-то похожего на провинциала, но в то же время на человека, знающего себе цену. Под конец я дал грош мальчику, который распахнул передо мной дверь.

От кафе до дома семь на Модестгассе было всего полторы минуты ходу. Подмастерья, ломовики, монахи-ни; улица жила своей жизнью. Правда ли, что в воротах дома семь пахло типографской краской? Подвижные части типографских машин двигались взад и вперед, взад и вперед, подобно поршням в машинном отделении парохода; они печатали что-то назидательное на белых листах бумаги; швейцар снял фуражку.

— Господин архитектор? Ваш багаж уже наверху. Я сунул в его красноватую ладонь чаевые.

— Рад стараться, господин лейтенант! — Он ухмыльнулся. — Да, тут уже приходили двое господ, они хотят записать господина лейтенанта в здешний клуб офицеров запаса.

И снова будущее показалось мне более реальным, чем настоящее, которое, едва успев свершиться, погружалось в темное небытие, — я увидел неопрятного швейцара, окруженного газетчиками, увидел броские заголовки: «Молодой архитектор побеждает корифеев на конкурсе». Увидел, как швейцар услужливо сообщает газетчикам сведения обо мне: «Он? Он, господа, не признает ничего, кроме работы. Утром в восемь часов он отправляется к мессе в Святой Северин, до половины одиннадцатого завтракает в кафе «Кронер», с половины одиннадцатого до пяти сидит у себя наверху в мастерской, никого не принимая; целый день он питается — смейтесь, смейтесь, господа, — одним гороховым супом, который сам себе варит; горох, сало и даже лук ему посылает старушка мать. От пяти до шести он прогуливается по городу, с половины седьмого до половины восьмого играет в бильярд в отеле «Принц Генрих», он посещает клуб офицеров запаса. Женщины? Об этом мне ничего не известно. В пятницу вечером, господа, от восьми до десяти у него репетиция в певческом фереине «Немецкие голоса». Да и кельнеры в кафе «Кронер» будут загребать чаевые в обмен на информацию обо мне. «Сыр с перцем? Очень интересно. Неужели он и за завтраком рисует как одержимый?»

Позже я часто вспоминал день моего приезда, слы-

шал цоканье копыт по брусчатке, видел, как мальчики из отеля тащили чемоданы, вспоминал женщину в палевой шляпке с вуалью, читал плакат: «Всем военнообязанным рекомендую...» — прислушивался к своему смеху — над кем я смеялся? Что выражал мой смех? Каждое утро, возвращаясь от мессы и забирая свои письма и газеты, я видел эскадрон улан, который направлялся к учебному плацу на северной окраине города, и каждое утро, когда лошадиное цоканье замирало вдали по дороге к плацу, где уланам предстояло мчаться в атаку или, вздымая клубы пыли, скакать в дозор, я размышлял о ненависти отца к лошадям и офицерам; заслышав звук трубы, старики служивые останавливались на улице, и на глаза у них навертывались слезы, но я вспоминал своего отца; сердца кавалеристов, в том числе и сердце моего швейцара, бились учащенно, служанки с тряпками в руках застывали наподобие живых изваяний, подставляя утреннему ветерку свою любвеобильную грудь. Как раз в эти часы швейцар вручал мне посылку: это мать присылала мне горох, сало, лук и свои материнские благословения; нет, при виде скачущих улан мое сердце не билось учащенно.

Я писал матери письма, заклиная ее не приезжать, я не хотел, чтобы она вошла в ряды статистов; позже, позже, когда игра выгорит, тогда пусть приедет; мать была маленького роста, хрупкая и темноволосая, как я; она делила свое время между кладбищем и церковью, ее лицо, весь ее облик были слишком уж под стать моей игре, она никогда не стремилась к деньгам, одного золотого ей хватало на целый месяц — на хлеб, на суп и на то, чтобы бросить в церковный кошель два пфеннига в воскресенье и пфенниг в будний день. «Приедешь попозже», — писал я ей, но это оказалось слишком поздно: ее похоронили на кладбище рядом с отцом, рядом с Шарлоттой и Маурицием — она никогда больше не увидела того, чей адрес каждую неделю надписывала на конвертах: «Модестгассе, 7. Генриху Фемелю». Я боялся ее мудрого взгляда и того непредвиденного, что могут произнести ее уста: «Зачем? Зачем тебе нужны деньги и почести, и кому ты хочешь служить — Богу или людям?» Я боялся ее прямых вопросов, непререкаемых, как катехизис, на которые надо было отвечать теми же словами, но только в утвердительной форме, с точкой на конце вместо вопросительного знака. Я не знал — «зачем?». Я ходил в церковь не из лицемерия и не

потому, что этого требовала моя роль, хотя мать мне бы, пожалуй, не поверила; играть я начинал лишь в кафе «Кронер» и играл до половины одиннадцатого, а потом снова — от пяти часов дня до десяти; я думал об отце, пока уланы окончательно не исчезали за Модестскими воротами, это было легче, чем думать о матери; шарманщики, ковыляя, спешили в пригороды, им надо было добраться туда пораньше, чтобы умиротворить своей игрой сердца хозяек и служанок, скучавших в одиночестве. «О рассвет, рассвет печальный»; к вечеру они возвратятся обратно в город, чтобы переплавить в медяки меланхолию предвечерних часов. «Аннемари, Розмари»; а через дорогу мясник Грец прикреплял у дверей своей лавки кабанью тушу — темно-красная свежая кабанья кровь капала на асфальт; вокруг кабана мясник развешивал фазанов, куропаток, зайцев — нежные перья и смиренные заячьи шкурки украшали громадную тушу; каждое утро Грец выставлял на всеобщее обозрение убитых животных, и всегда так, чтобы их раны были видны прохожим — простреленные заячьи брюшки, голубиные грудки, вспоротый бок кабана, — он хотел, чтобы кровь была на виду; розовые руки госпожи Грец укладывали ломти печенки между кучками грибов, икра поблескивала на кубиках льда рядом с гигантскими окороками; лангусты, лиловые, словно сильно обожженные кирпичи, беспомощно тыкались в стеклянные стенки плоских аквариумов, ожидая того момента, когда попадут в умелые руки хозяек; так было седьмого, девятого, десятого, одиннадцатого сентября тысяча девятьсот седьмого года, и только восьмого, пятнадцатого и двадцать второго сентября — по воскресеньям — фасад мясной Греца не обгагрался кровью; Грец вывешивал убитых животных и в тысяча девятьсот восьмом году, и в тысяча девятьсот девятом, и много лет подряд, их не было только в те годы, когда все подавляла высшая сила; я видел их каждый день пятьдесят с лишним лет подряд и вижу по сию пору, вижу, как ловкие руки хозяек торопливо выскивают в этот субботний день лакомые кусочки на воскресенье.

— Да, Леонора, вы верно прочли — первый гонорар сто пятьдесят тысяч марок. Нет даты? Очевидно, это было в августе тысяча девятьсот восьмого года. Да, точно, в августе девятьсот восьмого. Вы еще ни разу не

пробовали кабаньего мяса? Так вот, вы ничего не потеряли, доверьтесь моему вкусу. Кабанье мясо мне никогда не нравилось. Заварите немного кофе, надо запить всю эту пыль, и купите пирожных, если вы любите сладкое. Чепуха, от пирожных не толстеют, не верьте этой брехне... Да, в тысяча девятьсот тринадцатом, это домик по заказу господина Кольгера, кельнера из кафе «Кронер». Нет, без гонорара.

Сколько раз я завтракал в кафе «Кронер»? Десять тысяч раз? Двадцать тысяч? Я никогда не подсчитывал, я ходил туда каждый день, за исключением тех лет, когда этому препятствовала высшая сила.

Я видел, как высшая сила маршировала, я стоял в тот день на крыше противоположного дома — дома номер восемь, — спрятавшись за беседку, и смотрел вниз на улицу; высшая сила двигалась к вокзалу, гигантские толпы горланили «Стражу на Рейне» и выкрикивали имя дурака, который и сейчас еще скачет на бронзовом коне, держа путь на запад; фуражки, цилиндры и банкирские котелки были украшены цветами, цветы торчали в петлицах, а под мышкой люди держали маленькие свертки с нижним бельем, изготовленным по системе профессора Густава Егера; толпа бушевала так, что ее рев доносился до самых крыш; даже проститутки из торговых рядов послали сегодня своих альфонсов на призывные пункты, снабдив их свертками с особо высококачественным теплым нижним бельем. Тщетно ждал я, что во мне пробудятся те же чувства, что и у толпы, там, внизу; я казался себе опустошенным, одиноким, низким человеком, не способным на воодушевление, и никак не мог взять в толк, почему я не способен воодушевиться, раньше я над этим не задумывался; я вспомнил о своем пахнувшем нафталином военном мундире — он все еще был мне впору, хотя, когда я шил его, мне исполнилось всего двадцать лет, а теперь уже минуло тридцать шесть; я надеялся, что мне не придется надевать его снова, я хотел по-прежнему исполнять свою партию соло, не включаясь в ряды статистов; люди, которые с песней направлялись к вокзалу, попросту рехнулись: они с жалостью смотрели на тех, кто оставался дома, да и сами остающиеся считали себя жертвами, считали, что их обошли; но я соглашался быть жертвой, нимало не горюя. Внизу в доме рыдала моя теща; обоих ее сыновей призвали в первый же день, они уже ускакали на товарную станцию, где грузили лошадей; ее сыновья были

гордыми уланами, и моя теща пролиwała по ним гордые слезы; я стоял, спрятавшись за беседку; на крыше еще цвели глицинии; я слышал, как внизу мой четырехлетний сынишка повторял: «Хочу ружье, хочу ружье...» Мне бы следовало спуститься вниз и высечь его в присутствии моей гордой тещи, но я позволил ему петь, позволил играть с уланским кивером, который мальчику подарили дяди, позволил волочить за собой саблю, позволил выкрикивать: «Французу каюк! Англичанину каюк! Русскому каюк!» И я стерпел, когда комендант гарнизона сказал мне сочувственным, чуть ли не прерывающимся от волнения голосом:

— Душевно сожалею, Фемель, но мы пока не можем без вас обойтись, придется вам заpastись терпением, ведь и в тылу нужны люди, как раз такие люди, как вы...

Я строил казармы, укрепления, лазареты; поздно вечером, облачившись в свой лейтенантский мундир, я проверял караулы на мосту; пожилые торговцы в чине ефрейторов и банкиры, ставшие рядовыми, старательно отдавали мне честь; поднимаясь по лестнице на мост, я при свете карманного фонарика видел скабрезные рисунки, нацарапанные на красном песчанике подростками, возвращавшимися с купанья; на лестнице пахло ранней возмужалостью. Где-то поблизости висела вывеска: «Михаэлис. Уголь, кокс, брикеты», нарисованная рука указывала туда, где можно было приобрести все эти товары. Унтер-офицер Грец рапортовал мне: «Караул на мосту: один унтер-офицер и шесть солдат, особых происшествий нет». Наслаждаясь собственной иронией и собственным превосходством, я махал рукой, — мне казалось, я позаимствовал этот жест из комедий, — и говорил: «Вольно!» — а затем расписывался в постовой ведомости и отправлялся восвояси; дома я вешал в шкаф шлем и саблю, шел в гостиную к Иоганне, клал голову к ней на колени и, ни слова не сказав, курил свою сигару; Иоганна тоже не говорила мне ни слова, но упорно возвращала Грецу паштеты из гусиной печени, и когда настоятель Святого Антония посылал нам хлеб, мед и масло, Иоганна все раздавала; я ничего не говорил ей по этому поводу; в кафе «Кронер» мне все еще подавали тот же завтрак — наверное, уже в двухтысячный раз, — все тот же сыр с перцем; я по-прежнему давал кельнеру пятьдесят пфеннигов на чай, хотя он не хотел их брать, и даже настаивал на том, чтобы уплатить мне гонорар за проект дома.

Иоганна высказывала вслух то, о чем я только думал: когда мы были в гостях у начальника гарнизона, она не стала пить шампанское, не стала есть жаркое из зайца, отказывала всем, кто приглашал ее танцевать, она громко заявила: «Державный дурак...» — и казалось, будто в казино на Вильгельмскуле начался ледниковый период; в наступившей тишине она повторила: «Державный дурак...» Там сидели генерал, полковник, майоры, все с женами, я был в то время новоиспеченным оберлейтенантом, уполномоченным по строительству укреплений; в казино на Вильгельмскуле наступил ледниковый период; маленькому фенриху пришла в голову счастливая мысль: он приказал оркестру заиграть вальс; я взял Иоганну под руку и отвел ее к экипажу; стояла чудесная осенняя ночь, серые колонны маршировали к пригородным вокзалам, особых происшествий не было.

Суд чести. Никто не осмеливался повторить слова Иоганны; поношения подобного рода даже не заносились в акты. «Его величество — державный дурак» — такого никто не решился бы написать; мне говорили: «То, что сказала ваша супруга...» — а я вторил им: «То, что сказала моя жена...» — но я не сказал им главного — того, что согласен с нею. Вместо этого я пустился в объяснения: «Но, господа, ведь она же беременна, до родов осталось всего два месяца, она потеряла обоих братьев — ротмистра Кильба и фенриха Кильба — обоих в один и тот же день, потеряла маленькую дочку в тысяча девятьсот девятом году...» — хотя в глубине души знал, что мне надо сказать совсем другое: «Господа, я согласен с моей женой...» — знал, что одной иронии недостаточно, что одной иронией не обойдешься.

— Нет, Леонора, этот пакетик можете не вскрывать — его содержимое относится к области чувств, — пакетик хоть и немного весит, но значит для меня очень много, в нем всего-навсего пробка от бутылки. Спасибо за кофе, поставьте, пожалуйста, чашечку на подоконник; я напрасно ожидаю внучку, в эти часы она обычно готовит уроки в садике на крыше, я забыл, что каникулы еще не кончились; посмотрите, отсюда из окна можно заглянуть в вашу контору; когда вы сидите там за письменным столом, я вижу вас, вижу ваши красивые волосы.

Почему чашка вдруг задрожала, почему она зазвене-ла, будто от стука печатных машин, — разве они снова начали работать, разве кончился обеденный перерыв? Неужели и в субботу вечером они печатают что-то назидательное на белых листах бумаги?

Не сосчитать, сколько раз по утрам я ощущал, как дрожит пол; облокотившись на подоконник, я смотрел вниз на улицу, на белокурые волосы, легкий аромат которых уносил с собой из церкви, — слишком душистое мыло погубило бы эти красивые волосы, порядочность заменяла здесь духи; возвращаясь от ранней мессы, я шел за девушкой, я видел, как без четверти девять она проходила мимо лавки Греца к дому номер восемь. Она входила в этот желтый дом, где на черной деревянной дощечке красовалась белая, слегка потемневшая от времени надпись: «Доктор Кильб, нотариус». Я наблюдал за ней, входя в каморку швейцара за своей газетой; свет падал на ее нежное, слегка помятое от служения справедливости лицо, она открывала дверь конторы, распахивала ставни, потом подбирала цифры на замке сейфа, открывала стальные дверцы — казалось, они вот-вот задавят ее, — проверяла содержимое сейфа; Модестгассе была так узка, что я мог заглянуть прямо в сейф на верхнюю полку и прочесть тщательно надписанную картонную табличку: «Проект Святого Антония». В сейфе лежали три больших пакета, испещренных сургучными печатями, походившими на раны; пакетов было всего три, и каждый ребенок знал имена их отправителей — Бремкоккель, Грумпетер и Воллерзайн. Бремкоккель был архитектор, построивший тридцать семь церквей в неоготическом стиле, семнадцать часовен, двадцать один монастырь и больницу; Грумпетер создал всего тридцать три церкви в неороманском стиле, всего двенадцать часовен и восемнадцать больниц; третий пакет был прислан Воллерзайном, который построил всего лишь девятнадцать церквей, две часовни и четыре больницы, но зато воздвиг настоящий собор.

— Вы читали, господин лейтенант, что написано в «Вахте»? — спросил меня швейцар, и я прочел поверх его заскорузлого большого пальца строчку, которую он мне показал: «Сегодня последний день представления проектов аббатства Святого Антония. Неужели наша архитектурная молодежь не нашла в себе мужества?..»

Я засмеялся, свернул газету трубочкой и пошел завтракать в кафе «Кронер»; когда кельнер прокричал

в окошко повару: «Завтрак для господина архитектора Фемеля, как всегда», мне показалось, что я участвую в древнем, исполняемом уже многие века религиозном обряде. Домохозяйки, священники, банкиры... гомон голосов. Было около половины одиннадцатого. Блокнот с набросками овечек, змей, пеликанов... пятьдесят пфеннигов кельнеру, десять бою... ухмылка швейцара, которому я по утрам совал в руку сигару, получая от него свою корреспонденцию. Я стоял в мастерской, ощущая локтями вибрацию печатных машин, и смотрел вниз в контору Кильба, где ученик у окна размахивал белой гладилкой. Потом я вскрыл письмо, которое вручил мне швейцар: «...мы можем сразу же предложить Вам должность главного чертежника; двери моего дома будут для Вас открыты, мы гарантируем Вам дружеский прием в здешнем обществе. Недостатка в развлечениях у Вас не будет...» Меня опять прельщали миловидными архитектурскими дочками и звали на семейные пикники, где молодые люди в круглых шляпах цедили пиво из бочонков на опушке леса, а юные девушки вынимали из корзин и раздавали им бутерброды; на только что скошенных лужайках молодежь танцевала под присмотром мамаш, которые тревожно подсчитывали года своих дочек и хлопали в ладоши, восхищаясь их необычайной грацией; потом во время прогулки по лесу, предложив своей даме руку, чтобы она не спотыкалась о корни, можно было отважиться на поцелуй: облобызать ручки спутницы повыше запястья или чмокнуть ее в щечку и в плечико, ведь в лесном полумраке расстояние от пары до пары незаметно увеличивалось; и наконец, по дороге домой, когда в вечерних сумерках коляски проезжали по укромным полянкам и из леса выглядывали косули, словно их специально ангажировали для этого, когда кто-нибудь запевал песню и ее подхватывали все остальные, нетрудно было шепнуть своей даме, что тебя пронзила стрела амура. Экипажи уносили с собой разбитые сердца и раненые души...

Я написал учтивый ответ: «...охотно приму Ваше любезное предложение, как только закончу свои дела, которые еще на некоторое время задержат меня в городе...», запечатал конверт, наклеил марку, снова подошел к подоконнику и взглянул вниз на Модестгассе; каждый раз, когда ученик взмахивал гладилкой, та сверкала, как кинжал; два служащих отеля грузили кабанью тушу на ручную тележку — вечером я отведаю кабаньего мяса

в мужской компании на ужине певческого фрейна «Немецкие голоса»; мне придется выслушивать там остроты коллег, я буду смеяться, но они так и не поймут, что я смеюсь не над их остротами, а над ними самими; их остроты были так же тошнотворны, как подливки, которые там подавали, и я снова засмеялся, стоя у окна, все еще не понимая, что выражает мой смех — ненависть или презрение. Только не радость — это я знал.

Служанка Греца поставила рядом с кабаньей тушей белые корзины с грибами, повар в «Принце Генрихе» уже отвешивал пряности, повара точили ножи, взволнованные кельнеры, нанятые на этот вечер для подмоги, стоя перед зеркалом у себя дома, оправляли галстуки, которые они повязали для пробы, и спрашивали жен, гладивших перелицованные брюки — вся кухня была полна пара: «Как ты думаешь, мне надо целовать епископу руку, если, чего доброго, придется ему прислуживать?»

Ученик нотариуса все еще размахивал белой гладилкой.

Одиннадцать часов пятнадцать минут; я почистил свой черный костюм, проверил, не съехал ли набок атласный галстук, надел шляпу и вытащил карманный календарик — он был не больше плоской спичечной коробки; открыв календарик, я заглянул в него: «30 сентября 1907 года, в 11.30 — сдать Кильбу проект. Потребовать квитанцию».

Осторожно! Обдумывая свой план, я слишком часто мысленно проделывал все с начала до конца — спускался по лестнице, переходил улицу, входил в вестибюль, а потом в переднюю.

— Мне нужно поговорить с господином нотариусом лично.

— По какому делу?

— Я бы хотел передать господину нотариусу *проект Святого Антония на конкурс*.

Никто, кроме ученика, не удивился, но ученик на секунду перестал махать гладилкой и оглянулся, а потом, пристыженный, опять повернул голову к улице и к своим папкам, памятуя о девизе фирмы: «Тайна гарантирована!» В этой комнате, где ветхость считалась шиком, где по стенам висели портреты давних предков, служивших правосудию, где чернильницы жили по восемьдесят лет, а гладилки по сто пятьдесят, в этой комнате в полном молчании совершались поистине грандиозные сделки: здесь целые кварталы меняли своих

владельцев, здесь вступающие в брак подписывали контракты, согласно которым ежегодная сумма денег, выдававшаяся супруге «на булавки», превышала жалование чиновника за пять лет, и в то же время здесь нотариальным порядком заверялась закладная работяги-сапожника стоимостью в две тысячи марок и хранилось завещание дряхлого пенсионера, в котором он отказывал своему любимому внуку ночную тумбочку; здесь в полной тайне улаживались юридические дела вдов и сирот, рабочих и миллионеров, а на стене висело изречение: *«И правая их рука полна подношений»*.

Нет никаких оснований оборачиваться и глазеть на молодого художника в черном перелицованном костюме, унаследованном от дяди, художника, который отдает пакет, завернутый в белую бумагу, и чертежи, свернутые в трубку; напрасно только молодой человек полагал, что ему придется разговаривать с господином нотариусом лично. Начальник канцелярии запечатал пакет и свернутые в трубочку чертежи, оттиснув на горячем сургуче герб Кильбов — овечку, из груди которой бьет струя крови, в то время как приятная блондинка — секретарша нотариуса — выписывала квитанцию: «Сдано в понедельник 30 сентября 1907 года, в 11.35 утра господином архитектором Генрихом Фемелем...» — но когда девушка протягивала мне квитанцию, ее бледное приветливое лицо на миг просветлело — кажется, она узнала меня. От этой непредвиденной улыбки я почувствовал себя счастливым, именно она убедила меня в реальности происходящего; значит, этот день и эта минута действительно существовали; не мои собственные поступки утвердили меня в этой мысли, хотя я и в самом деле спустился по лестнице, пересек улицу, вошел в вестибюль и в переднюю и увидел ученика, который сперва посмотрел на меня, а потом, пристыженный девизом «Тайна гарантирована», отвернулся, хотя я и в самом деле увидел кроваво-красные, как раны, следы сургуча; меня убедило в этом непредвиденное — дружеская улыбка секретарши; девушка окинула взглядом мой перелицованный костюм, а потом, когда я взял у нее из рук квитанцию, шепнула:

— Желаю вам удачи, господин Фемель.

Впервые за месяц с лишним была нанесена зияющая рана времени; слова секретарши дали мне понять, что в игре, затеянной мною, участвовала реальность; так, значит, время не фабриковалось в царстве грез, где

будущее становилось настоящим, а настоящее казалось прошлым вековой давности и где прошлое становилось будущим; у этого прошлого я всегда мысленно искал защиты, как когда-то ребенком искал защиты у отца. Он был тихий, мой отец; шли годы, и все больше укутывали его в тишину, тяжелую, как свинец; на торжественных богослужениях он играл на органе, он пел на похоронах: на похоронах по первому разряду пел много, по второму — меньше, а по третьему и вовсе не пел; мой отец был такой тихий, что при воспоминании о нем у меня щемит сердце; отец доил коров, косил сено и молотил хлеб, да так усердно, что мякина, словно мошकारа, облепляла его залитое потом лицо; отец размахивал дирижерской палочкой в юношеском фереине, в союзе подмастерьев, в фереине стрелков и в фереине Святой Цецилии; отец всегда молчал, он никогда не ругался, он пел, рубил свеклу, варил свиньям картофель, играл на органе, надев свой черный регентский сюртук, а поверх него — белый стихарь; никто в деревне не замечал, что отец не произносит ни слова, потому что он всегда был чем-то занят; из четверых его детей двое умерли от чахотки, остались только Шарлотта и я. Моя мать была хрупкая женщина, из тех, что любят цветы и нарядные занавески, любят петь песни за глаженьем белья, а по вечерам, когда топится печка, рассказывать бесконечные истории; отец работал не разгибая спины: сам делал кровати, набивал мешки сеном, резал кур, и все это продолжалось до тех пор, пока не умерла Шарлотта; шла заупокойная служба, церковь была убрана в белое, священник пел, но регент не вторил ему, молчал орган, с хоров не доносились голоса певчих, только один священник пел. Когда похоронная процессия в полной тишине выстроилась перед церковью, чтобы идти на кладбище, растерянный священник спросил: «Но, Фемель, дорогой мой, хороший мой Фемель, почему же вы не пели?»

И тут я в первый раз услышал, что мой отец заговорил; он произнес всего несколько слов, но я был поражен тем, как грубо прозвучал его голос, который мог звучать так нежно, когда отец стоял на хорах.

Он тихо, чуть внятно буркнул: «На похоронах по третьему разряду не поют».

Над Рейном поднялся туман, клубы облаков вытягивались в ленты и, свиваясь, плясали над свекловичными полями, в ивах каркали вороны, словно масленичные трещотки, растерянный священник читал заупокойную

службу; с тех пор отец не поднимал больше дирижерскую палочку ни в юношеском фереине, ни в союзе подмастерьев, ни в фереине стрелков, ни в фереине Святой Цецилии; казалось, первая фраза, которую я от него услышал (когда умерла двенадцатилетняя Шарлотта, мне исполнилось шестнадцать), сделала его разговорчивым; теперь он говорил непривычно много, говорил о лошадях и офицерах, которых ненавидел; как-то он угрожающе заметил: «Горе вам, если вы похороните меня по первому разряду».

— Да,— повторила блондинка.— Желаю вам удачи.

Быть может, лучше было бы отдать ей квитанцию, потребовать обратно запечатанный пакет и чертежи и вернуться домой; быть может, лучше было бы жениться на дочери бургомистра или подрядчика, строить пожарные каланчи, сельские школы, церкви, часовни; на праздниках после окончания строительства я танцевал бы с хозяйкой, а моя жена в это время отплясывала бы с хозяином; зачем бросать вызов Бремоккелю, Грумпетеру и Воллерзайну — этим корифеям церковной архитектуры? Зачем? Меня не мучило честолюбие и не прельщали деньги; мне и так никогда не пришлось бы голодать, я играл бы в скат со священником, аптекарем, трактирщиком и бургомистром, ездил бы на охоту и строил разбогатевшим крестьянам «что-нибудь помодней». Но ученик уже отбежал от окна и распахнул передо мной дверь, я сказал «спасибо» и вышел из приемной, прошел через вестибюль, пересек улицу и поднялся по лестнице в свою мастерскую; там я оперся руками о подоконник, содрогавшийся от стука типографских машин; это было тридцатого сентября тысяча девятьсот седьмого года около одиннадцати часов сорока пяти минут дня...

— Да, Леонора, с этими типографскими машинами просто беда, у меня уже разбилась не одна чашка, стоит лишь зазеваться. Не торопитесь, к чему такая спешка, не надо горячиться, милочка. Если так пойдет и дальше, вы за неделю приведете в порядок все, что я не мог разобрать за пятьдесят один год. Нет, спасибо, я не хочу пирожного. Вы разрешаете называть вас милочкой? Любезности такого старика, как я, не должны вас смущать. Ведь я, Леонора, памятник, а памятники не могут причинить зла; я, старый дурак, все еще хожу каждое утро в кафе «Кронер» и ем там сыр с перцем,

хотя он мне давно опостылел, но я считаю своим долгом не разрушать в глазах современников легенду обо мне; я собираюсь учредить сиротский приют, быть может школу, и установить стипендии; когда-нибудь где-нибудь меня обязательно отольют в бронзе и откроют мне памятник; вы должны при этом присутствовать и смеяться, Леонора, вы так заразительно смеетесь, вам это известно? Я уже больше не смеюсь, я разучился смеяться, хотя думал, что смех — мое оружие, но он никогда им не был, он давал мне всего лишь некоторые иллюзии. Если хотите, я возьму вас с собой на университетский бал и представлю как свою племянницу; на балу вы выпьете шампанского, потанцуете и познакомитесь с молодым человеком, который будет хорошо относиться к вам и полюбит вас; я дам за вами хорошее приданое, да, да, подумайте об этом на досуге... Три метра на два — это общий вид Святого Антония, он висит здесь в мастерской уже пятьдесят один год, висел и тогда, когда обвалился потолок, с того времени на чертеже появилось несколько пятен от сырости — вот эти самые. Святой Антоний был мой первый большой заказ, грандиозный заказ; уже тогда, хотя мне только-только минуло тридцать лет, моя карьера была сделана.

В тысяча девятьсот семнадцатом году я опять не нашел в себе мужества сделать то, что сделала за меня Иоганна: она вырвала из рук Генриха стихотворение — мальчик стоял на крыше у беседки, — это стихотворение он должен был выучить наизусть; Генрих читал его истово, с детской серьезностью:

Петр, Божий привратник, сказал, что он рад,
Но должен начальству представить доклад.
Ушел и вернулся — немного прошло,—
Ах, ваше сиятельство, вам повезло.
Вот отпуск бессрочный. Сам Бог подмахнул
(Сказал и врата широко распахнул).
Ступай же, наш храбрый герой.
Господь да пребудет с тобой! ¹

Роберту еще не исполнилось двух лет, а Отто еще не родился, я приехал в отпуск; мне уже давно стало ясно то, о чем я раньше лишь смутно догадывался; одной иронии недостаточно, от нее мало толку, ирония — это

¹ Здесь и далее в этом романе стихи в переводе Б. Слуцкого.

наркотик для привилегированных. Я должен был сделать то, что сделала Иоганна; мне следовало поговорить с мальчиком — мне, в моем капитанском мундире, — но я молча слушал, как Генрих декламировал:

И Блюхер торопится тотчас сойти,
Чтоб нас от победы к победе вести.
Ура! С Гинденбургом мы мчимся вперед.
Он Пруссию спас! Он надежный оплот;
Покуда немецкие рощи растут,
Покуда немецкие флаги цветут,
Покуда немецкое слово звучит,
Не будет наш Гинденбург нами забыт.
Герой! Для тебя наши бьются сердца,
А славе героя не будет конца.
С Гинденбургом вперед! Ура!

Иоганна выхватила из рук мальчика листок со стихами, разорвала его и выбросила клочки бумаги на улицу, они полетели вниз, как снежные хлопья, и легли перед лавкой Греца, где в тот день не висела туша, потому что в мире властвовала высшая сила.

— Когда мне откроют памятник, Леонора, одним смехом не обойдешься, плюньте на него, душенька, во имя моего сына Генриха и во имя Отто — ведь он был такой милый мальчик, такой хороший и послушный, а стал с годами совсем чужим, таким чужим, как никто на этой земле; во имя Эдит, единственного агнца, какого я когда-либо видел; я любил Эдит, мать моих внуков, но не сумел помочь ей, не сумел помочь ни подмастерью столяра, которого я видел всего два раза, ни тому юноше — его я никогда не видел, — который приносил нам весточки от Роберта и бросал в почтовый ящик записки величиной с конфетную бумажку; за это преступление он сгинул в концлагере. Роберт был умный и холодный и не признавал иронии; Отто казался совсем другим — гораздо сердечнее, но именно он принял *«причастие буйвола»* и стал нам совсем чужим; плюнь на мой памятник, Леонора, скажи им, что я так просил; хочешь, я дам тебе письменное разрешение и заверю свою подпись у нотариуса; жаль, что ты не знала того мальчика, при виде его я понял изречение: *«И Ангелы служили Ему...»* — он работал подмастерьем у столяра, и ему отрубили голову; жаль, что ты не знала Эдит и ее брата, я и сам-то видел его один-единственный раз; он прошел

по нашему двору и поднялся наверх к Роберту; я стоял у окна спальни и видел его всего полминуты, но мне стало страшно, ибо он принес с собой и беду и благословение, его фамилия была Шрелла, а имени я так и не узнал, он казался мне судебным исполнителем Бога, который метит дома неисправных должников; я знал, что он потребует к ответу моего сына, и все же я позволил этому юноше с вислыми плечами пройти по двору; брат Эдит взял заложником старшего из моих оставшихся в живых сыновей, одаренного юношу; сама Эдит была совсем другой — в ней жила библейская серьезность, и она могла позволить себе библейский юмор; во время бомбежек Эдит смеялась вместе со своими детьми; она дала им библейские имена: Йозеф и Рут — Иосиф и Руфь, смерть не страшила ее; она не могла понять, почему я так горюю по моим умершим детям — по Иоганне и Генриху, ей так и не довелось узнать о смерти Отто, который был мне когда-то ближе всех, но стал чужим, — Отто любил мою мастерскую и мои чертежи, он ездил со мной на стройки и пил пиво на празднествах по случаю окончания строительства, он был любимцем рабочих; но в сегодняшнем празднике он не будет участвовать; сколько гостей приглашено? Род, который я основал, невелик — всех можно пересчитать по пальцам одной руки: Роберт, Йозеф, Рут, Иоганна и я; на месте Иоганны будет сидеть Леонора. Что я скажу Йозефу, когда он с юношеским пылом сообщит мне об успехах восстановительных работ в аббатстве Святого Антония; праздник по случаю окончания работ намечено устроить уже в конце октября, монахи хотят отслужить предрождественское богослужение в новой церкви. *«Дрожат дряхлые кости»*, Леонора, они не пасли моих овец.

Лучше было бы вернуть тогда квитанцию, сломать красные печати и уничтожить пакет, мне не пришлось бы теперь ждать моей внучки, красивой черноволосой девятнадцатилетней девушки — ей сейчас как раз столько же, сколько было Иоганне, когда я пятьдесят один год назад увидел ее на крыше соседнего дома; она читала книгу, заглавие которой было мне хорошо видно — *«Коварство и любовь»*, а может, девушка, читающая сейчас на крыше *«Коварство и любовь»*, и есть Иоганна? Неужели ее действительно нет с нами? Неужели она не сидит с Робертом за обедом *«У льва»*, неужели я не

сегодня заходил в каморку швейцара, чтобы отдать ему традиционную сигару; неужели я не только что удрал от доверительного разговора — разговора «мужчины с женщиной, рядового с лейтенантом», — удрал к себе наверх, чтобы просидеть здесь с половины одиннадцатого до пяти, неужели я не поднялся по лестнице, как бывало в те дни, мимо стопок книг и штабелей епископских посланий, еще пахнувших типографской краской? Что они еще успеют напечатать в нынешнюю субботу на белых листах бумаги — назидательные сентенции или предвыборные плакаты для тех, кто принял «причастие буйвола»? Стены дрожат, лестница сотрясается — работницы приносят все новые бумажные кипы, нагромождают их одну на другую до самых дверей моей мастерской. В те времена, лежа здесь, я упражнялся в искусстве жить в настоящем; потоки воздуха несли меня как бы по черной вентиляционной трубе, я знал, что вот-вот меня выбросит наружу, но не знал куда. Я ощущал извечную горечь, меня томило извечное чувство, что все — суета сует, я видел детей, которые от меня родятся, вина, которые я буду пить, больницы и церкви, которые построю, и все время я слышал, как комья земли падают на мой гроб, слышал неотвязную, глухую дробь барабана; а наяву до меня доносилось пение накладчиц, фальцовщиц и упаковщиц — одни пели высокими голосами, другие низкими, кто с чувством, а кто равнодушно, они пели о простых радостях субботнего вечера, но мне их пение казалось зауспокойной молитвой; в песнях говорилось о любви на дешевых танцуйках, о грустном счастье у кладбищенской стены в по-осеннему пахучей траве; о слезах старых матерей, предваряющих радости юных матерей; о печали сиротского приюта, где храбрая девушка решила хранить чистоту, пока и ее не настигло чувство, настигло во время танцев, и она вкусила грустное счастье у кладбищенской стены в по-осеннему пахучей траве, — голоса работниц звучали монотонно, словно в тихую воду мерно опускались водочерпальные колеса, словно работницы отпевали меня; комья земли стучали по крышке гроба. Из-под опущенных век я смотрел на стены мастерской, которые увешал эскизами; в центре красовалась грандиозная, отливающая красным светокония в масштабе 1:200 — аббатство Святого Антония; на переднем плане виднелся поселок Штелигерс-Гротте — коровы паслись на лугу, рядом тянулось убранный картофельное

поле, над которым поднимался дым от костра; дальше шло аббатство, огромное здание в стиле базилики (я без стеснения копировал романские соборы), крытая галерея казалась строгой, низкой, темной; поблизости я разместил кельи, трапезную и библиотеку, посередине крытой галереи возвышалась статуя святого Антония; хозяйственные постройки, амбары, конюшни, сараи образовывали большой прямоугольник — там были собственные мельница и пекарня; красивый дом предназначался отцу-эконому, который среди прочих обязанностей должен был заботиться о паломниках; под высокими деревьями стояли грубо сколоченные столы и стулья, здесь паломники могли подкрепиться и запить взятые в дорогу припасы терпким вином, виноградным соком или пивом; на горизонте был слегка намечен второй поселок — Гёрлингерс-Штуль: часовня, кладбище, четыре крестьянских двора, коровы, пасущиеся на лугу; ряды тополей справа отделяли расчищенную под пашню землю; монахи разобьют там виноградники, будут выращивать капусту и картофель, овощи и хлеб и собирать в ульях превосходный мед.

Таков был этот проект с подробными чертежами и с полной сметой, отданный за двадцать минут до срока в обмен на квитанцию; тонким пером я выписал все цифры, перечислил все статьи расходов и прищурился, словно уже видел в натуре эти постройки, я смотрел на проект так, как смотрят в окно: я видел монахов, отвешивающих поклоны, видел, как богомольцы пьют молодое вино, а внизу в ожидании свободного вечера все пели и пели работницы, пели высокими и низкими голосами, и их пение звучало отходной по мне; я закрыл глаза, и меня охватило предчувствие холода, который на самом деле мне суждено ощутить лишь через пятьдесят лет, уже человеком отжившим, окруженным буйной молодой порослью.

Этот месяц с лишним тянулся бесконечно, все, что я делал, уже происходило когда-то в моих сновидениях — мне оставались лишь утренняя месса да часы с половины одиннадцатого до пяти; я жаждал непредвиденного, до сих пор его принесла мне лишь чуть заметная улыбка секретарши и слова, повторенные ею дважды: «Желаю вам удачи, господин Фемель». Стоило мне закрыть глаза, и время расслаивалось, как спектр, на разные цвета — я видел прошлое, настоящее, будущее: через полвека моим старшим внукам будет по двадцать

пять лет, а сыновья мои вступят в тот возраст, в каком находятся теперь почтенные господа, которым я только что вручил проект, а вместе с ним и свою судьбу. Я ошупью поискал квитанцию, она была на месте, она существовала. Значит, завтра утром соберется жюри и установит, что положение изменилось, ибо поступил четвертый проект; за это время уже сложились группировки — двое членов жюри были за Грумпетера, двое — за Бремеккеля и один — самый главный, но самый молодой и скромный из всех пяти, настоятель, — за Воллерзайна; настоятелю нравился романский стиль — среди членов жюри неизбежно разгорится горячий спор, потому что оба члена, берущие взятки, станут с особым пылом приводить аргументы художественного порядка; но вдруг потребовалась отсрочка; какой-то никому не известный мальчишка без роду и племени спутал все карты. Члены жюри с беспокойством обнаружили, что настоятелю понравился мой проект; поднося к губам рюмку, он то и дело останавливался перед моим чертежом: весь ансамбль был органически вписан в окружающий ландшафт; прямоугольник с необходимыми хозяйственными постройками был четко отделен от прямоугольника с крытой галереей и кельями; настоятелю нравились и колодец, и подворье для паломников; он улыбался — в этом аббатстве он сможет править как «*primus inter pares*»¹, проект уже казался ему претворенным в жизнь, мысленно он уже главенствовал в монастырской трапезной, сидел на хорах, посещал больных братьев, ходил к отцу-эконому отведать вина и пересыпать с ладони на ладонь горсть зерна — хлеб для его братии и для бедных, зерно, собранное на его полях; у самых ворот молодой архитектор запроектировал небольшое крытое помещение для нищих, снаружи будут стоять скамейки — для летних дней, внутри — стулья, стол и печка — для зимней непогоды.

— Господа, этот проект не вызывает у меня сомнений, я без всяких оговорок голосую за проект господина... как бишь его... за проект Фемеля, к тому же стоимость всего сооружения на триста тысяч марок меньше, чем это предусматривает самый дешевый из трех других проектов.

Крошки сухого сургуча из разверстых ран усеяли

¹ Первый среди равных (лат.).

стол, по которому сейчас стучали кулаками специалисты, начиная долгий торг.

— Поверьте, ваше преподобие, уже не раз случалось, что нам сбивали цену. Но как вы поступите, если тот же самый Фемель явится за четыре недели до окончания работ и объявит: «Я — на мели». В таком случае, как этот, смета может быть перерасходована на полмиллиона. Так нередко случается. Поверьте нам, людям сведущим. Какой банк поручится за неопытного, никому не известного молодого человека, кто выложит за него гарантийную сумму? Разве у него есть состояние?

Молодой настоятель громко рассмеялся.

— Состояние Фемеля, согласно его собственным утверждениям, составляет восемь тысяч марок.

Торг продолжался. Господа ушли раздосадованные. Никто из них не поддержал настоятеля. Решение было отсрочено на четыре недели. Но оказалось, что этот бритоголовый крестьянский сын, которому едва минуло тридцать, имел по уставу решающий голос. *Вопреки* его воле ничего нельзя было решить, зато с его *согласия* все решалось без промедления.

И тут зазвонили телефоны; обливаясь потом, забегали нарочные, разнося экспресс-письма от регистранта-президента архиепископу, от архиепископа в духовную семинарию, где доверенное лицо архиепископской канцелярии как раз в эту минуту, стоя на кафедре, перевозило достоинства неоготического стиля; и доверенное лицо, залившись пунцовой краской, поспешно побежало к пролетке, которая уже ожидала его, копыта зацокали по брусчатке, и колеса пролетки, скрипя, начали описывать головокружительно смелые виражи: «Скорее! Скорее! Донесение! Донесение!»

— Фемель? Никогда не слышал.

— Проект? Технически он сделан блестяще, да и сметы, насколько можно судить, убедительны, это надо признать, ваше преосвященство, но стиль! Стиль чудовищный! Только через мой труп.

— Через ваш труп? — Архиепископ улыбнулся; этот профессор — артистическая натура, у него пламенный темперамент и к тому же слишком много чувства и слишком много развевающихся белых локонов. — Через ваш труп? Ну и ну!

От Грумпетера к Бремоккелю, от Бремоккеля к Воллерзайну летели шифрованные запросы; смертельно враждующие архитектурные светила на несколько дней

помирились; в шифрованных депешах и телефонных разговорах они спрашивали друг друга: «Является ли цветная капуста скоропортящимся продуктом?», что должно было означать: «Можно ли смещать настоятелей?», и тут пришел ошеломляющий ответ: «Цветная капуста не является скоропортящимся продуктом».

Месяц с лишним меня окружало небытие, мир и покой царили в моей могиле; земля медленно осыпалась, мягко обволакивая меня со всех сторон, а в мои уши вливалось пение работниц; как хорошо бездельничать! Но скоро я начну действовать, мне придется действовать, как только они вскроют мою могилу, как только поднимут крышку гроба; они снова отбросят меня назад в те времена, когда каждый день был чем-то примечателен и когда каждый час надо было выполнять какую-то обязанность; игра становилась серьезной. В тот день в два часа я не стал есть в моей маленькой кухне гороховый суп, я уже давно не подогревал его и съедал холодным, меня не интересовали ни еда, ни деньги, ни слава; мне нравилась игра как таковая, мне доставляла удовольствие моя сигара, и еще я тосковал по женщине, по моей будущей жене. Станет ли ею та девушка, которую я видел в садике на крыше соседнего дома,— черноволосая, стройная и красивая Иоганна Кильб? Завтра она впервые услышит мое имя. Тосковал ли я по женщине вообще или именно по ней? Мне осточертело мужское общество, все мужчины казались мне смешными — верующие и неверующие, те, кто рассказывал неприличные анекдоты, и те, кто их выслушивал, игроки в бильярд и лейтенанты запаса, члены певческих фереинов, портье и кельнеры; все они мне надоели, и я радовался, когда в послеобеденное время, между пятью и шестью часами, мог пройти в потоке работниц через ворота и увидеть их лица; мне нравилась чувственность этих лиц, смело платящих дань времени; я бы охотно пошел с одной из работниц потанцевать и прилег бы с ней в по-осеннему пахучей траве у кладбищенской стены, я бы разорвал квитанцию и отказался от своей большой игры. Эти девушки любили смеяться и петь, они ели и пили с аппетитом, иногда плакали и ничем не походили на лицемерных гусынь, вызывавших меня, своего постояльца, на ласки, которые казались им смелыми. Пока все еще было в моей власти — действующие лица и реквизит; статисты еще подчинялись мне в этот последний день, когда мне не захотелось холодного

горохового супа и было лень подогреть его; но я решил доиграть игру до конца, игру, придуманную мною в скучные вечерние часы в захолустных городишках, когда я кончал определять качество цементного раствора, осматривать кирпич, проверять отвесность каменной кладки и когда вслед за скукой в строительной конторе неизбежно следовала скука в какой-нибудь мрачной пивнушке,— именно в те дни я начал набрасывать на клочках бумаги проект аббатства.

Игра захватила меня целиком — наброски становились все больше, чертежи все точнее, сам того не замечая, я вдруг окунулся с головой в составление сметы; я ведь учился рассчитывать, учился чертить. Я отправил тридцать золотых марок Кильбу, и мне прислали документацию; однажды в солнечный день я съездил в Кисслинген, я увидел цветущие нивы, темно-зеленые свекловичные поля и лес, где в свое время будет стоять аббатство; я продолжал свою игру, теперь я изучал противников, имена которых их коллеги произносили с благоговейной ненавистью — Бремеккель, Грумпетер, Воллерзайн; я осмотрел их сооружения — церкви, больницы, часовни, собор Воллерзайна; при виде этих безотрадных строений я почувствовал, ясно ощутил, что дорога в будущее для меня открыта, будущее представлялось мне страной, ожидающей завоевателя, неведомой землей, где закопаны золотые монеты, доступные всякому, кто хоть немного знаком со стратегией; будущее было в моих руках, надо было только действовать; время вдруг стало силой, а ведь раньше я пренебрегал им, расточал его без всякой пользы, в те годы, когда продавал за несколько золотых монет свои руки и мозг, свою сноровку и знания бракоделам и ханжам; я купил бумагу, таблицы, карандаши и справочники; я начал игру, которая не отнимала у меня ничего, кроме времени, но время у меня было, даровое время; воскресенья я использовал теперь для рекогносцировок, я изучал местность, я мерил шагами улицы; на Модестгассе в доме номер семь можно было снять мастерскую, а напротив, в доме номер восемь, жил нотариус, который хранил у себя под замком проекты; границы были открыты, мне оставалось только вторгнуться в незнакомый край, но лишь теперь, находясь в самом сердце этого края, который мне предстояло завоевать, лишь теперь, воспользовавшись тем, что враг еще дремлет,

я по всей форме объявил ему войну; я еще раз нащупал в кармане квитанцию, она была на месте.

Послезавтра порог моей мастерской переступит первый посетитель — это будет настоятель, молодой, кареглазый, положительный, он еще не стал владыкой своего аббатства, но уже привык владычествовать.

— Откуда вы узнали, что наш патрон святой Бенедикт не предусматривал разделения между послушниками и монахами в трапезной?

Настоятель ходил взад и вперед по комнате, часто поглядывая на проект, и спрашивал:

— Вы сумеете сдержать слово, вы не отступите, эти вороны не окажутся правы?

И вдруг меня охватил страх перед той большой игрой, которая скоро перехлестнет рамки чертежей и подхватит меня; да, я затеял эту игру, но никогда не отдавал себе отчета в том, что могу ее выиграть; я хотел приобрести славу человека, который отважился выступить против Бремоккеля, Грумпетера, Воллерзайна, этого мне было достаточно, у меня и в мыслях не было победить их. Я испугался, но все же ответил настоятелю:

— Да, я сдержу слово, ваше преподобие.

Настоятель кивнул, улыбнулся и ушел.

В пять часов я вышел в потоке работниц за городские ворота, это была моя обычная прогулка после трудового дня; в экипажах ехали на свидания красавицы под вуалями, в кафе «Фуль» лейтенанты, слушая сладкую музыку, пили горькие настойки; каждый день я гулял по часу; я проходил четыре километра всегда по одной и той же дороге, всегда в одно и то же время; пусть меня видят в одно и то же время в одном и том же месте торговли, банкиры, ювелиры, проститутки и кондукторы, приказчики, кельнеры и домашние хозяйки; они видели меня от пяти до шести с сигарой во рту; это неприлично, я знаю, но ведь я художник, что обязывает к нонконформизму; я останавливался перед шарманщиком, который переплавлял в медяки вечернюю меланхолию; то была сказочная дорога, пролежавшая через царство грез; суставы моих статистов были хорошо смазаны, невидимые ниточки заставляли их двигаться, они послушно открывали рот, чтобы произнести те реплики, которые я вложил им в уста; в отеле «Принц Генрих» холодно шелкали бильярдные шары: белые шары катились по зеленому полю,

красные по зеленому; манекены сгибали руки, чтобы толкнуть шар кием и поднести ко рту пивную кружку, они подсчитывали очки, дружески хлопали меня по плечу. «Ах да!», «Ах нет!», «О, прекрасно!», «Не повезло!» — раздавались возгласы статистов, а я между тем слышал, как комья земли стучали по крышке моего гроба. И где-то в будущем меня уже ждал предсмертный крик Эдит и последний взгляд светловолосого подмастерья столяра, брошенный им в предрассветном сумраке на тюремную стену.

Как-то вместе с женой и детьми я отправился в Киссаталь и с гордостью показал им творение своей юности; я навестил постаревшего настоятеля и на его лице увидел следы минувших лет, которых не замечал на своем; он угощал нас в комнате для гостей кофе и пирожными, испеченными из собственной муки, с вареньем из слив, собранных в собственных садах, и сливками от собственных коров; моим сыновьям разрешили пройти на ту половину, где были кельи, а жена и хихикающие дочери остались ждать их; у меня было четверо сыновей и три дочери, всего семеро, эти семеро подарят мне семь раз по семь внуков. Настоятель улыбнулся: «Мы ведь теперь к тому же соседи».

Да, я приобрел обе усадьбы — Штелингс-Гротте и Гёрлингс-Штуль.

— Ах, Леонора, неужели это опять звонят из кафе «Кронер»? Но ведь я совершенно ясно сказал: шампанского не надо. Я ненавижу шампанское. А теперь вам пора отдохнуть, пожалуйста, милочка. Не закажете ли вы мне такси на два часа? Пусть подождет у ворот. Может быть, вас подвезти? Нет, я не поеду через Блесенфельд. Пожалуйста, если хотите, я могу вас доставить домой...

Он отвернулся от окна, служившего ему экраном, и вновь взглянул в мастерскую, где на стене все еще висел большой чертеж аббатства и носились клубы пыли, которую, несмотря на все старания, невольно поднимали прилежные девичьи руки; Леонора усердно разбирала бумаги в сейфе, она протянула Фемелю кучу банкнотов, обесцененных уже тридцать пять лет назад, а потом, качая головой, извлекла из-под спуда еще одну пачку

денег, изъятых из обращения лет десять назад; она тщательно пересчитала на чертежном столе эти кредитки, которые показались Фемелю совсем незнакомыми,— десять, двадцать, восемьдесят, сто... всего там было тысяча двести двадцать марок.

— Бросьте их в огонь, Леонора, или, если угодно, подарите ребятишкам на улице эти фальшивые расписки, свидетельствующие о жульнической операции, с размахом проделанной тридцать пять лет назад и повторенной десять лет назад.

Деньги меня никогда не интересовали, тем не менее я слыл стяжателем, это было чистейшее заблуждение; начиная свою большую игру, я не думал о деньгах; и только когда я ее выиграл и приобрел популярность и богатство, мне стало ясно, что у меня есть все предпосылки для этого: я был энергичен, обходителен, прост в обращении, я служил музам и в то же время числился офицером запаса, я кое-чего добился в жизни, нажил состояние и все же был тем, что называется «парень из народа», и никогда не стеснялся этого; не ради денег, славы и женщин воплотил я в формулы алгебры будущего, превращая неизвестных «X», «Y» и «Z» в зримые величины — в усадьбы, банкноты и власть, которые я щедро раздаривал, но которые всегда возвращались ко мне в удвоенном количестве; я был смеющимся Давидом, хрупким юношей, никогда не прибавлявшим и не убавлявшим в весе, мне и сейчас была бы впору моя лейтенантская форма, которую я не надевал с девяносто седьмого года. Глубоко поразило меня только непредвиденное, хотя как раз непредвиденного я более всего жаждал: любовь жены и смерть дочери Иоганны. Полторагодовалая девочка была вылитая Кильб, но когда я смотрел в ее детские глаза, мне чудилось, что я смотрю в глаза своего молчаливого отца, я видел в темной глубине ее зрачков извечную мудрость, глаза ребенка были, казалось, уже знакомы со смертью; скарлатина заполонила это маленькое тельце, подобно страшной сорной траве, она поднималась от бедер вверх, спускалась вниз к самым ступням, девочку сжигал жар; в ней разрасталась смерть, белая как снег, смерть росла подобно плесени под пылающей краснотой; смерть пожирала ее изнутри и выбивалась наружу из черных ноздрей — непредвиденное, то, чего я так жаждал, обернулось для меня проклятием, оно подстерегло меня в этом ужасном доме, где я вдруг затеял горячий спор со

священником из Святого Северина, с тестем и тещей; я запретил пение на заупокойной службе, я настаивал на своем и сумел настоять, но во время мессы я с испугом услышал, как Иоганна прошептала: «Христос».

Я никогда не произносил вслух этого имени, не осмеливался даже мысленно вымолвить его, и все же я знал: оно жило во мне, ничто не могло убить это имя, шепотом сказанное сейчас Иоганной, — ни четки Домгреве, ни пресные добродетели хозяйских дочерей, жаждавших заполучить себе мужа, ни махинации с исповедальными шестнадцатого века, продававшимися на тайных аукционах за большие деньги, которые Домгреве снова превращал на курорте Локарно в мелкие грешки; это имя не могло убить ни мошеннические проделки ханжей-священников, проделки, коим я сам был свидетелем, ни их жалкие интрижки с совращенными девушками, ни необъяснимая жестокость моего отца, ни мои бесконечные блуждания в извечных пустынях горечи и отчаяния и в ледяных океанах будущего, где меня поддерживало одиночество, словно гигантский спасательный круг, и где моим единственным оружием был смех; это слово не убили во мне; я был Давидом, маленьким Давидом с пращой, а также Даниилом во рве со львами, готовым встретить непредвиденное — смерть Иоганны. Это случилось третьего сентября тысяча девятьсот девятого года; в то утро уланы, как всегда, скакали по брусчатке мостовой; по улице шли молочницы, мальчики из пекарни и клирики в развевающихся сутанах; перед мясной Греца вывесили кабана; притворное огорчение отразилось на лице домашнего врача Кильбов, который вот уже сорок лет удостоверял рождения и смерти в этой семье; в его обвисшей кожаной сумке лежали бесполезные инструменты, с их помощью ему удавалось утаить от нас всю тщету своих усилий; врач прикрыл обезображенное тельце девочки, но я его снова открыл, я хотел видеть тело Лазаря и глаза моего отца, которые жили на лице этого ребенка всего лишь полтора года; рядом в спальне кричал Генрих; колокола на Святом Северине прозвонили к девятичасовой мессе, дробя время на множество осколков; сейчас Иоганне было бы уже пятьдесят лет.

— Военные займы, Леонора? На них я не подписывался; они достались мне по наследству от тестя. Бросьте их в огонь, как и старые деньги. Два ордена? Ну конечно, я же строил траншеи, прокладывал минные галереи, укрепляя артиллерийские позиции, стойко держался под ураганным огнем, вытаскивал с поля боя раненых; да, крест, второй степени и первой степени, давай сюда эти штуковины, Леонора, дай их мне — мы бросим их в водосточную трубу, пусть их затянет тиной в сточной канаве; однажды, когда я стоял за чертежным столом, Отто вытащил их из шкафа; я слишком поздно заметил роковой блеск в глазах мальчика; он увидел ордена; и уважение, которое он питал ко мне, намного возросло; слишком поздно я все это заметил. Выбрось их по крайней мере сейчас, пусть хотя бы Йозеф не обнаружит их в моем наследстве.

Раздался легкий звон — Фемель бросил свои ордена, и они заскользили по покатой крыше к водосточной трубе, а оттуда скатились вниз в сточную канаву и легли обратной стороной кверху.

— Почему вы так испугались, детка? Ведь это мои ордена, я могу с ними делать все что хочу; слишком поздно, но лучше поздно, чем никогда. Будем надеяться, что скоро пойдет дождь и вся грязь с крыши стечет в канаву; позднеенько я принес их в жертву памяти моего отца. Да сгинут почести, что были возданы нашим отцам, дедам и прадедам.

Я мнил себя сильным, хотя вовсе им не был; я воплощал алгебру будущего в формулы, превращал ее в образы настоятелей, епископов, генералов и кельнеров, но все они были статистами, и только я один выступал соло, даже в пятницу вечером, когда пел в хоре ферейна «Немецкие голоса»: *«Что там в лесу блестит на солнце?..»* Я хорошо пел эту песню, я научился петь у отца и, втайне посмеиваясь, выводил ее своим баритоном; дирижер, размахивающий дирижерской палочкой, не подозревал, что он подчинялся *моей* дирижерской палочке; все наперебой приглашали меня на всякие официальные торжества, предлагали заказы, смеясь, хлопали по плечу.

— Общество, молодой друг, — истинная услада жизни.

Мои седовласые коллеги пытались с кислым видом выпросить меня о том о сем, но я пел, и только; пел «Том-рифмолет» с половины восьмого до десяти, ни минутой позже. Миф обо мне должен был возникнуть прежде, чем разразится скандал. «Цветная капуста не является скоропортящимся продуктом».

Я бродил с женой и детьми по Киссаталю; мальчики ловили форель; мы гуляли среди виноградников, среди нив и свекловичных полей, гуляли в рощах и пили пиво и лимонад на вокзале в Денклингене; и при всем том я знал, что лишь час назад отдал чертежи и получил взамен квитанцию; одиночество, подобно гигантскому спасательному кругу, все еще держало меня на поверхности, и я еще плыл по волнам времени, минутами погружаясь вглубь, переправлялся через океаны прошлого и настоящего и проникал в ледяной холод будущего; одиночество не давало мне утонуть, смех был моим «неприкосновенным запасом», и я очень бережно расходовал его. Вынырнув на поверхность, я протирал глаза, выпивал стакан воды, съедал кусок хлеба и шел с сигарой к окну; там, в садике на крыше дома напротив, гуляла девушка, иногда она мелькала сквозь просветы в беседке или, стоя у перил, смотрела на улицу и видела там то же, что видел я: подмастерьев, грузовики, монахинь, жизнь, бьющую ключом; ей было двадцать лет — ее звали Иоганной, она читала «Коварство и любовь», я знал ее отца, и мне казалось, что грозный бас Кильба, который я слышал в певческом фереине, не соответствовал безупречной репутации его конторы, его бас не гарантировал секретности, о которой постоянно твердили конторским ученикам; бас Кильба нагонял на людей страх, в нем звучали тайные пороки. Знал ли он, что я женюсь на его единственной дочери? Что в тихие послеобеденные часы мы иногда улыбаемся друг другу? Что я уже думаю о ней с пылкостью законного жениха? Она была черноволосая и бледная; я запретил бы ей носить платья цвета резеды, зеленое пошло бы ей куда больше; во время своих прогулок я уже мысленно выбирал для нее платья и шляпы в витринах Гермины Горушки, мимо которых проходил каждый день в одно и то же время, без двадцати минут пять — и в дождь и в солнечные дни; надо излечить Иоганну от этого ее

простодушия, не гармонирующего с голосом отца; я буду покупать ей великолепные шляпы величиной с колесо, из грубой зеленой соломки; нет, я не собирался стать ее повелителем, я хотел любить Иоганну; ждать уже осталось недолго. В воскресенье утром, запасшись букетом, я подъеду к ним в экипаже, приблизительно в половине двенадцатого, когда они закончат завтрак после торжественной мессы и мужчины перейдут в кабинет выпить рюмочку водки: «Я прошу руки вашей дочери». Каждый день после полудня, выплыв из океана времени, я подходил к этому окну, показывался ей, кланялся, мы улыбались друг другу, и я опять отступал назад в темноту, я здоровался отчасти и для того, чтобы она не думала, будто за ней никто не наблюдает; я не хотел сидеть у окна, подобно пауку в своей паутине; я считал неудобным следить за ней, когда она меня не видит, есть вещи, которых *не делают*.

Завтра она узнает, кто я. Это будет как гром среди ясного неба, Иоганна засмеется, а уже через год она будет счищать щеткой следы известки с моих брюк; когда мне минет сорок, пятьдесят, шестьдесят лет, она по-прежнему будет делать это, вместе со мной она достигнет преклонного возраста и превратится в очаровательную старую даму. Окончательно мое решение созрело тридцатого сентября тысяча девятьсот седьмого года, днем, приблизительно в половине четвертого.

— Да, Леонора, заплатите, пожалуйста; деньги вон в той шкатулке, и дайте девушке две марки на чай, да, две марки — она принесла свитер и юбку от Гермины Горушки для моей внучки Рут, сегодня Рут должна вернуться в город; зеленый цвет ей особенно к лицу; как жаль, что молодые девушки не носят теперь шляп; я очень любил покупать шляпы. Такси заказано? Спасибо, Леонора. Вы хотите еще поработать? Воля ваша, конечно, отчасти это объясняется любопытством, ведь правда? Вам незачем краснеть; да, еще от одной чашечки кофе я не откажусь. Мне следовало бы узнать точно, когда кончаются каникулы. Но ведь Рут уже приехала? Мой сын вам ничего не говорил об этом? Надеюсь, он не забудет, что я пригласил его на мой сегодняшний праздник? Я распорядился, чтобы швейцар внизу, принимая цветы, телеграммы, подарки и визитные карточки,

давал каждому посыльному по две марки на чай и говорил, что я в отъезде; выберите себе самый красивый букет, а то и два букета и возьмите их к себе домой; если это вам доставит удовольствие, можете остаться здесь хоть до самого вечера.

Чашка с только что налитым кофе больше не звенела, очевидно, на белых листах бумаги перестали печатать назидательные сентенции или предвыборные плакаты, но картина в окне оставалась прежней; напротив, на крыше дома Кильбов, был виден опустевший садик, возле беседки росли поникшие настурции, позади виднелись очертания крыш, еще дальше — горы, а над ними сияющее небо; в этом окне я видел когда-то свою жену, потом своих детей, а также тестя и тещу, это случилось, когда я подымался в мастерскую, чтобы заглянуть через плечо в чертежи своих помощников — молодых прилежных архитекторов, проверить их расчеты, установить им сроки; к работе я относился с тем же безразличием, что и к слову «искусство»; другие делали ее не хуже меня; я хорошо платил им, я никогда не мог понять фанатиков, приносящих себя в жертву слову «искусство», я помогал им, посмеивался над ними, давал им работу, но не понимал их, я просто не мог этого постичь. Я постиг только то, что называется «ремеслом», хотя меня и считали служителем муз, мною восхищались именно как художником; мне могут возразить: разве вилла, которую я построил для Гральдуке, не была по-настоящему смелой и современной? Да, она была такой, даже мои коллеги по искусству восхищались ею, хвалили ее, но несмотря на то что я спроектировал и построил эту виллу, я все так же не мог взять в толк, что такое искусство; они принимали это слово слишком всерьез, может быть, потому, что слишком много знали об искусстве, что не мешало им самим строить мерзейшие коробки. Я уже тогда понимал, что лет через десять эти коробки не будут вызывать ничего, кроме отвращения; зато сам я мог иногда, засучив рукава, стать за этот вот чертежный стол и спроектировать, к примеру, административное здание для общества «Все для общего блага», да так спроектировать, что дураки, считавшие меня жадным до денег выскочкой, деревенским олухом, только диву давались; я и по сей день не стыжусь этого здания, построенного сорок шесть лет назад; что это, искусство? Пусть будет так, я никогда не знал, что такое

искусство, быть может, создавал его, сам того не ведая, никогда не принимая его всерьез; мне была непонятна и ярость трех корифеев, которые готовы были растерзать меня. Боже ты мой, неужели нельзя позволить себе шутку, почему эти Голиафы совершенно лишены чувства юмора? Они верили в искусство, а я нет; они считали, что их честь пострадала из-за человека без роду и племени. Но ведь все люди были когда-то без роду и племени, разве нет? Я открыто смеялся над ними, я поставил их в такое положение, что даже мой провал показался бы победой, а уж мой успех — настоящим триумфом.

Поднимаясь вместе со всеми по лестнице в музей, я чувствовал что-то вроде сострадания к своим противникам. Я с трудом приноровил свой шаг к той торжественной поступи, к которой уже приучили себя эти уязвленные мною господа; таким шагом шествуют люди, поднимаясь по ступеням собора в свите королей и епископов или на церемонии открытия памятников; шаг этих господ выражал подобающую случаю взволнованность, они шли не слишком медленно и не слишком быстро, они знали, чего требует их достоинство, а я не знал; я бы с удовольствием взлетел на лестницу по каменным ступенькам, как молодой пес, пробежал бы мимо статуй римских легионеров со сломанными мечами, копьями и пучками прутьев, напоминающими факелы, мимо бюстов цезарей и слепков с детских гробниц, вверх по лестнице на второй этаж, туда, где между залом голландцев и залом назарейцев находился конференц-зал; какой серьезный вид умеют напускать на себя бюргеры, казалось, где-то на заднем плане вот-вот забьют барабаны; с таким видом поднимаются на ступени алтаря и на ступени эшафота, всходят на возвышения, чтобы получить орден на шею или выслушать смертный приговор; с таким видом актеры на любительских спектаклях изображают торжественные церемонии, однако Бремеккель, Грумпетер и Воллерзайн, которые шли рядом со мной, были не любители, а профессионалы.

Музейные стражи в парадных ливреях смущенно переминались перед Рембрандтом, Ван Дейком и Овербеком; сзади, у мраморных перил, в полумраке я заметил Мезера; стоя перед входом в конференц-зал, он держал наготове серебряный поднос с рюмками коньяка, чтобы предложить нам подкрепиться перед объявлением реше-

ния. Мезер ухмыльнулся, мы с ним ни о чем не улавливались, но он все же мог бы подать мне знак: кивнуть или покачать головой — да или нет. Но он этого не сделал. Бремкоккель шептался с Воллерзайном, Грумпетер заговорил с Мезером и сунул серебряную монетку в его грубые руки, которые я с детства ненавидел; целый год мы вместе с ним прислуживали во время ранней мессы; где-то позади бормотали старухи крестьянки, они упорно молились не в лад со священником, перебирая свои четки. Пахло сеном, молоком, теплом хлева, и когда мы с Мезером клали поклоны, чтобы при словах «*теа culpa, теа culpa, теа maxima culpa*» ударить себя в грудь и повиниться в своих тайных прегрешениях, пока священник поднимался по ступенькам алтаря, Мезер этими самыми руками, которые сжимали теперь серебряную монетку Воллерзайна, делал непристойные жесты; и вот сейчас этим рукам были доверены ключи городского музея, где хранились полотна Гольбейна, Гальса, Лохнера и Лейбля.

Со мной никто не заговаривал, и мне осталось только прислониться к холодной мраморной балюстраде; я заглянул вниз, во внутренний дворик, и увидел бронзового бургомистра, с несокрушимой серьезностью выставлявшего свое брюхо навстречу бегущим столетиям, и мраморного мецената, который в тщетном стремлении казаться глубокомысленным прикрыл веками свои лягушачьи глаза; глаза памятника были пустые, как глаза мраморных римских матрон, свидетельствующие об ущербности поздней культуры древних. Шаркая ногами, Мезер перешел на противоположную сторону к своим коллегам. Бремкоккель, Грумпетер и Воллерзайн стояли вплотную друг к другу. Над внутренним двориком виднелось холодное и ясное декабрьское небо; на улице уже горланили пьяные, экипажи катились по направлению к театру, под вуалями цвета резеды улыбались нежные женские личики в предвкушении музыки «Травиаты»; я стоял между Мезером и тремя обиженными корифеями; казалось, я был прокаженным, прикосновение к которому грозило смертью; я тосковал по строгому, раз и навсегда заведенному мною распорядку дня, когда я сам держал в руках все нити игры, когда от меня зависело, прийти сюда или не прийти, когда я еще мог управлять мифом о себе; теперь игра вышла из-под моего контроля; сенсация... слухи... в мою мастерскую

уже приходил настоятель, подрядчики посылали мне корзинки со съестным и золотые карманные часы в красных бархатных футлярах, один из них написал мне: «...я был бы счастлив отдать Вам руку моей дочери...» *«И правая их рука полна подношений!»*

Я бы не принял от них ничего, даже самой малости,— я полюбил настоятеля. Неужели я хотя бы на секунду мог помыслить о том, чтобы воспользоваться в его присутствии трюком Домгреве? Я краснел от стыда, вспоминая о том, что было мгновение, когда у меня мелькнула такая мысль, но непредвиденное свершилось, я полюбил Иоганну — дочь Кильба, и полюбил настоятеля; я бы уже мог подъехать к дому Кильбов в половине двенадцатого, отдать букет цветов и сказать: «Прошу руки вашей дочери», и Иоганна вошла бы и, сделав мне знак глазами, произнесла бы свое «да» не чуть слышно, а совершенно отчетливо. Я по-прежнему прогуливался от пяти до шести, по-прежнему играл в бильярд в клубе офицеров запаса, и мой смех, который я теперь расточал, не жалея, стал уверенней с тех пор, как я понял, что Иоганна подаст мне знак; я все еще пел по пятницам *«Том-рифмоплет»* в певческом фрейне.

Медленно двинулся я вдоль холодной мраморной балюстрады к трем обиженным и поставил на поднос пустую рюмку. Неужели они отшатнутся от меня, как от прокаженного? Они не отшатнулись, быть может, они ждали, чтобы я смиренно приблизился к ним.

— Разрешите представиться: Фемель.

О боже, разве я один был без роду и племени и разве в молодые годы швейцарец Грумпетер не доил коров у графа фон Тельма и не вывозил на тачке коровий навоз на вспаханные дымящиеся поля, пока ему не открылось его истинное призвание? Клеймо незнатного происхождения снимают на берегах Лаго-Маджоре и в садах Минузио, там облагораживают даже пройдох-подрядчиков, которые покупают на слом старинные романские церкви вместе со всем церковным инвентарем, вместе с мадоннами и скамьями, чтобы украсить ими салоны новых и старых богачей. Кресла, сидя в которых простодушные крестьяне исповедовались на протяжении трехсот лет, шепотом сознаваясь в своих прегрешениях, перекочевывают в гостинные кокоток. Этого рода болезнь исцеляют также в охотничьих домиках и в Бад-Эмсе.

В тот момент, когда открылась дверь в конференц-зал, убийственно серьезные лица обиженных как бы

окаменели; в зале показалась чья-то темная фигура, потом она обрела очертания и краски; первым вышел в коридор член жюри Хубрих, профессор истории искусств богословского факультета, тот, кто сказал «только через мой труп»; при этом освещении его черный суконный сюртук походил на сюртуки рембрандтовских синдиков; Хубрих подошел к Мезеру и взял с подноса рюмку коньяку, я слышал, что из его груди вырвался глубокий вздох; когда трое обиженных хотели броситься к нему, он прошел мимо них в самый конец коридора; белый шарф смягчал строгость его священнического одеяния, а белые локоны, ниспадавшие, как у детей, до самого воротника, усиливали впечатление, которое Хубрих хотел произвести, — впечатление служителя муз. Его нетрудно было представить себе с резцом и деревянной дощечкой в руках, с тоненькой кисточкой, обмакнутой в золотую краску, смиренно склонившегося над картиной и выписывающего волосы мадонн, бороды апостолов или забавную закорючку на хвостике собаки Товии. Башмаки Хубриха тихо скользили по линолеуму; устало махнув рукой обиженным, он двинулся в темный конец коридора, к Рембрандту и Ван Дейку; так вот на чьи узкие плечи была возложена ответственность за церкви, больницы и дома призрения, в которых еще лет через сто монахиням и вдовам, трудновоспитуемым сиротам, беднякам, пользующимся бесплатной медицинской помощью, и падшим женщинам придется вдыхать запахи кухни, оставшиеся от уже исчезнувших поколений; они будут бродить по темным переходам, глядеть на безрадостные стены зданий, которые от мрачной мозаики покажутся еще безрадостней, чем это предусматривалось по проекту архитектора; таков был этот *praeseptor et arbiter architecturae ecclesiasticae*¹, уже в течение сорока лет с пылом, пафосом и слепым ожесточением ратовавший за неоготику; Хубрих решил осчастливить человечество и оставить след на земле, еще будучи мальчишкой, пробегая по пустынным предместьям родного фабричного города, мимо дымящихся труб и закопченных зданий и принося домой свои отличные отметки; и он действительно оставит на земле след, красноватый след кирпичных фасадов, с годами все более тусклых, мрачных фасадов, в нишах которых угрюмые святые с унылой несокрушимостью смотрят в будущее.

¹ Наставник и судья церковной архитектуры (лат.).

Мезер предупредительно поднес рюмку коньяку второму члену жюри — сангвинику Кролю. У Кроля было красное лицо любителя дорогих сигар и крепких напитков, лицо человека, обжиряющегося мясом; при всем том Кроль сохранил стройную фигуру; этот член жюри бесшумно занимал пост главного архитектора Святого Северина. Голубиный помет и паровозный дым, облака с востока, приносящие с собой ядовитые химические испарения, и резкие сырые ветры с запада, южное солнце и северная стужа — все эти силы природы и индустрии гарантировали Кролю и его преемникам пожизненный заработок; Кролю было сорок пять лет, еще лет двадцать он будет пользоваться всем тем, что он так любит, — едой, выпивкой, сигарами, лошадьми и девицами особого склада; таких девиц можно встретить неподалеку от скаковых конюшен, с ними знакомятся во время охоты на лисиц, они напоминают крепко сбитых амазонок и даже пахнут, как мужчины.

Я хорошо изучил повадки своих противников; абсолютное равнодушие к проблемам архитектуры Кроль прикрывал изысканной учтивостью, китайскими церемониями, благочестивыми манерами, перенятыми от епископов; жесты Кроля были жестами человека, открывающего памятники; Кроль знал также несколько отличных анекдотов, которые он постоянно рассказывал в определенной последовательности; в двадцать два года он выучил наизусть «Справочник архитектора» Хандке и уже тогда решил всю жизнь извлекать пользу из этого своего подвига; когда Кролю требовалось применить какой-нибудь архитектурный термин, он неизменно цитировал «бессмертного Хандке»; на заседаниях жюри Кроль цинично отстаивал тот проект, автор которого посулил ему наибольшую взятку, но когда он замечал, что проект не имеет шансов на успех, то переходил на сторону вероятного победителя, да и вообще Кроль во всех случаях жизни предпочитал говорить «да», а не «нет», и не только потому, что в слове «да» две, а в слове «нет» три буквы и слово «нет» обладает прискорбным недостатком — его нельзя произнести только с помощью языка, надо напрягать еще заднее небо, — но и потому, что при слове «нет» следует делать решительную мину, в то время как слово «да» не требует всех этих усилий; Кроль тоже вздохнул, тоже покачал головой и, обойдя трех обиженных, отправился в противоположную сторону, к залу назарейцев.

Несколько секунд в светлом четырехугольнике двери был виден стол, покрытый зеленым сукном, графин с водой, пепельница и клубы голубоватого дыма от сигары Кроля; там внутри царила тишина, не слышалось даже шепота, в воздухе пахло смертными приговорами, здесь рождалась вражда, которая будет тянуться до гроба; перед Хубрихом стояла дилемма: либо сохранить честь, либо потерять ее, а он, еще будучи гимназистом пятого класса, поклялся не навлекать позора на свою голову; и вот теперь ему грозило страшное унижение — признаться архиепископу, что его побили. «Ну а как же ваш труд, Хубрих?» — спросит его насмешливый князь церкви. Для Кроля на карту была поставлена вилла на озере Комо, которую посулил ему Бремоккель.

По рядам служителей пробежал ропот, Мезер свистящим шепотом призвал к тишине; в дверях показался Швеврингер, он был маленького роста, хрупкий, как я, и не только слыл неподкупным, но действительно был им; Швеврингер носил потертые бриджи и заштопанные чулки; его бритый череп отливал синевой; глаза, похожие на изюминки, улыбались; этот член жюри являлся представителем денег, он управлял фондами всей нации; Швеврингер представлял промышленников и короля и вместе с тем приказчика, вложившего десять пфеннигов в ценные бумаги, или старушку, рискнувшую тридцатью пфеннигами. Швеврингер открывал счета, выписывал чеки, контролировал банковские книги, с кислой миной утверждал авансы. Швеврингер был выкрестом, втайне он питал страсть к барокко, любил парящих ангелов, позолоченные хоры, резную церковную мебель, белые полированные амвоны, запах ладана и церковное пение. Швеврингер — это была сила, консорциумы банков подчинялись ему как шлагбаумы стрелочнику, он определял биржевые курсы, командовал стальными концернами; при всем том у этого человека с жесткими, темными, похожими на изюминки глазами был такой вид, словно он безуспешно перепробовал всевозможные слабительные и теперь ждет, чтобы нашли настоящее, действительно эффективное средство; Швеврингер взял рюмку коньяку, но не бросил на поднос мелочь на чай; он стоял всего в двух шагах от меня; в своих бриджах и заштопанных чулках он походил на профессионального велогонщика, потерпевшего аварию; внезапно Швеврингер взглянул на меня, улыбнулся, отдал пустую рюмку и отправился в зал голландцев, где уже раньше

скрылся Хубрих; и Швеврингер тоже не удостоил троих обиженных ни единым словом.

Из конференц-зала донесся шепот: должно быть, настоятель заговорил с Гральдуке; нам по-прежнему ничего не было видно, кроме зеленого стола, пепельницы, графина с водой; казнь отложили, но атмосфера оставалась накаленной, вероятно, судьбы все еще не пришли к единому мнению.

Гральдуке вышел, взял у Мезера с подноса две рюмки и, постояв секунду в нерешительности, бросил взгляд в ту сторону, куда раньше отправился Кроль; Гральдуке был высокий, грузный человек, куда более скромный, чем можно было предположить, судя по мешкам у него под глазами; Гральдуке являлся представителем права, он следил за юридической стороной процедуры голосования, вел протоколы. В свое время Гральдуке сам чуть было не стал монахом; два года подряд он пел грегорианскую литургию, к которой еще и сейчас питал слабость, а потом вернулся к мирской жизни и женился на писанной красавице, родившей ему пять дочерей — тоже писанных красавиц; теперь он был обер-президентом целой области. Гральдуке вводил во владение участками, тяжелым, кропотливым трудом высвобождал поля и пастбища от налоговых пут, уламывая упрямых бургомистров, добивался лицензий на рыбную ловлю в жалких лужах, реализовывал закладные, улаживал конфликты с банками и страховыми обществами.

Гральдуке медленно направился обратно в конференц-зал; тонкая рука настоятеля сделала Мезеру знак войти; тот на полминуты исчез за дверью, потом снова появился и крикнул на весь коридор:

— Господа, члены жюри, мне поручено сообщить вам, что перерыв кончился.

Первым вышел из зала, где висели назарейцы, Кроль, на его лице уже ясно читалось «да»; потом из зала, где висели голландцы, появился Швеврингер и быстро прошел к остальным; следом за ним бледный, с убитым видом тащился Хубрих, проходя мимо трех обиженных, он покачал головой. Мезер закрыл за ним дверь; он посмотрел на свой поднос, где стояло девять пустых рюмок, и пренебрежительно побренчал мелочью; я подошел к нему и бросил на поднос талер — раздался громкий, неожиданно резкий звук; трое обиженных в испуге оглянулись; Мезер ухмыльнулся, приложил в знак благодарности руку к козырьку и шепнул мне:

— А ведь твой отец был всего-навсего рехнувшийся регент.

На улице уже не слышно было грохота пролетов, «Травиата» началась; ряды музейных служителей застыли между легионерами и матронами, между обломками колонн древних храмов. Гам ворвался в прохладу тихого вечера, подобно теплому дуновению; газетчики смяли первого служителя, и вот уже второй служитель беспомощно поднял руки, а третий взглянул на Мезера, который свистящим шепотом призывал к тишине; молодой журналист, незаметно прошмыгнувший мимо Мезера, подошел ко мне, вытер нос рукавом и тихо сказал: — Победа явно на вашей стороне.

Два более почтенных представителя прессы ждали поодаль; оба в черных шляпах, бородатые, оба одуревшие от душещипательных виршей. Эти газетчики удерживали недостойную журналистскую чернь — девушку в очках и тощего социалиста, но тут настоятель распахнул дверь, подошел ко мне, запыхавшись как мальчишка, и обнял меня; чей-то голос прокричал: «Фемель! Фемель!»

Внизу раздался шум; через десять минут после того как перестал сотрясаться подоконник, работницы, смеясь и переговариваясь, потянулись из ворот; их ждал отдых, у них были гордые чувственные лица; в этот теплый осенний день трава у кладбищенской стены была бы особенно пахучей; сегодня Грецу не удалось сбыть с рук кабанью тушу; окровавленная морда кабана казалась темной и сухой; в рамке окна был виден садик на крыше дома напротив: белый стол, зеленая деревянная скамья, беседка с поникшими настурциями; возможно, когда-нибудь там будут прогуливаться дети Йозефа и дети Рут и читать «Коварство и любовь». Гулял ли там Роберт? Нет, Роберт либо сидел у себя в комнате, либо тренировался в парках; для тех видов спорта, которыми занимался Роберт, — для лапты и бега на сто метров — садик на крыше был слишком мал.

Роберта я всегда немножко побаивался, ожидая от него чего-то необыкновенного; меня нисколько не удивило, когда тот юноша с опущенными плечами забрал его в качестве заложника, хотелось бы только знать, как

звали мальчика, который бросал к нам в почтовый ящик крохотные записочки от Роберта; так я этого никогда и не узнал. Иоганне тоже не удалось выпытать его имя у Дрёшера; памятник, который они когда-нибудь воздвигнут мне, следовало бы поставить этому мальчику; у меня не хватило решимости выгнать Неттлингера и запретить Вакере переступить порог комнаты Отто; это они принесли в мой дом «причастие буйвола», превратили моего любимца, того самого малыша, которого я таскал с собой на стройки, с которым лазил по лесам, в чужого человека... Такси? Такси?.. Быть может, пришлют ту же машину, на какой я ехал с Иоганной в тысяча девятьсот тридцать шестом году, направляясь к «Якорю» в Верхней гавани, или, быть может, я отвозил ее на этой машине в денклингенскую лечебницу? А может, я ездил на ней в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году в Кисслинген с Йозефом, чтобы показать ему строительство, где он, мой внук, сын Роберта и Эдит, должен будет заменить меня? Аббатство разрушили, на его месте высилась беспорядочная груда камней, щебня, известки; разумеется, Бремкокель, Грумпетер и Воллерзайн торжествовали бы, зато я не торжествовал; в тысяча девятьсот сорок пятом году я увидел эту груду развалин и задумался, хотя был спокойнее, чем, по видимому, ожидали монахи. Чего они, собственно, хотели от меня: слез, возмущения?

— Мы разыщем виновного.

— Зачем? — спросил я. — Оставьте его в покое.

Я отдал бы двести аббатств за то, чтобы вернуть Эдит, Отто или незнакомого мальчика, который бросал записки к нам в почтовый ящик и так жестоко заплатился за это; но если такая сделка и не могла состояться, я был рад отдать хоть что-то — пусть «творение моей юности» станет грудой развалин. Мысленно я приносил его в жертву Отто, Эдит, тому мальчику и подмастерью столяра, хотя знал, что им уже ничто не поможет, ведь они умерли. Наверное, эта груда обломков была тем *непредвиденным*, к которому я так страстно стремился. Монахи дивились моей улыбке, а я дивился их возмущению.

— Такси уже здесь? Иду, Леонора! Помните, что я вас пригласил к девяти часам в кафе «Кронер» на мой день рождения. Шампанского не будет, я ненавижу

шампанское. Возьмите у швейцара цветы, коробки сигар и поздравительные телеграммы и не забудьте, милочка, что я просил вас плюнуть на мой памятник.

В сверхурочные часы они печатали на белых листах бумаги предвыборные плакаты; плакаты были навалены по всем коридорам и на лестнице; пачки складывали до самой его двери; каждая пачка была обклеена плакатом того же образца, изображенные на них безукоризненно одетые холеные господа улыбались ему в лицо; даже на плакатах было видно, что эти господа шили себе костюмы из первосортного сукна, с плакатов зывали бюргеры с серьезными лицами и бюргеры улыбающиеся, они внушали доверие и будили надежду; среди них были молодые и старые, и молодые казались ему ужаснее старых.

Старый Фемель отмахнулся от швейцара, который приглашал его в свою каморку полюбоваться роскошными букетами и подарками и распечатать телеграммы; он сел в такси, дверцу которого открыл шофер.

— В Денклинген, пожалуйста, в лечебницу,— тихо сказал он.

5

Голубое небо, крашеная стена, обсаженная тополями, тени тополей сперва поднимаются кверху, словно ступеньки, а потом спускаются вниз, к площадке перед домом, где привратник сгребает листья в яму с компостом; стена была слишком высокая, а расстояние между ступеньками слишком большое; чтобы пройти от одной до другой, ему пришлось бы сделать шага три-четыре. Осторожно! Почему желтый автобус взобрался так высоко на гору, почему он ползет, как жук, ведь он привез сегодня всего одного пассажира — его. Так это он? Кто он? Лучше бы он карабкался по перекладинам, перебираясь с одной на другую. Но нет! Всегда надо ходить прямо, не сгибаясь, не унижая своего достоинства. Он всегда так и ходил; только в церкви и на стартовой дорожке он опускался на колени. Так это он? Кто он?

На деревьях в саду и в Блессенфельдском парке были развешаны таблички с аккуратно выписанными цифрами: «25», «50», «75», «100»; на старте он опускался на колени, вполголоса говорил себе: «Приготовься, давай!» — бежал, потом, замедлив темп, возвращался,

смотрел на секундомер, записывал время в толстую тетрадь в пестрой обложке, лежавшую на каменном столе, снова становился на старт, вполголоса произносил команду и бежал; каждый раз он понемногу увеличивал пройденную дистанцию; зачастую ему страшно долго не удавалось выйти за цифру «25», еще больше времени проходило, прежде чем он достигал «50», но напоследок он преодолевал всю дистанцию до «100» и записывал в тетрадку время — одиннадцать и две десятые секунды.

Это напоминало фугу — размеренную и волнующую; но временами становилось ужасно скучным, словно в эти летние дни в саду или в Блессенфельдском парке разверзалась зияющая бесконечность; старт — возвращение; старт — небольшое ускорение темпа и возвращение; и даже те минуты, когда он сидел рядом с ней, поясняя и комментируя цифры в тетради и расхваливая свою систему, казались ей одновременно волнующими и скучными; его тренировки были слишком фанатичными, его крепкое и стройное юношеское тело пахло тем истовым потом, каким пахнут мальчики, еще не познавшие любви; так пахли ее братья Бруно и Фридрих, когда они слезали со своих велосипедов на высоких колесах и думали только о километрах и о минутах; с той же одержимостью проделывали они в саду сложные упражнения, чтобы расслабить мускулы ног; так пахло и от ее отца, когда он пел, с важным видом выпячивая грудь; дыхание они тоже превратили в спортивное упражнение; пение было для них не просто удовольствием — эти усатые бюргеры отдавались пению со всей серьезностью, пели истово, истово ездили на велосипедах, даже к мускулам они относились истово, к мускулам груди, мускулам ног, мускулам рта; судороги вычерчивали у них на коже ног и щек отвратительные лиловые зигзаги, похожие на молнии; в холодные осенние ночи они часами простаивали на ногах, чтобы подстрелить зайцев, которые прятались среди капустных кочерыжек, и только на рассвете, сжавившись над своими затекшими мускулами, решали поразмяться и бегали взад и вперед под морозящим дождем. «Зачемзачемзачем?» Куда делся тот, кто носил в себе смех, словно скрытую пружину в скрытом часовом механизме, тот, кто умел смягчить нестерпимое напряжение и вызвать разрядку; единственный, кто не принял «причастие буйвола»? Она смеялась и читала в беседке «Коварство и любовь», перегнувшись через перила, она видела, как он выходит из ворот типографии;

своим легким шагом он направлялся в кафе «Кронер»; он носил в себе смех, словно скрытую пружинку. Был ли он ее жертвой, или она стала его жертвой?

Осторожно! Осторожно! Почему ты всегда держишься так прямо и никогда не гнешься? Один неосторожный шаг, и ты полетишь в синюю бесконечность и разобьешься о бетонные стены ямы с компостом; сухие листья не смягчат удара, а гранитная облицовка лестницы — далеко не подушка. Так это он? Кто он? Привратник Хупертс смиренно встал в дверях.

— Что прикажете подать вашему гостю: чай, кофе, пиво, вино или коньяк?

Обождите секунду; будь это Фридрих, он прискакал бы верхом, он ни за что не сел бы в желтый автобус, который, как жук, пополз обратно вдоль стены, а Бруно никогда не ходил без трости; тростью он убивал время, рубил его на части, разбивал вдребезги; он рассекал время тростью или картами, кидая их все ночи напролет, все дни напролет, словно клинки; Фридрих прискакал бы верхом, а Бруно никогда бы не приехал без трости; значит, не надо ни коньяка для Фридриха, ни вина для Бруно; они пали под Эрби-ле-Юэтт; два безрассудных улана помчались прямо под пулеметный огонь; они надеялись, что бюргерские пороки избавят их от бюргерских добродетелей; скабресными анекдотами хотели они погасить свое ревностное благочестие, но голые балетные крысы, плясавшие в клубе на столах, вовсе не оскорбили памяти их почтенных предков, ведь и предки были далеко не такие почтенные, какими кажутся в портретной галерее. Коньяк и вино, милый Хупертс, вы можете навсегда вычеркнуть из карты напитков. Пиво? Походка Отто была не столь упругой, в ней слышался маршевый ритм, его башмаки выстукивали на каменных плитках лестницы слово «враг, враг»; и потом, когда он спускался вниз по Модестгассе, печатая шаг по мостовой, слышалось то же слово «враг»; уже в раннем возрасте он принял *«причастие буйвола»*, или, может, его брат, умирая, завещал Отто имя Гинденбурга? Отто родился через две недели после смерти Генриха и погиб под Киевом; я не хочу больше себя обманывать, Хупертс, все они умерли: Бруно, Фридрих, Отто и Эдит, Иоганна и Генрих.

Кофе тоже не потребуется; пришел не тот, чей затаенный смех я угадывала в каждом его шаге, тот

старше; принеси чаю. Хупертс, свежего, крепкого чая с молоком, но без сахара, чаю для моего негнувшегося и несгибаемого сына Роберта, который жить не может без тайн, и сейчас он тоже хранит в своей груди тайну; его били, ему искромсали всю спину, но он не согнулся, никого не выдал, не предал моего двоюродного брата Георга, который приготовил ему в аптеке черный порох; повиснув между двумя стремянками, он сейчас спускается с перекладины на перекладину, парит в воздухе, раскинув руки, как Икар; Роберт направляется сюда; и он не упадет в яму с компостом, не разобьется о гранит. Подайте нам чаю, милый Хупертс, свежего крепкого чая с молоком, но без сахара, и сигареты тоже, пожалуйста, для моего архангела; мой архангел приносил мне мрачные вести, пахнувшие кровью, мстостью и мятежом; они убили того светловолосого мальчика; сто метров он пробегал за десять и девять десятых секунды; я всегда видела его смеющимся, но видела всего три раза, у него были ловкие руки, он починил крохотный замочек в моей шкатулке для драгоценностей; столяр и слесарь бились над этим замком лет сорок, и все без толку, а он только дотронулся—и сразу исправил; тот мальчик был не архангелом, а просто ангелом; его звали Ферди, у него были светлые волосы; этот дурачок думал, что людей, принявших *«причастие буйвола»*, можно победить хлопущками; Ферди не пил ни чая, ни вина, ни пива, ни кофе, ни коньяка, он припадал губами к водопроводному крану и смеялся; если бы Ферди был жив, он достал бы мне ружье, или тот, другой, темноволосый ангел, которому запретили смеяться,—тот бы тоже достал; это был брат Эдит; его фамилия была Шрелла, и он принадлежал к числу людей, которых никогда не зовут по имени; Ферди достал бы, он заплатил бы за меня выкуп, с оружием в руках освободил бы меня из заколдованного замка, но его нет, и я так и останусь заколдованной; выбраться отсюда можно только по гигантским стремянкам; вот мой сын спускается ко мне.

— Добрый день, Роберт, ты ведь выпьешь чаю? Не пугайся, дай я поцелую тебя в щеку; у тебя вид мужчины лет сорока, седина на висках, узкие брюки и бирюзовый, как небо, жилет, не слишком ли он бросается в глаза? Пожалуй, это правильно, что ты заgrimировался под господина средних лет, ты теперь похож на начальника,

чьи подчиненные были бы рады услышать, как он кашляет, но он считает, что кашлять — ниже его достоинства; прости, что я смеюсь; какие искусники нынешние парикмахеры, твоя седина совсем как настоящая, а подбородок у тебя щетинистый, как у человека, который бреется только раз в день, хотя ему следовало бы бриться два раза; ловко сделано, только красный шрам остался прежним; как бы он тебя не выдал; нет ли и тут какого-нибудь средства?

Не бойся, меня они не тронули, плеть осталась висеть на стене, они только спросили:

— Когда вы видели его в последний раз?

И я сказала им правду:

— Утром, он шел тогда к трамвайной остановке, чтобы поехать в гимназию.

— Но ведь в гимназию он так и не явился.

Я промолчала.

— Он пытался установить с вами связь?

И я опять сказала правду:

— Нет, не пытался.

Ты оставлял слишком много следов, Роберт; какая-то женщина из барачков у гравийного карьера принесла мне книгу с твоей фамилией и нашим адресом; это был Овидий в серо-зеленом картонном переплете, испачканном куриным пометом, а твою хрестоматию, в которой не хватало одной страницы, нашли в пяти километрах от этого места, ее принесла мне кассирша из кино: она пришла в контору, выдав себя за нашу клиентку, и Йозеф привел ее ко мне наверх.

Через неделю они опять принялись за свое:

— Вы установили с ним связь?

Я ответила «нет», потом пришел этот Неттлингер, который раньше так часто пользовался моим гостеприимством, и сказал:

— В ваших же собственных интересах говорить правду.

Но ведь я и так говорила правду; теперь я поняла, что тебе удалось бежать.

Долгие месяцы мы о тебе ничего не слышали, мальчик, а потом пришла Эдит и сообщила:

— Я жду ребенка.

Я испугалась, когда она сказала:

— Господь меня благословил.

Голос Эдит внушал мне страх; прости, я никогда не любила сектантов, но девушка была беременна, и она

осталась одна; ее отца арестовали, брат скрылся, ты бежал, сама она две недели просидела в тюрьме, ее там допрашивали, нет, они ее не тронули; как легко оказалось рассеять нескольких агнцев, остался только один агнец — Эдит; я взяла ее к себе. По-видимому, дети, ваше безрассудство было угодно Богу, но вы по крайней мере должны были убить Вакера, сейчас он стал полицей-президентом, боже избави нас от уцелевших мучителей, таких, как Вакера; учитель гимнастики, ныне полицей-президент, разъезжает по городу на белом коне и лично руководит облавами на нищих. Почему вы его не убили — но, спрашивается, чем? Порохом в картонной обертке? Хлопушками не убивают, мальчик. Почему вы не спросили *меня*? Смерть заключают только в металл: в медную гильзу, в свинец, в железо; ее несут металлические осколки, со свистом разрезая воздух по ночам, они, словно град, падают на крышу, с треском ударяют в беседку, летают по воздуху, как дикие птицы; *«Дикие гуси с шумом несутся сквозь ночь»*; они кидаются на агнцев; Эдит умерла; незадолго до этого я велела объявить ее сумасшедшей; заключение написали три знаменитых врача своими аристократически-неразборчивыми почерками на бланках с внушительным штампом; это спасло тогда Эдит. Прости, что я смеюсь: ну и агнец, в семнадцать лет она уже родила своего первенца, а в девятнадцать — второго ребенка, при этом с ее уст всегда были готовы сорваться слова: «Господь сделал это», «Господь сделал то», «Господь дал», «Господь взял»; все Господь и Господь! Она не знала, что Господь — брат наш, с братом можно спокойно шутить, а с господами — далеко не всегда; я и не предполагала, что дикие гуси губят агнцев, я думала, это мирные травоядные. Эдит лежала вот здесь; казалось, ожил наш фамильный герб — овечка, из груди которой бьет струя крови, — но никто не пришел ей поклониться, никто не стоял над ее гробом: ни великомученики, ни кардиналы, ни отшельники, ни рыцари, ни святые, только я одна. Да, она умерла, но не горюй, мой мальчик, старайся улыбаться, я старалась, правда, у меня это получалось не всегда, особенно с Генрихом. Вы играли вместе, он нацеплял на тебя саблю, нахлобучивал тебе на голову каску, ты должен был изображать то француза, то русского, то англичанина. Генрих был тихий мальчик, но он все напевал: *«Хочу ружье, хочу ружье»*; умирая, он прошептал мне этот их ужасный пароль — имя священного

буйвола «Гинденбург». Он хотел выучить наизусть стихотворение о Гинденбурге, он всегда был вежливым и послушным мальчуганом, а я взяла и разорвала листок, и клочки бумаги посыпались, словно снежные хлопья, на Модестгассе.

Пей же, Роберт, чай остынет, вот сигареты, сядь ко мне поближе, мне придется говорить совсем тихо, никто не должен нас слышать, и уж во всяком случае не отец, он суший ребенок, отец не знает, сколько в мире зла и как мало на свете чистых душ; а у него у самого душа чистая, тише, на его душе не должно быть ни пятнышка; послушай, ты можешь мне помочь; я хочу ружье, я хочу ружье, и ты мне его достанешь; с крыши легко попасть в полицай-президента, вся наша беседка в дырах; когда он поедет мимо отеля «Принц Генрих» на своем белом коне и свернет за угол, у меня будет достаточно времени, чтобы спокойно прицелиться; надо сделать глубокий вдох — где-то я читала об этом, — и затем прицелиться и нажать на спусковой крючок; я прорепетировала это с тростью Бруно; пока он завернет за угол, в моем распоряжении две с половиной минуты, не знаю только, удастся ли мне застрелить и того и другого. Когда первый упадет с лошади, поднимется суматоха, и мне уже не дадут еще раз сделать глубокий вдох, не дадут прицелиться и нажать на спусковой крючок; надо только решить, в кого стрелять — в учителя гимнастики или в этого Неттлингера; он ел мой хлеб, пил у нас чай, отец всегда говорил про него: «Какой бойкий мальчик. Посмотри, какой бойкий мальчик», — а он терзал агнцев, он избивал тебя и Шреллу бичом из колючей проволоки; Ферди дорого поплатился, а достиг немногого — подпалил ноги учителю гимнастики и разбил зеркало от гардероба; нет, тут нужен не порох в картонной обертке, а порох и металл, дружок...

Выпей, наконец, чаю, дружок, разве он тебе не по вкусу? Неужели табак в сигарете так пересох? Прости, в этих вещах я никогда ничего не смыслила. Ты красивый, тебе к лицу грим сорокалетнего мужчины с седыми висками, можно подумать, что ты родился нотариусом; мне смешно при мысли, что когда-нибудь ты действительно будешь так выглядеть, ну и искусники нынешние парикмахеры!

Не будь таким серьезным, все пройдет, мы опять начнем ездить за город, в Кисслинген — бабушка и дедушка, дети, внуки, весь наш род, твой сынишка захочет

руками поймать форель, мы будем есть чудесный монастырский хлеб, пить монастырское вино, слушать вечерню: «*Rorate coeli desuper et nubes plurant justum*»¹ и предрождественские службы; в горах выпадет снег, ручьи замерзнут, выбери себе время года по вкусу, мой мальчик; недели перед Рождеством больше всего нравятся Эдит, от нее так и веет рождественским духом; она еще не поняла, что Господь, явившись, стал нам братом; ее сердце обрадуется пению монахов и темной церкви, построенной твоим отцом, церкви Святого Антония в Киссатале, между двумя селениями — Штелингс-Гротте и Гёрлингс-Штуль.

Когда освящали аббатство, мне не было и двадцати двух; я только совсем недавно дочитала до конца «*Коварство и любовь*»; чуть что — и я заливалась смехом, каким смеются подростки; в зеленом бархатном платье от Гермины Горушки я выглядела девчонкой, возвращающейся с урока танцев. Я уже не была девочкой, но еще не стала женщиной и казалась не замужней дамой, а девушкой, которую соблазнили; в тот день я надела белый воротничок и черную шляпу; было уже заметно, что я беременна, и слезы то и дело навертывались мне на глаза.

— Вам следовало бы остаться дома, сударыня, — шепнул мне кардинал, — надеюсь, вы выдержите.

Я выдержала, я хотела быть с ним; когда открыли церковь и началась церемония освящения, мне стало страшно: он совсем побелел, мой маленький Давид, и я подумала — сейчас он разучится смеяться, эта торжественность убьет его смех, мой Давид слишком мал и слишком молод, ему не хватает мужской серьезности; я знала, что очень хороша — черноглазая, в зеленом платье с белоснежным воротничком; я решила никогда не забывать, что все это только игра. Я еще смеялась, вспоминая, как учитель немецкого языка сказал мне: «Вы должны получить у меня высший балл».

Но я так и не получила высшего балла, я все время думала только о нем, называла его Давидом, моим маленьким Давидом с пращой, я думала о его грустных глазах и затаенном смехе; я любила его, каждый день ждала минуты, когда он появится в большом окне мастерской, смотрела ему вслед, когда он выходил из ворот типографии; я тайком прокрадывалась на спевки хорового ферейна, чтобы посмотреть на него, но он не

¹ Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду (лат.).

выпячивал грудь ради пения — этого серьезного мужского дела, и по его лицу было видно, что он не такой, как они; Бруно тайком проводил меня в отель «Принц Генрих», где собирались офицеры запаса, чтобы поиграть в бильярд; я видела, как он сгибал и разгибал руки, как белые шары катились по зеленому полю и как красные шары катились по зеленому полю; именно там я открыла его смех, который он запрятал глубоко в себе; нет, он никогда не принимал *«причастие буйвола»*, но я боялась, что он не выдержит последнего, самого последнего и самого трудного испытания — испытания военным мундиром; в день рождения того дурака, в январе, они должны были пройти церемониальным маршем к памятнику у моста и участвовать в параде перед отелем, на балконе которого стоял генерал. И я спрашивала себя, как он пройдет там внизу, ведь его до предела напичкали историей и болтовней о «великой судьбе»; как он пройдет под гром литавр и бой барабанов, под звуки рожков, играющих сигнал атаки. Мне было страшно, я боялась, что он покажется смешным; этого я не хотела, над ним никто не должен смеяться, пусть он всегда смеется над другими. И вот я увидела его на параде — о боже! Видел бы ты, как он шел; казалось, каждым своим шагом он попирает голову кайзера.

Потом мне часто приходилось видеть его в мундире; годы исчислялись теперь только по производству в очередной чин; два года — обер-лейтенант, еще два года — капитан; я брала его саблю и всячески старалась опоганить ее, я снимала ею грязь с железных завитушек на перилах лестницы, соскребала ржавчину с садовых скамеек, рыла ямки для рассады; я только что не чистила ею картофель, и то потому, что это было несподручно.

Сабли надо топтать ногами, мой мальчик, как и все привилегии; привилегии только для того и созданы — это мздоимство; *«И правая их рука полна подношений»*. Ешь то же, что едят все, читай то же, что читают все, носи платье, какое носят все, так ты скорее приблизишься к истине; благородное происхождение обязывает, оно обязывает есть хлеб из опилок, если все остальные едят его, читать ура-патриотическое дерьмо в местных газетках, а не журналы для избранных, не этого Демеля и других; ты, Роберт, не принимай от них ничего — не принимай паштеты Греца и масло настоятеля, мед, золотые монеты и жаркое из зайцев; *зачемзачемзачем*, если у других всего этого нет. Простые люди могут

спокойно есть мед и масло, их это не испортит, не засорит им ни желудка, ни мозгов, но ты, Роберт, не имеешь на это права, ты должен есть этот дерьмовый хлеб, тогда правда ослепит тебя своим сиянием; если хочешь чувствовать себя свободным, носи дешевые костюмы.

Я только раз воспользовалась своими привилегиями, один-единственный раз, и ты простишь мне это, больше я была не в силах терпеть, я должна была пойти к Дрёшеру, чтобы выхлопотать тебе амнистию, мы больше не в силах были терпеть, все мы: отец, я, Эдит. К тому времени у тебя уже родился сын; твои послания мы находили в почтовом ящике, крохотные клочки бумаги, свернутые, как порошки от кашля; первая записочка пришла через четыре месяца после твоего исчезновения: «Не беспокойтесь, я прилежно учусь в Амстердаме. Целую маму. Роберт».

Через семь дней пришла вторая записка: «Мне нужны деньги, заверните их в газету и передайте человеку по фамилии Гроль, кельнеру из «Якоря» в Верхней гавани. Целую маму. Роберт».

Мы отнесли деньги, кельнер по фамилии Гроль молча поставил перед нами пиво и лимонад, молча взял пакет с деньгами, молча отверг чаевые; казалось, он нас вообще не замечает, не слышит наших вопросов.

Твои крошечные записочки мы клеивали в блокнот, долгое время они больше не приходили, потом начали приходить чаще: «Деньги все три раза получил: 2-го, 4-го и 6-го. Целую маму. Роберт».

А Отто вдруг перестал быть самим собой, с ним случилось что-то страшное, какое-то превращение, он был Отто и все же не Отто, он приводил в дом Неттлингера и учителя гимнастики; Отто... я поняла, что это значит, когда говорят: «От человека осталась одна только видимость»; от моего сына Отто осталась одна только видимость, одна оболочка, которая быстро наполнялась другим содержанием, он принял «причастие буйвола», принял огромные дозы его, у него высосали всю кровь и накачали ему новую; взгляд Отто стал взглядом убийцы, и я в страхе прятала от него твои записки.

Долгие месяцы мы не получали ни одной записки, я ползала по лестнице, выложенной плитками, осматривала каждую щелочку, каждый сантиметр холодного пола, залезала рукой в железные завитушки, соскребала с них грязь, я боялась, что бумажный шарик закатился за перила, что его сдуло туда ветром; ночью я отвинчива-

ла почтовый ящик и разбирала его; по ночам возвращался Отто, припирает меня дверью к стене, наступал мне на пальцы и смеялся; долгие месяцы я не находила записок; ночи напролет я простаивала за занавеской в спальне, ожидая рассвета; я караулила парадную дверь, смотрела, не покажется ли кто на улице; заведя почтальона, я мчалась вниз, но весточки все не было; я перетряхивала пакетики с булочками, осторожно переливала молоко в кастрюлю, отклеивала этикетки от бутылок, но и там ничего не оказывалось. А по вечерам мы ходили в «Якорь», пробирались мимо людей, одетых в форму, туда, в самый дальний угол, где обслуживал Гроль, но он все молчал, казалось, он не узнает нас, и только через много недель, после того как мы вечер за вечером просиживали в «Якоре» в напрасном ожидании, Гроль написал на картонной подставке для пива: «Будьте осторожны! Я ничего не знаю!»; он опрокинул кружку с пивом, вытер лужу тряпкой так, что не осталось ничего, кроме большого чернильного пятна, принес нам новую кружку, за которую не хотел брать денег. Гроль, кельнер в «Якоре», был юноша с худым лицом.

Мы, конечно, не знали, что мальчик, бросавший записочки в наш почтовый ящик, давно арестован, что за нами следят и что Гроля не арестовывают по одной причине — надеются, что он заговорит с нами. Кто может разобраться в этой высшей математике убийц? Все они сгнули — и Гроль, и мальчик с записочками, а ты, Роберт, не даешь мне ружья, не вызволяешь меня из заколдованного замка.

Мы перестали ходить в «Якорь», пять месяцев мы ничего не слышали о тебе, больше я не могла этого вынести, впервые я воспользовалась своими привилегиями, я обратилась к Дрёшеру, доктору Эмилю Дрёшеру, регирунгспрезиденту; я училась в гимназии с его сестрой, мы с ним вместе ходили на уроки танцев, ездили на пикники, мы клали в экипажи пивные бочонки и на опушке леса вытаскивали бутерброды с ветчиной, мы танцевали лендлер на свежескошенных лужайках; мой отец помог отцу Дрёшера вступить в научный союз, хотя у того не было высшего образования; но все это чепуха, Роберт, не придавай значения такой чепухе, когда речь заходит о серьезных вещах; я называла Дрёшера «Эм», это было уменьшительное от Эмиль, и называть так в те времена считалось особым шиком; а вот теперь, спустя тридцать лет, я попросила доложить ему о себе, надела

серый костюм, серую шляпку с сиреневой вуалью, черные ботинки; Дрёшер сам вышел ко мне в переднюю, поцеловал мне руку, сказал:

— Ах, Иоганна, называй меня, как прежде, «Эм»!

И я ответила:

— Эм, я должна знать, где мой сын, вам же известно, где он!

В ту минуту мне показалось, Роберт, что наступил ледниковый период. По его лицу я сразу поняла, что он все знает, и почувствовала, как он весь подобрался, в его тоне появились официальные нотки, от страха его толстые губы завязтого выпивохи вытянулись в ниточку; он оглянулся, покачал головой и зашептал:

— Поступок твоего сына был не только предосудительным, но и политически крайне неблагоразумным.

На это я ему ответила:

— К чему приводит политическое благоразумие, видно по тебе.

Я хотела уйти, но он удержал меня.

— О боже, значит, по-твоему, мы все должны повеситься?

— Вы — да! — ответила я.

— Будь же благоразумна,— сказал он,— такого рода дела находятся в ведении полицай-президента, а ты ведь сама знаешь, что сделал ему твой сын.

— Нет,— сказала я,— мой сын ему ничего не сделал. К сожалению, ничего, за исключением того, что он пять лет подряд выигрывал ему все игры в лапту.

Тут этот трус прикусил губу.

— Спорт... спорт хорошее дело.

Тогда, Роберт, мы еще не подозревали, что одно движение руки может стоить человеку жизни: Вакера приговорил к смерти польского военнопленного только за то, что тот поднял на него руку; пленный даже не ударил Вакера, а только поднял руку.

Как-то утром за завтраком я нашла у себя на тарелке записку от Отто: «Мне тоже нужны деньги. 12. Можете отдать мне их прямо в руки». Я пошла в мастерскую отца, взяла из сейфа двенадцать тысяч марок (мы приготовили их на случай, если от тебя снова начнут приходить записки) и бросила всю пачку на стол перед Отто; я решила отправиться в Амстердам и сказать тебе: не посылай больше записок, а то кто-нибудь обязательно поплатится за них головой. Но тут ты приехал к нам; я бы сошла с ума, если бы они тебя не амнистировали:

останься здесь, разве не безразлично, где жить, ведь одно движение руки в этом мире может стоить человеку жизни. Ты же знаешь условия, которые Дрёшер выторговал для тебя: отказ от всякой политической деятельности и сразу же после экзаменов — военная служба; я заранее подготовила все, чтобы ты мог нагнать и получить аттестат зрелости, а потом статик Клем проэкзаменует тебя и скостит тебе столько семестров в университете, сколько сможет; ты обязательно хочешь учиться в университете? Хорошо, как знаешь. Статика? Почему статика? Хорошо, как знаешь. Эдит очень рада. Отчего ты не идешь к ней наверх? Иди! Скорей! Неужели тебе не хочется увидеть сынишку? Я отдала Эдит твою комнату, она ждет тебя наверху, иди же.

Он поднялся по лестнице, прошел мимо коричневых шкафов, тихо пробрался по безмолвным коридорам под самую крышу, в каморку на чердаке. Здесь пахло сигаретами, которые тайком выкуривали санитары, влажным постельным бельем, развешанным на чердаке для просушки; гнетущая тишина поднималась вверх по лестничной клетке, словно по трубе; Роберт взглянул в чердачное окошко на аллею тополей, которая вела к автобусной остановке, — он увидел аккуратные клумбы, оранжерею, мраморный фонтан и часовню справа у стены; все это казалось идиллией. пахло идиллией, да и впрямь было идиллией; за оградой, через которую был пропущен электрический ток, паслись коровы, в отбросах рылись свиньи, чтобы в свою очередь стать отбросами; один из служителей выливал в корыто ведро громко булькающего жирного месива; проселочная дорога за стеной лечебницы, казалось, вела в царство беспредельной тишины.

Сколько раз он уже приходил сюда, в эту каморку? Мать всегда посылала его наверх, чтобы не прерывать нити своих воспоминаний. Он снова был двадцатидвухлетним, и он вернулся домой, приговорив себя к молчанию; он должен был поздороваться с Эдит и с их сыном Йозефом. Эдит и Йозеф — эти два слова были паролем, но оба они, мать и сын, казались ему чужими, и они тоже смутились, когда он вошел в комнату, Эдит еще больше, чем он; неужели они раньше говорили друг другу «ты»?

После той игры в лапту, когда они пришли к Шрелле, Эдит поставила на стол картошку с какой-то непонятной подливкой и зеленый салат, а потом заварила жидкий чай; он ненавидел жидкий чай, у него тогда были на этот

счет свои понятия: женщина, на которой он женится, должна уметь заваривать чай; Эдит этого явно не умела, и все же, глядя, как она ставит картофель, он знал, что затащит ее в кусты на обратном пути домой из кафе «Цонз», когда они будут проходить по Блессенфельдскому парку; Эдит была светловолосая девушка, на вид ей было лет шестнадцать; она уже не смеялась беспричинно, как смеются подростки, и в глазах у нее не светилось напрасное ожидание счастья, в глазах, которые она устремила на него. Перед едой Эдит произнесла молитву: «Господь... Господь». И Роберт подумал, что есть надо руками; вилка показалась ему нелепой, а ложка странной, и в первый раз он понял, что такое еда: еда — это божье благословение, данное нам, чтобы утолить голод, и больше ничего; только короли и бедняки едят руками. Даже тогда, когда они шли по Груффельштрассе и через Блессенфельдский парк в кафе «Цонз», они почти не разговаривали друг с другом; и ему было страшно; он поклялся ей никогда не принимать «*причастие буйвола*»; как ни глупо, но в этот момент ему было так же страшно, как бывает в церкви; однако, возвращаясь через парк, Роберт взял руку Эдит и задержал ее в своей, он дал Шрелле пройти вперед и потянул Эдит в кусты, он тянул Эдит, наблюдая за тем, как темно-серый силуэт Шреллы постепенно тает на фоне вечернего неба; Эдит не сопротивлялась и не смеялась; и тут в нем пробудился древний инстинкт, он понял, как это делается: инстинкт пробудился в его руках и в его губах; он запомнил ее светлые волосы, блестящие от летнего дождя, запомнил корону из серебристых капель на ее волосах, похожую на скелет какого-то хрупкого морского животного, найденного на песке ржавого цвета, запомнил линии ее рта, повторенные в бесчисленных облачках одинаковой величины, запомнил шепот Эдит у себя на груди: «Они тебя убьют!»

Значит, Эдит все же была с ним на «ты» там, в парке, в кустах, и потом, на следующий день, в дешевой мебелированной комнате; он тащил Эдит, держа ее за запястье, он шел по городу, как лунатик, словно заколдованный, чутьем он разыскал нужный дом; под мышкой он держал пакетик с порохом для Ферди, с которым они должны были вечером встретиться. Тогда он узнал, что Эдит умеет улыбаться, она улыбнулась, смотрясь в зеркало, самое дешевое из всех, какие только могла раздобыть хозяйка этих подозрительных мебелирашек в лавке со

стандартными ценами; Эдит улыбалась, открыв в себе тот же древний инстинкт; Роберт уже понял тогда, что пакетик с порохом, лежавший на подоконнике,— глупость, глупость, которую тем не менее надо совершить, ведь благоразумию грош цена в мире, где одно движение руки может стоить человеку жизни; улыбка на лице Эдит, не привыкшем улыбаться, казалась чудом, а потом, когда они спустились по лестнице к хозяйке, Роберт удивился, как дешево им посчитали за комнату; он заплатил марку и пятьдесят пфеннигов. Но хозяйка отказалась взять пятьдесят пфеннигов, которые он хотел прибавить к плате.

— Нет, сударь, я не беру чаевых, не хочу ни от кого зависеть.

Значит, он все же был с Эдит на «ты», с той Эдит, что сидела сейчас в его комнате с ребенком на руках, с его сыном Йозефом; он взял мальчика, неловко подержал его с минуту, а потом положил на кровать, и древний инстинкт снова проснулся в нем, в его руках и губах. Эдит так и не научилась заваривать чай, даже после того, как они поселились в собственной квартире с кукольной мебелью; он приходил домой из университета или приезжал в отпуск — унтер-офицер инженерных войск; его обучили, и он стал подрывником, а потом он сам обучал команды подрывников; сеял формулы, которые несли с собой как раз то, чего он желал,— прах и развалины, месть за Ферди Прогульске, за кельнера по фамилии Гроль, за мальчика, бросавшего в почтовый ящик его записки. Эдит ходила с сумкой для провизии, получала продукты по продуктовым карточкам. Эдит читала поваренную книгу, совала мальчику бутылочку с молоком, давала Рут грудь; он был молодой отец, Эдит — молодая мать; она приходила за ним к воротам казармы, толкая перед собой коляску; они вместе бродили по берегу реки, гуляли на лужайках, где гимназисты играли в лапту и в футбол; они сидели на бревнах в половодье, когда спадала вода; Йозеф играл на речном песочке, а Рут делала первые шажки; два года они играли в эту игру под названием «брак», но он так и не почувствовал себя мужем, хотя раз семьсот, если не больше, вешал в гардероб фуражку и пальто, снимал китель, садился за стол с Йозефом на коленях и слушал, как Эдит произносила застольную молитву: *«Господь... Господь!»* Только никаких привилегий, все должно быть, как у других; он — доктор Роберт Фемель, одаренный математик,— служил

фельдфебелем в саперных частях; он ел гороховый суп, а соседи в это время слушали радио, принимая *«причастие буйвола»*; его отпуск из части продолжался до утра; с первым трамваем он ехал обратно в казарму; Эдит целовала его у порога, и он испытывал странное чувство, словно он опять обесчестил эту маленькую светловолосую женщину в красном халате; Йозефа она держала за руку, а Рут лежала в коляске; ему была запрещена политическая деятельность, но разве он когда-нибудь занимался политической деятельностью? Его амнистировали, ему простили его юношеское сумасбродство; он считался одним из самых способных кандидатов на офицерское звание; он был заморожен тупостью начальства, не знавшего ничего, кроме уставов, он сеял вокруг себя прах и развалины, вбивая в мозги людям формулы взрывов.

— От Альфреда никаких известий?

Каждый раз он не понимал, о ком идет речь, забывая, что фамилия Эдит тоже Шрелла. Время исчислялось теперь только по производствам в очередной чин: полгода — ефрейтор, еще полгода — унтер-офицер, полгода — фельдфебель, еще полгода — лейтенант; а потом апатичная, серая, безрадостная масса солдат потянулась к вокзалу; не было ни цветов, ни смеха провожающих, ни улыбки кайзера, ни той залихватской удали, которая появляется у людей после длительного мира; серая масса была возбуждена и в то же время тупо покорна; он оставил кукольную комнату, где они оба играли в брак, и на вокзале снова повторил клятву никогда не принимать *«причастие буйвола»*.

Отчего Роберта пробирав озноб — от влажного постельного белья или от сырых стен? Теперь он мог уйти наконец с чердака, куда она его отослала. Паролем этого места были Эдит и Йозеф. Он загасил ногой на полу сигарету, опять спустился по лестнице; помедлив секунду, нажал на ручку двери и увидел свою мать; она говорила по телефону; улыбаясь, она знаком призвала его к молчанию.

— Я так рада, святой отец, что вы можете повенчать их в воскресенье, мы собрали все документы, гражданское бракосочетание состоится завтра.

Действительно ли он услышал ответ священника, или ему только так показалось?

— Да, милая госпожа Фемель, я сам рад, что это досадное недоразумение наконец-то будет улажено.

Эдит не захотела надеть белое платье и отказалась оставить дома Йозефа; мальчик был у нее на руках в ту минуту, когда они оба сказали священнику «да»; играл орган; он тоже не надел черного костюма, не к чему переодеваться; пора идти, шампанского не будет, отец ненавидит шампанское, а отец невесты, которого он видел всего раз в жизни, бесследно исчез, от шурина все еще нет никаких известий, его разыскивают, он обвиняется в покушении на убийство, хотя он возражал против пороха и хотел предотвратить покушение.

Мать повесила трубку, подошла к нему, положила ему руки на плечи, сказав:

— Какая прелесть твой сынишка, чудо, правда? Сразу же после свадьбы его надо усыновить, я напишу завещание в его пользу. Выпей еще стакан чаю, ведь в Голландии все пьют чай; не бойся: Эдит будет хорошей женой, ты быстро сдашь экзамены на аттестат зрелости, я обставлю вам квартиру, а если тебе придется пойти на военную службу, не забывай втайне улыбаться; держись тихо и думай о том, что в мире, где одно движение руки может стоить человеку жизни, благородные чувства — еще не все; я обставлю вам квартиру, отец будет рад, он поехал в аббатство, как будто там можно найти утешение. *«Дрожат дряхлые кости»*, мой мальчик... они убили затаенный смех отца, пружинка лопнула, она не могла выдержать такого гнета. Здесь не поможет громкое слово «тираны»; отец не в силах больше торчать в своей мастерской, Отто вселяет в него страх, вернее, оболочка Отто; попытайся помириться с Отто, пожалуйста, попытайся, ну, пожалуйста, иди же к нему.

Попытки примирения с Отто... Он не раз предпринимал их, он подымался по лестнице, стучал в дверь, ведь этот приземистый юноша не был ему чужим, да и Отто не смотрел на него, как на чужого; за широким бледным лбом Отто жажда власти воплотилась в простейшую формулу: Отто хотел властвовать над боязливymi школьными товарищами, над прохожими, которые не отдавали чести нацистскому знамени; эта жажда главенствовать могла бы стать умильной причудой, если бы она распространялась только на спортивные стадионы, если бы Отто хотел получить три марки за выигранный

боксерский матч или же, пользуясь правом победителя, сводить в кино какую-нибудь девицу в пестром платье, с тем чтобы на обратном пути поцеловать ее в парадном. Но в Отто не было ничего умильного, даже Неттлингер и тот казался более умильным; Отто не интересовали победы в боксерском матче, его не интересовали девицы в пестрых платьях; в мозгу Отто власть стала формулой, лишённой смысла, освобожденной от всего человеческого; в ней почти отсутствовала ненависть, власть приводилась в исполнение автоматически: удар за ударом.

«Брат» — великое слово, в пору Гёльдерлину, такое громадное, что даже смерть не может заполнить его, даже смерть Отто; известие о его гибели не заставило Роберта примириться с ним. «Пал под Киевом!» В этой фразе могли быть выражены трагизм, величие, братские чувства, в особенности если бы в ней был упомянут возраст погибшего, тогда она могла бы вызвать умиление, как надписи на могильных плитах: «Пал под Киевом двадцати пяти лет от роду», но ничего этого не случилось: напрасно Роберт старался примириться, когда ему говорили: «Ведь вы же братья»; да, они были братья, согласно книгам записей гражданского состояния и по свидетельству акушерки; он мог бы скорее почувствовать умиление, если бы они с Отто действительно стали чужими, но этого не произошло; Роберт знал, как Отто ест, как он пьёт чай, кофе, пиво; и все же Отто ел иной хлеб, чем он, пил иное молоко и кофе; еще хуже дело обстояло со словами, которые они оба произносили: в устах Отто слово «хлеб» звучало более чуждо, нежели слово «rain»¹, когда он услышал его впервые и еще не имел понятия, что оно означает. Они родились от одной матери и от одного отца, они выросли в одном доме, вместе ели, пили, плакали, дышали одним и тем же воздухом, ходили по одной и той же дороге в школу, они смеялись и играли, он называл Отто «братиком», чувствовал, как рука брата обвивается вокруг его шеи, он знал, что Отто боится математики, помогал ему, зубрил с ним целыми днями, чтобы тот перестал бояться, и в самом деле ему удалось излечить брата от этого страха, но вот за два года его отсутствия от Отто осталась одна оболочка; нельзя сказать даже, что он стал ему чужим; думая об Отто, он не ощущал пафоса слова

¹ Хлеб (фр.).

«брат», оно казалось неправдоподобным, оно не соответствовало истине, оно не звучало, и он в первый раз понял, что значили слова Эдит — принять *«причастие буйвола»*. Отто выдал бы свою мать палачам, если бы она им вдруг понадобилась.

Во время одной из попыток примирения, когда он поднялся по лестнице, открыл дверь и вошел в комнату Отто, тот, повернувшись к нему, спросил: «В чем дело?» Отто был прав: в чем дело? Ведь они не были друг другу чужими, они знали друг друга как свои пять пальцев, знали, что один не любит апельсинов, а другой предпочитает пить пиво вместо молока, знали, что один охотно курит сигареты, а другой — маленькие сигарки, знали, как каждый из них всовывает свою закладку в календарь Шотта.

Роберта не удивляло, что Бен Уэкс и Неттлингер нередко заходили к Отто, не удивляло, что он встречал их в коридоре; но внезапно он испугался, осознав, что Бен Уэкс и Неттлингер более понятны ему, чем собственный брат; ведь даже убийцы не всегда убивают, не во всякое время дня и ночи, у них тоже бывают свободные вечера, как, скажем, у железнодорожников; при встречах с ним Бен Уэкс и Неттлингер фамильярно хлопали его по плечу, и Неттлингер говорил: «Разве не я помог тебе убежать?» Они казнили Ферди, а Гроля, отца Шреллы и мальчика, который передавал записки, отправили туда, где люди бесследно исчезают. Но теперь они хотели, чтобы все поросло быльем, зачем ворошить старое. Живи себе на здоровье. Роберт стал фельдфебелем в саперных частях, подрывником, женился, нанял квартиру, обзавелся сберегательной книжкой и двумя детьми.

— О жене можешь не беспокоиться, пока мы здесь, с ней ничего не случится.

— Ну? Ты говорил с Отто? Безуспешно? И все же не надо терять надежды; подойди ближе, тихо-тихо. Я должна тебе кое-что сказать: мне кажется, он проклят, заколдован, если это тебе больше по вкусу. Есть только одна возможность освободить его: *хочу ружье, хочу ружье*; Господь сказал: «Мне отмщение, и Аз воздам». Но разве я не могу стать орудием Господа?

Мать подошла к окну, достала из-за портьеры трость своего брата, умершего сорок три года назад, вскинула

ее, словно ружье, и прицелилась; она взяла на мушку Бена Уэкса и Неттлингера, они ехали верхом по улице, один — на белой лошади, другой — на гнедой; трость следовала за всадниками; казалось, мать наблюдает за ними с секундомером в руках; вот лошади появились на углу, проехали мимо отеля, свернули на Модестгассе, поскакали прочь к Модестским воротам, которые заслонили от нее всадников; опустив трость, мать сказала:

— В моем распоряжении две с половиной минуты. За это время можно сделать вдох, прицелиться, нажать курок.

В картине, нарисованной ее фантазией, не было ни единой бреши, все было пригнано друг к другу и неуязвимо; она снова поставила трость в угол.

— Я это сделаю, Роберт. Я стану орудием Господа, терпения у меня хватит, время для меня ничего не значит, и я знаю, что хлопущки с порохом бесполезны; порох должен быть заключен в свинец; я буду мстить за последнее слово, которое слетело с невинных уст моего сына, за слово «Гинденбург», единственное, оставшееся после него в мире. Я должна стереть это слово с лица земли. Неужто мы только для того родим детей, чтобы они умерли через семь лет, прошептав перед смертью имя Гинденбурга?

Я порвала листок со стихотворением и выбросила на улицу клочки бумаги; Генрих был такой аккуратный мальчуган, он молил достать ему копию, но я отказалась, я не хотела слышать из его уст эту чушь; в бреду он пытался восстановить в памяти строчку за строчкой, а я затыкала уши, но все равно слышала: «Господь да пребудет с тобой», я пыталась вызволить его из бреда, разбудить, заставить посмотреть мне в глаза, взять меня за руки, услышать мой голос, но он продолжал шептать: *«Покуда немецкие рожи растут, покуда немецкие флаги цветут, покуда немецкое слово звучит, не будет наш Гинденбург нами забыт»*; меня убивало, что и в бреду он делал ударение на слове «наш». Я собрала все игрушки в доме, твои тоже, хотя ты громко заревел, и сложила их на одеяле Генриха, но он так и не вернулся ко мне, даже не взглянул на меня, Генрих, Генрих! Я кричала, молилась, шептала, но он ушел в страну кошмарных сновидений, где ничего не осталось, кроме одной-единственной строки; только эта одна строка жила в нем: *«С Гинденбургом вперед! Ура!»* Последнее слово, слетевшее с его уст, было «Гинденбург».

Я должна отомстить за оскверненные уста моего семилетнего сына; неужели ты меня не понимаешь, Роберт? Я должна отомстить тем, кто ездит верхом мимо нашего дома, направляясь к памятнику Гинденбургу; после смерти за ними понесут венки с золотыми, черными и лиловыми лентами; я спрашивала себя: неужели Гинденбург никогда не умрет? Неужели мы вечно будем видеть на почтовых марках этого буйвола, чье имя стало для моего сына всем? Ты достанешь мне ружье?

Я ловлю тебя на слове; пусть это будет не сегодня и не завтра, но все же скоро; я наберусь терпения, неужели ты не помнишь твоего брата Генриха?

Когда Генрих умер, тебе было уже почти два года, мы держали тогда собаку по кличке Бром, ты ее вряд ли помнишь; Бром был такой старый и мудрый, что боль, которую вы ему причиняли, не вызывала в нем злобы, а только грусть; вы, сорванцы, изо всей силы цеплялись за его хвост, и пес тащил вас по комнате, помнишь Брома? Цветы, которые тебе надо было положить на могилу Генриха, ты выбросил из окна кареты; мы оставили тебя, не доезжая до кладбища, мы разрешили тебе сесть наверх, на козлы, и поддерживать вожжи, они были черные, кожаные и потрескались по краям. Вот видишь, Роберт, ты помнишь и собаку, и вожжи, и брата, и... солдат, солдат, бесконечные шеренги солдат; ты ведь помнишь все это; они поднимались вверх по Модестгассе, сворачивали у отеля к вокзалу, волоча за собой пушки; ты сидел у отца на руках, и отец говорил:

— Война кончилась.

Плитка шоколада стоила триллион, потом конфета стоила два триллиона, пушка стоила столько же, сколько полбуханки хлеба, лошадь — столько же, сколько яблоко, цены все росли, а потом у людей не осталось ни гроша, чтобы купить самый дешевый кусок мыла; это не могло хорошо кончиться, да они, Роберт, и не хотели вовсе, чтобы это хорошо кончилось; люди все шли и шли через Модестские ворота и устало сворачивали к вокзалу; все было благопристойно, вполне благопристойно, и они несли перед собой знамя с именем главного буйвола — Гинденбурга; буйвол до последнего вздоха заботился о порядке. Ведь правда он умер, Роберт? Мне все еще не верится!

Герой! Для тебя наши бьются сердца,
А славе героя не будет конца.
С Гинденбургом вперед! Ура!

На почтовых марках у этого буйвола с отвислыми щеками был такой вид, словно он призывает к единению; уверяю тебя, он еще доставит нам немало хлопот, он еще покажет, куда ведет благоразумие политиков и благоразумие богачей; лошадь стоила столько же, сколько яблоко, конфета стоила триллион, а потом у людей не осталось ни гроша, чтобы купить себе кусок мыла, но порядок был незыблем, я все это видела своими глазами, и я слышала, как они выкрикивали его имя; он был глуп как пробка, глух как тетерев, но насаждал порядок; все было прилично, вполне прилично. Честь и верность, железо и сталь, деньги и разоренная деревня. Осторожно, мальчик, там, где над пашнями подымается туман, где шумят леса,— там принимают *«причастие буйвола»*, будь осторожен!

Не думай, что я сумасшедшая, я хорошо знаю, что мы находимся сейчас в Денклингене; вот дорога, она вьется меж деревьев вдоль синей стены и поднимается до того места, где ползут желтые автобусы, похожие на жуков; меня привезли сюда потому, что я морила голодом твоих детей, после того как порхающие птицы умертвили последнего агнца; шла война, время исчислялось по производствам в очередной чин, ты ушел на фронт лейтенантом, но за два года дослужился до оберлейтенанта. Ты все еще не стал капитаном? Для этого тебе понадобится не меньше четырех лет, может быть, даже шесть, а потом ты станешь майором; прости, что я смеюсь; смотри, как бы от твоих формул у тебя не зашел ум за разум, сохраняй терпение и не пользуйся привилегиями; мы не едим ни крошки сверх того, что выдается по карточкам; Эдит согласна со мной: ешь то же, что едят все, надевай то же, что надевают все, читай то же, что читают все, не принимай ничего сверх положенного — ни масла, ни платьев, ни стихотворений, ничего, что тебе предлагает буйвол, пусть с самым изящным поклоном; *«и правая их рука полна подношений»*; все это не что иное, как взятки, данные под тем или иным соусом. Я не хотела, чтобы твои дети пользовались привилегиями, пусть они почувствуют вкус правды на своих губах. Но меня увезли от детей; этот дом называется санаторием, здесь сумасшедших не избивают, здесь тебе не станут лить холодную воду на

голое тело и не наденут без согласия родственников смирительную рубашку, надеюсь, вы не согласитесь, чтобы мне ее надели; мне позволено даже выходить, если я захочу, потому что я не опасна, нисколько не опасна, но я, мальчик, не хочу выходить, я не хочу глядеть на этот мир, не хочу снова и снова сознавать, что они убили затаенный смех отца, что скрытая пружинка в скрытом часовом механизме лопнула; отец вдруг начал принимать себя всерьез; он стал таким торжественным; ведь он нагромоздил целые горы кирпичей, срубил много лесов на стройматериалы и уложил столько бетона, столько бетона, что им можно было бы забетонировать Боденское озеро; такие, как он, строя, хотели забыться, для них это было вроде опиума; трудно себе представить, сколько может понастроить за сорок лет архитектор; я щеткой счищала следы известки с его брюк и гипсовые пятна с его шляпы; положив голову ко мне на колени, он курил сигару, и мы без конца повторяли, как причитание: «Помнишь ли ты... Помнишь ли ты, как в тысяча девятьсот седьмом году... как в тысяча девятьсот четырнадцатом году... как в двадцать первом году, как в двадцать восьмом году, как в тридцать пятом году...» И в ответ на этот вопрос мы вспоминали либо какое-нибудь сооружение, либо чью-нибудь смерть; помнишь, как умерла мать, помнишь, как умер отец, Иоганна, Генрих? Помнишь, как я строил аббатство Святого Антония, церковь Святого Серватия и Бонифация, церковь Модеста, дамбу между Хайлигенфельдом и Блессенфельдом, помнишь, как я строил монастырь для белых братьев, и монастырь для коричневых братьев, и санаторий для сестер милосердия; каждый мой ответ, казалось, звучал как молитва: «Господи помилуй!» Отец строил одно сооружение за другим, и одна смерть следовала за другой; он стал рабом им же самим созданной легенды, его держал в плену им же выдуманный ритуал; каждое утро он завтракал в кафе «Кронер», хотя охотнее посидел бы с нами, выпил бы кофе с молоком и съел кусок хлеба, он прекрасно мог обойтись без яйца всмятку, без гренок и без этого отвратительного сыра с перцем, но он уже начал думать, что не может без них обойтись; он сердился, если не получал крупного заказа, а ведь раньше было иначе: он радовался, когда получал заказ, понимаешь? Все это очень сложная математика, особенно когда тебе под пятьдесят или под шестьдесят и ты стоишь перед выбором: либо ты должен справить нужду на собствен-

ный памятник, либо взирать на него с благоговением; здесь не может быть никаких компромиссов. Тебе минуло тогда восемнадцать, Отто — шестнадцать лет, и мне было страшно за вас: я стояла вместе с вами наверху в беседке и зорко глядела вокруг, словно вещая птица. Когда вы были младенцами, я носила вас на руках, когда вы стали маленькими детьми — держала за руку, а когда вы переросли меня — стояла с вами рядом; я наблюдала за жизнью, которая проходила внизу: все бурлило, люди дрались и платили триллион за конфету, а потом у них не было трех пфеннигов, чтобы купить себе булочку; я не желала слышать имени их «избавителя», но они носили этого буйвола на руках, наклеивали марки с его изображением, без конца повторяли, словно причитая: приличия, приличия, честь, верность, «побежденные и все же непобедимые», порядок; он был глуп как пробка и глух как тетерев; внизу, в конторе отца, Жозефина проводила маркой по влажной губке и наклеивала на письма его портреты всех цветов; а мой маленький Давид спал; он проснулся только после того, как ты скрылся, лишь тогда он понял, как опасно бывает передать из рук в руки пачку денег, собственных денег, завернутых в газетную бумагу, — это может стоить человеку жизни; лишь тогда он увидел, что от его сына осталась одна оболочка; верность, честь, приличия — он понял цену всему этому; я предупреждала его насчет Греца, но он говорил мне:

— Грец — человек безобидный.

— Как бы не так, — отвечала я ему, — ты еще увидишь, на что способны такие безобидные люди, как он. Грец готов предать собственную мать.

Позднее меня приводила в ужас моя прозорливость: Грец действительно предал мать; да, Роберт, он предал собственную мать, донес на старуху в полицию, потому что она все время повторяла одну и ту же фразу: «Это грех и позор». Больше она ничего не говорила, только эту фразу, и вот в один прекрасный день ее сын объявил:

— Я не желаю дольше терпеть, моя честь не позволяет мне этого.

Они забрали мать Греца и поместили ее в богадельню; чтобы спасти ей жизнь, они объявили ее сумасшедшей, но это-то как раз и погубило старуху; ей сделали соответствующий укол. Разве ты не помнишь мать Греца? Она еще бросала вам через забор пустые плетенки из-под грибов, вы ломали их и строили тростнико-

вые хижины; после сильного дождя хижины становились бурыми от грязи; вы их высушивали, а потом, с моего разрешения, сжигали; неужели ты ничего не помнишь, не помнишь старуху, на которую донес Грец, его собственную мать? Разумеется, он все еще стоит за прилавком и поглаживает ломти сырой печенки. Они пришли и за Эдит, но я ее не отдала, я огрызалась, я кричала, и им пришлось отступить; я спасала Эдит до той поры, пока порхающая птица не убила ее; я пыталась помешать птице, я слышала шелест ее крыльев, слышала, как она камнем падала вниз, я знала, что птица несет смерть; она с торжеством влетела к нам через окно в коридоре; я сложила ладони, чтобы поймать ее, но она пролетела у меня между рук; прости, Роберт, за то, что я не сумела спасти агнца, и помни, что ты обещал достать мне ружье. Не забывай этого. Соблюдай осторожность, мальчик, когда будешь подниматься по стремянке, иди сюда, дай я тебя поцелую и прости, что я смеюсь; какие искусники нынешние парикмахеры.

Почти не сгибаясь, он поднимался по стремянке, ступая в серую бесконечность между перекладинами, а сверху ему навстречу спускался Давид, маленький Давид; всю жизнь ему годились костюмы, которые он купил себе в молодости. Осторожно! Зачем стоять между ступенями, неужели вы не можете хотя бы сесть на перекладины, чтобы поговорить друг с другом; как прямо держатся они оба; не правда ли, они обнялись, не правда ли, сын положил руку на плечо отца, а отец на плечо сына?

Принесите кофе, Хупертс, крепкий горячий кофе и побольше сахара, после обеда мой повелитель любит пить крепкий сладкий кофе, а по утрам — жидкий; он является ко мне из серой бесконечности, из бесконечности, куда потом исчезает тот, другой, негнущийся и не-сгибаемый, куда он уходит большими шагами; оба они — и муж и сын — мужественные люди, они спускаются ко мне вниз, в мой заколдованный замок, сын — дважды в неделю, а мой повелитель — только раз в неделю; он приносит с собой ощущение субботнего вечера, в его глазах — мера времени, и я не могу утешить себя даже тем, что его внешность — дело рук искусных парикмахеров; ему уже восемьдесят лет, сегодня у него день рождения, который торжественно отпразднуют в кафе

«Кронер», но только без шампанского, он всегда ненавидел шампанское — я так и не узнала почему.

Когда-то ты мечтал устроить в этот день грандиозный пир, на нем должны были присутствовать семью семь внуков, да еще правнуки, невестки, жены внуков, мужья внучек; ты ведь всегда казался себе Авраамом, основателем огромного рода; в своих грезах ты видел себя с двадцать девятым правнуком на руках. Ты хотел продолжить свой род, продолжить его до бесконечности, но сегодня будет грустный праздник: у тебя всего один сын, светловолосый внук и черноволосая внучка, их подарила тебе Эдит, а родоначальница семьи — в заколдованном замке, куда можно спуститься лишь по бесконечно длинным лестницам с гигантскими ступенями.

— Иди сюда, пусть с тобой войдет счастье, старый Давид, твоя талия и теперь не шире, чем в дни юности, пощади меня — я не хочу быть в настоящем; давай лучше я поплыву в прошлое на крохотном листке календаря, где стоит дата «31 мая 1942 года», но не рви мой кораблик, сжался надо мной, возлюбленный, не рви бумажное суденышко, сделанное из листка календаря, и не бросай меня в океан прошлого, того, что случилось шестнадцать лет назад. Помнишь ли ты лозунг: *«Победу надо завоевать, ее нам никто не подарит»*; горе людям, не принявшим *«причастие буйвола»*, ты же знаешь, что причастия обладают ужасным свойством, их действие бесконечно; люди страдали от голода, а чуда не случилось — хлеб и рыбы не приумножились, *«причастие агнца»* не могло утолить голод, зато *«причастие буйвола»* давало людям обильную пищу; считать они так и не научились: они платили триллион за конфету, яблоко стоило столько же, сколько лошадь, а потом у людей не оказалось даже трех пфеннигов, чтобы купить себе булочку, но они все равно полагали, что приличия и благопристойность, честь и верность превыше всего; когда людей напичкают *«причастием буйвола»*, они мнят себя бессмертными; оставь, Давид, зачем таскать за собой прошлое, будь милосердным, погаси время в твоих глазах, пусть другие делают историю, кафе «Кронер» сохраняет тебе верность, и когда-нибудь тебе поставят памятник — небольшая бронзовая статуя будет изображать тебя с бумажным свитком в руках, маленького, хрупкого, улыбающегося, похожего не то на молодого

раввина, не то на художника, чем-то неуловимо напоминающего провинциала, ты уже видел, к чему приводит политическое благоразумие... неужели ты хочешь лишиться меня политического неразумия?

Из окна мастерской ты обещал мне: «Не горюй, я буду тебя любить, я избавлю тебя от всех ужасов, о которых рассказывают твои школьные подруги, от ужасов, происходящих якобы в брачную ночь; не верь нашептываниям этих дур; когда придет наше время, мы будем смеяться, непременно, обещаю тебе, но пока подожди, подожди две-три недели, самое большее месяц; я куплю букет, найму экипаж и подъеду к вашему дому. Мы отправимся путешествовать, поглядим свет, и ты родишь мне детей — пятерых, шестерых, а то и семерых, а потом дети подарят мне внуков, их будет пятью, шестью, семью семь; ты даже не заметишь, как я работаю, я избавлю тебя от запаха мужского пота, от истовых мускулов и от военной формы, все мне дается легко. В свое время я учился и кое-что узнал, я уже заранее пролил свой пот. Я не художник, на этот счет не обольщайся, я не обладаю ни мнимым, ни истинным демонизмом; то, о чем твои приятельницы рассказывают страшные сказки, мы будем делать не в спальне, а на вольном воздухе; над собою ты увидишь небо, на лицо тебе будут падать листья и травинки, ты вдохнешь аромат осеннего вечера, и у тебя не появится такого чувства, будто ты участвуешь в отвратительном акробатическом номере, в котором обязана участвовать; ты будешь вдыхать аромат осенних трав, лежа на песке у воды среди верб, там, где разлившаяся в паводок река оставила свои следы — стебли камыша, пробки, баночки из-под гуталина, бусинку от четок, которую жена моряка уронила за борт, и бутылки из-под лимонада с вложенными в них записками; в воздухе запахнет горьким дымом из пароводных труб, раздастся звяканье якорных цепей; мы будем это делать не всерьез, малой кровью, хоть это серьезное и кровавое дело».

Помнишь, как я схватила босыми пальцами ног пробку и преподнесла ее тебе на память? Я подняла эту пробку и подарила ее тебе, потому что ты избавил меня от супружеской спальни, от этой темной камеры пыток, о которой я знала из романов, из нашептываний приятельниц и предостережений монахинь; ветки ивы свешивались мне на лоб, серебристо-зеленые листья падали на глаза, которые стали совсем темными и блестящими;

пароходы гудели в мою честь, возвещали, что я перестала быть девственницей; спускались сумерки, наступал осенний вечер, все катера уже давно стали на якорь, матросы и их жены перешли по шатким мосткам на берег, и я уже сама жаждала того, чего еще совсем недавно так боялась, но все же из моих глаз скатилось несколько слезинок, я сочла себя недостойной своих предков, которые стыдились превращать обязанность в удовольствие; ты налепил листья ивы мне на лоб и на влажные следы слез; мы лежали на берегу реки, и мои ноги касались стеблей камыша и бутылок с записками, в которых дачники посылали привет горожанам; откуда только взялись все эти банки из-под гуталина, кто набросал их — готовящиеся сойти на берег матросы в начищенных до блеска ботинках, или жены речников с черными хозяйственными сумками, или парни в фуражках с блестящими козырьками? Когда мы пришли в сумерках в кафе Тришлера и уселись на красные стулья, блики на козырьках вспыхивали то тут, то там. Я любовалась прекрасными руками молодой хозяйки кафе, подавшей нам жареную рыбу, вино и такой зеленый салат, что глазам было больно, я любовалась руками молодой женщины, которые через двадцать восемь лет обмыли вином истерзанную спину моего сына. Зачем ты накричал на Тришлера, когда он позвонил по телефону, чтобы сообщить о несчастном случае с Робертом? Половодье, половодье, меня всегда тянуло броситься в вышедшую из берегов реку и дать отнести себя к серому горизонту. Иди сюда, пусть с тобой войдет счастье, только не целуй меня, не рви моего кораблика; вот тебе кофе, он сладкий и горячий, такой, какой ты пьешь после обеда, крепкий кофе без молока; вот тебе сигары по шестьдесят пфеннигов за штуку, мне принес их Хупертс; не гляди так, старик, я ведь не слепая, я всего лишь сумасшедшая, и конечно же могу прочесть внизу в вестибюле на календаре сегодняшнее число: «6 сентября 1958 года»; я не слепая, я знаю, что твой облик нельзя приписать искусству парикмахеров; давай играть с тобой вместе, отврати глаза от прошлого, но не рассказывай мне снова о твоём лучезарном белокуром внуке, который унаследовал сердце матери и разум отца. Теперь, когда аббатство восстанавливают, он находится там вместо тебя. Сдал ли он уже экзамен на аттестат зрелости? Он тоже будет изучать архитектуру? А сейчас он проходит практику? Прости, что я смеюсь; я никогда не относи-

лась серьезно к постройкам; все это — прах, уплотненный прах, который превращается в камень; оптический обман, фата-моргана, обреченная на то, чтобы со временем стать развалинами; «победу надо завоевывать, ее нам никто не подарит» — я прочла это в газете сегодня утром, перед тем как меня привезли сюда: «...Все ликовали... люди, преисполненные веры и надежды, прислушивались к словам... восторг и воодушевление охватили всех...»

Хочешь, я прочту тебе вслух — это напечатано в местной газетке?

У тебя не семью семь внуков, а всего дважды один или единожды два; они не будут пользоваться привилегиями, я обещала это Эдит, агнцу, они не будут принимать «причастие буйвола», и мальчик не станет учить в гимназии стихотворение:

Благословен любой удар, что ниспослал нам рок,
Он единенье наших душ нам укрепить помог...

Ты читаешь слишком много центральных газет, которые преподносят тебе «буйвола» под сладким или под кислым соусом, в сухарях и еще бог знает в каком виде, ты прочел слишком много газет для сверхобразованных; если хочешь, чтобы тебя каждый день обливали ушатами помоев, помоев без всяких примесей и подделок, — читай статьи в местных листках, они печатают их с самыми лучшими намерениями, какие себе только можно представить, а вот у твоих центральных газет нет таких намерений, они просто трусливы, зато мои листки все делают с наилучшими намерениями; пожалуйста, не пользуйся привилегиями и не щади себя, смотри, что пишет обо мне моя газетенка в стихотворении «Матери павших...»:

Вас, как святых, народ германский чтит,
Но ваше сердце о сынах скорбит.

Я — святая, и моя душа скорбит, мой сын Отто Фемель пал... Приличия, приличия, честь, верность, а он донес на нас полицию; в один прекрасный день от нашего сына Отто не осталось ничего, кроме оболочки: не щади себя и не пользуйся привилегиями; настоятеля они, разумеется, пощадили, ведь и он принял «причастие буйвола»... приличия, благопристойность, честь; наверху, на холме, с которого открывается вид на очаровательную долину Киссаталь они вместе с монахами, державшими

в руках факелы, отпраздновали наступление новой эры, эры «жертв и страданий»; у людей опять появились пфенниги на булочки и на то, чтобы купить себе кусок мыла; настоятель был поражен тем, что Роберт не захотел участвовать в церемонии; монахи на взмыленных конях во весь опор взлетели на вершину холма, они хотели зажечь там костер; они праздновали солнцеворот; зажечь поленницу разрешили Отто; он сунул горящий факел в кучу хвороста, на холме зазвучали голоса, которые так прекрасно умели петь «*gorate coeli*», но теперь они пели песню, которую, я надеюсь, никогда не запоет мой внук: «*Дрожат дряхлые кости*»; ну как, твои кости еще не дрожат, старик?

Иди сюда, положи голову мне на колени, закури сигару, чашка кофе стоит рядом с тобой, тебе ее легко достать; закрой глаза, хватит, подремли, забудем счет времени, давай повторять без конца, как причитание, «помнишь ли ты?..». Вспомни годы, когда мы жили за городом в Блессенфельде, где каждый вечер казался субботним, где народ угощался жареной рыбой в закусочных, а пирожными и мороженым прямо у тележек продавцов; этим счастливчикам позволялось есть руками, а мне этого никогда не позволяли, пока я жила дома; но ты мне позволил; вокруг визжали шарманки и поскрипывали карусели, мои глаза и уши были открыты, и я проникалась сознанием того, что только непостоянное может быть постоянным; ты вызволил меня из страшного дома, где семья Кильб прожила четыреста лет, тщетно пытаюсь вырваться на волю; до знакомства с тобой я проводила летние вечера в садике на крыше, а они сидели внизу и пили вино; там собиралось то мужское, то дамское общество, но в визгливом женском смехе я слышала то же, что и в громком гоготе мужчин, — отчаяние; их отчаяние становилось явным, когда вино развязывало им языки, когда они преступали табу и аромат летнего вечера высвобождал их из оков ханжества; все они не были ни достаточно богатыми, ни достаточно бедными, чтобы открыть единственно постоянное на земле — непостоянство; я тосковала по нему, хотя и меня воспитали в духе вечных категорий... брак, верность, честь, супружеская спальня, где все совершается по обязанности, а не по склонности; солидность строительных сооружений — все это прах, уплотненный прах, который снова превращается в пыль; в ушах у меня все время звучало, подобно зову бурлящей в половодье реки: «*зачем за-*

чемзачем», я не хотела проникаться их отчаянием, не хотела принять в наследство тот мрак, который они передавали из поколения в поколение; я тосковала по белому невесомому «причастию агнца», и когда пели «*mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa*», я старалась вырвать из своей груди наследие пращуров — тьму и насилие; возвращаясь от мессы, я оставляла в передней молитвенник, отец еще успевал запечатлеть на моем лице приветственный поцелуй, а потом я слышала, как постепенно удалялся его густой бас, пока он шел через двор к своей конторе; мне было пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать лет; по жестким глазам матери я видела, что она поджидает моего совершеннолетия; когда-то ее бросили на съедение волкам, так стоит ли щадить меня? Эти волки уже подрастали — выпивохи в форменных фуражках, красивые и некрасивые; на мне тяготело страшное проклятие: глядя на их руки и глаза, я знала, что станет с ними лет в сорок или в шестьдесят, я видела на их лицах и руках вздувшиеся лиловые вены; от этих людей никогда не пахло субботним вечером... серьезность, мужское достоинство, ответственность; они будут стоять на страже законов, преподавать детям историю, подсчитывать барыши; решив раз и навсегда сохранить политическое благоразумие, все они так же, как и мои братья, осуждены принимать «причастие буйвола»; уже смолоду они не бывают молоды, лишь смерть сулит всем им блеск и величие, окутывая их легендарной дымкой; время было для этих людей только средством приближения к смерти, они приножились ко всякой мертвечине, и им нравилось все, что пахло гнилью, они сами пахли гнилью; тление... я ощущала его в отчем доме и в глазах тех, кому меня предназначали на съедение; господа в форменных фуражках, стражи законов; только две вещи были под запретом — жажда жизни и игра. Ты понимаешь меня, старик? Игра считалась смертным грехом; не спорт — его они терпели, ведь спорт сохраняет живость, придает грацию, красоту, улучшает аппетит, аппетит волков; комнаты с кукольной мебелью — это уже хорошо, они воспитывают женские и материнские инстинкты; танцевать опять-таки хорошо, так полагается, но зато грех танцевать в полном одиночестве в одной рубашке у себя в комнате, это ведь не обязательно; на балах и в темных коридорах господам в форменных фуражках разрешалось тискать меня, они имели также право расточать мне не очень рискованные

ласки в лесных сумерках, когда мы возвращались с пикников; такие вещи были дозволены, ведь мы не ханжи! Я молилась, чтобы явился избавитель и спас меня от смерти в волчьем логове, я молилась и принимала белое причастие, я видела тебя в окне мастерской; если бы ты только знал, как я тебя любила, если бы ты только догадывался, ты не стал бы сейчас так смотреть на меня, не показал бы мне счет времени; лучше расскажи, как выросли за эти годы мои внуки, расскажи, спрашивают ли они обо мне, не забывают ли меня. Нет, я не хочу их видеть, я знаю, они меня любят, знаю также, что была лишь одна возможность спасти меня от убийц — объявить сумасшедшей. Но ведь со мной могло случиться то же, что с матерью Греца, правда? Мне повезло, очень повезло, в мире, где одно движение руки стоит человеку жизни, где, объявив человека сумасшедшим, можно либо погубить его, либо спасти; нет, пока я еще не собираюсь изрыгнуть годы, которые меня заставили проглотить, я не хочу видеть Йозефа двадцатидвухлетним молодым человеком со следами известки на брюках, с пятнами гипса на пиджаке, не хочу видеть, как он, сияя, размахивает линейкой или идет, держа под мышкой скатанные в трубку чертежи, не хочу видеть девятнадцатилетнюю Рут, читающую *«Коварство и любовь»*; закрой глаза, старый Давид, захлопни календарь, вот тебе кофе.

Я в самом деле боюсь, поверь мне, это не ложь, пусть мой кораблик плывет, не топи его, не будь озорным мальчишкой, который все разрушает; сколько в мире зла, и как мало на свете чистых душ; Роберт тоже участвует в игре, он послушно отправляется повсюду, куда я его посылаю: от тысяча девятьсот семнадцатого до тысяча девятьсот сорок второго года — ни шагу дальше; он держится всегда прямо, не гнется, он истый немец; я знаю, что он тосковал по родине, что на чужбине ничто не приносило ему счастья — ни игра в бильярд, ни зубрежка формул. знаю, что он вернулся не только ради Эдит; он истый немец, он читает Гёльдерлина и никогда не принимал *«причастие буйвола»*; Роберт принадлежит к числу избранных, он не агнец, а пастырь. Хотелось бы только знать, что он делал во время войны, но об этом он никогда не рассказывает; он стал архитектором, но не выстроил ни одного дома, на его брюках никогда не было следов известки, он всегда выглядел безукоризненно, всегда был кабинетным ученым, никогда не мечтал

попировать на празднике по случаю окончания стройки. А где же мой другой сын, Отто? Пал под Киевом; наша плоть и кровь; откуда он взялся такой и куда ушел? Правда ли, что он был похож на твоего отца? Неужели ты ни разу не встретил Отто с девушкой? Мне бы так хотелось узнать что-нибудь о нем; я помню, что он с удовольствием пил пиво и не любил огурцов, помню все его жесты, когда он причесывался и когда надевал пальто; он донес на нас полицию, он пошел в армию, не закончив даже гимназии, и писал нам убийственно насмешливые открытки: «Мне живется хорошо, чего и вам желаю; пришлите три тысячи».

Даже в отпуск он и то не приезжал домой. Где он проводил свои отпуска? Какой сыщик сумел бы нам рассказать об этом? Я знаю номера его полков и номера полевых почт, знаю его воинские звания; он был оберлейтенантом, майором и подполковником; подполковник Фемель; последний удар был, как всегда, нанесен нам с помощью цифр: «пал 12/1.1942». Я собственными глазами видела, как он сбивал с ног прохожих за то, что они не отдавали честь нацистскому знамени, видела, как он поднимал руку и бил их, он и меня ударил бы, если бы я не поспешила свернуть в переулок. Как он попал в наш дом? Я не могу придумать никакого глупого утешения, не могу даже внушить себе, что Отто подменили при рождении — он родился дома, в нашей спальне наверху, через две недели после смерти Генриха, он родился в темный октябрьский день тысяча девятьсот семнадцатого года и был похож на твоего отца.

Тише, старик, ничего не говори, не открывай глаза, не показывай, что тебе уже восемьдесят лет. «Memento quia pulvis es et in pulverem reverteris»¹. Нам сказано это достаточно ясно, все прах — и известковая пыль, и кладные, и дома, и поместья, и усадьбы, и памятник в тихом пригороде, где дети, играя, будут спрашивать: «Кто же он такой?»

Когда я была молодой матерью, цветущей и жизнерадостной, и гуляла в Блессенфельдском парке, я уже понимала, что ворчливые пенсионеры, которые бранят шумных ребятишек, бранят тех, кто когда-нибудь тоже станет ворчливым пенсионером, ругающим шумных ребятишек, которые в свою очередь тоже превратятся в угрюмых пенсионеров; я вела за руки двоих мальчиков,

¹ Прах ты и в прах возвратишься (лат.).

младшему было четыре года, старшему — шесть, потом младшему исполнилось шесть, а старшему — восемь, еще позже младшему стало восемь, а старшему — десять; я помню железные таблички с аккуратно выведенными черными цифрами на белой эмали: «25», «50», «75», «100»; такие же таблички висели на трамвайных остановках; по вечерам ты клал голову мне на колени, чашка кофе всегда была у тебя под рукой, мы тщетно ждали счастья, мы не были счастливы ни в купе вагонов, ни в отелях; чужой человек ходил по нашему дому, носил наше имя, пил наше молоко, ел наш хлеб, покупал за наши деньги сперва какао в детской группе, а потом школьные тетради.

Отнеси меня снова на берег реки, чтобы мои босые ноги коснулись мусора, выброшенного рекою в половодье, отнеси меня к реке, где гудят пароходы и пахнет дымом, отведи меня в кафе, где на стол подает женщина с прекрасными руками; тише, старик, не плачь; я жила во внутренней эмиграции; у тебя есть сын, двое внуков, быть может, они скоро подарят тебе правнуков; не в моей власти вернуться к тебе и каждый день делать себе новый кораблик из листка календаря, чтобы весело плавать на нем до полуночи; сегодня шестое сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, настало будущее — немецкое будущее, я сама читала о нем в местной газетке:

«Один из эпизодов немецкого будущего: 1958 год; двадцатилетний унтер-офицер Моргнер стал тридцатипятилетним крестьянином Моргнером, он поселился на берегу Волги; его рабочий день кончился, Моргнер наслаждается заслуженным отдыхом, покуривая свою трубочку, на руках у него один из его белокурых малышей; Моргнер задумчиво смотрит на свою жену, которая как раз в этот момент доит последнюю корову... Немецкое молоко на берегу Волги...»

Ты не желаешь слушать дальше? Ладно, но с меня хватит будущего; не хочу знать, каким оно становится, превращаясь в настоящее, разве немцы не живут на берегу Волги? Не плачь, старик, внеси за меня выкуп, и я вернусь к тебе из заколдованного замка, *хочу ружье, хочу ружье.*

Будь осторожен, когда начнешь взбираться вверх по стремянке, вынь изо рта сигару, тебе уже не тридцать лет, и у тебя может закружиться голова; ведь сегодня вечером ты устраиваешь в кафе «Кронер» семейное

торжество. Может быть, я приду поздравить тебя с днем рождения, прости, что я смеюсь; Иоганне исполнилось бы сорок восемь, Генриху сорок семь; они унесли в могилу свое будущее; не плачь, старый, ты сам все это затеял, будь осторожен, когда начнешь карабкаться по стремянке.

6

Черно-желтый автобус остановился у въезда в деревню, а потом свернул с шоссе, направляясь к Додрингену; в облаке пыли, которое поднял автобус, Роберт увидел отца; казалось, старик вынырнул из густого тумана; его тело все еще было гибким, да и полдневный зной почти не отразился на нем; старик повернул на главную улицу, прошел мимо «Лебеда»; деревенские парни на крыльце трактира провожали его скучающими взглядами; среди них были пятнадцатилетние и шестнадцатилетние подростки, возможно, те самые, что подкарауливали Гуго в глухих закоулках и темных сараях, когда он шел из школы, те самые, что избивали его, называя *агнцем божьим*.

Старик миновал канцелярию бургомистра и подошел к военному обелиску; усталый самшит, выросший на кислой деревенской почве, простирал свои ветви над обелиском в честь погибших в трех войнах; старик остановился у кладбищенской стены, вытащил носовой платок, одернул пиджак и пошел дальше; при каждом шаге старого Фемеля его правая штанина описывала затейливую кривую, на секунду Роберту становилась видна темно-синяя подшивка брюк, а потом нога старика снова опускалась на землю и снова поднималась, чтобы вновь описать кокетливую кривую; Роберт посмотрел на вокзальные часы — было без двенадцати четыре, а поезд прибудет только в двадцать минут пятого, до него больше получаса; насколько Роберт помнил, они с отцом никогда не оставались так долго вдвоем; он надеялся, что старик задержится в лечебнице подольше, и ему не придется вести с ним сыновнюю беседу. Зал ожидания на вокзале в Денклингене был самым неподходящим местом для встречи, о которой отец мечтал, возможно, уже лет двадцать, а то и тридцать, мечтал о встрече с взрослым сыном, давно вышедшим из детского возраста, сыном, которого уже не возьмешь за ручку, не

повезешь на морские купанья и не пригласишь в кафе съесть кусок торта или мороженое. Поцелуй на сон грядущий, поцелуй по утрам, вопрос «приготовил ли ты уроки?» и несколько сентенций, вроде «честному мужу честен и поклон» или «у Бога милости много»; отец давал сыну деньги и по-ребячески гордился его спортивными грамотами и хорошими гимназическими табелями; немного смущенные, они разговаривали об архитектуре, ездили за город в аббатство Святого Антония; отец ни слова не сказал в день его бегства и в день возвращения; их трапезы в присутствии Отто проходили в гнетущем молчании, даже о погоде и то невысказанно было говорить; они резали мясо серебряными ножами, брали подливку серебряными ложками, мать цепенела, как кролик перед удавом, старик смотрел в окно, крошил хлеб, машинально подносил ложку ко рту, у Эдит дрожали руки, а Отто с презрительной миной накладывал себе самые большие куски мяса, он единственный за столом отдавал должное каждому блюду; тот самый Отто — отцовский любимец, который так радовался в детстве семейным прогулкам и увеселительным поездкам и был таким милым озорником, веселым мальчиком с безоблачным будущим, мальчиком, созданным для того, чтобы составить счастье отца, дать ему ощутить полноту жизни; время от времени Отто весело говорил: «Вы можете выгнать меня», но никто ему не отвечал. После этих трапез Роберт шел с отцом в его мастерскую — просторное помещение, где по-прежнему стояли пять чертежных столов для помощников, которых уже не было; в мастерской Роберт чертил и проделывал разные манипуляции с формулами, пока старый Фемель медленно надевал рабочий халат и рылся в кипе чертежей, время от времени подходя к большому чертежу Святого Антония; потом он отправлялся гулять, пил кофе, навещал старых коллег, старых врагов; в тех домах, где Фемель вот уже сорок лет был желанным гостем: в одних из-за старшего сына, в других из-за младшего, — вновь, казалось, наступил ледниковый период, и все же он никогда не терял жизнерадостности, этот старик, которому на роду было написано жить весело, пить вино и кофе, путешествовать и рассматривать каждую хорошенькую девушку, встреченную на улице или в поезде, как возможную невестку; нередко он часами прогуливался с Эдит, которая толкала перед собой детскую колясочку; у старика было в то время мало работы, он почитал за счастье, если ему поручали

небольшие перестройки в больницах, когда-то им же созданных, он чертил проекты и наблюдал за ходом работ; если же представлялся случай отремонтировать какую-нибудь стену в аббатстве, он ездил в Киссаталь; старый Фемель считал, что Роберт на него сердит, Роберт полагал, что старик сердится на него.

Теперь Роберт стал уже совсем зрелым человеком, отцом взрослых детей; он перенес тяжелый удар — смерть жены, побывал в эмиграции, опять вернулся на родину, был на войне, пережил и предательство и истязания, стал вполне самостоятельным, нашел свое место в жизни: «Доктор Роберт Фемель. Контора по статическим расчетам. После обеда закрыто»; наконец-то они могли беседовать, как равный с равным.

— Вам еще кружку пива? — спросил хозяин, стирая пивную пену с никелированной стойки; потом он вынул из витрины с холодильной установкой две тарелки — биточки с горчицей — и подал их парочке, сидевшей в углу; парочка, разгоряченная прогулкой на свежем воздухе, пребывала в блаженной истоме.

— Да, — сказал Роберт, — еще кружку, пожалуйста. — Он раздвинул занавеску и увидел, что отец свернул направо, миновал ворота кладбища, перешел через улицу и остановился у палисадника перед домом начальника станции, чтобы полюбоваться лиловыми, только что распустившимися астрами; он, видимо, медлил.

— Нет, — сказал Роберт хозяину за стойкой, — мне, пожалуйста, две кружки пива и десяток сигарет «Виргиния».

Там, где сейчас ворковала парочка, сидел тогда американский офицер; из-за светлых, коротко остриженных волос он казался еще моложе, чем был на самом деле; его голубые глаза излучали веру, веру в будущее, в котором все станет ясным; мысленно он разбил будущее на одинаковые квадраты, как карту, оставалось только выяснить масштаб этой карты — один к одному или же один к трем миллионам. На столе рядом с тонким карандашом, которым время от времени постукивал офицер, лежала топографическая карта округа Кисслинген.

За прошедшие тридцать лет стол не претерпел никаких изменений; на правой ножке, в которую теперь пытались упереться пыльные сандалии молодого человека, все еще виднелись инициалы, вырезанные от скуки

кем-то из учащихся шоферских курсов,— Й. Д., наверное, парня звали Йозеф Додрингер; даже скатерть была такой же — в красную и белую клетку; эти стулья пережили две мировые войны, буквое дерево, соответствующим образом обработанное, превратилось в прочное сиденье; вот уже семьдесят лет, как на этих стульях покоились зады крестьян, ожидающих поезда; только витрина с холодильной установкой была недавнего происхождения, в ней лежали полузасохшие биточки, холодные котлеты и крутые яйца, предназначенные для проголодавшихся или же скучающих пассажиров.

— Пожалуйста, сударь, две кружки пива и десяток сигарет.

— Большое спасибо.

На стене висели те же картины, что и прежде; на одной было изображено аббатство Святого Антония, вид сверху, сфотографированное еще с помощью старой доброй фотопластинки и черного покрывала; очевидно, аббатство снимали с Козакенхюгеля: на фотографии были видны крытая галерея, трапезная, огромная церковь, хозяйственные постройки; рядом с аббатством висела выцветшая олеография с изображением любовной парочки, отдыхающей в поле на меже: колосья, васильки, изжелта-коричневая глинистая дорога, пересохшая от зноя; шаловливая деревенская красotka щекочет соломинкой за ухом своего ухажера, голова которого покоится у нее на коленях.

«Поймите меня правильно, господин капитан, мы бы очень хотели знать, почему вы это сделали, ясно? Разумеется, нам известен приказ о выжженной земле... не оставлять врагу ничего, кроме развалин и трупов... не правда ли? Но я не думаю, что вы сделали это в порядке выполнения приказа, простите, но вы слишком интеллигентны для этого. Почему же, почему вы взорвали аббатство? Оно было в своем роде культурно-историческим памятником первостепенного значения; сейчас военные действия в этом районе прекращены, и вы находитесь у нас в плену, так что вам навряд ли удастся рассказать своим о наших колебаниях, поэтому я могу признаться, что наш командующий скорее пошел бы на двух- или трехдневную проволочку, на замедление темпа наступления, чем согласился бы хоть пальцем тронуть аббатство. Почему же вы в таком случае взорвали его? Ведь и в тактическом и в стратегическом отношении это было явно бессмыслицей. Вы не только не

помешали нашему наступлению, напротив, вы ему содействовали. Хотите закурить?»

Сигарета «Виргиния» была приятной на вкус — ароматной и крепкой.

«Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Пожалуй-ста, скажите хоть слово, я вижу, мы почти однолетки, вам двадцать девять, мне двадцать семь. Я хотел бы вас понять. А может, вы не желаете говорить, потому что боитесь последствий — с нашей стороны или со стороны своих соотечественников?»

Нет, просто если бы Роберт попытался облечь свои мысли в слова, они перестали бы соответствовать истине, а если бы эти слова занесли в протоколы, они и вовсе потеряли бы всякое сходство с правдой. Как мог он сказать, что ждал этого момента пять с половиной лет войны, ждал, когда аббатство, словно по мановению волшебного жезла, станет его добычей; он хотел воздвигнуть памятник из праха и развалин тем, кто не представлял собой «культурно-исторической ценности», тем, кого никто не щадил: Эдит, убитой осколком во время бомбежки; Ферди, которому за покушение был вынесен «законный» приговор; мальчику, бросавшему крошечные записочки в почтовый ящик; бесследно исчезнувшему отцу Шреллы; самому Шрелле, обреченному жить вдали от страны Гельдерлина; Гролю — кельнеру из «Якоря», и тысячам юношей, которые умерли с песней *«Дрожат дряхлые кости»*; за них ни у кого не потребовали отчета, ни у кого из тех людей, кто не научил этих юношей ничему лучшему; в распоряжении Роберта были динамит и несколько формул, с их помощью он воздвигал свои «памятники»; у него под началом была команда подрывников, славившаяся своей исполнительностью: Шрит, Хохбрет, Кандерс.

«Нам доподлинно известно, что вы не могли принимать всерьез своего начальника Отто Кёстерса; наши армейские психиатры единодушно признали его сумасшедшим... а вы даже не представляете, как трудно добиться единодушия среди наших армейских психиатров, — так вот, они признали генерала Кёстерса сумасшедшим, человеком, который не несет ответственности за свои поступки, таким образом, господин капитан, вся ответственность за взрыв падает на вас, ведь вы, бесспорно, не сумасшедший и... должен признаться, вы сильно скомпрометированы показаниями ваших же коллег. Я не намерен спрашивать о ваших политических

взглядах, я привык к торжественным заверениям в полной невиновности, честно говоря, они уже успели мне приесться; как-то я сказал своим товарищам: в этой чудесной стране найдется не больше пяти, шести, на худой конец девяти виновных, и нам невольно придется спросить себя: против кого же, собственно говоря, велась эта война, неужели против одних только рассудительных, симпатичных, интеллигентных, я бы сказал даже сверхинтеллигентных, людей... так, пожалуйста, ответьте на мой вопрос! Зачем, зачем вы это сделали?»

Там, где сидел когда-то американский офицер, молодая девушка ела биточки и, хихикая, прихлебывала пиво маленькими глотками; на горизонте виднелась темно-серая стройная башня Святого Северина; она уцелела.

Возможно, Роберт должен был сказать, что уважение к культурно-историческим памятникам кажется ему таким же умилительным, как и та ошибка, в которую впали американцы и англичане, считавшие, что они встретят одних лишь извергов, а не симпатичных и рассудительных людей. Он воздвиг памятник Эдит и Ферди, Шрелле и его отцу, Гролю и мальчику, который бросал в почтовый ящик его записки, памятник поляку Антону, поднявшему руку на Вакеру и убитому за это, памятник тысячам юношей, которые пели *«Дрожат дряхлые кости»*, потому что их не научили ничему лучшему, памятник овцам, которых никто не пас.

Если его дочь Рут намерена поспеть на поезд, она пробегает сейчас мимо портала Святого Северина, направляясь к вокзалу; на темных волосах Рут — зеленая шапочка, она в розовом джемпере, разгоряченная и счастливая; ведь ей предстоит встреча с отцом, братом и дедушкой, поездка в аббатство Святого Антония, где они выпьют кофе перед большим семейным торжеством, назначенным на вечер.

Старик стоял в тени у здания вокзала и изучал расписание поездов; его худое лицо раскраснелось; отец был неизменно любезен, щедр и приветлив, вот уж кто никогда не принимал *«причастия буйвола»* и на старости лет не озлобился. Знал ли старик правду об аббатстве? Или еще узнает? А Йозеф, его сын, — сможет ли он ему

это объяснить? И все-таки молчать лучше, чем высказывать мысли и чувства, которые занесут в протоколы и покажут психиатрам.

Роберт так и не сумел ничего объяснить любезному молодому человеку, который смотрел на него, качая головой; потом американец подвинул к нему распечатанную пачку сигарет; он взял ее со стола, сказав «спасибо», сунул в карман, а сам снял с груди Железный крест, положил на стол и подвинул к молодому человеку; скатерть в красную и белую клетку слегка смялась на этом месте, но он ее опять разгладил; молодой человек покраснел.

— Да нет, — сказал Роберт, — простите, если это вышло неловко; я не хотел вас обидеть, просто у меня вдруг возникло желание подарить вам на память Железный крест, на память о человеке, который взорвал аббатство Святого Антония и получил за это орден, взорвал, хотя знал, что его начальник сумасшедший и что взрыв и в тактическом и в стратегическом отношении совершенно бессмыслен. Я с удовольствием возьму сигареты, но, прошу вас, считайте, что мы просто обменялись подарками, ведь мы ровесники.

Быть может, он взорвал аббатство потому, что на празднике солнцеворота десять монахов взобрались на Козакенхюгель и, когда костер разгорелся, затаили песню *«Дрожат дряхлые кости»*, огонь развел Отто, а он с маленьким сыном на руках стоял тут же; его мальчик, белокурый Йозеф, захлопал в ладоши от радости, любуясь ярким пламенем; рядом с ним стояла Эдит, сжимая его правую руку; быть может, он взорвал аббатство также и потому, что Отто никогда не был ему чужим в этом мире, где одно движение руки стоит человеку жизни; вокруг костра, зажженного в честь солнцеворота, толпилась деревенская молодежь из Додрингена, Шаклингена, Кисслингена и Денклингена; костер бросал диковинные отсветы на разгоряченные лица парней и девушек; Отто выпала честь зажечь этот костер, и все вокруг запели то же, что запел почтенный монах, вонзивший шпоры в бока своей почтенной крестьянской лошади: *«Дрожат дряхлые кости»*. Молодежь с факелами в руках, горланя песню, спустилась с холма; возможно, он должен был сказать американскому офицеру, что взорвал аббатство потому, что монахи не следовали заповеди *«наси овец Моих»*, и еще объяснить

ему, что он не чувствует ни малейшего раскаяния; но вслух он произнес только:

— Быть может, это была всего лишь шутка, игра.

— Удивительные шутки, удивительные игры. Ведь вы — архитектор?

— Нет, я занимаюсь статикой.

— Пусть так, особой разницы я не вижу.

— Взрыв, — сказал Роберт, — нечто противоположное статике. Так сказать, ее обратная величина.

— Извините, — прервал его молодой человек, — я всегда был слаб в точных науках.

— А мне они всегда доставляли величайшее удовольствие.

— Ваше дело начинает интересовать меня уже не по служебной линии. Как понимать ваши слова о любви к точным наукам, значит ли это, что взрыв представлял для вас интерес как для специалиста?

— Весьма возможно. Разумеется, архитектору неинтересно знать, какие силы требуются для того, чтобы парализовать действие статических законов. Согласитесь, взрыв был первоклассный.

— Неужели вы всерьез утверждаете, что здесь сыграл свою роль, так сказать, чисто абстрактный интерес к взрывам?

— Да.

— По-моему, я все же не вправе пренебречь обычным допросом; обращаю ваше внимание на то, что ложные показания давать бесполезно; в нашем распоряжении вся необходимая документация, мы всегда можем проверить ваши слова.

Только в эту секунду Роберт вспомнил, что аббатство тридцать пять лет назад построил его отец; когда-то ему так часто повторяли эту истину, так упорно ее вдалбливали, что он вообще перестал ее воспринимать. Но сейчас Роберту стало страшно, как бы молодой человек не докопался до нее и не подумал, что он нашел правильное объяснение взрыву — «отцовский комплекс». Наверное, лучше всего было бы сказать молодому человеку: я взорвал потому, что они «не пасли овец Его». Тем самым у офицера появилось бы веское основание считать Роберта сумасшедшим. Пока молодой человек задавал ему вопросы, на которые он, не задумываясь, отвечал «нет», Роберт продолжал смотреть в окно на стройную башню Святого Северина, как на ускользнувшую от него добычу.

Девушка отодвинула от себя грязную тарелку и взяла тарелку кавалера; в ту минуту, когда она левой рукой ставила его тарелку на свою, она держала обе вилки в правой руке, а потом положила их на верхнюю тарелку, после чего пожала освободившейся правой рукой локоть юноши и, улыбнувшись, посмотрела ему в глаза.

— Значит, вы не состояли ни в какой организации? Любите Гёльдерлина? Хорошо. Завтра я, может быть, вызову вас опять.

«И, сострадая, сердце Всевышнего твердым останется».

Когда отец появился в зале, Роберт покраснел, он тут же подошел к старику, взял у него из рук тяжелую шляпу и сказал:

— Я забыл поздравить тебя с днем рождения, отец. Извини. Я заказал для тебя пиво, надеюсь, оно еще не очень нагрелось.

— Спасибо,— сказал отец,— Спасибо за поздравление; насчет пива не беспокойся, я вовсе не такой уж любитель холодного пива.

Отец положил руку ему на плечо, и Роберт снова покраснел, вспомнив о том интимном жесте, которым они обменялись в аллее у лечебницы; когда они услаивались о встрече на вокзале в Денклингене, он вдруг ощутил потребность положить руку на плечо отца, и отец сделал то же самое.

— Иди сюда,— сказал Роберт,— сядем за столик, до поезда еще двадцать пять минут.

Они подняли кружки, кивнули друг другу и выпили.

— Хочешь сигару, отец?

— Нет, спасибо. А знаешь ли ты, между прочим, что за последние пятьдесят лет расписание поездов почти не изменилось? Даже таблички, где обозначены часы и минуты, остались прежние, только эмаль на некоторых чуточку облупилась.

— Здесь все как прежде: стулья, столы, картины,— сказал Роберт,— все как в те погожие летние вечера, когда мы пешком приходили сюда из Кисслингена и ждали здесь поезда.

— Да,— ответил отец,— здесь ничего не изменилось. Ты звонил Рут, она приедет? Я ее так давно не видел.

— Конечно, приедет, надо полагать, она уже сидит в вагоне.

— В Кисслингене мы будем в половине пятого или немного позже; как раз успеем выпить кофе и не спеша вернуться домой к семи. Вы ведь приедете на мой день рождения?

— Ну разумеется, отец, как ты можешь сомневаться?

— Да нет, я просто подумал, не отменить ли праздник, не отказаться ли от него... хотя, может быть, этого не стоит делать из-за детей, и вообще я ведь так долго готовился к этому дню.

Старик опустил глаза на скатерть в красную и белую клетку, на которой он описывал круги своей пивной кружкой; Роберта поразила гладкая кожа на руках отца; у старика были руки невинного младенца. Отец поднял глаза и посмотрел Роберту в лицо.

— Я думал о Рут и о Йозефе; ты ведь знаешь, что у Йозефа есть девушка?

— Нет, не знаю.

Старик опять опустил глаза и снова начал водить по скатерти кружкой.

— Когда-то я надеялся, что обе мои здешние усадьбы станут для вас чем-то вроде отчего дома, но все вы предпочитали жить в городе, даже Эдит... только Йозеф, кажется, воплотит мою мечту в жизнь. Странно, почему все считают, что он похож на Эдит и ровно ничего не унаследовал от нашей семьи. Мальчик так похож на Генриха, что иногда я просто пугаюсь; вылитый Генрих, таким бы он стал с годами... Ты помнишь Генриха?

Нашу собаку звали Бром, и мне дали подержать вожжи, они были черные, кожаные, и кожа потрескалась по краям; хочу ружье, хочу ружье; Гинденбург.

— Да, помню.

— После смерти Генриха усадьба, которую я ему подарил, снова вернулась ко мне, кому мне подарить ее теперь? Йозефу или Рут? А может, тебе? Ты хотел бы ее получить? Ты хотел бы иметь коров и пастбища, центрифуги и корморезки, тракторы и сеноворошилки? Или, может, лучше передать все это добро монастырю? Обе усадьбы я купил на свой первый гонорар; когда я строил аббатство, мне было всего двадцать девять лет, ты даже не можешь себе представить, что значило для молодого архитектора получить такой заказ. Скандал! Сенсация! Но я езжу туда так часто не только чтобы представить себе будущее, которое уже давным-давно стало про-

шлым. Когда-то я мечтал сделаться на старости лет чем-то вроде крестьянина. Но из этого ничего не вышло, я просто старый дурак, который играет в жмурки с собственной женой; мы попеременно закрываем глаза и мысленно меняем дату, как меняют пластинки в проекционных фонарях, с помощью которых на стене показывают разные картины; вот, пожалуйста, тысяча девятьсот двадцать восьмой год — мать держит за руку двух красивых сыновей, одному из них тринадцать, другому одиннадцать, рядом стоит отец с сигарой во рту, он улыбается; на заднем плане виднеется не то Эйфелева башня, не то замок Святого Ангела, не то Бранденбургские ворота; выбери себе сам декорацию по вкусу; быть может, это берег моря в Остенде, или башня Святого Северина, или же киоск, где продается лимонад, в Блессенфельдском парке. Да нет же, разумеется, на заднем плане — аббатство Святого Антония; в нашем фотоальбоме оно запечатлено во все времена года, меняется только одежда людей в соответствии с модой: на матери шляпа то с большими полями, то с маленькими; сама она то стриженная, то с высокой прической, иногда на ней узкая юбка, иногда широкая; есть карточка, где младшему из вас три, а старшему пять, на другой — младшему пять, а старшему семь; потом в альбоме появляется незнакомка: светловолосая молодая женщина с ребенком на руках, второй ребенок стоит рядом с ней, одному ребенку годик, другому три года; знаешь ли ты, что я любил Эдит, как навряд ли полюбил бы родную дочь; я никак не мог себе представить, что у нее были отец, мать и брат. Она казалась мне вестницей Бога; пока Эдит жила у нас в доме, я мог опять произносить Его имя вслух и молиться без краски стыда; какую весть она принесла оттуда, что сказала тебе, как учила мстить за агнцев? Надеюсь, ты точно выполнил веление божье, не посчитался ни с одним из тех ложных аргументов, с коими всегда считался я, надеюсь, ты не стал цепляться за чувство собственного превосходства, сохраняя его на льду иронии, как это делал я? У Эдит на самом деле был брат? Этот брат и сейчас жив? Он действительно существует?

Старик водил кружкой по скатерти, уставившись на красные и белые клетки; не поднимая головы, он спросил:

— Скажи, ее брат действительно существует? Ведь он был твоим другом, я как-то видел его, я стоял у окна в спальне — он шел по двору к тебе; с тех пор я не могу

его забыть, я часто думаю о нем, хотя видел его всего несколько секунд; я испугался, словно он был грозным ангелом. Он действительно существует?

— Да.

— Он жив?

— Да. Ты его боишься?

— Да. И тебя тоже. Неужели ты этого не знал? Я не спрашиваю, какую весть тебе принесла Эдит, скажи только — ты исполнил ее наказ?

— Да.

— Хорошо. Ты удивлен тем, что я боялся тебя и еще до сих пор немножко побаиваюсь. Ваши детские разговоры смешили меня, но я перестал смеяться, когда узнал, что они убили того мальчика; он мог быть братом Эдит; только потом я понял, что его казнь была с их стороны чуть ли не гуманным поступком, ведь Ферди все-таки бросил бомбу, по его вине учитель гимнастики получил ожоги; ну а что сделал мальчик, который опускал в наш почтовый ящик твои записки, или поляк, осмелившийся всего лишь поднять руку на того же учителя гимнастики... достаточно было не вовремя моргнуть, достаточно было иметь волосы не того цвета, как надо, или нос не той формы, как надо... впрочем, и этого не требовалось — им вполне хватало метрического свидетельства отца или метрики бабушки; долгие годы мне помогал смех, но потом все кончилось, он перестал действовать; лед растаял, Роберт, моя ирония скисла, и я выбросил ее, как выбрасывают старый хлам, казавшийся в давние времена очень ценным; я всегда считал, что люблю и понимаю твою мать... но только в то время я ее по-настоящему понял и полюбил; только в то время я понял и полюбил вас, хотя осознал это позднее; когда война кончилась, я оказался в чести, меня назначили уполномоченным по строительству всего округа; наконец-то настал мир, думал я, все миновало, началась новая жизнь... но как-то в один прекрасный день английский комендант решил принести мне, так сказать, свои извинения, он извинялся за то, что англичане разбомбили Гонориускирхе и уничтожили скульптурную группу «Распятие», созданную в двенадцатом веке, комендант извинялся не за Эдит, а за скульптурную группу двенадцатого века, «Sorry»¹, — говорил он; впервые за десять лет я снова рассмеялся, но это был недобрый смех,

¹ Сожалею (англ.).

Роберт... я отказался от своего поста. Уполномоченный по строительству! К чему это? Ведь я охотно пожертвовал бы всеми скульптурными группами всех веков, чтобы еще хоть раз увидеть улыбку Эдит, ощутить пожатие ее руки; что значит для меня изображение Господа в сравнении с подлинной улыбкой Его вестницы? Я бы пожертвовал Святым Северином ради мальчика, который доставлял нам твои записки, а ведь я его никогда не видел и так и не узнал его имени, я отдал бы за него Святой Северин, хотя понимаю, что это смехотворная цена, так же как медаль — смехотворная цена за спасение человеческой жизни. Встречал ли ты у кого-нибудь еще улыбку Эдит, улыбку Ферди или улыбку подмастерья столяра? Пусть бы слабый отблеск их улыбки! Ах, Роберт, Роберт!

Старик поставил пивную кружку и облокотился на стол.

— Видел ли ты когда-нибудь потом такую улыбку? — пробормотал он, закрывая лицо руками.

— Да, видел, — сказал Роберт, — так улыбается бой в отеле, его зовут Гуго... Как-нибудь я тебе его покажу.

— Я подарю этому мальчику усадьбу, которую не взял Генрих; напиши его имя и адрес на подставке для пива; на этих картонных кружочках пишутся самые важные вещи; сообщи мне также, если ты что-нибудь услышишь о брате Эдит. Он жив?

— Жив. Ты все еще боишься Шреллы?

— Да. Страшнее всего то, что в нем нет ничего, вызывающего жалость; глядя, как он шел по двору, я сразу понял, что это сильный человек и что его поступки определяются отнюдь не теми причинами, которые так важны для всех остальных людей; какая разница, беден он или богат, уродлив или красив, колотила ли его мать в детстве или *не* колотила. Других людей все эти причины толкают в ту или иную сторону, они начинают либо строить церкви, либо, скажем, убивать женщин, становятся либо хорошими учителями, либо плохими органистами. Но поступки Шреллы, я это сразу понял, нельзя было объяснить ни одной из этих причин; в те времена я еще не научился смеяться, но в нем я не нашел ничего, ни единого пунктика, который мог бы вызвать смех; и мне стало страшно, казалось, по двору прошел грозный ангел, посланец Бога, который хочет взять тебя в залог; он так и сделал — взял тебя заложником; в Шрелле не было ничего, вызывающего

жалость; даже после того как я узнал, что его избивали и хотели уничтожить, он не пробудил во мне жалости.

— Господин советник, я только сейчас узнал вас; рад, что вы в добром здравии; много воды утекло с тех пор, как вы приходили сюда в последний раз.

— Муль, это вы? Ваша матушка еще жива?

— Нет, господин советник, она ушла от нас. Похороны были грандиозные. Мать прожила хорошую жизнь, у нее было семеро детей, тридцать шесть внуков и одиннадцать правнуков, она хорошо прожила свою жизнь. Окажите мне честь, господа, выпейте в память моей покойной матери.

— С удовольствием, милый Муль, она была превосходная женщина.

Хозяин подошел к стойке и наполнил кружки, старик встал, вслед за ним поднялся и Роберт; на вокзальных часах было всего десять минут пятого; у стойки стояли двое крестьян, они со скучающим видом запихивали себе в рот биточки, обмазанные горчицей, и, удовлетворенно побрякивая, пили пиво; хозяин вернулся к столику, его лицо покраснело, а глаза увлажнились; составив пивные кружки с подноса на стол, он сам взял одну из них.

— В память вашей матушки, Муль,— сказал старый Фемель. Они подняли кружки, кивнули друг другу и, осушив их, поставили обратно.

— А знаете ли вы,— спросил старик,— что пятьдесят лет назад ваша мать предоставила мне кредит; я явился сюда из Кисслингена, умирая от жажды и голода; железнодорожный путь ремонтировали, но в то время мне еще ничего не стоило отмахать четыре километра пешком; за ваше здоровье, Муль, и за вашу матушку. Это — мой сын, вы с ним не знакомы?

— Фемель... очень приятно...

— Муль... очень приятно...

— Вас здесь знает каждый ребенок, господин советник, все знают, что вы построили аббатство, а старушки еще помнят немало занятных историй про вас, они могут рассказать, как вы заказывали для каменщиков пиво целыми вагонами, как плясали на празднике по случаю окончания строительства. Пью за ваше здоровье, господин советник!

Они выпили стоя. Хозяин направился обратно к стойке, мимоходом собрал грязные тарелки со столика, где

сидела парочка, и задвинул их в окошко на кухню; молодой человек начал с ним рассчитываться, Роберт все еще стоял с пустой кружкой в руках и пристально смотрел на Муля. Отец потянул его за пиджак.

— Садись,—сказал старик,—садись, в нашем распоряжении целых десять минут. Мули—прекрасная семья, хорошие люди.

— Ты не боишься их, отец?

Старик без тени улыбки посмотрел в глаза сыну; на его худом лице все еще не было морщин.

— Эти люди,—сказал Роберт,—мучили Гуго, может быть, один из них был палачом Ферди.

— Пока тебя здесь не было и мы ждали от тебя весточки, я боялся всех и каждого... но бояться Муля? Теперь? Ты его боишься?

— При виде нового человека я всегда спрашиваю себя, хотел бы я оказаться в его власти, и знаешь, на свете совсем немного людей, про которых я мог бы сказать: «Да, хотел бы».

— Ты был во власти брата Эдит?

— Нет. Просто мы жили с ним вместе в Голландии, в одной комнате, и делили все, что у нас было. Полдня мы играли в бильярд, другую половину учились, он—немецкому языку, я—математике; я не был в его власти, но в любое время согласился бы оказаться... И в твоей власти тоже.—Роберт вынул изо рта сигарету.—Я бы с удовольствием подарил тебе что-нибудь в день твоего восьмидесятилетия... я хотел бы тебе сказать... может, ты и сам догадываешься, что именно я хотел бы тебе сказать?

— Догадываюсь.—Старик положил руку на руку сына.—Можешь не говорить.

Ради тебя я с удовольствием пролил бы несколько слезинок—слез раскаяния, но не могу заставить себя плакать; башня Святого Северина все еще кажется мне добычей, которая от меня ускользнула; жаль, что аббатство было детищем твоей юности, твоей большой судьбой, твоим счастливым жребием; ты его хорошо построил, это было прочное сооружение из камня, с точки зрения статики просто великолепное; мне пришлось затребовать два грузовика взрывчатки; я обошел все аббатство и повсюду начертил мелом свои формулы и цифры: на стенах, на колоннах, на опорах свода; я начертил их на большой картине Тайной Вечери между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра; ведь я знал аббатство как

свои пять пальцев; ты мне часто рассказывал о нем и в ту пору, когда я был совсем ребенком, и в ту пору, когда подрос, и после, когда я стал юношей; я чертил на стенах формулы, а рядом со мной семенял настоятель, единственный не покинувший аббатства, он взывал к моему разуму и к моей набожности; на счастье, это был новый настоятель, для которого я был чужой. Тщетно апеллировал священник к моей совести. Хорошо, что он не знал, как я приезжал по субботам к ним в гости, ел форель и мед, не знал, что я был сыном их архитектора и уплетал когда-то деревенский хлеб с маслом; он смотрел на меня, как на безумного, но я прошептал ему: *«Дрожат дряхлые кости»*; мне тогда было двадцать девять лет, как раз столько же, сколько было тебе во время строительства аббатства, втайне я уже поджидал новую добычу, ту, что вырисовывалась вдаль на горизонте, — серую и стройную башню Святого Северина, но я попал в плен, и именно здесь, на вокзале в Денклингене, за тем столиком, где сейчас никого нет, меня допрашивал молодой офицер.

— О чем ты думаешь? — спросил старик.

— Об аббатстве Святого Антония, я там так давно не был.

— Ты рад, что едешь туда?

— Я рад, что встречу с Йозефом, мы очень давно не виделись.

— Сказать по чести, я им горжусь, — начал старик, — он так непринужденно и непосредственно держит себя; когда-нибудь он станет дельным архитектором, правда, он, пожалуй, чересчур строг с рабочими и слишком нетерпелив, но разве можно ожидать терпения от двадцатидвухлетнего юноши? Сейчас его подгоняют сроки, монахам очень хочется отслужить предрождественские мессы уже в новой церкви; разумеется, на освящение пригласят всех нас.

— А настоятель у них все тот же?

— Кто?

— Отец Грегор?

— Нет, он умер в сорок седьмом году; отец Грегор не смог перенести взрыва аббатства.

— А ты, ты смог это перенести?

— В первый момент, когда мне сообщили, что аббатство разрушено, я очень огорчился; потом я поехал туда, увидел развалины, увидел расстроенных монахов, которые собирались создать специальную комиссию для

розыска виновного, и отсоветовал им это, я не хотел мстить за уничтоженные здания, я боялся, что они таки найдут виновного и он начнет извиняться передо мной; я с ужасом вспомнил англичан, слово «sorry» все еще звучало у меня в ушах; в конце концов, любое здание можно отстроить заново. Да, Роберт, я это перенес. Не знаю, поверишь ли ты, но я никогда не дорожил зданиями, которые проектировал и строил; на бумаге они мне нравились, я работал над ними, можно сказать, с увлечением, но я не был художником, понимаешь, и не обольщался на этот счет; когда они предложили мне восстанавливать аббатство, я разыскал старые чертежи. Твоему сыну работа в аббатстве дает великолепную возможность применить свои силы на практике, он станет хорошим организатором, научится обуздывать свое нетерпение. Разве нам еще не пора?

— Осталось четыре минуты, отец. Пожалуй, можно уже выйти на перрон.

Роберт встал, кивнул хозяину и полез в карман за бумажником, но Муль вышел из-за стойки и, минуя Роберта, подошел к старому Фемелю, улыбнулся, положил ему руку на плечо.

— Нет, нет, господин советник...— сказал он,— на этот раз вы мои гости, тут уж я не отступлюсь, это я делаю в память моей матушки.

На улице все еще было тепло, белые клочья паровозного дыма развевались уже над Додрингеном.

— У тебя есть билеты? — спросил старик.

— Да,— сказал Роберт, глядя на поезд, который спускался с возвышенности позади Додрингена; казалось, он летит на них прямо со светло-голубого неба; поезд был темный, старый и трогательный; из служебного помещения вышел начальник станции, на его лице играла праздничная улыбка.

— Сюда, отец, сюда! — закричала Рут, махая рукой. На площадке вагона мелькнула ее зеленая шапочка и розовый пух джемпера; Рут схватила дедушку за руки, помогла ему подняться на ступеньки, обняла старика, осторожно толкнула его к открытой двери купе, потом потянула отца, поцеловала его в щеку.

— Я страшно рада,— сказала Рут,— правда, страшно рада и встрече с аббатством, и сегодняшнему вечеру в городе.

Начальник станции засвистел и подал знак к отправлению.

Когда они подошли к окошку, Неттлингер вынул изо рта сигару и ободряюще кивнул Шрелле; окошко открыли изнутри, надзиратель с листком бумаги в руках высунул голову и спросил:

— Вы заключенный Шрелла?

— Да,— сказал Шрелла.

Надзиратель выкрикивал названия предметов в той последовательности, в какой вынимал их из ящика и клал перед Шреллой.

— Карманные часы из нержавеющей стали без цепочки.

— Кошелек, черный кожаный, содержимое — пять английских шиллингов, тридцать бельгийских франков, десять немецких марок и восемьдесят пфеннигов.

— Галстук, зеленого цвета.

— Шариковая ручка, без марки, цвет — серый.

— Два носовых платка — белых.

— Плащ непромокаемый, с поясом.

— Шляпа черного цвета.

— Безопасная бритва марки «Жилетт».

— Шесть сигарет «Бельга».

— Рубашка, нижнее белье, мыло и зубная щетка были при вас, правда? Распишитесь, пожалуйста, здесь, засвидетельствуйте, что личное имущество возвращено вам полностью.

Шрелла надел плащ, положил в карман возвращенные ему вещи и подписал бумагу, где была проставлена дата: «6 сентября 1958 года, 15 ч. 30 м.».

— Все в порядке,— сказал надзиратель и захлопнул окошко.

Неттлингер снова сунул сигарету в рот и дотронулся до плеча Шреллы.

— Пошли,— сказал он,— выход здесь, или ты опять хочешь в кутузку? Может, ты все же завяжешь галстук?

Шрелла взял сигарету, поправил очки, поднял воротничок рубашки и надел галстук; он вздрогнул, когда Неттлингер внезапно поднес ему к носу зажигалку.

— Да,— сказал Неттлингер,— в этом все заключенные одинаковы, кто бы они ни были — знатные или незнатные, виновные или невинные, бедные или богатые, политические или уголовники,— первым делом они хотят закурить.

Шрелла сделал глубокую затяжку; завязывая галстук

и опуская воротничок рубашки, он глядел поверх очков на Неттлингера.

— У тебя, видимо, в этом вопросе большой опыт, верно?

— А у тебя нет? — спросил Неттлингер. — Пошли. От прощальных напутствий начальника тюрьмы я тебя, к сожалению, не могу избавить.

Шрелла надел шляпу, вынул изо рта сигарету и последовал за Неттлингером, открывшим дверь во двор. Начальник тюрьмы стоял у окошка, перед которым выстроилась длинная очередь, так как здесь выдавались разрешения на воскресные свидания; это был крупный мужчина, одетый не слишком элегантно, но вполне солидно; его движения были подчеркнута штатскими.

— Надеюсь, — сказал начальник Неттлингеру, направляясь к ним, — все окончилось, к общему удовольствию, быстро и корректно.

— Спасибо, — поблагодарил Неттлингер, — все действительно уладилось в два счета.

— Ну и хорошо, — сказал начальник и, повернувшись к Шрелле, продолжал: — Не обессудьте, если я скажу вам несколько слов на прощанье, хотя вы и были всего один-единственный день моим... — он засмеялся, — подопечным и по ошибке попали вместо следственной тюрьмы в исправительную. Видите ли, — начал он, указывая на внутренние ворота тюрьмы, — за этими воротами вас ждут вторые ворота, а за теми воротами нечто прекрасное, то, что является для всех нас величайшим благом, а именно — свобода. Не знаю, было ли обоснованным подозрение, которое лежит на вас, во всяком случае... — он опять засмеялся, — в моих гостеприимных стенах вам пришлось познакомиться с тем, что является противоположностью свободы. Так сумеете же правильно использовать свою свободу. Правда, все мы только узники, до той поры, пока наша душа не освободится от телесной оболочки и не вознесется к Создателю, но быть узником в моих гостеприимных стенах — это не фигуральное понятие. Так вот, господин Шрелла, я отпускаю вас на свободу...

Шрелла в смущении протянул ему руку, но быстро отдернул ее; по лицу начальника тюрьмы он понял, что рукопожатие не входило в процедуру прощания; Шрелла смущенно молчал, переложил сигарету из правой руки в левую и, прищурившись, поглядел на Неттлингера.

Тюремные стены и клочок неба над этим тюремным двором — вот последнее, что видели глаза Ферди, а голос начальника был, возможно, последним человеческим голосом, который он слышал; и все происходило на том же самом дворе, таком тесном, что аромат неттлингерской сигары заполнил его целиком; принюхиваясь, начальник подумал: о боже, в сигарах он всегда знал толк, надо ему отдать справедливость.

— Можно было обойтись и без напутственной речи. Ну, спасибо и до свидания,— заявил Неттлингер, не вынимая изо рта сигары.

Он взял Шреллу за плечи и подтолкнул его к внутренним воротам тюрьмы, которые в этот момент открыли перед ними, потом он медленно повел Шреллу к наружным воротам; Шрелла показал документы тюремному служителю, тот внимательно сверил фотографию, кивнул и открыл ворота.

— Ну, вот она — свобода,— смеясь, произнес Неттлингер.— Там стоит моя машина. Скажи, куда тебя отвезти.

Шрелла перешел через улицу вместе с Неттлингером, но когда шофер распахнул перед ним дверцу машины, он вдруг заколебался.

— Садись, садись,— сказал Неттлингер.

Шрелла снял шляпу, сел в машину, откинулся назад и посмотрел на Неттлингера, который уселся рядом с ним.

— Куда тебя отвезти?

— На вокзал,— сказал Шрелла.

— У тебя там багаж?

— Нет.

— Ты что же, собираешься уже покинуть наш гостеприимный город? — спросил Неттлингер. Наклонившись вперед, он крикнул шоферу: — На Главный вокзал.

— Нет,— сказал Шрелла,— пока что я еще не собираюсь покидать этот гостеприимный город. Ты разыскал Роберта?

— Не удалось,— ответил Неттлингер,— он неуловим. Целый день я пытался с ним связаться, но он уклонился от встречи со мной; я уже почти настиг его в отеле «Принц Генрих», но он успел скрыться через боковую дверь; из-за него мне пришлось пережить в высшей степени неприятные минуты.

— Ты и прежде с ним не встречался?

— Нет,— сказал Неттлингер,— ни разу; он ведет очень замкнутый образ жизни.

Машина остановилась у светофора, Шрелла снял очки, протер их носовым платком и подвинулся ближе к окну.

— Наверное,— сказал Неттлингер,— ты испытываешь очень странное чувство, снова оказавшись в Германии после столь долгой разлуки, да еще при таких обстоятельствах,— ты ее просто не узнаешь.

— Нет, я ее узнаю,— сказал Шрелла,— приблизительно так, как узнаешь женщину, которую любил совсем молодой, а увидел лет через двадцать; как водится, она здорово растолстела. У нее сильное ожирение; очевидно, ее муж человек не только состоятельный, но и преуспевающий: он купил ей виллу в пригороде, машину, дорогие кольца; после такой встречи на старую любовь неизбежно взираешь с иронией.

— По правде говоря, картина, которую ты нарисовал, довольно-таки неудачна,— сказал Неттлингер.

— Это только одна картина,— возразил Шрелла,— а если у тебя их наберется тысячи три, то, может быть, ты познаешь маленькую частичку истины.

— Сомневаюсь, что у тебя правильный взгляд на вещи, ведь ты пробыл в стране всего двадцать четыре часа, из них двадцать три — за решеткой.

— Ты не представляешь себе, как много можно узнать о стране, сидя за решеткой; ведь чаще всего в ваши тюрьмы попадают за обман; самообман, к сожалению, уголовно не наказуем; может, тебе еще не известно, что из последних двадцати двух лет я четыре года просидел в тюрьме.

Их машина медленно двигалась вперед в длинном потоке других машин, скопившихся у светофора.

— Нет,— сказал Неттлингер,— это мне не известно. В Голландии?

— Да,— сказал Шрелла,— и в Англии.

— За какие же такие преступления?

— За действия в состоянии аффекта, вызванного любовной тоской; но я сражался вовсе не с ветряными мельницами, а с реально существующими явлениями.

— Нельзя ли узнать подробности? — спросил Неттлингер.

— Нет,— сказал Шрелла,— ты бы все равно ничего не понял; мои действия ты воспринял бы как своего рода комплимент. Я угрожал одному голландскому политику,

который заявил, что надо уничтожить всех немцев, это был очень популярный политик; когда немцы оккупировали Голландию, они выпустили меня из тюрьмы — я показался им чем-то вроде мученика за Германию, но потом они обнаружили мою фамилию в списке преследуемых лиц, тогда я удрал от их любви в Англию и там угрожал английскому политику, который также заявил, что всех немцев надо уничтожить, сохранив лишь созданные ими произведения искусства; это был очень популярный политик; впрочем, скоро они меня амнистировали, они считали, что обязаны уважать чувства, которых я вовсе не испытывал, когда угрожал их политику; так людей сперва по ошибке сажают в тюрьму, а потом по ошибке выпускают.

Неттлингер засмеялся.

— Если ты собираешь картины, мне придется прибавить к твоей коллекции еще одну. Как ты отнесешься к такой вот картине... Два школьных товарища... политическая вражда не на жизнь, а на смерть, преследования, допрос, бегство, ненависть до гроба... но вот прошло двадцать два года, и не кто иной, как прежний преследователь, этот злодей, освобождает беглеца, вернувшегося на родину. Разве эта картина не достойна того, чтобы попасть в твою коллекцию?

— Это не картина, — сказал Шрелла, — а история, и недостаток ее в том, что она к тому же еще и правдивая... Но если я переведу эту историю в образно-абстрактный план и соответственно истолкую, ты услышишь мало лестного для себя.

— Может показаться странным, — тихо сказал Неттлингер, вынимая изо рта сигару, — что я ищу у тебя понимания, но поверь, когда я увидел твою фамилию в списке преследуемых лиц, когда я проверил сообщение и узнал, что они действительно арестовали тебя на границе, я, ни секунды не колеблясь, пустил в ход все, чтобы освободить тебя.

— Очень жаль, — сказал Шрелла, — если ты думаешь, что я сомневаюсь в искренности твоих побуждений и чувств. Даже в твоём раскаянии я и то не сомневаюсь. Но в каждой картине — а ты просил рассматривать эту историю как картину для моей коллекции, — в каждой картине есть некая отвлеченная идея, и в данном случае она заключается в той роли, которую ты играл тогда и играешь теперь в моей жизни, эта роль — извини меня — одна и та же, ведь в те времена меня следовало

засадить в тюрьму, чтобы обезвредить, а теперь наоборот — выпустить на свободу с той же целью; боюсь, что Роберт, у которого гораздо более отвлеченное мышление, чем у меня, как раз по этой причине и не желает с тобой встречаться. Надеюсь, ты поверишь, что и в те времена я не сомневался в искренности твоих побуждений и чувств; ты меня не понимаешь, да и не старайся понять, ты играл свои роли, не отдавая себе в них отчета, иначе ты был бы циником или преступником, а ты не стал ни тем, ни другим.

— Теперь я и впрямь не понимаю, считать ли это комплиментом или чем-то совсем иным.

— И тем и другим, — сказал Шрелла, смеясь.

— Ты, наверное, не знаешь, что я помогал твоей сестре?

— Ты помогал Эдит?

— Да, Вакера хотел ее арестовать; он каждый раз вносил ее в списки, а я каждый раз вычеркивал.

— Ваши благодеяния, — тихо сказал Шрелла, — пожалуй, еще страшнее ваших злодеяний.

— А вы еще более неумолимы, чем сам Господь Бог: Он прощает грехи, в которых человек раскаивается.

— Да, я не Бог и не притязая ни на божественную мудрость, ни на божественное милосердие.

Покачив головой, Неттлингер откинулся назад; Шрелла вынул из кармана сигарету, сунул ее в рот и снова испугался, когда Неттлингер неожиданно щелкнул зажигалкой у самого его носа; чистое светло-синее пламя чуть было не опалило ему ресницы. А твоя теперешняя вежливость, подумал он, еще хуже, чем тогдашняя невежливость. С тем же рвением, с каким ты бросал мне прежде в лицо мяч, ты теперь назойливо пристаешь ко мне со своей зажигалкой.

— Когда я могу встретиться с Робертом? — спросил он.

— По-видимому, только в понедельник, мне не удалось выяснить, куда он уехал на воскресенье; его отец и дочь уехали с ним, может быть, сегодня вечером ты застанешь его дома или же завтра в половине десятого в отеле «Принц Генрих», там он каждый день играет в бильярд от половины десятого до одиннадцати. Надеюсь, в тюрьме было сносно?

— Да, — сказал Шрелла, — со мной обращались вежливо.

— Если тебе понадобятся деньги, скажи мне. С тем, что у тебя есть, не очень-то разгуляешься.

— Думаю, мне хватит до понедельника, а потом у меня будут деньги.

Чем ближе к вокзалу, тем длиннее и гуще становился поток машин. Шрелла попытался было открыть окно, но не сумел справиться с ручкой; перегнувшись через него, Неттлингер опустил стекло.

— Боюсь,— сказал он,— что на улице воздух не чище того, каким мы дышим в машине.

— Спасибо,— поблагодарил Шрелла. Он посмотрел на Неттлингера и переложил сигарету из левой руки в правую, а потом из правой руки в левую.— Послушай,— сказал он,— тот мяч, который тогда забил Роберт... что с ним, собственно говоря, случилось? Он нашелся?.. Помнишь?

— Да,— сказал Неттлингер,— конечно, хорошо помню, ведь о нем было столько толков, они так и не нашли его; в тот день они искали мяч до поздней ночи и на завтра тоже, хотя было воскресенье; они никак не могли успокоиться; позже некоторые утверждали, что Роберт схитрил, он будто бы вовсе не ударил по мячу, а только воспроизвел звук удара и спрятал мяч.

— Но ведь все видели, как мяч летел. Разве нет?

— Ну конечно, этой версии никто не поверил; многие полагали, что мяч упал на повозку, которая стояла во дворе пивоварни; ты, может быть, помнишь, что со двора выехала повозка.

— Она уехала раньше, задолго до того, как Роберт ударил по мячу,— сказал Шрелла.

— Мне кажется, что ты ошибаешься,— возразил Неттлингер.

— Нет-нет,— сказал Шрелла,— я ведь стоял и ждал мяча и внимательно следил за всем; повозка уехала раньше, чем Роберт забил мяч.

— Ну хорошо,— сказал Неттлингер,— во всяком случае, мяч так и не нашелся. Вот и вокзал... Ты в самом деле не хочешь, чтобы я тебе помог?

— Спасибо, мне ничего не надо.

— Позволь мне по крайней мере пригласить тебя пообедать.

— Хорошо,— сказал Шрелла,— пойдём обедать.

Шофер подержал дверцу машины, Шрелла вышел первый; засунув руки в карманы, он поджидал Неттлин-

гера, который взял с сиденья свою папку, застегнул пальто и сказал шоферу:

— Пожалуйста, заезжайте за мной к половине шестого в отель «Принц Генрих».

Шофер приложил руку к козырьку фуражки, сел в машину и взялся за руль.

Шрелла по-прежнему носил очки, и плечи у него по-прежнему были вислые, на его губах блуждала все та же странная улыбка, светлые волосы были, как встарь, зачесаны назад — они не поредели от времени, а всего лишь слегка посеребрились; знакомым движением он отер лоб и засунул носовой платок обратно; казалось, Шрелла совсем не изменился, просто он стал стариче на несколько лет.

— Зачем ты вернулся? — тихо спросил Неттлингер.

Шрелла посмотрел на него, прищурившись и прикусив нижнюю губу, как всегда смотрел; в правой руке он держал сигарету, в левой — шляпу; он долго не спускал глаз с Неттлингера. Шрелла ждал, тщетно ждал того, к чему стремился уже больше двадцати лет, — ждал ненависти; он всегда мечтал о самой обыкновенной драке, о том, чтобы ударить врага в лицо или дать ему пинка в зад, крикнув: «Свинья, подлая свинья!» Шрелла завидовал людям, способным на простые чувства, но сам он не в силах был ударить в это круглое, смущенно улыбающееся лицо, сам он не в силах был дать Неттлингеру пинка в зад; на школьной лестнице ему подставляли ножку, он летел вниз, и дужка его очков вонзалась в мочку уха; когда он шел домой, его поджидали, за-таскивали в парадные и били, его избивали бичом из колючей проволоки, его и Роберта; они допрашивали его; на них лежала вина в смерти Ферди, но они пощадили Эдит и дали бежать Роберту.

Он перевел глаза с Неттлингера на вокзальную площадь, кишмя кишевшую людьми; светило солнце, была субботняя толчея, такси подъезжали и отъезжали, продавцы мороженого выкрикивали свой товар, мальчики из отеля в лиловых ливреях тащили чемоданы вслед за постояльцами; Шрелла увидел серый величественный фасад Святого Северина, отель «Принц Генрих», кафе «Кронер» и вздрогнул — Неттлингер кинулся в толпу, размахивая руками и восклицая: «Алло, фройляйн Рут!» — потом он вернулся, покачивая головой.

— Ты видел эту девушку, — спросил он, — в зеленой шапочке и в розовом джемпере? Красивая, на нее все

оглядываются... Это дочь Роберта. Я не догнал ее, а то бы она сказала нам, где найти Фемеля. Жаль... Ты ее не видел?

— Нет,— тихо сказал Шрелла,— дочь Эдит?

— Конечно,— подтвердил Неттлингер,— твоя племянница. Черт побери... ну а теперь пошли обедать.

Он пересек вокзальную площадь и пошел по улице к отелю «Принц Генрих»; Шрелла следовал за ним; бой в лиловой ливрее толкнул дверь; когда они прошли, дверь бесшумно качнулась еще несколько раз и легла в пазы, обитые войлоком.

— Местечко у окна? — спросил Йохен.— С удовольствием! И чтобы не очень много солнца? Значит, на восточной стороне. Гуго, изволь позаботиться, чтобы гостям приготовили столик на восточной стороне... Не за что...

Чаевым мы всегда рады, марка — это честная кругленькая монетка; чаевые — душа нашей профессии. А ведь, что ни говори, я *победил*, мой милый, ты его так и не увидел... Как он сказал: играет ли господин доктор Фемель по воскресеньям в бильярд? Шрелла? Господи! Я и так все знаю, можно не смотреть в красную карточку.

— Боже мой, надеюсь, вы разрешите старику сказать несколько слов, не относящихся к его служебным обязанностям, благо здесь сейчас тихо. Я, господин Шрелла, хорошо знал вашего отца, очень хорошо: он работал у нас год, как раз в те времена, когда отмечался всегерманский спортивный праздник. Неужели вы помните? Ну конечно, вам тогда было лет десять-одиннадцать; вот вам моя рука, мне будет очень приятно, если вы ее пожмете, боже мой, надеюсь, вы извините меня за эти чувства, которые, так сказать, не относятся к моим служебным обязанностям; я достаточно стар, чтобы позволить себе такие чувства; ваш отец был серьезный человек и держал себя достойно! Боже мой, он не мирился с хамством, зато с теми, кто не позволял себе хамства, он был тихий как овечка; я не раз вспоминал вашего отца, простите, если я тревожу старые раны; боже избави... я совсем забыл, боже мой, счастье еще, что эти свиньи здесь больше не хозяйничают; впрочем, будьте осторожны, господин Шрелла, будьте осторожны; иногда мне кажется, что они *все же* победили. Будьте осторожны, не доверяйте этой видимости мира и спокойствия... и простите старика за чувства, не относящиеся к его служебным обязанностям... Гуго, посади господ за

самый лучший столик на восточной стороне, за самый лучший... Нет, господин Шрелла, по воскресеньям господин доктор Фемель не играет в бильярд, нет, по воскресеньям он к нам не приходит; то-то он обрадуется, вы ведь были друзьями юности и единомышленниками, не правда ли? Не думайте, что у всех людей короткая память. Если он по какой-либо причине все же появится у нас, я сообщу вам, оставьте мне свой адрес; я пошлю вам посыльного, телеграмму, если хотите, позвоню... для наших клиентов мы делаем все.

А Гуго и бровью не повел. Клиентов узнают, только когда им этого хочется. Вот этот ломился в бильярдную!.. Отель хранит секреты гостей... Бич из колючей проволоки... Ему, Гуго, следует остерегаться неуместной фамильярности и ненужных умозаключений; сохранение тайны — знамя профессии. Меню? Пожалуйста, господа. Устраивает ли уважаемых господ этот столик? Он на восточной стороне, у окна, солнца, кажется, не слишком много... Отсюда вам будет виден восточный придел Святого Северина, ранний романский стиль, одиннадцатый или двенадцатый век, основатель герцог Генрих Святой, по прозвищу Необузданный. Да, сударь, горячие блюда подаются весь день; все блюда, которые значатся в меню, подаются с двенадцати до двадцати четырех часов... Что я советую выбрать? Ах так, вы желаете отпраздновать встречу? При столь доверительном общении можно позволить себе чуть заметную понижающую улыбку... Только не вспоминать... Шрелла... Неттлингер... Фемель; никаких умозаключений... Шрамы на спине... Да, официант сейчас подойдет к вам и примет заказ.

— Ты тоже выпьешь рюмочку мартини? — спросил Неттлингер.

— Да, пожалуйста, — сказал Шрелла. Он отдал бою пальто и шляпу, пригладил рукой волосы и сел; в зале было не много посетителей, только в дальнем углу тихо ворковала какая-то парочка, журчащий смех вторил нежному звону бокалов; за тем столиком пили шампанское.

Шрелла взял рюмку мартини с подноса, который держал перед ним кельнер, и подождал, пока Неттлингер тоже возьмет свою; он поднял рюмку, кивнул Неттлингеру и выпил. Неттлингер как-то некрасиво состарился;

в памяти Шреллы он оставался ослепительным светловолосым юношей — даже в жесткой линии его рта было что-то располагающее, он легко брал метр шестьдесят семь высоты, пробегал стометровку за одиннадцать и пять десятых секунды — тип жестокого, но обаятельного победителя. Эти люди, думал Шрелла, видно, не умели радоваться ничему, даже своим победам, к тому же они были плохо воспитаны, питались не так, как нужно, не понимали, что такое выдержка; вероятно, Неттлингер слишком много жрал, он уже почти облысел, в его влажных глазах по-стариковски сентиментальное выражение. Сейчас Неттлингер склонился над меню с гримасой знатока, одна из его белых манжет поднялась кверху; Шрелла увидел золотые часы с браслетом, на безымянном пальце Неттлингер носил обручальное кольцо. О боже, думал Шрелла, даже если бы он не сделал всего того, что он сделал, и то у Роберта вряд ли появилось бы желание пить с ним пиво и водить своих детей на его виллу для игры в бадминтон, которая, как говорят, способствует семейному сближению.

— Позволь мне кое-что предложить тебе, — сказал Неттлингер.

— Пожалуйста, — ответил Шрелла, — предлагай.

— Так вот, — начал Неттлингер, — на закуску можно взять великолепную семгу, на второе цыплят с *rommes frites*¹ и салатом; я думаю, что десерт мы выберем потом; знаешь, аппетит к десерту приходит ко мне уже во время еды, тут я полагаюсь на свой инстинкт, он мне подскажет, что взять — сыр, пирожное, мороженое или омлет, но насчет одного я уверен заранее — насчет кофе.

Неттлингер говорил так, словно читал лекцию из цикла «Как сделаться гурманом»; он все еще не желал оборвать монотонное перечисление блюд, казалось, он им гордился; обращаясь к Шрелле, он повторял, как слова молитвы:

— *Entrecôte à deux*, отварная форель, медальоны из телятины.

Шрелла наблюдал, как Неттлингер с благоговением водил пальцем по меню; на некоторых блюдах он останавливался, прищелкивал языком и нерешительно качал головой.

— Когда я вижу слово «*poularde*», я, ей-богу, не в силах устоять.

¹ Жареный картофель (*фр.*).

Шрелла закурил, радуясь, что на этот раз ему удалось избежать зажигалки Неттлингера; потягивая мартини, он следил глазами за указательным пальцем Неттлингера, который добрался наконец до третьих блюд. Черт бы побрал их основательность, думал он, она может испортить человеку аппетит, даже если перед ним такое разумное и вкусное кушанье, как жареная курица; они хотят все делать лучше других, и весьма преуспели в этом; даже в священнодействии, которым обставляется жратва, они и то хотят перещеголять итальянцев и французов.

— Я все же закажу курочку,— сказал он.

— А семгу?

— Нет, спасибо.

— Ты зря отказываешься от такого деликатеса, ведь ты, наверное, голоден как волк.

— Так оно и есть,— сказал Шрелла,— но я налягу на десерт.

— Воля твоя.

Официант принес еще две рюмки мартини на подносе, который, наверное, стоил больше, чем целый спальный гарнитур; Неттлингер взял с подноса рюмку и передал ее Шрелле, потом взял свой мартини, наклонился вперед и сказал:

— Пью за твоё здоровье, эта рюмка — за тебя.

— Спасибо,— ответил Шрелла, кивнул головой и выпил.— Одно мне еще не ясно,— добавил он,— как случилось, что они арестовали меня сразу же на границе?

— Дурацкое недоразумение, твоё имя все еще значится в списках преследуемых лиц, а между тем обвинение в покушении на убийство теряет силу через двадцать лет; тебя следовало вычеркнуть еще два года назад.

— Покушение на убийство? — спросил Шрелла.

— Да, так был квалифицирован ваш поступок с Вакерой.

— Ты, по-видимому, не в курсе, ведь в этом деле я не участвовал и даже не одобрял его.

— Да ну,— сказал Неттлингер,— тем лучше; в таком случае легко раз и навсегда вычеркнуть твоё имя из списков преследуемых; пока что мне удалось только поручиться за тебя и выхлопотать тебе временное освобождение; твоё имя в списке я не мог похерить, но теперь это становится чистой формальностью. Ты не возражаешь, если я приступлю к супу?

— Пожалуйста,— сказал Шрелла.

Он отвел взгляд от Неттлингера и посмотрел в сторону вокзала; Неттлингер наливал разливательной ложкой суп из серебряной суповой миски; разумеется, бледно-желтые клецки в этом супе были замешаны на костном мозге самого лучшего, отборнейшего скота, который когда-либо пасся на немецких пастбищах; семга в окружении свежих салатных листьев отливала золотом, ломтики подсушенного хлеба нежно подрумянились, на шариках масла блестели серебристые капельки воды; при виде Неттлингера, поглощавшего пищу, Шрелла заставил себя побороть невольное чувство жалости к нему; для Шреллы еда была высоким актом братства; он вспомнил дружеские трапезы в плохих и хороших гостиницах; вынужденное одиночество во время еды всегда казалось ему проклятием; когда Шрелла видел в привокзальных ресторанах и в столовых многочисленных пансионеров, где ему приходилось жить, людей, в одиночестве поглощавших пищу, он считал, что они прокляты Богом; сам он всегда искал общества; охотней всего он подсаживался к какой-нибудь женщине и, отломив кусок хлеба, перебрасывался с ней двумя-тремя словами; улыбка и несколько дружеских фраз в тот момент, когда человек склоняется над тарелкой,— только это делало чисто биологический процесс поглощения пищи сносным и даже приятным; такие люди, как Неттлингер,— а Шрелла встречал их во множестве,— казались ему изгоями, их трапезы были трапезами палачей; правда, они знали и соблюдали за столом все правила хорошего тона, но еда тем не менее не являлась для них приятным времяпрепровождением, они вкушали пищу с убийственной серьезностью, которая губила и гороховый суп и пулярку; кроме того, они не могли не думать о цене каждого куска, который проглатывали. Шрелла снова отвел взгляд от Неттлингера, посмотрел в сторону вокзала и прочел большой плакат, который висел над входом:

«Добро пожаловать, земляки, возвращающиеся на родину».

— Послушай-ка,— сказал он,— нельзя ли сделать так, чтобы я сошел за репатриированного?

Положив на стол ломтик поджаренного хлеба, который он в этот момент намазывал маслом, Неттлингер поднял глаза; казалось, он возвращается к действительности из пучины скорби.

— Это зависит от того,— сказал он,— являешься ли ты все еще германским подданным.

— Нет,— сказал Шрелла,— у меня нет подданства.

— Жаль,— сказал Неттлингер. Он снова склонился над поджаренным хлебом, потом взял кусок семги и разделил его на несколько частей.— Если бы удалось доказать, что ты бежал не по уголовным мотивам, а по политическим, ты смог бы получить кругленькую сумму в качестве компенсации. Хочешь, я выясню всю юридическую сторону дела?

— Да нет,— сказал Шрелла.

Когда Неттлингер отодвинул от себя блюдо с семгой, Шрелла склонился над столом и спросил:

— Неужели ты позволишь унести обратно эту прекрасную семгу?

— Разумеется,— сказал Неттлингер,— нельзя же...

Он испуганно оглянулся по сторонам, потому что Шрелла руками взял с тарелки поджаренный хлеб, а потом руками же схватил с серебряного блюда кусок семги и положил его на хлеб.

— ...нельзя же...

— Да нет, можно; как ни странно, но именно в самом фешенебельном ресторане все дозволено; мой отец был кельнером, и он служил, между прочим, здесь тоже; в этой святой святых гастрономии кельнеры и бровью не повели бы, если бы ты стал есть гороховый суп руками, хотя это неестественно и непрактично, но как раз все неестественное и непрактичное меньше всего привлекает внимание в подобных ресторанах; высокие цены тут из-за кельнеров; ни при каких обстоятельствах здешние кельнеры и бровью не поведут. Впрочем, брать хлеб руками и класть на него руками рыбу не может считаться неестественным или непрактичным.

Шрелла, улыбаясь, взял с блюда последний кусочек семги, снова разнял два сложенных вместе ломтика хлеба и засунул туда рыбу. Неттлингер сердито посмотрел на него.

— Кажется,— сказал Шрелла,— ты готов убить меня на месте, правда, надо признаться, не по тем мотивам, по каким хотел убить раньше, но цель остается та же; слушай, что хочет возвестить тебе сын кельнера: истинно благородный человек никогда не подчиняется тирании кельнеров, хотя среди кельнеров есть, разумеется, люди с благородным образом мыслей.

Пока Шрелла ел хлеб с семгой, кельнер и мальчик,

помогавший ему, накрывали стол для основного блюда; на маленьких столиках они воздвигали сложные приспособления для хранения тепла, а на большом столе разложили приборы и расставили тарелки, предварительно убрав всю посуду; Неттлингеру подали вино, Шрелле — пиво. Неттлингер пригубил свою рюмку.

— Чуть-чуть теплее, чем следует;— сказал он.

Шрелла подождал, пока ему положили курицу с картофелем и салатом, кивнул. Неттлингеру и поднял свой стакан с пивом, наблюдая за тем, как кельнер поливал кусок филе на тарелке Неттлингера густым темно-коричневым соусом.

— А что, Вакера еще жив?

— Разумеется,— ответил Неттлингер;— ему ведь всего пятьдесят восемь лет, но... в моих устах это слово, очевидно, покажется тебе смешным... Вакера из числа неисправимых.

— Как прикажешь понять тебя? — спросил Шрелла.— Неужели это действительно возможно, неужели есть неисправимые немцы?

— Он стоит на тех же самых позициях, на которых стоял в тысяча девятьсот тридцать пятом году.

— Гинденбург и все такое прочее? Приличия и еще раз приличия, верность, честь... так, что ли?

— Точно. Его лозунгом и сейчас был бы Гинденбург.

— А каков твой лозунг?

Неттлингер оторвал взгляд от тарелки; в руке он держал вилку, на которую был насажен только что отрезанный кусочек мяса.

— Я хочу, чтобы ты меня понял,— сказал он,— я демократ, демократ по убеждению.

Неттлингер опять склонил голову над своим филе, потом поднял вилку с насаженным на нее кусочком мяса, сунул его в рот, вытер губы салфеткой и, качая головой, протянул руку к фужеру с вином.

— Что случилось с Тришлером? — спросил Шрелла.

— Тришлер? Не помню такого.

— Старик Тришлер — он жил в Нижней гавани, где позднее устроили кладбище кораблей. Неужели ты не помнишь Алоиза, он учился у нас в классе.

— Ах да,— сказал Неттлингер, положив себе на тарелку нарезанный сельдерей,— теперь вспомнил. Алоиза мы разыскивали тогда много недель подряд, но так и не нашли, а старика Тришлера Вакера сам допрашивал,

но не вытянул из него ни слова, ни единого слова, и из его жены тоже.

— Ты не знаешь, они еще живы?

— Не знаю, но те места у реки часто бомбили. Если хочешь, я выясню, что с ними. О боже,— тихо прибавил он,— что случилось? Что ты задумал?

— Я хочу уйти,— сказал Шрелла,— извини, но я должен уйти.

Он встал, стоя допил пиво, махнул рукой кельнеру, и когда тот, беззвучно ступая, подошел к нему, Шрелла показал на серебряное блюдо, где еще лежали три куса жареной курицы в растопленном масле, которое слегка шипело.

— Будьте добры,— сказал Шрелла,— не можете ли вы завернуть все это, но так, чтобы жир не просочился наружу.

— С удовольствием,— ответил кельнер, снимая блюдо с электрической жаровни; он наклонил голову, собравшись уходить, но потом выпрямился и спросил: — Картофель вам тоже завернуть, сударь, и немножко салата?

— Нет, спасибо,— сказал Шрелла, улыбаясь,— *rommes frites* станет мягким, а салат потом тоже невозможно будет есть.

Шрелла напрасно пытался уловить хоть малейший признак иронии на холеном лице седовласого кельнера.

Зато Неттлингер, оторвав взгляд от тарелки, сердито посмотрел на Шреллу.

— Хорошо,— сказал он,— ты хочешь мне отомстить, это понятно, но неужели надо мстить таким образом?

— Ты предпочитаешь, чтобы я тебя убил?

Неттлингер промолчал.

— Впрочем, это вовсе не месть,— сказал Шрелла,— просто я должен уйти отсюда, я больше не могу выдержать, но я бы всю жизнь упрекал себя за то, что оставил здесь курицу; можешь приписать этот акт моим финансовым обстоятельствам; я бы не взял курицу, если бы знал, что кельнерам и боям разрешают доедать остатки, но мне известно, что здесь это не полагается.

Шрелла поблагодарил боя, который принес ему пальто и помог его надеть; он взял шляпу, снова присел и сказал:

— Ты знаешь господина Фемеля?

— Да,— ответил Гуго.

— И номер его телефона тоже?

— Да.

— Тогда сделай мне одолжение, звони ему через каждые полчаса, хорошо? И если он подойдет к телефону, передай, что его хочет видеть некий господин Шрелла.

— Хорошо.

— Я не уверен, что там, куда мне надо идти, есть телефоны-автоматы, иначе я бы сам ему звонил. Ты запомнил мое имя?

— Шрелла,— сказал Гуго.

— Да. Я позвоню сюда около половины седьмого и вызову тебя. Как тебя зовут?

— Гуго.

— Большое спасибо, Гуго.

Шрелла встал и посмотрел сверху вниз на Неттлингера; Неттлингер взял с блюда кусочек филе.

— Сожалею,— сказал Шрелла,— что ты рассматриваешь мой безобидный поступок как акт мести. Я ни секунды не думал о мести, но пойми, что мне хочется уйти отсюда; видишь ли, я не собираюсь долго пробыть в этом гостеприимном городе, а мне еще надо уладить кое-какие дела. Однако позволь снова напомнить тебе о списке, в котором я значусь.

— Разумеется, я готов принять тебя в любое время, дома или на службе, как угодно.

Шрелла взял из рук кельнера аккуратно перевязанный белый пакетик и дал кельнеру на чай.

— Жир не просочится, сударь,— сказал кельнер,— все запаковано в целлофан и лежит в нашей фирменной коробке для пикников.

— До свидания,— сказал Шрелла.

Неттлингер слегка приподнял голову и пробормотал:

— До свидания.

— Да,— объяснял Йохен,— с удовольствием, уважаемая госпожа, и тут вы увидите стрелку: «*К древнеримским детским гробницам*», они открыты до восьми, после наступления темноты зажигается свет. Не за что, большое спасибо.

Прихрамывая, он вышел из-за конторки и подошел к Шрелле, которому бой уже открыл дверь.

— Господин Шрелла,— сказал он тихо,— я сделаю все, чтобы разузнать, где найти господина доктора Фемеля; за это время я уже кое-что выяснил в кафе

«Кронер»; в семь часов там состоится семейное торжество в честь старого господина Фемеля; значит, вы его там наверняка застанете.

— Спасибо, — сказал Шрелла. — Большое вам спасибо. — Он знал, что чаевые здесь неуместны. Улыбнувшись старику, он вышел на улицу; дверь бесшумно качнулась еще несколько раз и легла в пазы, обитые войлоком.

8

Автостраду во всю ее ширину перекрыли массивными щитами; мост, переброшенный когда-то в этом месте через реку, был разрушен, взрыв вчистую снес его с быков; обрывки ржавых тросов свисали с высоких пилонов; щиты трехметровой высоты возвещали о том, что за ними притаилась «смерть»; на случай, если бы одного этого слова оказалось недостаточно, на щитах были изображены скрещенные кости и увеличенный для устрашения раз в десять череп — ослепительно белый на густо-черном фоне.

На этой мертвой дороге особо рьяные начинающие автомобилисты упражнялись в переключении скоростей, привыкали к быстрой езде, терзали коробку скоростей, давали задний ход и направляли машину то влево, то вправо, осваивая повороты; по насыпи, которая проходила среди небольших огородиков, вдоль площадки для игры в гольф прогуливались хорошо одетые мужчины и женщины с праздничными лицами, они норовили подойти вплотную к реке, к страшным щитам, за которыми прятались прозаические бараки строителей, казалось насмехавшиеся над смертью; за словом «смерть» подымался синий дымок, он шел из печурок, на которых ночные сторожа грели котелки, сушили сухари и разжигали свои трубочки от скрученной бумажки; помпезная лестница совсем не была разрушена, в погожие летние вечера на ее ступенях отдыхали уставшие путники; отсюда, с двадцатиметровой высоты, они могли наблюдать за ходом восстановительных работ, водолазы в желтых водолазных костюмах медленно спускались на дно реки, подводили петли тросов к бетонным обломкам моста, краны вытаскивали на поверхность свою добычу, с которой стекала вода, а потом грузили ее на баржи. На высоких лесах и на шатких мостках, в люльках, под-

вешенных к пилонам, рабочие разрезали сварочными аппаратами, вспыхивавшими синеватым пламенем, покоренные стальные конструкции, искривленные заклепки, обрывки железных тросов; быки с их боковыми опорами казались гигантскими воротами, замыкавшими целый гектар голубой пустоты; гудела сирена, подавая сигналы: «Путь открыт», «Путь закрыт»; зажигались то красные, то зеленые огни; караваны барж, перевозившие уголь и дрова, сновали взад и вперед.

Зеленая река... мирные радости... пологие берега, поросшие ивняком... пестрые суденышки... синие вспышки сварочных аппаратов. Положив на плечо палки для гольфа, мускулистые мужчины и хорошо натренированные женщины с серьезными лицами ходили по великолепно подстриженному газону вслед за мячами — восемнадцать лунок; над огородами подымался дымок, там превращались в дым стебли гороха и фасоли, равно как и старые колышки от заборов, дым гулял по небу, и его изящные завитки походили на эльфов в стиле модерн, потом завитки уплотнялись, образуя причудливые узоры, которые в свою очередь превращались в расплывчатые фигуры — светло-серые на фоне яркого неба, и наконец, воздушные течения разрывали эти фигуры в клочья и угоняли их к самому горизонту; дети, катавшиеся на самокатах по дорожкам парка, выложенным неровными камнями, разбивали себе в кровь руки и колени и показывали свои ссадины испуганным матерям, вымогая у них лимонад или мороженое; парочки, взявшись за руки, стремились скрыться в ивняке, где уже давно исчезли следы половодья — стебли камыша, пробки, бутылки и баночки из-под гуталина; речники сходили по шатким мосткам на берег, за ними шли их жены с хозяйственными сумками, уверенные в себе; на отдраенных до блеска баржах на веревках висело белье — вечерний ветер разведал зеленые штаны, красные кофточки и белоснежные простыни на фоне густо-черной свежей смолы, блестящей, как японский лак; на поверхности реки время от времени показывались поднятые кранами обломки моста в иле и водорослях, а за всем этим виднелся серый стройный силуэт Святого Северина. В кафе «Белью» сбившаяся с ног грубоватая кельнерша объявила:

— Пирожных со сливками больше нет, — отерла пот и пошарила в кожаной сумке в поисках мелочи: — ...есть только песочные пирожные... нет, мороженого тоже нет.

Иозеф протянул руку, кельнерша положила в его

раскрытую ладонь сдачу; он сунул мелочь в карман брюк, а бумажку — в кармашек рубахи, повернулся к Марианне и провел по ее темным волосам растопыренными пальцами, чтобы снять с них кусочки камыша, а потом смахнул песок с зеленого джемпера девушки.

— Ты ведь так радовался сегодняшнему празднику, — сказала Марианна, — что произошло?

— Ничего не произошло, — ответил Йозеф.

— Но я чувствую. Что-нибудь изменилось?

— Да.

— Ты не хочешь сказать, что именно?

— Потом, — пообещал он, — может быть, я скажу тебе через несколько лет, а может быть, скоро. Сам не знаю.

— Это связано с нами обоими?

— Нет.

— Точно нет?

— Нет.

— С тобой одним?

— Да.

— Значит, все же с нами обоими.

Йозеф улыбнулся.

— Разумеется, поскольку я связан с тобой.

— Случилось что-нибудь неприятное?

— Да.

— Это связано с твоей работой?

— Да. Дай мне твою расческу, но только не верти головой, маленькие песчинки руками не вынешь.

Марианна вытащила из сумочки расческу и передала ее через плечо Йозефу, на секунду Йозеф сжал руку девушки.

— Я ведь знаю, — сказала Марианна, — что по вечерам, после того как уходили рабочие, ты разгуливал около высоких штабелей кирпича и ощупывал новенькие кирпичи, тебе было приятно касаться их, а вчера и позавчера ты этого не делал; я все узнаю по твоим рукам; и ты так рано уехал сегодня утром.

— Мне надо было получить подарок для дедушки.

— Ты уехал не из-за подарка; где ты был?

— В городе, — сказал он, — рамка для фото все еще не была готова, мне пришлось ждать. Ты помнишь эту фотографию: мать держит меня за руку. Рут у нее на коленях, а за нами стоит дедушка. Я дал ее увеличить. Я знаю, дедушка обрадуется моему подарку.

А потом я отправился на Модестгассе и дождался,

когда отец, высокий и прямой, вышел из конторы; я отправился за ним следом до отеля и простоял там полчаса перед дверьми, но он так и не появился, а я не решился войти туда и справиться о нем; мне просто хотелось увидеть его, и я его увидел, он хорошо сохранился и сейчас в расцвете сил.

Йозеф сунул расческу в карман брюк, положил руки на плечи девушки и сказал:

— Не поворачивайся, пожалуйста, так удобнее разговаривать.

— Удобнее лгать,— возразила она.

— Может быть, и так,— сказал он,— точнее говоря, умалчивать.

У самого его лица было ухо девушки, а дальше виднелась балюстрада летнего кафе, над нею синела река; юноша позавидовал рабочему, который висел в люльке на верхушке пилона на высоте почти шестидесяти метров от земли и вычерчивал сварочным аппаратом синие зигзаги; были сирены; внизу, вдоль откоса, ходил мороженщик и накладывал мороженое в ломкие вафли; за рекой высился серый силуэт Святого Северина.

— Должно быть, случилась какая-то очень неприятная история,— сказала Марианна.

— Да,— подтвердил Йозеф.— довольно-таки неприятная, а может, и нет; пока трудно сказать.

— Это касается внешних обстоятельств или внутренних?

— Внутренних,— ответил юноша.— Как бы то ни было, сегодня днем я сообщил Клубрингеру, что отказываюсь от места; не оборачивайся, а то не скажу больше ни слова.

Йозеф снял руки с плеч Марианны, крепко сжал голову девушки и повернул ее в сторону моста.

— А что скажет на это дедушка? Ведь он так тобою гордился; каждая похвала Клубрингера была для него как бальзам, да и вообще он привязан к аббатству; не говори ему ничего, хотя бы сегодня.

— Ему доложат и без меня, еще до нашего приезда; ты же знаешь, что он отправился с отцом в аббатство— выпить чашку кофе перед сегодняшним торжеством.

— Да,— сказала она.

— Мне самому жаль дедушку; ты ведь знаешь, как я его люблю; но все обязательно выплывет наружу уже сегодня днем, когда он вернется от бабушки; тем не

менее я больше не могу видеть кирпичи и слышать запах известки. Пока что, во всяком случае.

— Пока что?

— Да.

— А что скажет твой отец?

— О,— быстро ответил Йозеф,— он огорчится только из-за дедушки; сам он никогда не интересовался созидательной стороной архитектуры, его занимали только формулы; обожди, не оборачивайся.

— Значит, это касается твоего отца, так я и чувствовала; я жду не дожусь увидеть его; по телефону я уже несколько раз говорила с ним, мне почему-то кажется, что он мне понравится.

— Он тебе понравится. И ты увидишь его не позже сегодняшнего вечера.

— Мне тоже надо идти с тобой на день рождения?

— Непременно. Ты даже не представляешь, как обрадуется дедушка, к тому же он ведь пригласил тебя по всей форме.

Марианна попыталась было высвободить свою голову, но Йозеф, смеясь, все так же крепко держал ее.

— Не надо,— сказал он,— так гораздо удобнее беседовать.

— И лгать.

— Умалчивать,— возразил он.

— Ты любишь своего отца?

— Да, особенно с тех пор, как узнал, что он еще такой, в сущности, молодой.

— Ты не знал, сколько ему лет?

— Нет. Мне всегда казалось, что ему лет пятьдесят — пятьдесят пять. Смешно, но я никогда не интересовался тем, сколько ему в действительности лет; только позавчера, получив свою метрику, я узнал, что отцу всего сорок три года, и прямо-таки испугался; не правда ли, он еще совсем молодой?

— Да,— сказала она,— тебе ведь уже двадцать два.

— Вот именно. До двух лет меня звали не Фемель, а Шрелла, странная фамилия, да?

— Ты на него сердишься за это?

— Я на него не сержусь.

— Что же он мог такого сделать, из-за чего ты вдруг потерял желание строить?

— Я тебя не понимаю.

— Хорошо... Почему в таком случае он ни разу не навестил тебя в аббатстве Святого Антония?

— Очевидно, стройки не представляют для него интереса, быть может также, он слишком часто ездил туда в детстве, понимаешь, во время воскресных прогулок с родителями... Взрослые люди отправляются в те места, где прошло их детство, только если им хочется погрустить.

— А ты тоже совершал когда-нибудь воскресные прогулки с родителями?

— Не так уж часто; обычно мы гуляли с мамой, бабушкой и дедушкой, но когда отец приезжал в отпуск, он тоже присоединялся к нам.

— Вы ездили в аббатство Святого Антония?

— Да, случалось.

— Все-таки я не понимаю, почему он ни разу не навестил тебя.

— Просто-напросто стройки ему не по душе; быть может, он немного чудаковат; в те дни, когда я неожиданно возвращаюсь домой, он сидит в гостиной за письменным столом и царапает что-то на светокопиях чертежей — у него их целая коллекция. Но я думаю, отец тебе все же понравится.

— Ты мне ни разу не показывал его карточку.

— У меня нет его последних фотографий; знаешь, в его облике чувствуется что-то трогательно-старомодное — в одежде и в манере держать себя; он очень корректный и любезный, но гораздо старомоднее дедушки.

— Я жду не дождусь увидеть его. А теперь мне можно обернуться?

— Да.

Йозеф отпустил ее голову и, когда Марианна быстро обернулась, попытался изобразить на своем лице улыбку, но под взглядом ее круглых светло-серых глаз эта вымученная улыбка скоро погасла.

— Почему ты не скажешь мне, в чем дело?

— Потому, что я сам еще ничего не понимаю. Как только я пойму, я тебе скажу, но это будет, возможно, не скоро. Пошли?

— Да, — сказала она, — пора. Твой дедушка уже должен приехать, не заставляй его ждать; ему будет тяжело, если монахи расскажут ему о тебе до того, как вы встретитесь... и, пожалуйста, обещай мне, что ты не помчишься снова на этот ужасный щит! Нельзя тормозить в самую последнюю секунду.

— А я как раз подумал — налечу на щит, снесу

с лица земли бараки строителей и прыгну в воду с пустой площадки, как с трамплина...

— Значит, ты меня не любишь...

— О боже,— сказал он,— но ведь это только шутка.

Он помог Марианне встать, и они начали спускаться по лестнице на берег реки.

— Мне в самом деле жаль,— сказал Йозеф, останавливаясь,— что дедушка узнает это как раз сегодня, в день своего восьмидесятилетия.

— И его нельзя от этого избавить?

— От самого факта — нельзя, а от сообщения — можно, если ему еще не успели ничего сказать.

Йозеф отпер машину, сел в нее и открыл изнутри дверцу, чтобы впустить Марианну; когда девушка села рядом с ним, он положил руку ей на плечо.

— Ну, а теперь послушай,— сказал он,— это совсем просто; вся дистанция равняется точно четырем с половиной километрам, мне нужен разгон в триста метров, чтобы развить скорость сто двадцать километров в час, и еще триста метров для того, чтобы затормозить; причем я считаю с большим запасом; значит, можно спокойно проехать почти четыре километра, на это уйдет ровно две минуты; от тебя требуется только одно — следить за часами и сказать мне, когда пройдут эти две минуты, тогда я тут же начну тормозить. Неужели ты не понимаешь? Мне хотелось бы наконец узнать, что можно выжать из нашего драндулета.

— Какая ужасная игра! — сказала Марианна.

— Если бы мне удалось разогнать машину до ста восьмидесяти километров, то на всю дистанцию понадобилось бы только двадцать секунд... правда, тогда придется затормозить раньше.

— Перестань, прошу тебя.

— Ты боишься?

— Да.

— Хорошо, пусть будет по-твоему. Но позволь мне по крайней мере ехать со скоростью восемьдесят километров.

— Как знаешь, если тебе так уж хочется.

— При этом можно даже не смотреть на часы, я увижу сам, где тормозить, а потом измерю, на каком расстоянии я начал торможение; понимаешь, мне просто хочется узнать, не надула ли нас фирма со спидометром.

Он включил мотор, медленно проехал по узеньким переулочкам живописного пригорода, быстро миновал

забор, окружавший площадку для игры в гольф, и остановил машину у въезда на автостраду.

— Послушай,— сказал он,— при восьмидесяти километрах нужно ровно три минуты, это совершенно безопасно, поверь мне, а если ты боишься, выходи и подожди меня здесь.

— Нет, одного я тебя ни в коем случае не пущу.

— Но ведь это в последний раз,— сказал он,— уже завтра я, наверное, уеду отсюда, и больше мне никогда не представится такая возможность.

— На обычном шоссе гораздо удобнее проводить эти эксперименты.

— Да нет, меня привлекает именно то, что перед щитом волей-неволей надо остановиться.— Он поцеловал Марианну в щеку.— Знаешь, что я сделаю?

— Нет.

— Поеду со скоростью сорок километров.

Когда машина тронулась, Марианна улыбнулась, но все же посмотрела на спидометр.

— А теперь — внимание,— сказал он, миновав километровый столбик с цифрой пять,— посмотри на часы и сосчитай, сколько времени нам понадобится до столбика с цифрой девять; я еду со скоростью ровно сорок километров.

Далеко впереди, подобно задвижке на гигантских воротах, виднелись щиты; вначале они казались Марианне низкими, как плетень, но потом стали выше; они вырастали с удручающей неизбежностью; то, что издали походило на черного паука, превратилось в скрещенные кости, а что напоминало какую-то диковинную пуговицу, оказалось черепом; череп вырастал так же стремительно, как вырастало слово «смерть», летевшее ей навстречу, чуть было не задевшее за радиатор их машины; буква «с» в слове «смерть» казалась ей зияющей пастью, которая пыталась крикнуть им что-то ужасное; стрелка спидометра колебалась между «90» и «100»; мимо них пролетали дети на самокатах, мужчины и женщины, лица которых уже отнюдь не были праздничными; предостерегающе подняв руки, они пронзительно кричали, и казалось, это кричат черные птицы, вестники смерти.

— Это ты, ты еще здесь? — спросила она тихо.

— Конечно, и я точно знаю, где нахожусь,— ответил

он, улыбаясь и в упор глядя на букву «с» в слове «смерть». — Не волнуйся!

Незадолго до окончания рабочего дня десятник конторы, ведающей расчисткой развалин, повел его в трапезную, в углу которой лежала груда щебня; щебень перекладывали на ленту транспортера, а транспортер забрасывал его на грузовики; влага, скопившаяся во всем этом мусоре, превратила осколки кирпичей, куски штукатурки и неизвестно откуда взявшуюся грязь в клейкие комья; по мере того как гора щебня уменьшалась, на стенах проступала сырость — сперва появлялись темные, а потом светлые пятна, похожие на сыпь; под этими пятнами виднелось что-то красное, синее и золотое — остатки стенной росписи, которая показалась десятнику ценной, — там была изображена Тайная Вечеря; фреску покрывал сплошной налет сырости; Йозеф увидел золотую чашу, ослепительно белую облатку, лицо Христа, светлое, с темной бородкой, и каштановые волосы святого Иоанна.

— Посмотрите, господин Фемель, сюда, здесь нарисовано что-то темное, это кожаный кошелек Иуды. — Десятник осторожно стер сухой тряпкой белые пятна, благоговейно очистив кусок картины: двенадцать апостолов сидели вокруг стола, покрытого парчовой скатертью; Йозеф увидел ноги апостолов, края скатерти, пол зала Тайной Вечери, вымощенный плитами; он с улыбкой положил руку на плечо десятника и сказал:

— Молодец, что позвал меня, фреску надо, конечно, сохранить, прикажите очистить и высушить ее, прежде чем предпринимать что-нибудь дальше. — И он уже собрался было уходить; на столе его ждали чай, хлеб и селедка; была пятница, и это можно было определить по тому, что в монастыре кормили рыбой. Марианна уже выехала из Штелингерс-Гротте, чтобы погулять вместе с ним, но вдруг, за секунду перед тем как отвернуться, он увидел в углу картины, в самом низу, буквы «XYZX»; сотни раз, когда отец помогал ему готовить уроки по математике, он видел написанные его рукой «X», «Y», «Z», и сейчас он увидел их вновь над пробойной от взрыва между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра; колонны трапезной были взорваны, высокие своды разрушены; уцелели только остатки стены с фреской Тайной Вечери и буквы «XYZX».

— Что-нибудь случилось, господин Фемель? — спросил десятник и положил ему руку на плечо.— У вас ни кровинки в лице, или это из-за вашей зазнобы?

— Да, из-за нее,— ответил он,— из-за нее. Можете не беспокоиться, большое спасибо, что позвали меня.

Чай показался Йозефу невкусным, хлеб, масло и селедка тоже; была пятница, и это можно было определить по тому, что в монастыре кормили рыбой; даже сигарета показалась ему невкусной; он прошел через все здание, обогнув монастырскую церковь, вошел в подворье для паломников, осматривая все места, важные с точки зрения статики, но не нашел ничего, кроме единственной маленькой буквы «х» в подвале монастырского подворья; почерк отца нельзя было спутать ни с каким другим, так же как его лицо, походку, улыбку, так же как чопорную вежливость, с какой он наливал вино или передавал за столом хлеб; то был его маленький «х», «х» доктора Роберта Фемеля, владельца конторы по статическим расчетам.

— Прошу тебя, прошу тебя,— сказала Марианна,— опомнись.

— Я и так опомнился,— ответил он, отпустил акселератор, поставил левую ногу на педаль сцепления, а правой нажал на тормоз; машина заскрежетала и, вихляя во все стороны, придвинулась вплотную к большой букве «с» в слове «смерть»; пыль поднялась столбом, завизжали тормоза, к машине, махая руками, бежали встревоженные пешеходы, между словом «смерть» и скрещенными костями появился усталый ночной сторож, державший в руках котелок с кофе.

— О боже,— сказала Марианна,— неужели надо было так пугать меня?

— Прости,— сказал он тихо,— пожалуйста, прости меня. Я потерял контроль над собой.— Он быстро развернулся и уехал, прежде чем вокруг машины успели столпиться зеваки; четыре километра он вел машину с нормальной скоростью, держа руль одной левой рукой, а правой обнимал Марианну; так они миновали площадку для игры в гольф, где хорошо натренированные женщины и мускулистые мужчины старались добраться кто до шестнадцатой, кто до семнадцатой, а кто и до восемнадцатой лунки.

— Прости,— сказал Йозеф.— ей-богу, я больше ни-

когда не буду.— Он свернул с автострады, и теперь они ехали мимо живописных полей, вдоль тихой опушки леса.

«XYZX» — эти же самые буквы он видел на фотокопиях чертежей величиной с две почтовые открытки, которые его отец тасовал по вечерам, как колоду карт; «Вилла на опушке леса для издателя» — «XxX»; «Перестройка здания общества «Все для общего блага» — «YxY»; «Жилой дом для учителя на берегу реки» — один только «Y»; сегодня Йозеф увидел эти же самые буквы между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра.

Машина медленно проезжала по свекловичным полям, из-под широких зеленых листьев уже вылезали толстые корнеплоды, за жнивьем и лугами виднелся Козакенхюгель.

— Почему ты не хочешь мне сказать, что случилось? — спросила Марианна.

— Потому что я сам еще не разобрался, потому что не знаю, прав ли я. Может быть, это просто дурной сон; может быть, немного погодя я все тебе объясню, а может, и нет.

— Но ты уже не хочешь быть архитектором?

— Нет,— сказал он.

— И потому мчался прямо на щиты?

— Возможно,— ответил он.

— Я всегда ненавидела людей, которые не знают цены деньгам,— сказала Марианна,— которые бессмысленно мчатся с недозволенной скоростью прямо на щит со словом «смерть» и без всяких оснований заставляют волноваться тех, кто наслаждается заслуженным отдыхом после трудового дня.

— Но у меня были основания мчаться на щиты.— Йозеф поехал медленней, а потом остановил машину на песчаной дороге у подножия холма; он поставил машину у сосны с нависшими над дорогой ветвями.

— Зачем ты остановился? — спросила она.

— Пошли,— сказал он,— давай еще немножко погуляем.

— Уже поздно,— возразила она,— твой дедушка наверняка приедет поездом четыре тридцать, а сейчас уже четыре двадцать.

Йозеф вышел из машины, взбежал вверх по склону и, приставив руку к глазам, посмотрел в сторону Денклингена.

— Да,— закричал он,— я вижу, поезд уже выходит из Додрингена; все та же старая пыхтелка, как в дни

моего детства, и отходит она в то же время. Пошли, четверть часика они подождут.

Он снова подбежал к машине, потянул Марианну с сиденья, а потом, взяв за руку, потащил за собой по песчаной тропинке вверх; они уселись на прогалине; Йозеф показал на равнину, его палец следовал за поездом, который шел мимо свекловичных полей, мимо лугов и жнивья к Кисслингену.

— Ты даже не представляешь себе,— сказал он,— как хорошо я знаю окрестные деревни и как часто мы приезжали сюда этим поездом; после смерти матери мы почти все время жили в Штелингене или Гёрлингене, и я ходил в школу в Кисслингене; по вечерам мы бегали к этому поезду, потому что с ним приезжал из города дедушка, к этому самому поезду. Ты его видишь? Он как раз отходит от Денклингена; как ни странно, но мне всегда казалось, что мы бедные; пока была жива мать и пока бабушка жила с нами, нам давали меньше еды, чем другим детям, которых мы знали, и мне не разрешали надевать хорошую одежду, я носил только перешитые вещи, в нашем присутствии бабушка раздаривала чужим людям все хорошее, что мы получали из аббатства и из наших усадеб,— хлеб, масло, мед; нам самим приходилось есть искусственный мед.

— И ты ненавидел свою бабушку?

— Нет, сам не знаю почему, но у меня не было к ней ненависти; может быть, потому, что дедушка водил нас к себе в мастерскую и тайком угощал вкусными вещами; и еще он водил нас в кафе «Кронер» и кормил до отвала; он всегда повторял: «Мать и бабушка делают большое дело, очень большое дело... не знаю только, достаточно ли вы уже большие для таких больших дел».

— В самом деле он так говорил?

— Да.— Йозеф засмеялся.— Когда мать умерла, а бабушку увезли, мы остались с дедушкой, и с тех пор нам хватало еды; под конец войны мы почти все время жили в Штелингене; я слышал, как ночью взорвали аббатство; мы сидели тогда в Штелингене на кухне; крестьяне и все наши соседи кляли немецкого генерала, который приказал взорвать монастырь, и бормотали себе под нос «зачемзачемзачем». Через несколько дней к нам явился отец, он приехал в американском автомобиле, и его сопровождал американский офицер; отцу разрешили побывать с нами всего три часа; отец привез нам шоколад, но нас испугала эта клейкая темно-коричневая

масса, мы никогда не ели шоколада и согласились его попробовать только после госпожи Клошграбе, жены управляющего; отец привез госпоже Клошграбе кофе, и она сказала ему: «Не беспокойтесь, господин доктор, мы следим за вашими детьми, как за своими собственными», а потом прибавила: «Какой позор, что они взорвали аббатство, да еще перед самым концом войны»; отец ответил: «Да, позор, но, быть может, на то была воля Божья»; госпожа Клошграбе возразила отцу: «Бывает, что люди выполняют не Божью волю, а волю дьявола», отец засмеялся, и американский офицер тоже засмеялся; отец был с нами ласков, и я в первый раз увидел слезы у него на глазах; он заплакал, когда ему надо было уходить от нас; раньше я не предполагал, что он может плакать; он был всегда сдержан, не проявлял своих чувств; отец не плакал даже тогда, когда ему надо было возвращаться из отпуска в свою часть и мы провожали его; на вокзале все плакали: мать, бабушка, дедушка и мы с сестрой,— все, кроме него... Видишь,— сказал Йозеф, показывая на дым от паровоза, похожий на развевающийся флаг,— он только что прибыл в Кисслинген.

— Сейчас дедушка отправится в аббатство, и там ему скажут то, что, собственно говоря, ты должен был сказать сам.

Я стер меловые буквы между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра, а также маленький «х» в погребке подворья для паломников; он их не найдет, никогда не обнаружит и ничего не узнает от меня.

— Три дня фронт проходил между Денклингеном и городом,— сказал Йозеф,— и мы с госпожой Клошграбе молились по вечерам за дедушку; потом он явился вечером из города, бледный и грустный, таким я его еще никогда не видел; он ходил с нами смотреть на развалины аббатства, бормоча то же, что бормотали крестьяне, то же, что бабушка постоянно бормотала в бомбоубежище: *«зачемзачемзачем»*.

— Наверное, он был счастлив, что ты помогаешь восстанавливать аббатство?

— Да,— сказал Йозеф,— но я не могу больше давать ему это счастье; не спрашивай — почему; не могу, и все.

Он поцеловал Марианну, зачесал ей за ухо прядь волос

и еще раз провел рукой по ее волосам, стряхивая с них сосновые иглы и песчинки.

— Отец вскоре вернулся из плена и забрал нас в город, несмотря на протесты дедушки, который уверял, что для нас было бы куда лучше, если бы мы росли не среди развалин. Но отец говорил: «Я не могу жить в деревне и хочу, чтобы мои дети были со мной, я их почти не знаю». Мы его тоже не знали и первое время дичились; мы чувствовали, что дедушка тоже боится отца. В то время все мы размещались в дедушкиной мастерской, потому что наш дом был непригоден для жилья; на стене в мастерской висел громадный план нашего города; все разрушенные здания были отмечены на нем жирными черными значками; делая уроки за дедушкиным чертежным столом, мы часто прислушивались к тому, что говорили отец, дедушка и другие взрослые, толпившиеся перед планом. Они часто спорили, потому что отец всегда повторял одно и то же: «Все это — долой... взорвать!» — и чертил букву «х» рядом с очередным черным значком, а остальные всегда возражали ему: «Боже избави, это невозможно»; отец говорил: «Сделайте это, до того как в город вернутся люди... сейчас здесь еще пусто и вам не надо ни с кем считаться; сметите все это с лица земли...» Но остальные отвечали ему: «Этот оконный проем сохранился еще с шестнадцатого века, а эта стена часовни — с двенадцатого»; тогда отец бросал грифель и говорил: «Хорошо, поступайте как знаете, но, поверьте мне, вы еще раскаетесь... поступайте как знаете, но меня увольте». Ему отвечали: «Дорогой господин Фемель, вы наш лучший специалист-подрывник, вы не можете бросить нас на произвол судьбы»; отец отчеканивал: «И все же я брошу вас на произвол судьбы, если мне придется считаться с каждым древнеримским курятником. По-моему, стены — это стены, и, поверьте, они отличаются друг от друга только тем, прочные они или нет, к черту, взрывайте эту дрянь, и все сразу станет на место». Когда они ушли, дедушка засмеялся и сказал: «О боже, ты ведь должен понять их чувства», но отец тоже засмеялся и ответил: «Я понимаю их чувства, только я их не уважаю», а потом добавил: «Пошли, дети, купим шоколаду», и он отправился с нами на черный рынок, там он купил себе сигареты, а нам шоколад; мы влезали с ним в темные полуразрушенные подъезды домов, карабкались по лестницам: отец хотел купить еще сигары для

дедушки; он всегда покупал и никогда ничего не продавал; если мы получали хлеб и масло из Штелингена или из Гёрлингена, то брали в школу и его долю; отец разрешал нам отдавать продукты, кому мы захотим; однажды мы купили на черном рынке масло, которое сами только что подарили; в свертке все еще лежала записка госпожи Клошграбе, в которой говорилось: «На этой неделе я могу Вам послать, к сожалению, только один килограмм». Отец засмеялся и сказал: «Ну да, людям ведь нужны деньги на сигареты». Как-то к нам опять пришел бургомистр, и отец сообщил ему: «В развалинах францисканского монастыря я обнаружил грязь из-под ногтей, которая восходит к четырнадцатому веку, не смейтесь, это — четырнадцатый век, вполне доказано; грязь смешана с ворсинками от шерстяной пряжи, изготовлявшейся, как известно из достоверных источников, в нашем городе *только* в четырнадцатом веке; таким образом, мы имеем первоклассную культурно-историческую реликвию, господин бургомистр». Бургомистр ответил: «Вы заходите слишком далеко, господин Фемель», а отец возразил: «Я найду еще дальше, господин бургомистр». Но тут засмеялась моя сестренка Рут, которая сидела рядом со мной и, сажая кляксы, писала что-то в своей тетради по арифметике; она вдруг звонко рассмеялась; отец подошел к ней, поцеловал ее в лоб и сказал: «Да, детка, это и впрямь смешно». Я почувствовал ревность, ведь меня отец еще ни разу не целовал в лоб; мы любили его, Марианна, но все еще немного побаивались, особенно когда он стоял перед планом с черным грифелем в руках и говорил: «Взорвать... долой все это». Отец был всегда строг, когда дело касалось моих занятий, он часто повторял: «Есть только два пути — либо ничего не знать, либо знать все; твоя мать ничего не знала, по-моему, она не закончила даже начальной школы; и все же я никогда не женился бы ни на какой другой женщине; одним словом, решай!» Мы его любили, Марианна; и когда я сейчас думаю, что в то время ему было немногим больше тридцати лет, мне просто не верится: мне всегда казалось, что он гораздо старше, хотя он вовсе не выглядел старым; иногда он даже был веселым, чего теперь с ним не бывает; по утрам, когда мы вылезали из своих кроватей, он уже стоял у окна, брился и кричал нам: «Война кончилась, дети», хотя война кончилась уже четыре или пять лет назад.

— А теперь пошли,— сказала Марианна,— нельзя, чтобы они ждали столько времени.

— Пусть подождут,— ответил он.— Я еще должен узнать, что было с тобой, овечка. Я ведь почти ничего о тебе не знаю.

— Овечка,— повторила она,— почему ты меня так называешь?

— Просто мне вдруг пришло в голову это слово,— ответил он,— скажи мне, что было с тобой; каждый раз, когда я замечаю, что у тебя такой же говор, как у додрингенцев, мне становится смешно, тебе он не идет; я знаю, что ты училась в тамошней школе, хотя ты и не оттуда родом; и еще я знаю, что ты помогаешь госпоже Клошграбе печь пироги, готовить и гладить белье.

Марианна положила его голову к себе на колени, прикрыла ему глаза рукой и сказала:

— Ты хочешь знать, что было со мной? Со мной? Ты это действительно хочешь знать?.. Падали бомбы, но они так и не попали в меня, хотя бомбы были очень большие, а я очень маленькая; люди в бомбоубежище совали мне разные лакомства, а бомбы все падали и падали, но не убили меня, я слышала, как они взрывались и как осколки с шумом пролетали сквозь ночь, подобно порхающим птицам, и кто-то пел в бомбоубежище «Дикие гуси с шумом несутся сквозь ночь». Отец мой был высокого роста, темноволосый и красивый, он носил коричневый мундир с золотым шитьем, на поясе у него висело что-то вроде кинжала, отливавшего серебром; он выстрелил себе в рот; не знаю, видел ли ты когда-нибудь человека, который выстрелил себе в рот? Нет, не видел, ну, тогда благодари Бога, что Он спас тебя от этого зрелища. Отец лежал на ковре, и кровь текла по турецкому ковру, по смирнскому узору — настоящему смирнскому, дорогой мой; моя мать была белокурая высокая женщина в синей форме, она носила красивые элегантные шляпки, но не носила кинжала у бедра; у меня был еще младший братик, белокурый мальчик, намного моложе меня; братик висел над дверью с пеньковой петлей на шее, покачиваясь взад и вперед; я смеялась, я продолжала смеяться и тогда, когда мать накинула мне веревку на шею, бормоча себе под нос: «Он так велел», но тут вошел какой-то человек, без мундира, без золотого шитья и без кинжала, с пистолетом в руке, он наставил пистолет на мою мать и вырвал меня у нее из рук, я заплакала, на шее у меня уже болталась веревка, и мне

хотелось сыграть в ту же игру, в какую играл мой младший братик,— в игру под названием «он так велел»; однако человек, зажав мне рот, спустился по лестнице со мной на руках, снял с меня петлю и посадил на грузовик...

Йозеф попытался отнять руки Марианны от своего лица, но девушка крепко прижала их к его глазам.

— Ты не хочешь узнать, что было дальше? — спросила она.

— Хочу,— ответил он.

— Тогда не открывай глаз и дай мне закурить.

— Здесь, в лесу?

— Да, здесь, в лесу.

— Достань сигарету из кармашка моей рубахи.

Йозеф почувствовал, как она расстегнула кармашек его рубахи и, не отнимая правой руки от его глаз, вытащила пачку сигарет и коробок спичек.

— Я тебе тоже дам закурить,— сказала она,— здесь, в лесу... Мне исполнилось тогда ровно пять лет, и я была таким милым ребенком, что люди ухитрялись баловать меня даже на грузовике: они совали мне всякие лакомства и на стоянках мыли меня с мылом; грузовик обстреливали из пушек и пулеметов, но не попадали в него; так мы ехали долго, не знаю точно, сколько времени, но наверняка не меньше двух недель, а когда машина остановилась, то человек, который не дал мне сыграть в игру под названием «он так велел», взял меня с собой; он заворачивал меня в одеяло и клал рядом на сено или на солому, а то и на кровать и говорил: «Ну-ка, скажи мне: «отец», но я не знала, что такое «отец», того мужчину в красивом мундире я всегда называла «папочка», потом я все же научилась говорить «отец», так я звала тринадцать лет подряд человека, который не дал мне сыграть в ту игру; теперь у меня была своя кроватка, свое одеяло и мать, она была строгая, но любила меня; девять лет я прожила в их опрятном домике. В школе священник сказал про меня: «Посмотрите-ка, кто перед нами! Перед нами самая настоящая, сама подлинная язычница»; все дети засмеялись, потому что они не были язычниками, но священник добавил: «Но мы быстро превратим нашу маленькую язычницу, нашу милую овечку в маленькую христианку»; и они превратили меня в христианку. Овечка была милая и счастливая; водила хороводы и скакала на одной ножке, играла в мяч, прыгала через веревочку и очень любила своих родителей, а потом настал день, когда в школе было пролито

несколько слезинок и произнесено несколько напутственных речей, где несколько раз повторялось об окончании целого жизненного этапа; после школы овечка поступила в ученье к портнихе, она училась управляться с иглой и ниткой, а мать учила ее убирать, печь пироги и готовить; все в деревне говорили: «Когда-нибудь на ней женится принц, она достойна принца...» Но вот в один прекрасный день в деревню прикатил очень большой и очень черный автомобиль; за рулем сидел бородастый человек; автомобиль остановился на деревенской площади, и человек спросил, не выходя из машины: «Будьте добры, скажите, где живут Шмитцы?» Люди на площади ответили ему: «У нас очень много Шмитцев, какие именно вам нужны?» Человек за рулем сказал: «Те, у кого есть приемная дочь»; люди на площади ответили: «Значит, вам нужен Эдуард Шмитц, он живет вон там за кузницей, в доме, перед которым растет самшит». Человек за рулем сказал «спасибо», и автомобиль покатило дальше; за ним двинулось много народу; ведь от деревенской площади до дома Эдуарда Шмитца было не более пятидесяти шагов; я сидела на кухне и перебирала салат; мне очень нравилось это занятие, я любила перебирать листья — плохие выбрасывать, а хорошие класть в решето, где салат казался таким зеленым и чистым. Ни о чем не подозревая, мы с матерью мирно беседовали: «Не огорчайся, Марианна, — говорила она, — ничего не поделаешь, все мальчики становятся несносными лет в тринадцать — четырнадцать, а некоторые уже в двенадцать, в этом возрасте они выкидывают разные штуки, такова природа, а с природой сладить нелегко», а я отвечала: «Я огорчаюсь вовсе не из-за этого». — «Из-за чего же ты тогда огорчаешься?» — спросила мать. Я сказала: «Я вспоминаю своего братика, он висел, а я смеялась, не зная, как все это ужасно... ведь он был некрещеный». Не успела мать ответить, как открылась дверь; мы не слышали стука... Я сразу же узнала ее, она все еще была белокурая и высокая и носила, как и раньше, элегантную шляпку, но синей формы на ней сейчас не было; она тут же подошла ко мне, раскрыла объятия и сказала: «Ты — моя Марианна... разве голос крови тебе ничего не говорит?» На секунду ножик замер у меня в руке, а потом я ответила, аккуратно обрезая салатный лист: «Нет, голос крови мне ничего не говорит». — «Я — твоя мать», — сказала она. «Нет, — возразила я, — вон моя мать. Меня зовут Марианна Шмитц, — и, помолчав не-

много, добавила: — «Он так велел», и вы набросили мне петлю на шею, милостивая государыня». Этому обращению я выучилась у портнихи, от нее я узнала, что таким дамам следует говорить «милостивая государыня».

Она кричала, плакала и пыталась обнять меня, но я держала у груди нож острием вперед; она говорила о гимназиях и университетах, кричала и плакала, но я выбежала через черный ход в сад, а потом в поле, прибежала к священнику и рассказала ему все. Он сказал: «Она твоя мать, а родительские права есть родительские права; пока ты не станешь совершеннолетней, право на ее стороне; дело скверное». Я возразила ему: «Разве она не потеряла это право, когда играла в игру под названием *«он так велел»?*» Священник ответил: «Ты хитрое создание, запомни этот довод хорошенько». Я запомнила этот довод и без конца приводила его, когда они начинали говорить о голосе крови. «Я не слышу голоса крови,— повторяла я,— совершенно не слышу». Они удивлялись. «Но ведь это невозможно, подобный цинизм противоестествен». — «Нет,— говорила я,— *«он так велел»* — вот что противоестественно». Они отвечали: «Но ведь это случилось уже больше десяти лет назад, и твоя мать раскаивается в своем поступке». Я говорила: «Есть поступки, которые нельзя искупить даже раскаянием». — «Неужели ты хочешь быть неумолимей самого Господа Бога, который судит нас?» — спросила она. «Я не Бог,— ответила я,— и не могу быть такой милосердной, как Он». Меня оставили у моих родителей. Но одному я не сумела помешать: отныне меня зовут не Марианна Шмитц, а Марианна Дросте. У меня было такое чувство, словно мне что-то вырезали... Я все еще вспоминаю своего маленького братика, которого заставили играть в игру под названием *«он так велел»*,— тихо прибавила она.— Ты по-прежнему считаешь, что бывают более страшные истории, такие, что их нельзя даже рассказать?

— Нет, нет,— сказал Йозеф,— Марианна Шмитц, я все тебе расскажу.

Марианна отняла руку от его глаз, он выпрямился и посмотрел на нее; она старалась не улыбаться.

— Такого ужаса твой отец не сделал бы,— сказала она.

— Да,— согласился он,— такого ужаса он не сделал бы, хотя все же сделал нечто ужасное.

— Пошли,— сказала она,— расскажешь мне в ма-

шине, скоро уже пять часов, им придется нас ждать; если бы у меня был дедушка, я бы не заставляла его ждать, а если бы у меня был такой дедушка, как у тебя, я бы для него ничего не пожалела.

— А для моего отца? — спросил Йозеф.

— Его я пока не знаю, — ответила Марианна, — пошли. И не трусь, расскажи ему все при первом же удобном случае. Пошли.

Она заставила его встать, и когда они сели в машину, он, как и раньше, положил ей руку на плечо.

9

Молодой банковский служащий бросил на Шреллу сочувственный взгляд, когда тот пододвинул к нему по мраморной доске пять английских шиллингов и тридцать бельгийских франков.

— И это все?

— Да, все, — сказал Шрелла.

Служащий взялся за арифмометр и с неудовольствием покрутил ручку, ручка вращалась так недолго, что уже в этом, казалось, было что-то унижительное для Шреллы; служащий быстро написал несколько цифр на бланке и подвинул к Шрелле пятимарковую бумажку, четыре монетки по десять пфеннигов и три по одному.

— Следующий, прошу вас.

— Не можете ли вы сказать, как проехать в Блессенфельд? — тихо спросил Шрелла. — Вы не знаете, туда все еще ходит одиннадцатый номер?

— Ходит ли одиннадцатый номер в Блессенфельд? Но ведь я не справочное бюро, — сказал молодой служащий, — впрочем, я, право, не знаю.

— Спасибо. — Шрелла сунул деньги в карман и отошел, пропустив к окошку какого-то господина, который положил на мраморную доску пачку швейцарских франков; уходя, Шрелла слышал, как ручка арифмометра начала почтительно вращаться, совершая оборот за оборотом. Пренебрежение, облеченное в вежливую форму, действует сильнее всего, подумал Шрелла.

Зал ожидания на вокзале. Лето. Солнце. Веселые лица. Конец недели. Бои из отеля тащат чемоданы на перрон; молодая женщина стоит, высоко подняв табличку с надписью: «Отъезжающие в Лурд, собирайтесь

здесь». Газетчики... цветочные киоски... Девушки и юноши с пестрыми купальными полотенцами под мышкой.

Шрелла перешел вокзальную площадь, остановился на островке для пешеходов и начал изучать трамвайные маршруты: одиннадцатый номер все еще ходил в Блессенфельд; сейчас он стоит у светофора, между отелем «Принц Генрих» и боковым приделом Святого Северина; а вот он подошел к остановке; все пассажиры постепенно выходят. Шрелла стал в очередь, выстроившуюся перед загородкой кондуктора, заплатил за проезд, сел, снял шляпу, провел платком по потному лбу и вытер стекла очков; пока трамвай трогался, он тщетно ждал, что в нем пробудятся какие-то чувства, но чувства так и не пробудились; гимназистом он тысячи раз ездил на одиннадцатом номере; пальцы его попутчиков были измазаны чернилами, мальчишки без умолку болтали о всяких пустяках, и это всегда действовало ему на нервы; они говорили о сечении шара, об ирреалисе и плюсквамперфекте, о бороде Барбароссы, которая проросла через стол; болтали о *«Коварстве и любви»*, о Ливии и об Овидии в зеленовато-сером картонном переплете; чем дальше трамвай уходил от центра, тем тише становилась болтовня; те, кто рассуждал с наибольшим апломбом, сходили в центре и растекались по широким сумрачным улицам, застроенным солидными домами; те, кто говорил несколько менее уверенно, сходили в новых районах и разбредались по более узким улицам с менее солидными домами; в трамвае оставалось всего лишь два-три гимназиста, ехавших в Блессенфельд, где были самые несолидные дома; когда трамвай, покачиваясь, подъезжал к конечной остановке, минуя огороды и гравийные карьеры, разговор входил в нормальное русло.

— Твой отец тоже бастует? У Грессигмана дают сейчас уже четыре с половиной процента скидки.

— Маргарин подешевел на пять пфеннигов.

Около парка, где летом всю зелень быстро вытапывали, где песок вокруг небольших прудов был изрыт тысячами детских ножек и густо усеян мусором — клочками бумаги и осколками бутылок, на углу Груффельштрассе, где склады старьевщиков все снова и снова наполнялись железным ломом и тряпками, бумагой и бутылками, открылся жалкий ларек с лимонадом: тощий безработный решил попытать счастья в торговле; за короткое время он разжирел, отделал свою будку стеклом и нержавеющей сталью, оборудовал блестящие

автоматы и, нажравшись пфеннигов, стал барином, хотя ему все еще приходилось время от времени сбавлять цену за стакан лимонада на два пфеннига, с опаской предупреждая клиента:

— Только больше никому не говори.

Одиннадцатый номер, покачиваясь из стороны в сторону, проехал по центру, а потом начал приближаться к Блессенфельду, минуя огороды и гравийные карьеры, но чувства так и не пробудились в Шрелле; тысячи раз Шрелла слышал названия этих остановок: Бауссерештрассе, Северный парк, Блесский вокзал, Внутреннее кольцо; но в этот солнечный день, когда почти пустой трамвай подъезжал к конечной остановке, все названия казались ему незнакомыми, как будто их произносили во сне, и сон этот видел не он, а другой человек, тщетно пытавшийся рассказать ему об увиденном; теперь названия остановок звучали, как вопли о помощи, доносившиеся из густого тумана.

Там, на углу Парковой улицы и Внутреннего кольца, стояла будочка, где мать попыталась было торговать жареной рыбой, но потерпела неудачу из-за своего чересчур мягкого сердца:

— Я не могу отказать голодным ребятишкам в кусочке рыбы, ведь они видят, как я ее жарю.

Отец отвечал:

— Ну конечно, ты не можешь, но нам придется закрыть лавочку, мы потеряли кредит, разорились, торговцы больше не отпускают нам товара.

Пока кусок рыбного филе, обваленный в сухарях, жарился в кипящем масле, мать накладывала на картонную тарелочку две-три ложки картофельного салата; *сострадавая, сердце матери твердым не оставалось*; из ее голубых глаз катились слезы; соседки шептали друг другу: «Она выплачет себе всю душу». Мать перестала есть и пить, из пышной, цветущей женщины она превратилась в худосочную бледную немочь; от пригожей буфетчицы из привокзального буфета — общей любимицы — осталась только тень; целыми днями она бормотала: «О Господи! О Господи!» — и перелистывала истрепанные страницы сектантских молитвенников, возвещавших о светопреставлении; на пыльных улицах развевались красные флаги, и в то же время там проносили плакаты с портретами Гинденбурга; то и дело слышались крики и выстрелы; вспыхивали драки; пели фанфары и гремел барабан. В гробу мать казалась совсем де-

вочкой — такая она была маленькая и худая; ее похоронили на кладбище для бедняков, на могиле посадили астры и поставили тонкий деревянный крест с надписью: «Эдит Шрелла, 1896—1932»; мать выплакала себе всю душу, а потом ее плоть смешалась с землей на Северном кладбище.

— Конечная остановка, — объявил кондуктор, вылезая из-за своей загородки и закуривая окурочек сигареты. — Дальше мы, к сожалению, не поедem, — добавил он, проходя вперед.

— Спасибо.

Тысячи раз он садился в трамвай и выходил из него на этом месте... конечная остановка одиннадцатого номера... где-то здесь, между ямами, вырытыми землечерпалкой, и бараками, обрывались ржавые рельсы, которые проложили тридцать лет назад, намереваясь удлинить трамвайную линию; а вот и ларек с лимонадом: не ржавеющая сталь, стеклянные сифоны, блестящие автоматы, аккуратно разложенные плитки шоколада.

— Мне, пожалуйста, стакан лимонаду.

Зеленоватая жидкость в безукоризненно чистом стакане напоминала вкусом душистый ясенник.

— Пожалуйста, сударь, если вам не трудно, бросьте бумагу в урну. Вкусная вода?

— Да, спасибо.

Куриные ножки и мягкая куриная грудка, хорошо зажаренные в масле наивысшего качества, были вложены в целлофановый пакетик из набора для пикника и заколоты булавками; курица еще не успела остыть.

— Какой аппетитный запах. Не хотите ли еще стакан лимонаду?

— Нет, спасибо. Дайте мне, пожалуйста, полдюжины сигарет.

В раздобревшей торговке лимонадом еще можно было узнать тоненькую красивую девочку, какой она была прежде. Правда, теперь ее голубые детские глазки, которые в былые дни исторгли из груди мечтательного капеллана, готовившего детей к первому причастию, такие слова, как «ангельски чистое невинное дитя», застыли, стали жесткими глазами торговли.

— Девяносто пфеннигов за все, прошу вас.

— Спасибо.

Кондуктор одиннадцатого номера дал звонок к отправлению; Шрелла слишком замешкался, теперь ему предстояло пробыть в Блессенфельде целых двенадцать

минут до следующего трамвая; он закурил, медленно допил лимонад и, глядя на розовое каменное лицо торговки, попытался вспомнить, как ее звали когда-то; это белокурое создание очень быстро утратило свою ангельскую чистоту; девчушка носилась с распущенными волосами по парку и завлекала юношей в темные подьезды; она вымогала любовные клятвы у охрипших от волнения подростков; а ее брат, такой же белокурый и такой же ангельски чистый, тщетно подбивал мальчишек со всей улицы на благородные подвиги, он служил подмастерьем у столяра и считался лучшим бегуном на сто метров; однажды на рассвете его обезглавили из-за его собственного безрассудства.

— Пожалуйста, дайте мне еще стаканчик,— сказал Шрелла.— Я передумал.

Теперь он разглядывал безукоризненно ровный пробор молодой женщины, которая, наклонившись вперед, подставила стакан под струю лимонада из сифона; брата этой девочки, похожего на ангела, звали Ферди, а ее имя было Эрика Прогульске, это имя осипшие мальчишки шепотом передавали друг другу, подобно паролю, открывавшему доступ к райскому блаженству; она спасала мальчиков от невыразимых мук и, как говорили, *делала это бесплатно*, потому что ей так нравилось.

— Мы, кажется, знакомы? — Она с улыбкой поставила стакан лимонада на стойку.

— Нет,— возразил Шрелла, улыбаясь,— по-моему, нет.

Воспоминания ни в коем случае нельзя размораживать, не то ледяные узоры превратятся в тепловатую грязную водичку; нельзя воскрешать прошлое, нельзя извлекать строгие детские чувства из размякших душ взрослых людей; того и гляди узнаешь, что теперь та же девушка *делает это за плату*; осторожно! Главное — не заводить разговоров.

— Да, тридцать пфеннигов. Спасибо.

Сестра Ферди Прогульске посмотрела на него с профессиональной приветливостью. Меня ты тоже избавила от мук и *сделала это бесплатно*, не взяла даже шоколадку, которая совсем растаяла у меня в кармане, а ведь шоколадка не была платой, я просто хотел подарить ее тебе, но ты не взяла шоколадку, твой сострадательный рот и твои руки спасли меня; надеюсь, ты не рассказывала об этом Ферди; ведь сострадание теряет силу, если тайна не сохраняется; тайны, облеченные в слова, убий-

ственны; надеюсь, Ферди ничего не знал в то июльское утро, когда он в последний раз видел небо; я был единственный подросток на всей Груффельштрассе, согласившийся совершать благородные подвиги. Эдит мы тогда вообще не принимали в расчет, ей было всего двенадцать лет, и никто еще не мог разгадать, какое у нее мудрое сердце.

— Мы правда не знакомы?

— Да, уверен.

Сегодня ты приняла бы от меня подарок, твое сердце стало твердым, оно уже не сострадает; за несколько недель ты лишилась своей детской безгрешности, которую сохраняла даже в грехе; ты решила, что куда лучше жить не сострадав, ведь ты вовсе не хотела стать слезливой белокурой размазней, которая готова выплакать себе всю душу; нет, мы не знакомы, не будем размораживать ледяные узоры. Спасибо, до свидания.

Напротив все еще помещалась пивная «Блессенский уголок», где отец работал кельнером, он подавал там пиво, водку и котлеты, и так каждый день, смесь ожесточения и кротости придавала его чертам совершенно неповторимое выражение; у него было лицо мечтателя, которому безразлично, где он служит, — разносит ли он в блессенфельдской пивной пиво, водку и котлеты, подает ли в «Принце Генрихе» омаров и шампанское или же кормит завтраками в Верхней гавани утомленных бессонной ночью проституток, предлагая им пиво, биточки, шоколад и черри-бренди; следы этих завтраков — липкие пятна на манжетах — отец приносил домой; он приносил домой также щедрые чаевые, шоколад и сигареты, но никогда не приносил того, что было у всех других отцов, — праздничного настроения, которое разрешалось либо криком и ссорами, либо любовными клятвами и слезами примирения; на отцовом лице всегда было выражение ожесточенной кротости; этот падший ангел прятал Ферди под пивной стойкой; там, между трубками от сифонов, полицейские и нашли белокурого Ферди, который улыбался даже перед лицом смерти; в тот вечер с манжет отца, как всегда, смыли липкие пятна, его кельнерскую рубашку накрахмалили так, что она стала жесткой и ослепительно белой; они забрали отца только на следующее утро; сунув под мышку бутерброды и черные лаковые ботинки — он как раз собрался ехать на службу, — он сел в полицейскую машину и с того дня исчез бесследно; на его могиле не

было ни белого креста, ни астр — кельнер Альфред Шрелла исчез. *Его убили даже не при попытке к бегству, он просто бесследно исчез.*

Эдит размешивала крахмал, начищала запасную пару черных ботинок отца, стирала белые галстуки, а я в это время учился, играючи изучал Овидия и сечения конусов, дела и замыслы Генриха I, Генриха II и Тацита, дела и замыслы Вильгельма I и Вильгельма II, учил наизусть Клейста, изучал стереометрию; я был очень способный, необычайно способный ученик; мне, сыну бедняка, так же как и моим товарищам, приходилось преодолевать во время учения тысячи препятствий; кроме того, судьба избрала меня для свершения благородных подвигов, и я еще позволял себе, так сказать, некоторую роскошь — читал Гёльдерлина.

До отхода трамвая оставалось еще семь минут. Дом 17 на Груффельштрассе был заново оштукатурен, перед ним стояли зеленая машина, красный велосипед и два грязных детских самоката. Я тысячу раз звонил в эту дверь, нажимал на тусклую латунную кнопку звонка; до сих пор мои пальцы помнят, как я это делал; вместо «Шрелла» там теперь написано «Трессель», а вместо «Шмитц» — «Хуман», все фамилии новые, за исключением Фруля. К Фрулю приходили занять стакан сахару или стакан муки, немножко уксуса или рюмочку растительного масла для салата. Сколько стаканов и рюмок мы взяли в долг у Фруля и какие высокие проценты нам приходилось платить! Госпожа Фруль давала нам полстакана и полрюмки, а потом проводила черточку на двери, где было написано: «Му.», «Сах.», «Укс.» или «Масл.»; эти черточки она стирала большим пальцем только в том случае, если ей возвращали целый стакан или целую рюмку; зато, приходя в лавочку или обсуждая с приятельницами за яичным ликером и картофельным салатом животрепещущие гинекологические проблемы, она повторяла: «Боже, до чего люди глупы»; госпожа Фруль уже давно приняла *«причастие буйвола»* и заставила мужа и дочь последовать ее примеру, она пела у себя в квартире *«Дрожат дряхлые кости»*.

Нет, никаких чувств в Шрелле не пробудилось, ровным счетом никаких; только в ту минуту, когда он прикоснулся пальцем к бледно-желтой латунной кнопке звонка, что-то в нем дрогнуло.

— Вы кого-нибудь ищете?

— Да,— ответил он,— я ишу семью Шрелла, разве они здесь больше не живут?

— Нет,— сказала девочка,— если бы они здесь жили, я бы знала.— Девочка была краснощекая и хорошенькая; она балансировала на самокате, держась за стену.— Нет, таких здесь никогда не было.— Она умчалась на своем самокате; болтая ножкой, пролетела по тротуару и свернула в проулок с криком: — Эй, кто тут знает Шреллу?

Шрелла задрожал: вдруг кто-нибудь помнит их семью; тогда ему придется подойти, поздороваться и поговорить о прошлом. «...Да, Ферди они поймали... и твоего отца тоже... А Эдит удачно вышла замуж».

Но краснощекая девочка безуспешно носилась взад и вперед на своем грязном самокате; описывая смелые кривые и переезжая от одной кучки людей к другой, она безуспешно взывала к открытым окнам:

— Эй, кто тут знает Шреллу?

Раскрасневшись, она вернулась к нему, сделала изящный разворот, остановилась и сказала:

— Нет, сударь, таких здесь никто не знает.

— Спасибо,— сказал Шрелла, улыбаясь,— дать тебе пфенниг?

— Да.— Просияв, девочка с шумом умчалась к киоску с лимонадом.

— Я согрешил, тяжко согрешил,— с улыбкой бормотал Шрелла, возвращаясь на конечную остановку,— я запил дешевым лимонадом с Груффельштрассе курицу из отеля «Принц Генрих»; и я не потревожил прошлое, не разморозил ледяные узоры, не дал зажечься искоркам в глазах Эрики Прогульске, не дал ей узнать меня и произнести имя Ферди; только мои пальцы напомнили мне о былом, прикоснувшись к давно знакомой кнопке звонка из бледно-желтой латуни.

Казалось, Шрелла медленно проходил сквозь строй, пронзаемый взглядами людей, которые стояли на тротуарах и в открытых дверях или высовывались из окон, внимательно наблюдая за улицей, и заодно грелись на летнем солнышке и наслаждались субботним вечером; неужели никто из них так и не узнает его в плаще чужеземного покроя, не узнает его по очкам, по походке, по прищуру глаз; когда-то они без конца дразнили его за чтение Гёльдерлина, распевали ему вслед: «Шрелла, Шрелла, Шрелла помешался на стихах».

Он в испуге отер лоб, снял шляпу и, остановившись

на углу, оглянулся; никто не пошел за ним; молодые парни на мотоциклах, наклонившись вперед, шептали девушкам слова любви; в пивных бутылках на подоконниках отражалось солнце; напротив все еще стоял дом, где родился и жил Ферди, быть может, там еще сохранилась латунная кнопка, на которую этот ангел из предместья десятки тысяч раз нажимал пальцем; фасад был выкрашен зеленой краской, на нем сверкала аптечная витрина и красовалась реклама зубной пасты — прямо под окном, откуда так часто выглядывал Ферди.

А с той вон дорожки в парке в один июльский вечер двадцать три года назад Роберт увлек Эдит в кустарник; теперь там сидели на лавочках пенсионеры, рассказывали друг другу анекдоты, по запаху определяли сорт табака и сетовали на невоспитанность детей, играющих поблизости; матери с раздражением призывали на головы своих непослушных чад всяческие бедствия и предвещали им ужасную гибель от атомной бомбы. Юноши, держа молитвенники под мышкой, возвращались с исповеди, размышляя, нарушить ли им свое благочестивое настроение уже сегодня или потерпеть до завтра.

Надо было ждать еще целую минуту, пока трамвай отправят; вот уже тридцать лет эти ржавые рельсы убегают в никуда; сестра Ферди налила зеленый лимонад в чистый стакан; вагоновожатый зазвонил, призывая пассажиров садиться; усталые кондукторы гасили сигареты, поправляли сумки и становились на свои места, потом и они предостерегающе зазвонили; далеко-далеко, там, где обрывались проржавевшие рельсы, какая-то старушка пустилась бежать к остановке.

— Мне до Главного вокзала, — сказал Шрелла, — с пересадкой в Гавани.

— Сорок пять пфеннигов.

Сперва шли совсем несолидные дома, потом не очень солидные, а под конец — солидные.

Пора пересаживаться, шестнадцатый номер все еще ходит в Гавань.

Шрелла увидел магазин стройматериалов, угольные склады, грузовые причалы; стоя у балюстрады старой таможни, он прочел вывеску: «Михаэлис. Уголь, кокс, брикеты».

Стоит только свернуть и пройти минуты две, как круг воспоминаний сомкнется; время, наверное, пощадило руки госпожи Тришлер, так же как глаза ее старого мужа и фотографию Алоиза на стене; он увидит пивные

бутылки, связки лука, помидоры, хлеб и табак; увидит суда на якоре и шаткие сходни, по которым когда-то проносили свернутые паруса, чтобы потом отправить эти гигантские коконы вниз по Рейну, к туманному Северному морю.

Теперь здесь царила тишина; за забором у Михаэлиса лежала гора недавно привезенного угля, а на складе стройматериалов — штабели ярко-красных кирпичей; тишину еще усугубляло шарканье сапог ночного сторожа, расхаживавшего позади заборов и барачных строителей.

Улыбаясь, Шрелла облокотился на ржавые перила, оглянулся и в испуге застыл: он не знал, что построили новый мост, и Неттлингер тоже ничего не сказал ему об этом; мост широко раскинулся над всей Старой гаванью; как раз в том месте, где когда-то был дом Тришлера, теперь возвышались темно-зеленые быки; тень от моста падала на набережную, где раньше стоял трактир для грузчиков, а посередине реки гигантские стальные ворота замыкали голубую пустоту.

Отцу больше всего нравилось работать в пивной Тришлера, обслуживать речников и их жен, которые долгими летними вечерами сидели в саду на красных стульях; Алоиз, Эдит и он удили рыбу в Старой гавани; там он впервые познал своим детским разумом вечность и бесконечность, до сих пор он встречал эти понятия только в стихах; на противоположном берегу по вечерам звонили колокола Святого Северина, возвещая мир и спокойствие; под колокольный звон Эдит, стоя у реки, повторяла движения поплавок: ее бедра, ее беспокойные ладони и все ее тело двигались вместе с пляшущими на волнах поплавками; казалось, она плывет; за все это время ни у кого из них ни разу не клюнула рыба.

Отец подавал золотистое пиво с белой пеной; в эти летние вечера его лицо казалось скорее кротким, чем ожесточенным; радостно улыбаясь, он отказывался от чаевых, потому что *все люди братья*. Братья! Братья! Он громко произносил это слово в те летние вечера; рассудительные речники тихонько посмеивались, а их красивые, уверенные в себе жены качали головой (уж очень детским казалось им воодушевление отца), тем не менее они аплодировали ему; все они были братья и сестры.

Шрелла медленно отошел от балюстрады и двинулся вдоль гавани, где старые понтоны и лодки ржавели в ожидании торговцев железным ломом; войдя в зеленую тень от нового моста, он увидел на середине реки краны,

которые усердно грузили обломки конструкций на баржи; железо со скрежетом расплющивалось под тяжестью все новых и новых глыб; Шрелла разыскал помпезную лестницу, спускавшуюся к реке, и почувствовал, что ее широкие ступени вынуждают его идти торжественным шагом; пустая чистая автострада с наивной доверчивостью взбегала на высокий берег реки, туда, где раньше был мост; но щиты со скрещенными костями и гигантскими черепами — черными на белом фоне — издевались над этой доверчивостью: путь на запад преграждало слово «смерть»; зато на восток тянулась совсем пустая дорога, петлявшая среди ослепительно яркой зелени бескрайних свекловичных полей.

Шрелла отправился дальше, протиснулся между словом «смерть» и скрещенными костями, миновал барак строителей, мимоходом успокоив ночного сторожа, который уже начал было предостерегающе размахивать руками, но опустил их, обезоруженный улыбкой Шреллы. Дойдя до самого края набережной, Шрелла увидел ржавые железные балки, на которых висели глыбы бетона; эти несокрушимые балки, продержавшиеся целых пятнадцать лет после взрыва, воочию демонстрировали высокое качество германской стали; за пустыми стальными воротами дорога шла мимо площадки для игры в гольф, а потом вновь терялась среди ослепительной зелени бескрайних свекловичных полей.

Там дальше было кафе «Бельвю». Вдоль набережной шла аллея. Справа тянулись спортивные площадки, где играли в лапту. Лапта! «Мяч, который забил Роберт». Он вспомнил, как они толкали киями бильярдные шары в пивной в Голландии; красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому; монотонная музыка шаров звучала почти так же, как грегорианская литургия, а в бесконечных геометрических фигурах, которые три шара прочерчивали на зеленом сукне, была своя строгая поэзия; никогда не принимай «причастия буйвола», покорно терпи истязания, «паци овец Моих» на пригородных лужайках, где играют в лапту, на Груффельштрассе и на Модестгассе, в английских предместьях и за тюремной решеткой, «паци овец Моих», где бы ты их ни встречал, даже тех, кто ничему не научился, кроме чтения Гёльдерлина и Тракля, тех, кто пятнадцать лет подряд спрягает на классной доске: «Я вяжу, я вязал, я буду вязать, я вязал бы...» А в это время дети Неттингера играют в бадминтон на безукоризненно подстри-

женных газонах — лучше всего их, кажется, подстригают англичане; в это время красивая, выхоленная жена Неттлингера — на редкость выхоленная — кричит с террасы своему мужу, покоящемуся в великолепном шезлонге: «Давай я подолью тебе капельку джина в лимонную воду». И Неттлингер отвечает: «Хорошо, только пусть капелька будет побольше!»; жена Неттлингера, восхищенная остроумием своего супруга, хихикает, подливает ему джина в стакан, а потом, выйдя в сад, садится рядом с ним в такой же красивый шезлонг и наблюдает за игрой старшей дочери в бадминтон; девушка чуточку слишком худая, немножко слишком костлявая, ее красивое лицо слишком серьезно; наигравшись до изнеможения, она кладет ракетку и садится на краю газона у ног папочки и мамочки («Смотри только не простудись, родная») и спрашивает, как всегда серьезно: «Папочка, объясни мне толком, что такое демократия?» И вот для папочки наступает желанный миг, когда он может напустить на себя торжественный вид; он вынимает изо рта сигару, ставит стакан с лимонадом («Сегодня ты куришь уже пятую сигару, Эрнст-Рудольф!») и начинает объяснять: «Демократия — это...»

Нет, нет, я не обращусь к тебе ни в частном порядке, ни в служебном, я не стану выяснять свой правовой статус. Как ты сказал? *«Я делаю это бесплатно»*. В кафе «Цонз» я когда-то дал ребяческую клятву быть благородным, даже себе во вред; мое правовое положение останется невыясненным; возможно, впрочем, Роберт уже все выяснил с помощью динамита. Научился ли он за эти годы смеяться или по крайней мере улыбаться? Роберт был неизменно серьезен. Он не мог примириться с гибелью Ферди. План мести Роберт воплотил в формулы, он запечатлел их в своем мозгу и всюду носил с собой этот легкий груз — неопровержимые формулы; он хранил их на фельдфебельских и офицерских квартирах, держал их при себе шесть лет подряд и ни разу не рассмеялся. А ведь Ферди улыбался даже в ту минуту, когда его уводили; он был ангелом из предместья, выросшим на навозной куче Груффельштрассе. Только три квадратных сантиметра кожи на пальце Шреллы, дотронувшемся до кнопки звонка, ощутили прошлое; он вспомнил обожженные ноги учителя гимнастики и последнего агнца, убитого осколком; *отец бесследно исчез, его убили даже не при попытке к бегству*. И никто так и не нашел мяча, который забил Роберт.

Шрелла бросил окурок в реку, встал и медленно побрел обратно; он снова протиснулся между словом «смерть» и скрещенными костями, кивнул сторожу, которого потревожил, оглянулся на кафе «Бельвю» и зашагал вниз по чистой, пустынной автострате, туда, где ослепительная зелень свекловичных полей, сверкавшая на солнце, сливалась с горизонтом; он знал, что шоссе в какой-то точке пересекает линию шестнадцатого номера, на шестнадцатом он за сорок пять пфеннигов доедет до вокзала; Шрелла мечтал поскорее очутиться в гостинице, теперь ему была по душе неприязнительность этого случайного жилья, полная безликость обшарпанных гостиничных номеров, как две капли похожих один на другой; в гостинице не таяли ледяные узоры воспоминаний, там он не имел ни гражданства, ни родины; утром заспанный кельнер принесет ему невкусный завтрак, манжеты у кельнера окажутся не совсем чистыми, а грудь рубашки будет накрахмалена не так хорошо, как когда-то крахмалила мать; если кельнеру больше шестидесяти, он, возможно, рискнет задать ему вопрос: «Скажите, вы не знали кельнера по фамилии Шрелла?»

Он шел все дальше по пустынному, чистому шоссе; ослепительная зелень свекловичных полей простиралась до самого горизонта; у Шреллы не было с собой вещей, он сунул руки в карманы и бросил на дорогу несколько монет, как говорится, для Гензеля и Гретель. После смерти Эдит и отца, после смерти Ферди почтовые открытки стали для Шреллы единственно приемлемым средством связи с прошлым: «Дорогой Роберт, живу хорошо, надеюсь, ты тоже; передай, пожалуйста, привет племяннице и племяннику, которых я так и не видел, и твоему отцу». Двадцать два слова, слишком много слов; лучше все зачеркнуть и написать сначала: «Мне живется хорошо, надеюсь, тебе тоже, кланяйся Рут, Йозефу, твоему отцу»; одиннадцать слов; половины слов оказалось достаточно, чтобы выразить ту же мысль; зачем ездить к Фемелям, пожимать им руки, целую неделю не спрягать «я вяжу, я вязал, я буду вязать»; неужели лишь для того, чтобы убедиться, что ни Неттлингер, ни Груффельштрассе не изменились и что все осталось по-прежнему, кроме рук госпожи Тришлер?

Свекловичная ботва доходила до самого горизонта, казалось, небо было покрыто серебристо-зеленым оперением; где-то внизу в туннеле, покачиваясь, загрохотал шестнадцатый номер. Сорок пять пфеннигов; все подоро-

жало. Наверное, Неттлингер еще не кончил объяснять, что такое демократия; смеркалось; голос Неттлингера стал мягче, дочь принесла ему из столовой плед — не то югославский, не то датский, не то финский, во всяком случае, прекрасной расцветки; девушка набросила плед на плечи отца, а потом снова присела у его ног, чтобы благоговейно внимать его словам; мать, которая готовила в это время вкусные острые сэндвичи и разнообразные салаты, крикнула им из кухни: «Посидите еще в саду, детки, пожалуйста, сегодня такой чудесный день и все так очаровательно».

Образ Неттлингера, живший в его воображении, был более ясным, чем тот Неттлингер, которого он увидел при встрече; Шрелла представил себе, как Неттлингер кладет в рот кусочки филе, запивая их великолепным, лучшим, самым лучшим вином, и в то же время обдумывает, чем бы достойно увенчать свою трапезу — сыром, мороженым, тортом или омлетом. Бывший советник посольства, который прочел Неттлингеру и иже с ним курс «Как стать гурманом», сказал: «Не забывайте одного, господа: кроме знания предмета, пусть самого досконального, здесь требуется еще капелька, хотя бы капелька, индивидуальности».

В Англии он написал как-то на классной доске: «Он должен быть убит»; пятнадцать лет подряд он играл на ксилофоне языка, обучая людей немецкому: «Я живу, я жил, я жил бы, я буду жить. Буду ли я жить?» Он никак не мог понять, почему некоторым людям грамматика кажется скучной. «Его убьют, его убили, он будет убит, его убили бы; кто его убьет?» Мне отмщение, и Аз воздам, говорит Господь.

— Конечная остановка. Главный вокзал.

Сутолока на вокзале не стала меньше: кто здесь прибывающий и кто отъезжающий? Почему всем этим людям не сидится дома? Когда уходит поезд на Остенде? А может, ему лучше поехать в Италию или во Францию; ведь и в этих странах кто-нибудь тоже жаждет спрягать: «Я живу, я жил, я буду жить, его убьют; кто его убьет?»

— Вам нужен номер в гостинице? За какую цену? ...Ах так, дешевый!..

Любезность молодой дамы, которая водила по адресной книге своим красивым пальчиком, заметно поубавилась; в этой стране явно считалось грехом осведомляться

о цене. *Выгоднее всего покупать дорогие вещи. Самое дорогое — это самое дешевое.*

Вы ошибаетесь, красавица, дешевое всегда дешевле — факт, а теперь пусть ваш красивый пальчик спустится в самый низ страницы — пансион «Модерн». Семь марок, без завтрака.

— Нет, спасибо, я знаю дорогу на Модестгассе, право же, знаю. Номер шестнадцать, это почти рядом с Модестскими воротами.

Завернув за угол, Шрелла чуть было не наткнулся на кабанью тушу; он быстро отпрянул от темно-серого зверя, но из-за этого чуть не проскочил мимо дома Роберта; здесь ему не грозили воспоминания, он был в этом доме всего один раз; Модестгассе, 8; Шрелла остановился перед начищенной до блеска медной дощечкой и прочел: «Доктор Роберт Фемель. Контора по статическим расчетам. После обеда закрыто». И все же, нажимая кнопку звонка, он почувствовал дрожь; события, разыгравшиеся в его отсутствие, при незнакомом реквизите, волновали его почему-то сильнее, чем все остальное; за этой дверью умерла Эдит, в этом доме родились ее дети, здесь жил Роберт; когда по дому разнесся звонок, он сразу понял, что ему не откроют, одновременно он услышал и телефонный звонок: видимо, бой из отеля «Принц Генрих» сдержал свое слово; я дам ему хорошие чаевые, когда мы с Робертом будем играть в бильярд.

До пансиона «Модерн» всего лишь несколько шагов. Наконец он окажется дома; какое счастье, что в крохотной прихожей не слышно запаха съестного. Хорошо положить усталую голову на чистую подушку.

— Спасибо, я сам найду.

— Третий этаж, третья дверь налево; будьте осторожны, подымаясь по лестнице, сударь, медный прут, придерживающий ковер, местами отстал; некоторые постояльцы ведут себя как дикари. Вас не надо будить? И еще один маленький вопрос, сударь: не желаете ли вы заплатить вперед? Или вы подождете, пока пришлют багаж? Багажа не будет? Да? Тогда, пожалуйста, с вас восемь пятьдесят, включая обслуживание. К сожалению, я вынуждена принимать эти меры предосторожности, сударь. Вы даже не представляете себе, как много на свете прохвостов; вот и приходится быть недоверчивой даже с порядочными людьми; ничего не поделаешь, некоторые ухитряются обвязывать себе вокруг тела

простыни, а другие разрывают наволочки на носовые платки. Если бы вы только знали, какие у нас бывают неприятности. Квитанция вам не нужна? Тем лучше, из-за налогов мы все станем нищие. К вам, наверное, придет какая-нибудь дама... ваша жена... Не правда ли? Не беспокойтесь, я пошлю ее наверх...

10

Страх его оказался напрасным: он не стал переживать свое прошлое, мертвые формулы не обратились ни в радость, ни в печаль, и его сердце не сжалось от испуга, оно даже не дрогнуло. Да, однажды под вечер он, капитан Фемель, стоял вон там, между подворьем для паломников и самим монастырем, там, где теперь лежала груда пережженных лиловых кирпичей; рядом с ним находился генерал Отто Кёстерс, все слабоумие которого свелось к одной-единственной формуле — «сектор обстрела»; там же стояли лейтенант Шрит и два фенриха — Кандерс и Хохбрет; с убийственно серьезным видом они внушали генералу по кличке «Сектор обстрела» мысль о необходимости поступать последовательно, даже если перед ними самые почитаемые архитектурные памятники; а когда другие офицеры протестовали, когда эти слезливые убийцы вступались за культуру, которую они якобы хотели спасти, кто-либо из четверых произносил страшные слова: «государственная измена», но никто не мог так резко, ясно и логично отстаивать свое мнение, как Шрит, уж он-то умел положить конец колебаниям генерала, доказать ему самым убедительным образом необходимость взрыва.

— Это покажет, что мы верим в победу, господин генерал. Коль скоро мы принесем такую тяжелую жертву, население и солдаты убедятся, что мы еще верим в победу.

И вот генерал уже произносит сакраментальную фразу:

— Я принял решение, взрывайте, господа. Если речь идет о победе, мы не имеем права щадить наши самые священные культурные ценности; за дело, господа.

Руки взлетают к козырькам фуражек, щелкают каблуки.

Неужели ему было когда-то двадцать девять лет, неужели он когда-то был капитаном и стоял рядом

с генералом по кличке «Сектор обстрела», на этом самом месте, где новый настоятель с улыбкой приветствует его отца.

— Мы счастливы, господин тайный советник, что вы снова почтили нас своим присутствием, аббатству очень приятно познакомиться с вашим сыном; ваш внук Йозеф для нас уже почти родной, ведь правда, Йозеф? Судьба аббатства тесно переплелась с судьбою семьи Фемель, что касается Йозефа — позвольте уж мне коснуться этой деликатной темы, — то его в наших краях настигла стрела амура; посмотрите, господин доктор Фемель, нынешние молодые люди даже не краснеют, когда о них говорят такие вещи; фройляйн Рут и фройляйн Марианна, к сожалению, я не могу взять вас с собой.

Девушки захихикали. И мать, и Жозефина, и даже Эдит хихикали на этом же самом месте, когда их исключали из общества мужчин. На фотографиях в семейном альбоме ничего не изменилось, кроме лиц и покроя одежды.

— Да, кельи уже заселены, — сказал настоятель, — а вот наше любимое детище — библиотека; пойдете дальше, — это изолятор для больных, к счастью, он в настоящий момент пустует...

Нет, Роберт никогда не разгуливал здесь с мелом в руках, переходя с места на место, никогда не чертил на этих стенах таинственные сочетания букв «X», «Y», «Z», условный код уничтожения, который умели расшифровывать только Шрит, Хохбрет и Кандерс; в монастыре пахло известкой, свежей краской и свежеструганным деревом.

— Да, эта фреска сохранилась благодаря зоркости вашего внука, господин советник, и вашего сына, господин доктор, он спас нам Тайную Вечерю в трапезной; конечно, мы знаем, что эта картина не является художественно-историческим памятником — надеюсь, вы, господин Фемель, не обидитесь на мои слова, — но в наши дни становится все меньше произведений живописи, написанных в традициях старых мастеров, а мы ведь считаем своим долгом следовать традициям; признаюсь, что эта школа живописи и по сию пору восхищает меня тем, что она так точно воспроизводит детали... посмотрите, с какой любовью и тщательностью выписаны ноги святого Иоанна и ноги святого Петра, ноги пожилого и ноги молодого мужчины; как точно воспроизведены детали.

Нет, здесь никогда не пели «*Дрожат дряхлые кости*», никогда не отмечали праздник солнцеворота; все это ему приснилось; он был элегантным господином сорока с небольшим лет, сыном элегантного отца и отцом бойкого и очень умного сына, который с улыбкой ходил вместе с ними по монастырю, хотя это, видимо, ему и наскучило. Оборачиваясь к Йозефу, Роберт каждый раз замечал на лице сына приветливую, но несколько усталую улыбку.

— Вы ведь знаете, что было разрушено все, вплоть до хозяйственных построек, мы восстановили их в первую очередь, считая, что они помогут нам создать материальные предпосылки для новой, счастливой жизни; вот коровник; разумеется, у нас электродойка, не смейтесь... я уверен, что даже наш патрон — святой Бенедикт — не стал бы возражать против электродойки... Разрешите предложить вам скромное угощение, добро пожаловать к столу, отведайте нашего знаменитого монастырского хлеба, нашего знаменитого масла и меда; известно ли вам, что каждый умирающий или покидающий свой пост настоятель завещает своему преемнику не забывать Фемелей; мы в самом деле причисляем вас к нашей монастырской братии... а вот и молодые дамы; разумеется, здесь вы снова можете присоединиться к нам.

На простых деревянных столах выставлено угощение — хлеб, масло, вино и мед; Йозеф обнял одной рукой сестру, а другой Марианну, рядом с его светловолосой головой две темноволосые девичьи головки.

— Надеюсь, вы удостоите нас чести и явитесь на праздник освящения аббатства? Канцлер и министры уже дали свое согласие; в этот день к нам пожалуют также несколько иностранных вельмож, нам будет очень приятно приветствовать среди наших гостей и семейство Фемель; моя торжественная проповедь пройдет не под знаком обвинения, а под знаком примирения, примирения с теми силами, которые в порыве слепого усердия разрушили нашу родную обитель; разумеется, я отнюдь не собираюсь мириться с разрушительными силами, снова угрожающими нашей культуре; итак, позвольте пригласить вас на праздник; от всей души прошу оказать нам эту честь.

Я не приеду на освящение, думал Роберт, ведь я не примирился и не примирюсь с теми силами, которые, будучи виновны в смерти Ферди и в смерти Эдит, старались сохранить Святой Северин; нет, я далеко не при-

мирился ни с самим собой, ни с духом примирения, который вы собираетесь провозгласить в вашей праздничной проповеди; обитель была разрушена не в порыве слепого усердия, а в порыве ненависти, отнюдь не слепой, в порыве ненависти, в которой я нисколько не раскаиваюсь. Может, сознаться, что это сделал я? Но тогда мне придется причинить боль отцу, хотя он ни в чем не виноват, и, быть может, также и сыну, хотя и он ни в чем не виноват, и вам, преподобный отец, хоть вы тоже ни в чем не виноваты. А кто виноват? Нет, я не примирился с миром, в котором одно движение руки или одно неправильно понятое слово может стоить человеку жизни.

Но вслух Роберт сказал:

— Большое вам спасибо, преподобный отец, мне будет очень приятно присутствовать на монастырском празднике.

Я не приду, преподобный отец, думал старый Фемель, ведь на празднике я должен буду изображать свой собственный памятник, а не того человека, каким я теперь стал, не того старика, который сегодня утром велел своей секретарше оплевать его памятник; только не пугайтесь; я, преподобный отец, не примирился с моим сыном Отто, переставшим быть моим сыном, сохранившим лишь его внешность, я не примирился и с тем мнением, что здания важнее всего, даже если я сам их строил. На празднике мое отсутствие пройдет незамеченным, меня с успехом заменят канцлер, министры, иностранные вельможи и высокопоставленные церковные сановники... Не ты ли это сделал, Роберт, и побоялся мне признаться? Тебя выдали твои взгляды и жесты во время обхода монастыря; ну что ж, меня это не трогает; быть может, в ту минуту ты думал о мальчике, имени которого я так и не узнал, о кельнере по фамилии Гроль, об овцах, которых никто не пас, в том числе и мы сами; какой уж тут праздник примирения; соггу, но вы, преподобный отец, легко перенесете наше отсутствие, оно пройдет незамеченным; прикажите прибить к монастырской стене мемориальную доску: «Построено Генрихом Фемелем в 1908 году, в возрасте двадцати девяти лет; разрушено Робертом Фемелем в 1945 году, в возрасте двадцати девяти лет»... А чем ты, Йозеф, ознаменуешь свое тридцатилетие? Может, ты заменишь отца в конторе по статическим расчетам? Что ты намерен делать — строить или разрушать? Оказывается, формулы более действенны, чем цемент.

Подбодрите ваше сердце хоралом, преподобный отец, и подумайте хорошенько — неужели вы действительно примирились с духом, разрушившим монастырь?

Но вслух старик сказал:

— Большое вам спасибо, преподобный отец, мы будем очень рады участвовать в вашем празднике.

С лугов и низин уже подымалась прохлада, сухая свекольная ботва стала влажной и темной, обещая богатый урожай; слева от руля белокурая голова Йозефа, рядом с ним, справа — две черноволосые девичьи головки; машина медленно ехала по направлению к городу; вдаль зазвучала песня «Мы жали хлеб». Она казалась такой же неправдоподобной, как стройная башня Святого Северина у самого горизонта; разговор опять начала Марианна.

— Разве ты едешь не через Додринген?

— Нет, дедушка просил поехать через Денклинген.

— Я думала, мы поедем кратчайшим путем.

— К шести будем в городе, и то не поздно, — сказала Рут, — за чаем мы вполне успеем переодеться.

Голоса молодых людей звучали так приглушенно, словно доносились из темных штолен, где горняки, засыпанные землей, пытались шепотом подбодрить друг друга: «Я вижу свет...» — «Да нет, ты ошибаешься...» — «Но я правда вижу свет...» — «Где же?...» — «Разве ты не слышишь стука? Это спасательная команда...» — «Я ничего не слышу».

Неужели мы говорили слишком громко в монастырской комнате для гостей?

Не следует размораживать застывшие формулы, думал Роберт, нельзя облекать тайны в слова, нельзя переживать прошлое — переживания могут убить все, даже такие хорошие, строгие понятия, как любовь и ненависть; неужели на свете и впрямь жил когда-то капитан по имени Роберт Фемель, прекрасно усвоивший жаргон офицерских казино, точно соблюдавший все армейские традиции, приглашавший по долгу службы на танцы жену офицера выше его чином, четко произносивший тосты «за наше любимое отечество»? Шампанское, ординарцы, игра в бильярд — красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому и снова белый по зеленому; однажды вечером перед ним очутился незнакомец с кием в руках и, улыбаясь, представился:

«Лейтенант Шрит. Как вы могли заметить по погонам, у меня та же специальность, что и у вас, господин капитан; я подрывник — с помощью динамита защищаю западную культуру». В мозгу у Шрита не было путаницы — он умел ждать и копить силы, ему не надо было каждый раз собираться с мыслями и чувствами, он не упивался трагизмом, и он сдержал свою клятву — взрывал *только* немецкие мосты и *только* немецкие дома, он не тронул ни одной русской хаты, не выбил ни одного русского окна, он ждал, играл в бильярд, не сказал ни одного лишнего слова — и вот наконец добыча оказалась у него в руках, громадная и долгожданная, — аббатство Святого Антония, а на горизонте маячила еще другая добыча, которая потом ускользнула от него, — Святой Северин.

— Не надо так быстро, — вполголоса сказала Марианна.

— Извини, — ответил Йозеф.

— А что мы будем делать здесь в Денклингене?

— Дедушка хочет зайти в лечебницу, — объяснил Йозеф.

— Йозеф, — сказала Рут, — на машине в эту аллею ехать нельзя, разве ты не видишь надпись: «Только для служащих». Ты что, тоже служащий?

Целая процессия двинулась по направлению к заколдованному замку: супруг, сын, внук и будущая невестка.

— Нет-нет, — сказала Рут, — я подожду здесь, у ворот. Идите, пожалуйста.

Я не возражаю, чтобы по вечерам, когда мы с отцом сидим в гостиной, бабушка была с нами; я читаю, он попивает пиво, возится со своей картотекой и раскладывает копии чертежей форматом в две почтовые открытки, как люди раскладывают пасьянс; отец всегда корректен, его галстук хорошо завязан, жилет застегнут на все пуговицы, он ничем не напоминает старого добродушного папашу, отец заботлив, но сдержан: «Не нужны ли тебе книги, платья или деньги на поездки? Не скучаешь ли ты, детка? Может быть, пойдём куда-нибудь? Хочешь, пойдём в театр, в кино или на танцы? Я с удовольствием составлю тебе компанию. Может, ты желаешь еще раз

пригласить своих школьных приятельниц к нам в садик на чашку кофе? Сейчас ведь такая хорошая погода».

Вечером перед сном мы гуляем поблизости от дома — доходим до Модестских ворот, потом сворачиваем на Вокзальную улицу и спускаемся вниз до самого вокзала. («Чувствуешь ли ты, детка, дыхание дальних стран?») Потом мы проходим через туннель к Святому Северину, минуем отель «Принц Генрих» («Грец забыл смыть кровь с тротуара») и видим пятна засохшей кабаньей крови, которые совсем почернели; «Уже половина десятого, детка, тебе пора спать, спокойной ночи», отец целует меня в лоб; он всегда приветлив, всегда корректен. «Если хочешь, возьмем экономку. А может, тебе не очень надоела еда, которую приносят из ресторана? По правде говоря, я не люблю чужих людей в доме». Завтрак вдвоем: чай, булочка и молоко; поцелуй в лоб; только иногда он говорит совсем тихо:

— Детка, детка...

— Что случилось, отец?

— Давай уедем.

— Прямо сейчас, сразу, сию секунду?

— Да, не ходи в школу ни сегодня, ни завтра, мы поедем недалеко, только до Амстердама; это чудесный город, детка, там так тихо, а люди такие милые, надо только лучше узнать их.

— Ты их знаешь?

— Да, я их знаю... Чудесно гулять по вечерам вдоль канала... Вода как стекло, совсем как стекло. Тишина вокруг. Ты чувствуешь, какие здесь тихие люди? Нигде люди так не шумят, как у нас. У нас они всегда орут, кричат, хвастаются. Ты не обидишься, если я схожу поиграю в бильярд? А то пойдем вместе, тебя это развлечет.

Я никак не могла понять, почему во время игры на него смотрели с таким острым интересом, все — и стар и млад. Окутанный клубами сигарного дыма, поставив около себя на борт кружку пива, он играл в бильярд; не знаю, правда ли они были с ним на «ты», может, это просто особенность голландского языка, может, мне только казалось, что они обращаются к нему на «ты»; во всяком случае, они знали, что его зовут Роберт: букву «р» они перекачивали по небу, как твердую конфетку. Да, там было тихо, и каналы казались совсем стеклянными... Мое имя — Рут, я наполовину сирота.

Когда моя мать умерла, ей было двадцать четыре

года, а мне три, но я могу представить ее себе только молоденькой девушкой или древней старухой; ей не подходит быть двадцатичетырехлетней женщиной; мать я вижу либо восемнадцатилетней, либо восьмидесятилетней; мне всегда казалось, что они с бабушкой сестры; я знаю тайну, которую взрослые так тщательно скрывают, знаю, что бабушка сошла с ума, я не хочу видеть ее, пока она сумасшедшая; ее безумие — ложь, она прячет скорбь за толстыми стенами лечебницы; мне это знакомо, меня тоже опьяняет скорбь, и тогда я погрязая во лжи; вся жилая половина дома по Модестгассе, восемь, населена призраками. «Коварство и любовь», дедушка построил монастырь, отец взорвал его, а Йозеф снова восстанавливает. Пусть будет так, если бы вы знали, как мне все это безразлично. На моих глазах из подвалов вытаскивали покойников, Йозеф пытался уверить меня, будто это больные, которых повезут в больницу; но разве больных бросают в грузовики, словно мешки с картошкой? А потом я видела, как на перемене наш учитель Кротт тайком пробрался в класс и вытащил у Конрада Греца из ранца завтрак; разглядев лицо Кротта, я смертельно испугалась и начала молить Бога: «Прошу тебя, Боже, не допусти, чтобы Кротт меня заметил, прошу тебя, прошу...» Я знала, что мне не уйти живой, если Кротт меня обнаружит. Я притаилась за классной доской, где искала свою заколку; из-под доски виднелись мои ноги, но Бог сжалился надо мной, учитель меня так и не заметил; зато я увидела его лицо, увидела, как он жует хлеб; потом он вышел из класса; того, кто хоть раз видел такое лицо, нимало не беспокоят взорванные аббатства. Ну и сцена разыгралась потом, когда Конрад Грец обнаружил свою пропажу! Кротт потребовал от всех нас чистосердечного признания: «Дети, скажите мне всю правду, даю вам четверть часа на размышление; за это время виновный должен быть найден, не то...» Осталось всего восемь минут, всего семь минут, всего шесть минут... Я посмотрела на Кротта, он встретился со мной взглядом и бросился ко мне: «Рут, Рут, — закричал он, — это ты взяла?» Я покачала головой и расплакалась, потому что снова смертельно испугалась; Кротт сказал: «О боже, Рут, лучше признайся!» Я с удовольствием взяла бы вину на себя, но боялась, не догадается ли он, что я все знаю. Плача, я покачала головой; осталось всего четыре минуты, потом три, потом две, потом одна, наконец время истекло.

«Проклятые ворюги, обманщики! В наказание извольте написать двести раз подряд: «Не кради».

Какое мне дело до ваших аббатств, мне пришлось хранить более страшные тайны, мне пришлось пережить смертельный ужас: мертвецов бросали на машины, как мешки с картошкой.

Почему они так холодно разговаривали с этим славным аббатом? Что он им сделал? Разве он кого-нибудь убил, разве он украл чужой бутерброд? У Конрада Греца было всего вдоволь, он ел белый хлеб с печеночным паштетом и хлеб с зеленым сыром; в нашего кроткого благоразумного учителя словно бес вселился, на его лице я читала слово «убийство», убийство возвещала каждая черта его лица; на грузовики бросали трупы, словно мешки с картошкой. Меня забавляло, когда отец начинал издеваться над бургомистром, стоя у большого плана на стене, когда он чертил углем свои значки, приговаривая: «Все это долой, взорвать!» Я люблю отца, люблю его не меньше, с тех пор как узнала об аббатстве... Неужели Йозеф забыл оставить сигареты в машине? Как-то я видела человека, который отдал за две сигареты свое обручальное кольцо. Интересно, за сколько сигарет он отдал бы свою дочь и за сколько — жену? На его лице я прочла прейскуртант... десять сигарет... двадцать сигарет... С ним можно было бы столкнуться, с такими всегда можно столкнуться; как ни грустно, отец, но с тех пор как я знаю насчет аббатства, я с не меньшим аппетитом поедаю монастырский хлеб, мед и масло. Мы будем по-прежнему играть в отца с дочкой, наши отношения останутся такими же чопорными, как и раньше, словно мы исполняем конкурсный танец. После угощения в монастыре следовало бы, собственно говоря, подняться на Козакенхюгель; Йозеф, Марианна и я пошли бы впереди, а дедушка за нами, как мы ходим каждую субботу.

— Ты поспеваешь за нами, дедушка?

— Спасибо, как-нибудь поспею.

— Мы не слишком быстро идем?

— Нет, не беспокойтесь, мои дорогие. Может быть, мне на минутку присесть, или, по-вашему, здесь слишком сыро?

— Песок совершенно сухой и еще совсем теплый, дедушка. Можешь сесть, дай мне руку...

— Разумеется, дедушка, закури свою сигару, ничего плохого не случится.

К счастью, сигареты Йозефа нашлись в машине и зажигалка оказалась исправной.

Дедушка всегда дарит мне куда более красивые платья и джемперы, чем отец, у которого очень старомодный вкус; сразу видно, что дедушка знает толк в молодых девушках и женщинах; я не понимаю и не желаю понимать бабушку; ее сумасшествие — сплошная ложь; она морила нас голодом, и когда ее увезли, я обрадовалась, по крайней мере нас начали кормить досыта; возможно, дедушка прав, возможно, бабушка совершала и совершает большие дела, но я и слышать ничего не хочу о больших делах, ведь я чуть было не погибла из-за бутерброда с печеночным паштетом и кусочка белого хлеба с зеленым сыром; пусть она приезжает опять домой и коротает с нами вечера, но не надо давать ей ключи от кухни, пожалуйста, не давайте ей ключи от кухни; я вспоминаю голодный блеск в глазах учителя Кротта, и мне становится страшно; Боже милостивый, давай им всегда еды вволю, не то в их глазах опять появится этот ужасный блеск; господин Кротт — совершенно безобидный человек, по вечерам он садится в собственную малолитражку и отправляется вместе со всей своей семьей в аббатство Святого Антония на торжественную службу — «Сколько воскресений прошло с Троицына дня, сколько с Богоявления, сколько с Пасхи?» Кротт — симпатичный человек, у него симпатичная жена и двое симпатичных ребятишек.

— Посмотри-ка, Рут, ты заметила, как вырос наш Францхен?

— Да, господин Кротт, ваш Францхен очень вырос.

И я уже начинаю забывать, что в тот день моя жизнь висела буквально на волоске; тогда я так же, как и все, послушно написала двести раз подряд «Не кради»; разумеется, я не отказываюсь ходить на вечеринки к Конраду Грецу, ведь там подают изумительные паштеты из гусиной печени и белый хлеб с зеленым сыром; если в доме Греца наступают кому-нибудь на ногу или опрокидывают бокал с вином, там не говорят: «Извините, пожалуйста» или «Пардон», там говорят: «Sorry».

Какая теплая трава у обочины дороги, какие у Йозефа ароматные сигареты; с тех пор как я узнала, что аббатство взорвал отец, я с таким же аппетитом уплетаю монастырский хлеб и мед; как красив Денклинген в лучах заходящего солнца; нам надо поторапливаться, ведь на переодевание понадобится минимум полчаса.

— Подойдите ближе, генерал. Не стесняйтесь, новичков первым делом представляют мне, ведь я прожила в этом распрекрасном доме дольше всех; вы что, хотите проткнуть своей тростью весь земной шар? Земля-то чем виновата? И почему, завидя какую-нибудь стену, часовню или теплицу, вы долго качаете головой и бормочете себе под нос: «Сектор обстрела»? Впрочем, это звучит красиво. «Сектор обстрела» означает зеленую улицу для пуль и снарядов. Как вас зовут? Отто? Кёстерс? Я не терплю фамильярности, не к чему представляться друг другу, к тому же имя Отто уже занято; надеюсь, вы разрешите звать вас просто «Сектор обстрела». Достаточно взглянуть на вас, услышать ваш голос, ощутить ваше дыхание, чтобы понять: вы не только приняли *«причастие буйвола»*, вы питались только им, и больше ничем; в этом случае вы придерживались строгой диеты. Ну, а теперь, новичок, ответьте: какого вы вероисповедания? Католического? Так я и знала, меня бы очень удивило, если бы дело обстояло иначе; значит, вы умеете прислуживать в церкви; ну конечно, ведь вас воспитал католический патер; извините меня за то, что я смеюсь; вот уже три недели, как мы ищем нового церковного служку; Баллоша они признали здоровым и выписали; может, вы согласитесь помочь нам хотя бы немножко. Ты ведь тихий, а не буйнопомешанный, и твое сумасшествие сводится к одному-единственному пунктику — во всех случаях жизни, когда надо и когда не надо, ты бормочешь: «Сектор обстрела»; ты наверняка сумеешь перекладывать требник с правой стороны алтаря на левую и с левой на правую, наверняка сможешь преклонять колена перед дарохранильницей. Правда? Здоровье у тебя отличное, все люди твоей профессии — здоровяки, так что ты сумеешь, бия себя в грудь кулаками, произносить слова *«mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa»* и еще *«kyrie eleison»*¹; вот видишь, сведущий генерал, обученный католическим патером, еще может пригодиться; я предложу священнику нашей лечебницы сделать вас своим новым служкой. Ты согласен, не так ли?..

Спасибо, сразу виден настоящий кавалер; нет, вот сюда, пожалуйста, свернем к теплице, я хочу показать

¹ «Господи, помилуй» (греч.).

вам кое-что имеющее прямое касательство к вашей профессии, и, пожалуйста, обойдемся без ухаживаний, мы не на уроке танцев, забудьте это, мне уже семьдесят один год, а вам семьдесят три, не целуйте мне ручку, я не желаю заводить здесь стариковский флирт, эту чепуху надо бросить. Посмотри! Что ты видишь за этим зеленоватым стеклом? Правильно, здесь помещается арсенал нашего доброго старшего садовника; он стреляет из этих ружей в зайцев и куропаток, в ворон и косуль, ведь наш садовник — страстный охотник; я уже давно заприметила у него один очень красивый и удобный черный предмет — пистолет. А ну, выкладывай, чему тебя учили, когда ты был фенрихом и лейтенантом; скажи мне, из такой штуковины и впрямь можно застрелить человека? Почему ты так побледнел, старый рубака, в свое время ты пожирал «причастие буйвола» тоннами, а теперь у тебя поджилки трясутся, когда я задаю тебе самые простые вопросы; хватит дрожать; конечно, я малость спятила, но я вовсе не собираюсь приставлять к твоей семидесятитрехлетней груди пистолет, чтобы сэкономить государству твою пенсию, я вовсе не намерена экономить что-либо нашему государству; ответь мне по-военному на мои по-военному четкие вопросы: можно ли выстрелом из пистолета отправить человека на тот свет? Да? Хорошо? Скажи тогда, с какого расстояния лучше всего стрелять, чтобы попасть? Метров с десяти — двенадцати? Самое большее с двадцати пяти?

О боже, почему вы так разволновались? Неужели старые генералы бывают трусами? Вы сообщите куда следует? Здесь некому сообщать; когда-то вам вбили в голову, что все надо доносить начальству, и теперь вы никак не можете избавиться от этой привычки... Хорошо, если желаете, поцелуйте мне ручку, только молчите; завтра утром вы будете прислуживать в церкви, поняли? В здешней церкви еще никогда не было такого красивого седовласого и представительного служки... Неужели ты не понимаешь шуток? Оружие интересует меня просто так, по той же причине, по какой тебя интересует «сектор обстрела»; неужели ты еще не усвоил, что по неписаному закону каждый обитатель этого милого дома вправе иметь какую-нибудь причуду; тебе, в частности, дозволен заскок с «сектором обстрела»; не бойся, все здесь совершенно секретно... «Сектор обстрела»... вспомни, ведь ты получил хорошее воспитание. «С Гинденбургом вперед! Ура!» Видишь, это тебе понравилось, с тобой всегда

следует выбирать надлежащие выражения, теперь свернем и пройдем мимо часовни, а может, ты хочешь войти внутрь и осмотреть арену своей будущей деятельности? Успокойся, генерал, смотри, ты еще не забыл, как входить в церковь, сними шляпу, опусти пальцы правой руки в чашу со святой водой, перекрестись, ну вот, молодец, преклони колена и, глядя на неугасимую лампаду, повторяй слова молитвы: «Ave Maria» или «Отче наш»; тихонько, нет ничего более прочного, чем католическое воспитание; пора вставать, опускай опять пальцы в чашу со святой водой, крестись, уступи даме дорогу, надень шляпу, вот и хорошо; мы опять на улице, какой теплый вечер и какие чудесные деревья растут в этом чудесном парке, а вот и скамейка. «С Гинденбургом вперед! Ура!» Тебе это по душе, да? А как тебе нравится такая фраза: «Хочу ружье, хочу ружье», это тебе тоже по душе, не так ли? Брось шутить; собственно говоря, после Вердена с такого рода шутками было раз и навсегда покончено; под Верденом погибли последние кавалеры... кавалеров погибло слишком много, слишком много любовников погибло за один раз. За какие-нибудь два-три месяца было уничтожено ужасно много хорошо воспитанных молодых людей; ты не пробовал подсчитать, сколько учительского пота было пролито напрасно; неужели вам никогда не приходила в голову мысль поставить пулемет в вестибюле ремесленной или торговой школы, в вестибюле гимназии и сразу же после выпускных экзаменов направить струю огня из этого пулемета прямо в сияющие лица юношей, только что окончивших курс? Ты считаешь, это преувеличение? Ну, тогда разреши сказать тебе, что и в действительности многое очень часто кажется преувеличением; с выпускниками тысяча девятьсот пятого, тысяча девятьсот шестого и тысяча девятьсот седьмого годов я сама танцевала; я ходила на пирушки с этими молодцами в фуражках, с этими будущими выпивохами, а потом больше половины всех трех выпусков погибло под Верденом. А как по-твоему, сколько осталось в живых юношей, окончивших школу в тысяча девятьсот тридцать пятом году, в тридцать шестом, в тридцать седьмом, в сорок первом или в сорок втором годах? Какой бы из этих выпусков ты ни взял — результат будет один и тот же; и, пожалуйста, уйми свою дрожь. Я никак не могла предположить, что старые генералы такой трусливый народ. Хорошо, возьми меня за руки. Как меня

зовут? Запомни, здесь не спрашивают о таких вещах, здесь не приняты визитные карточки и не пьют на брудершафт, здесь переходят на «ты» без разрешения, здесь помнят, что все люди братья, даже если они враги. Часть из них, старик, — очень небольшая — приняла *«причастие агнца»*, остальные приняли *«причастие буйвола»*. Меня зовут *«Хочу ружье»*, а моя фамилия *«С Гинденбургом вперед! Ура!»*; откажись полностью от всех твоих мещанских предрассудков и от представлений о приличиях, здесь у нас нет классов. И не жалуйся на проигранную войну. О боже, неужели вы действительно проиграли войну, уже две войны, одну за другой? Таким молодчикам, как ты, я желаю проиграть семь войн подряд. Ну а теперь довольно хныкать, мне наплевать, сколько войн ты проиграл. Надо оплакивать погибших детей, а не проигранные войны... Теперь ты будешь прислуживать в церкви, в церкви нашей денклингенской лечебницы — это в высшей степени почетное занятие; только не говори ничего о немецком будущем; я сама читала в газете, что немецкое будущее полностью обеспечено. А если ты обязательно хочешь поплакать, то не плачь по крайней мере так жалобно. Они поступили с тобой несправедливо? Затронули твою честь? Ты считаешь, что честь поругана, если первый встречный чужеземец может тебя задеть? Ведь правда? Радуйся, в нашем богоугодном заведении тебе будет хорошо, здесь прислушиваются к малейшему стону, здесь считаются с любыми «комплексами»; все дело только в деньгах; если ты беден, тебя ждут побои и смиренная рубашка, зато здесь потакают каждой твоей слабости, тебе разрешат даже выйти погулять и выпить кружку пива в Денклингене; попробуй крикни: «Сектор обстрела! Обеспечьте мне сектор обстрела для третьей армии!» — и сразу же кто-нибудь отзовется: «Слушаюсь, господин генерал»; время воспринимается здесь не в целом, а по частям, оно никогда не становится историей, понимаешь? Я охотно верю, что ты уже видел мои глаза. Ты говоришь, что мои глаза были у человека с красным шрамом на переносице? Я верю тебе, но здесь запрещены воспоминания и догадки, здесь живут только сегодняшним днем: сегодня был Верден, сегодня умер Генрих, сегодня погиб Отто, сегодня тридцать первое мая тысяча девятьсот сорок второго года, сегодня Генрих шепнул мне на ухо: *«С Гинденбургом вперед! Ура!»*; ты его знал, пожимал ему руку, вернее, это он пожимал тебе руку? Хорошо, ну

а теперь давай займемся делом, я до сих пор помню, какую молитву было труднее всего выучить служкам; я учила ее со своим сыном Отто и спрашивала эту молитву у него: «*Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui*», а теперь идет самое трудное, старик, «*ad utilitatem quoque nostram, totiusque Ecclesiae sua sanctae*»¹, повторяй за мной, да нет же, «*ad utilitatem*»², а не «*utilatem*», эту ошибку делают все... если хочешь, я запишу молитву на бумажке, а не то можешь учить ее по своему молитвеннику, ну а теперь до свидания, пора ужинать, «Сектор обстрела», угощайся на здоровье...

Она прошла мимо часовни по широким темным дорожкам назад к теплицам; одни лишь стены были свидетелями того, как она отперла ключом дверь, тихо проскользнула между цветочными горшками и грядками, от которых тянуло сыростью, и вбежала в контору старшего садовника; она взяла со стола пистолет и опустила его в свою мягкую черную сумочку; кожаное нутро поглотило пистолет; замок легонько щелкнул; с улыбкой поглаживая пустые цветочные горшки, она покинула теплицу и снова заперла дверь; одни только темные стены были свидетелями того, как она вынимала ключ из замочной скважины и медленно шла по широким темным дорожкам обратно к дому.

Хупертс подал ужин ей в комнату — чай, хлеб, масло, сыр и ветчину; улыбнувшись, он взглянул на нее и сказал:

— Вы выглядите просто великолепно, сударыня.

Она положила сумочку на комод, сняла шляпку со своей темноволосой головы, а потом с улыбкой произнесла:

— Скажите, нельзя ли попросить садовника принести мне немного цветов?

— Садовника теперь не найдешь,— ответил Хупертс,— у него выходной, он не появится до завтрашнего вечера.

¹ «Да примет Господь жертву из рук твоих для хвалы и во славу имени своего и также для пользы нашей и всей святой церкви своей» (лат.).

² Для пользы (лат.).

— А больше никому не разрешается входить в теплицу?

— Никому, сударыня, наш садовник на этот счет очень строг.

— Значит, придется ждать до завтрашнего вечера, а может, я сама куплю цветы в Денклингене или в Додрингене.

— Вы собираетесь пойти погулять?

— Да, возможно. Сегодня такой прекрасный вечер, мне ведь разрешено выходить, не правда ли?

— Конечно, конечно... Вам разрешено... Но, может, все-таки позвонить господину советнику или господину доктору?

— Я сама им позвоню, Хупертс. Пожалуйста, дайте мне городской телефон, только надолго, прошу вас... Хорошо?

— Ну разумеется, сударыня.

Когда Хупертс ушел, она открыла окно и бросила ключ от конторы садовника в яму с компостом, потом снова закрыла окно, налила в чашку чай и молоко, села и придвинула к себе телефонный аппарат.

— Итак, начнем! — тихо сказала она, пытаясь левой рукой унять дрожь в правой руке, протянутой к телефонной трубке.

— Начнем! — повторила она. — Спрятав в сумочке смерть, я готова вернуться к жизни. Никто так и не догадался, что одно прикосновение к холодному металлу излечит меня; они слишком буквально понимали мои слова про ружье, мне вовсе не нужно ружье, достаточно пистолета, начнем, начнем... Скажите мне, который час? Начнем. Бархатный голос в трубке, скажи мне, остался ли ты таким же и можно ли тебя услышать, набрав тот же номер?

Левой рукой она сняла трубку и услышала гудки телефонной станции.

Стоило Хупертсу нажать кнопку, соединив меня с городом, как время, мир, действительность, немецкое будущее оказались тут как тут; я сгораю от любопытства, как все это будет выглядеть в тот момент, когда я выйду из заколдованного замка.

Правой рукой она набрала номер — три единицы — и услышала бархатный голос, который произнес:

— Первый сигнал будет дан ровно в семнадцать часов пятьдесят восемь минут и тридцать секунд по

местному времени.— Напряженная тишина, сигнал, и тот же бархатный голос сказал: — Семнадцать часов пятьдесят восемь минут и сорок секунд.— Время набегало, заливая смертельной бледностью ее лицо, а голос продолжал вещать: — Семнадцать часов пятьдесят девять минут и десять секунд... и двадцать секунд... и тридцать секунд... и сорок секунд... и пятьдесят секунд.— Снова раздался резкий сигнал, и бархатный голос проговорил: — Восемнадцать часов, шестого сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года.

...Генриху исполнилось бы сорок восемь лет, Иоганне сорок девять, а Отто сорок один; Йозефу сейчас двадцать два года, Рут девятнадцать...

Голос в трубке продолжал говорить:

— Восемнадцать часов одна минута...

Осторожно! Иначе я действительно сойду с ума, игра пойдет всерьез, я вновь вернусь к сегодняшнему дню, на этот раз навеки, я не сумею найти лазейку, буду тщетно бегать вокруг высоких стен в поисках выхода; время предъявляет мне свою визитную карточку, словно вызов на дуэль, но его нельзя принять. Сейчас шестое сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, восемнадцать часов одна минута и сорок секунд; кулак возмездия разбил мне зеркальце, у меня осталось всего лишь два осколка, в них я увидела свое лицо, покрытое смертельной бледностью; да, я слышала, как несколько часов подряд грохотали взрывы, слышала, как люди возмущенно шептали: «Они взорвали наше аббатство»; эту страшную новость, которую я не нахожу такой уж страшной, передавали из уст в уста сторожа и привратники, садовники и булочники.

«Сектор обстрела»... Красный шрам на переносице... синие глаза... кто же это был? Неужели он? Кто он? Я бы взорвала все аббатства на свете, если бы мне удалось вернуть Генриха или воскресить из мертвых Иоганну, Ферди, кельнера по фамилии Гроль и Эдит или хотя бы понять, кем был Отто? Он погиб под Киевом; это звучит глупо, хотя и отдает историей; хватит играть в жмурки, старик, я не стану больше завязывать тебе глаза; сегодня тебе стукнет восемьдесят, а мне уже семьдесят один; на расстоянии десяти — двенадцати метров не так трудно попасть в цель; недели и дни, часы и минуты, хлыньте на меня. Сколько сейчас секунд?

— Восемнадцать часов две минуты и двадцать секунд...

Я покидаю свой бумажный кораблик, чтобы броситься в открытый океан; как я бледна, переживу ли я все это?

— Восемнадцать часов две минуты и тридцать секунд...

Эти слова подгоняют меня; начнем, мне надо спешить, я не хочу больше терять ни секунды, скорее.

— Барышня, барышня, почему вы мне не отвечаете? Барышня, барышня... я хочу заказать такси, немедленно, очень спешно, помогите же мне.— Ах да, ведь магнитофонная лента не отвечает, это мне следовало бы помнить; надо повесить трубку, снова снять ее и набрать номер: один-один-два. Неужели такси заказывают по тому же номеру, что и прежде?

— В денклингенском кинотеатре вы увидите,— произнес бархатный голос,— также отечественный фильм «Братья с хутора на болоте», начало сеансов в восемнадцать часов и в двадцать часов пятнадцать минут... в додрингенском кинотеатре идет боевик «Любовь способна на все».

Тише, тише, моя утлая лодочка погибла, но я умею плавать, я научилась плавать в Блюхербаде в тысяча девятьсот пятом году, у меня был тогда черный купальный костюм с оборками и юбочкой, мы прыгали головой вниз с трамплина высотой в метр; надо взять себя в руки и перевести дух, ведь я умею плавать... интересно, что сообщат мне, когда я наберу один-один-три, а ну, бархатный голос, ответь.

— ...Если вечером к вам придут гости, вы можете предложить им, следуя нашим советам, вкусный и в то же время недорогой ужин; на первое подайте тартинки, запеченные с сыром и ветчиной, на второе горошек со сметаной и к нему мягкий картофельный пудинг, потом шницель, прямо с гриля...

— Барышня, барышня!..— Да, я знаю, магнитофонные ленты не отвечают.

— ...и ваши гости скажут, что вы прекрасная хозяйка.

Сейчас я нажму на рычаг и наберу один-один-четыре... Снова слышится бархатный голос:

— ...итак, вы уложили все необходимое для ночевки в кемпинге и приготовили себе еду для пикника; если вы решили поставить машину на крутом склоне, не забудьте о ручном тормозе. Желаем вам приятного воскресенья в кругу семьи.

У меня ничего не выйдет, слишком много мне придется наверстывать; мое лицо становится все бледнее

и бледнее; когда-то оно окаменело, а теперь размякло, и по нему текут слезы. Предательское время, словно комок лжи, застряло во мне; зеркальце, зеркальце, осколок зеркальца, ответь, неужто мои волосы и впрямь поседели в камере пыток, где отовсюду раздаются бархатные голоса; я набираю один-один-пять, и заспанный голос отвечает мне:

— Телефонный узел Денклинген.

— Вы меня слышите, барышня? Вы меня слышите?

— Да, слышу.

Я громко смеюсь.

— Мне надо срочно связаться с конторой архитектора Фемеля, Модестгассе, семь, или Модестгассе, восемь, оба номера можно разыскать под фамилией Фемель, душенька. Вы не обидитесь, если я буду называть вас «душенька»?..

— Да нет, конечно, нет, сударыня.

— Я очень тороплюсь.

Послышался шелест переворачиваемых страниц.

— Я нашла телефон господина Генриха Фемеля и телефон господина доктора Роберта Фемеля. С кем бы вы хотели поговорить, сударыня?

— С Генрихом Фемелем.

— Хорошо, не вешайте трубку.

Неужели телефон по-прежнему стоит у него на подоконнике, так что, разговаривая, он выглядывает на улицу и видит дом по Модестгассе, восемь, где его дети играли когда-то в садике на крыше, или лавку Греца, где у дверей всегда висела кабанья туша? Неужели там действительно раздался сейчас телефонный звонок?

Гудки доносились откуда-то очень издалека, и ей казалось, что паузы между ними длятся вечность.

— К сожалению, сударыня, никто не подходит к телефону.

— Тогда, пожалуйста, соедините меня с другим номером.

— Хорошо, сударыня.

Напрасно, все напрасно. Номер не отвечает.

— В таком случае вызовите мне, пожалуйста, такси, душенька, хорошо?

— С удовольствием. Куда?

— В денклингенскую лечебницу.

— Сейчас, сударыня.

— Да, Хупертс, можете унести чай, хлеб и закуску.

И, пожалуйста, оставьте меня одну; когда такси въедет

в аллею, я сама его увижу; нет, спасибо, мне больше ничего не надо. Вы ведь не магнитофонная лента, правда? Ах, я вовсе не хотела вас обидеть, я просто пошутила... Спасибо...

Ей было холодно; казалось, ее лицо съезживается и становится все меньше и меньше; она увидела в оконном стекле это усталое старушечье лицо, изборожденное морщинами. Не надо плакать; неужели время действительно вплело серебряные нити в мои черные волосы? Я умею плавать, но я не предполагала, что вода такая холодная; бархатные голоса терзают меня, возвращая к действительности; я стала старушкой с белой головой; мой гнев хотят обратить в мудрость, мечты о мести — в жажду всепрощения; они собираются засахарить мою ненависть, перемешав ее с мудростью, но мои старые пальцы крепко вцепились в сумочку; в ней золото, которое я принесу с собой из заколдованного замка, в ней выкуп за меня.

Любимый, забери меня отсюда, я возвращаюсь домой. Там я превращусь в седую и добрую старушку, снова буду тебе женой, снова стану хорошей матерью и заботливой бабушкой, которую можно расхваливать всем друзьям... «Да, наша бабушка долгие годы была больна, но теперь выздоровела и даже принесла с собой целую сумку золота...»

Что мы закажем сегодня вечером в кафе «Кронер»? Тартинки, запеченные с сыром и ветчиной, горошек со сметаной и шницель... Будем ли мы кричать: «Осанна невесте Давидовой, она вернулась домой из заколдованного замка»? Я знаю, этот матереубийца Грец принесет нам свои поздравления, голос крови так и не заговорил в нем, не заговорил он и в Отто; я выстрелю, когда учитель гимнастики будет ехать мимо нашего дома верхом на белой лошади. От беседки до улицы не больше десяти метров, по диагонали будет метров тринадцать; я попрошу Роберта, чтобы он вычислил все точно; во всяком случае, попасть в цель будет нетрудно; мне объяснил все это «Сектор обстрела»; такие вещи наш седой служака должен знать; завтра утром он вступит в свою новую должность, сумеет ли он запомнить, что надо произносить не «utilatem», а «utilitatem»? Красный шрам на переносице... Значит, он все же стал капитаном? Как долго длилась война; каждый раз, когда в аббатстве раздавался очередной взрыв, стекла начинали дребезжать, а утром на подоконнике лежал толстый слой пыли;

я написала пальцем на пыли: «Эдит, Эдит»; даже голос крови не мог бы заставить меня любить Эдит больше, чем я ее любила; откуда ты явилась к нам, скажи, Эдит?

Я съезживаюсь все больше и больше; ты сумеешь перенести меня на руках от такси к кафе «Кронер»; я поспею как раз вовремя; сейчас самое большее восемнадцать часов шесть минут и тридцать секунд; на этот раз черный кулак возмездия — пистолет — раздавил тюбик губной помады, мои дряхлые кости дрожат; мне страшно, я не знаю, как выглядят теперь мои современники; я не знаю, остались ли они такими, как прежде. Ну а как обстоит дело с золотой свадьбой, старик? Мы поженились в сентябре тысяча девятьсот восьмого года, тринадцатого сентября; ты уже забыл эту дату? Как ты собираешься справлять нашу золотую свадьбу? Седовласый юбиляр и седовласая юбилярша, а вокруг них целая толпа внуков и внучек; прости меня за то, что я смеюсь, мой Давид, но из тебя не вышло Авраама, зато в себе я ощущаю что-то похожее на смех Рахили, чуть-чуть похожее — на большее я не способна; из заколдованного замка я принесла с собой не только сумочку, полную золота, но и ореховую скорлупку смеха; пусть она мала, зато в моем смехе заключена гигантская энергия, куда более действенная, чем динамит Роберта...

Вы очень торжественно шествуете по аллее к лестнице, чересчур торжественно и чересчур медленно; сын Эдит возглавляет процессию, но кто идет с ним рядом? Эта девушка не Рут; когда я ушла из дому, Рут было три года, и все-таки я сразу узнаю ее, хотя ей минуло уже восемнадцать лет; нет, это не Рут; жесты у людей не меняются; в ядре ореха уже заключено будущее дерево; как часто я наблюдала когда-то жест Рут, откидывавшей рукой волосы со лба, — это был жест моей матери. Где же Рут? Пусть она меня простит. Эта незнакомая девушка очень красива; теперь я поняла: из ее лона выйдут твои правнуки, старик; ты думаешь, их будет семью семь? Прости, что я смеюсь; у вас поступь герольдов, слишком медленная и слишком торжественная; может, вы хотите забрать с собой юбиляршу, чтобы отпраздновать ее золотую свадьбу?

Юбилярша готова, она сморщилась, как старое-престарое яблоко; можешь отнести меня на руках в такси, старик, только побыстрее; больше я не хочу терять ни секунды; ну вот, такси уже здесь; видите, как хорошо я умею все организовывать, этому я научилась, будучи

женой архитектора; пропустите такси, а сами выстройтесь по обеим сторонам дороги: справа пусть станет Роберт и красивая незнакомая девушка, а слева старик с внуком; Роберт, Роберт, может быть, для тебя настала пора опереться на чье-нибудь плечо, может быть, ты нуждаешься в помощи, в поддержке? Входи, входи, старик, принеси нам счастье. Давайте праздновать, давайте веселиться. Наше время пришло!

12

Встревоженный портье посмотрел на часы — было уже больше шести, а Йохен так и не явился сменить его; постоялец из одиннадцатого номера спал вот уже двадцать один час подряд, повесив на дверную ручку трафарет «*Просьба не беспокоить*»; правда, до сих пор тишина за этой дверью еще никому не показалась подозрительной, не слышалось зловещего шепота постояльцев и ни одна из горничных не вскрикнула. Настало время ужина... Темные костюмы... светлые платья... повсюду серебро, горящие свечи и музыка; когда подавали салат из омаров, играли Моцарта, когда приносили мясные блюда, играли Вагнера, а когда гости принимались за десерт — играли джаз.

В воздухе пахло бедой; портье испуганно взглянул на часы, секундная стрелка, казалось, нарочито медленно приближалась к роковой точке; когда она до нее дойдет, беда грянет, станет явной; без конца звонил телефон: «Ужин в двенадцатый номер», «Ужин в двести восемнадцатый номер», «Шампанское в четырнадцатый номер». Неверные жены и неверные мужья требовали соответствующих стимуляторов; пятеро бездельников, слоняющихся по свету, сидели в холле, поджидая автобус на аэродром — они отлетали ночным рейсом.

— Да, сударыня, первая улица налево, вторая направо, третья налево, *древнеримские детские гробницы* вечером освещены, фотографировать разрешается.

Бабушка Блезик, забившись в дальний угол, пила портвейн; в конце концов она все же поймала Гуго, сейчас он читал ей местную газету:

— «Вора-карманника постигла неудача. Вчера в Эрэнфельдгюртеле неизвестный молодой человек пытался вырвать сумочку из рук пожилой женщины. Одна-

ко храброй старушке удалось...» «Государственный секретарь Даллес...»

— Ну это уж пошла ерунда, совершеннейшая ерунда,— сказала бабушка Блезик,— я не хочу слушать ни о политике, ни о международных делах, меня интересуют только местные новости.

И Гуго продолжал читать:

— «...Бургомистр чествует заслуженного мастера бокса...»

Время тянулось издевательски медленно, словно нарочно отодвигало момент, когда грянет беда; тихонько звенели бокалы, кельнеры ставили серебряные подносы, изысканно и мелодично постукивали фарфоровые тарелки, переносимые с места на место; в дверях стоял водитель автобуса авиакомпании; указывая на часы, он жестами поторапливал отъезжающих постояльцев; дверь почти бесшумно, плавно и мягко входила в пазы, обитые войлоком, портье нервно поглядывал в свои записи: «Оставить номер окнами на улицу с 18.30 для господина М.; оставить двойной номер с 18.30 для тайного советника Фемеля с супругой, обязательно окнами на улицу»; «в 19.00 вывести на прогулку собачку Кесси из номера 114». Только что этой паршивой собачонке понесли яйца, приготовленные на особый манер — твердый желток и мягкий белок, и сильно поджаренные ломтики колбасы; разумеется, мерзкое животное начнет привередничать, отказываясь от еды; господин из одиннадцатого номера спит вот уже двадцать один час и восемнадцать минут.

— Да, сударыня, фейерверк начнется через полчаса после захода солнца, то есть около девятнадцати часов тридцати минут, начало парада около девятнадцати часов пятнадцати минут; к сожалению, я не могу сказать вам, будет ли господин министр присутствовать на нем.

Гуго продолжал читать, весело, словно школьник, отпущенный с уроков:

— «...отцы города вручили заслуженному мастеру бокса диплом почетного гражданина, а также специальную золотую медаль, которая дается только за особые заслуги в области культуры. В заключение чествования состоялся банкет».

Бездельники, слоняющиеся по свету, наконец-то убрались из холла.

— Да, господа, банкет левой оппозиции в синем

зале... нет, нет, господа, правая оппозиция — в желтом зале; дорогу указывают стрелки.

Бог его знает, кто из них левый, а кто правый, по лицу этого не определишь, в таких вещах Йохен разбирается лучше, политиков он видит насквозь, здесь его никогда не подводит инстинкт; Йохен узнаёт настоящего аристократа, даже если тот явится в рубище, и разглядит голодранца, даже если тот напялит на себя самое роскошное одеяние; Йохен отличил бы левых от правых, хотя в них все, вплоть до меню, одинаково; ах да, сегодня у нас состоится еще один банкет — наблюдательного совета общества «Все для общего блага».

— Пожалуйста, в красный зал, милостивый государь.

У всех у них совершенно одинаковые лица, и все они будут есть на закуску салат из омаров — и левые, и правые, и члены наблюдательного совета; когда подадут омаров, заиграют Моцарта, к мясному блюду, пока гости будут смаковать густые соусы, начнут играть Вагнера, а как только перейдут к десерту — джазовую музыку.

— Да, сударь, в красном зале.

Инстинкт никогда не подводит Йохена, если речь идет о политике и политиках, зато во всех остальных случаях он пасует. Когда овечья жрица появилась в отеле первый раз, Йохен сразу сказал: «Внимание! Это важная птица», а когда потом к нам пришла та маленькая бледная девушка с длинными лохмами, с одной сумочкой в руках и с блокнотом под мышкой, тот же Йохен прошептал: «Обыкновенная шлюха». «Нет, — возразил я, — она делает это со всеми, но *делает бесплатно*, значит, она не шлюха», но Йохен стоял на своем. «Она делает это со всеми, — говорил он, — и *за плату*». Йохен оказался прав, но зато Йохен не чувствует приближения беды. В тот день, когда к нам приехала блондинка с сияющим лицом и тринадцатью чемоданами, я сказал ему, глядя, как она входит в лифт: «Давай поспорим, что мы никогда больше не увидим ее живой»; Йохен был совсем другого мнения: «Чепуха, просто она удрала на несколько дней от мужа». А кто оказался прав? Конечно, я. Блондинка приняла соответствующую дозу снотворного и повесила на двери трафарет «*Просьба не беспокоить*»; ее не беспокоили двадцать четыре часа, а потом по отелю поползли слухи: кто-то умер, кто-то умер в сто восемнадцатом номере. Веселенькая история, доложу я вам, когда часа в три дня в отель является

полиция, а в пять часов выносят покойника. Лучше не придумашь.

Фу, какая у него морда, прямо как у буйвола. Платяной шкаф с манерами дипломата, живой вес этак с центнер, походка как у таксы, а костюм чего стоит! Похоже, важная персона, которая нарочно держится в тени; спутники его подходят к конторке, оба они менее важные.

— Будьте добры, номер для господина М.

— Ах да, номер двести одиннадцать. Гуго, поди сюда, проводи господ наверх.

И в ту же минуту все трое — три центнера живого веса, облаченные в английское сукно,— бесшумно вознеслись на лифте вверх.

— Йохен, Йохен, о боже, где ты пропадал?

— Извини меня,— сказал Йохен,— тебе ведь известно, что я почти всегда бываю аккуратен; особенно если знаю, что тебя ждут жена и дети, поверь, я с удовольствием пришел бы вовремя, но когда дело идет о голубях, мое сердце разрывается между обязанностями друга и обязанностями голубятника; уж коли я выпустил шестерых голубей, мне хотелось бы заполучить всех шестерых обратно, сам понимаешь, но в срок прилетело только пятеро, шестой опоздал минут на десять и явился совершенно измученный, бедная птичка; иди домой; если ты еще надеешься захватить хорошие места, чтобы увидеть фейерверк, тебе пора отправляться: да, да, я понимаю: в синем зале — левые, в желтом — правые, а в красном — наблюдательный совет общества «Все для общего блага»; ну да, ведь сегодня суббота; правда, гораздо интереснее бывает, когда собираются филателисты или же пивные боссы, но ты не волнуйся, я уж как-нибудь справлюсь; я сдержу себя, несмотря на то что с удовольствием надавал бы по шее левой оппозиции и наплевал бы на правых, а заодно и на членов наблюдательного совета. И все же не волнуйся, я буду держать знамя нашего отеля высоко и позабочусь о твоих кандидатах в самоубийцы... Хорошо, сударыня, я отправлю Гуго к вам в номер к девяти часам для игры в карты, хорошо... Господин М. уже прибыл? Не нравится мне этот господин М. Еще не видя его, я уже испытываю к нему антипатию... Хорошо, сударь, я пришлю в двести одиннадцатый номер шампанское и три сигары «Партагас эминентес». Вы узнаете их по запаху!.. Боже, кого я вижу! Весь род Фемелей в полном составе.

Милая девочка, что с тобой стало! Когда я встретил тебя впервые, мое сердце забилося сильнее, это было в тысяча девятьсот восьмом году на параде по случаю приезда кайзера. Конечно, я уже тогда знал, что такие, как ты, не про нашу честь; я принес твоим папочке и мамочке красное вино в номер. Дорогая моя детка, кто бы мог подумать, что со временем ты превратишься в такую вот старую бабушку, сморщенную, как печеное яблоко, с белыми волосами. Я легко поднял бы тебя одной рукой и отнес в номер, я бы так и поступил, если бы это было мне дозволено, но мне такие вещи не дозволяются; да, моя дорогая, жаль, что это так, ты и сейчас еще хороша.

— Господин тайный советник, мы оставили вам и вашей супруге, то есть, прошу прощения, вашей супруге и вам, двести двенадцатый номер. Багаж еще на вокзале? Нет? Прикажете что-нибудь доставить из вашей квартиры? Не надо? Ах так! Вы пробудете у нас всего часа два, посмотрите фейерверк и парад «Кампфбунда»? Разумеется, в этом номере поместятся шесть человек, балкон большой. Если хотите, мы можем сдвинуть кровати. Не нужно? Гуго, Гуго, проводи господина Фемеля в двести двенадцатый номер и захвати с собой карточку вин. Когда придут молодые люди, я укажу им вашу комнату; разумеется, господин доктор Фемель, бильярдная бронирована за вами и за господином Шреллой, на это время я освобожу Гуго. Да, Гуго — славный мальчик, сегодня он полдня висел на телефоне, пытался связаться с вами; я думаю, он на всю жизнь запомнил ваш номер и номер пансиона «Модерн». В честь чего состоится парад «Кампфбунда»? В честь дня рождения какого-то маршала, по-моему, он слышет героем Хузенвальда; во всяком случае, мы услышим прекраснейшую песню «Отечество, трещат твои устои». Ну и пусть их трещат, господин доктор. Что вы говорите? Всегда трещали? Разрешите мне высказать свое сугубо личное мнение по политическому вопросу: так вот, будьте осторожны, если они снова затрещат. Будьте осторожны!

— Я уже однажды стояла здесь и смотрела, как ты маршируешь, — тихо проговорила она. — Это было в день парада в честь кайзера в январе тысяча девятьсот восьмого года, погода была великолепная, мороз треску-

чий — так, кажется, говорят стихотворцы; я дрожала, боялась, что ты не выдержишь последнего и самого трудного из всех испытаний — испытания военным мундиром; генерал с соседнего балкона чокался с папой, мамой и со мной; да, старик, в тот день ты выдержал испытание. Почему ты смотришь на меня выжидающе? Вот именно — выжидающе. Так ты на меня еще никогда не смотрел. Положи голову ко мне на колени, закури сигару; извини, что я дрожу; мне страшно; неужели ты не видел лицо того мальчика? Он ведь мог быть братом Эдит. Мне страшно, ты должен это понять, я все еще не могу вернуться в свою квартиру, наверное, не смогу никогда этого сделать, не смогу вступить в тот же старый заколдованный круг; мне страшно, гораздо страшнее, чем прежде; вы, очевидно, привыкли к окружающим вас лицам, но я уже начинаю тосковать по моим безобидным сумасшедшим, которые остались в лечебнице. Неужели вы все ослепли? Почему вы так легко дали себя обмануть? Они убьют вас даже не за движение руки, а просто так, ни за понюшку табаку. Пусть у вас будут темные или светлые волосы, пусть вам выдадут свидетельство о том, что ваша прабабушка крестилась, они все равно убьют вас, если им не понравится ваше лицо. Разве ты не видел, какие плакаты они расклеили на стенах? Неужели вы все ослепли? Скажи мне, где я? Поверь, мой дорогой, все они приняли *«причастие буйвола»*; каждый из них глуп как пень, глух как тетерев, а с виду так же безобразен, как тот сумасшедший — последнее воплощение буйвола; и притом все они так приличны, так приличны; мне страшно, старик; даже в тысяча девятьсот тридцать пятом году, даже в тысяча девятьсот сорок втором я не чувствовала себя такой одинокой; конечно, мне потребуется время, чтобы привыкнуть к людям, но к этим людям я никогда не привыкну, даже за несколько столетий. Прилично, прилично. На их лицах нет ни тени грусти, что это за люди, которые не знают грусти? Налей мне еще рюмку вина и не смотри так подозрительно на мою сумочку; все вы знакомы с медициной, но лекарство мне пришлось выписать себе самой; у тебя чистое сердце, ты не можешь себе представить, сколько зла в мире; сегодня я потребую от тебя новую большую жертву — отмени праздник в кафе «Кронер», разрушь легенду о себе; вместо того чтобы просить внуков плюнуть на твой памятник, сделай так, чтобы тебе вообще не ставили памятника; тебе ведь никогда не нравился сыр с перцем;

пускай за праздничный стол сядут кельнеры и судомойки. Пусть они съедят праздничное угощение; давай останемся на этом балконе, будем наслаждаться летним вечером в кругу семьи, пить вино, любоваться фейерверком и глядеть, как маршируют эти «кампфбундовцы». Кстати, с кем они собираются воевать? Можно мне позвонить в кафе «Кронер» и отменить праздник?

У портала Святого Северина толпились участники парада в синей форме; они стояли группами, покуривая сигареты; над их головами развевались флаги — на синекрасном фоне большая черная буква «К» — духовой оркестр уже репетировал песню «Отечество, трещат твои устои», на балконах тихо позвякивали бокалы, ведерки со льдом издавали металлический звон, пробки от шампанского выстреливали прямо в темно-синее вечернее небо. Но вот часы на Святом Северине пробили три четверти седьмого; трое господ в темных костюмах из двести одиннадцатого номера вышли на балкон.

— Вы действительно думаете, что они будут нам полезны? — спросил М.

— Уверен, — бросил первый спутник.

— Без сомнения, — согласился второй.

— Боюсь только, что, выразив симпатию этим «кампфбундовцам», мы потеряем больше голосов, чем приобретем, — сказал господин М.

— «Кампфбунд» не считается столь уж экстремистским, — возразил первый спутник.

— Вы ничего не потеряете, вы можете только выиграть, — подтвердил второй.

— Сколько это примерно даст нам избирателей при оптимальном варианте и сколько при минимальном?

— При оптимальном варианте тысяч восемьдесят, а в худшем случае — тысяч пятьдесят. Так что решайте.

— Пока я еще ничего не знаю, — сказал М., — жду указаний от К. Как вы полагаете, газетчики ничего не пронюхали?

— Нет, господин М., — сказал первый спутник.

— А персонал отеля?

— Они умеют хранить тайны, господин М., — сказал другой. — Но господин К. должен поскорее дать соответствующие указания.

— Мне лично эти парни не нравятся, — сказал господин М., — они еще во что-то верят.

— Для нас это восемьдесят тысяч голосов. Пусть

себе верят во что хотят, господин М.,— возразил первый спутник.

Собеседники засмеялись, послышался звон бокалов. Вдруг раздался телефонный звонок.

— Да, у телефона М. Я вас правильно понял? Выразить им свою симпатию? Слушаюсь... Господин К. решил в положительном смысле, давайте вынесем на балкон стол и стулья.

— А что подумают за границей?

— Безразлично. Они во всех случаях думают неправильно.

Собеседники снова засмеялись. Послышался звон бокалов.

— Я спущусь вниз и скажу организатору шествия, чтобы он обратил внимание на наш балкон,— сказал первый спутник.

— Нет, нет,— возразил старик,— я не хочу класть голову к тебе на колени, не хочу смотреть на синее небо; ты сказала в кафе «Кронер», чтобы они прислали к нам Леонору? Леонора огорчится. Ты ведь не знакома с Леонорой? Это секретарша Роберта, очень милая девушка, не надо лишать ее удовольствия, у меня вовсе не такое уж чистое сердце, и я хорошо знаю, сколько зла в мире; я чувствую себя одиноким, еще более одиноким, чем чувствовал себя в «Якоре» в Верхней гавани, когда мы приносили деньги кельнеру по фамилии Гроль; смотри, они уже строятся для парада, какой теплый летний вечер, смеркается, их смех слышен даже на балконе; помочь тебе, дорогая? Ты не заметила, что положила свою сумочку ко мне на колени, пока мы ехали в такси; сумочка очень тяжелая, но все же недостаточно тяжелая. Зачем тебе, собственно, понадобилась эта штука?

— Я хочу застрелить вон того толстяка, который гарцует на белой лошади. Видишь? Ты его еще помнишь?

— Неужели ты думаешь, что я могу забыть этого человека? Из-за него я разучился смеяться: сломалась скрытая пружинка в скрытом часовом механизме; по его приказу казнили белокурого мальчугана, он засадил за решетку отца Эдит, Гроля и мальчика, имя которого так и осталось неизвестным; из-за таких, как он, одно движение руки стоило человеку жизни; это он превратил Отто в того молодчика, каким он стал, в оболочку прежнего Отто... тем не менее я не стал бы убивать его.

Частенько я задавал себе вопрос: зачем я вообще приехал в этот город? Неужели только затем, чтобы разбогатеть? Нет, ты сама знаешь, что это не так. Может, я приехал, полюбив тебя? Тоже нет, ведь тогда я еще не знал, что ты существуешь, и, следовательно, не мог любить тебя. Быть может, меня гнало честолюбие? И этого не было. Мне кажется, я просто хотел посмеяться над людьми, сказать им под занавес: «Послушайте, я пошутил, вот и все». Мечтал ли я тогда о детях? Да, мечтал. И у меня были дети: двое умерли очень давно, одного убили на войне, того, что стал мне совсем чужим, гораздо более чужим, чем люди с флагами там, внизу. Ну а другой сын?.. «Как поживаешь, отец?» — «Хорошо, а ты?» — «Тоже хорошо, спасибо, отец». — «Не требуется ли тебе помощь?» — «Нет, спасибо, у меня все в порядке...» Аббатство Святого Антония? Извини, дорогая, что я смеюсь. Все это прах и тлен. Аббатство не вызывает во мне никаких чувств, ни ложных, ни тем более настоящих. Налить тебе еще вина?

— Да, пожалуйста.

Я уповаю на пятьдесят первый параграф, дорогой мой, наши законы можно повернуть и туда и сюда. Посмотри вниз. Ты видишь нашего старого приятеля Неттлингера? Он достаточно умен, чтобы пока еще не появляться в форме, и все же он тут как тут — пожимает руку кому надо, хлопает по плечу кого надо, щупает материю флагов; пожалуй, лучше убить этого Неттлингера, впрочем, я еще подумаю, быть может, мне вообще не следует стрелять в тот паноптикум на улице; будущий убийца моего внука сидит на соседнем балконе. Ты его видишь? Он в черном костюме и вполне приличен, вполне благопристойен; он думает не так, как они, и ведет себя иначе, у него другие планы, его не назовешь неучем, он свободно говорит по-французски и по-английски, знает латынь и греческий, он добрый христианин, он уже заложил на завтра свой календарь, он знает, что завтра пятнадцатое воскресенье после Троицына дня; «Какую благодарственную молитву следует читать?» — крикнул он сегодня своей жене в спальню. Нет, я не стану убивать толстяка, который гарцует на белой лошади, не стану стрелять в паноптикум на улице; достаточно слегка повернуться, и моя мишень окажется в шести метрах от меня, на таком расстоянии легче всего попасть. В семьдесят с лишним лет люди уже больше ни на что не годны, кроме как на это. Зачем убивать тиранов? Надо

убивать самых что ни на есть приличных господ. На пороге смерти наш сосед снова обретет способность удивляться. Дорогой мой, только не дрожи, я заплачу за себя выкуп; меня забавляет вся эта процедура — ровно дышать, прицеливаться, брать на мушку. Не затыкай себе уши, выстрел будет не таким уж громким, тебе покажется, что лопнул воздушный шарик; сегодня канун пятнадцатого воскресенья после Троицына дня.

13

Одна из девушек была блондинка, другая — шатенка, обе они были стройные, обе улыбались, обеим очень шел костюм из красновато-коричневого твида, у обеих белоснежный воротничок обрамлял точеную шейку, похожую на стебель цветка; обе они свободно говорили по-французски и по-английски, по-фламандски и по-датски, на всех этих языках у них было великолепное произношение, так же хорошо они изъяснялись на своем родном немецком языке; то были красивые монахини, посвятившие себя несуществующему божеству; они знали даже латынь; их место было в служебном помещении, позади кассы, там они дожидались, пока экскурсанты разобьются на группы по двенадцать человек; тогда они за-тапывали окурок сигареты острым каблучком туфли, привычным жестом подкрашивали губы, выходили за барьер и выясняли, сколько людей какой национальности им придется вести; улыбаясь, они без всякого акцента спрашивали экскурсантов, откуда те приехали и какой язык считают родным. Экскурсанты отвечали на вопросы поднятием пальца. В этой группе семь человек говорили по-английски, двое — по-фламандски, трое — по-немецки. Засим следовал еще один вопрос, задаваемый самым веселым тоном, — кто из экскурсантов изучал латынь? Одна только Рут нерешительно подняла палец. Больше никто? На красивом лице девушки мелькнуло сожаление; в этот раз судьба подарила ей слишком мало слушателей с гуманитарным образованием; только одна из всей экскурсии сумеет оценить ту ритмическую ясность, с какой девушка отчеканивает латинскую надпись, читая надгробия. Опустив с улыбкой длинную указку и светя себе фонариком, девушка начала первой спускаться по лестнице; запахло бетоном и известкой; потом пахнуло склепом, хотя легкое жужжание свиде-

тельствовало о том, что подземелье оборудовано установкой для кондиционирования воздуха; с безукоризненным произношением девушка назвала по-английски, по-фламандски и по-немецки размеры каменных плит и ширину древнеримской улицы.

— Вот здесь лестница, сооруженная во втором веке, а здесь термы, построенные в четвертом веке; посмотрите туда, на этих плитах из песчаника стражники, нацарапав квадратики, играли от скуки в «мельницу» (именно в этом духе их инструктировали на курсах: «Не забывайте подчеркивать бытовые детали»). Вот здесь дети древних римлян играли в камешки, обратите, пожалуйста, внимание, на то, какие ровные зазоры были между плитами мостовой... а вот сточный желоб, по этому серому желобу стекала грязная вода во времена Древнего Рима, стекали древнеримские помои. Вот развалины маленького храма, который проконсул приказал построить лично для себя — здесь он поклонялся богине Венере.

В неоновом свете она ясно различила ухмылки экскурсантов, ухмылки фламандские и английские. Странно только, что трое молодых немцев так и не ухмыльнулись.

— Почему дома стоят на таких высоких фундаментах? В те времена вся местность была, видимо, заболочена, река кагила свои зеленые воды по серому каменному ложу. Чу! Слышите проклятия германских рабов? По их золотистым бровям пот стекал прямо на белые лица, увлажнял светло-русые бороды; губы варваров произносили проклятья, которые звучали как стихи: «Вотан взрастит возмездье мерзейшему племени римлян, горе им, горе им, горе...» Чутьочку терпения, уважаемые дамы и господа, осталось пройти всего несколько шагов, взгляните сюда — здесь мы видим развалины здания суда, а вот и цель нашего путешествия — *древнеримские детские гробницы*. («Теперь, — наставляли их на курсах, — вы молча проходите впереди всех и переживаете, пока люди поборют первое волнение, только после этого вы снова начинаете рассказывать; сколько времени должно длиться проникновенное молчание, вам может подсказать только ваша интуиция, разумеется, это зависит также от состава группы; ни в коем случае не допускайте дискуссии о самих римских детских гробницах, в ходе которой может выясниться, что у нас находятся не гробницы, а всего лишь надгробия, найденные, кстати сказать, вовсе не здесь».)

Могильные плиты стояли полукругом, вплотную к серой стене; после того как первое волнение стихало, пораженные экскурсанты поднимали взгляды к отверстию шахты; над неоновыми лампами виднелось темно-синее вечернее небо, казалось даже, что вдали мерцает первая звездочка, а быть может, то был всего-навсего мягкий отсвет позолоченного или посеребренного шарика ограды, падавший сквозь круглый светлый колодец, составленный из трех венцов.

— Посмотрите туда, где начинается первый венец... видите белую поперечную черту на бетонной стене? Во времена древних римлян приблизительно на этой высоте находился уровень улицы, а теперь взгляните на второй венец... там вы тоже увидите белую черту на бетонной стене. Видите? Таков был уровень земли в средние века. И наконец, третью белую черту я могу вам не показывать — на этом уровне пролегает улица в наши дни. Ну а теперь, уважаемые дамы и господа, мы перейдем к надписи.

Лицо девушки стало каменным, словно лицо богини; слегка согнув руку в локте, она подняла фонарик, похожий на обгоревший факел:

*Dura quidem frangit parvorum morte parentes
Conditio rapido praecipitata gradu
Spes aeterna tamen tribuet solacia luctus...*

Она улыбнулась Рут, единственной, кто мог понять язык подлинника, и чуть заметным жестом поправила воротничок твидового жакета, потом немного опустила фонарик и с чувством продекламировала перевод:

Жестокий рок поражает родителей,
когда быстрая, быстротечная смерть уносит их дитя,
но в скорби о юном существе,
что вкушает райское ныне блаженство,
нам дарит утешение вечная Надежда.
Шести лет и десяти месяцев от роду был погребен
под этим могильным холмиком ты, Дезидератус.

Печаль семнадцативековой давности легла на лица экскурсантов, поразила их сердца; челюсти пожилого господина из Фландрии вдруг перестали двигаться, словно их парализовало, а подбородок обвис; господину пришлось быстро запихнуть языком жевательную резинку в самый дальний угол рта; Марианна расплакалась; Йозеф сжал ее локоть, Рут положила ей руку на плечо. Девушка-экскурсовод с тем же неподвижным

лицом продолжала декламировать, теперь уже на английском языке:

Hard a fate meets with the parents...

Опасней всего был момент, когда экскурсанты выбирались из темных подземелий на свет, на свежий воздух, когда их снова окутывал теплый летний вечер; схоронив глубоко в сердце древнюю скорбь, они томились, мечтая о древних любовных мистериях; туристы-одиночки сплевывали у окошка кассы жевательную резинку и на ломаном немецком языке пытались назначить свидание своему гиду — они приглашали ее потанцевать в отель «Принц Генрих», вместе погулять или вместе поужинать; «a lonely feeling¹, фройляйн»; и фройляйн вынуждена была держать себя совершенно недоступно, как весталка, — не позволять им ухаживать за собой и категорически отказываться от всех приглашений: «Прошу вас без рук, на меня разрешается только смотреть», «по, sig, по, по»², однако и ее выводило из равновесия их волнение, и она чувствовала дыхание древности; ей было жаль одиноких иностранцев, которым приходилось, покачав головой, нести свой любовный пыл туда, где еще царил культ Венеры и где жрицы любви, хорошо знакомые с обменным курсом, не смущаясь, назначали цену в долларах, в фунтах стерлингов, в гульденах, франках или в марках.

Кассир безостановочно отрывал билетки от рулона, можно было подумать, что узкая дверца — это вход в кино. Когда девушка-экскурсовод оказывалась наконец в служебном помещении, ей еле хватало времени на то, чтобы проглотить кусочек хлеба с маслом и отхлебнуть из термоса; каждый раз ей предстояло решать трудно-разрешимую задачу — приберечь ли окурок сигареты до следующего раза или же затоптать его острым каблучком; она делала последнюю затяжку, еще одну, самую последнюю, и в то же время извлекала левой рукой из сумочки тюбик губной помады, в эти минуты она решала назло самой себе нарушить монашеский обет, но тут кассир просовывал голову в дверь:

— Милочка, милочка, тебя ждут уже две партии, поторапливайся, *древнеримские детские гробницы* стали прямо-таки гвоздем сезона.

¹ Чувство одиночества (англ.).

² Нет, сэр, нет, нет (англ.).

Улыбаясь, она снова подходила к барьеру, чтобы спросить экскурсантов, какой они национальности и какой язык считают родным; на этот раз четверо говорили по-английски, один по-французски и одна по-голландски; немцев оказалось целых шестеро; опустив длинную указку и светя себе фонариком, она спускалась по лестнице в подземелье, чтобы снова поведать о древнем культе любви и снова прочесть древние письма, проникнутые смертельной скорбью.

Проходя мимо длинной очереди у кассы, Марианна продолжала плакать; заметив ее слезы, немцы, англичане и голландцы сконфуженно отворачивались; они с недоумением спрашивали себя: какую мучительную тайну хранил склеп? Неужели это возможно, чтобы памятники старины доводили людей до слез? За шестьдесят пфеннигов здесь ощущают такое глубокое волнение, какое только изредка испытывают некоторые кинозрители после исключительно плохого или после исключительно хорошего фильма. Неужели камни и впрямь могут тронуть человека до слез? Ведь большинство, выходя из подземелья, хладнокровно засовывают в рот новую порцию жевательной резинки, жадно закуривают сигарету, снимают при вспышке магния очередной кадр, уже выискивая глазами новый объект для съемки — фронтон жилого дома пятнадцатого века как раз напротив входа в *древнеримские детские гробницы*; щелк... и вот с помощью химии фронтон уже увековечен на пленке...

— Потерпите, потерпите, господа,— прокричал кассир из своей будки,— вследствие исключительно большого наплыва публики мы решили пускать не по двенадцати экскурсантов, а сразу по пятнадцати, поэтому прошу еще трех человек из очереди подойти ко мне; вход шестьдесят пфеннигов, каталог — марка двадцать.

Пока Марианна проходила мимо очереди, которая выстроилась вдоль стены и тянулась до самого угла улицы, на ее лице все еще блестели слезы; она улыбнулась Йозефу, с силой сжавшему ее локоть, а потом улыбнулась Рут в благодарность за то, что девушка положила ей руку на плечо.

— Нам надо поторапливаться,— сказала Рут,— уже без десяти семь, не следует заставлять их ждать.

— Мы дойдем за две минуты,— возразил Йозеф,— как раз вовремя; и здесь пахнет известкой... везде меня

преследует этот запах... и запах бетона; между прочим, знаете ли вы, что гробницы были обнаружены исключительно благодаря страсти отца к взрывам; когда взрывали старую сторожевую башню, обрушился подвал и расчистил путь к этим древним черепкам; одним словом, да здравствует динамит... как тебе, кстати, понравился наш новый дядюшка, Рут? Заговорил ли в тебе голос крови, когда ты его увидела?

— Нет,— сказала Рут,— голос крови во мне не заговорил, но, по-моему, он славный, только немного суховатый и какой-то беспомощный... он будет жить у нас?

— Вероятно,— сказал Йозеф.— Мы тоже будем там жить, Марианна.

— Ты намерен переехать в город?

— Да,— сказал Йозеф,— я хочу изучать статику, чтобы работать потом в солидной фирме моего отца. Ты не возражаешь?

Они пересекли оживленную магистраль и свернули на сравнительно тихую улицу; Марианна остановилась у одной из витрин; отстранив Йозефа и высвободившись из объятий Рут, она вытерла слезы носовым платком; Рут в это время пригладила рукой свои волосы и одернула джемпер.

— Не знаю, достаточно ли мы элегантны,— сказала она,— мне бы не хотелось огорчать дедушку.

— Вы вполне достаточно элегантны,— успокоил ее Йозеф.— Одобряешь ли ты мой план, Марианна?

— Конечно, мне далеко не все равно, чем ты занимаешься,— сказала она,— но я верю, что изучать статику — это хорошо; весь вопрос в том, как ты намерен использовать свои знания.

— То есть строить или взрывать? Это я еще не решил,— ответил Йозеф.

— Динамит наверняка уже устарел,— сказала Рут,— я уверена, что сейчас существуют более совершенные средства. Помнишь, как радовался отец, когда ему еще разрешали взрывать? Собственно говоря, он стал таким строгим с тех пор, как ему нечего стало взрывать... Какое он произвел на тебя впечатление, Марианна? Он тебе понравился?

— Да,— ответила Марианна,— он мне очень понравился. Я думала, что он гораздо хуже, более холодный человек; ваш отец внушал мне чуть ли не страх, но как раз бояться-то его совсем и не надо; не

смейтесь, в его присутствии я чувствую себя в безопасности.

Йозеф и Рут и не думали смеяться; они отправились дальше, Марианна шла в середине; у входа в кафе «Кронер» они остановились; обе девушки еще раз поглядели на себя в зеркальное стекло двери, затянутой изнутри зеленым шелком, и еще раз пригладили волосы; потом Йозеф с улыбкой распахнул перед ними дверь.

— О боже,— сказала Рут,— я умираю с голоду; надеюсь, дедушка заказал что-нибудь стоящее.

Воздев руки, госпожа Кронер двинулась им навстречу, она шла по зеленой дорожке мимо столиков, накрытых зелеными скатертями; ее серебристые волосы растрепались; по выражению лица можно было понять, что стряслась какая-то беда; в водянистых глазах госпожи Кронер блестела влага, ее голос дрожал от непритворного волнения.

— Значит, вы еще ничего не знаете? — спросила она.

— Нет,— ответил Йозеф,— что случилось?

— Видимо, произошло что-то страшное, ваша бабушка отменила праздник... она позвонила всего несколько минут назад; вас ждут в «Принце Генрихе» в двести двенадцатом номере. Я не только встревожена до глубины души, но и очень разочарована, господин Фемель; если бы я не считала, что звонок вызван вескими причинами, я была бы, честно говоря, оскорблена; сами понимаете, что клиенту, который вот уже пятьдесят, вернее, свыше пятидесяти лет является постоянным посетителем нашего ресторана, мы приготовили сюрприз, настоящее произведение искусства... впрочем, вы его сами увидите; и потом, что прикажете сказать представителям прессы и радио, которые появятся здесь около девяти часов, когда должно окончиться чествование в узком семейном кругу... Что я скажу им?

— Разве бабушка не сообщила вам никаких подробностей?

— Она сказала — недомогание.. следует ли под этим подразумевать... хроническое... хроническое недомогание вашей бабушки?

— Мы ничего не знаем,— сказал Йозеф.— Не будете ли вы так добры переслать подарки и цветы в «Принц Генрих»?

— Да, конечно. Но я надеюсь, что уж вы-то по крайней мере посмотрите мой сюрприз.

Марианна толкнула Йозефа, Рут улыбнулась хозяйке; Йозеф сказал:

— С удовольствием, госпожа Кронер.

— Когда ваш дедушка приехал к нам в город, я была совсем юным существом, мне только что исполнилось четырнадцать лет,— начала госпожа Кронер,— тогда меня не пускали дальше кухни, зато потом я научилась сервировать стол; сами понимаете, сколько раз по утрам я приносила вашему дедушке завтрак, сколько раз я убирала рюмочку для яйца, пододвигала ему джем; наклоняясь, чтобы взять тарелку из-под сыра, я обязательно бросала взгляд на дедушкин блокнот; о боже, все мы живем жизнью своих клиентов; не надо считать нас, деловых людей, бесчувственными; не надо думать, что я могла забыть, как ваш дедушка вмиг стал знаменитым, получив такой грандиозный заказ; должно быть, клиенты полагают, что, когда они приходят в кафе, заказывают себе какое-нибудь блюдо, платят по счету и уходят, о них больше не думают; неужели они не понимают, что судьба, подобная судьбе вашего дедушки, накладывает свой отпечаток и на нас?..

— Ну конечно,— заверил ее Йозеф.

— Я знаю, о чем вы сейчас думаете — когда же старуха оставит нас в покое? И все же надеюсь, что я не требую от вас слишком многого, приглашая посмотреть на мой сюрприз и передать дедушке, что я буду очень рада, если он придет сюда и увидит все своими глазами... Снимки для газет уже сделаны.

Они медленно шли за госпожой Кронер по зеленой дорожке между столиками, покрытыми зелеными скатертями; госпожа Кронер остановилась, и они тоже остановились, невольно встав у разных концов большого четырехугольного стола, на который был брошен кусок полотна, полотно покрывало какой-то предмет со впадинами и выпуклостями.

— Как хорошо, что нас четверо,— обрадовалась госпожа Кронер,— прошу каждого из вас взяться за уголок полотнища и, когда я скажу «поднимаем», плавно поднять его кверху.

Марианна подтолкнула Рут к еще не занятому левому углу стола; потом трое молодых людей и госпожа Кронер взяли за концы полотнища, госпожа Кронер скомандовала «поднимаем», и полотнище поползло вверх; девушки двинулись навстречу друг к другу и сое-

динили углы полотнища, а госпожа Кронер бережно сложила покрывало еще раз вдвое.

— Боже мой! — воскликнула Марианна. — Что я вижу, ведь это точная копия аббатства Святого Антония.

— Не правда ли? — сказала госпожа Кронер. — Посмотрите, мы ничего не забыли — даже мозаику над главным входом... а здесь тянутся виноградники.

В модели аббатства были соблюдены все пропорции. И не только это — краски также были совсем как в жизни; церковь была темная, хозяйственные постройки — светлые, крыша подворья для паломников — красная, окна трапезной — разноцветные.

— Все это, — сказала госпожа Кронер, — мы сделали не из постного сахара и не из марципана, а из теста; это настоящий именинный пирог в подарок господину Фемелю, и выпечен он из песочного теста наилучшего качества. Неужели же ваш дедушка не может зайти сюда, чтобы посмотреть на это сооружение, прежде чем мы отошлем его к нему в мастерскую?

— Он обязательно придет посмотреть на ваш подарок, — сказал Йозеф, — а теперь разрешите мне, от имени дедушки, поблагодарить вас; видимо, причины, побудившие его отменить сегодняшний праздник, были достаточно вескими, и вы должны понять...

— Да, я понимаю, что вам пора уходить... Нет, нет, пожалуйста, фройляйн, не кладите полотно обратно... к нам сейчас приедут с телевидения.

— Мне бы хотелось только одного, — сказал Йозеф, когда они проходили по площади Святого Северина, — посмеяться над всем этим или заплакать, но я не способен ни на то, ни на другое.

— Я бы скорее заплакала, — ответила Рут, — но я не стану плакать. Что случилось? Что это за люди с факелами? По какому случаю они подняли такой шум?

Улица бурлила, ржали лошади, цокая копытами по мостовой, повсюду слышались отрывистые окрики, напоминающие военную команду, музыканты настраивали духовые инструменты, издававшие нестройный рев, и вдруг сквозь этот шум и гам донесся не очень громкий, сухой, короткий звук, совершенно не похожий на все другие звуки.

— Боже мой, — сказала Марианна с испугом, — что это такое?

— Выстрел, — сказал Йозеф.

Выйдя из городских ворот на Модестгассе, Леонора испугалась: на улице не было ни души; она не увидела ни подмастерьев, ни монахинь, ни грузовиков. Жизнь уже не была ключом, все вокруг опустело, только у лавки Греца виднелся белый халат госпожи Грец и мелькали ее розовые руки, гнавшие шваброй мыльную пену. Типография была заперта крепко-накрепко, словно в ней уже никогда не будут печатать ничего назидательного на белых листах бумаги; на ступеньках лавки Греца лежал кабан, широко раскинув копыта, с раной в боку, затянутой черной пленкой; его медленно втаскивали в лавку; лицо Греца побагровело, и из этого можно было заключить, как тяжела туша. Леонора трижды звонила по телефону — в дом номер семь, в дом номер восемь и в кафе «Кронер», но ответили только в кафе «Кронер».

— Вам срочно нужен господин доктор Фемель? У нас его нет... Праздник отменили. Это говорит фройляйн Леонора? Вас просили зайти в отель «Принц Генрих».

Она сидела в ванне, когда раздался резкий звонок; шум, поднятый почтальоном, не предвещал ничего хорошего. Леонора вылезла из ванны, накинула халатик, замотала полотенцем мокрую голову, подошла к двери и взяла письмо, посланное спешной почтой, — адрес на конверте с двумя красными чертами был написан рукой Шрита, его желтым карандашом; наверное, Шрит торопил свою восемнадцатилетнюю дочку скорее взять велосипед и ехать на почту, срочно ехать...

«Милая фройляйн Леонора!

Постарайтесь как можно быстрее связаться с господином Фемелем; все статические расчеты в проекте X5 оказались неправильными, кроме того, по словам господина Кандерса, с которым я только что беседовал по телефону, он послал неправильную документацию непосредственно заказчику, что, вообще говоря, никогда не практиковалось нашей фирмой; дело настолько экстренное, что я намерен сегодня же вечером выехать к вам экспрессом, если до двадцати часов Вы не сообщите мне, что Вами приняты соответствующие меры. Не мне Вам говорить, насколько важным и значительным является заказ X5.

С приветом. Ваш Шрит».

Леонора уже дважды продефилировала мимо отеля «Принц Генрих», снова вернулась на Модестгассе, дошла почти до самой лавки Греца и опять повернула назад, она боялась, что патрон устроит ей скандал; суббота была для него священным днем, нарушать его покой по субботам можно было только в тех случаях, когда речь шла о семейных делах, никаких служебных дел он в этот день не признавал; в ушах Леоноры все еще звучали его слова: «Просто безобразия!» Но пока семь часов еще не пробило, Шрит на месте и с ним можно будет за несколько минут связаться по телефону; хорошо, что старик отменил праздник. Леоноре казалось кощунством присутствовать при том, как Роберт Фемель ест и пьет; она робко подумала о проекте Х5; он никак не мог сойти за семейное дело; Х5 не был также обычным проектом, таким, как проект «Виллы на опушке леса для издателя» или же проект «Жилого дома для учителя на берегу реки»; Х5... Леонора почти не осмеливалась думать о нем, таким секретным являлся этот проект... он лежал в самой глубине сейфа; с замиранием сердца она вспоминала о почти пятнадцатиминутном разговоре ее хозяина с Кандерсом. Не о проекте ли Х5 они беседовали? Леоноре стало страшно.

Грец все еще никак не мог втащить на лестницу кабана, огромная туша подвигалась вперед рывками; в ворота типографии позвонил рассыльный с колоссальной корзиной цветов; вышел швейцар, взял цветы и снова запер ворота; рассыльный раскрыл ладонь и с разочарованным видом посмотрел на чаевые. Надо сказать милому старичку, подумала Леонора, что швейцар явно не выполняет его приказа давать каждому рассыльному по две марки; не видно, чтобы в ладони рассыльного блестело серебро, там лежат одни только тусклые медяки.

Наберись мужества, Леонора, наберись мужества, стисни зубы, преодолей свой страх и иди в отель. Леонора снова свернула за угол; девушка с громадной корзиной фруктов вошла в ворота типографии и, выходя обратно, посмотрела на свою ладонь с тем же выражением лица, что и прежний рассыльный. Какой подлец этот привратник, подумала Леонора, я обязательно пожалуюсь на него господину Фемелю.

Было без десяти семь; ее пригласили в кафе «Кронер», а потом велели прийти в отель «Принц Генрих»,

и вот она явится туда и начнет деловой разговор, хотя суббота для патрона священна и он не терпит, чтобы в этот день с ним вели деловые разговоры. Но, быть может, проект X5, в виде исключения, изменит его привычки? Покачав головой, Леонора с мужеством отчаяния толкнула дверь отеля, но в испуге убедилась, что ее придерживают изнутри.

Душечка моя, душечка, и в отношении тебя я позволю себе сделать одно замечание личного характера; только подойди поближе, надеюсь, ты смущаешься так не из-за цели своего визита, а из-за самого факта этого визита; на своем веку я перевидал немало девиц, которые входили в эту дверь, но они были не такие, как ты; тебе здесь не место; в нашем отеле сейчас находится только один гость, к которому я могу пустить тебя, не позволяя себе никаких замечаний личного порядка,— фамилия этого господина Фемель; я гожусь тебе в дедушки; ты не должна обижаться, если я сделаю тебе одно замечание личного порядка; в этом разбойничьем вертепе таким, как ты, делать нечего; рассыпай крошки, чтобы найти дорогу обратно; ты заблудилась, детка; у тех, кто приходит сюда по служебным делам, совсем другой вид, а у тех, у кого здесь личные дела, и подавно; подойди ко мне поближе.

— Доктор Фемель? Ах так, секретарша? Срочно требуется? Подождите, сейчас я позвоню ему по телефону... Надеюсь, вам не помешает шум на улице...

— Леонора? Я очень рад, что отец пригласил вас на рождение... Извините меня, пожалуйста, сегодня утром я наговорил вам бог знает что. Ведь вы меня извините, правда? Отец просит вас прийти в двести двенадцатый номер. Письмо от господина Шрита? Все данные в проекте X5 неправильно вычислены? Хорошо, я созвонюсь со Шритом. Как бы то ни было, благодарю вас, Леонора. Итак, мы вас ждем...

Она повесила трубку, подошла к портье и уже хотела было открыть рот, чтобы спросить, где двести двенадцатый номер, как вдруг раздался не очень громкий сухой звук, прозвучавший так необычно, что Леонора испугалась.

— Господи,— сказала она,— что это было?

— Это был выстрел из пистолета, дитя мое,— сказал Йохен.

Красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому; Гуго прислонился к белой блестящей двери, скрестив руки за спиной; на этот раз геометрические фигуры казались ему не такими точными, а ритм шаров менее четким, хотя это были все те же шары, все то же сукно наилучшего качества, за которым постоянно следили самым тщательным образом. Да и Фемель стал еще более метким, его удары безошибочно попадали в цель, шары образовывали все новые геометрические фигуры, словно извлекая их из зеленой пустоты. И все же Гуго казалось, что ритм игры нарушен и что фигуры стали менее точными. Объяснялось ли это присутствием Шреллы, который принес с собой настоящее, действительность, и разрушил колдовство? То, что происходило сейчас, происходило во времени и пространстве, в этом отеле в восемнадцать часов сорок четыре минуты, в субботу, шестого сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года: теперь тебя уже не отбросят на тридцать лет назад и не кинут на четыре года вперед, на сорок лет назад, а оттуда опять в сегодняшний день; то, что происходило сейчас, было стабильно, ограничено рамками времени, которое тащила вперед секундная стрелка, происходило именно в этом отеле, где из ресторана доносились бесконечные возгласы: «Счет, кельнер, счет!»; публика торопилась к выходу, чтобы поспеть на фейерверк, народ теснился у окон в ожидании парада, толпы направлялись к древнеримским детским гробницам... «Все готово? Магний вспыхнет вовремя?» — «Разве вы не знали, что под буквой «М» скрывается министр?» — «Элегантно, не правда ли?» — «Счет, кельнер, счет!..»

Не зря часы отбивали время, не зря передвигались стрелки; минут становилось все больше и больше, они превращались в четвертушки и в половинки часов, и в конце концов часы показывали точное время — год в год, час в час, секунда в секунду. Разве в ритме шаров нельзя было уловить вопросы: Роберт, где ты есть? Роберт, где ты был? Роберт, где ты бывал? И разве в ударах кия Роберта не слышалось в ответ: Шрелла, где ты есть? Шрелла, где ты был? Шрелла, где ты бывал? Их игра на бильярде походила на какой-то нескончаемый ряд заклинаний. Казалось, ударяя кием по шарам на зеленом сукне, они без конца вопрошали «зачемзачемзачем?» или же причитали «Господи помилуй, Господи

помилуй». Отходя от бортов, чтобы дать ударить Роберту, Шрелла каждый раз улыбался и качал головой.

И Гуго, сам того не замечая, тоже качал головой после каждого удара; колдовство рассеялось, все стало не столь четким, как прежде, ритм нарушился, а часы и календарь совершенно точно отвечали на вопрос: «*Когда?*» Часы и календарь говорили: «Шестого сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, восемнадцать часов пятьдесят одна минута».

— Давай оставим это,—сказал Роберт,—ведь мы больше не в Амстердаме.

— Хорошо,—согласился Шрелла,—оставим, ты прав. А что, нам еще нужен этот мальчик?

— Да,—сказал Роберт,—лично мне он еще нужен. Или, может, ты хочешь уйти, Гуго? Не хочешь? Тогда побудь здесь, пожалуйста, поставь кий на место, убери шары и дай нам что-нибудь выпить... да нет, оставайся, детка; я хотел показать тебе одну вещь: видишь кипу бумаг? Все эти документы, мой милый, скреплены печатями, и на них множество всяких подписей, недостает всего лишь одной подписи, твоей подписи вот на этой бумаге. Если ты ее подпишешь, ты станешь моим сыном. Когда ты подавал вино там наверху, ты видел моих отца и мать, отныне они будут твоими дедушкой и бабушкой: Шрелла станет твоим дядей, Рут и Марианна — сестрами, а Йозеф — братом; ты заменишь мне того мальчика, которого моя жена так и не успела родить; интересно, что скажет старик, когда я представлю ему в день его рождения нового внука, внука с улыбкой Эдит... Нужен ли мне этот мальчик, Шрелла? Да, он мне нужен, нужен всем нам; хорошо, если бы мы тоже стали ему нужны; честно говоря, нам без него просто-таки невозможно; слышишь, Гуго, нам без тебя невозможно. Да, ты не сын Ферди, и все же ты унаследовал его душу... Тише, родной мой, не плачь, отправляйся к себе в комнату и прочти эту бумагу, только осторожно иди по коридору, будь осторожен, сынок.

Шрелла раздвинул портьеры и посмотрел на площадь перед отелем; Роберт протянул ему пачку сигарет, Шрелла зажег спичку, и они закурили.

— Ты еще не отказался от комнаты в гостинице?

— Нет.

— Разве ты не будешь жить у нас?

— Еще не знаю,—ответил Шрелла,—я боюсь домов, в которых устраиваешься надолго и убеждаешься

в той тривиальной истине, что жизнь идет своим чередом и что время примиряет со всем; Ферди стал бы для меня всего лишь далеким воспоминанием, а мой отец — сном, хотя именно здесь, в этом городе, они убили Ферди, хотя именно здесь бесследно исчез мой отец; их имена не значатся нигде, их не найдешь в списках политических организаций, потому что они не занимались политикой, еврейская община не поминает их в заупокойных песнопениях, ведь они не были евреями; если имя Ферди вообще где-то фигурирует, то лишь в судебных архивах; о нем никто не вспоминает, кроме нас с тобой, Роберт, твоих родителей да еще старого портье в этом отеле; твои дети уже не думают о нем; я не могу жить в этом городе, потому что он для меня недостаточно чужой; здесь я родился и ходил в школу; в те времена я мечтал освободить Груффельштрассе от злых чар; я знал одно слово, которого никогда не произносил вслух, даже разговаривая с тобой, Роберт; то единственное слово, на которое я еще надеялся; даже сейчас я не произнесу его вслух, разве только на вокзале, когда ты будешь сажать меня в поезд.

— Ты собираешься ехать уже сегодня? — спросил Роберт.

— Нет, нет, не сегодня; меня вполне устраивает жить в гостинице; я закрываю дверь своего номера, и этот город становится для меня таким же чужим, как все города на земле. Сидя в номере, я знаю, что скоро отправлюсь в путь и опять начну давать уроки немецкого языка; я представляю себе, как войду в класс, сотру с доски арифметическую задачу и напишу мелом: «Я вяжу, я вязал, я вязал бы, я буду вязать, я завязал... ты завязал, ты завязывал». Я люблю грамматику, она для меня то же, что стихи; ты думаешь, наверное, я не хочу здесь жить потому, что не вижу никакой реальной политической перспективы для этого государства, а мне кажется скорее, что я не могу жить здесь, так как всегда был вне политики и сейчас тоже вне ее.— Шрелла показал на площадь и засмеялся.— Нет, не эти люди пугают меня; да, да, я все знаю, я их вижу, Роберт, вижу Неттлингера и Вакеру, но я боюсь не того, что такие люди появились у нас снова, а того, что в этой стране не появилось иных людей; ты спрашиваешь — каких? Людей, которые, пусть шепотом, произносят заветное слово; однажды старик в Гайд-парке спросил меня: «Если вы в Него верите, то почему вы не следуете Его велениям?»

Ты скажешь, что это глупо и нереалистично, не правда ли, Роберт? «*Паси овец Моих*», а они между тем возвращают одних только волков, Роберт. С чем вы вернулись домой после войны, Роберт? Ни с чем, кроме динамита. Хорошенькая игрушка, я прекрасно понимаю тебя, тобою движет ненависть к миру, в котором не нашлось места ни для Ферди, ни для Эдит, не нашлось места ни для моего отца, ни для Гроля, ни для мальчика, имя которого мы так и не узнали, ни для поляка, поднявшего руку на Вакеру. Итак, ты коллекционируешь статическую документацию, как другие коллекционируют мадонн в стиле барокко, ты собрал целую картотеку, состоящую из одних формул. И моему племяннику, сыну Эдит, тоже надоел запах известки, и он начал искать формулы своего будущего не в залатанных стенах аббатства Святого Антония, а где-то вне этих стен. Как ты думаешь, повезет ему? Сможешь ли ты указать ему нужную формулу? Или он прочтет ее в глазах своего нового брата, в глазах мальчика, отцом которого ты хочешь стать? Ты прав, Роберт, нельзя *быть* отцом, им можно только *стать*; голос крови — это выдумка, надо верить совсем в другое; вот почему я не женился, просто я не нашел в себе мужества уверовать в то, что сумею стать отцом; я бы не перенес, если бы мои дети были такими же, как Отто, такими же чужими, как Отто для твоих родителей; даже в воспоминаниях о моей матери и моем отце я не мог почерпнуть необходимое мужество; ты сам еще не знаешь, что выйдет из Йозефа и Рут, какое причастие они будут принимать; нельзя быть уверенным ни в ком, даже в ваших с Эдит детях; нет, нет, Роберт, ты должен понять, почему я не хочу выехать из своего номера в гостинице и вселиться в дом, где жил Отто и умерла Эдит; я был бы не в силах каждый день смотреть на почтовый ящик, в который этот мальчик бросал твои записочки, ведь у вас все тот же почтовый ящик?

— Нет, — сказал Роберт, — входную дверь пришлось заменить, она была вся изрешечена осколками; только пол на площадке лестницы остался прежним; ноги мальчика ступали по нему.

— И ты об этом думаешь, когда ходишь по площадке?

— Да, — сказал Роберт, — думаю; возможно, как раз в этом одна из причин того, почему я коллекционирую статические формулы... Почему ты не приезжал раньше?

— Боялся, боялся, что город покажется мне недостаточно чужим, хотя двадцать два года — неплохой амортизатор. Ну а то, что мы, Роберт, скажем друг другу, разве все это нельзя изобразить на почтовых открытках? Я бы с удовольствием жил по соседству с тобой, но только не здесь. Здесь мне страшно; не знаю, может, я ошибаюсь, но люди, которых я вижу в этом городе, кажутся мне ничуть не лучше тех, от которых я когда-то бежал.

— Думаю, что ты не ошибся.

— Скажи, что стало с такими, как Эндерс? Ты помнишь рыжего Эндерса? Он был славный малый, не насильник, в этом я уверен. Что делали люди, подобные Эндерсу, во время войны и что они делают теперь?

— По-моему, ты недооцениваешь Эндерса; он был не только славный малый, он еще... одним словом, Эндерс никогда не принимал *«причастия буйвола»*, почему бы нам не сказать об этом так же бесхитростно, как говорила Эдит? Эндерс стал священником; после войны он произнес несколько проповедей, которые я считаю забываемыми; если я повторю слова Эндерса, они прозвучат не так, как звучали в его устах.

— А что он делает теперь?

— Они засунули его в какую-то дыру, в деревню, которая стоит даже не на железной дороге, и там он произносит свои проповеди, не обращая внимания на то, что его слушают только крестьяне да ребяташки. Нельзя сказать, чтобы они его ненавидели, просто они говорят с ним на разных языках, хотя по-своему почитают, как милого дуралея. Не знаю, уверяет ли он их и впрямь, что все люди братья. Они в этом разбираются лучше и, вероятно, втайне думают: а может быть, он все-таки коммунист? Иных мыслей у них не возникает; число штампов еще уменьшилось, Шрелла; никому не пришло бы в голову называть твоего отца коммунистом, даже дураку Неттлингеру, а сегодня они не нашли бы для него никакого другого определения. Эндерс хочет пасти овец, а вместо этого ему подсовывают баранов; он попал на подозрение, потому что слишком часто избирал темой своих проповедей Нагорную проповедь; быть может, в один прекрасный день заявят, что этот кусок Евангелия — позднейшая вставка, и вообще вычеркнут его... давай съездим к Эндерсу, Шрелла. Хотя, возвращаясь обратно на вечернем автобусе к станции, мы обнаружим, что из встречи с ним почерпнули больше

отчаяния, нежели утешения; люди в этой деревне кажутся мне более далекими, нежели жители луны; съездим к Эндерсу, проявим к нему сострадание, арестантов надо посещать... А почему ты, собственно, вспомнил об Эндерсе?

— Я подумал, с кем бы мне хотелось увидеться на родине; не забывай, что мне пришлось исчезнуть в те времена, когда я был еще школьником. Но я боюсь встреч с тех пор, как повидал сестру Ферди.

— Ты видел сестру Ферди?

— Она приобрела киоск на конечной остановке одиннадцатого номера. Ты там ни разу не был?

— Нет, я боялся, что Груффельштрассе покажется мне чужой.

— Она и мне показалась чужой, самой чужой улицей на свете... Не ходи туда, Роберт. А что, Тришлеры действительно погибли?

— Да,— сказал Роберт,— и Алоиз тоже погиб, они пошли ко дну вместе с «Анной Катариной»; перед этим Тришлеров выселили из гавани; когда выстроили новый мост, им пришлось оттуда убраться; квартирка, которую они сняли в городе, оказалась не по ним — старики не могли жить без реки и без барж; Алоиз решил отвезти их на «Анне Катарине» к своим друзьям в Голландию, но судно попало под бомбежку; Алоиз бросился вниз за родителями, однако было уже поздно... вода хлынула с палубы в трюм; никому из них не удалось спастись; очень долгое время я не мог напасть на их след.

— А где ты все это узнал?

— В «Якоре», я ходил туда каждый день и расспрашивал моряков о Тришлерах, пока не нашел человека, который знал о несчастье с «Анной Катариной».

Шрелла задернул портьеру, подошел к столу и погасил в пепельнице сигарету, Роберт последовал за ним.

— Я думаю,— сказал он,— нам пора подняться к моим родителям... Хотя, может, тебе не хочется присутствовать на нашем семейном торжестве?

— Да нет,— сказал Шрелла,— я пойду с тобой. Но разве мы не подождем мальчика? А что стало с такими, как Швойгель?

— Тебя в самом деле интересует Швойгель?

— Почему ты это спрашиваешь?

— Неужели, скитаясь по белу свету, ты вспоминал Эндерса и Швойгеля?

— Да, и еще Грeve и Хольтена... ведь они были

единственные, кто не преследовал меня, когда я возвращался из школы домой... еще Дришка не участвовал... Что с ними со всеми случилось? Они живы?

— Хольтен убит на войне, а Швойгель жив; он стал писателем; иногда вечером он звонит мне по телефону или заходит сам, но я прошу Рут говорить, что меня нет дома; я его не выношу, разговоры с ним совершенно бесплодны; мне в его обществе просто скучно; он без конца говорит об обывателях и необывателях; себя он, по-моему, причисляет к последним... не знаю, что он понимает под этим; мне Швойгель, честно говоря, не интересен; как-то он спрашивал о тебе.

— Ну а что случилось с Грече?

— Он теперь партийный, только не спрашивай меня, в какой партии он состоит, да это и не столь важно. А Дришка продает мягкую игрушку — львов фирмы Дришка, этот товар приносит ему уйму денег. Ты не знаешь, что такое львы для автомобилей? Поживи у нас недельку, и ты сразу все усвоишь; каждый мало-мальски уважающий себя человек держит в своей автомашине у заднего стекла льва фирмы Дришка... А в этой стране ты почти не встретишь человека, не уважающего себя... Им с детства вдалбливают, что они весьма уважаемые люди; конечно, кое-что они все же вынесли с войны, кое-какие воспоминания о страданиях и жертвах, но в данный момент они уже снова полны самоуважения... Скажи, ты видел народ там, внизу, в холле? Они отправляются на три совершенно различных банкета — на банкет левой оппозиции, на банкет общества «Все для общего блага» и на банкет правой оппозиции, но надо обладать поистине гениальным чутьем, чтобы догадаться, на какой банкет кто из них идет.

— Да,— сказал Шрелла,— я ожидал тебя в холле как раз тогда, когда там собирались первые приглашенные, и я слышал, что они упоминали об оппозиции; раньше всех пришли самые безобидные, так сказать, пехота демократии, делеги того сорта, который считается *не таким уж плохим*, они беседовали об автомобильных марках и о загородных домиках; из их разговоров я узнал, что Французская Ривьера начинает снова входить в моду, и, оказывается, как раз из-за того, что там всегда такой наплыв; они уверяли также, что, вопреки всем прогнозам, среди интеллигенции считается сейчас модным путешествовать не в одиночку, а с экскурсиями. Интересно, как все это здесь называют — оборотной

стороной снобизма или же диалектикой? Ты должен просветить меня в этом вопросе. Английский сноб сказал бы: «За десять сигарет я продам вам мою бабушку»; что касается здешнего люда, то они действительно готовы продать свою бабушку, и притом всего лишь за пять сигарет; даже свой снобизм они и то принимают всерьез... Ну а потом они заговорили о школьном образовании; одни из них выступали в защиту гуманитарного образования, а другие против... Ну что ж... Я прислушивался к их разговорам, потому что мне хотелось узнать что-нибудь об истинных тревогах людей в этой стране, но они без конца шептали имя деятеля, которого ожидали на этом вечере, они говорили о нем с большим почтением... его зовут Крец. Ты что-нибудь слышал о нем?

— Крец,— сказал Роберт,— это, так сказать, звезда оппозиции.

— Слово «оппозиция» повторялось беспрестанно, но из их болтовни я так и не узнал, к кому, собственно, они находятся в оппозиции.

— Раз эти люди ждали Креца, значит, они — левые.

— Я правильно понял: этот Крец своего рода знаменитость? На него, как говорится, возлагают все надежды?

— Да,— подтвердил Роберт,— от Креца они многого ждут.

— Я и его видел,— сказал Шрелла,— он пришел последним; если на этого человека возлагают все надежды, то хотелось бы мне знать, кого они считают совершенно безнадежным... Мне кажется, вздумай я убить кого-нибудь из политиков, это был бы Крец. Неужели вы все ослепли? Разумеется, он человек умный и образованный, он способен даже процитировать Геродота по-гречески, а для демократической пехоты, которая никак не может избавиться от своей навязчивой идеи насчет необходимости образования, греческий звучит божественной музыкой. Но, надеюсь, Роберт, ты не оставил бы наедине с этим Крецем ни свою дочь, ни своего сына даже на минуточку; от снобизма он совсем перестал соображать, он не знает даже, какого он пола. Такие люди, как Крец, играют в закат Европы, но они плохие актеры; под минорную музыку все это будет напоминать похороны по третьему разряду.

Слова Шреллы прервал телефонный звонок; Шрелла

последовал за Робертом, который прошел в угол к телефону и снял трубку.

— Леонора? Я очень рад, что отец пригласил вас на рождение... Извините меня, пожалуйста, сегодня утром я наговорил вам бог знает что. Ведь вы меня извините, правда? Отец просит вас прийти в двести двенадцатый номер. Письмо от господина Шрита? Все расчеты по проекту X5 неправильны? Хорошо, я созвонюсь со Шритом. Как бы то ни было, благодарю вас, Леонора. Итак, мы вас ждем...

Роберт положил трубку и снова повернулся к Шрелле.

— Я думаю...— начал было он, но тут раздался не очень громкий сухой звук.

— Боже мой,— сказал Шрелла,— это выстрел.

— Да,— подтвердил Роберт,— это выстрел. По-моему, нам пора подняться наверх.

Гуго прочел: «Заявление об отказе от прав. Сим изъявляю свое согласие на то, что мой сын Гуго...» Под заявлением стояли важные печати и подписи. Голос, который он страшился услышать, на этот раз молчал; в былые времена этот голос приказывал ему прикрыть наготу матери, когда она возвращалась домой после своих странствий и, лежа на кровати, вполголоса причитала: *«зачемзачемзачем»*; он испытывал сострадание, прикрывая ее наготу или принося ей попить; прокрадываясь ради нее в лавочку, чтобы выклянчить там две сигареты, он каждый раз боялся, что по дороге на него нападут мальчишки, избьют его и будут дразнить *«агнцем божьим»*; потом этот голос приказывал ему играть в канасту с женщиной по кличке *«таким, как она, не следовало родиться»* и предостерегал от того, чтобы входить в комнату к овечьей жрице, и вот сейчас этот голос повелел ему прошептать слово «отец».

Чтобы умерить страх, который Гуго внезапно почувствовал, он начал произносить и другие слова: «сестра», «брат», «дедушка», «бабушка», «дядя», но страх не проходил; мальчик вспоминал все новые и новые слова: «динамика» и «динамит», «бильярд» и «корректно», «шрамы на спине», «коньяк» и «сигареты», «красный по зеленому полю», «белый по зеленому»... Но страх все еще не уменьшался. Быть может, надо что-то предпринять, чтобы прогнать его. Гуго открыл окно и посмотрел

на шумящую толпу; что это за шум—грозный или мирный? На улице пускали фейерверк; вслед за громовым раскатом в темно-синем небе распускались гигантские цветы; оранжевые спруты, казалось, протягивали вперед свои щупальца. Гуго закрыл окно, провел рукой по лиловой ливрее, висевшей на вешалке у входа, и открыл дверь в коридор. Даже здесь, наверху, была ощущима тревога, охватившая все здание; в двести одиннадцатом номере тяжелораненый! Слышался гомон голосов, шаги раздавались то тут, то там, кто-то бежал вверх по лестнице, кто-то спускался вниз, и весь этот шум покрывал пронзительный голос полицейского: «Прочь с дороги! Прочь с дороги!»

Прочь! Прочь! Гуго испугался и в страхе снова шепнул: «Отец». Директор сказал ему: «Нам будет недоставать тебя, Гуго, неужели ты хочешь нас покинуть, да еще так внезапно?» Вслух Гуго ничего не ответил, но про себя подумал: да, все должно было случиться внезапно, потому что зрело уже давно. Когда Йохен принес весть о покушении, директор забыл все на свете, он даже перестал удивляться тому, что Гуго уходит. Директор встретил сообщение Йохена отнюдь не с ужасом, а как раз напротив, с восторгом; вместо того чтобы сокрушенно качать головой, он радостно потирал руки.

— Вы ничего не понимаете. Такого рода скандал в один миг подымет престиж нашего отеля на недосягаемую высоту. Все газеты будут пестреть гигантскими заголовками. Убийство—отнюдь не то же самое, что самоубийство, Йохен... а политическое убийство—это не просто какое-нибудь там убийство. Если он даже не умер, мы сделаем вид, что он при смерти. Нет, вы ничего не понимаете, в газетах обязательно должно быть сказано: «Положение больного безнадежно». Всех, кто звонит по телефону, немедленно соединяйте со мной, а то вы обязательно что-нибудь напутаете. Боже мой, почему у вас такой дурацкий вид? Будьте сдержанны, изобразите на лице легкое сожаление, ведите себя как люди, которые, хотя и оплакивают покойника, дорогого их сердцу, радуются в предвидении большого наследства. Идите, дети мои, принимайтесь за дело! На нас посыплется целый дождь телеграмм с просьбой оставить номер. Надо же, чтобы это случилось как раз с М. Вы даже не представляете себе, что сейчас начнется. Только бы никто не покончил с собой. Позвони сейчас же

господину из одиннадцатого номера, я не возражаю, если он придет в ярость и уберется из гостиницы... Черт возьми, он ведь должен был проснуться от фейерверка. Пора, дети мои! К оружию!

Отец, думал Гуго, ты должен сам забрать меня отсюда, ведь они не пускают никого в двести двенадцатый номер.

Серый полумрак лестничной клетки прорезали вспышки магния; потом появился освещенный прямоугольник лифта; лифт доставил постояльцев из номеров от двести тринадцатого до двести двадцать шестого; из-за оцепления им пришлось подняться на третий этаж, чтобы потом спуститься по служебной лестнице к себе на второй; когда дверь лифта отворилась, слышался многоголосый гомон, в коридор высыпали мужчины в темных костюмах и женщины в светлых платьях с растерянными лицами и искривленными губами, с которых срывались слова: «Какой ужас!» и «Какой скандал!». Гуго слишком поздно захлопнул за собой дверь — она его увидела, она уже бежала по коридору к его комнате; Гуго только успел повернуть ключ в замочной скважине, как дверная ручка начала вращаться во все стороны.

— Открой, Гуго, открой же,— сказала она.

— Не открою.

— Я тебе приказываю.

— Вот уже четверть часа, как я не являюсь служащим отеля, сударыня.

— Ты уходишь?

— Да.

— Куда?

— Я ухожу к своему отцу.

— Открой, Гуго, открой, я тебе ничего не сделаю, я не буду тебя больше пугать; ты не должен уходить; я знаю, что у тебя нет отца, я это точно знаю; ты нужен мне, Гуго... ты тот человек, которого они ждут, Гуго, и ты это знаешь; ты увидишь мир, и все они падут пред тобой ниц в самых шикарных отелях; тебе не надо будет ничего говорить, только быть со мной, твое лицо, Гуго... иди сюда, открой, ты не можешь уйти!

Скрип дверной ручки на мгновение заглушил голос женщины; каждый раз, как ручка дергалась, в потоке ее молящих слов возникали короткие паузы:

— Я прошу не ради себя, Гуго, забудь все, что

я говорила и делала, я была в отчаянии... иди сюда, ради них... они тебя ждут, ты наш агнец...

Дверная ручка дернулась еще раз.

— Что вам здесь нужно? — спросила она.

— Мне нужен мой сын.

— Гуго ваш сын?

— Да. Открой, Гуго.

Впервые он не сказал мне «пожалуйста», подумал Гуго, поворачивая ключ в замочной скважине и открывая дверь.

— Пошли, сынок, нам пора.

— Да, отец, я иду.

— У тебя больше нет вещей?

— Нет.

— Пошли.

Гуго взял свой чемодан; он был рад, что спина отца заслонила лицо женщины. Спускаясь по служебной лестнице, мальчик все еще слышал плач овечьей жрицы.

— Да не плачьте же, дети,— сказал старик,— она вернется снова и будет жить с нами, она была бы очень огорчена, если бы узнала, что мы так и не выпили вино; его рана не смертельна, надеюсь, на его лице так и останется выражение громадного изумления; все люди этого сорта считают себя бессмертными... один не очень громкий сухой звук может сотворить чудо. А теперь, девушки, займитесь, пожалуйста, подарками и цветами; Леоноре я поручаю цветы, Рут — поздравительные адреса, а Марианне — подарки. Порядок — это полжизни... не известно только, из чего состоит ее вторая половина. Ничего не поделаешь, дети, я не в силах грустить. Сегодня большой день, он вернул мне жену и подарил сына... можно мне так вас назвать, Шрелла? Ведь вы брат Эдит... И нового внука я тоже получил, не правда ли, Гуго?.. Я все еще не могу решиться назвать тебя внуком. Ты сын моего сына, и все же мне ты не внук, какой-то внутренний голос, не знаю какой, запрещает мне называть тебя внуком.

Садитесь, пусть девушки сделают нам бутерброды, все корзины с едой можно опустошить, дети; только смотрите не разбросайте снова пачки, которые так аккуратно сложила Леонора; лучше всего будет, если каждый из вас выберет себе одну какую-нибудь пачку и сядет на нее; вы, Шрелла, возьмите себе пачку с лите-

рой «А», она самая высокая. А тебе, Роберт, разреши предложить пачку за тысяча девятьсот десятый год, она вторая по высоте. Йозеф пусть сам найдет себе что-нибудь подходящее. Как ты смотришь на тысяча девятьсот двадцать первый год? Ну вот, хорошо, а теперь садитесь; прежде всего давайте выпьем за господина М., за то, чтобы выражение изумления никогда не сходило с его лица... второй глоток мы пьем за мою жену, пусть Бог ее благословит. Посмотрите, пожалуйста, Шрелла, кто там стучится в дверь.

Вы говорите, что некто господин Грец хочет засвидетельствовать мне свое почтение? Надеюсь, он не взвалил себе на спину кабана? Нет? Слава богу. Тогда скажите ему, пожалуйста, дорогой Шрелла, что я его не приму. А ты как считаешь, Роберт? Разве сейчас подходящее время разговаривать с неким господином Грецем? Нет? Правда? Спасибо вам, Шрелла. Сейчас как раз подходящее время порвать ненужные отношения с людьми; два слова могут стоить человеку жизни. «Стыд и позор»,—говорила старая госпожа Грец. Одно движение руки может стоить человеку жизни так же, как и одно неправильно понятое движение глаз; да, Гуго, пожалуйста, налей всем вина; надеюсь, ты не обидишься, если мы в своем семейном кругу воспользуемся навыками, которые тебе пришлось приобрести в жизни?

Самые большие букеты можешь спокойно ставить перед проектом Святого Антония, а букеты поменьше размести справа и слева от него на полке для чертежей; сними футляры, в них ничего нет, эти футляры стоят здесь просто как украшение, выбрось их, хотя, быть может, среди вас есть человек, который захочет использовать драгоценную чертежную бумагу? Как ты к этому относишься, Йозеф? Почему ты сидишь в такой неудобной позе? Ты выбрал себе пачку за тысяча девятьсот сорок первый год, то был неурожайный год, дорогой мой. Тысяча девятьсот сорок пятый оказался куда удачнее, тогда заказы просто-таки сыпались на меня почти как в тысяча девятьсот девятом году, но я их все роздал, дорогой мой. Словечко «sogru» отбило у меня охоту строить. Рут, сложи все поздравительные адреса в одну стопку на моем чертежном столе, я дам отпечатать типографским способом ответные послания, ты поможешь мне надписать конверты; за это я куплю тебе какой-нибудь хороший подарок у Гермины Горушки.

Как я должен благодарить поздравивших меня? «Приношу Вам самую искреннюю благодарность за внимание, оказанное мне по случаю моего восьмидесятилетия». Возможно, я приложу к каждому благодарственному письму рисунок от руки. Как ты находишь мою мысль, Йозеф? Например, изображение пеликана или змеи... не нарисовать ли мне буйвола?.. А теперь подойди-ка к двери, Йозеф, будь добр, посмотри, кто там пришел так поздно. Четверо служащих из кафе «Кронер»? Принесли подарок, от которого я, по-твоему, не должен отказываться? Хорошо, пусть войдут.

Два кельнера и две девушки-буфетчицы осторожно внесли в комнату покрытый белоснежным полотнищем четырехугольный предмет, длина которого намного превышала его ширину; старик испугался: неужели они принесли покойника? Что-то острое, как палка, приподымало полотно снизу — неужели нос? Четверо служащих несли непонятный предмет так осторожно, словно это было тело усопшего; царила абсолютная тишина; руки Леоноры, обхватившие букет, казалось, вдруг окаменели; Рут застыла, держа в руке поздравительный адрес с золотым обрезом, Марианна так и не успела поставить пустую корзину, в которой принесли фрукты.

— Нет, нет,— тихо сказал старик,— не опускайте это, пожалуйста, на пол; дети, дайте им доски.

Гуго и Йозеф принесли из угла мастерской доски, положили их на кипы чертежей, на чертежи от тысяча девятьсот тридцать шестого года до тридцать девятого; потом снова наступила тишина; оба кельнера и девушки поставили непонятный предмет на доски и встали по углам, каждый из них взялся за уголок полотнища, и после отрывистого возгласа «поднимаем», брошенного старшим из кельнеров, все четверо подняли покрывало.

Старик побагровел; подскочив к макету аббатства, он поднял кулаки, как барабанщик, который собирается с силами, чтобы в гневе ударить по барабану; секунду казалось, что он сокрушит замысловатое сооружение из сладкого теста, но потом он снова опустил кулаки, руки старого Фемеля бессильно повисли вдоль туловища; он тихо засмеялся и отвесил поклон сперва девушкам, а потом кельнерам; затем он снова выпрямился, вынул из пиджака бумажник и протянул каждому из четырех слуг какие-то деньги на чай.

— Будьте добры,— спокойно начал он,— передайте госпоже Кронер мою искреннюю благодарность за внимание и скажите ей, что важные события принуждают меня, к сожалению, отказаться от завтраков в ее кафе... важные события. С завтрашнего дня я больше не прихожу.

Старик подождал, пока кельнеры и девушки вышли, и крикнул:

— А теперь приступим, дети, дайте мне большой нож и тарелку.

Он начал с того, что отрезал церковный купол и положил его на тарелку, а тарелку передал Роберту.

1958

ГЛАЗАМИ КЛОУНА



Перевод Р. Райт-Ковалевой

роман



ANSICHTEN EINES CLOWNS

Roman

*Не имевшие о Нем известия увидят,
и не слышавшие узнают.*

Посвящается Аннемари

1

Уже стемнело, когда я приехал в Бонн, и я заставил себя хотя бы на этот раз не поддаваться тому автоматизму движений, который выработался в поездках за последние пять лет: вниз по ступенькам — на перрон, вверх — с перрона, поставить чемодан, вынуть билет из кармана пальто, поднять чемодан, отдать билет, к киоску — купить вечерние газеты, выйти на улицу, подождать такси. Пять лет я почти ежедневно откуда-то уезжал и куда-то приезжал, взбегал и сбегал по ступенькам утром, сбегал и взбегал по ступенькам вечером, звал такси, искал по карманам мелочь, расплачивался с шофером, покупал вечерние газеты в киосках и в каком-то уголке сознания наслаждался точно заученной небрежностью этого автоматизма. С тех пор как Мари бросила меня, чтобы выйти замуж за Цюпфнера, за этого католика, все мои движения стали еще более автоматичными, хотя небрежность сохранилась. Расстояние от вокзала до гостиницы можно измерить точно, по счетчику такси: в двух, трех, в четырех марках от вокзала. Но с тех пор как Мари ушла, я иногда все же выпадал из ритма, путал гостиницу с вокзалом: около портье нервно искал проездной билет, а у контролера спрашивал номер комнаты, и только какая-то сила — видимо, ее и зовут судьбой — всегда заставляла меня вспоминать о моей профессии, моем положении. Я — клоун, официальное наименование моей профессии — комический актер, ни к какой церкви не принадлежу, мне двадцать семь лет, и один из моих номеров так и называется: «Приезд и отъезд»; это такая (может быть, слишком длинная) пантомима, когда зритель до последней минуты путает — отъезд это или приезд; так как я обычно репетирую этот номер в поезде, а он состоит примерно из шестисот трюков, и всю их

хореографию я, разумеется, должен помнить наизусть, то немудрено, что я иногда становлюсь жертвой собственной фантазии: вдруг лечу в отель, ищу расписание поездов, нахожу его, ношусь по лестницам, чтобы не опоздать на поезд, тогда как мне только и нужно было бы подняться в номер и подготовиться к выступлению. К счастью, почти во всех отелях меня знают: за пять лет создается ритм, в котором гораздо меньше вариаций, чем можно предполагать, а кроме того, мой агент хорошо знает мой характер и старается устранить возможные трения. То, что он называет «утонченной артистической натурой», окружается исключительным вниманием, и «атмосфера уюта» обволакивает меня, лишь только я захожу к себе в номер: стоят цветы в красивой вазе, и, как только я сбрасываю пальто, а башмаки (ненавижу башмаки!) летят в угол, хорошенькая горничная приносит мне кофе и коньяк, готовит ванну и наливает туда душистый сосновый экстракт, успокаивающий нервы. В ванне я читаю газеты — какие поглупее, иногда штук шесть, а три уж наверняка — и негромким голосом напеваю исключительно духовные мелодии: хоралы, псалмы, мессы, которые я помню еще со школьных лет. Мои родители, правоверные протестанты, поддавшись послевоенной моде примирения всех вероисповеданий, определили меня в католическую школу. Сам я неверующий, даже в церковь не хожу и церковные напевы использую в чисто лечебных целях: они мне помогают лучше всяких лекарств от двух моих врожденных болезней — меланхолии и мигрени. С тех пор как Мари переметнулась к католикам (хотя она и сама католичка, но мне кажется, что это слово тут очень кстати), моя хворь разыгралась еще сильнее, и даже «Tantum Ergo» или акафист деве Марии — мои любимые лекарства — почти не помогают. Есть временное лекарство — алкоголь; есть то, что могло бы дать полное выздоровление, — Мари, но Мари меня бросила. Если же клоун запьет, он больше рискует сойти на нет, чем пьяный кровельщик — упасть с крыши.

Когда я пьян, то все движения, которые оправдываются лишь точностью выполнения, я делаю неточно и совершаю самую ужасную ошибку, какую только может сделать клоун: смеюсь над собственными трюками. Страшное унижение. Пока я трезв, страх перед выступлением растет до той минуты, как я выхожу на сцену (обычно меня приходится выталкивать из-за ку-

лис), и то, что некоторые мои критики называли «задумчиво-иронической веселостью», за которой слышится «тревожное биение сердца», на самом деле было просто холодным отчаянием, с каким я делал из себя марионетку: плохо, конечно, когда нитка обрывалась и я оставался наедине с собой. Вероятно, монахи в состоянии медитации испытывают что-то подобное; Мари вечно таскала с собой всякие мистические книжонки, и я помню, что слова «пустота» и «ничто» встречались там очень часто.

Но в последние три недели я по большей части был пьян и выходил на сцену с ложной самоуверенностью; последствия сказались раньше, чем у лентяя школьника, который еще может тешить себя какими-то иллюзиями до получения годовых отметок — в течение полугода еще есть время помечтать. А я уже через три недели не находил у себя в номере цветов, в середине второго месяца номер был без ванны, в начале третьего месяца гостиница была в семи марках от вокзала, а заработок был срезан на две трети. Вместо коньяка — простая водка, вместо варьете — какие-то сомнительные ферейны, собиравшиеся в темных зальцах, где мне приходилось выступать на отвратительно освещенных подмостках, и я не то что работал грубо, а просто выкидывал разные штучки, потешая юбиляров-железнодорожников, почтовиков или акцизных, католических домохозяек или евангелических сестер милосердия, а налакавшиеся офицеры бундесвера, которым я скрашивал прощальный ужин после переподготовки, не знали, можно ли им смеяться или нет, когда я заканчивал свой номер «Совет обороны». А вчера в Бохуме, имитируя Чаплина перед какой-то молодежной организацией, я поскользнулся и не мог встать. Зрители даже не засвистели, только сочувственно перешептывались, и когда наконец опустился занавес, я прохромал со сцены, собрал вещи и, не сняв грима, поехал в свой пансион, где поднялся страшный крик, потому что хозяйка отказалась одолжить мне денег на такси. Шофер успокоился и перестал ворчать, только когда я ему отдал свою электрическую бритву — не в залог, а в уплату. У него еще хватило любезности выдать мне две марки и начатую пачку сигарет. Не раздеваясь, я повалился на неубранную постель, допил початую бутылку и впервые за несколько месяцев не почувствовал ни меланхолии, ни мигрени. Я лежал на кровати в том состоянии, в каком,

если бог даст, и окончу свои дни,— пьяный и как будто в канаве. Я бы отдал последнюю рубашку за глоток водки, и только сложные перипетии такого обмена удерживали меня от этого шага. Спал я превосходно, крепко, и во сне тяжелый занавес сцены, как мягкий плотный саван, обволакивал меня благодетельной темнотой. И все же сквозь забытие и сон я ощутил страх пробуждения: на лице грим, правое колено распухло, жалкий завтрак на пластмассовом подносике, а рядом с кофейником телеграмма моего агента: «Кобленце и Майнце отказали вечером позвоню Бонн Цонерер». Потом звонок здешнего администратора, он только сейчас отрекомендовался как представитель Христианского союза просвещения.

— Говорит Костерт,— сказал он ледяным голосом холоуя,— надо обсудить вопрос о гонораре, господин Шнир.

— Пожалуйста,— сказал я,— разве вам что-нибудь мешает?

— Вот как! — сказал он.

Я промолчал, и когда он заговорил, то его дешевая напускная холодность превратилась в примитивный садизм:

— Мы договорились платить сто марок за выступление клоуна, который тогда стоил и все двести...— Он сделал паузу: наверно, хотел, чтобы я сразу сорвался, но я промолчал, и он снова стал самим собой — обыкновенным хамом.— Я представляю общественно-полезное учреждение, и совесть не позволяет мне платить сто марок клоуну, для которого и двадцать марок достаточная, я бы даже сказал, щедрая плата.

Но я и тут не стал его прерывать, закурил сигарету, налил еще жидкого кофе, слыша, как он пыхтит. Он сказал:

— Вы меня слушаете?

Я сказал:

— Да, слушаю.— И опять подождал. Молчание — отличное оружие; когда меня в школе отчитывал директор или педагогический совет, я всегда принципиально молчал. И христианнейшего господина Костерта я тоже заставил попотеть на другом конце провода. Пожалеть меня — для этого он был слишком мелок, но на жалость к себе его хватило, и он наконец пробормотал:

— Предложите же что-нибудь, господин Шнир!

— Слушайте меня внимательно, господин Костерт,— сказал я.— Предлагаю вам следующее: вы берете такси,

едете на вокзал, покупаете мне билет первого класса до Бонна, покупаете бутылку водки, приезжаете сюда в отель, оплачиваете счет вместе с чаевыми и оставляете тут в конверте столько, сколько стоит такси до вокзала. Кроме того, вы обязуетесь перед своей христианской совестью бесплатно отправить мои вещи в Бонн. Согласны?

Он подсчитал, откашлялся и сказал:

— Но я хотел дать вам пятьдесят марок.

— Хорошо,— сказал я,— тогда поезжайте на трамвае, вам все обойдется еще дешевле. Согласны?

Он опять подсчитал и спросил:

— А вы не можете захватить вещи в такси?

— Нет,— сказал я.— Я расшибся и ничего не могу подымать.

Видно, тут его христианская совесть все-таки зашевелилась.

— Господин Шнир,— сказал он мягко.— Простите, что я...

— Ничего-ничего, господин Костерт, я счастлив, что могу сэкономить для дела христианского просвещения пятьдесят четыре или даже пятьдесят шесть марок.

Я дал отбой и положил трубку рядом с телефоном. Я ихнего брата знаю — он непременно позвонит и снова начнет без конца распускать слюни. Лучше уж пусть сам ковыряется в своей совести. Меня и без того мутило. Забыл сказать, что кроме меланхолии и мигреней я обладаю еще одним, почти мистическим свойством — чувствовать запахи по телефону, а от Костерта приторно пахло фиалковыми лепешками. Пришлось встать и вычистить зубы. Я прополоскал рот остатками водки, с трудом стер грим, снова лег в постель и стал думать про Мари, про христиан, про католиков, представляя себе, что же будет дальше. Думал я и о канавах, в которых когда-нибудь буду валяться. Когда дело идет к пятидесяти, для клоуна может быть только два выхода — канава или дворец. На дворец я не надеялся, а до пятидесяти мне еще надо было как-то протянуть больше двадцати двух лет. То, что Майнц и Кобленц отказались от моих выступлений, означало, как сказал бы Цонерер; «первый сигнал тревоги», но, с другой стороны, это соответствовало еще одному свойству моего характера, о котором я забыл упомянуть,— моей инертности. В Бонне тоже есть канавы, а кто мне велит ждать до пятидесяти?

Я думал о Мари, ее голосе, ее груди, ее волосах, руках, ее движениях, обо всем, что мы делали с ней вместе. И о Цюпфнере, за которого она решила выйти замуж. Мы с ним были хорошо знакомы еще мальчишками, настолько хорошо, что, встретившись взрослыми, не знали, как обращаться — на «ты» или на «вы», и то и другое вызывало неловкость, и до сих пор при встречах мы не могли избавиться от этой неловкости. Я не понимал, почему Мари перебежала именно к нему, но, может быть, я никогда не «понимал» Мари.

Я страшно рассердился, когда этот Костерт вдруг прервал мои мысли. Он стал скрестись в дверь, как собака, и повторять:

— Господин Шнир, выслушайте меня. Может быть, вам нужен врач?

— Оставьте меня в покое! — крикнул я. — Суньте конверт с деньгами под дверь и уходите домой.

Он сунул конверт под дверь, я встал, распечатал его: там лежал билет второго класса из Бохума до Бонна и деньги на такси — всего шесть марок и пятьдесят пфеннигов. Я надеялся, что он для ровного счета положит хоть десять марок, и уже подсчитал, сколько я заработаю, если к тому же сдам билет первого класса, потеряю немного и куплю билет второго класса. Выходило около пяти марок.

— Все в порядке? — крикнул он за дверью.

— Да, — сказал я, — убирайтесь отсюда, скупердяй божий!

— Но позвольте... — начал было он, и я заорал:

— Вон!

Он немножко постоял, потом я услышал, как он спускается по лестнице. Дети брэнного мира не только умней, они и человечнее этих небесных чад. Я поехал на вокзал на трамвае, чтобы сэкономить на водку и сигареты. А хозяйка еще присчитала мне расход за телеграмму, которую я вечером отправил в Бонн Монике Сильвс, — за это Костерт платить отказался. Значит, денег на такси до вокзала у меня все равно не хватило бы. Телеграмму я послал до того, как в Кобленце отменили мое выступление. А я-то хотел отказаться первым, и меня это немного укололо. Лучше было бы, если бы я сам мог отказаться по телеграфу: «Выступить не могу, серьезно повредил колено». Что ж, по крайней мере телеграмма Монике отправлена: «Прошу приготовить квартиру на завтра Сердечный привет Ганс».

В Бонне все идет по-другому: там я никогда не выступаю, там я живу, и такси отвозит меня не в отель, а прямо ко мне на квартиру. Надо было бы сказать: меня и Мари. В доме нет портье, которого я мог бы спутать с контролером на вокзале, и все же эта квартира, где я провожу всего две-три недели в году, мне чужая больше, чем любой отель. Пришлось удержаться, чтобы на вокзале в Бонне не позвать такси — я настолько затвердил этот жест, что чуть не попал впросак. У меня в кармане осталась одна-единственная марка. Я остановился на ступеньках и проверил ключи: от парадного, от двери в квартиру, от письменного стола. В столе лежал ключ от велосипеда. Я уже давно задумал пантомиму с ключами: я придумал сделать целую связку ключей из льда, которые будут таять по ходу номера.

Денег на такси не было. А мне впервые в жизни действительно было необходимо взять такси: колено распухло, и я с трудом проковылял через вокзальную площадь на Почтовую улицу — две минуты ходу от вокзала до нашей квартиры показались мне вечностью. Я прислонился к автомату с сигаретами и посмотрел на дом, где дедушка подарил мне квартиру. Элегантные апартаменты в виде составленных вместе коробочек, с изящно окрашенными балконами: пять этажей, пять разных тонов для балконов. На пятом этаже, где вся окраска в ржаво-красных тонах, находится моя квартира.

Может быть, я и тут играл пантомиму? Вставить ключ в замок парадной двери, ничуть не удивиться, что он не тает, открыть дверцы лифта, нажать кнопку «пять», с тихим шумом подыматься кверху, разглядывать сквозь узкое стекло лифта проходящие этажи, всматриваться в проходящие окна лестничного пролета: спина памятника, площадь, освещенная церковь, черная прорезь — перекрытие — и снова в слегка сдвинутой перспективе — спина, площадь, церковь, и так три раза, а в четвертый — только площадь и церковь. Вставить ключ в замок квартиры, не удивиться, что и эта дверь открывается.

Все в моей квартире ржаво-красного цвета: двери, обои, стенные шкафы; женщина в ржаво-красном халате очень подошла бы к черной кушетке. Наверно, можно было бы найти и такую, но я страдаю не только меланхолией, мигренями, инертностью и таинственным свойством чувствовать запахи по телефону. Самое страшное

мое страдание — это склонность к моногамии: есть только одна женщина на свете, с которой я могу делать то, что обычно делают мужчины с женщинами,— это Мари, и с тех пор как она от меня ушла, я живу, как положено жить монаху, хотя я вовсе не монах. Я даже думал, не съездить ли мне в мою старую школу, не попросить ли совета у одного из тамошних патеров, но все эти пустосвяты считают человека существом многобрачным (оттого они так горячо и защищают единобрачие), я им, наверно, покажусь чудовищем, и их совет ограничится замаскированным намеком на те райские кущи, где, как они полагают, любовь продается за деньги. От верующих христиан других толков, как, скажем, от Костерта, я еще могу ждать всяких неожиданностей, но уж католики меня ничем удивить не могут. Я с большой симпатией относился к католикам даже в те дни, четыре года назад, когда Мари меня впервые взяла с собой в этот самый «кружок просвещенных католиков»; ей было очень важно познакомить меня с интеллигентными католиками и — конечно, не без задней мысли — обратить меня когда-нибудь в свою веру (у всех католиков есть эта задняя мысль). Но уже первые минуты в этом кружке были ужасны. Тогда я переживал очень трудный период своего становления как клоуна, мне еще не было двадцати двух, и я целыми днями тренировался. Я очень ждал этого вечера, я устал до смерти и думал, что мы проведем время весело, что будет хорошее вино, хорошая еда, может быть, танцы (жили мы прескверно и не могли себе позволить ни хорошо поесть, ни выпить вина); вместо того нас угостили дрянным вином, и все было так, как я себе представляю семинар по социологии у самого скучного профессора. Не просто утомительно, но утомительно излишне, до предела. Сначала они все вместе молились, а я не знал куда девать руки, лицо; нельзя все-таки ставить неверующего в такое положение. И они не просто читали «Отче наш» или «Аве Мария», хотя и от этого мне было бы достаточно неловко: по воспитанию я протестант и считаю, что каждый должен молиться как бог на душу положит. Нет, они еще молились по какому-то тексту, составленному Кинкелем, ужасно программному: «...и молим Тебя научить нас равно воздавать и традициям старины, и новым веяниям» и так далее, и только потом перешли к «теме» вечера: «Бедность в нашем обществе». Это был один из самых тягостных вечеров моей жизни. Просто не верится, что религиозные

беседы должны проходить в таком напряжении. Знаю: эту религию трудно принять. Воскрешение плоти, вечная жизнь. Мари мне часто читала Библию вслух. Представляю себе, как трудно всему этому верить. Потом я даже читал Кьеркегора (полезное чтение для начинающего клоуна), мне тоже было трудно, но не так утомительно. Не знаю, бывают ли на свете люди, которые вышивают салфеточки по рисункам Клее или Пикассо. В тот вечер мне казалось, будто эти прогрессивные католики вяжут себе из Фомы Аквинского, Франциска Ассизского, Бонавентуры и папы Льва Тринадцатого набедренные повязки; конечно, не для того чтобы прикрыть наготу, потому что среди них не было ни одного человека (кроме меня), который не зарабатывал бы по меньшей мере полторы тысячи марок в месяц. Им самим, очевидно, было так неловко, что все они к концу вечера стали разговаривать как снобы и циники, правда кроме Цюпфнера; для него все это было настолько мучительно, что он выпросил у меня сигарету. Это была первая сигарета в его жизни, и он неумело пыхтел, пуская дым, но я заметил, что он радовался, когда дым застилал его лицо. Мне было ужасно скверно из-за Мари, она сидела такая бледная, дрожащая, а тут Кинкель стал рассказывать анекдот про человека, который, зарабатывая пятьсот марок в месяц, отлично обходился, а потом, начав зарабатывать тысячу, заметил, что жить стало труднее, а уж настоящие трудности начались, когда он стал получать две тысячи, и только дойдя до трех тысяч, он заметил, что опять вполне справляется, и тут же извлек из своего жизненного опыта мудрый афоризм: «До пятисот в месяц живетя неплохо, но уже между пятьюстами и тремя тысячами наступает горькая нужда». Кинкель даже не понял, что он натворил: он трепался с олимпийским благодушием, куря толстую сигару, прихлебывая вино из стакана и пожирая печенье с сыром, пока наконец даже прелат — духовный наставник этого кружка — Зоммервильд не забеспокоился и не перевел его на другую тему. Кажется, он бросил слово «реакция» и сразу поймал Кинкеля на эту удочку. Тот клюнул, разозлился и тут же прервал свой доклад о том, что машина за двенадцать тысяч обходится дешевле, чем за четыре с половиной, причем его жена, которая обожает его безрассудно, до неприличия, и та с облегчением вздохнула.

Впервые я чувствовал себя почти хорошо в своей квартире — тепло, чисто, и когда я повесил пальто и поставил гитару в угол, я подумал, что своя квартира, может быть, все-таки больше, чем самообман. Я непоседа и оседлым никогда не стану, а Мари еще непоседливее меня и все же решила окончательно осесть. А раньше она начинала нервничать, если мои гастроли продолжались в одном городе больше недели.

И на этот раз Моника Сильвс была мила, как всегда, когда мы ей посылали телеграмму: она взяла ключи у привратника, все убрала, поставила цветы в столовой, набила холодильник всякой всячиной. Молотый кофе стоял на кухонном столе, тут же бутылка коньяку, сигареты, а на столе в столовой рядом с цветами — зажженная свеча. Моника бывает иногда ужасно чувствительной, просто до сентиментальности, даже может впасть в дешевку: свеча, которую она мне поставила, была в искусственных подтеках воска и наверняка была бы отвергнута каким-нибудь «католическим кружком развития хорошего вкуса», но, вероятно, Моника второпях не нашла другой свечи, а может, не хватило денег на дорогую, со вкусом сделанную свечку, и я почувствовал, что именно от этой безвкусной свечки моя нежность к Монике Сильвс доходит почти до той границы, за которой начинается моя несчастная склонность к моногамии. Другие католики ее круга никогда не рискнули бы выказать плохой вкус или сантименты, тут они не дали бы маху — во всяком случае, они оплошали бы скорее по графе «мораль», чем по графе «хороший вкус». В квартире еще пахло духами Моника — слишком терпкими и модными для нее, забыл, как эта штука называется, кажется «Тайга».

Я прикурил сигарету Моника от Моникаиной свечки, принес из кухни коньяк, из прихожей телефонную книжку и поднял телефонную трубку. Моника даже это наладила: телефон был включен. Высокие гудки показались мне стуком бесконечно огромного сердца, и в эту минуту они были мне милее морского прибоя, прекраснее львиного рыка и воя ветра. Где-то в этих высоких гудках крылся голос Мари, голос Лео, голос Моника. Я медленно положил трубку. Это было мое единственное оружие, и скоро я им воспользуюсь. Я повернул правую штанину и посмотрел на ободранное

колени: царапины были неглубокие, опухоль незначительная, я налил полный стакан коньяку, отпил половину и вылил остаток на больное колено, прохромал на кухню и поставил коньяк в холодильник. Только тут я вспомнил, что Костерт не принес водки, как мы с ним договорились. Наверно, он решил, что из педагогических соображений лучше ее не приносить и при этом сберечь для христианского дела семь с половиной марок. Я решил позвонить ему и потребовать выполнения договора. Нельзя было все спускать этой скотине, а к тому же мне нужны были деньги. В течение пяти лет я зарабатывал много больше, чем тратил, и все-таки ничего не осталось. Конечно, я мог бы и дальше подхалтуривать в пределах тридцати — пятидесяти марок за вечер, только бы колено совсем зажило; мне, в сущности, было безразлично, где выступать, а публика в этих скверных кабаках даже лучше, чем в разных варьете. Но тридцать — пятьдесят марок в день просто слишком мало. Номер в гостинице слишком тесен, при тренировке натыкаешься на стол, на шкафы, и, по-моему, ванна — вовсе не роскошь, а когда едешь с пятью чемоданами, то и такси не транжирство.

Я опять вынул коньяк из холодильника и отпил глоток прямо из горлышка. Я не пьянчуга, но с тех пор как Мари ушла, мне легче, когда я выпью. И к денежным затруднениям я тоже не привык, и теперь я очень нервничал при мысли, что у меня осталась одна-единственная марка и никакой надежды вскорости заработать еще. Единственное, что я мог бы продать, — это велосипед, но если я действительно решусь на халтуру, он очень пригодится, можно сэкономить на такси и железнодорожных билетах. Квартира мне была подарена при одном условии: я не имел права ни сдавать, ни продавать ее. Типичный подарок богача. Всегда в нем какая-нибудь закорючка. Я заставил себя больше не пить, вышел в столовую и открыл телефонную книжку.

4

Я родился в Бонне и знаю здесь многих людей: родственников, знакомых, бывших соучеников. Здесь живут мои родители, здесь мой брат Лео изучает католическую теологию — Цюпфнер был его крестным при обращении. Родителей мне придется повидать, хотя бы для улаживания денежных дел. Может быть, придется

передать дело юристу. Этот вопрос для меня еще не решен. После смерти моей сестры Генриетты родители как родители перестали для меня существовать. Уже семнадцать лет, как Генриетта умерла. Ей было шестнадцать, когда кончилась война,— прелестная девочка, белокурая, лучшая теннисистка от Бонна до Ремагена. Тогда объявили, что молодые девушки должны пойти в войска ПВО, и в феврале 1945 года Генриетта подала заявление. Все произошло так быстро, без задержки, что я ничего не понял. Я возвращался из школы, переходил Кёльнскую улицу и увидел Генриетту в трамвае, уходящем в Бонн. Она мне кивнула и засмеялась, и я тоже засмеялся. На ней была хорошенькая темно-синяя шляпка, теплое синее пальто с меховым воротничком, за спиной — маленький рюкзак. Я никогда не видел ее в шляпке, она не хотела их носить. Шляпка ее очень меняла. Она была похожа на молодую даму.

Я решил, что она едет на пикник, хотя время для пикников было не очень-то подходящее. Но от школ можно было тогда ждать чего угодно. Нас даже заставляли решать в бомбоубежище задачи на пропорции, хотя уже слышался грохот артиллерии. Наш учитель Брюль пел с нами что-нибудь набожное и патриотическое, как он выражался, под этим он подразумевал «Высятся чертоги славы», а также «Ты видишь — алеет восток». Ночью, когда на полчаса все стихало, слышался бесконечный топот ног: пленные итальянцы (нам в школе объяснили, что итальянцы уже не наши союзники, а работают у нас в качестве пленных, а почему — я так до сих пор и не понял), русские пленные, пленные женщины, немецкие солдаты; всю ночь они шли и шли. Никто не знал толком, что творится.

А у Генриетты и в самом деле был такой вид, будто она едет на школьный пикник. От школы можно было ожидать чего угодно. Иногда, сидя в классе, между воздушными тревогами, мы слышали сквозь открытые окна настоящую ружейную пальбу, и когда мы испуганно смотрели на окна, наш учитель Брюль спрашивал, знаем ли мы, что это значит. Да, мы знали: там в лесу расстреливают дезертира. «Так будет с каждым,— говорил Брюль,— кто откажется защищать священную немецкую землю от жидовствующих янки». (Недавно я с ним встретился, он теперь старик, в сединах, преподаватель педагогической академии, и считается человеком «с до-

стойным политическим прошлым», потому что никогда не был в партии национал-социалистов.)

Я еще раз помахал вслед трамваю, которым уезжала Генриетта, и прошел через наш парк домой, где родители и Лео уже сидели за столом. На обед был жиденький суп, на второе — картофель с соусом, а на третье — яблоко. И только за третьим я спросил маму, куда поехала на пикник школа Генриетты. Мама усмехнулась и сказала:

— Что за чепуха, какой там пикник. Она уехала в Бонн поступать в противовоздушные войска. Не срезай кожуру так толсто, сынок. Вот, смотри!

И она действительно, взяв кожуру с моей тарелки, поскребла ее и сунула себе в рот тонюсенький ломтик яблока — все, что она сэкономила. Я посмотрел на отца. Он опустил глаза в тарелку и молчал. И Лео промолчал, но когда я снова посмотрел на мать, она проговорила своим кротким голосом:

— Пойми, каждый должен выполнять свой долг, чтобы выгнать жидовствующих янки с нашей священной немецкой земли.

Она посмотрела на меня такими глазами, что мне стало жутко, потом с тем же выражением взглянула на Лео, и мне показалось, что она готова тут же послать и нас обоих на бой с «жидовствующими янки».

— Наша священная немецкая земля,— сказала она,— они уже в самом сердце Айфеля.

Мне хотелось засмеяться, но я расплакался, швырнул десертный ножик и убежал к себе в комнату. Я испугался и знал, почему испугался, но выразить словами не мог и только со злостью думал о проклятой яблочной кожуре. Я посмотрел на покрытую запакощенным снегом немецкую землю в нашем саду, на Рейн за плакучими ветлами, на Семигорье, и все это показалось мне какой-то идиотской бутафорией. Видел я и несколько «жидовствующих янки»: их везли на грузовике с Венусберга в Бонн на сборный пункт; с виду они были озябшие, испуганные и очень молодые. Если я и представлял себе евреев, то скорее похожими на итальянцев — те выглядели еще более озябшими, чем американцы, и слишком измученными, чтобы еще чего-то бояться. Я дал пинка стулу, стоявшему у кровати, а когда он не упал, я пнул его еще раз. Стул упал и вдребезги разбил стекло на ночном столике. Генриетта в синей шляпке с рюкзаком. Она не вернулась, и мы до сих пор

не знаем, где ее похоронили. После войны кто-то к нам явился и доложил, что она «пала под Леверкузеном».

Эта забота о «священной немецкой земле» по меньшей мере забавна, если представить себе, что изрядный куш акций каменноугольной промышленности уже в течение двух поколений сосредоточен в руках нашей семьи. Семьдесят лет Шниры зарабатывают на земляных работах, которые терзают «священную немецкую землю», села, леса, замки — все рушится под экскаваторами, как стены Иерихона.

Только через несколько дней я узнал, кто мог бы взять патент на выражение «жидовствующие янки», — это был Герберт Калик, тогда четырнадцатилетний вожак нашей школьной группы гитлерюгенда, которому мама великодушно предоставила наш парк, чтобы всех нас обучать обращению с противотанковыми гранатометами. Мой восьмилетний брат Лео тоже в этом участвовал, и я видел, как он марширует по теннисной площадке, с учебным гранатометом на плече, и лицо у него было такое серьезное, какое бывает только у детей. Я его остановил и спросил:

— Ты что это делаешь?

И он с невероятной серьезностью ответил:

— Я буду «вервольфом», а ты разве нет?

— Ну как же, — сказал я и пошел с ним мимо теннисной площадки к тиру, где Герберт Калик рассказывал историю про мальчишку, который в десять лет уже заработал Железный крест первой степени: где-то там, в Силезии, он подбил ручными гранатами три русских танка. Когда один из мальчишек спросил, как звали этого героя, я сказал:

— Рюбецаль.

Герберт Калик весь пожелтел и завопил:

— Презренный пораженец!

Я наклонился и швырнул Герберту горсть золы прямо в физиономию. Все на меня накинулись, только Лео соблюдал нейтралитет — ревел, но за меня не заступался, и с перепугу я заорал на Герберта:

— Нацистская свинья!

Где-то я прочел это слово — кажется, у железнодорожного перехода на шлагбауме. Я даже точно не знал, что оно значит, но у меня было ощущение, что тут оно как раз подходит. Герберт Калик сразу прекратил драку и стал действовать официально: он арестовал меня и велел запереть в сарай при тире, среди мишеней

и указок, а сам приволок моих родителей, учителя Брюля и еще какого-то нациста. Я ревел от злости, переломал все мишени и все время кричал мальчишкам, охранявшим меня: «Нацистские свиньи!» Через час меня потащили в суд, в нашу гостиную. Брюль просто удержу не знал. Он твердил одно:

— Выкорчевать с корнем, с корнем выкорчевать!

Я до сих пор не знаю, про физическое уничтожение он говорил или, так сказать, про моральное. Как-нибудь напишу ему на адрес педагогической академии, попрошу разъяснить — ради исторической правды. Член нацистской партии, заместитель ортсгруппенляйтера Левених вел себя сравнительно разумно. Он говорил:

— Но примите во внимание, что мальчику еще одиннадцати нет!

И так как он действовал на меня успокаивающе, я даже ответил на его вопрос, откуда я взял это роковое слово:

— Прочитал на шлагбауме, на Аннабергерштрассе.

— Но тебе его никто не говорил? — спросил он.— Понимаешь, вслух при тебе его никто не произносил?

— Нет,— сказал я.

— Мальчик даже не понимает, что говорит,— сказал мой отец и положил мне руку на плечо.

Брюль свирепо воззрился на отца, потом испуганно взглянул на Герберта Калика. Очевидно, жест отца выражал слишком явное сочувствие мне.

Моя мать, плача, сказала своим глупым голосом:

— Он сам не знает что говорит, он сам не знает, иначе мне пришлось бы от него отречься.

— Ну и отрекайся,— сказал я.

Все это происходило в нашей огромной столовой с тяжелой резной мебелью темного дуба, с охотничьими трофеями деда на широкой дубовой панели, с кубками и тяжелыми книжными шкапами со свинцовым переплетом стекла.

Я слышал раскаты артиллерии на Эйфеле, всего в каких-нибудь двадцати километрах, а иногда доносился даже стрекот пулемета. Герберт Калик, светловолосый, бледный, с лицом фанатика, играл роль прокурора и все время барабанил костяшками пальцев по буфету и требовал «жестокости, беспощадной жестокости». Меня приговорили к тому, чтобы под надзором Герберта вырыть в саду противотанковый ров, и до самого вечера, следуя шнировской традиции, я расковыривал немецкую

землю, правда, вопреки этой традиции — собственноручно. Я рыл канаву через любимую дедушкину куртину роз, прямо на мраморную копию Аполлона Бельведерского, и уже радовался той минуте, когда статуя рухнет от моих землепроходческих стараний, но радоваться было рано: статую свалил не я, а маленький веснушчатый мальчуган по имени Георг — он нечаянно взорвал и себя и Аполлона фаустпатроном. Герберт Калик прокомментировал это происшествие весьма лаконично:

— К счастью, Георг был сиротой!

5

Я выписал из телефонной книжки номера всех, кому придется звонить; слева я написал столбиком имена тех, у кого можно подзанять денег: Карл Эмондс, Генрих Белен, оба — мои товарищи по школе, первый раньше изучал теологию, а теперь стал школьным учителем, второй служил капелланом; потом Бела Брозен, любовница моего отца; а справа, столбиком же, имена тех, к кому я обращусь за деньгами только в крайнем случае: мои родители, Лео (у него я мог бы попросить, но он всегда сидел без гроша, все раздавал), потом члены «кружка»: Кинкель, Фредебойль, Блотерт, Зоммервильд; а между этими двумя столбцами — имя Монике Сильвс, его я обвел красивым узорчиком. Карлу Эмондсу придется послать телеграмму, попросить, чтобы позвонил мне. У него нет телефона. Я с удовольствием позвонил бы Монике Сильвс первой, но придется приберечь звонок к ней напоследок: наши отношения находятся в такой стадии, что проявить к ней пренебрежение было бы невежливо — и физически, и метафизически. Тут мое положение было прямо-таки ужасным: оттого что я однолюб, я жил как монах, хотел я того или нет, но так вышло само собой с того самого дня, когда Мари «в метафизическом страхе», по ее собственному выражению, убежала от меня. По правде говоря, я и поскользнулся в Бохуме почти что нарочно и упал на колени, чтобы прервать начатое турне и уехать в Бонн. Я невыносимо страдал от того, что в религиозных книжках Мари совершенно неправильно называется «плотским вожделением». Но я слишком хорошо относился к Монике, чтобы с ее помощью утолить «вожделение» к другой женщине. Если бы в этих религиозных книжках писали

«вожделеть к женщине», было бы тоже достаточно грубо, но все-таки несколько благороднее, чем это «плотское вожделение». Плоть, мясо я видел только в мясных лавках, да и там в нем мало чего было от плоти. Но когда я себе представляю, что Мари делает с Цюпфнером все то, что она должна делать только со мной, моя обычная меланхолия перерастает в отчаяние. Я долго колебался, прежде чем выписать и цюпфнеровский телефон — я поместил его в столбец, где были записаны те, у кого я денег просить не стану. Мари дала бы мне денег, она отдала бы все, что у нее есть, она пришла бы ко мне, помогла бы, особенно если бы узнала, какие напасти я пережил, но она пришла бы не одна. Шесть лет — это очень много, и теперь ей не место ни в доме Цюпфнера, ни за его утренним завтраком, ни в его постели. Я даже был готов бороться за нее, только при слове «борьба» мне всегда представляется исключительно борьба физическая, то есть смешная — какая-то драка с Цюпфнером. Мари еще не умерла для меня, как, в сущности, умерла моя мать. Я верю, что живые бывают мертвыми, а мертвые живут, но не так, как верят католики и христиане вообще. Для меня этот мальчишка Георг, который взорвал себя фаустпатроном, гораздо больше живой, чем моя мать. Я вижу неловкого, веснушчатого мальчика там, на лужайке под Аполлоном, слышу, как орет Герберт Калик: «Не так, не так!» Слышу взрыв, какой-то короткий крик, а потом комментарий Калика: «К счастью, Георг был сиротой!» А через полчаса за ужином, у того стола, где надо мной вершили суд, моя мать сказала Лео: «Но ты-то все сумеешь сделать лучше, чем этот глупый мальчик, правда?»

Лео кивает, отец смотрит на меня, своего десятилетнего сына, но утешения в моих глазах не находит.

Теперь моя мать уже давно председательница Объединенного комитета по примирению расовых противоречий, она ездит в дом Анны Франк, а при случае даже в Америку и там выступает перед американскими женскими клубами и произносит речи о раскаявшейся немецкой молодежи тем же кротким, безобидным голосом, которым она, должно быть, напутствовала Генриетту: «Будь молодцом, детка!» Ее голос я могу услышать по телефону в любое время, но голос Генриетты — никогда. У нее был удивительно низкий голос и звонкий смех. Как-то во время игры в теннис у нее из рук выпала ракетка, она остановилась и мечтательно посмотрела

в небо, а другой раз она уронила ложку в суп во время обеда; мама вскрикнула, заахала — пятна на скатерти, на платье: Генриетта ничего не слыхала, а когда пришла в себя, только вынула ложку из супа, вытерла о салфетку и продолжала есть как ни в чем не бывало; но когда она в третий раз впала в это состояние, у камина, за игрой в карты, мама рассердилась по-настоящему. Она закричала: «Опять эта дурацкая рассеянность!»

А Генриетта посмотрела на нее и спокойно сказала: «А что такое? Мне просто неохота!» — и бросила все свои карты прямо в горящий камин.

Мама выхватила карты из огня, обожгла пальцы, но зато спасла все, кроме семерки червей, эту семерку опалило с краев, и мы уже больше никогда не могли играть в карты, не вспомнив Генриетту, хотя моя мать пыталась вести себя так, «будто ничего не случилось». Она совсем не злая, но только в чем-то непостижимо глупа и скупа. Она не могла допустить, чтобы мы купили новую колоду карт, и, наверно, опаленная семерка червей до сих пор в игре, но ничего не напоминает маме, когда попадается ей в пасьянсе. Очень хотелось бы поговорить по телефону с Генриеттой, но теологи еще не оборудовали связь для таких разговоров. Я отыскал в справочнике номер родительского телефона — вечно забываю его: Шнир, Альфонс, д-р г. к., генеральный директор. Звание доктор гонорис кауза для меня было новостью. Пока я набирал их номер, я мысленно дошел до дома, вниз по Кобленцерштрассе, по Эберталлее, завернул налево к Рейну. Пешком не больше часу. Тут раздался голос горничной:

— Квартира доктора Шнира.

— Можно попросить госпожу Шнир?

— Кто у телефона?

— Шнир,— сказал я,— Ганс, родной сын вышеупомянутой дамы.

Она поперхнулась, подумала минутку, и через шестикилометровый кабель я почувствовал, как она растерялась. Впрочем, пахло от нее приятно — мылом и немножко свежим лаком для ногтей. Очевидно, она хоть и знала о моем существовании, но никаких точных указаний на сей счет не получала. Наверно, до нее дошли слухи: отщепенец, бунтарь.

— Могу ли я быть уверена, что это не шутка? — спросила она наконец.

— Да, вы можете быть вполне уверены,— сказал

я,— а в случае необходимости я готов перечислить особые приметы моей матушки: родинка слева на подбородке, бородавка...

Она рассмеялась, сказала: «Хорошо!» — и перевела телефон. У нас дома сложная телефонная система. У отца лично три разных аппарата: красный — для шахт, черный — для биржи и белый — для частных разговоров. У мамы всего два телефона: черный — для Объединенного комитета по примирению расовых противоречий и белый — для частных разговоров. И хотя личный счет моей матери в банке выражается шестизначной цифрой, оплата телефонных разговоров (и, конечно, поездок в Амстердам и другие места) ложится на Объединенный комитет. Горничная неверно переключила телефон, и моя мать деловито сказала по черному аппарату:

— Объединенный комитет по примирению расовых противоречий.

Я онемел. Если бы она сказала: «Госпожа Шнир слушает», я, наверно, сказал бы: «Говорит Ганс. Как поживаешь, мама?» Вместо этого я сказал:

— Говорит проездом делегат Объединенного комитета жидовствующих янки. Пожалуйста, соедините меня с вашей дочерью.

Я сам испугался. Я услышал, как мама вскрикнула и потом так всхлипнула, что я понял, до чего она постарела. Она сказала:

— Никак не можешь забыть, да?

Мне самому хотелось плакать, но я только тихо сказал:

— Забыть? Ты хотела бы этого, мама?

Она промолчала, мне только слышался этот испугавший меня старческий плач. Я не видел ее пять лет, наверно, ей теперь уже за шестьдесят. В какую-то секунду мне и на самом деле показалось, будто она может соединить меня с Генриеттой. Во всяком случае, мама постоянно говорит, что у нее, «может быть, и на небе найдутся связи», — и говорит она это с улыбкой, как теперь все любят говорить: связи в партии, связи в университете, на телевидении, в министерстве внутренних дел.

Мне так хотелось услышать Генриеттин голос, пусть бы она сказала хотя бы «ничего» или даже «дерьмо». У нее это звучало бы ничуть не вульгарно. Когда она сказала это слово Шницлеру, заговорившему о ее

«мистическом даре», это слово прозвучало ничем не хуже слова «дерево». (Шницлер — писатель, из тех паразитов, которые жили у нас во время войны, и когда Генриетта впадала в забытие, он всегда говорил о «мистическом даре», но стоило ему только завестись, она просто говорила «дерьмо».) Она могла бы сказать что угодно, например: «Опять обыграла сегодня этого идиота Фоленаха» или какую-нибудь французскую фразу: «La condition du Monsieur le Comte est parfaite»¹. Она мне часто помогала делать уроки, и мы всегда смеялись, что чужие уроки она делает так хорошо, а свои так плохо. Но вместо ее голоса я слышал только старческие всхлипывания мамы и спросил:

— А как папа?

— О-о,— сказала она,— он постарел... постарел и стал мудрее.

— А Лео?

— О, Лэ, он очень прилежен, очень,— сказала она,— ему предсказывают блестящую будущность в теологии.

— О господи,— сказал я,— только подумать, Лео — будущий богослов!

— Да, нам тоже было довольно горько, когда он перешел в католичество,— сказала моя мать,— но ведь дух человеческий не признает препон.

Она уже вполне овладела своим голосом, и вдруг у меня мелькнул соблазн спросить ее о Шницлере, который по-прежнему к нам шляется. Это был полноватый холеный малый, и в те дни он вечно разглагольствовал о благородном европейце, о самосознании германцев. Из любопытства я как-то прочел один из его романов — «Любовь французов», он оказался гораздо скучнее, чем обещало название. Потрясающей оригинальностью в этом романе было только то, что герой — пленный французский лейтенант — был блондин, а героиня — немецкая девушка с Мозеля — брюнеточка. Этот тип каждый раз вздрагивал, когда Генриетта говорила при нем «дерьмо», — кажется, это случалось раза два, — но утверждал, что «мистическому дару» вполне может сопутствовать «неодолимая потребность швыряться скверными словами» (хотя у Генриетты никакой «неодолимой потребности» не возникало, и она вовсе не «швырялась» этим словом, а произносила его как-то походя), и в доказательство этот Шницлер притаскивал пятитомную

¹ Граф чувствует себя превосходно (фр.).

«Христианскую мистику» Герреса. В его романе все, конечно, было необычайно утонченно: там «французские названия вин звучат поэтично, как звон хрустала, когда влюбленные поднимают бокалы друг за друга». Роман кончается тайным браком; за это, однако, Шницлера не поблагодарила цензура: почти десять месяцев ему было запрещено печататься. Американцы приняли его с распростертыми объятиями, как «борца Сопротивления», взяли на службу по линии культуры, и теперь он рыскает по всему Бонну и при всяком удобном случае рассказывает, что нацисты запретили ему печататься. Такому лицемеру и врать не надо; он всегда найдет себе теплое местечко. А ведь это он заставил маму послать нас на военное обучение — меня в юнгфольк, а Генриетту в Союз германских девушек: «В этот час, сударыня, мы все должны держаться заодно, думать заодно, страдать заодно». Как сейчас вижу: он стоит у камина с отцовской сигарой в руке. «То, что я стал жертвой некоторой несправедливости, ни в коей мере не затемнит моей ясной, вполне объективной точки зрения, что наш фюрер... — голос у него по-настоящему дрогнул, — наш фюрер уже держит в руках наше спасение». И сказано это было за несколько дней до того, как американцы взяли Бонн.

— А что делает сейчас Шницлер? — спросил я мою мать.

— О, у него все отлично, — сказала она, — в министерстве иностранных дел без него просто обойтись не могут.

Видно, она все забыла, удивительно, что хотя бы выражение «жидовствующие янки» ей что-то еще напоминает. Я уже совсем перестал раскаиваться, что так начал разговор с ней.

— А дедушка как? — спросил я.

— Изумительно, — сказала она, — он несгибаем. Скоро празднует девяностолетие. Для меня загадка, как он еще держится.

— А это очень просто, — сказал я, — таких старичков ни воспоминания, ни угрызения совести не точат. Он дома?

— Нет, — сказала она, — он на полтора месяца уехал на Искью.

Мы оба замолчали. Я еще не вполне овладел своим голосом, не то что мама. Она меня спросила уже совершенно спокойно:

— Зачем ты, собственно говоря, позвонил? Судя по слухам, тебе опять плохо. Мне рассказывали, у тебя профессиональные неудачи.

— Ах так? — сказал я. — И ты, наверно, испугалась, что я стану просить у вас денег? Нет, мама, тебе бояться нечего. Все равно денег вы мне не дадите, так что придется требовать по закону. Мне, видишь ли, деньги нужны для поездки в Америку. Один человек предложил дать мне там работу. Правда, он «жидовствующий янки», но я очень постараюсь, чтобы не возникло никаких расовых противоречий.

Теперь она и не собиралась плакать. Перед тем как повесить трубку, я еще слышал, как она сказала что-то насчет принципов. Но в общем от нее, как всегда, ничем не пахло. Это тоже один из ее принципов: «Настоящая дама никаких запахов не испускает». Вероятно, оттого мой отец и завел себе такую красивую любовницу, она-то, наверно, не «испускает» никаких запахов, но вид у нее такой, словно она вся благоухает.

6

Я положил себе под спину кучу подушек, задрал больную ногу повыше, пододвинул телефон и стал раздумывать: может быть, все-таки пойти на кухню, открыть холодильник и принести сюда бутылку с коньяком?

Слова «профессиональные неудачи» прозвучали в устах моей матери особенно злорадно, и она даже не попыталась скрыть свое торжество. Все-таки я, должно быть, слишком наивно решил, что в Бонне еще никто не знает о моем провале. Раз об этом знала мама, значит, знал и отец, знал Лео, а через Лео — Цюпфнер, весь их кружок и Мари. Для нее это будет страшным ударом, хуже, чем для меня. Если я совсем брошу пить, я достигну той ступени, которую Цонерер, мой агент, называет «куда выше среднего уровня», и мне этого хватит, чтобы дотянуть до канавы — осталось-то всего двадцать два года. Что Цонерер всегда во мне одобряет — это мой «широкий профессиональный диапазон»; в искусстве он все равно ни черта не смыслит и мой «диапазон» определяет с почти гениальной наивностью, по кассовому успеху. А в нашей профессии он разбирается и хорошо понимает, что я еще лет двадцать могу прохалтурить на уровне тридцати марок и выше. С Мари дело обстоит

иначе. Она расстроится и оттого, что я «деградировал как художник», и оттого, что «впал в нищету», хотя я воспринимаю это совсем не так уж трагически. Каждый посторонний — а в этом мире все друг другу посторонние — склонен преувеличивать и плохое и хорошее больше, чем тот, кого это непосредственно касается, будь это счастье или несчастье, невезение в любви или деградация в искусстве. Мне ничуть не трудно показывать хорошие клоунские номера или даже просто фокусы в захудалых зальцах перед домохозяйками-католичками или евангелическими сестрами милосердия. К несчастью, у этих религиозных обществ невозможное представление о гонорах. Разумеется, какая-нибудь добросердечная председательница такого общества считает, что пятьдесят марок вполне приличная сумма, и если человеку так платят за двадцать выступлений в месяц, он вполне может прожить. Но когда я ей показываю счет за грим и рассказываю, что для тренировки мне нужен номер в гостинице размером побольше, чем шесть квадратных метров, она, должно быть, думает, что моя любовница обходится дороже царицы Савской. А когда я ей еще объясняю, что живу почти что на одном бульоне, ем только яйца всмятку, котлеты и помидоры, она начинает креститься и думает, наверно, что я оттого такой тощий, что не ем никаких «питательных» блюд. А если я ей еще расскажу, что все мои излишества состоят в вечерних газетах, сигаретах, игре в «братец-не-сердись», она наверняка решит, что я какой-то жулик. Я уже давно перестал разговаривать с людьми об искусстве и о деньгах. Там, где сталкиваются эти два понятия, ничего путного не выходит: за искусство всегда либо переплачивают, либо недоплачивают. Однажды я видел в английском бродячем цирке клоуна, который как профессионал стоил раз в двадцать, а как артист раз в десять выше меня, но за вечер не зарабатывал и десяти марок. Звали его Джеймс Эллис, ему было под сорок, и когда я пригласил его поужинать — нам подали яичницу с ветчиной, салат и яблочный пирог, — ему стало нехорошо: он лет десять не ел столько сразу. С тех пор как я познакомился с Джеймсом Эллисом, я уже ни о деньгах, ни об искусстве не разговариваю.

Как будет, так будет, впереди все равно канава. У Мари в голове совсем другое — она вечно твердит про «наитие», все живут у нее по наитию, даже я: оттого я такой веселый, такой по-своему верующий, такой

чистый, ну и так далее. Ужас что творится в головах у этих католиков. Они даже хорошего вина выпить не могут без того, чтобы как-то не перевернуть все, им обязательно надо «осознать», насколько вино хорошее и почему оно хорошее. В вопросах «осознания» они даже марксистам не уступят. Мари пришла в ужас, когда я месяца два назад купил гитару и сказал, что скоро начну сочинять слова и музыку и буду петь песни под гитару. Она сказала, что это «ниже моего уровня», а я ей сказал, что ниже уровня канавы есть еще только канал, но она не поняла, о чем я, а я ненавижу разъяснять метафоры. Либо меня понимают, либо нет. Я им не талмудист.

Кто-нибудь может подумать, что мои марионеточные нити оборвались,— напротив, я крепко держал их в руках и со стороны видел, как я лежу там, в Бохуме, на сцене этого зальца, пьяный, с расшибленным коленом, слышу сочувственный гул в зале и кажусь себе подлецом. Я вовсе не заслужил сострадания, и мне приятнее было бы услышать свистки; и хромал я нарочно сильнее, чем следовало бы, хотя и расшибся всерьез. Но мне нужно было вернуть Мари, и я начал бороться по-своему — и все ради того, что в ее книжках называется «плотским вожделением».

7

Мне был двадцать один год, ей девятнадцать, когда я вечером просто пришел к ней в комнату, чтобы делать с ней то, что делают муж с женой. Днем я еще видел ее с Цюпфнером. Они вышли, держась за руки, из молодежного клуба, оба улыбались, и меня кольнуло в сердце. Нечего ей было ходить с Цюпфнером, меня мутило от этого дурацкого держанья за ручки. Весь город знал Цюпфнера, главным образом из-за его отца, которого выгнали нацисты; он был школьным учителем и отказался после войны занять место директора той же школы. Кто-то даже хотел назначить его министром, но он рассердился и сказал: «Я учитель и хочу снова работать учителем». Это был высокий молчаливый человек, и как учитель он казался мне скучноватым. Один раз он заменял нашего преподавателя немецкой литературы и прочел нам стихи про красавицу Лилофею.

Но мое мнение о школьных делах ровно ничего не

значит. Было просто ошибкой заставлять меня ходить в школу дольше, чем положено по закону — законный срок и то слишком долог. Никогда я не жаловался на школу из-за учителей, а только из-за моих родителей. Собственно говоря, этим предрассудком «он обязательно должен получить аттестат зрелости» должен заняться Объединенный комитет по примирению расовых противоречий. Ведь это же самая настоящая расовая проблема: старшекласники и младшие, учителя, инспектора, люди с высшим образованием и без оногo — сплошные расы. Когда отец Цюпфнера прочел нам стихи, он немного подождал, потом сказал с улыбкой:

— Может, кто-нибудь хочет высказаться?

И я сразу вскочил и сказал:

— По-моему, стихи чудесные!

Весь класс захохотал, только отец Цюпфнера не смеялся. Он улыбнулся просто, ничуть не высокомерно. По-моему, он был славный, только немного суховат. Один раз я проходил мимо спортивной площадки, он там играл в футбол со своей группой из молодежного союза, и когда я остановился и стал смотреть, он мне крикнул:

— Хочешь поиграть с нами?

И я сразу согласился и пошел играть левого крайнего в ту команду, которая играла против Цюпфнера. Когда игра кончилась, он мне сказал:

— Хочешь пойти с нами?

Я спросил:

— Куда?

И он сказал:

— На вечер нашего кружка.

А я сказал:

— Но ведь я вовсе не католик.

И он рассмеялся, и другие ребята тоже. Цюпфнер сказал:

— Мы поем хором, а ты, наверно, любишь петь?

— Люблю,— сказал я,— но эти кружки мне осточертели: ведь я два года проторчал в интернате.

И хотя Цюпфнер рассмеялся, он, как видно, был обижен. Он сказал:

— Но если хочешь, приходи играть с нами в футбол.

Раза два я еще играл с их группой, ходил с ними есть мороженое, но на вечеринки он меня больше не приглашал. Я знал, что в этом же клубе устраивает вечеринки и Мари со своей группой, я знал ее хорошо, даже очень хорошо, потому что часто бывал у ее отца, а иног-

да ходил по вечерам на спортивную площадку, где она со своими девчонками играла в мяч, и смотрел на них. Вернее сказать, на нее, и она иногда кивала мне посреди игры и улыбалась, а я кивал ей в ответ и тоже улыбался: мы с ней были хорошо знакомы. В те дни я часто бывал у ее отца, иногда она сидела с нами, когда ее отец пытался мне объяснить Гегеля и Маркса, но дома она никогда мне не улыбалась. И в тот день, когда я увидел, как она выходит из молодежного клуба за руку с Цюпфнером, меня просто кольнуло в самое сердце. Я тогда был в глупом положении. В двадцать один год я ушел из последнего класса католической школы. Патеры держали себя очень мило, даже закатили мне прощальный вечер с пивом, бутербродами, с сигаретами для курящих и шоколадками для некурящих, и я изображал перед своими соучениками всякие номера: «Католический проповедник», «Проповедник-протестант», «Рабочий в день получки», показывал разные фокусы, подражал Чаплину. Я даже речь произнес: «Ошибочное представление о том, что аттестат зрелости является необходимой предпосылкой для спасения души». Прощание вышло роскошное, но дома все сердились и возмущались. Мать вела себя по отношению ко мне просто низко. Она советовала отцу ткнуть меня в шахту, а отец все допытывался, кем же я хочу стать, и я сказал:

— Клоуном.

Он сказал:

— Ты хочешь стать актером? Хорошо, может быть, я смогу устроить тебя в школу.

— Нет,— сказал я,— не актером, а клоуном, и школы мне ни к чему.

— То есть как же ты себе это представляешь? — спросил он.

— Никак,— сказал я,— никак. Я просто уйду от вас...

Это были ужасные два месяца, потому что у меня не хватало мужества действительно уйти из дому, и при каждом куске, который я съедал, мать смотрела на меня как на преступника. При этом у нас в доме годами обжирались всякие проходимцы и приживалы, но для нее это были «художники и поэты»: и Шницлер, этот пошляк, и Грубер — хотя он-то был не такой уж противный. Этот жирный, молчаливый и нечистоплотный лирик прожил у нас полгода и не написал ни строчки. Когда он утром спускался к завтраку, мать всегда смотрела на него такими глазами, словно хотела обнару-

жить следы ночной борьбы с демоном вдохновения. Что-то было почти непристойное в этом ее взгляде. Но однажды он бесследно исчез, и мы, дети, удивились и даже перепугались, найдя в его комнате кучу замусоленных детективных романов, а на письменном столе какие-то записочки, где было только одно слово — «Ничто», а на одной два раза: «Ничто, ничто». И ради таких людей моя мать даже спускалась в погреб, доставала особый кусок ветчины. Мне кажется, что, если бы я завел себе гигантские подрамники и стал размазывать всякую чепуху на гигантских холстах, она даже могла бы примириться с моим существованием. Тогда она могла бы говорить: «Наш Ганс — художник, он найдет свою дорогу. Теперь в нем еще происходит борьба». А так я был просто перезрелый недоучка, про которого она знала только, что «он неплохо показывает всякие трюки». Конечно, я упирался и не желал за какую-то жратву «проявлять свой талант» для них. Поэтому я и проводил целые дни у отца Мари, старика Деркума, помогал ему немножко в лавке, а он за это дарил мне сигары, хотя они и сами нуждались. Я сидел дома всего два месяца, но они тянулись, как вечность, гораздо дольше, чем война. Мари я видел редко, она готовилась к экзаменам на аттестат зрелости и занималась со своими одноклассницами. Иногда старик Деркум ловил меня на том, что я его совсем не слушаю и не свожу глаз с кухонной двери, он качал головой и говорил: «Она сегодня вернется поздно». А я краснел.

Была пятница, и я знал, что старик Деркум по пятницам ходит на вечерний сеанс в кино, но я не знал, будет ли Мари дома или останется зубрить у подруги. Я не думал ни о чем и вместе с тем обо всем, даже о том, сможет ли она «после этого» сдать экзамен на аттестат зрелости; но уже тогда я предвидел: весь Бонн будет не только возмущаться тем, что я ее соблазнил, но и прибавлять: «И перед самыми выпускными экзаменами!» Я даже думал о девчонках из ее группы, для которых это будет ужасным разочарованием. Я смертельно боялся того, что в интернате один мальчик как-то назвал «телесными проявлениями», и вопрос о потенции меня немало беспокоил. Самым неожиданным для меня было то, что я не испытывал ни малейшего «плотского вожделения». Думал я и о том, что нечестно с моей стороны проникнуть в дом, в комнату Мари с помощью ключа, который дал мне ее отец, но иначе я никак это сделать не

мог. Единственное окно в комнате Мари выходило на улицу, а там до двух ночи царило такое оживление, что меня немедленно отправили бы в участок, а я должен был сегодня же быть с Мари. Я даже пошел в аптеку и купил на деньги, взятые у брата Лео, снадобье, про которое в школе говорили, будто оно повышает мужскую силу. Я покраснел как рак, когда очутился в аптеке, к счастью, подошел продавец, а не продавщица, но я говорил так тихо, что он заорал на меня и потребовал, чтобы я «громко и внятно» сказал, что мне нужно, и я назвал препарат, получил коробку и расплатился с женой аптекаря, которая посмотрела на меня и покачала головой. Конечно, она меня знала, и когда она на следующее утро услышала, что произошло, она, наверное, подумала совсем не то, что было на самом деле, потому что через два квартала я открыл коробочку и вытряхнул все пилюли в водосточный желоб.

В семь часов, когда начался сеанс в кино, я пошел на Гуденаугассе, сжимая ключ в руке, но двери лавки еще были открыты, и когда я вошел, Мари выглянула сверху с площадки и крикнула:

— Алло, кто там?

— Это я! — крикнул я и взбежал по лестнице, а она посмотрела на меня с изумлением, когда я, не прикасаясь к ней, медленно оттеснил ее назад, в ее комнату.

Нам с ней мало приходилось разговаривать, мы только всегда смотрели друг на друга и улыбались, и я не знал, как мне к ней обращаться — на «вы» или на «ты». На ней был старый, потертый купальный халат, доставшийся ей после смерти матери, темные волосы перевязаны зеленым шнурком; позже, когда я развязывал этот шнурок, я заметил, что это кусок отцовской лески. Она так перепугалась, что мне ничего не надо было говорить: она сразу поняла, зачем я пришел.

— Уходи, — сказала она, но сказала машинально, я знал, что она должна так сказать, и мы оба знали, что хотя это сказано всерьез, но больше по инерции, и когда она сказала «уходи», а не «уходите», все было решено. В этом маленьком слове таилось столько нежности, что я подумал: ее хватит на всю жизнь, — и чуть не расплакался. Это слово было так сказано, что я понял: она знала, что я приду, во всяком случае, она совсем не удивилась.

— Нет, нет, — сказал я, — я не уйду, куда же мне идти?

Она покачала головой.

— Что ж, значит, взять в долг двадцать марок и съездить в Кёльн, а уж потом на тебе жениться?

— Нет,— сказала она,— не ездь в Кёльн!

Я посмотрел на нее, и страх почти прошел. Я уже взрослый, и она взрослая девушка, я взглянул на ее руку, прихватившую халат, потом на ее стол у окна и обрадовался, что на столе нет никаких учебников, только шитье и выкройка. Я сбежал вниз, запер лавку и положил ключ туда, куда его клали уже лет пятьдесят,— между карамельками и прописями. Когда я вернулся, она сидела на кровати и плакала. Я тоже сел на другой конец кровати, закурил сигарету, подал ей, и она выкурила первую свою сигарету, ужасно неумело; мы невольно засмеялись: она так забавно выпускала дым и делала губы трубочкой, даже как-то кокетливо, а когда у нее случайно дым пошел носом, я расхохотался — до того это у нее вышло по-уличному. Наконец мы заговорили, и говорили ужасно много. Она сказала, что думает о «таких» женщинах в Кёльне, которые делают «это» за деньги и, наверно, считают, что «это» можно оплатить, но «это» за деньги купить нельзя, и, значит, все порядочные женщины, из-за которых мужья ездят «туда», перед ними в долгу, а она не хочет быть в долгу перед «такими женщинами». Я тоже много говорил, я ей сказал, что все, о чем я читал в книгах про так называемую «плотскую» любовь и про другую любовь,— все это считаю чепухой. Я не могу отделить одно от другого, и она спросила меня, считаю ли я ее красивой и люблю ли я ее, а я сказал, что она единственная девушка, с которой мне хотелось бы делать «это», и я всегда думал только о ней, когда думал «об этих вещах», даже еще в интернате, да и вообще я всегда думал только о ней одной. Потом Мари встала и пошла в ванную, а я сидел на ее кровати, курил и думал об этих гнусных пилюлях, которые я выкинул в канаву. Мне опять стало страшно, я подошел к двери в ванную и постучал. Мари минуту помедлила, потом сказала «да», я вошел, и как только ее увидел, весь страх опять прошел. Слезы текли у нее по лицу, а она туалетной водой побрызгала на волосы, потом стала пудриться, и я спросил:

— Чего это ты делаешь?

А она сказала:

— Хочу быть красивой.

Слезы прорывали маленькие бороздки в пудре — она слишком густо напудрилась, и тут она сказала:

— Может быть, тебе все-таки лучше уйти?

Но я сказал:

— Нет.

Она побрызгалась одеколоном, а я сидел на краю ванны и размышлял: хватит ли нам двух часов? Ведь больше получаса мы уже проболтали. В школе у нас были специалисты по этому вопросу, они рассказывали, как трудно сделать девушку женщиной, и у меня никак не выходил из головы Гунтер, которому сначала пришлось послать за себя Зигфрида, и я вспомнил, какая ужасная резня началась у этих нибелунгов из-за этого дела и как в школе, когда мы проходили «Нибелунгов», я встал и сказал патеру Вунибальду: «Собственно говоря, ведь Брюнхильда и была женой Зигфрида», а он усмехнулся и сказал: «Но женат он был на Кримхильде, мой мальчик», а я разозлился и стал утверждать, что это толкование я считаю «поповским», и патер Вунибальд тоже разозлился, застучал костяшками по кафедре и сказал, что запрещает «такие оскорбления».

Я встал и сказал Мари:

— Ну чего ты плачешь?

И она перестала плакать и загладила пуховкой следы слез. Прежде чем вернуться к ней в комнату, мы постояли у окна в прихожей и поглядели на улицу: был январь, улица мокрая, желтели фонари над асфальтом, зеленела вывеска над овощной лавкой: «Эмиль Шмиц». Я знал Шмица, но не знал, что его имя Эмиль, и это имя Эмиль при фамилии Шмиц показалось мне неподходящим. Прежде чем мы вошли в комнату Мари, я чуть-чуть приоткрыл дверь и потушил там свет.

Когда ее отец вернулся, мы еще не спали, было почти одиннадцать часов. Мы слышали, что перед тем как подняться наверх, он зашел в лавку взять сигарет. Мы оба думали: наверное, он что-нибудь заметит, все-таки произошло что-то невероятное. Но он ничего не заметил, только минуту прислушивался у двери и поднялся наверх. Мы слышали, как он снял башмаки, бросил их на пол, потом слышали, как он покашливает во сне. Я думал о том, как он к этому отнесется. Он давно перестал быть католиком, давным-давно вышел из церкви и вечно ругал при мне «лживую мораль буржуазного общества в вопро-

сах пола» и ненавидел «жульнический обман, который попы называют браком». Но я не был уверен, что он не поднимет скандала, узнав, что мы с Мари наделали. Я его очень любил, и он меня тоже, и у меня было искушение встать вот так, среди ночи, пойти к нему в спальню и все ему рассказать, но потом я вспомнил, что я уже достаточно взрослый, мне двадцать один год, и Мари тоже достаточно взрослая, ей девятнадцать, и что в некоторых вопросах откровенность между мужчинами в тысячу раз неприятнее молчания, а кроме того, я понял: его это, в сущности, касалось куда меньше, чем я раньше думал. Не мог же я на самом деле пойти к нему заранее, среди бела дня и заявить: «Господин Деркум, сегодня я проведу ночь у вашей дочери», а о том, что случилось, он все равно узнает.

Немного позже Мари встала, поцеловала меня в темноте.

— Я пойду в ванную, а ты умойся тут.— И она потянула меня за руку с кровати и, не выпуская моей руки, повела в темноте в угол, где стоял умывальник, заставила меня нащупать кувшин, мыльницу, таз и вышла.

Я вымылся, снова лег в кровать, удивляясь, отчего Мари так долго не идет. Я устал до чертиков, радовался, что без страха могу вспоминать о проклятом Гунтере, а потом испугался: вдруг с Мари что-нибудь случилось. В интернате мне рассказывали жуткие подробности. Я опять подумал об отце Мари. Все считали, что он коммунист, но после войны, когда его хотели назначить бургомистром, коммунисты сделали так, что он не прошел, но каждый раз, когда я сравнивал коммунистов с нацистами, он свирепел и говорил: «Большая разница, мальчик, погибнет ли человек на войне ради интересов мыльной фирмы или умрет за дело, в которое верит». До сегодняшнего дня я не понимаю, кем он был на самом деле, но когда Кинкель однажды в моем присутствии обозвал его «гениальным сектантом», я чуть не плюнул Кинкелю в физиономию. Старик Деркум принадлежал к тем редким людям, которые внушали мне уважение. Он был худой, суровый, выглядел много старше своих лет и от постоянного курения дышал тяжело. Все время, пока я ждал Мари, я слышал кашель из его спальни и казался себе подлецом, хотя знал, что я вовсе не подлец. Один раз он мне сказал: «А ты знаешь, почему в барских домах, вроде твоего родительского дома,

горничным всегда дают комнату рядом с комнатой подрастающих мальчиков? Я тебе объясню почему: это древний, как мир, расчет на голос природы и сострадание». Мне очень хотелось, чтобы он вошел в комнату и застал меня в постели Мари, но идти к нему и, так сказать, «докладываться» у меня охоты не было.

Уже начинало светать. Мне было холодно. Удручала бедность комнаты Мари. Все давно считали, что Деркумы впали в бедность, и приписывали это политическому фанатизму отца Мари. У них когда-то была маленькая типография, небольшое издательство, книжная лавка, а теперь осталась только лавчонка письменных принадлежностей, где школьники могли купить и разные лакомства. Мой отец как-то сказал мне: «Видишь, как далеко может завести человека фанатизм, а ведь у Деркума после войны, как у человека, подвергавшегося политическим преследованиям, были все шансы стать владельцем газеты». Как ни странно, но мне Деркум никогда не казался фанатиком, впрочем, мой отец, вероятно, путал фанатизм с последовательностью. Отец Мари даже молитвенников не продавал, хотя это дало бы ему возможность подработать, особенно перед праздниками.

В комнате у Мари стало уже светло, и тут я увидел, до чего они действительно бедные: в шкафу у нее висело всего три платья — темно-зеленое, в котором, как мне казалось, я видел ее уже лет сто, желтенькое, совсем поношенное, и тот чудесный темно-синий костюм, в котором она всегда ходила на процессии, потом старое, бутылочного цвета зимнее пальто и всего три пары обуви. На миг у меня появилось искушение открыть комод и посмотреть, какое у нее белье, но потом я передумал. По-моему, даже если бы я жил в самом законном браке с какой-нибудь женщиной, я бы все равно никогда не рылся в ее белье. Отец Мари давно перестал кашлять. Был седьмой час, когда Мари наконец вышла из ванной. Я был рад, что у нас с ней было то, чего я всегда хотел, я поцеловал ее и был счастлив, когда она мне улыбнулась. Я почувствовал ее руки у себя на шее — они были совсем ледяные.

Я притянул ее к себе, укрыл и засунул ее ледяные руки себе под мышку, и Мари сказала, что им там так хорошо лежать, как птицам в гнезде.

— А горячей воды у тебя не было? — спросил я.

И она сказала:

— Нет, котел давным-давно не работает. — И вдруг

совершенно неожиданно она заплакала, и я спросил, почему она теперь вдруг плачет, и она прошептала: — Господи, ведь я же католичка, ты отлично знаешь...

Но я сказал, что любая девушка, евангелистка или атеистка, тоже, наверно, плакала бы, и я даже знаю почему. Мари посмотрела на меня вопросительно, и я сказал:

— Потому что невинность на самом деле существует.

Она все плакала, и я не спрашивал почему. Я все понимал: вот уже два года, как она ведет эту группу девушек, всегда ходит с ними в процессиях, наверно, они все время говорят про деву Марию, и вот теперь она кажется себе предательницей или обманщицей.

Я хорошо представлял себе, как все это для нее ужасно. Наверно, это было действительно ужасно, но больше ждать я не мог. Я сказал, что сам поговорю с ее девчонками, и она испуганно отшатнулась и сказала:

— Что? С кем?

— С девочками из твоей группы,— сказал я.— Действительно нехорошо для тебя вышло, но, если уж тебе будет очень невмоготу, можешь, если хочешь, сказать, что я тебя изнасиловал.

Она рассмеялась и сказала:

— Нет, это глупости, и потом, что ты можешь сказать девочкам?

И я сказал:

— Ничего я им говорить не буду, просто выступлю перед ними, покажу несколько номеров, и они подумают: так вот он какой, этот Шнир, который сделал с Мари «то самое» — и все будет по-другому, кончатся всякие перешептывания по уголкам.

Мари подумала, опять засмеялась и сказала тихо:

— А ты не такой глупый! — Потом вдруг расплакалась и сказала: — Мне теперь тут и показываться нельзя.

И я спросил:

— Почему?

Но она только плакала и мотала головой.

Ее руки совсем согрелись у меня под мышкой, и чем теплее становились ее руки, тем больше меня одолевал сон. Вскоре ее руки стали согревать меня, и когда она опять спросила, люблю ли я ее и считаю ли я ее красивой, я сказал, что это совершенно ясно, но она сказала, что еще раз хочет выслушать даже то, что ясно, и я сонно пробормотал:

— Да, да, ты красивая, я тебя люблю.

Проснулся я, когда Мари встала и начала умываться и одеваться. Она совершенно не стеснялась меня, и мне казалось естественным смотреть на нее. Стало еще яснее, до чего она бедно одета. Пока она застегивалась и завязывалась, я думал о тех чудесных вещах, которые я купил бы ей, будь у меня деньги. Я и раньше, бывало, останавливался у витрин модных магазинов и смотрел на юбки, свитера, туфли и сумки, представляя себе, как бы ей это пошло, но у ее отца были такие строгие взгляды на деньги, что я никогда не осмелился бы принести ей подарок. Однажды он мне сказал: «Ужасно быть нищим, но худо и еле-еле сводить концы с концами, а так живет большинство людей». — «А быть богатым?» — спросил я и покраснел. Он строго посмотрел на меня, покраснел и сказал: «Слушай, мальчик, дело может плохо обернуться, если ты не перестанешь думать. Если бы у меня еще хватило мужества и веры, что в этом мире можно что-то изменить, знаешь, что я сделал бы?» — «Нет, не знаю», — сказал я. «Я бы, — сказал он и опять покраснел, — я бы основал такое общество, вроде как общество защиты детей богачей. Только дураки применяют понятие «беспризорные» исключительно к детям бедняков».

Много мыслей мелькало у меня в голове, пока я смотрел, как Мари одевается. Я и радовался, и вместе с тем чувствовал себя несчастным, видя, как просто она относится к своему телу. Потом, когда мы с ней переезжали из отеля в отель, я всегда любил по утрам лежать в постели и смотреть, как она моется и одевается, и если кровать стояла так, что мне оттуда не видна была ванная комната, я ложился в ванну.

В то первое утро я с удовольствием и вовсе не вставал бы, мне хотелось, чтобы она никогда не кончила одеваться. Она тщательно вымыла шею, плечи, грудь, старательно вычистила зубы. Сам я обычно старался избежать утреннего умывания, а чистить зубы для меня до сих пор пытка. Хотя я предпочитаю принимать ванну, но всегда с удовольствием смотрел, как умывается Мари, она была такая чистенькая, и все у нее выходило так естественно, даже то маленькое движение, каким она завинчивала крышку на тюбике с зубной пастой. Я думал и о моем брате Лео, он был такой набожный, добросовестный, точный и всегда говорил, что «верит» в меня. Он тоже сдавал на аттестат зрелости и как будто стыдился, что у него все идет гладко, нормально, хотя ему только девятнадцать, а я в двадцать один год еще сижу в пред-

последнем классе и злюсь из-за ложных толкований сказания о нибелунгах. Лео даже был знаком с Мари, они встречались в каком-то кружке, где католическая и евангелическая молодежь обсуждала вопросы демократии и религиозной терпимости. Мы оба, и я и Лео, уже давно считали наших родителей кем-то вроде заведующих молодежным общежитием. Для Лео было ужасным ударом, когда он узнал, что у отца вот уже десять лет есть любовница. Для меня это тоже было ударом, но не в моральном отношении, я отлично представлял себе, как неприятно быть женатым на моей матери, чья обманчивая мягкость проявлялась даже в манере выговаривать «и» и «э». Она редко произносила фразы, где попадалось бы грубое «а», «о» или «у», и, что характерно, она даже имя брата, Лео, сократила в «Лэ». Любимая ее фраза: «Мы, видно, иначе расцениваем вещи», и вторая любимая фраза: «В принципе мне это виднее, тем не менее следует взвесить». Для меня тот факт, что у отца есть любовница, был главным образом шоком эстетическим: к нему это так не шло. Он человек не страстный, не жизнерадостный, и если не считать, что она для него могла быть чем-то вроде сиделки или духовной наставницы (но тогда пышное выражение «любовница» совершенно неуместно), то главная нелепость заключалась именно в том, что к отцу все это никак не шло. На самом деле это была маленькая, хорошенькая певичка, не бог весть какая умная, и отец даже не помогал ей получать выгодные концерты или контракты. Для этого он был слишком воспитанным человеком. Мне все это казалось ужасно нелепым, а Лео очень огорчился. Это разрушало его идеалы. Моя мать не нашла других слов для определения его состояния, кроме: «Лэ переживает кризис». И когда он написал сочинение на «пять» — низшая отметка, — то мама хотела потащить его к психоаналитику. Мне удалось этому помешать: во-первых, я толком разъяснил Лео все, что знал сам об отношениях мужчины и женщины, а во-вторых, я так усердно помогал ему готовить уроки, что он скоро опять стал получать «два» и «три», и мама уже считала, что вести его к психоаналитику не обязательно.

Мари надела зеленое платье, и хотя она никак не могла застегнуть молнию, я не встал и не помог ей — до того было приятно смотреть, как она закидывает руки за спину, видеть ее белую кожу, темные волосы, темно-зеленое платье; я радовался, что она совсем не нерв-

ничает, но в конце концов она подошла к кровати, и я поднялся и застегнул ей молнию. Я спросил, почему она встает в такую рань, и она сказала, что отец засыпает только под утро и до девяти будет спать, а ей надо принять газеты, открыть лавку, потому что школьники иногда приходят еще до мессы за тетрадями, за карандашами и карамельками.

— А кроме того,— сказала она,— лучше, если ты уйдешь до половины восьмого. Сейчас я сварю кофе, а ты минут через пять тихонько спустишься на кухню.

Я почти что почувствовал себя женатым, когда спустился в кухню и Мари налила мне кофе, намазала бутерброд. Она покачала головой:

— Немытый, нечесаный, неужели ты всегда выходишь завтракать в таком виде?

И я сказал:

— Да, в интернате им тоже никак не удавалось воспитать во мне привычку мыться рано утром.

— Но что же ты делаешь? — спросила она.— Как-то ведь надо наводить чистоту.

— Обтираюсь одеколоном,— сказал я.

— Но это ужасно дорого,— сказала она и сразу покраснела.

— Да,— сказал я,— но мне одеколон всегда дарит дядя, огромную бутылку, он главный представитель этой фирмы.

От смущения я стал разглядывать кухню, так хорошо мне знакомую: она была маленькая и темная, вроде кладовушки при лавке; в углу — небольшая плита, где Мари оставляла на ночь тлеющие брикеты, как делают все домашние хозяйки: вечером заворачивала в мокрую газету, утром раздувала тлеющий огонь и разжигала печь дровами и свежим брикетом. Ненавижу запах брикетной золы, который стоит по утрам на улицах и в то утро стоял в тесной кухоньке. Было так тесно, что каждый раз, как надо было снять кофейник с плиты, Мари приходилось вставать и отодвигать свой стул, и, наверно, то же самое приходилось делать ее бабушке и ее матери. В это утро знакомая кухонька впервые показалась мне будничной. Может быть, я впервые почувствовал, что значат будни: делать то, что нужно, даже если неохота. Мне совсем не хотелось уходить из этого тесного домика и там, за его пределами, выполнять свой долг, а долг мой был — сознаться в том, что мы сделали с Мари, перед Лео, перед девочками, да и мои родители, наверно, тоже

как-нибудь об этом услышат. Больше всего мне хотелось бы остаться тут навеки и до конца жизни продавать карамельки и тетрадки ребятишкам, а вечером ложиться наверху в постель с Мари и спать с ней рядом, именно спать рядом, как мы спали в предутренние часы, когда я согревал ее руки у себя под мышкой. Мне она показалась пугающей и чудесной — эта будничная жизнь, с кофейником и бутербродами, с вылинявшим голубовато-белым фартуком Мари на темно-зеленом платье, и мне казалось, что только женщинам будни привычны, как их собственное тело. Я гордился тем, что Мари — моя жена, и чувствовал, что я еще не такой взрослый, каким теперь придется быть перед всеми. Я встал, обошел стол, обнял Мари.

— Я никогда не забуду,— сказала она,— как ты грел мои руки под мышкой. Но тебе надо идти, уже половина восьмого, сейчас начнут приходить ребята.

Я помог ей принести пачки газет и распаковать их. Напротив как раз приехал с рынка Шмиц на своем грузовичке, и я отскочил в глубь парадного, чтобы он меня не увидел, но он меня все равно увидел. У соседей зорче глаз, чем у самого черта. Я стоял в лавке, смотрел на свежие газеты — обычно мужчины накидываются на них как сумасшедшие. А меня газеты интересуют только по вечерам или когда я лежу в ванне, а в ванне самые серьезные газеты кажутся мне такими же глупыми, как вечерние выпуски. В это утро заголовок гласил: «Штраус — со всеми вытекающими отсюда последствиями». Все-таки, наверно, лучше было бы поручить передовицы и заголовки кибернетическим машинам. Есть границы, за которыми слабоумие уже должно быть запрещено. Задребезжал звонок в лавке, вошла девчушка лет восьми-девяти, краснощекая, чисто вымытая, с молитвенником под мышкой.

— Дайте подушечек,— сказала она,— на десять пфеннигов.

Я не знал, сколько подушечек надо дать на десять пфеннигов, открыл банку, отсчитал двадцать штук и впервые устыдился своих не очень чистых ногтей — через толстое стекло банки они казались огромными. Девчушка смотрела на меня с изумлением, когда я положил в пакетик двадцать подушечек, но я сказал:

— Все в порядке, можешь идти,— и, взяв ее монетку с прилавка, бросил в кассу.

Мари вернулась в лавку и расхохоталась, когда я ей гордо показал монетку.

— А теперь пора идти,— сказала она.

— А почему, собственно говоря? — спросил я.— Разве мне нельзя дождаться, пока спустится твой отец?

— Нет, ты возвращайся к девяти, когда он спустится вниз,— сказала она.— Иди же, ты должен все рассказать своему брату Лео, пока он от других не узнал.

— Да,— сказал я,— ты права, а ты,— и я опять покраснел,— разве тебе не надо в школу?

— Сегодня я не пойду,— сказала она,— и вообще больше туда не пойду. Возвращайся поскорее!

Мне было ужасно трудно расставаться с ней, она проводила меня до выхода из лавки, и я поцеловал ее при открытых дверях, так что Шмиц с супругой могли видеть нас с той стороны. Они вылупили глаза, как рыбы, обнаружившие, что крючок давно проглочен.

Я ушел не оглядываясь. Мне было холодно, я поднял воротник куртки, закурил сигарету, сделал крюк через рынок, спустился по Францисканерштрассе и за углом Кобленцерштрассе вскочил на ходу в автобус. Кондукторша открыла мне дверь, погрозила пальцем, когда я остановился около нее, чтобы заплатить за проезд, и, покачав головой, показала на мою сигарету. Я притушил сигарету, сунул окурочок в карман и прошел в середину. Я смотрел на Кобленцерштрассе и думал о Мари. Что-то в моем лице явно возмутило человека, около которого я остановился. Он даже опустил газету, не дочитав своего «Штрауса — со всеми вытекающими последствиями», сдвинул очки на нос, посмотрел на меня, покачал головой и пробормотал: «Невероятно!» Женщина, сидевшая за ним,— я чуть не упал, споткнувшись о мешок с брюквой, стоявший около нее,— кивнула в знак согласия с его словами и тоже покачала головой, беззвучно шевеля губами.

А ведь я специально причесался гребенкой Мари перед ее зеркалом, на мне была чистая серая, совершенно обыкновенная куртка, и борода у меня росла вовсе не так сильно, чтобы один день без бритья мог придать мне «невероятный» вид. Я не слишком высок и не слишком мал ростом, нос у меня не такой длинный, чтобы его надо было заносить в «особые приметы», в этой графе у меня стоит: «Особых примет нет». Я был не грязный, не пьяный, и все-таки женщина с мешком брюквы возмущалась еще больше, чем мужчина в очках, он

только в последний раз безнадежно покачал головой и, снова водворив очки на место, занялся штраусовскими последствиями, а женщина беззвучно бранилась себе под нос и беспокойно вертела головой, как бы желая поделиться с остальными пассажирами тем, что никак не могли выговорить вслух ее губы.

Я до сих пор не знаю, как выглядят типичные евреи, иначе я мог бы подумать, не принимает ли она меня за еврея, но мне кажется, что дело было не в моей наружности, а в том выражении глаз, с каким я смотрел в окно и думал о Мари. Эта немая враждебность так нервировала меня, что я сошел на остановку раньше и спустился пешком по Эберталлее, прежде чем свернуть к Рейну.

В нашем парке чернели еще влажные стволы буков, краснела свежеукатанная теннисная площадка, с Рейна доносились гудки барж, и, войдя в прихожую, я услышал, как Анна бранилась вполголоса на кухне. Я разобрал только: «добром не кончится... не кончится добром...» Я крикнул в приоткрытую кухонную дверь:

— Анна, я завтракать не буду! — быстро прошел мимо и остановился в столовой.

Никогда еще дубовые панели и деревянная галерея с кружками и охотничьими трофеями не казались мне такими мрачными. Рядом, в гостиной, Лео играл мазурку Шопена. В то время он решил заняться музыкой и вставал в половине шестого, чтобы поупражняться до ухода в школу. От музыки мне показалось, что уже наступил вечер, и я совсем забыл, что это играет Лео. Шопен и Лео никак не подходили друг к другу, но играл он так хорошо, что я про него забыл. Из старых композиторов я больше всего люблю Шопена и Шуберта. Знаю, что наш учитель музыки прав, называя Моцарта божественным, Бетховена — великим, Глюка — неподражаемым, а Баха — грандиозным. Но Бах мне кажется тридцатитомной философией, которая меня приводит в изумление. А Шопен и Шуберт такие земные, такие мне близкие. Я их люблю слушать больше всего.

В парке на берегу Рейна, у самых плакучих ив, кто-то переставлял мишени в дедушкином тире. Наверно, он велел кучеру их смазать. Мой дед изредка созывает компанию «старых дружков», и тогда перед нашим домом на круглой площадке останавливается пятнадцать гигантских автомашин, пятнадцать шоферов зябко топчутся под деревьями меж кустов или играют в скат на

каменных скамьях, а когда кто-нибудь из старых дружков попадает в яблочко, слышно хлопанье пробки от шампанского. Иногда дед звал меня туда, и я показывал старичкам всякие штуки — изображал Аденауэра или Эрхарда (это примитивно до уныния) либо представлял целый номер — «Директор предприятия в вагоне-ресторане». Но как я ни старался вложить побольше яду, они все равно хохотали до слез, «надрывали животики», а когда я после представления обходил их с пустой коробкой из-под патронов или с подносом, почти все бросали мне ассигнации. С этими старыми перечницами я отлично ладил, хотя ничего общего между нами не было. Но, наверно, с китайскими мандаринами я бы поладил не хуже. Некоторые развязно давали оценку моим достижениям: «Блестяще! Отменно!» А другие даже изрекали целые фразы: «В малом что-то есть!» Или: «Он еще себя покажет!»

В тот раз, слушая Шопена, я впервые подумал, что надо бы поискать ангажемент, подработать денег. Можно было попросить рекомендацию у деда: я мог бы показывать сольные номера на собраниях капиталистов или развлекать членов правления после скучных заседаний. Я даже подготовил номер «Заседание правления».

Но как только Лео вошел в комнату, Шопен сразу пропал. Лео — очень высокий, светловолосый и в своих очках без оправы — похож не то на суперинтенданта, не то на шведского иезуита. Последний отзвук Шопена растаял в воздухе от одного вида этих отутюженных складок на брюках, даже белый свитер Лео, его красная рубашка с воротничком навыпуск — все было как-то некстати. Стоит мне заметить, что кто-то старается напустить на себя нарочитую небрежность, я впадаю в глубокую меланхолию, так же как от претенциозных имен вроде Этельберт, Герентруда, и я опять увидел, какое сходство у Лео с Генриеттой, хотя он совсем на нее не похож: тот же короткий нос, те же синие глаза, но рот у него другой, и все, что в Генриетте казалось красивым, оживленным, в нем кажется трогательным и неловким. По нему не видно, что он лучший гимнаст в классе, скорее он выглядит так, будто его освободили от гимнастики, хотя у него над кроватью висит с полдюжины спортивных грамот.

Он быстро подошел ко мне, но на полдороге остановился, растерянно растопырил руки и сказал:

— Ганс, что с тобой?

Он смотрел на мои глаза, вернее, на нижние веки, как будто хотел снять с них какое-то пятно, и я заметил, что плачу. Когда я слушаю Шуберта или Шопена, у меня всегда слезы на глазах. Я смахнул пальцем обе слезинки и сказал:

— Вот не знал, что ты так хорошо играешь Шопена. Сыграй эту мазурку еще раз!

— Не могу,— сказал он,— пора в школу, нам на первом уроке дадут темы для выпускного сочинения.

— Я тебя отвезу на маминой машине,— сказал я.

— Не хочу я ездить на этой идиотской машине,— сказал он,— сам знаешь, как я ее ненавижу.

В то время мама только что «безумно дешево» перекупила у приятельницы спортивную машину, а Лео чрезвычайно остро воспринимал все, что могло показаться «задаванием» с его стороны. Только одним способом можно было привести его в бешенство: если кто-нибудь его дразнил или подлизывался к нему из-за наших богатых родителей — тут он краснел как рак и пускал в ход кулаки.

— Сделай исключение,— сказал я,— сядь, сыграй для меня. Хочешь знать, где я был?

Он покраснел, уставился в землю и сказал:

— Нет, не хочу ничего знать.

— Я был у девушки,— сказал я,— у женщины, у моей жены.

— Вот как? — сказал он, не подымая глаз.— Когда же вы обвенчались?

Он все еще не знал куда девать руки, хотел было проскользнуть мимо меня, опустив голову, но я удержал его за рукав.

— Это Мари Деркум,— сказал я тихо. Он выдернул у меня свой рукав, отступил на шаг и сказал:

— Бог мой, не может быть!

Потом вдруг что-то пробурчал и сердито покосился на меня.

— Что? — спросил я.— Что ты сказал?

— Что мне теперь придется ехать на машине. Ответь мне?

Я сказал «да», взял его за плечо и вышел с ним через столовую. Я хотел избавить его от неловкости встретиться со мной глазами.

— Пойди возьми ключи,— сказал я,— тебе мама

выдаст их, да не забудь удостоверение. И потом, Лео, мне деньги нужны, у тебя еще есть деньги?

— В сберкассе,— сказал он.— Можешь сам взять?

— Не знаю,— сказал я,— нет, лучше перешли мне.

— Куда? — сказал он.— Разве ты уезжаешь?

— Да,— сказал я. Он кивнул и поднялся наверх.

Только в ту минуту, как он меня об этом спросил, я понял, что уеду. Я зашел на кухню. Анна встретила меня ворчанием.

— А я решила, что ты не желаешь завтракать,— сердито сказала она.

— Нет, завтракать я не буду,— сказал я,— только кофе.

Я сел за чисто выскобленный стол и стал смотреть, как Анна снимает у плиты фильтр с кофейника и ставит его на чашку, чтобы стекал кофе.

По утрам мы всегда завтракали на кухне с прислугой, нам было скучно сидеть в столовой и ждать, пока подадут. Сейчас на кухне была только Анна. Норетта, вторая горничная, была у мамы в спальне, подавала ей завтрак и обсуждала с ней туалеты и косметику. Наверно, сейчас мама перемалывает своими великолепными зубами какие-нибудь зерна, на лице у нее маска из плацентарных препаратов, а Норетта читает ей вслух газету. А может быть, они сейчас только читают утреннюю молитву, составленную из Гете и Лютера и подкрепленную обычно какими-нибудь душеспасительными назиданиями, а может быть, Норетта читает матери вслух проспекты новейших слабительных. У мамы целые папки лекарственных проспектов, там все распределено по разделам: «Пищеварение», «Сердце», «Нервы», и как только ей удастся заполучить какого-нибудь врача, она осведомляется у него о всяких «новшествах» — экономит гонорары за консультацию. А когда врач ей посылает после этого какие-нибудь образчики, она на седьмом небе от счастья.

По спине Анны я видел, что она боится той минуты, когда ей надо будет обернуться, взглянуть мне в лицо и заговорить со мной. Мы с ней очень привязаны друг к другу, хотя она никак не может отвыкнуть от неприятной склонности перевоспитывать меня. Она живет у нас уже пятнадцать лет, мама взяла ее из дома своего кузена, евангелического пастора. Анна родом из Потсдама, и уже то, что мы, несмотря на евангелическое вероисповедание, говорим на рейнском диалекте, кажет-

ся ей чудовищным, почти что противоестественным. Наверно, протестант, который говорит по-баварски, показался бы ей воплощением самого дьявола. Но к Рейнской области она уже стала понемногу привыкать. Она высокая, стройная и гордится тем, что у нее «походка как у дамы». Ее отец служил каптенармусом в каком-то месте, про которое я знаю только то, что оно называлось «П. П. 9»¹. Бесполезно объяснять Анне, что у нас тут не «П. П. 9» — во всем, что касается воспитания молодежи, она неизменно держится правила: «В «П. П. 9» такого не допускали». До сих пор я не разобрался, что же за таинственное воспитательное заведение это самое «П. П. 9», но твердо уверен, что туда меня не взяли бы даже чистить уборные. Особенно часто Анна взывает к «П. П. 9», когда я не умываюсь, а «эта ужасная привычка без конца валяться по утрам в постели» возбуждала в ней такое отвращение, словно я заразился проказой. Наконец она обернулась и подошла с кофейником к столу, но глаза у нее были опущены, точно у монашки, прислуживающей епископу с сомнительной репутацией. Мне было ее жалко, как девчонок из группы Мари. Монашеское чутье Анны наверняка подсказывало ей, откуда я пришел, а вот моя мать никогда ничего не заметила бы, даже если бы я три года жил в тайном браке с какой-нибудь женщиной. Я взял у Анны кофейник, налил себе кофе, крепко схватил ее за руку и заставил посмотреть мне в глаза: она подняла свои выцветшие голубые глаза с дрожащими веками, и я увидел, что она и в самом деле плачет.

— Фу-ты, черт,— сказал я,— да посмотри же мне в глаза, Анна. Наверно, даже в твоем «П. П. 9» люди имели мужество смотреть друг другу прямо в глаза.

— А я не мужчина,— проскулила она, и я выпустил ее руку. Она повернулась лицом к плите, что-то проворчала про грех и позор, Содом и Гоморру, и я сказал:

— Что ты, Анна, бог с тобой, ты только вспомни, что они там вытворяли, в Содоме и Гоморре.

Она стряхнула мою руку с плеча, и я вышел из кухни, не сказав ей, что хочу уехать из дому. Только с ней одной я еще иногда говорил о Генриетте.

Лео уже стоял у гаража и тревожно смотрел на ручные часы.

— А мама заметила, что меня не было дома?—

¹ Девятый пехотный полк.

спросил я. Он сказал «нет», отдал мне ключи и отворил ворота. Я сел в мамину машину, вывел ее и подождал, пока сядет Лео. Он напряженно разглядывал свои ноги.

— Я взял сберкнижку, — сказал он, — в переменку пойду за деньгами. Куда их тебе послать?

— Пошли старику Деркуму, — сказал я.

— Поезжай, пожалуйста, — сказал он, — мне давно пора.

Я быстро проехал через сад, по выездной аллее, и мне пришлось задержаться на улице, у той самой остановки, с которой Генриетта уезжала в армию. Несколько девочек, Генриеттиных сверстниц, садились в трамвай: когда мы обогнали трамвай, я увидел еще много девочек Генриеттиных лет — они смеялись, как смеялась она, и на них тоже были синие шляпки и пальто с меховыми воротничками. Если начнется война, их родители отправят их из дому точно так же, как мои родители отправили Генриетту: сунут им немножко карманных денег, несколько бутербродов, похлопают по плечу и скажут: «Будь молодцом!» Очень хотелось подмигнуть этим девчонкам, но я удержался. Люди все понимают не так. Когда едешь в такой идиотской машине, даже девчонке подмигнуть нельзя.

Однажды я дал мальчику в Дворцовом парке плитку шоколада и отвел ладонью его светлые волосы с грязного лба: он ревел, размазывая слезы по всему лицу, и я только хотел его утешить. Но тут вмешались две женщины, подняли чудовищный скандал, чуть не позвали полицию, и после этого скандала я действительно чувствовал себя преступником, потому что одна из женщин все время повторяла: «Ах ты, грязный негодяй, грязный негодяй!» Это было омерзительно — мне их вопли показались чуть ли не гнуснее настоящего извращения.

Проезжая на большой скорости по Кобленцерштрассе, я все время высматривал машину какого-нибудь министра, чтобы поцарапать ему лак. На маминой машине ступицы выдаются так, что ими легко поцарапать любую машину, но так рано министры не выезжают. Я сказал Лео:

— Ну как, ты и вправду решил поступать на военную службу?

Он покраснел и кивнул.

— Мы все обсудили, — сказал он, — и наша группа решила, что это пойдет на пользу демократии.

— Ну что ж,— сказал я,— иди, пусть у них одним идиотом будет больше, я сам иногда жалею, что не годен к военной службе.

Лео вопросительно взглянул на меня, но тут же отвел глаза, когда я на него посмотрел.

— Почему? — спросил он.

— Да так,— сказал я,— очень хотелось бы повидать того майора, который квартировал у нас и хотел пристрелить матушку Винекен. Наверно, он теперь полковник или генерал.— Я остановил машину у Бетховенской гимназии, хотел высадить Лео, но он тряхнул головой.

— Нет, остановись с той стороны, справа от семинарии.— И я проехал дальше, остановился, подал руку Лео, но он криво улыбнулся и протянул мне раскрытую ладонь. Я уже мысленно двинулся дальше и не понял, что ему надо, меня раздражало, что он не сводит глаз с ручных часов. Было всего без пяти восемь, времени у него хватало.

— Не может быть, чтобы ты пошел на военную службу,— сказал я.

— А почему? — сердито спросил он.— Ну, давай сюда ключ от машины!

Я отдал ключ, кивнул и ушел. Все время я думал о Генриетте, я считал безумием, что Лео хочет идти в солдаты. Я прошел через Дворцовый парк, мимо университета, до рынка. Мне было холодно, хотелось поскорее вернуться к Мари.

Когда я туда пришел, в лавке было полно ребят, они брали с полок карамельки, грифели, резинки и клали старику Деркуму деньги на прилавок.

Я протиснулся через лавку в заднюю комнатку, но он не поднял глаз. Я подошел к плите, стал греть руки о кофейник и ждал, что Мари вот-вот придет. Сигарет у меня не было, и я не знал, как быть, когда я попрошу их у Мари,— просто взять или заплатить. Я налил себе кофе и заметил, что на столе стоят три чашки. Когда в лавке стихло, я убрал свою чашку. Очень хотелось, чтоб Мари была тут, со мной. Я вымыл руки и лицо над раковиной у плиты, причесался щеткой для ногтей, лежавшей в мыльнице, расправил воротничок рубашки, подтянул галстук и еще раз проверил ногти — они были совсем чистые. Вдруг я понял, что теперь надо делать то, чего я никогда не делал.

Только я успел сесть, как вошел ее отец, и я сразу

вскочил со стула. Он был растерян не меньше меня и так же смущен, вид у него был совсем не сердитый, скорее очень серьезный, и когда он протянул руку к кофейнику, я вздрогнул, не очень сильно, но все же заметно. Он покачал головой, налил себе кофе, пододвинул мне кофейник, я сказал «спасибо», он все еще на меня не смотрел. Ночью, в комнате Мари, когда я все обдумывал, я почувствовал себя совсем уверенно. Мне очень хотелось курить, но я не осмеливался взять сигарету из пачки, лежавшей на столе. Во всякое другое время я не постеснялся бы. Он стоял, наклонившись над столом, совсем лысый, с седым венчиком спутанных волос, и я увидел, что он уже совсем старик. Я тихо сказал:

— Господин Деркум, вы имеете право...

Но он стукнул кулаком по столу, наконец посмотрел на меня поверх очков и сказал:

— О черт, и зачем это надо было... да еще чтобы все соседи были посвящены? — Я обрадовался, что он все знает и не заводит разговор про честь.— Неужели надо было довести до этого, ведь ты же знаешь, что мы из кожи вон лезли ради этих проклятых экзаменов, а теперь... — Он сжал кулак, потом раскрыл ладонь, будто выпускал птицу.— Теперь —ничего!..

— А где Мари? — спросил я.

— Уехала,— сказал он,— уехала в Кёльн.

— Куда уехала? — крикнул я.— Где она сейчас?

— Тихо! — сказал он.— Узнаешь, все узнаешь. Я полагаю, что сейчас ты начнешь говорить про любовь, про брак — можешь не трудиться, уходи! Посмотрим, что из тебя выйдет. Ступай!

Я боялся пройти мимо него.

— А ее адрес? — спросил я.

— Вот,— сказал он и подал мне через стол записку. Я сунул ее в карман.— Ну, чего тебе еще? — закричал он.— Чего тебе надо? Что ты тут торчишь?

— Мне деньги нужны,— сказал я и обрадовался, когда он вдруг засмеялся, хотя смех был странный, сердитый и резкий, один раз он уже так смеялся при мне, когда мы заговорили о моем отце.

— Деньги! — сказал он.— Хорошие шутки! Ну, иди сюда!

И он потянул меня за рукав в лавку, зашел за прилавок, раскрыл кассу и стал двумя руками швырять мне мелочь: по десять пфеннигов, по пять, по пфеннигу, он

сыпал монеты на тетрадки, на газеты, я сначала не решался, потом стал медленно собирать монетки, хотел было ссыпать их прямо себе в ладонь, но потом собрал поодиночке, стал считать, и когда набиралась марка, клал в карман. Он смотрел, как я кладу деньги, кивнул головой, вытащил кошелек и протянул мне пять марок. Мы оба покраснели.

— Прости,— сказал он тихо,— о, черт побери, прости меня!

Он думал, я обиделся, но я так хорошо его понимал. Я сказал:

— Подарите мне еще пачку сигарет.

И он сразу пошел к полке за прилавком и подал мне две пачки. Он плакал. Я перегнулся через прилавок и поцеловал его в щеку. Ни разу в жизни я не целовал ни одного мужчину, кроме него.

8

Мысль о том, что Цюпфнер может или смеет смотреть, как Мари одевается, как она завинчивает крышку на тубике пасты, приводила меня в отчаяние. Нога болела, и я уже сомневался, смогу ли я халтурить, хотя бы на уровне двадцати — тридцати марок за выступление. Мучило меня еще и то, что Цюпфнеру наверняка глубоко безразлично — смотреть или не смотреть, как Мари завинчивает крышечку от пасты: по моему скромному опыту, католики вообще не способны воспринимать детали. На моем листке был записан телефон Цюпфнера, но я еще не собрался с духом набрать этот номер. Никогда не знаешь, на что могут толкнуть человека его убеждения. Может быть, она действительно вышла замуж за Цюпфнера, а услышать, как голос Мари отвечает: «Квартира Цюпфнера», — нет, я бы этого не вынес. Чтобы позвонить Лео, я обыскал всю телефонную книжку под рубрикой «Духовные семинарии», ничего не нашел, хотя и знал, что есть две такие лавочки — Леонинум и Альбертинум. Наконец я заставил себя поднять трубку и набрать справочную. Меня сразу соединили, и у барышни, ответившей мне, был даже рейнский выговор. Иногда я так скучаю по рейнскому диалекту, что звоню из какого-нибудь отеля на боннскую телефонную станцию, чтобы услышать этот абсолютно невоинственный, мирный говорок, где не слышно звука

«р» — именно того звука, на котором главным образом и строится военная дисциплина.

Я только раз пять услышал: «Прошу подождать», потом девушка ответила, и я спросил у нее про «эти самые штуки», где готовят католических священников. Я сказал, что смотрел на «Духовные семинарии» и ничего не нашел; она засмеялась и сказала, что «эти самые штуки» — она очень мило подчеркнула кавычки — называются конвикты, и дала мне оба телефонных номера. Этот девичий голос по телефону немножко утешил меня. Он звучал так естественно, без ханжества, без кокетства, так по-рейнски. Мне даже удалось добиться телеграфа и отослать телеграмму Карлу Эмондсу.

Я никогда не мог понять, почему каждый, кто хочет казаться умным, старается непременно выразить свою ненависть к Бонну. В Бонне всегда было свое очарование, какое-то особое, сонное очарование — бывают женщины, привлекательные именно таким вот сонным очарованием. Конечно, Бонн не терпит никаких преувеличений, а этот город ужасно раздули. Город, который не терпит преувеличений, трудно описать, а это все-таки редкое качество. Каждый ребенок знает, что климат Бонна — климат для пенсионеров: тамошний воздух как-то благотворно действует на кровяное давление. Но что Бонну абсолютно не к лицу — это какая-то защитная колючесть: у нас дома я часто имел возможность беседовать с чиновниками министерств, депутатами, генералами — мамаша у меня любит устраивать приемы, — и все они находятся в состоянии раздраженной, иногда чуть ли не плаксивой самозащиты. Они все с такой вымученной иронией подсмеиваются над Бонном. Я этого кривляния не понимаю. Если бы женщина, очаровательная именно своим сонным очарованием, вдруг стала бы, как дикарка, отплясывать канкан, то можно было бы только предположить, что ее чем-то одурманили, но одурманить целый город им никак не удастся. Хорошая старая тетушка может тебе преподать, как вязать пуловеры, вышивать салфетки или сервировать херес, но не ждать же от нее, чтобы она прочла доклад о гомосексуализме или вдруг стала ругаться на жаргоне проституток, по которым в Бонне многие так ужасно скучают. Все это ложные претензии, ложный стыд, ложная спекуляция на противоестественном. Меня бы ничуть не удивило, если бы даже представители святой церкви стали жаловаться на нехватку проституток. На одном из маминых приемов

я познакомился с одним партийным деятелем, который заседал в Комитете по борьбе с проституцией, а сам шепотом жаловался мне на нехватку шлюх в Бонне. Раньше Бонн был совсем не так плох: узкие улочки, лавчонки букинистов, студенческие корпорации, маленькие кондитерские с комнатками за магазином, где можно было выпить чашку кофе.

Перед тем как позвонить Лео, я проковылял на балкон — взглянуть на мой родной город. Красивый город — собор, кровли бывшего дворца курфюрста, памятник Бетховену, маленький рынок, Дворцовый парк. Судьба Бонна в том, что в его судьбу никто не верит. С балкона я глубоко вдыхал боннский воздух, он действовал на меня удивительно благотворно: при перемене климата боннский воздух за несколько часов творит чудеса.

Я вернулся с балкона в комнату и без колебаний набрал номер «той самой штуки», где учится Лео. Мне было жутковато. С тех пор как Лео стал католиком, я с ним не виделся. Он сообщил мне о своем обращении со свойственной ему ребяческой аккуратностью, в официальном стиле. «Дорогой брат, — писал он, — настоящим извещаю тебя, что по зрелом размышлении я решил принять католичество и готовить себя к духовному поприщу. В самом ближайшем времени у нас, безусловно, найдется возможность лично побеседовать об этом решающем шаге моей жизни. Любящий тебя брат Лео». Весь Лео был в этом письме, в судорожной попытке постаромодному начинать письмо, не с местоимения: «Я тебя хочу известить», а «настоящим извещаю». Тут и следа не было того изящества, которое сквозит в его игре на рояле. Эта его деловитость приводит меня в совершенное уныние. Если он и дальше так пойдет, то непременно когда-нибудь станет благородным седовласым прелатом. В эпистолярном стиле отец и Лео одинаково беспомощны: обо всем пишут так, словно речь идет о каменном угле.

Я долго ждал, пока в этом самом учреждении кто-то соблаговолил подойти к телефону, и уже начал было крыть это поповское разгильдяйство всякими словами, соответственно моему настроению, и буркнул: «Вот сволочи!» В эту минуту подняли трубку, и сиплый голос сказал:

— Да?

Я был разочарован. Я надеялся услышать кроткий

голос монахини, пахнувший черным кофе и сухим печеньем, а вместо того в трубку кряхтел мужчина и пахло колбасой и капустой, да так пронзительно, что я закашлялся.

— Прошу прощения,— сказал я наконец,— могу ли я поговорить со студентом богословского отделения Лео Шниром?

— Кто говорит?

— Шнир,— сказал я. Очевидно, это оказалось выше его понимания. Он долго молчал. И я опять было закашлялся и сказал: — Повторяю по буквам: школа, неделя, Ида, Рихард.

— Что это значит? — спросил он, и в голосе его мне послышалась та же растерянность, в какой находился и я. Может быть, меня соединили по телефону с каким-нибудь симпатичным старичком профессором, который курит трубку, и я торопливо наскреб в памяти несколько латинских слов и робко сказал:

— *Sum frater Leonis*¹.— Мне самому такой прием показался нечестным — наверно, многие хотели бы поговорить с кем-нибудь из тамошних студентов, но полатыни никогда в жизни и слова не выучили.

К моему удивлению, он вдруг захихикал и сказал:

— *Frater tuus est in refectorio*², обедает,— добавил он погромче,— господа студенты обедают, отрывать их не разрешается.

— Но дело срочное,— сказал я.

— Смертный случай? — спросил он.

— Не совсем,— сказал я,— почти...

— Значит, тяжелая травма?

— Не совсем,— сказал я,— травма скорее внутренняя.

— Ага,— сказал он, и его голос стал мягче,— значит, внутреннее кровоизлияние.

— Нет,— сказал я,— душевная травма. Речь идет о чисто душевной травме.

Очевидно, слово для него было незнакомое, наступило ледяное молчание.

— Бог мой,— сказал я,— ведь человек состоит из души и тела.

Он что-то пробурчал, выражая несогласие с этим

¹ Я брат Льва (лат.).

² Твой брат в трапезной (лат.).

утверждением, и, дважды затянувшись трубкой, про-
бормотал:

— Августин, Бонавентура, Николай Кузанский — вы
на ложном пути.

— Душа есть,— упрямо сказал я,— и, пожалуйста,
передайте господину Шниру, что душа его брата в опас-
ности, пусть он позвонит, как только кончит обедать.

— Душа,— сказал он холодно.— Брат. Опасность.—
С таким же успехом он мог сказать: навоз, хлев, поило.
Мне стало смешно: ведь из этих студентов хотят сделать
пастырей человеческих душ, и этот человек не мог не
знать слова «душа».

— Дело очень срочное,— сказал я.

Он только проворчал:

— Гм, гм.— Очевидно, ему было совершенно непон-
ятно, что душевные дела тоже могут быть срочными.—
Передам,— сказал он,— а что это вы сказали про школу?

— Ничего,— сказал я,— абсолютно ничего. Никако-
го отношения к школе. Просто воспользовался этим
словом, чтобы сказать свое имя по буквам.

— Видно, вы думаете, что они тут, в школе, еще учат
буквы? Вы серьезно так думаете? — Он так оживился,
что я решил: наконец он попал на своего конька.—
Слишком мягкое воспитание нынче,— закричал он,—
слишком мягкое!

— Ну конечно,— сказал я.— В школах надо бы
порки побольше.

— Вот, вот! — Он прямо загорелся.

— Да,— сказал я,— особенно учителей надо пороть
почаще. Значит, вы передадите моему брату?

— Уже записал,— сказал он.— Срочное дело, ду-
шевное переживание, в связи со школой. Послушайте,
мой юный друг, могу ли я, как безусловно старший по
возрасту, дать вам добрый совет?

— Да, прошу вас,— сказал я.

— Не связывайтесь с этим Августином: ловко сфор-
мулированные субъективные ощущения — еще далеко не
теология, и только вредят юным душам. Чистейшее
краснобайство с примесью диалектических приемов. Вы
не обиделись на мой совет?

— Нет,— сказал я,— сейчас пойду и швырну свой
экземпляр Августина в огонь.

— И правильно! — сказал он с восторгом.— В огонь
его! Ну, храни вас Бог!

Я чуть не сказал «спасибо». Но мне это показалось

неудобным, и я просто положил трубку и вытер пот со лба. Я ужасно чувствителен к запахам, и этот густой капустный дух взбудоражил всю мою вегетативную нервную систему. Я подумал о предусмотрительности церковного начальства: очень мило, что они дают старикам возможность чувствовать себя еще полезными, но я не мог понять, зачем они поручили дежурство у телефона именно этому глухому полупомешанному старикашке. Капустный запах я помнил еще с интернатских времен. Один из тамошних патеров как-то объяснил нам, что капуста подавляет чувственность. Мне было противно даже думать, что во мне или еще в ком-нибудь будут подавлять чувственность. Должно быть, они там день и ночь только и думают, что о «плотских вожделениях», и где-то на кухне, наверно, сидит монахиня, составляет меню, а потом обсуждает его с ректором, и оба сидят друг против друга и вслух ничего об этом не говорят, но про себя при каждом названии блюда думают: вот это подавляет чувственность, а вот это вызывает. Мне это казалось в высшей степени непристойным, как и то, что нас в этом интернате заставляли часами играть в футбол: мы все знали — это делается специально, чтобы мы от усталости не могли думать о девчонках, и мне футбол стал противен. И когда я себе представил, что моего брата Лео заставляют есть капусту, чтобы подавить в нем чувственность, мне просто захотелось пойти в это учреждение и полить всю их капусту серной кислотой. Этим ребятам предстоит нелегкая жизнь: должно быть, ужасно трудно каждый день проповедовать все эти невероятные вещи — воскресение из мертвых, вечную жизнь. Возделывать виноградник Господень и видеть, что ничего путного там не растет. Генрих Белен, тот, что к нам так тепло отнесся, когда у Мари был выкидыш, как-то пытался объяснить мне все это. Он и себя называл «виноградарем в саду Господнем, неискусным как в духовном, так и в материальном отношении».

Я провожал его тогда домой, мы шли пешком из больницы, часов в пять утра: денег на трамвай у нас не было, и когда он остановился у своих дверей и вытащил связку ключей из кармана, он ничем не отличался от рабочего, который вернулся с ночной смены, небритый, усталый, и я знал, что для него это ужасно — сейчас служить мессу со всеми таинствами, о которых мне рассказывала Мари. Когда Генрих отпер дверь, его

экономка уже стояла в прихожей — ворчливая старуха в шлепанцах, гусиная кожа на голых ногах, совсем желтая, и она даже не была монахиней, и ему не мать и не сестра, но она зашипела на него: «Это что такое? Это кто?» Жалкая, затхлая холостяцкая жизнь — нет, черт побери, меня ничуть не удивляет, что родители-католики всегда боятся посылать дочек на квартиру к патеру, не удивляет, что эти несчастные иногда делают глупости.

Я чуть было не позвонил еще раз этому глухому курильщику из семинарии Лео: я с удовольствием поболтал бы с ним о «плотском вожделении». Знакомым патерам я звонить боялся, этот незнакомый, наверно, лучше поймет меня. Очень хотелось спросить у него, правильно ли я понимаю католицизм. Для меня на свете есть только четыре настоящих католика: папа Иоанн, Алек Гиннесс, Мари и Грегори — престарелый негр-боксер, который чуть не стал чемпионом мира, а теперь зарабатывает жалкие гроши, демонстрируя свою силу в варьете. Мы с ним часто встречались на ангажементах. Он был очень набожный, по-настоящему верующий, принадлежал к Третьему Ордену и прикрывал свою широченную боксерскую грудь монашеским плащом. Многие считали его слабоумным, потому что он не говорил почти ни слова и, кроме хлеба с огурцами, почти ничего не ел, и все же он был такой силач, что мог нас с Мари вдвоем носить по комнате на вытянутых руках. Было еще несколько католиков: Карл Эмондс, Генрих Белен, пожалуй, и Цюпфнер. Но в Мари я уже стал сомневаться: ее «метафизические страхи» ничего мне не говорили, а если теперь она начнет делать с Цюпфнером, что делала со мной, она совершит то, что в ее книгах недвусмысленно называется прелюбодеянием и распутством. А этот «метафизический страх» вызывался исключительно моим нежеланием регистрироваться в ратуше и воспитывать наших детей в католической вере. Детей у нас еще не было, но мы постоянно обсуждали, как мы их будем одевать, как разговаривать с ними, как их воспитывать, и мы во всем соглашались, кроме того, чтобы воспитывать их католиками. Я даже соглашался их крестить, но Мари сказала, что я должен дать в этом письменное обязательство, иначе нас не обвенчают церковным браком. На церковный брак я тоже был согласен, но выяснилось, что перед этим нам надо еще зарегистрироваться, и тут я потерял терпение и сказал: «Давай

подождем, сейчас уже все равно—годом раньше или годом позже», но она расплакалась и сказала, что я не понимаю, как ей трудно жить в таком состоянии, без надежды, что наши дети получат христианское воспитание. Это уже совсем было плохо, оказалось, что мы пять лет подряд говорили с ней по этому вопросу на разных языках. Я действительно не имел понятия, что перед церковным браком необходимо вступить в гражданский брак. Конечно, мне, как совершеннолетнему гражданину и «вменяемому лицу мужского пола», надо было бы это знать, но я просто ничего не знал, так же как до недавнего времени не знал, что белое вино подают холодным, а красное подогретым. Конечно, я знал, что есть гражданские учреждения, где совершают какие-то брачные церемонии и выдают свидетельства, но я думал, что это только для неверующих и для тех, кто хочет, так сказать, сделать государству небольшое одолжение. Я по-настоящему рассердился, узнав, что надо идти туда прежде, чем тебя обвенчают в церкви, а когда Мари еще начала говорить, что я должен дать письменное обязательство воспитывать наших детей католиками, мы с ней поссорились. Мне все это показалось каким-то шантажом, и мне не понравилось, что и Мари тоже совершенно согласна с требованием давать письменные обязательства. Ведь она имела полное право и крестить детей, и воспитывать их, как она считает нужным.

В этот вечер ей нездоровилось, она была очень бледна, говорила со мной довольно резко, а когда я сказал:

— Ну ладно, я все сделаю, подпишу что угодно,— она рассердилась и сказала:

— Ты согласился только потому, что тебе лень, а вовсе не потому, что убедился в правоте высших моральных принципов.

И я сказал:

— Да.

Мне действительно лень спорить, а кроме того, я хочу быть с ней всю жизнь и даже согласен по всем правилам принять католичество, если это необходимо для того, чтобы она навсегда осталась со мной. Я даже заговорил высокопарно, сказал, что такие выражения, как «высшие моральные принципы», напоминают мне камеру пыток. Но она восприняла как обиду эту мою готовность перейти в католичество только ради того, чтобы она от меня не ушла. А я-то думал ей этим польстить, потому

и зашел так далеко. Но она сказала, что дело сейчас не во мне и не в ней, а в «принципах». Это было вечером, в номере ганноверской гостиницы — одной из тех дорогих гостиниц, где всегда недоливают чашку, когда заказываешь кофе. В этих гостиницах все так изысканно, что полная чашка кофе считается вульгарной, и кельнеры знают правила хорошего тона куда лучше тех бонтонных господ, которые там останавливаются. В таких гостиницах я чувствую себя, как в особенно дорогом и особенно скучном интернате, а в этот вечер я еще смертельно устал — три выступления подряд. Днем — перед какими-то акционерами сталелитейной компании, после обеда — перед выпускниками педагогической академии, а вечером — варьете, где аплодировали так вяло, что я подумал: видно, моей карьере приходит конец. А когда я заказал в этом дурацком отеле пиво в номер, старший кельнер таким ледяным голосом сказал: «Слушаюсь», будто я попросил у него стакан помоев, и мне подали пиво в серебряном бокале. Я устал, мне хотелось только выпить пива, немножко поиграть в «братец-не-сердись», принять ванну, почитать вечерние газеты и уснуть рядом с Мари: правая рука у нее на груди, и щека к щеке, чтобы я мог унести в сон запах ее волос. В ушах у меня еще звучали вялые аплодисменты. С их стороны было бы куда человечнее всем сразу опустить большой палец вниз. А это усталое, вялое презрение к моим номерам было безвкусным, как пиво в нелепом серебряном бокале. И сейчас я был просто не в состоянии вести философские разговоры.

— Об этом и идет речь, Ганс,— сказала она, понизив голос, и даже не заметила, что для нас слово «это» имело особое значение, видно уже забыла. Она ходила взад и вперед около изножья кровати и подкрепляла свои слова такими короткими точными взмахами сигареты, что клубочки дыма казались знаками препинания. За эти годы она приучилась курить; сейчас в своем бледно-зеленом пуловере она была очень хороша: белая кожа, потемневшие волосы, впервые я увидел жилки у нее на шее. Я сказал:

— Пожалей меня, дай мне сперва выспаться, завтра утром поговорим обо всем, и в особенности об этом.

Но она не обратила внимания на мои слова, обернулась, остановилась у кровати, и по ее губам я понял, что весь этот разговор вызван причинами, в которых она сама себе не признается. Она затянулась сигаретой,

и я увидел у ее рта складочки, которых никогда раньше не замечал. Она посмотрела на меня, со вздохом покачала головой, повернулась и снова зашагала по комнате.

— Я не совсем понимаю,— устало сказал я.— Сначала мы ссоримся из-за моей подписи под этим шантажным документом, потом из-за гражданского брака. Теперь я на все согласен, а ты сердись все больше.

— Да,— сказала она,— слишком быстро ты соглашаешься, я чувствую, что ты просто боишься выяснять отношения. Чего тебе, собственно говоря, нужно?

— Тебя,— сказал я. По-моему, ничего нежнее женщине сказать нельзя.— Поди сюда,— сказал я,— ляг рядом, захвати пепельницу, и мы спокойно поговорим.— С ней я уже мог говорить «про все про это».

Она покачала головой, поставила мне пепельницу на кровать и, подойдя к окну, стала смотреть на улицу. Мне стало страшно.

— Что-то в твоих словах мне не нравится, в них есть что-то не твое.

— А чье же? — спросила она тихо, и я поддался внезапной мягкости ее голоса.

— От них пахнет Бонном,— сказал я,— этим вашим кружком, с Зоммервильдом, с Цюпфнером и как их там всех зовут.

— Может быть, тебе просто кажется, будто ты сейчас слышишь то, что ты видел своими глазами,— сказала она, не оборачиваясь.

— Не понимаю,— сказал я устало,— о чем это ты?

— Ах,— сказала она,— как будто ты не знаешь, что тут идет католическая конференция.

— Да, я видел плакаты,— сказал я.

— А тебе не пришло в голову, что Гериберт и прелат Зоммервильд могут оказаться здесь?

Я даже не знал, что Цюпфнера зовут Гериберт. Но когда она назвала это имя, я понял, что речь может идти только о нем. Я вспомнил, как она с ним держалась за ручки. Да, я обратил внимание, что в Ганновере появилось куда больше католических патеров и монахинь, чем полагалось в таком городе, и я подумал, что Мари могла кого-нибудь встретить, но если и так, то ведь мы не раз в мои свободные дни уезжали в Бонн, и там она могла вволю общаться со своим «кружком».

— Тут, в отеле? — устало спросил я.

— Да,— сказала она.

— Почему же ты меня не свела с ними?

— Тебя все время не было, целую неделю ты разъезжал,— сказала она,— то в Брауншвайг, то в Хильдесхайм, то в Целле.

— Но теперь я свободен,— сказал я,— позвони им, можно еще выпить внизу, в баре.

— Они уехали,— сказала она,— сегодня после обеда.

— Очень рад,— сказал я,— что ты так основательно надышалась католической атмосферой, хотя бы и импортированной.— Выражение было не мое, а Мари. Она иногда говорила, что ей хочется снова «подышать католической атмосферой».

— Почему ты сердисься? — сказала она. Она все еще стояла лицом к окну и опять курила, мне и это в ней показалось чужим: это затяжное курение было так же чуждо в ней, как и тон ее разговора со мной. В эту минуту она могла бы быть посторонней, миловидной, не очень умной женщиной, ищущей предлога, чтобы уйти.

— Я не сержусь,— сказал я,— и ты это знаешь. Ведь знаешь, скажи?

Она ничего не ответила, только кивнула, и мне было видно, что она сдерживает слезы. Зачем? Лучше бы она расплакалась и плакала горько, долго. Тогда я мог бы встать, обнять ее, поцеловать. Но я не встал, никакой охоты не было, а по привычке, из чувства долга мне ничего делать не хотелось. Я остался лежать, я думал о Цюпфнере, о Зоммервильде, о том, что она тут вела с ними беседы три дня, а мне ни слова не сказала. Наверняка они говорили про меня. Цюпфнер состоит в правлении Общества друзей католицизма. Я слишком долго медлил, наверно, полминуты, минуту, а может быть, минуты две, сам не знаю. Но когда я встал и подошел к ней, она покачала головой, сняла мою руку со своего плеча и снова заговорила о «метафизическом страхе» и о высших принципах, и мне показалось, что я на ней женат лет двадцать. Голос у нее был назидательный, но я слишком устал, чтобы воспринимать ее аргументы, и пропускал их мимо ушей. Потом перебил ее и рассказал, как я провалился в варьете — впервые за три года. Мы стояли рядом у окна, смотрели на улицу, где вереницей шли такси, увозя членов католической конференции на вокзал — монахинь, патеров и католиков-мирян серьезного вида. В одной группе я увидел Шницлера, он открывал дверцу такси очень представительной пожилой монахине. Когда он жил у нас, он был евангелического вероисповедания. Значит, он либо обра-

тился в католицизм, либо приехал гостем от евангелистов. От него можно было ждать чего угодно. Внизу тащили чемоданы, в руки лакеев совали чаевые. У меня от усталости и растерянности все кружилось перед глазами: такси и монахини, фонари и чемоданы, а в ушах звенели эти мерзкие вялые аплодисменты. Мари давно окончила свой монолог о высших принципах и курить тоже перестала, а когда я отошел от окна, она пошла за мной, схватила за плечи и поцеловала в глаза.

— Ты такой милый,— сказала она,— такой милый и такой усталый.— Но когда я попытался ее обнять, она тихо сказала:— Нет, нет, пожалуйста, не надо!

И я сделал ошибку: сразу отпустил ее. Не раздеваясь, я бросился на кровать, тут же заснул, а когда утром проснулся, то даже не удивился, что Мари ушла. Записка лежала на столе: «Я должна пойти тем путем, каким я должна идти». Ей уже было почти двадцать пять лет, могла бы написать и получше. Я не обиделся, просто показалось, что этого маловато. Я сейчас же сел и написал ей длинное письмо, после завтрака написал еще раз, я писал ей каждый день и посылал письма на адрес Фредебойля, в Бонн, но ответа ни разу не получил.

9

У Фредебойлей тоже долго не подходили к телефону, длинные гудки действовали мне на нервы. Я представил себе, что госпожа Фредебойль уже спит, потом ее разбудил звонок, потом она снова уснула, ее снова разбудил звонок, и я мучительно переживал все эти терзания. Я чуть было не повесил трубку, но решил, что дело у меня неотложное, и продолжал звонить. Самого Фредебойля я разбудил бы среди ночи без всяких угрызений совести, этот малый не заслужил спокойного сна. Он болезненно честолюбив и, наверно, не снимает руки с телефона: сам звонит или ждет звонка от всяких министерских чиновников, редакторов, комитетов, союзов, партийных организаций. Но его жена мне нравится. Она еще была школьницей, когда он впервые привел ее в кружок, и мне стало тоскливо, когда я увидел, как она, раскрыв красивые глаза, слушала все эти теологически-социологические рассуждения. Видно было, что она охотнее пошла бы на танцы или в кино. Зоммервильд,

у которого собирался кружок, несколько раз меня спрашивал: «Вам, наверно, слишком жарко, Шнир?» — а я отвечал: «Нет, господин прелат», хотя у меня пот катился со лба по щекам. В конце концов я вышел на балкон Зоммервильда — эту трепотню невозможно было вынести. И вся болтология началась из-за этой барышни, потому что она вдруг — притом без всякой связи с темой беседы, где речь, собственно говоря, шла о величии и ограниченности провинциализма, — сказала, что у Бена есть «очень миленькие вещицы». И тут Фредебойль, чьей невестой она считалась, покраснел как рак, потому что Кинкель бросил на него один из тех красноречивых взглядов, которыми он так славился: «Как, мол, ты это допустил, не навел порядок?» И он сам принялся наводить порядок, пилил и строгал бедную девушку изо всех сил, двинув на нее всю историю западной культуры в качестве фуганка. От славной девочки почти ничего не осталось, стружки так и летели, и я злился на этого труса Фредебойля, который не вмешивался, потому что они с Кинкелем «исповедуют» одно идеологическое направление — не знаю, «левое» или «правое», во всяком случае, у них направление одно, и Кинкель счел себя обязанным обработать невесту Фредебойля. Зоммервильд тоже не шелохнулся, хотя он придерживается противоположного направления, нежели Кинкель и Фредебойль, не знаю, какого именно: если Кинкель и Фредебойль левые, значит, Зоммервильд правый, и наоборот. Мари тоже немного побледнела, но ей импонирует образованность, я никак не мог отучить ее от этого. Образованность Кинкеля импонировала и будущей госпоже Фредебойль — она с почти сладострастными вздохами впивала его многословные поучения. Кинкель бурей пронесся от отцов церкви до Бертольта Брехта, и когда я, передохнув, пришел с балкона, они уже все легли костями и пили крушон, и все из-за того, что бедная девочка сказала, будто Бенн писал «милые вещички».

Теперь у нее уже двое детей от Фредебойля, хотя ей только двадцать два года, и пока телефон звонил в ее квартире, я себе представил, как она возится с детскими бутылочками, с тальком, пеленками и мазями, такая беспомощная, растерянная. Я видел горы грязного детского белья и невытую жирную посуду на кухне. Однажды, устав от умных разговоров, я помогал ей подрумянивать хлеб, делать бутерброды и варить кофе, могу только

сказать, что такая работа для меня куда приятнее, чем некоторые беседы и разговоры.

Очень робкий голос произнес:

— Да, что угодно?

И по этому голосу я понял, что беспорядок на кухне, в ванной и в спальне еще хуже, чем обычно. Запаха я никакого не почувствовал, только показалось, что она держит в руке сигарету.

— Это Шнир,— сказал я, ожидая услышать радостное восклицание (она всегда радовалась, когда я им звонил): «Ах, вы в Бонне, как мило», или что-то в этом роде, но сейчас она растерянно молчала и потом вяло сказала:

— Да? Очень приятно.

Я не знал, что сказать. Раньше она всегда говорила: «Когда же вы придете, покажете нам свои номера?» А тут — ни слова. Мне было мучительно — не за себя, за нее; за себя мне было просто неловко, а за нее — мучительно.

— А письма,— с трудом выговорил я наконец,— где письма, которые я писал Мари?

— Лежат тут,— сказала она,— возвращены нераспечатанными.

— А по какому адресу вы их пересылали?

— Не знаю,— сказала она,— пересылал муж.

— Но он ведь знал, по какому адресу посылать эти письма?

— Вы меня допрашиваете?

— О нет,— сказал я кротко,— нет, нет, я только осмелился подумать, что имею право узнать, что случилось с моими письмами.

— Которые вы, не спросясь, посылали на наш адрес.

— Милая госпожа Фредебойль,— сказал я,— пожалуйста, отнеситесь ко мне по-человечески.

Она засмеялась тихо, но так, что мне было слышно, и ничего не сказала.

— Я хочу сказать, что есть область, в которой люди, хотя бы из идейных соображений, становятся человечнее.

— Значит, по-вашему, я до сих пор вела себя бесчеловечно?

— Да,— сказал я. Она опять засмеялась, очень робко, но все же слышно.

— Меня ужасно огорчает вся эта история,— сказала она наконец,— и больше я ничего сказать не могу. Вы всех нас страшно разочаровали.

— Как клоун? — спросил я.

— И это тоже, — сказала она, — но не только.

— Вашего мужа, наверно, нет дома?

— Нет, — сказала она, — он приедет только через два дня. Он ведет предвыборную кампанию в Айфеле.

— Что? — крикнул я. Это было что-то новое. — Надеюсь, хоть не за ХДС?

— А почему бы и нет? — сказала она таким тоном, что я понял: ей хочется повесить трубку.

— Ну что ж, — сказал я, — не слишком большое будет требование, если я попрошу вас переслать мои письма в Бонн?

— Куда?

— В Бонн, сюда, по моему здешнему адресу.

— Как, вы в Бонне? — спросила она. И мне показалось, что она чуть не сказала: «Ох, боже мой!»

— До свидания, — сказал я, — спасибо за столь гуманное отношение.

Мне было жаль, что я так на нее рассердился, но больше я не мог. Я вышел на кухню, взял коньяк из холодильника, отпил большой глоток. Ничего не помогло, я глотнул еще раз — все равно не помогло. Меньше всего я ожидал, что госпожа Фредебойль так со мной разделается. Я был готов услышать длинную проповедь о святости брака, с упреками за мое отношение к Мари: у нее вся эта догматика выходила вполне мило и даже логично, но раньше, когда я бывал в Бонне и звонил ей, она только шутливо приглашала меня помочь ей на кухне и в детской. Должно быть, я в ней ошибся, а может быть, она опять забеременела и была в плохом настроении. У меня не хватило духу позвонить ей еще раз и попробовать выпытать, что с ней такое. Она всегда так мило относилась ко мне. Можно было объяснить ее поведение только тем, что Фредебойль, наверно, дал ей «строжайшие указания» отшить меня. Я часто замечал, что жены доходят в своей преданности мужьям до полного идиотизма. Госпожа Фредебойль, конечно, была еще слишком молода, чтобы понять, как больно меня задела ее неестественная холодность, и уж безусловно нельзя было от нее требовать, чтобы она поняла, какой оппортунист и болтун ее Фредебойль — только и думает любой ценой сделать карьеру и, наверно, отрекся бы от родной бабки, если бы она стала ему поперек дороги. Наверно, он ей сказал: «Шнира вычеркнуть». И она меня просто вычеркнула. Она под-

чинялась ему во всем, и пока он считал, что я ему еще пригожусь, ей разрешалось хорошо ко мне относиться, что было вполне в ее характере, а теперь она должна была идти против себя самой и относиться ко мне отвратительно.

А может быть, я их зря обвиняю, и они оба просто поступали, как им велела совесть. Если Мари действительно вышла за Цюпфнера, значит, им, наверно, грешно служить посредниками, помогать мне связаться с ней, а что Цюпфнер именно тот человек, который играет роль в католическом центре и может быть полезен Фредебойлю, их никак не смущало. Они безусловно должны были поступать правильно и честно, даже в том случае, если это приносило пользу им самим. Но Фредебойль огорчал меня меньше, чем его жена. На его счет я никогда не обольщался, и даже то, что он сейчас агитировал за ХДС, меня ничуть не удивило.

Бутылку с коньяком я окончательно убрал в холодильник.

Лучше всего было бы сейчас позвонить всем католикам подряд, отделаться сразу. Я как-то стряхнул сон и уже почти не хромал, когда шел из кухни в столовую.

Даже шкаф, даже двери кладовушки в передней были ржаво-красного цвета.

От телефонного звонка Кинкелю я ничего не ждал, и все же набрал его номер. Он всегда объявлял себя горячим поклонником моего искусства, а тот, кто знаком с нашей профессией, хорошо знает, что даже при похвале какого-нибудь рабочего сцены мы чуть не лопаемся от гордости. Мне хотелось нарушить заслуженный вечерний покой Кинкеля с задней мыслью, что он выдаст мне, где Мари. Он был главой их круга, изучал теологию, но потом бросил этот факультет ради красивой женщины, стал юристом, имел семь человек детей и считался «одним из самых способных специалистов в области социальной политики». Может, так оно и было, не берусь судить. Перед тем как меня с ним познакомить, Мари дала мне прочесть его брошюру «Путь к новому порядку», и после этой книжки, которая мне даже понравилась, я его представлял себе высоким ласковым светловолосым человеком, а когда впервые увидел этого плотного, низенького мужчину с густыми черными волосами, типичного «здоровяка», то никак не мог поверить, что это он. Может быть, я и относился к нему так несправедливо потому, что он не соответствовал моему

представлению о нем. А старик Деркум, как только Мари начинала восхищаться Кинкелем, говорил, что существуют такие «кинкель-коктейли», смеси из разных ингредиентов — Маркса с Гвардини или Блуа с Толстым.

Когда нас впервые пригласили к нему в дом, мы сразу попали в неловкое положение. Пришли мы слишком рано, и в задних комнатах дети ссорились, кому убирать со стола, шипя друг на дружку, а кто-то шипом пытался их унять. Кинкель вышел с улыбкой, что-то дожевывая и судорожно стараясь скрыть раздражение из-за нашего раннего прихода. За ним вышел Зоммервильд — он ничего не жевал, только усмехнулся, потирая руки. В задних комнатах злобно завизжали дети Кинкеля, и это так мучительно не соответствовало усмешке Зоммервильда и улыбке Кинкеля, потом мы услышали звонкие пощечины, кто-то грубо захлопнул двери, мы почувствовали, что за ними поднялся визг пуще прежнего. Я сидел рядом с Мари и от волнения, сбитый с толку семейными неурядицами в тех комнатах, курил одну сигарету за другой, пока Зоммервильд беседовал с нами и на губах у него играла все та же «всепрощающая и великодушная» улыбка. Тогда мы впервые вернулись в Бонн после нашего бегства. Мари побледнела не только от волнения, но и от почтительности и гордости, и я ее очень хорошо понимал. Ей было так важно «примириться с церковью», и Зоммервильд был с ней так мил, а на Зоммервильда и Кинкеля она взирала с особым уважением. Она представила меня Зоммервильду, и когда мы все сели, Зоммервильд спросил меня:

— Вы не родня тем Шнирам — из угольной промышленности?

Я ужасно разозлился. Он отлично знал, кому я родня. В Бонне каждому ребенку было известно, что Мари Деркум сбежала с одним из «угольных» Шниров, «да еще перед самыми экзаменами, а была такая набожная девица!». Я ничего не ответил Зоммервильду, он рассмеялся и сказал:

— С вашим уважаемым дедом я иногда езжу на охоту, а с вашим батюшкой мы изредка играем партию-другую в боннском Коммерческом клубе.

Это меня еще больше разозлило. Не такой он дурак, чтобы думать, будто эта ерунда про охоту и клуб произведет на меня впечатление, и не похоже было, чтобы он заговорил об этом от смущения. Тут я наконец открыл рот и сказал:

— На охоту? А я всегда думал, что католическим священникам участвовать в охоте воспрещено.

Наступило тягостное молчание. Мари покраснела, Кинкель суетливо заметался по комнате, ища штопор, его жена, которая только что вошла, высыпала соленый миндаль на ту же тарелку, где лежали оливки. Даже Зоммервильд покраснел, а к нему это уж совсем не шло, физиономия у него была и так достаточно красная. Он сказал негромко и все-таки немного обиженно:

— Для протестанта вы неплохо информированы.
А я сказал:

— Я не протестант, но интересуюсь некоторыми вещами, потому что ими интересуется Мари.

И пока Кинкель наливал нам всем вино, Зоммервильд сказал:

— Разумеется, есть правила, господин Шнир, но есть и исключения. Я происхожу из рода, где от отца к деду передавалось звание главного лесничего.

Если бы он сказал просто «лесничего», я бы его понял, но то, что он сказал «главного лесничего», опять меня разозлило, однако я ничего не сказал, только скорчил кислую физиономию. И тут они стали переговариваться глазами. Госпожа Кинкель взглянула на Зоммервильда, словно говоря: «Оставьте его, он еще так молод». И Зоммервильд посмотрел на нее, как будто сказал: «Да, молод и довольно невоспитан». А Кинкель, наливая мне вино после всех, сказал мне глазами: «О боже, до чего вы еще молоды!» Вслух же он сказал Мари:

— Как поживает ваш отец? Он не изменился?

Бедняжка Мари сидела такая бледная и растерянная, что только и могла кивнуть головой. Зоммервильд сказал:

— Что случилось бы с нашим добрым, старым и столь богобоязненным городом без господина Деркума?

Меня это опять разозлило, потому что старик Деркум мне рассказывал, что Зоммервильд пытался отговорить ребят из католической школы покупать у него, как всегда, карамельки и карандаши. Я сказал:

— Без господина Деркума наш добрый, старый и столь богобоязненный город еще глубже увяз бы в дерьме, он хоть по крайней мере не ханжа.

Кинкель удивленно поглядел на меня, поднял свой бокал и сказал:

— Спасибо, господин Шнир, вы мне подсказали прекрасный тост: выпьем за здоровье Мартина Деркума.

Я сказал:

— Да, за его здоровье — с удовольствием!

А госпожа Кинкель опять сказала мужу глазами: «Он, оказывается, не только молодой и невоспитанный, но еще и нахал!» Я так и не понял, почему Кинкель, упоминая о «первом нашем знакомстве», называл тот вечер «самым приятным». Вскоре пришли еще Фредбойль со своей невестой, Моника Сильвс и некий фон Северн, про которого до его прихода было сказано, что хотя он и «недавно принят в лоно церкви», однако близок к социал-демократам, что, очевидно, считалось потрясающей сенсацией. В этот вечер я впервые познакомился с Фредбойлем, и с ним было так же, как с остальными: несмотря ни на что, я им был симпатичен, а они мне, несмотря ни на что, несимпатичны, правда кроме невесты Фредбойля и Моника Сильвс; фон Северн был мне безразличен. Он был прескучный и как будто решил, что ему можно окончательно успокоиться после того, как он обратил на себя всеобщее внимание: перешел в католичество и вместе с тем остался социал-демократом. Он улыбался, был со всеми любезен, и все же его чуть выпуклые глаза словно все время говорили: «Смотрите на меня, да, это я и есть!» Но мне он показался не таким уж противным. Фредбойль был со мной исключительно радушен, почти сорок минут говорил о Беккете и Ионеско, без умолку трещал о чем-то, явно где-то вычитанном, и на его гладком красивом лице с удивительно крупным ртом засияла благожелательная улыбка, когда я по глупости сознался, что читал Беккета. Все, что он говорил, казалось мне знакомым, будто я уже давно об этом читал. Кинкель восхищенно улыбался ему, а Зоммервильд обводил всех глазами, словно говоря: «Видите, мы, католики, тоже идем в ногу с веком». Все это происходило до молитвы. Жена Кинкеля первая сказала:

— По-моему, уже можно читать молитву, Одило, ведь Гериберт сегодня, наверно, не придет.

И все сразу посмотрели на Мари, потом внезапно отвели глаза, но я не сообразил, почему вдруг опять наступило тягостное молчание. Только в Ганновере, в гостинице, я понял, что Герибертом зовут Цюпфнера. Но он все-таки пришел после молитвы, когда уже началась беседа на тему дня, и мне понравилось, как Мари сразу, лишь только он вошел, подошла к нему, посмотрела на него и беспомощно пожалала плечами.

а Цюпфнер поздоровался с остальными и сел рядом со мной. Тут Зоммервильд рассказал историю об одном писателе-католике, который долго жил с разведенной женщиной, а когда он на ней женился, одно высокопоставленное духовное лицо сказала ему: «Послушайте, мой милый Безевиц, ну что вам стоило и дальше жить во грехе?» Смеялись над этим анекдотом довольно несдержанно, особенно госпожа Кинкель хохотала до неприличия. Не смеялся только Цюпфнер, и мне это в нем понравилось. И Мари не смеялась. Наверно, Зоммервильд рассказал этот анекдот, чтобы показать мне, как великодушна, человечна, как остроумна и многообразна католическая церковь. О том, что мы с Мари живем тоже, так сказать, во грехе, никто не подумал. Тогда я рассказал историю об одном рабочем, нашем соседе, его звали Фрелинген, он тоже жил с разведенной и даже кормил трех ее детей. К этому Фрелингену однажды пришел пастор и с самым серьезным видом, даже с угрозами, потребовал, чтобы он «прекратил это непристойное сожительство», и так как Фрелинген был человек набожный, он выставил эту красивую женщину и трех ее детей. Я рассказал, как этой женщине пришлось пойти по рукам, чтобы прокормить ребятишек, и как Фрелинген совсем спился, потому что любил ее по-настоящему. Снова наступило тягостное молчание, как всегда, когда я что-нибудь говорил, но Зоммервильд рассмеялся и сказал:

— Послушайте, господин Шнир, не будете же вы сравнивать оба эти случая?

— Ну почему же? — сказал я.

Он рассердился.

— Вы так говорите только потому, что не представляете себе, кто такой Безевиц, — сказал он сердито, — это удивительно тонкий писатель, заслуживающий притом названия христианина.

Я тоже рассердился и сказал:

— А знаете ли вы, какой удивительно тонкий человек Фрелинген и какой он христианин, этот рабочий?

Он посмотрел на меня, покачал головой и безнадежно развел руками. Наступила пауза, слышно было только, как покашливает Моника Сильвс, но в присутствии Фредебойля хозяину нечего бояться, что беседа оборвется. Он сразу вклинился в наступившую тишину, перевел разговор на тему дня и часа полтора проговорил об относительности понятия «бедность», и только после

этого Кинкель наконец получил возможность рассказать тот самый анекдот о человеке, который считал, что, когда он получал больше пятисот и меньше трех тысяч марок в месяц, он жил в отчаянной нищете. Тут Цюпфнер и попросил у меня сигарету, чтобы дымом скрыть краску стыда.

И мне и Мари было одинаково плохо, когда мы возвращались поездом в Кёльн. Мы еле наскребли денег на поездку в Бонн: Мари так хотелось принять это приглашение. Нам и физически было тошно: мы слишком мало съели, а выпили больше, чем привыкли. Дорога показалась бесконечной, а выйдя на Западном вокзале в Кёльне, мы вынуждены были идти домой пешком: денег на трамвай уже не осталось.

У Кинкелей сразу подошли к телефону.

— Альфред Кинкель слушает,— сказал самоуверенный мальчишеский голос.

— Говорит Шнир,— сказал я.— Можно поговорить с вашим отцом?

— Шнир-богослов или Шнир-клоун?

— Клоун,— сказал я.

— А-а,— сказал он,— надеюсь, вы не слишком близко приняли это к сердцу?

— К сердцу? — сказал я устало.— А чего я не должен принимать к сердцу?

— Как? — сказал он.— Разве вы не читали газету?

— Какую? — спросил я.

— «Голос Бонна»,— ответил он.

— Разнос? — спросил я.

— Как сказать,— ответил он,— скорее некролог. Может быть, принести, прочесть вам вслух?

— Нет, спасибо,— сказал я. В голосе у мальчишки звучал явный садизм.

— Но вы должны прочитать,— сказал он,— это вам будет наукой.

О господи, оказывается, его и к педагогике тянет.

— А кто писал? — сказал я.

— Некий Костерт, он подписывается: «Наш корреспондент по Рурской области». Блестяще написано, хотя довольно подло.

— Ну конечно,— сказал я,— ведь он христианин.

— А вы разве нет?

— Нет,— сказал я.— Вашего отца дома нет, что ли?

— Он не велел себя беспокоить, но для вас я охотно побеспокою его.

Впервые в жизни чей-то садизм пошел мне на пользу.

— Спасибо,— сказал я.

Я услышал, как он положил трубку на стол, вышел из комнаты — и тут я опять услышал где-то вдали злое шипение. Казалось, будто целое семейство змей перессорилось — два змея мужского пола и одна женщина-змея. Мне всегда неловко, когда я становлюсь невольным свидетелем того, что вовсе не предназначено для моего слуха и зрения, а таинственная способность ощущать запахи по телефону для меня не радость, а наказание. В кинкелевском жилье так пахло мясным бульоном, словно они сварили целого быка. Шипение даже издали казалось смертельно опасным, как будто сын сейчас задушит отца или мать — сына. Я вспомнил Лаокоона, но тот факт, что этот шип и скрежет (я слышал даже шум драки, восклицания, выкрики вроде: «Ах ты, скотина! Грязная свинья!») раздавался из квартиры того, кого величали «серым кардиналом» немецкого католицизма, никак не подымал моего настроения. Я думал и об этом жалком Костерте из Бохума, который, наверно, еще вчера с вечера повис на телефоне, чтобы продиктовать свой фельетон, и все же сегодня утром скребся в мою дверь, как пришибленный пес, и разыгрывал роль моего брата во Христе.

Очевидно, Кинкель буквально отбивался руками и ногами, чтобы не подходить к телефону, а его жена — я постепенно стал различать все шумы и движения вдали — еще больше сопротивлялась этому, сын же отказывался сообщить мне, что он ошибся и отца дома нет. Вдруг стало тихо, как тихо бывает, когда кто-то истекает кровью: наступила кровотокающая тишина. Потом я услышал шарканье ног, услышал, как берут трубку со стола, и ждал, что трубку сейчас повесят. Я точно знал, где у Кинкеля стоит телефон. Как раз под той из трех мадонн в стиле барокко, которую Кинкель считает наименее ценной. Мне даже захотелось, чтобы он положил трубку. Я жалел его: должно быть, для него было мучением сейчас говорить со мной, да я ничего хорошего от этого разговора и не ждал — ни денег, ни добрых советов. Если бы он заговорил задыхающимся голосом, жалость во мне взяла бы верх, но он заговорил так же громогласно и бодро, как всегда. Кто-то сравнивал его голос с целым полком трубачей.

— Алло, Шнир! — загремел он. — Отлично, что вы позвонили!

— Алло, доктор, — сказал я, — я попал в переплет. Единственной шпилькой в моих словах было обращение «доктор» — он, как и мой отец, был новоиспеченным доктором гонорис кауза.

— Шнир, — сказал он, — неужто мы с вами в таких отношениях, что вы должны называть меня «господин доктор»?

— А я понятия не имею, в каких мы с вами отношениях, — сказал я.

Он загоготал особенно громовым голосом — бодрым, католическим, сердечным, с игривостью «а-ля барокко».

— Моя симпатия к вам неизменна. — Этому было трудно поверить. Но должно быть, в его глазах я пал так низко, что толкать меня в пропасть уже не стоило. — Вы переживаете кризис, — сказал он, — вот и все. Вы еще молоды, возьмите себя в руки, и все наладится.

«Взять себя в руки» — как это напоминало мне «П.П.9» нашей Анны.

— О чем вы говорите? — кротким голосом спросил я.

— О чем же я еще могу говорить? О вашем искусстве, вашей карьере.

— Нет, я не о том, — сказал я. — Об искусстве, как вы знаете, я принципиально не разговариваю, а о карьере и подавно. Я вот о чем хотел, мне нужно... я ищу Мари.

Он издал какой-то неопределенный звук, что-то среднее между хрюканьем и отрыжкой. Из глубины комнаты до меня донеслось утихающее шипение, я услышал, как Кинкель положил трубку на стол, потом снова поднял, голос у него стал тише, глуше, он явно жевал сигару.

— Шнир, — сказал он, — пусть прошлое останется прошлым. Ваше настоящее — в вашем искусстве.

— Прошлым? — переспросил я. — А вы себе представьте, что ваша жена ушла к другому!

Он промолчал, словно говоря: «Вот хорошо бы!» — потом сказал, жуя сигару:

— Она вам не жена, и у вас нет семерых детей.

— Так! — сказал я. — Значит, она не была моей женой?

— Ах, — сказал он, — этот романтический анархизм! Будьте же мужчиной.

— О черт, — сказал я, — именно потому, что я принадлежу к этому полу, мне так тяжело, а семь детей у нас еще могут родиться. Мари всего двадцать пять лет.

— Настоящим мужчиной,— сказал он,— я считаю человека, который умеет примиряться.

— Звучит очень по-христиански,— сказал я.

— Бог мой, уж не вам ли учить меня, что звучит по-христиански?

— Мне,— сказал я.— Насколько мне известно, по католическому вероучению брак является таинством, в котором двое приобщаются благодати.

— Конечно,— сказал он.

— Хорошо, а если эти двое дважды и трижды обвенчаны и гражданским и церковным браком, но благодати при этом и в помине нет, значит, брак недействителен?

— Гм-м,— промычал он.

— Слушайте, доктор, вам не трудно вынуть сигару изо рта? Получается, будто мы с вами обсуждаем курс акций. От вашего причмокивания мне становится как-то не по себе.

— Ну, знаете ли! — сказал он, но сигару все же вынул.— И вообще, поймите, все, что вы об этом думаете,— ваше личное дело. А Мари Деркум думает об этом иначе и поступает, как ей подсказывает совесть. И могу добавить — поступает совершенно правильно.

— Почему же вы, проклятые католики, не можете сказать мне, где она? Вы ее от меня прячете?

— Не валяйте дурака, Шнир,— сказал он.— Мы живем не в средневековье.

— Очень жаль, что не в средневековье,— сказал я,— тогда ей разрешили бы остаться моей наложницей и никто не ущемлял бы ее совесть с утра до вечера. Ничего, она еще вернется.

— На вашем месте, Шнир, я не был бы так в этом уверен. Жаль, что вы явно не способны воспринимать метафизические понятия.

— С Мари было все в порядке, пока она заботилась о спасении моей души, но вы ей внушили, что она должна спасать еще и свою душу, и выходит так, что мне, человеку, неспособному воспринимать метафизические понятия, приходится теперь заботиться о спасении души Мари. Если она выйдет замуж за Цюпфнера, она станет настоящей грешницей. Настолько-то я разбираюсь в вашей метафизике — то, что она творит, и есть прелюбодеяние и разврат, а ваш прелат Зоммервильд тут играет роль сводника.

Он все-таки заставил себя рассмеяться, правда не слишком громогласно:

— Звучит забавно, если иметь в виду, что Гериберт является главой немецкого католицизма, так сказать, по общественной линии, а прелат Зоммервильд, так сказать, по духовной.

— А вы — совесть этого самого католицизма, — сказал я сердито, — и отлично знаете, что я прав.

Он пыхтел в трубку там, на Венусберге, стоя под наименее ценной из трех своих мадонн.

— Вы потрясающе молоды, — сказал он, — можно только позавидовать.

— Бросьте, доктор, — сказал я, — не потрясайтесь и не завидуйте мне, а если Мари ко мне не вернется, я этого вашего милейшего прелата просто пришибу. Да, пришибу, — повторил я, — мне терять нечего.

Он помолчал и опять сунул сигару в рот.

— Знаю, — сказал я, — знаю, что ваша совесть сейчас лихорадочно работает. Если бы я убил Цюпфнера, это вам было бы на руку: он вас не любит, и для вас он слишком правый, а вот Зоммервильд для вас крепкая поддержка перед Римом, где вы — впрочем, по моему скромному мнению, несправедливо — считаетесь леваком.

— Бросьте глупить, Шнир, что это с вами?

— Католики мне действуют на нервы, — сказал я, — они нечестно играют.

— А протестанты? — спросил он и засмеялся.

— Меня и от них мутит, вечно треплются про совесть.

— А как атеисты? — Он все еще смеялся.

— Одна скука, только и разговоров что о Боге.

— Но вы-то сами кто?

— Я — клоун, — сказал я, — а в настоящую минуту я даже выше своей репутации. И есть на свете одно существо католического вероисповедания, которое мне необходимо, — Мари, но именно ее вы у меня отняли.

— Ерунда, Шнир, — сказал он, — вы эту теорию выкиньте из головы. Мы живем в двадцатом веке.

— Вот именно, — сказал я. — В тринадцатом веке я был бы любимым шутком при дворе, и даже кардиналам не было бы дела, обвенчан я с ней или нет. А теперь каждый католик-мирянин теребит ее несчастную совесть, принуждает ее к прелюбодеянию, к разврату, и все из-за жалкого клочка бумаги. А вас, доктор, за ваших

мадонн в тринадцатом веке отлучили бы от церкви. Вы отлично знаете, что их сперли из баварских и тирольских церквей, и не мне объяснять вам, что ограбление церкви и в наше время считается довольно-таки тяжелым преступлением.

— Послушайте, Шнир, зачем вы переходите на личности? — сказал он. — Этого я от вас не ожидал.

— Сами вы уже который год вмешиваетесь в мои личные дела, а стоило мне мимоходом сказать вам в глаза правду, которая может иметь для вас неприятные последствия, и вы уже беситесь. Погодите, вот будут у меня опять деньги, найму частного сыщика, пусть разузнает, откуда взялись ваши мадонны.

Он уже не смеялся, только кашлянул, и я почувствовал, что до него еще не дошло, что я говорю всерьез.

— Дайте отбой, Кинкель, — сказал я, — кладите трубку, не то я еще заговорю о прожиточном минимуме. Желаю вам и вашей совести доброй ночи.

Он так ничего и не понял, и первым положил трубку я.

10

Я прекрасно понимал, что Кинкель был со мной необычайно мил. Возможно даже, что, если бы я у него попросил денег, он бы мне их дал. Но мне была слишком противна и его болтовня про метафизику с сигарой во рту, и внезапная обида, когда я заговорил о его мадоннах. Не хотелось иметь с ним дело. И с госпожой Фредебойль тоже. К черту! А самому Фредебойлю я, того и гляди, дал бы при случае по морде. Глупо было бороться с ним «духовным оружием». Иногда мне жаль, что больше нет дуэлей. Спор из-за Мари между мной и Цюпфнером можно было бы разрешить только дуэлью. Мерзко, что все это сопровождается разговорами о моральных принципах, с письменными объяснениями и бесконечными тайными совещаниями в ганноверском отделе. После второго выкидыша Мари так сдала, стала такой нервной, вечно убегала в церковь и раздражалась, когда я в свободные вечера не ходил с ней в театр, на концерты или на лекции. А когда я ей предлагал поиграть, как бывало, в «братец-не-сердись» и выпить чаю, лежа на животе в постели, она раздражалась еще больше. В сущности, все началось с того, что она только из одолжения мне, чтобы меня успокоить или утешить,

соглашалась играть в «братец-не-сердись». И в кино со мной ходить перестала на мои любимые картины — те, на которые пускают ребят до шести лет.

По-моему, никто на свете не понимает психологии клоуна, даже другие клоуны, тут всегда мешает зависть или недоброжелательность. Мари почти что стала меня понимать, но до конца она меня так и не поняла. Она всегда считала, что я, как «творческая личность», должен проявлять «горячий интерес» к восприятию всяческой культуры — и чем больше, тем лучше. Какое заблуждение! Конечно, если бы я в свободный вечер услышал, что где-то идет пьеса Беккета, я бы сразу полетел туда на такси, да и в кино я тоже хожу довольно часто, но всегда только на картины, куда допускаются и дети до шести лет. Этого Мари никогда не могла понять — ведь ее католическое воспитание по большей части состояло только из обрывков психологических понятий и рационализма под мистическим соусом, хотя в конце концов все это сводилось к установке: «Пусть играют в футбол, чтобы не думали о девочках», а я так любил думать о девочках, правда, потом только об одной Мари. Иногда я казался себе просто чудовищем, но я люблю ходить на картины, куда пускают даже шестилетних, потому что в них нет этой взрослой пошлятины — про супружескую неверность, про разводы. В этих картинах про измены и разводы главную роль играет обычно чье-то «счастье». «Ах, дай мне счастье, любимая!» или «Неужели ты помещаешь нашему счастью?». А я не могу себе представить счастье, которое длилось бы дольше, чем секунду, ну, может быть, две-три секунды. Настоящие фильмы про шлюх я тоже смотрю охотно, но их очень мало. Большинство из них сделано с такими претензиями, что и не разберешь — про шлюх они или не про шлюх. Ведь есть еще одна категория женщин: они не шлюхи и не верные жены, а просто жалостливые женщины, но их в фильмах никогда не показывают. А вот фильмы, куда пускают шестилетних, всегда кишмя кишат шлюхами. Я никогда не мог понять, о чем думают все эти цензурные комиссии, распределяющие фильмы на категории, допуская такие картины для детей. Женщины в этих фильмах почти всегда либо шлюхи от природы, либо шлюхи в социологическом смысле: жалости они никогда не знают. Смотришь, как в каком-нибудь разухабистом кабачке на Диком Западе танцуют этакие блондинки канкан и огрубелые ковбои, золотоискатели или охотни-

ки, которые года два гонялись за разным зверьем, глазают на этих молодых белокурых красоток, пока они отплясывают свои канканы, но пусть эти ковбои, золотоискатели или охотники только попробуют приволокнуться за этими красотками или полезть к ним в комнату, тут сразу либо двери у них под носом хлопаются, либо какая-нибудь сволочь сбивает их кулаком с ног. Конечно, я понимаю, что все должно внушать представление о добродетели. Но это безжалостность — и именно там, где единственно человеческим была бы жалость, сочувствие. Ничего удивительного, что эти несчастные парни начинают бить друг другу морду, стрелять — для них это все равно как для нас, мальчишек, футбол в интернате, но тут, когда речь идет о взрослых людях, это еще безжалостнее. Нет, не понимаю я американской морали. Наверно, там жалостливую женщину сожгли бы, как ведьму, — я про такую, которая уступает не ради денег и не из страсти к данному мужчине, а исключительно по доброте душевной, из жалости к человеческому естеству.

Особенно тягостны для меня фильмы про художников. Фильмы про художников по большей части делают те люди, которые дали бы Ван Гогу за картину даже не пачку табаку, а полпачки, а потом и об этом пожалели бы, потому что смекнули, что он отдал бы ее просто за понюшку табаку. В фильмах про художников все страдания творческой души, вся нужда и борьба с дьяволом обычно относятся к давно прошедшим временам. Живой художник, у которого курить нечего и башмаков жене купить не на что, этим киношникам неинтересен, потому что три поколения пустобрехов еще не успели уверить их, что он гений. А одного поколения пустобрехов мало. «Неукротимые порывы творческой души» — даже Мари в это верила. Обидно, что и вправду у человека бывает похожее состояние, но называть это надо как-то иначе. Клоуну, например, нужен отдых, ощущение того, что люди называют свободным временем. Но эти другие люди совершенно не понимают, что для клоуна ощущение отдыха состоит в том, чтобы забыть о своей работе, а не понимают они потому, что они-то — и для них это вполне естественно — занимаются искусством именно для отдыха в свое свободное время. Особо стоят люди «при искусстве», они ни о чем, кроме искусства, не думают, но им для этого свободное время не нужно, потому что они не работают. И не обобратся недо-

разумений, если таких людей «при искусстве» возводить в художники. Эти самые люди «при искусстве» тогда и начинают разговоры об искусстве, когда у настоящего художника появляется ощущение свободного времени, отдыха. И они бьют прямо по больному месту: в те две-три минуты, когда художник забывает об этом искусстве, эти прихвостни искусства начинают разговор про Ван Гога, про Кафку, Чаплина или Беккета. Я готов руки на себя наложить в такие минуты: только мне удастся выкинуть все из головы, думать лишь про нас с Мари, про пиво, про осенние листья, про игру в «братец-не-сердись», вообще про какую-нибудь чепуху, даже, может быть, пошловатую или сентиментальную, как тут же какой-нибудь Фредебойль или Зоммервилльд начинают трепаться про искусство. Именно в ту минуту, когда я с невероятным восторгом чувствую себя абсолютно обыкновенным человеком, самым обыкновенным обывателем вроде Карла Эмондса, Фредебойль или Зоммервилльд заводят разговор про Клоделя или Ионеско. С Мари тоже это случается, раньше это было реже, а в последнее время стало куда чаще. Заметил я это, когда рассказывал ей, что хочу начать петь песенки под гитару. Это задело, как она выразилась, ее эстетическое чувство. В то время как человек, не имеющий отношения к искусству, отдыхает, клоун работает. Все люди, от самого высокооплачиваемого директора до рядового рабочего, знают, что значит отдых, безразлично — пьет ли человек пиво или охотится на медведей на Аляске, коллекционирует ли он марки или картины импрессионистов или экспрессионистов, бесспорно лишь одно: кто *коллекционирует* произведения искусства, тот сам не художник. А меня может привести в ярость даже то, как человек, отдыхая, закуривает сигарету: слишком хорошо я знаю это ощущение и не могу не завидовать, когда оно длится долго. У клоуна тоже бывают такие минуты: можно вытянуть ноги, закурить и на какие-нибудь полсигареты ощутить, что значит отдых. Но так называемый отпуск для меня чистая погибель. Мари несколько раз пробовала показать мне, что это такое, мы уезжали к морю, на курорты, в горы, и я уже на второй день заболел, покрывался сыпью с головы до ног, и мне переворачивали душу мысли о самоубийстве. Думаю, что заболел я от зависти. Потом у Мари появилась чудовищная мысль провести со мной отдых там, куда ездят всякие художники. Но там, конечно, были главным

образом люди «при искусстве», и я в первый же вечер подрался с одним идиотом — он какая-то важная шишка в кино и впутал меня в спор о Чаплине, Гроке и о функции шута в шекспировских драмах. Меня не только здорово отколотили (эти прихвостни искусства ухитряются неплохо жить на счет всяких искусствообразных профессий, но сами, в сущности, не работают, и сил у них хоть отбавляй), но к тому же у меня началась желтуха. А как только мы выбрались из этой гнусной дыры, я сразу выздоровел.

Что меня беспокоит больше всего — это мое неумение как-то себя ограничивать, или, как сказал бы мой импрессарио Цонерер, сконцентрироваться. В моих номерах слишком перемешаны пантомима, артистизм, буффонада — я мог бы быть хорошим Пьеро, но я и неплохой клоун,— да к тому же я слишком часто меняю номера. Наверно, я мог бы годами с успехом жить на такие номера, как «Католическая и протестантская проповедь», «Заседание совета акционеров», «Уличное движение», и всякие другие, но стоит мне проделать номер раз десять—двадцать, мне становится до того скучно, что в самый разгар выступления на меня нападает зевота, и я с огромным усилием сдерживаю мускулы лица. Сам на себя нагоняю скуку. Когда подумаешь, что есть клоуны, которые лет тридцать показывают одни и те же номера,— такая тоска берет, словно меня приговорили съесть мешок муки чайной ложечкой. А мне работа должна доставлять удовольствие, не то я заболеваю. И вот вдруг я начинаю выдумывать, что мог бы неплохо жонглировать или петь песенки, но все это одна уловка, лишь бы не тренироваться каждый день. А это часа четыре, не меньше, а то и больше. В последние шесть недель я и это запустил, только сделаю два-три кульбита, похожу на руках, постою на голове да позанимаюсь гимнастикой на резиновом мате — я его всюду таскаю с собой,— вот и все. Ушибленное колено теперь для меня хороший предлог лежать на диване, курить, дышать жалостью к самому себе. Моя последняя новая пантомима — «Речь министра» — вышла очень неплохо, но мне не хотелось впасть в карикатуру, а в чем-то другом я не дотянул. Все мои лирические попытки терпели крах. Мне еще никогда не удавалось изобразить человеческие чувства, не впадая в ужасающую сентиментальность. Правда, в моих номерах «Танцующая пара», «Уход в школу и возвращение» по крайней мере

чувствовалось актерское мастерство. Но когда я попытался изобразить жизнь человека, я опять впал в карикатуру. Мари права, называя мои попытки петь песенки под гитару попытками уйти от себя. Лучше всего мне удастся изображение всяких будничных несуразиц: я наблюдаю, слагаю эти наблюдения, возвожу их в степень, а потом извлекаю корень, но уже не с тем показателем, с каким возводил в степень. На каждый большой вокзал по утрам прибывают тысячи людей, работающих в городе, и уезжают тысячи, работающих за городом. Почему бы этим людям просто не обменяться работой? А возьмите вереницы автомашин — с какими мучениями они протискиваются навстречу друг другу в часы пик. Стоит только переменить работу или местожительство — и не будет ни бензиновой вони, ни отчаянной жестикуляции постовых на перекрестках; стало бы так тихо, что постовые могли бы играть в «братец-несердись». Из всех этих наблюдений я сделал пантомиму — у меня в ней работают только руки и ноги, а лицо, густо набеленное, не шевелится, и мне удастся при помощи одних рук и ног создать впечатление невероятно многолюдного и запутанного движения. Моя цель — как можно меньше реквизита; лучше вообще ничего. Для номера «Уход в школу и возвращение» мне даже ранца не надо, я работаю рукой, и этого достаточно, я перебегаю улицу перед самым трамваем, который дает отчаянные звонки, прыгаю на автобусы, соскакиваю с них, задерживаюсь у витрин, пишу мелом на стенах слова с орфографическими ошибками, опаздываю, меня ругает учитель, и, сняв ранец с плеча, я тихонько прокрадываюсь за свою парту. Трогательность детского быта мне особенно удастся: в жизни ребенка все обыденное, банальное разрастается до огромных размеров, кажется чуждым, беспорядочным, всегда трагичным. И настоящего отдыха у ребенка тоже не бывает: только когда в его жизнь входят «высшие моральные принципы», появляется отдых, свободное время. Я всегда с неостывающим азартом наблюдаю за тем, как люди отдыхают, наблюдаю за любыми проявлениями праздника, праздничного ощущения: как рабочий сует в карман конверт с получкой и садится на велосипед, как биржевик окончательно кладет телефонную трубку на рычаг, а записную книжку — в ящик стола, как он запирает этот ящик или как продавщица в продовольственном магазине снимает халат, моет руки, приводит в порядок перед

зеркалом волосы, мажет губы, берет сумочку и уходит домой — все это так человечно, что я сам себе кажусь выродком, оттого что для меня этот праздничный вечер, этот отдых — только цирковой номер. Я как-то говорил с Мари: а бывает ли отдых у животных, например у коровы, когда она пережевывает жвачку, или у осла, когда он дремлет у изгороди. Она сказала, что думать, будто животные тоже работают и у них тоже бывают праздники, — это кощунство. Конечно, сон — это отдых, праздник, и чудесно, что это объединяет людей и зверей, но ведь в празднике самое праздничное именно то, что его осознаешь как праздник. Даже у врачей есть праздники, а недавно отдых стал полагаться и священникам. Меня это раздражает, по-моему, им никакого отдыха не полагается, и они должны были бы хотя бы в этом сочувствовать артистам. Им вовсе не нужно разбираться в искусстве, в миссии художника, в предназначении и прочей ерунде, но природу артиста они понимать должны. Я всегда спорил с Мари, отдыхает ли Бог, в которого она верит. Она утверждала, что отдыхает, доставала Ветхий завет и читала мне про Бога из книги Бытия: «И почил в день седьмый от всех дел Своих». А я возражал цитатами из Нового завета, я ей доказывал, что, может быть, в Ветхом завете Бог и отдыхал, но вот Христа на отдыхе я себе совсем не могу представить. Мари побледнела, когда я это сказал, но признала, что ей тоже кажется богохульством думать, будто у Христа может быть выходной день, и что у него, конечно, праздники бывали, но отдыхать он никогда не отдыхал.

Сплю я, как животное, почти всегда без снов, иногда проспю минут пять, а кажется, будто целый век отсутствовал, будто просунул голову сквозь стенку, за которой лежит беспредельная тьма, забвение, вечный отдых и то, о чем думала Генриетта, когда роняла вдруг ракетку на землю, ложку в суп или рывком швыряла карты в камин, — Ничто. Я ее как-то спросил, о чем она думает, когда на нее «находит». И она спросила:

— Неужели ты не знаешь?

— Нет, — сказал я.

И она тихо проговорила:

— Ни о чем, я думаю ни о чем.

Я сказал, что нельзя думать ни о чем, а она сказала:

— Нет, можно, я сразу делаюсь вся пустая и вместе с тем как будто пьяная, и мне хочется все с себя сбросить — башмаки, платье, остаться без всякого балласта.

Она еще сказала, что это изумительное состояние и она всегда ждет, когда оно наступит, но оно никогда не наступает, если ждать, а приходит неожиданно, и похоже оно на вечность. Раза два на нее «находило» в школе. Помню, как мама сердито говорила по телефону с классной наставницей и как она сказала: «Да, да, именно истерия, совершенно правильно, и накажите ее как следует».

Иногда и у меня появляется ощущение великолепной пустоты, во время игры в «братец-не-сердись», когда игра затягивается часа на три-четыре: ничего, кроме обычных шумов, постукивания костяшек, стука фигурок, щелканья, когда отбрасываешь фигурку. Мне удалось даже заставить Мари полюбить эту игру, хотя она больше склонялась к шахматам. Для нас эта игра стала чем-то вроде наркотика. Мы иногда играли подряд пять, а то и шесть часов, и официанты или горничные, которые приносили нам в номер чай или кофе, смотрели на нас с тем смешанным выражением страха и злобы, какое появлялось на лице моей матери, когда на Генриетту «находило»; иногда они говорили, как те люди в автобусе, когда я возвращался от Мари: «Невероятно!» Мари изобрела очень сложную систему очков: каждый получал очко, смотря по тому, на какой клеточке его выкинули или он выкинул партнера. Получалась очень интересная таблица, и я купил ей четырехцветный карандаш, чтобы удобнее было отмечать «активные и пассивные преимущества», как она это называла. Иногда мы играли во время долгих железнодорожных переездов, к удивлению серьезных пассажиров, пока я вдруг не заметил, что Мари играет со мной только для того, чтобы доставить мне удовольствие, успокоить меня, дать отдых моей «душе художника». Ее это уже не интересовало, все началось месяца два назад, когда я отказался ехать в Бонн. Я боялся членов ее кружка, боялся встретиться с Лео, но Мари непрерывно повторяла, что ей «необходимо вновь вдохнуть католическую атмосферу». Я напомнил ей, как мы возвращались тогда, после того первого вечера в их кружке, усталые, измученные, пришибленные, и как она все время повторяла в поезде: «Ты такой милый, такой милый!» А потом уснула у меня на плече и только изредка вздрагивала, когда на платформе выкрикивали названия станций: Зехтем, Вальберберг, Крюль, Кальшойрен,— вздрогнет, встрепенется, и я снова кладу ее голову себе на плечо, а когда мы вышли на

Западном вокзале в Кёльне, она сказала: «Лучше бы мы пошли в кино». Я напомнил ей этот день, когда она заговорила о «католической атмосфере», которую ей необходимо вдохнуть, и предложил пойти в кино, потанцевать, поиграть в «братец-не-сердись», но она покачала головой и уехала в Бонн одна. Совершенно не представляю себе, что это такое — «католическая атмосфера». В конце концов, жили мы в Оснабрюкке, а там атмосфера вряд ли такая уж не католическая.

11

Я пошел в ванную комнату, налил в ванну немного экстракта, который мне поставила Моника Сильвс, и пустил горячую воду. Принимать ванну почти так же приятно, как спать, а спать — почти так же приятно, как заниматься «этим». Мари всегда так говорила, а я всегда думаю об «этом» ее словами. Совершенно не могу себе представить, что Мари может заниматься «этим» с Цюпфнером, у меня просто фантазии не хватает, так же как у меня никогда не возникало соблазна рыться в вещах Мари. Я только мог себе представить, как она играет с ним в «братец-не-сердись», — и одно это уже приводило меня в бешенство. Она ничего не может делать с ним из того, что мы с ней делали вместе, иначе она должна сама себе казаться шлюхой и предательницей. Даже мазать ему масло на хлеб она не смеет. А когда я себе представлял, что она берет его сигарету с пепельницы и докуривает ее, я просто сходил с ума, и даже то, что он некурящий и, наверно, играет с ней только в шахматы, меня ничуть не утешало. Ведь что-то она с ним все-таки делает: танцует, играет в карты, читает ему вслух или слушает, как он читает, да и разговаривать она с ним должна — хотя бы о деньгах, о погоде. Собственно говоря, она могла только готовить ему обед, не вспоминая меня на каждом шагу, — она так редко для меня готовила, что это, пожалуй, не будет ни предательством, ни распутством. Сейчас мне больше всего хотелось позвонить Зоммервильду, но было слишком рано: лучше всего позвонить часа в три ночи, разбудить его и завести пространный разговор об искусстве. А звонить ему в восемь вечера — слишком прилично, тут не спросишь, сколько высших моральных принципов он уже скормил Мари и какие комиссионные получил с Цюпфнера:

наперсный крест тринадцатого века или среднерейнскую мадонну четырнадцатого? Думал я и о том, как я его прикончу. Эстетов, конечно, лучше всего убивать художественными ценностями, чтобы они и в предсмертную минуту возмутились таким надругательством. Статуэтка мадонны — штука, пожалуй, недостаточно ценная, да к тому же слишком прочная, и он, чего доброго, умрет, утешенный тем, что рама тяжелая, но тут он опять-таки утешился бы тем, что картина останется в целости. Пожалуй, я мог бы соскрести краску с ценной картины и повесить его на холсте или этим же холстом придушить — способ убийства довольно несовершенный, но как убийство эстета — совершенство! Вообще, отправить на тот свет такого здоровяка и силача — дело нелегкое. Зоммервильд высокий, стройный, «воплощенное благообразие», седой, лицо «просветленное», кроме того, он альпинист и гордится тем, что принимал участие в двух мировых войнах и получил серебряную медаль за спортивные достижения. Противник он стойкий, хорошо тренированный. Что ж, придется раздобыть какое-нибудь произведение искусства из бронзы или из золота, а еще лучше, пожалуй, из мрамора; жаль, что мне не удастся съездить в Рим и спереть что-нибудь из ватиканского музея.

Пока наливалась ванна, я вспомнил Блотерта, одного из важных членов кружка, я видел его всего два раза. Он был, так сказать, противником Кинкеля «справа», тоже из политиканов, но из «другой среды, из другого круга», для него Цюпфнер был тем, чем Фредебойль был для Кинкеля: чем-то вроде «правой руки», ну и, конечно, «духовным наследником». Но звонить по телефону Блотерту было еще бессмысленней, чем умолять о помощи стены моей комнаты. Единственное, что вызывает в нем хоть какие-то признаки жизни, — это кинкелевские мадонны в стиле барокко. Он так их сравнивал со своими, что сразу было видно, до чего глубоко они ненавидят друг друга. Блотерт был председателем чего-то такого, где с удовольствием стал бы председателем сам Кинкель, и они со школьных лет были на «ты». Оба раза, что я встречал Блотерта, я пугался его. Он был среднего роста, светлый блондин, и с виду ему можно было дать лет двадцать пять; когда на него смотрели, он ухмылялся, а когда с ним заговаривали, он сначала с полминуты скрежетал зубами, и из четырех слов, которые он произносил, два были «канцлер» и «католон», и тут вдруг

становилось видно, что ему за пятьдесят и выглядит он, как постаревший от тайных пороков школьник последнего класса. Жуткая личность. Иногда его схватывала судорога, он начинал заикаться и говорить: «ка-ка-ка-ка...» — и мне его становилось жаль, пока он наконец не выдавливал из себя последние слоги — «...нцлер» или «...толон». Мари говорила мне, что он просто потрясающе умен. Это утверждение так и осталось недоказанным, и я только раз слышал, как он произнес больше двадцати слов, это было, когда в их «кружке» обсуждали вопрос о смертной казни. Он был «за, без всяких ограничений», и удивило меня в его высказывании то, что он и не пытался лицемерно утверждать обратное. Он весь сиял от удовольствия, снова путался в своих «ка-ка-ка», и казалось, будто при каждом «ка» он отрубает кому-то голову. Иногда он косился на меня, и всегда с таким изумлением, будто ему каждый раз приходится сдерживаться, чтобы не сказать: «Невероятно!» — хотя он все же не мог удержаться и не покачать головой. По-моему, нектолики для него вообще пустое место. Мне всегда казалось, что, если введут смертную казнь, он будет ратовать за то, чтобы казнить всех нектоликов. У него тоже была жена, дети и телефон. Но я скорее позвонил бы опять моей матери. Блотерта я вспомнил только потому, что думал о Мари. Наверно, он постоянно к ней ходит, он был как-то связан с правлением, где работал Цюпфнер, и при одной мысли, что он у нее постоянный гость, мне становилось жутко. Ведь я к ней очень привязан, и когда она на прощанье, словно отправляясь в паломничество, сказала: «Я должна пойти тем путем, каким я должна идти», то это можно было бы понять и как последнее слово христианской мученицы, которую сейчас бросят на съедение диким зверям. Думал я и о Монике Сильвс, сознавая, что когда-нибудь я приму ее жалость. Она была такая красивая, такая милая, и мне казалось, что она еще меньше подходит к этому «кружку», чем Мари. Что бы она ни делала: возилась ли на кухне — я и ей как-то помогал делать бутерброды, — улыбалась ли, танцевала или рисовала, — все у нее выходило как-то естественно, хотя ее картины мне и не нравились. Зоммервильд слишком много наговорил ей про «откровение» и про миссию художника, и она стала писать одних мадонн. Можно было бы попытаться отговорить ее от этого: все равно толку не будет, даже если веришь и хорошо рисуешь. Пусть этих мадонн

рисуют дети или набожные монахи, которые и за художников себя не считают. Я стал думать, удастся ли мне отговорить Монику от писания мадонн. Она не дилетантка, еще очень молода, ей года двадцать два—двадцать три, наверняка невинна, и это меня особенно пугало. Вдруг мелькнула страшная мысль: а что, если католики решили, чтобы я сыграл для них роль Зигфрида? Она прожила бы со мной года два, была бы ласкова, пока не начали бы действовать высшие моральные принципы, а тогда она вернулась бы в Бонн и вышла замуж за фон Северна. Я даже покраснел от этой мысли и постарался ее отогнать. Моника такая милая, что не хотелось выдумывать про нее всякие злые глупости. Но если мы с ней встретимся, надо будет прежде всего отучить ее от Зоммервильда, этого салонного льва, похожего на моего отца. Только мой отец не имеет никаких притязаний, кроме того, чтобы, по возможности, быть гуманным эксплуататором, и этим притязаниям он соответствует вполне. А Зоммервильд всегда производит впечатление, будто он с таким же успехом мог бы быть директором курзала или филармонии, начальником бюро информации на обувной фабрике, изысканным шансонье, даже, может быть, редактором «умело» поставленного модного журнала. Каждое воскресенье он читает проповедь в церкви Св. Корбиниана. Мари таскала меня туда дважды. Начальству Зоммервильда надо было бы запретить это представление — до того оно невыносимо. Лучше уж я сам буду читать Рильке, Гофмансталя и Ньюмена, чем позволять поить себя какой-то паточной смесью из всех троих. Меня даже пот прошиб во время этой проповеди. Есть такие противоестественные явления, которые для моей вегетативной нервной системы просто противопоказаны. Когда я слышу выражение: «Пусть сущее пребудет, а крылатое воспарит», мне становится страшно. Куда приятнее слушать, как беспомощный толстяк пастор, запинаясь, бормочет с кафедры непостижимые истины этой религии и не воображает, будто говорит так, что «хоть сейчас в печать». Мари огорчилась, увидев, что проповедь Зоммервильда не произвела на меня впечатления. Особенно мучительно было потом, когда мы после проповеди зашли в кафе, неподалеку от корбинианской церкви, там набилось полным-полно всяких людей «при искусстве», которые тоже слушали Зоммервильда. Потом пришел он сам, около него образовалось что-то вроде кружка, нас

тоже втянули туда, и эту тягомотину, которую он нес с кафедры, стали пережевывать не раз, и не два, и не три. Прелестная актриса с длинными золотистыми локонами и ангельским личиком — Мари шепнула, что она уже «на три четверти обращена», — была готова целовать Зоммервильду ноги. Уверен, что он не протестовал бы.

Я открыл кран в ванной, снял куртку, стянул через голову верхнюю рубашку и белье, бросил все в угол и уже собрался влезть в ванну, как зазвонил телефон. Я знал только одного человека, в чьих руках телефон начинает звонить так бодро, так мужественно, — это Цонерер, мой агент. Он так близко и настойчиво кричит в трубку, что я всегда боюсь, как бы он меня не забрызгал слюной. Если он хочет сказать мне что-нибудь приятное, он начинает разговор так: «Вчера вы были просто великолепно». Говорит он это наобум, даже не зная, был ли я действительно великолепен или нет, а когда он хочет сказать неприятное, он обычно начинает так: «Слушайте, Шнир, вы, конечно, не Чаплин...» Этим он вовсе не хочет сказать, что я хуже Чаплина как клоун, а просто, что я не настолько знаменит, чтобы позволять себе то, что раздражает его, Цонерера.

Но сегодня он, наверно, не станет говорить мне неприятности и не будет, как обычно, когда я отказываюсь выступать, предсказывать близкий конец света. Он даже не станет приписывать мне «манию отказов». Но должно быть, уже из Оффенбаха, из Бамберга и Нюрнберга тоже пришли отказы, и он начнет мне по телефону жаловаться, какие убытки он из-за меня терпит. Телефон все звонил, громко, бодро, мужественно, я совсем было собрался швырнуть в него диванной подушкой, но вместо того накинул халат, пошел в столовую и остановился перед заливавшимся телефоном. У этих агентов крепкие нервы, как положено их сословию, и слова вроде «утонченная артистическая натура» для них все равно что «дортмундское пиво», а всякая попытка поговорить с ними всерьез об искусстве, об артистах — только пустое сотрясение воздуха. Да и они отлично знают, что самый бессовестный артист в тысячу раз совестливее самого добросовестного агента, но у них есть оружие, против которого невозможно бороться: они отлично знают, что настоящий художник не может не делать того, что делает, — пишет ли он картины или клоуном шатается по свету, поет ли песни или высекает «непреодоляющее» из мрамора и гранита. Художник похож

на женщину, которая только и умеет любить и становится жертвой первого попавшегося осла. А художников и женщин эксплуатировать легче всего, и в каждом агенте сидит сутенер — в ком только на один процент, а в ком и на все девяносто. И этот телефонный звонок звучал совершенно по-сутенерски. Конечно, Цонерер уже выведал у Костерта, когда я уехал из Бохума, и точно знал, что я сейчас дома. Я завязал пояс халата и взял трубку. Мне в лицо сразу ударил пивной запах.

— Черт вас дерит, Шнир, — сказал он, — как можно заставлять меня столько ждать?

— Я только что сделал робкую попытку принять ванну, — сказал я. — Разве это нарушение контракта?

— Ваш юмор — просто юмор висельника, — сказал он.

— А где же веревка? — спросил я. — Уже болтается?

— Ну, хватит символики, — сказал он, — поговорим о деле.

— Не я первый завел символический разговор, — сказал я.

— Неважно, кто начал первый, — сказал он. — Значит, вы решительно намерены убить себя как артиста?

— Милый господин Цонерер, — тихим голосом сказал я, — вам нетрудно немножко отвернуться от трубки, от вас так и разит пивом прямо мне в лицо.

Он выругался себе под нос на диалекте: «Чучелка, ферт конопатый!» И вдруг рассмеялся:

— Нахальства у вас по-прежнему хоть отбавляй! О чем это мы говорили?

— Об искусстве, — сказал я, — ну, если можно, давайте лучше поговорим о делах.

— Тут нам и говорить не о чем, — сказал он, — я от вас не откажусь, слышите? Вы меня поняли?

Я просто онемел от удивления.

— На полгода мы вас снимем с программы, а потом я снова пушу вас в ход. Надеюсь, этот говнюк из Бохума вас не задел серьезно?

— Задел, — сказал я, — он меня обжулил, зажал бутылку водки и разницу между ценой билета первого и второго класса до Бонна.

— А вы не будьте идиотом, не давайте сбивать себе цену. Контракт есть контракт, а ваш отказ понятен — вы же расшиблись.

— Цонерер, — сказал я тихо, — неужели вы на самом деле человек или вы просто...

— Чушь, — сказал он, — просто я к вам хорошо отношусь. А если вы этого до сих пор не заметили, значит, вы тупее, чем я думал, а кроме того, на вас и сейчас еще подзаработать можно. Только бросьте вы это ребячество, не спивайтесь!

Он был прав. Именно ребячество — другого слова нет. Я сказал:

— А мне помогает.

— В каком отношении?

— В душевном, — сказал я.

— Чушь собачья, — сказал он, — оставьте вы душу в покое. Конечно, можно было бы судиться с Майнцем за нарушение контракта, мы даже могли бы выиграть, но я не советую. Полгода отдыха, а потом я вас опять пуцу в ход.

— А на что мне жить? — спросил я.

— Ну-у, — сказал он. — Папаша, наверно, вам что-нибудь подбросит.

— А вдруг не подбросит?

— Поищите себе славную подружку, пусть вас кормит пока что.

— Нет, уж лучше халтурить, — сказал я, — на велосипеде по деревням, по разным городишкам.

— Ошибаетесь, — сказал он, — в деревнях и в городишках тоже читают газеты, и в данный момент мне вас не продать даже в школьный клуб по двадцать марок за вечер.

— А вы пробовали? — спросил я.

— Да, — сказал он. — Целый день названивал по телефону. Ни черта не вышло. Нет ничего хуже, чем клоун, который вызывает жалость, от этого людей берет тоска. Все равно как если бы кельнер, подавая пиво, подкатил к вашему столику в больничном кресле. Вы строите себе иллюзии.

— А вы? — спросил я. Он промолчал, и я сказал. — Я о том, что, по-вашему, через полгода мне снова стоит попробовать.

— Все возможно, — сказал он, — но это единственный шанс. Конечно, лучше бы переждать с год.

— Ах, с год? — сказал я. — А вы знаете, сколько дней в году?

— Триста шестьдесят пять, — сказал он и опять беззастенчиво дыхнул мне прямо в лицо. От запаха пива меня мутило.

— А может быть, попробовать выступить под другой

фамилией,— сказал я,— наклеить другой нос и номера другие. Петь под гитару, жонглировать.

— Чушь,— сказал он,— от вашего пения уши вянут, в жонглерстве вы жалкий дилетант. Все это чушь. В вас сидит очень сносный клоун, может быть даже совсем хороший, но не являйтесь ко мне, пока вы по крайней мере месяца три не будете тренироваться ежедневно часов по восемь. Тогда приду посмотреть ваши новые номера, а может, и старые, только тренируйтесь, бросьте это дурацкое пьянство.

Я промолчал. Я слышал, как он пыхтит, как затягивается сигаретой.

— Поищите себе опять такую родную душу, как та девушка, что с вами ездила,— сказал он.

— Родную душу,— повторил я.

— Да,— сказал он,— а все остальное чушь. И не воображайте, что обойдетесь без меня и сможете халтурить в каких-то жалких клубах. Этого хватит недели на три, Шнир. Можете на юбилеях каких-нибудь пожарников покривляться, а потом обойти их с шапкой. Но если я об этом узнаю, я тут же вам все пути отрежу.

— Собака вы! — сказал я.

— Да,— сказал он,— лучшей собаки вам не найти, а если начнете халтурить на свой страх и риск, вы, самое большее через два месяца, будете конченным человеком. Я-то это дело знаю. Вы меня слушаете?

Я промолчал.

— Слушаете вы меня? — спросил он негромко.

— Да,— сказал я.

— Я к вам хорошо отношусь, Шнир,— сказал он.— И работали мы с вами неплохо, иначе я не тратил бы столько денег на телефонный разговор.

— Уже больше семи,— сказал я,— значит, вам это удовольствие обойдется от силы в две с половиной марки.

— Да,— сказал он,— может, и в три, но в данный момент ни один агент на вас и того не поставит. Значит, так: через три месяца вы мне покажете не меньше шести отлично отработанных номеров. Выжимайте из своего старика сколько сможете. Все.

И он действительно дал отбой. Я подержал трубку в руке, послушал гудки, подождал и только потом положил трубку на место. Раза два он меня обставлял, но врать никогда не врал. Было время, когда я, наверно, мог бы получать не меньше двухсот пятидесяти марок за

вечер, а он давал мне по договору сто восемьдесят и, должно быть, неплохо на мне зарабатывал. Только повесив трубку, я понял, что он первый человек, с которым я охотно поговорил бы еще. Все-таки он должен был бы дать мне хоть какую-нибудь возможность поработать, не заставляя меня ждать полгода. Неужели не найдется труппы актеров, где я мог бы пригодиться. Я очень легкий, не знаю головокружений и мог бы после небольшой тренировки стать акробатом, а не то отработать с другим клоуном какие-нибудь репризы. Мари всегда говорила, что мне нужен партнер, тогда мне не так будут надоедать мои номера. Нет, Цонерер, безусловно, не обдумал всех возможностей. Я решил позвонить ему немного погодя, ушел в ванную, сбросил халат, сгреб в угол платье и забрался в ванну. Теплая ванна — не меньшее удовольствие, чем сон. На гастролях я всегда, даже когда денег было в обрез, брал номер с ванной. Мари обычно говорила, что в этом расточительстве повинно мое происхождение, но это вовсе не так. Дома у нас так же скупилась на теплую воду для ванны, как и на все остальное. Принимать холодный душ разрешалось в любое время, а теплая ванна и дома считалась расточительством, и даже Анну, охотно закрывавшую глаза на многое другое, тут было трудно переубедить. Видно, в ее «П. П. 9» горячая ванна тоже считалась одним из смертных грехов.

Даже в ванне я скучал по Мари. Бывало, я лежу в ванне, а она мне читает вслух издали, сидя на кровати, один раз она мне прочла из Ветхого завета всю историю царя Соломона и царицы Савской, в другой раз битву Маккавеев, иногда читала главы из романа Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой, ангел». А теперь я лежал всеми брошенный в этой нелепой ржаво-красной ванне — вся мыльница, ручка душа и сиденье на унитазе были ржаво-красного цвета. Мне не хватало голоса Мари. Если подумать, так она даже Библию не сможет читать с Цюпфнером без того, чтобы не почувствовать себя шлюхой или предательницей. Ей сразу вспомнится гостиница в Дюссельдорфе, где она читала мне про Соломона и царицу Савскую, пока я не уснул в ванне от усталости. Зеленые ковры в номере, темные волосы Мари, ее голос, а потом она принесла мне зажженную сигарету, и я ее поцеловал.

Я лежал по горло в мыльной пене и думал о ней. Не может она ничего делать с ним или при нем, не вспоми-

ная меня. Она даже не может в его присутствии завинчивать крышечку от зубной пасты. Как часто мы с ней завтракали, то скудно — впроголодь, то роскошно — досыта, то второпях, то спокойно, ранним утром или около полудня, с полными блюдами джема и совсем без него. При одной мысли, что она каждое утро, в одно и то же время, будет завтракать с Цюпфнером перед тем, как он на своей машине уедет в свое католическое бюро, на меня вдруг напало молитвенное настроение, и я стал просить Бога, чтобы этого никогда не было. «Господи, не допусти ее завтракать с Цюпфнером!» Я попробовал представить себе Цюпфнера: каштановые волосы, белая кожа, высокий, прямой, этакий Алкивиад немецкого католицизма, только легкомыслия того нету. По словам Кинкеля, «хотя он и стоит посреди, но все же скорее справа, чем слева». Эти разговоры про то, кто правый, кто левый, занимали их больше всего. Говоря почестному, я должен был бы и Цюпфнера причислить к тем четверем католикам, которых я считаю настоящими: это папа Иоанн, Алек Гиннес, Мари, Грегори, ну, и Цюпфнер тоже. Конечно, и для него, при всей его влюбленности, играло роль то, что он спас Мари от греха и перенес в праведную жизнь. А в том, что они когда-то держались за ручки, как видно, ничего серьезного не было. Как-то я заговорил об этом с Мари, она очень трогательно покраснела и сказала, что этой их дружбе «способствовало многое»: их отцов одинаково преследовали нацисты, и потом — католицизм и «вся его манера поведения — ну, ты сам знаешь, я и сейчас к нему хорошо отношусь».

Я спустил часть остывшей воды, подлил горячей, подбавил еще немного экстракта. Я подумал о своем отце — он имеет долю и в заводе, где делают экстракты для ванн. Что бы я ни покупал — сигареты, мыло, пишущую бумагу, эскимо на палочке или сосиски, — со всего отец получает свою долю прибыли. Подозреваю, что даже с тех двух сантиметров зубной пасты, которую я расходую, он тоже получает прибыль. Но говорить про деньги у нас в доме считалось неприличным. Когда Анна хотела показать счета маме, проверить их, мама всегда говорила: «Опять про деньги — как противно!» У нее это «и» звучит почти как «ю»: «протьювно». Карманных денег нам почти не давали. К счастью, у нас была огромная родня, и когда их всех скликали, набиралось человек пятьдесят—шестьдесят теток и дядек, и среди них

попадались очень славные: всегда совали нам немного денег, потому что мамина скупость вошла в поговорку. А вдобавок ко всему мать моей матери была из дворян, некая фон Хоэнброде, и моему отцу до сих пор кажется, что его приняли в зятья из милости, хотя фамилия тестя была Тулер и только теща была урожденная фон Хоэнброде. Сейчас немцы помешались на дворянстве, рвутся к нему больше, чем в 1910 году. Даже люди вроде бы вполне интеллигентные готовы передрасться из-за дворянских знакомств. Надо бы обратить внимание мамино-го Объединенного комитета на это дело. Ведь это тоже сущий расизм. Даже такой неглупый человек, как мой дед, до сих пор не может переварить, что Шнирам должны были дать дворянство еще летом 1918 года, что это уже «в основном» было решено, но тут в самую ответственную минуту кайзер, который должен был подписать рескрипт, смылся — видно, у него других забот было предостаточно, если только они у него вообще были. Историю о Шнирах, «в основном» уже получивших дворянство, и по сей день, почти что через полвека, рассказывают при любой okazji. «Рескрипт нашли в папке его величества», — всегда повторяет мой отец. Удивительно, как никто из них не поехал в Дорн и не заставил кайзера подписать этот рескрипт. Я бы непременно послал туда гонца, верхового, — по крайней мере поручение было бы выполнено в соответствующем стиле.

Я вспомнил, как Мари распаковывала чемоданы, когда я уже лежал в ванне, как она останавливалась перед зеркалом, снимала перчатки, приглаживала волосы; как потом вынимала плечики из шкафа, развешивала на них платья, потом снова вешала их в шкаф и как плечики поскрипывали на медной палке. Потом башмаки — тихий стук каблучков, шорох подметок, и как она расставляла свои тюбики, баночки и флакончики на стеклянной крышке туалетного столика: большие банки с кремом, узенький флакончик с лаком для ногтей, пудреница и, с отчетливым металлическим стуком, — карандаши для губ.

Я вдруг заметил, что лежу в ванне и плачу, и тут же сделал неожиданное открытие из области физики: слезы показались мне холодными. Раньше они всегда казались горячими. И я за последние месяцы, когда напивался, часто плакал такими горячими слезами. Я стал думать о Генриетте, об отце, о вновь обращенном Лео и удивился, почему он до сих пор не дал о себе знать.

В первый раз она сказала, что боится меня, когда мы были в Оснабрюкке и я отказался поехать в Бонн, куда ей непременно хотелось съездить — «подышать католической атмосферой». Мне это выражение не понравилось, я сказал, что и в Оснабрюкке католиков достаточно, и тогда она сказала, что я ее просто не понимаю и не хочу понять.

Мы жили в Оснабрюкке уже два дня, между двумя гастролями, впереди было еще три свободных дня. С утра лил дождь, в кино не шло ничего для меня интересного, и я даже не предложил сыграть в «братец-не-сердись». Уже накануне у Мари во время игры было лицо как у очень терпеливой нянюшки.

Мари читала, лежа на кровати, я курил у окна и смотрел то на Гамбургскую улицу, то на вокзальную площадь, где люди перебегали под дождем с вокзала к остановке трамвая. Заниматься «этим» мы тоже не могли. Мари была больна. У нее был не то чтобы настоящий выкидыш, но что-то вроде того. Я не разобрал, в чем дело, и никто мне ничего не объяснил. Во всяком случае, она думала, что забеременела, а теперь все кончилось, хотя она утром пробыла в больнице всего часа два. Она была бледная, усталая, очень раздражительная, и я сказал, что ей, наверно, вредно сейчас ехать так далеко на поезде. Мне очень хотелось узнать обо всем подробнее, не было ли ей больно, но она мне ничего не рассказывала, только иногда плакала какими-то незнакомыми мне, сердитыми слезами.

Этого мальчугана я увидел, когда он проходил слева вверх по улице на вокзал; он промок до костей и под проливным дождем держал перед собой раскрытый школьный портфельчик. Крышку он отвернул и нес его перед собой с таким выражением, какое я видел только на картинках, где изображены волхвы, несущие в дар младенцу Христу золото, ладан и смирну. Я разглядел мокрые, почти расплзшиеся обложки учебников. Выражение его лица напомнило мне Генриетту: такая в нем была отрешенность, такое благоговейное упоение. Мари спросила меня с кровати:

— О чем ты думаешь?

И я сказал:

— Ни о чем.

Я видел, как мальчик перешел вокзальную площадь, очень медленным шагом, и исчез в подъезде вокзала. Мне стало за него страшно. За эти блаженные четверть часа он минут пять будет горько расплачиваться: вопли мамыши, огорченный отец, в доме нет денег на новые книжки и тетради.

— О чем ты думаешь? — опять спросила Мари,

Я чуть опять не ответил: «Ни о чем», потом вспомнил о мальчике и рассказал, о чем я думаю, — как этот мальчик вернется домой, в какую-нибудь соседнюю деревню, и как он, должно быть, начнет врать, потому что все равно никто не поверит, что он сделал. Он расскажет, как он поскользнулся, как его портфель упал в лужу или как он его только на минуту поставил на землю, под самую водосточную трубу, и вдруг оттуда хлынул целый поток, прямо на книжки. Рассказывал я это все Мари тихим монотонным голосом, и она вдруг спросила с кровати:

— Не понимаю, зачем ты мне рассказываешь всю эту чепуху?

— Потому что я именно об этом думал, когда ты спросила.

Она не поверила про мальчика, и я рассердился. Никогда мы друг другу не лгали, никогда один из нас не подозревал другого во лжи. Я так рассвирепел, что заставил ее встать, обуться и побежать со мной на вокзал. Второпях я забыл зонтик, мы промокли, но мальчика на вокзале не нашли. Мы прошли по залу ожидания, зашли даже в бюро добрых услуг, наконец, я спросил у контролера при выходе, не ушел ли только что какой-нибудь поезд. Он сказал:

— Да, ушел, две минуты назад на Бомте.

Я спросил, не проходил ли тут мальчик, совершенно промокший, белокурый, примерно такого вот роста, и он подозрительно спросил:

— А в чем дело? Спер что-нибудь?

— Нет, — сказал я, — я только хотел узнать, уехал он или нет. — Мы оба — и Мари и я — стояли мокрые, он подозрительно осмотрел нас с ног до головы.

— Вы рейнландцы? — спросил он. Это звучало так, будто он спросил: «Вы уголовники?»

— Да, — сказал я.

— Справки такого рода я могу давать только с согласия начальства, — сказал он.

Как видно, он напоролся на какого-нибудь жулика с Рейна, скорее всего в армии. Я знал одного рабочего сцены, которого как-то в армии надул один берлинец, и с тех пор каждый житель и каждая жительница Берлина стали для него личными врагами. Когда выступала одна берлинская артистка, он вдруг выключил свет — она оступилась и сломала ногу. Никто не поверил, как это случилось, сказали: «Короткое замыкание», но я уверен, что этот рабочий нарочно выключил свет, потому что девушка была из Берлина, а его когда-то в армии надул берлинец. Этот контролер у выхода так смотрел на меня, что мне стало жутко.

— Я держал пари с этой дамой, — сказал я, — речь идет о пари. — Слова прозвучали фальшиво, потому что это было вранье, а по мне сразу видно, когда я вру.

— Так, — сказал он, — пари держали? Да, вашему брату, с Рейна, только дай волю.

Толку от него добиться было невозможно. Я подумал: не взять ли такси, доехать до Бомте, там подождать на вокзале поезда и посмотреть, как оттуда выйдет мальчик. Но ведь он мог вылезти на какой-нибудь захолустной станции до или после Бомте. Мокрые, промерзшие насквозь, мы вернулись в отель. Я завел Мари в бар внизу, стал у стойки, обнял ее за плечи и заказал коньяк. Хозяин, он же владелец отеля, посмотрел на нас так, будто ему хотелось тут же позвать полицию. Накануне мы целый божий день играли в «братец-не-сердись» и заказывали в номер бутерброды с ветчиной и чай, а утром Мари уехала в больницу и вернулась бледная. Он со стуком поставил перед нами рюмки с коньяком, выплеснув половину и демонстративно не глядя в нашу сторону.

— Ты мне не веришь? — спросил я Мари. — Про этого мальчика?

— Нет, — сказала она, — я тебе верю.

Сказала она это только из жалости, а вовсе не потому, что действительно поверила, а я злился, потому что у меня не хватало смелости отчитать хозяина за выплеснутый коньяк. Рядом с нами грузный дядя, причмокивая, пил пиво. После каждого глотка он слизывал пену с губ и смотрел на меня так, будто хотел со мной заговорить. Ужасно боюсь разговаривать с полупьяными немцами определенного возраста, они всегда заводят

речь о войне, считают, что все это было здорово, а когда напьются окончательно, выясняется, что они — убийцы и ничего «особенно плохого» в этом не видят. Мари дрожала от холода и неодобрительно покачала головой, когда я пододвинул наши пустые рюмки хозяину. Я с облегчением увидел, что на этот раз он подал их нам осторожно, не пролив ни капли. Я уже не чувствовал себя трусом. Наш сосед по стойке высосал рюмку и забормотал себе под нос:

— В сорок четвертом мы ведрами пили — что водку, что коньяк, да, в сорок четвертом, ведрами, а остатки — на мостовую и подпалить!.. Лишь бы этим раззявам ни капли не осталось... — Он захохотал: — Да, ни единой капли!

Когда я снова пододвинул хозяину наши рюмки через стойку, он наполнил только одну и вопросительно взглянул на меня перед тем, как налить вторую, и только тут я заметил, что Мари ушла. Я кивнул, и он налил вторую рюмку. Я выпил обе и до сих пор радуюсь, что сразу после этого ушел. Мари плакала, лежа на кровати в номере, и когда я положил ей руку на лоб, она ее отодвинула, тихо, ласково, но все-таки отодвинула. Я сел рядом, взял ее руку, и она ее не отняла. Я обрадовался. Уже стемнело, и я целый час просидел возле нее на кровати, держа ее руку, прежде чем заговорить. Я говорил тихо, снова повторил всю историю про мальчика, и она пожала мою руку, как будто хотела сказать: «Да, да, я тебе верю». Потом я ее попросил объяснить мне подробнее, что с ней сделали в больнице, она сказала, что это «женское» и «безвредно, но отвратительно». Я испугался, услышав слово «женское». До сих пор почему-то оно звучит для меня таинственно и страшно, в этих делах я совершенный профан. Я три года прожил с Мари, прежде чем впервые услышал про «женские болезни». Конечно, я знал, что у женщин рождаются дети, но никаких подробностей себе не представлял. Мне было двадцать четыре года, Мари уже три года была моей женой, когда я узнал, как это бывает. Мари тогда рассмеялась, поняв, до чего я наивен. Она прижала мою голову к груди и все повторяла: «Ты прелесть, ты просто прелесть!» Потом мне уже обо всем рассказал Карл Эмондс, мой школьный товарищ, который вечно занимается своими ужасными противозачаточными выкладками.

Попозже я пошел в аптеку, принес снотворное для

Мари и сидел у ее постели, пока она не уснула. До сих пор я не знаю, что с ней было и какие осложнения вызвали ее «женские дела». Наутро я пошел в городскую библиотеку и прочел в энциклопедии все, что про них написано, и мне стало легче. После обеда Мари одна уехала в Бонн, взяв только маленький чемоданчик. Она и не просила, чтобы я тоже поехал с ней. Она только сказала:

— Значит, послезавтра встретимся во Франкфурте.

Вечером, когда пришли из полиции нравов, я обрадовался, что Мари уехала, хотя ее отсутствие причинило мне большие неприятности. Наверно, на нас донес хозяин, разумеется, я всегда говорил, что Мари моя жена, и только раз или два возникали какие-то затруднения. Но тогда, в Оснабрюкке, было очень неприятно. Пришли двое, мужчина и женщина, оба в штатском, очень вежливые и какие-то очень сдержанные — наверно, их там муштруют, учат «производить хорошее впечатление». Некоторые формы полицейской вежливости мне особенно неприятны. Женщина была довольно красивая, очень мило подкрашенная, села только после того, как я ей предложил, даже взяла сигарету, в то время как ее коллега «незаметно» оглядывал наш номер.

— Фройляйн Деркум уже не с вами?

— Нет,— сказал я,— она уехала немного раньше, послезавтра мы встретимся во Франкфурте.

— Вы артист?

Я сказал:

— Да.— Хотя это не совсем так, но я подумал, что проще сказать «да».

— Вы нас должны понять,— сказала чиновница,— нам приходится проводить кое-какие обследования, когда у приезжих бывают абортивные...— она кашлянула,— заболевания.

— Я все понимаю,— сказал я, хотя в энциклопедии ничего про «абортивные заболевания» сказано не было. Мужчина отказался сесть вполне вежливо и продолжал незаметно осматриваться.

— Ваш домашний адрес? — спросила женщина. Я дал ей наш боннский адрес. Она встала. Ее спутник посмотрел на открытый платяной шкаф.

— Это платья фройляйн Деркум? — спросил он.

— Да,— сказал я.

Он «многозначительно» взглянул на свою спутницу, но та пожала плечами, он тоже; потом он еще раз

тщательно осмотрел ковер, заметил пятно, нагнулся и посмотрел на меня, словно ожидая, что я сейчас сознаюсь в убийстве. Потом они ушли. До самого конца этой комедии они были отменно вежливы. Как только они вышли, я торопливо уложил вещи, велел подать счет, вызвал с вокзала носильщика и уехал ближайшим поездом. Я заплатил хозяину гостиницы даже за недожитый день. Вещи я послал багажом во Франкфурт и сел в первый же поезд, отправлявшийся на юг. Мне было страшно, хотелось поскорее уехать. Укладывая вещи, я увидел кровь на полотенце Мари. Мне было страшно даже на перроне, пока я ждал франкфуртского поезда, — все казалось, что сейчас чья-то рука ляжет мне на плечо и голос сзади проговорит: «Сознаетесь?» Я бы, наверно, сознался в чем угодно. Около полуночи я проезжал Бонн. Но мне и в голову не пришло выйти.

Я доехал до самого Франкфурта, прибыл туда около четырех утра, остановился в очень дорогой гостинице и позвонил Мари в Бонн. Я боялся, что ее не будет дома, но она сразу подошла к телефону и сказала:

— Ганс! Ну слава богу, что ты позвонил, я так беспокоилась.

— Беспокоилась? — сказал я.

— Да, — сказала она, — я звонила в Оснабрюкк и узнала, что ты уехал. Я сейчас же еду во Франкфурт, сию минуту.

Я принял ванну, велел подать себе в номер завтрак, уснул, и в одиннадцать утра меня разбудила Мари. Ее будто подменили — такая она была милая, такая веселая, и когда я ее спросил: «Ну как, надышалась католической атмосферой?» — она засмеялась и поцеловала меня. Про полицию я ей ничего не сказал.

13

Я подумал: не сменить ли воду еще раз. Но вода совсем остыла, я почувствовал, что пора выходить. От ванны колену не стало легче, оно еще больше распухло и почти не разгибалось. Вылезая из ванны, я поскользнулся и чуть не упал на красивые плитки пола. Я решил сейчас же позвонить Цонереру и предложить, чтобы он включил меня в какую-нибудь труппу. Я вытерся, закурил и посмотрел на себя в зеркало — я здорово исхудал. Когда зазвонил телефон, у меня на минуту

мелькнула надежда, что это Мари. Но ее звонки звучали не так. Может быть, это Лео. Я прохромал в столовую, снял трубку и сказал:

— Алло!

— А-а! — сказал голос Зоммервильда. — Надеюсь, я не помешал вам делать двойное сальто.

— Я не акробат, — злобно сказал я, — я только клоун, а между клоунами и акробатами такая же разница, как между иезуитами и доминиканцами. И если уж я буду делать что-нибудь двойное, так только двойное убийство.

Он рассмеялся.

— Шнир, Шнир, — сказал он. — Вы меня тревожите всерьез. Кажется, вы приехали в Бонн, чтобы всем нам объявить войну по телефону?

— Я вам, что ли, позвонил, — сказал я, — или вы мне?

— Ах, — сказал он, — неужели это так существенно?

Я промолчал.

— Мне очень хорошо известно, — сказал он, — что вы плохо ко мне относитесь, может быть, вас это удивит, но я-то к вам отношусь хорошо, и вы должны признать за мной право и по отношению к вам проводить в жизнь те принципы, в которые я верю и которые я представляю.

— Только насильно, — сказал я.

— Нет, — сказал он очень отчетливо, — нет, никак не насильно, но именно так, как того пожелало бы лицо, о котором идет речь.

— Зачем вы говорите «лицо», а не Мари?

— Потому что мне важно сохранить в этом деле всю возможную объективность.

— В этом ваша грубейшая ошибка, прелат, — сказал я, — тут все настолько субъективно, насколько это вообще возможно.

Мне было холодно в одном халате, сигарета намокла и не тянула как следует.

— Я не только вас, я и Цюпфнера убью, если Мари не вернется, — сказал я.

— Ах, Бог мой, — раздраженно сказал он, — не впутывайте вы Гериберта в эту историю.

— А вы остряк, — сказал я, — какой-то тип отнимает у меня жену, и именно его я не должен впутывать в эту историю.

— Он не какой-то тип, а фройляйн Деркум не ваша жена, и он ее не отнимал, она сама ушла.

— Совершенно добровольно, да?

— Да,— сказал он,— совершенно добровольно, хотя, может быть, в ней и шла борьба между человеческим и надчеловеческим.

— Ах вот как,— сказал я,— а в чем же тут надчеловеческое?

— Шнир,— раздраженно сказал он,— я верю, несмотря на все, что вы неплохой клоун, но в теологии вы ничего не понимаете.

— Ну, уж настолько-то я понимаю,— сказал я,— понимаю, что вы, католики, по отношению ко мне, неверующему, так же жестоки, как иудеи по отношению к христианам, а христиане — к язычникам. Все время только и слышишь: закон, теология, а в сущности речь идет об идиотском клочке бумаги, который выдает государство, да, государство.

— Вы путаете повод и причину,— сказал он,— но я понимаю вас, Шнир, да, я вас понимаю,— повторил он.

— Ничего вы не понимаете,— сказал я,— а в результате получится двойное прелюбодеяние. Первое — когда Мари выйдет замуж за вашего Гериберта, а второе — когда она в один прекрасный день убежит со мной. Конечно, я не такой утонченный, я не художник, и, главное, я не настолько верующий христианин, чтобы мне прелат мог сказать: «Ах, Шнир, ну что вам стоило и дальше жить во грехе?»

— Вы не восприняли теологическую суть несоответствия между вашим случаем и тем, о котором мы тогда спорили.

— А какое же тут несоответствие? — сказал я.— Может быть, то, что Безевиц благоразумнее и для вашего круга — хороший двигатель веры?

— Нет,— и тут он искренне рассмеялся,— здесь несоответствие в церковно-правовом отношении. Б. жил с разведенной женой, с которой он никак не мог вступить в церковный брак, а вы — ведь фройляйн Деркум не была разведена, и вашему браку ничего не препятствовало.

— Да я уже согласился было все подписать,— сказал я,— и даже принять католичество.

— Согласились, но с каким пренебрежением.

— Что же мне, лицемерить, притворяться, будто я что-то чувствую, во что-то верю, когда этого нет? Если вы настаиваете на законе, на праве, то есть на чистейших формальностях, зачем вы упрекаете меня в отсутствии чувства?

— Ни в чем я вас не упрекаю.

Я промолчал. Он был прав, и мне стало неприятно. Да, Мари ушла сама, ее, разумеется, приняли с распростертыми объятиями, но, если бы она захотела остаться со мной, никто не мог бы заставить ее уйти.

— Алло, Шнир,— сказал Зоммервильд.— Вы тут?

— Да,— сказал я,— я еще тут.— Я совсем иначе представлял себе наш с ним разговор по телефону. Разбудить бы его часа в три ночи, обругать, пригрозить.

— Чем я могу вам помочь? — тихо спросил он.

— Ничем,— сказал я,— и даже если вы мне скажете, что эти тайные совещания в ганноверском отеле созывались исключительно для того, чтобы укрепить Мари в ее верности мне, я вам поверю.

— Очевидно, вы не осознали, Шнир,— сказал он,— что в ваших отношениях с фройляйн Деркум наступил кризис.

— И тут-то вы сразу и влезли,— сказал я,— сразу показали ей законный и благочестивый выход, как от меня уйти. А я-то считал, что католическая церковь против развода.

— О, Господи Боже, Шнир,— крикнул он,— не можете же вы требовать, чтобы я, католический пастырь, укреплял в женщине намерение жить во грехе!

— Почему бы и нет? — сказал я.— Вы же толкаете ее на прелюбодеяние, на измену; что ж, если вы, как католический пастырь, за это отвечаете, отлично!

— Ваш антиклерикализм меня поражает. Я встречал его только у католиков.

— Все я не антиклерикал, не выдумывайте, я просто анти-Зоммервильд, потому что вы ведете нечестную игру, двурушничаете.

— Бог мой,— сказал он,— это еще почему?

— Послушать ваши проповеди, так сердце у вас раскрытое, что твой парус, а потом вы каверзничаєте и шушукаетесь по гостиничным закоулкам. Пока я зарабатываю хлеб в поте лица, вы сговариваетесь с моей женой, не выслушав меня. Это нечестно, это двурушничество, впрочем, чего еще ждать от эстета?

— Бранитесь сколько угодно,— сказал он,— обижайте меня. Я так хорошо вас понимаю.

— Ни черта вы не понимаете, вы опоили Мари каким-то гнусным пойлом, а я люблю пить чистые напитки: мне чистый самогон милее, чем разбавленный коньяк.

— Говорите, говорите,— сказал он,— чувствуется, что вы это переживаете всей душой.

— Да, переживаю, прелат, и душой и телом, потому что речь идет о Мари.

— Настанет время, Шнир, когда вы осознаете, что были глубоко не правы по отношению ко мне. И в этом деле, да и вообще,— в его голосе слышались почти слезливые нотки,— а что касается моего пошла, так не забывайте, что многих людей мучает жажда, и лучше напоить их любимым пойлом, чем совсем не давать пить.

— Но ведь в вашем Священном писании говорится о чистой, прозрачной воде. Почему же вы ею не поите людей?

— Может быть, потому,— сказал он, и голос его дрогнул,— что я, если продолжать вашу аналогию, стою в конце цепи, черпающей воду из источника, может быть, я — сотый или тысячный в этой цепи, и вода доходит до меня уже не такой чистой. И еще одно, Шнир,— вы слушаете?

— Слушаю,— сказал я.

— Можно любить женщину и не сожительствуя с ней.

— Вот как? — сказал я.— Теперь вы начнете разговор про Деву Марию.

— Не издевайтесь, Шнир,— сказал он,— это вам не к лицу.

— Вовсе я не издеваюсь,— сказал я,— я вполне могу уважать то, чего не понимаю. Но я считаю роковой ошибкой ставить Деву Марию в пример молодой девчонке, которая не собирается уходить в монастырь. Однажды я даже сделал об этом доклад.

— Вот как? — спросил он.— Где же это?

— Тут, в Бонне,— сказал я,— перед девочками из группы Мари. Я приехал из Кёльна к ним на вечер, развлек их двумя-тремя номерами и побеседовал о Деве Марии. Спросите Монику Сильвс, прелат. Конечно, я не мог разговаривать с молодыми девицами о том, что у нас называется «плотским вожделением». Вы меня слушаете?

— Да, слушаю и удивляюсь,— сказал он.— Вы начинаете говорить грубости.

— Фу-ты, черт! — сказал я.— Послушайте, прелат, весь процесс, предшествующий зачатию ребенка,— довольно грубое дело. Пожалуйста, если вам приятнее, можем побеседовать об аистах. Но все, что проповедуется и внушается насчет этого грубого дела,— все это

ханжество, лицемерие. В глубине души вы считаете, что это свинство надо хотя бы узаконить браком, раз оно в природе человека, или же создаете себе иллюзии и отделяете все плотское от остального, что имеет к этому отношение. Но это-то остальное и есть самое сложное. Даже законная жена, которая через силу терпит своего законного мужа,— это не только плоть, даже самый грязный пьяница, идущий к проститутке, не одна только плоть, так же как и она сама, эта проститутка. Вы обращаетесь со всем этим, как с бенгальским огнем, а это — динамит.

— Шнир,— сказал он,— удивительно, как много вы об этом думали.

— Удивительно? — закричал я.— Вы бы лучше удивлялись на тех безжалостных сволочей, которые относятся к женам как к своей законной собственности. Вы спросите Монику Сильвс, что я тогда говорил девушкам. С тех пор как я понял, что я мужского пола, я почти ни о чем другом так серьезно не думал, чего же вы удивляетесь?

— Но у вас нет никакого, просто ни малейшего представления, о *праве*, о *законе*. Ведь как бы сложны эти вопросы ни были, их необходимо как-то упорядочить.

— Да,— сказал я,— знаем мы, как вы наводите порядок. Вы загоняете природу на путь, который сами называете прелюбодеянием, а когда эта природа вмешивается в брак, вы играете на страхе. Исповедь, прощение, грех — и так далее. Все упорядочено, все законно.

Он рассмеялся. Смех был какой-то гнусный.

— Шнир,— сказал он,— теперь я понял, что с вами творится. Вы просто моногамны, как осел.

— Вы даже в зоологии ни черта не понимаете,— сказал я.— А уж в *гомо сапиенс* и подавно. Ослы вовсе не однолюбы, хотя у них и благочестивый вид. Среди ослов царит полнейшая распущенность. Моногамны вороны, колюшки, галки, иногда носороги.

— Но только не Мари,— сказал он. Очевидно, он понял, как больно меня задела эта короткая фраза, потому что тихо добавил: — Очень жаль, Шнир, что мне пришлось вам это сказать, вы мне верите?

Я промолчал. Я выплюнул горящий окурок на ковер, видел, как рассыпались искры, выжигая мелкие черные дырочки в ковре.

— Шнир,— просительно окликнул он меня,— поверьте хотя бы, что мне тяжело вам это говорить.

— А не все ли равно,— сказал я,— в чем я вам верю? Хорошо, пожалуйста, я вам верю.

— Вы только что так много говорили о зове природы,— сказал он,— вам надо было бы последовать этому зову, поехать вслед за Мари, бороться за нее.

— Бороться! — сказал я.— А разве есть такое слово в ваших проклятых законах о браке?

— Но вы с фройляйн Деркум не состояли в браке.

— Хорошо,— сказал я.— Пусть будет так. Не состояли. Но я чуть ли не каждый день пробовал к ней дозвониться, я ей каждый день писал.

— Знаю,— сказал он,— знаю. Теперь уже поздно.

— Значит, теперь осталось только нарушить этот брак,— сказал я.

— Нет, вы на это не способны,— сказал он.— Я знаю вас лучше, чем вы думаете, и можете браниться и угрожать мне сколько угодно, я буду повторять одно: самое страшное в вас то, что вы очень наивный, я бы даже сказал — очень чистый человек. Чем же мне вам помочь?.. Может быть...

Он замолчал.

— Вы хотите сказать — деньгами? — сказал я.

— Да, и деньгами, но я имел в виду ваши профессиональные дела.

— Может быть, мне помощь и понадобится,— сказал я,— и денежная, и деловая. Так где же Мари?

Я услышал его дыхание и в тишине впервые почувствовал какой-то запах: пахло некрепким лосьоном для бритья, немного красным вином и еще сигарой, но очень слабо.

— Они уехали в Рим,— сказал он.

— Медовый месяц, что ли?

— Так оно называется,— сказал он.

— Для полного бл...ства,— сказал я. Я повесил трубку, не сказав «спасибо» или «до свидания». Я видел черные дырочки, которые прожгла сигарета в ковре, но слишком устал, чтобы наступить на сигарету, затушить искры. Мне было холодно, колено болело. Слишком долго я просидел в ванне.

Со мной Мари ехать в Рим не захотела. Она покраснела, когда я ей предложил поехать, и сказала: «В Италию — пожалуйста, но только не в Рим». И когда я ее спросил: «Почему?» — она сказала: «Неужели ты не понимаешь?» — «Нет», — сказал я. Но она мне ничего не объяснила. А я бы с удовольствием поехал с ней в Рим,

посмотрел бы на папу, мне кажется, что я даже стал бы ждать часами на площади Св. Петра, а потом, когда он подойдет к окну, хлопал бы в ладоши и кричал «эввива!». Но когда я это объяснил Мари, она страшно рассердилась. Она сказала, что это «какое-то извращение», когда агностик вроде меня собирается приветствовать святейшего отца. Она просто ревновала. Я часто замечал это за католиками: они берегут свои сокровища — папу, святое причастие, — как скупцы. А кроме того, я не знаю ни одной группы людей, которая так много мнит о себе, как они. Они во всем мнят о себе бог знает что — и в том, чем сильна их церковь, и в том, в чем ее слабости, и от каждого, в ком они предполагают хоть искру ума, ждут обращения в свою веру. Может быть, Мари потому и не поехала со мной в Рим, что там ей особенно пришлось бы стыдиться нашей с ней грешной связи. Во многих вещах она была очень наивна, да и особым умом тоже не отличалась. Но поехать туда сейчас, с Цюпфнером, — это уже была подлость. Наверно, они получают аудиенцию, и бедный папа будет называть ее «дочь моя», а Цюпфнера — «сын мой», не подозревая, какие прелюбодеи и распутники преклоняют перед ним колени. Может быть, она поехала с Цюпфнером в Рим и потому, что там ей ничто не напоминало обо мне. Мы с ней побывали в Неаполе, в Венеции и во Флоренции, в Париже и Лондоне и во многих немецких городах. В Риме у нее не возникнет никаких воспоминаний, и там-то она вволю надышится «католической атмосферой». Я решил все-таки еще раз позвонить Зоммервильду и сказать ему, что особенной низостью с его стороны я считаю насмешки над тем, что я однолюб. Но почти всем образованным католикам свойственна эта низость — вечно они прячутся за каменную стену догм и швыряются вырубленными из догм принципами, но, если их всерьез поставить лицом к лицу с их «непоколебимыми истинами», они усмеваются и кивают на «человеческую природу». В крайнем случае они напускают на себя этакую циничную усмешечку, словно только что побывали у самого папы и он им уделил частицу своей непогрешимости. Во всяком случае, стоит только всерьез принять все эти невероятные истины, которые они хладнокровно изрекают, и ты для них сразу становишься либо «протестантом», либо человеком, лишенным чувства юмора. Заговоришь с ними всерьез о браке — они тотчас же выставят своего Генриха Восьмого: из этой пушки они уже триста лет стреляют,

хотят доказать, как твердокаменна их церковь; но если они хотят доказать, как она великодушна, они начинают рассказывать анекдоты про Безевица, повторять шуточки епископов, впрочем, это они делают только среди «посвященных» — читай «образованных и интеллигентных», и тут уж роли не играет, левые это или правые. Когда я предложил Зоммервильду повторить историю с Безевицем с кафедры, он просто взбесился. С кафедры, когда речь идет о браке, они стреляют только из своей главной пушки — из Генриха Восьмого. Полцарства за брак! Право! Закон! Догма!

Меня мутило от разных причин: физически — потому что с утра, после жалкого завтрака в Бохуме, я ничего, кроме коньяка и сигарет, в рот не брал, душевно — потому что я представил себе, как Цюпфнер в римской гостинице смотрит на Мари, когда она одевается. Наверно, он даже роется в ее белье. Этим тщательно прилизанным, интеллигентным, справедливым и образованным католикам нужны жалостливые женщины. Мари совсем не подходила для Цюпфнера. Именно для такого, как он, всегда безукоризненно одетого — достаточно модно, чтобы не казаться старомодным, но не настолько модно, чтобы казаться франтом, — для такого человека, который по утрам щедро обливается холодной водой и чистит зубы с таким рвением, словно хочет поставить рекорд, — нет, для такого человека Мари недостаточно умна и даже дольше его возится по утрам с одеванием. Такой тип, перед тем как его проведут к папе на аудиенцию, непременно обмахнет носовым платком пыль с башмаков. Мне даже стало жаль папу, перед которым они будут стоять на коленях. Он улыбнется доброй улыбкой, всем сердцем радуясь при виде этой красивой, симпатичной католической немецкой четы, — и его опять обманут. Разве он может заподозрить, что благословил двух прелюбодеев?

В ванной я растерся как следует, оделся, пошел на кухню и поставил греть воду. Моника обо всем подумала. На плите лежали спички, смолотый кофе стоял в плотно закупоренной коробке, рядом — фильтр, в холодильнике — ветчина, яйца, овощные консервы. Но я люблю возиться на кухне, только если это единственная возможность удрать от «взрослых» разговоров. Когда Зоммервильд начинает распространяться об «эросе», Блотерт выдавливая из себя «ка-ка-ка... канцлер» или Фредебойль произносит ловко скомпилированную речь

о Кокто, тогда, конечно, лучше всего удрать на кухню и там выжимать майонез из тюбиков, разрезать оливки, мазать ливерную колбасу на хлеб. Но если мне надо одному что-то готовить для себя на кухне, я совсем теряюсь. От одиночества руки становятся неловкими, а когда надо открывать консервы или выпускать яйца на сковороду, на меня нападает глубокая меланхолия. Я вообще не закоренелый холостяк. Когда Мари болела или работала — одно время в Кёльне она служила в писчебумажном магазине, — мне ничего не стоило заниматься хозяйством, а когда у нее был первый выкидыш, я даже выстирал белье, пока наша хозяйка еще не успела вернуться из кино.

Мне удалось открыть банку фасоли, не поранив рук, и, наливая кипяток в фильтр для кофе, я думал о доме, который выстроил себе Цюпфнер. Два года назад я там побывал.

14

Я представил себе, как она в темноте возвращается в этот дом. Ровно подстриженный газон в лунном свете кажется почти голубым. У гаража — срезанные ветки, их там сложил садовник. Между кустами дрока и шиповника — баки с мусором, их скоро увезут. Пятница. Она уже знает, чем будет пахнуть на кухне — рыбой; знает, какие записки найдет в комнатах — от Цюпфнера, на телевизоре: «Срочно надо было зайти к Ф. Целую. Гериберт», и вторая, на холодильнике, от служанки: «Ушла в кино, буду в десять. Грета (Луиза, Биргит)».

Открыть гараж, зажечь свет: на белой стене тень от детского самоката и старой швейной машины. Цюпфнеровский «мерседес» на месте, значит, он пошел пешком: «Воздухом подышать, немножко подышать». По грязи на колесах и крыльях было видно, что он много разъезжал по Айфелю, говорил речи на собраниях Союза молодежи Германии («держаться заодно, думать заодно, страдать заодно»).

Взгляд наверх — в детской тоже темно. Соседние дома отделены подъездными дорожками и широкими грядами. Болезненный отсвет телевизоров. Тут возвращение мужа или отца домой — только помеха, даже возвращение блудного сына было бы помехой, и для него не только не зарезали бы упитанного тельца, для него

и куренка не зажарили бы — только буркнули бы, что в холодильнике осталась ливерная колбаса.

По субботам соседи общались между собой: когда мячики перелетали через заборы, убегали котята или щенки, тогда мячики перекидывались обратно, а котята — «ах, какой душка!» — или щенки — «ах, какой душка!» — возвращались хозяевам через калитки или через заборы. Приглушенное раздражение, никаких личных намеков; только изредка из ровного, спокойного голоса высовывается острая шпилька, она царапает безмятежное небо добрососедских отношений, и всегда по какому-нибудь пустячному поводу: со звоном разбилось блюдце, чужой мяч помял цветы, детская рука швырнула горсть камешков прямо в лакированный бок машины, вымытое, наглаженное белье забрызгали из садового шланга — только из-за таких пустяков повышаются спокойные голоса, которые никогда не позволяют себе повыситься из-за лжи, измены, аборт.

— Ах, у тебя просто уши слишком чувствительны, прими какое-нибудь лекарство.

— Не принимай, Мари.

Открытая входная дверь, тишина, приятное тепло. Маленькая Марихен спит наверху. Да, все пойдет быстро: свадьба в Бонне, медовый месяц в Риме, беременность, роды — и каштановые локоны на белоснежной детской подушке. Помнишь, как он показывал нам этот дом и бодро провозгласил: «Тут хватит места для двенадцати ребятишек!» — и как теперь по утрам за завтраком он окидывает тебя взглядом, с невысказанным вопросом на губах: «Ну как?» — а простодушные люди, его дружки по партии и церкви, после третьей рюмки коньяку восклицают: «От одного до двенадцати грубо ориентировочно еще одиннадцати не хватает!»

В городе перешептываются. Ты опять ходила в кино, в такой чудесный солнечный день — в кино. И снова в кино, и снова.

А весь вечер одна в их кругу, дома у Блотерта, и в ушах только «ка-ка-ка», и дальше ничего, даже не «...нцлер», не «...толон». Как чужеродное тело, перекачивается это слово у тебя в ушах. Похоже на «эталон» и еще на название какой-то опухоли. В Блотерте сидит что-то вроде счетчика Гейгера, он обнаруживает при помощи его, есть в человеке «католон» или нету: «В этом есть — в этом нету — в этом есть». Как ромашку обрывают: любит — не любит. Она меня любит. На «католон»

проверяются футбольные команды, друзья по партии, правительство и оппозиция. Его ищут, как расовый признак,— и не находят: нос нордический, а рот — романский. Но в одном человеке этот «католон» есть, он им доверху начинен, тем, чего так жаждут, так алчут другие. Это Блотерт, но берегись его взгляда, Мари, в нем запоздалое вожделение, семинарское представление о шестой заповеди, и когда он рассуждает о небызывестных грехах, он говорит только по-латыни: ин сексто, де сексто. Ну конечно, звучит как «секс». А его милые детки! Старшим — восемнадцатилетнему Губерту и семнадцатилетней Маргрет — он разрешает лечь попозже, чтобы им на пользу пошли разговоры старших. О «католоне», о сословном государстве, о смертной казни — от этих слов в глазах госпожи Блотерт вспыхивают какие-то странные огоньки, а голос срывается на высокие нотки, смесь какого-то плотоядного смеха и слез. Ты пыталась утешиться плоским «левацким» цинизмом Фредебойля — напрасно! Напрасно ты пыталась рассердиться на плоский «правый» цинизм Блотерта. Есть чудесное слово: «Ничто». Думай ни о чем. Ни о канцлере, ни о «католоне», думай о клоуне, который плачет в ванне и расплескивает кофе себе на туфли.

15

Я воспринимал этот звук, но безотносительно к себе, я слышал его часто, но мне не приходилось на него отзываться: у нас дома на дверной звонок отзывались горничные, а в лавке Деркумов я тоже часто слышал дверной звонок, но никогда не отвечал на него. В Кёльне мы жили в пансионе, в отелях звонит только телефон. И сейчас я слышал звонок, но не отвечал на него. Мне он казался незнакомым, да и слышал я его у себя в квартире только дважды: один раз, когда мальчишка принес молоко, и второй, когда Цюпфнер прислал Мари чайные розы. Когда принесли розы, я лежал в кровати, Мари вошла ко мне, показала розы, с восхищением окунула лицо в букет, и тут вышло ужасно глупое недоразумение: я подумал, что розы прислали мне. Случалось, что поклонницы посылали мне цветы в отель. Я сказал Мари:

— Чудесные розы, оставь их себе!

А она посмотрела на меня и сказала:

— А их мне и прислали!

Я покраснел. Мне стало неловко, я вспомнил, что никогда не посылал цветов Мари. Конечно, я ей отдавал все цветы, которые мне преподносили на выступлениях, но я никогда не покупал цветов специально для нее, да и за букеты, которые мне преподносили, тоже обычно приходилось платить самому.

— Кто же это их прислал? — спросил я.

— Цюпфнер, — сказала она.

— Что за чертовщина! — сказал я. — Это еще зачем? — Я вспомнил, как они держались за ручки.

Мари покраснела и сказала:

— А почему он не может посылать мне цветы?

— Вопрос надо ставить по-другому, — сказал я, — почему он должен посылать тебе цветы?

— Мы давным-давно знакомы, — сказала она, — может быть, он даже мой поклонник.

— Отлично, — сказал я, — пусть его поклоняется, но посылать такие огромные дорогие букеты просто назойливо. Больше того, это безвкусно.

Она обиделась и вышла из комнаты.

Когда пришел мальчишка из молочной, мы сидели в столовой, и Мари открыла двери и отдала ему деньги. Гости у нас тут были только раз: приходил Лео, тогда он еще не принял католичество, но звонить ему не пришлось — он поднялся вместе с Мари.

Звонок звенел как-то странно — робко и вместе с тем упорно. Я страшно испугался — а вдруг это Моника, вдруг ее под каким-нибудь предлогом прислал Зоммервильд? На меня сразу напал нибелунговский комплекс. Я выбежал в мокрых туфлях в прихожую и никак не мог найти кнопку, на которую нужно было нажать. Пока я ее искал, я вспомнил, что у Моника есть ключ от квартиры. Наконец я нашел кнопку, нажал ее и услышал снизу шум, как будто большой шмель забился о стекло. Я вышел на площадку и встал у лифта. Зажегся сигнал «занято», потом вспыхнула единица, потом двойка, я беспокойно смотрел на цифры и вдруг заметил, что рядом со мной кто-то стоит. Я испуганно обернулся: хорошенькая женщина, блондинка, не слишком худая, с очень милыми светло-серыми глазами. Только шляпка у нее, на мой вкус, была слишком красная.

— Наверно, вы — господин Шнир? Моя фамилия Гребзель, я ваша соседка. Рада, что наконец-то я вас увидела.

— Я тоже рад, — сказал я, и я действительно был

очень рад: несмотря на красную шляпку, глядеть на госпожу Гребзель было очень приятно. Я увидел у нее в руках газету «Голос Бонна», она проследила за моим взглядом, покраснела и сказала:

— Не обращайтесь на это внимания!

— Я дам этому негодяю по морде! — сказал я. — Если бы вы только знали, какой это жалкий, подлый лицемер, и притом он меня еще надул на целую бутылку водки! — Она рассмеялась.

— Мы с мужем были бы очень рады, если бы можно было закрепить наше знакомство, — сказала она. — Вы тут долго пробудете?

— Да, — сказал я, — я вам как-нибудь позвоню, если разрешите. А у вас тоже все красно-рыжее?

— Ну конечно, — сказала она, — это ведь отличный цвет пятого этажа.

Лифт задержался на третьем этаже немного дольше, потом вспыхнула четверка, пятерка, я распахнул дверцы и от изумления отступил на шаг. Из лифта вышел мой отец, подержал дверцы для госпожи Гребзель, пока она входила, и обернулся ко мне.

— Бог мой, — сказал я, — отец! — Никогда раньше я не называл его отцом, всегда папой. Он сказал: «Ганс!» — и сделал неуклюжую попытку обнять меня. Я прошел вперед, в квартиру, взял у него пальто и шляпу, открыл дверь в столовую, показал на диван. Прежде чем сесть, он выбирал место поудобнее.

Мы оба были страшно смущены. Смущение, как видно, единственный способ общения между детьми и родителями. Наверно, мой возглас «отец» звучал чересчур приподнято, от этого мы еще больше смутились. Отец сел в одно из красно-рыжих кресел и, неодобрительно качая головой, посмотрел на меня, на мои насквозь промокшие туфли, на мокрые носки, на слишком длинный, да к тому же огненно-рыжий, халат. Отец невысок, худощав и так изысканно-небрежно изыщен, что телевизионщики просто дерутся из-за него, когда надо выступать по каким-нибудь экономическим вопросам. При этом он весь светится добротой и мудростью, чем и завоевал себе на телевидении такую славу, какой ему не достигнуть в качестве угольного магната. Ему ненавистен даже малейший налет грубости. Когда его видишь, кажется, что он должен курить сигары, не толстые, а тоненькие, легкие, и то, что он, почти семидесятилетний капиталист, курит сигареты,

особенно молодит его и делает современным. Вполне понятно, что его приглашают выступать на всяких дискуссиях, где речь идет о деньгах. По нему видно, что от него не просто исходит доброжелательность, но что он и на самом деле очень добрый. Я подал ему сигареты, дал прикурить, и когда я к нему нагибался, он сказал:

— О клоунах я знаю мало, но кое-что мне все же известно. А вот то, что они купаются в кофе, для меня новость.— Он иногда умеет здорово острить.

— Я не купался в кофе, отец,— сказал я,— просто хотел налить себе кофе, и неудачно.— Тут я уже должен был бы назвать его папой, но как-то не успел.— Хочешь выпить?

Он усмехнулся, посмотрел на меня недоверчиво и спросил:

— А что же у тебя в доме есть?

Я пошел на кухню: в холодильнике стоял коньяк, там же было несколько бутылок минеральной воды, лимонаду и бутылка красного вина. Я взял каждого сорта по бутылке, отнес в столовую и выставил перед отцом. Он вынул из кармана очки и стал изучать этикетки. Первым делом он отодвинул бутылку коньяку. Я знал, что он очень любит коньяк, и обиженно сказал:

— Но ведь марка как будто неплохая?

— Марка превосходная,— сказал он,— но лучший коньяк никуда не годится, если его переохладить.

— О господи,— сказал я,— разве коньяк нельзя ставить в холодильник?

Он посмотрел на меня поверх очков, как будто я только что был уличен во грехе содомском. Он по-своему эстет, ухитряется по утрам раза три-четыре отправлять гренки обратно на кухню, пока Анна не добьется именно той степени поджаренности, какая ему по вкусу, и эта молчаливая борьба каждое утро начинается сызнова, потому что Анна все равно твердо уверена, что гренки — это «англосаксонские штучки».

— Коньяк в холодильнике! — с презрением сказал отец.— Неужели ты и вправду не знаешь или просто притворяешься? С тебя все станется!

— Нет, я не знал,— сказал я. Он посмотрел на меня испытующе и улыбнулся: видно, поверил мне.

— А ведь сколько денег я истратил на твое образование! — сказал он. Это должно было звучать иронически, именно так, как должен говорить почти семидесятилетний отец со своим вполне взрослым сыном. Но иронии не

вышло, она застыла на слове «деньги». Покачав головой, он отверг и лимонад и красное вино и сказал: — В данных обстоятельствах самым безопасным напитком мне кажется минеральная вода.

Я достал из буфета два стакана, открыл минеральную воду. Кажется, я хоть это сделал правильно. Он одобритительно кивнул, глядя, как я откупориваю бутылку.

— Тебе не помешает, если я останусь в халате? — спросил я.

— Помешает, — сказал он, — пожалуйста, оденься как следует. Твой вид и этот... этот запах кофе придают всей ситуации комизм, никак ей не соответствующий. Мне надо с тобой поговорить серьезно. А кроме того, — прости за откровенность, — я, как ты, должно быть, знаешь, ненавижу всякое проявление распушенности.

— Это не распушенность, — сказал я, — это просто проявление потребности в отдыхе.

— Не знаю, — сказал он, — не знаю, как часто ты меня слушался в жизни по-настоящему, но сейчас ты, конечно, не обязан проявлять послушание. Я просто прошу тебя сделать мне одолжение.

Я удивился. Раньше отец был скорее робок, почти всегда молчалив. Телевидение научило его спорить и доказывать свою правоту с «неотразимым обаянием». Я слишком устал, чтобы противиться этому обаянию. Я пошел в ванную, снял пропитанные кофе носки, вытер ноги, надел рубашку, брюки, куртку, побежал босиком на кухню, выложил на тарелку разогретую фасоль, выпустил туда же яйца всмятку, выскреб остатки из скорлупок, взял ломоть хлеба, ложку и пошел в столовую. Отец посмотрел на мою тарелку с гримасой, в которой очень умело сочетались удивление и отвращение.

— Прости, — сказал я, — сегодня с девяти утра я ничего не ел, а тебе, наверно, не захочется, чтобы я хлопнулся в обморок к твоим ногам.

Он засмеялся вымученным смехом, покачал головой, вздохнул и сказал:

— Ну ладно, только знаешь, есть одни яичные белки просто вредно.

— Ничего, я потом съем яблоко, — сказал я. Я смешал фасоль с яйцом, откусил хлеба и съел ложку этой каши, она мне показалась очень вкусной.

— Ты бы хоть налил немножко томатного соку, — сказал отец.

— У меня нет, — сказал я.

Ел я слишком торопливо, и те неизбежные звуки, какие производят при еде, явно раздражали отца. Он старался подавить отвращение, но это ему не удавалось, и в конце концов я вышел на кухню, доел, стоя у холодильника, свою кашу и, пока ел, смотрел в зеркало, висящее над холодильником. В последние недели я запустил даже самую важную тренировку — тренировку мышц лица. Клоуну, который достигает главного эффекта тем, что его лицо абсолютно неподвижно, нужно обладать необыкновенно подвижным лицом. Раньше, до того как начать тренировку, я показывал язык своему отражению, чтобы стать самому себе как можно ближе, прежде чем начать от себя отчуждаться. Потом я это бросил и просто, без всяких трюков, смотрел на свое лицо, иногда по полчаса и дольше, пока я наконец не переставал существовать; а так как я вовсе не склонен к самолюбованию, то мне иногда казалось, будто я начинаю сходить с ума. Я просто забывал, что это я, что это мое лицо в зеркале, и, окончив тренировку, поворачивал зеркало к стене; а потом, если среди дня мне случалось увидеть себя в зеркале, я пугался: в моей ванной или в уборной на меня смотрел чужой человек, человек, о котором я не знал, смешной он или серьезный, какое-то длинноносое, бледное привидение,— и я стремглав бросался к Мари, чтобы увидеть себя в ее глазах. С тех пор как ее нет, я уже не могу работать над своей мимикой: боюсь сойти с ума. Тогда, после тренировок, я подходил к Мари как можно ближе, пока не видел себя в ее зрачках: крошечным, немножко искаженным, но все же узнаваемым. Это был я, хоть и тот же самый, кого я пугался в зеркале. Как объяснить Цонереру, что без Мари я совсем не могу тренироваться перед зеркалом? Смотреть сейчас в зеркало, как я ем, было не страшно, просто грустно. Я мог сосредоточить взгляд на ложке, видеть, что ем фасоль, со следами белка и желтка на тарелке, смотреть на ломоть хлеба, который все уменьшался. Зеркало показывало мне трогательно-реальные вещи: пустую тарелку, кусок хлеба, который становился все меньше и меньше, слегка запачканные губы — я их вытер рукавом. Но тренироваться я не мог. Не было никого, кто мог бы вернуть меня оттуда, из зеркала.

Я медленно вошел в столовую.

— Слишком быстро,— сказал отец.— Ты ешь слишком быстро. Сядь же, наконец. Ты ничего не пьешь?

— Нет,— сказал я,— хотел было выпить кофе, да не удалось.

— Хочешь сварю? — спросил он.

— А ты умеешь? — спросил я.

— Говорят, что я отлично варю кофе,— сказал он.

— Да нет, не стоит,— сказал я,— выпью минеральной воды, вообще это неважно.

— Но мне это доставит удовольствие,— сказал он.

— Не надо,— сказал я,— спасибо. В кухне творится черт знает что, огромная лужа кофе, пустые консервные банки, на полу яичная скорлупа.

— Что ж,— сказал он,— как хочешь.

Видно было, что он как-то чересчур обиделся. Он налил мне минеральной воды, подал свой портсигар, я взял сигарету, он зажег спичку, и мы закурили. Мне было его жалко. Должно быть, я совсем сбил его с толку, когда принес тарелку с фасолью. Наверно, он рассчитывал увидеть у меня то, что он представляет себе под словом «богема»,— изысканный беспорядок со всякими модернистскими штучками на потолке и на стенах. Но мое жилье обставлено без всякого стиля, случайными вещами, почти что по-мещански, и я заметил, что на отца это действует удручающе. Сервант мы купили по каталогу, на стенах висели одни репродукции, среди них только две беспредметные, хороши были две акварели Моники Сильвс над комодом: «Рейнский пейзаж III» и «Рейнский пейзаж IV», в темно-серых тонах, с чуть заметными белесыми проблесками. Две-три красивые вещи, которые у нас есть,— кресла, вазы, чайный столик на колесиках — купила Мари. Мой отец из тех людей, которым нужна соответствующая атмосфера, и атмосфера нашей квартирki его нервировала, отнимала дар речи.

— Тебе, наверно, мама сообщила, что я тут? — спросил я наконец, когда мы закурили по второй сигарете, не сказав ни слова.

— Да,— сказал он,— почему ты не мог избавить ее от таких разговоров?

— Если бы она не заговорила своим комитетским голосом, все пошло бы по-другому.

— Ты что-нибудь имеешь против этого комитета? — спокойно спросил он.

— Нет,— сказал я,— очень хорошо, что уничтожают расовые противоречия, но я смотрю на расы совсем по-другому, чем этот комитет. Например, негры — ведь они сейчас последний крик моды, я даже хотел предложить

маме привести к ней своего знакомого негра, для украшения общества. Уж не говоря о том, что на свете несколько сот негритянских рас. Без работы ее комитет сидеть не будет. А цыгане! — сказал я. — Надо бы маме пригласить к чаю двух-трех цыган. Прямо с улицы. Вообще дела им хватит.

— Я не об этом хотел говорить с тобой, — сказал он. Я промолчал. Он взглянул на меня и тихо добавил: — Я хотел поговорить с тобой о деньгах. — Я все еще молчал. — Думаю, что положение у тебя несколько затруднительное. Что же ты молчишь?

— Это мягко сказано — «затруднительное», должно быть, мне целый год нельзя будет выступать. Посмотри! — Я подтянул штанину и показал ему распухшее колено, потом спустил штанину и ткнул правым указательным пальцем в левую сторону груди. — И тут, — сказал я.

— Боже мой! — сказал он. — Сердце?

— Да, — сказал я, — сердце.

— Сейчас же позвоню Дромерту, попрошу принять тебя. Он лучший сердечник у нас в городе.

— Ты не понял, — сказал я, — не нужна мне никакая консультация у Дромерта.

— Ты же сам сказал: сердце.

— Может быть, нужно было сказать: душа, чувство, нутро, но мне показалось, что «сердце» — самое подходящее слово.

— Ах вот оно что, — сухо сказал он, — ты об этой истории. — Наверно, Зоммервильд уже рассказал ему об «этой истории» за партией ската в клубе, между порцией заячьего рагу, бутылкой пива и червями без трех.

Он встал и начал расхаживать по комнате, потом остановился за креслом, облокотился на спинку и посмотрел на меня сверху вниз.

— Вышние фразы обычно звучат как-то глупо, — сказал он, — но я должен тебе сказать: знаешь, чего тебе не хватает? Тебе не хватает того, что делает мужчину настоящим мужчиной: уменья примириться.

— Это я уже сегодня один раз слышал, — сказал я.

— Тогда послушай и в третий раз: сумей примириться.

— Брось, — сказал я устало.

— Как ты думаешь, легко мне было, когда Лео пришел ко мне и сказал, что переходит в католичество? Для меня это было настоящее горе, как смерть Генри-

етты. Мне не было бы так горько, даже если бы он сказал, что стал коммунистом. Это я еще могу себе представить — молодой человек мечтает о невозможном, о социальной справедливости и так далее. Но это...— Он впился руками в спинку кресла, резко тряхнул головой.— Это — нет, нет! — Как видно, ему и вправду было тяжело. Он совсем побледнел и сейчас выглядел куда старше своих лет.

— Сядь, отец,— сказал я,— выпей коньяку.— Он сел, кивнул на бутылку коньяку, я достал стакан из буфета, налил ему, он взял коньяк и выпил, но не поблагодарив и даже не взглянув на меня.

— Этого ты, конечно, не понимаешь,— сказал он.

— Не понимаю,— сказал я.

— Мне страшно за каждого юношу, который в это верит,— сказал он,— вот почему для меня это было ужасным ударом, но я и с этим примирился, понимаешь, примирился. Почему ты так на меня смотришь?

— Должен попросить у тебя прощения,— сказал я,— когда я увидел тебя по телевизору, я подумал: какой великолепный актер. Даже немножко клоун.— Он посмотрел на меня подозрительно, немного обиженно, и я торопливо добавил: — Нет, правда, папа, ты был великолепен.— Я обрадовался, что наконец назвал его по-прежнему папой.

— Они меня просто вынудили взять на себя эту роль,— сказал он.

— И она тебе очень подошла,— сказал я,— и сыграл ты ее здорово.

— Ничего я не играл,— сказал он серьезно,— да мне и не нужно было играть.

— Плохо,— сказал я,— плохо для твоих противников.

— У меня нет противников,— сказал он возмущенно.

— Еще хуже для твоих противников,— сказал я.

Он опять посмотрел на меня с подозрением, но вдруг рассмеялся и сказал:

— Нет, серьезно, я их не воспринимаю как противников.

— Тогда это еще куда хуже, чем я думал,— сказал я,— неужели все те, с кем ты беседуешь о деньгах, не знают, что самое главное умалчивается? Или вы обо всем договариваетесь, прежде чем вас выводят на голубой экран?

Он подлил себе коньяку, посмотрел на меня вопросительно.

— Но я хотел бы поговорить с тобой о твоём будущем.

— Минуточку,— сказал я,— меня просто интересует, как это делается. Вот вы всегда говорите о процентах: десять, двадцать пять, пятьдесят процентов, но никогда не говорите проценты от чего?

У него был какой-то глупый вид, когда он взял стакан с коньяком, выпил и посмотрел на меня.

— Я вот что хочу сказать,— продолжал я,— считать я никогда особенно не умел, но я знаю, что сто процентов с полупфеннига — это полпфеннига, а пять процентов с миллиарда — это пятьдесят миллионов. Ты меня понял?

— О боже! — сказал он.— Неужто у тебя есть время смотреть телевизор?

— Да,— сказал я,— с тех пор как случилась «эта история», как ты говоришь, я часто смотрю телевизор: от него внутри становится так пусто, даже приятно. Совсем пустеешь. А когда видишься с отцом раз в три года, приятно повидать его хотя бы на экране. Где-нибудь в пивной за кружкой пива, в темноте. Иногда я по-настоящему горжусь тобой, до того ловко ты избегаешь разговора о сумме, от которой считаешь проценты.

— Ты ошибаешься,— холодно сказал он,— ничего я не избегаю.

— Неужели тебе не скучно без противников?

Он встал, сердито посмотрел на меня. Я тоже встал. Мы оба стояли за своими креслами, положив руки на спинки. Я рассмеялся и сказал:

— Меня как клоуна, естественно, интересуют всякие современные формы пантомимы. Как-то я сидел один в задней комнатке кабачка и выключил звук. Изумительно. Так сказать, проникновение чистого искусства в сферу экономики, в политику заработной платы. Жаль, что ты никогда не видел моего номера «Заседание наблюдательного совета акционерного общества».

— Вот что я тебе скажу,— сказал он,— я говорил о тебе с Геннехольмом. Просил его как-нибудь посмотреть твои выступления и дать мне... ну, какую-то оценку.

Меня вдруг одолела зевота. Это было невежливо, но непреодолимо, хотя я сознавал, сколь это предосудительно. Ночь я спал плохо, день провел ужасно. Но когда

видишь своего отца впервые после трехлетнего перерыва и, в сущности, разговариваешь с ним всерьез впервые в жизни, то зевать при этом — самое неподходящее занятие. Я был очень взволнован, но устал как собака, и мне было досадно, что именно в такую минуту на меня напала зевота. Но самое имя — Геннехольм — действовало на меня как снотворное. Таким людям, как мой отец, всегда нужно *самое лучшее*: лучший в мире сердечник — Дромерт, лучший театральный критик Федеративной республики — Геннехольм, лучший портной, лучшее шампанское, лучший отель, лучший писатель. Очень это скучно. Я зевал до судорог, чуть не свернул челюсть. То, что Геннехольм — педераст, ничего не меняет, все равно при его имени меня берет зевота. Педерасты бывают довольно занятные, но как раз занятных людей я и нахожу скучными, особенно эксцентриков, а Геннехольм не только педераст, он еще и эксцентричен. Обычно он являлся на приемы, которые устраивала моя мама, и всегда норовил сесть поближе, так что дышал прямо тебе в лицо и ты волей-неволей участвовал в его последней кормежке. Четыре года назад, когда мы с ним последний раз виделись, от него пахло картофельным салатом, и от этого запаха его пурпурный жилет и рыжие мэфистофельские усики уже не казались экстравагантными. Он был большой остряк, и все знали, какой он остроумный, поэтому ему вечно приходилось острить. Тяжелый хлеб!

— Прости, пожалуйста,— сказал я, когда удалось одолеть припадок зевоты,— так что сказал Геннехольм?

Отец был обижен. Он всегда обижается, когда даешь себе волю, и мой зевок задел его не субъективно, а объективно. Он покачал головой, как раньше, при виде моей фасоловой каши:

— Геннехольм следил за твоим развитием с большим интересом, он к тебе относится очень доброжелательно.

— Педерасты никогда не теряют надежды,— сказал я,— цепкий народец.

— Перестань! — резко сказал отец.— Радуйся, что тобой заинтересовался такой влиятельный и знающий человек.

— Я счастлив! — сказал я.

— Но у него накопилось множество возражений против того, что ты до сих пор делал. Он считает, что ты должен совершенно отказаться от линии Пьеро, что хотя

у тебя есть способности к арлекинаде, но жаль себя на это тратить, ну а в качестве клоуна ты, по его мнению, никуда не годишься. Для тебя будущее — это решительный поворот к искусству пантомимы... да ты, кажется, меня не слушаешь? — Голос его становился все резче.

— Что ты,— сказал я,— я слышу каждое слово, каждое твое умное, верное и точное слово, не обращай, пожалуйста, внимания, что я закрыл глаза.— Пока он цитировал Геннехольма, я прикрыл глаза. Это было такое облегчение, особенно потому, что можно было не смотреть на темно-коричневый комод, стоявший сзади отца, у стенки. Отвратительная вещь, чем-то напоминавшая школу, эта коричневая краска, черные пупыри, светло-желтый кантик по верхнему краю. Мари привезла этот комод из родительского дома.— Пожалуйста,— тихо сказал я,— говори же!

Я устал до смерти, у меня болела голова, болел живот, и я так судорожно вцепился в спинку кресла, что колено стало пухнуть еще больше. Под закрытыми веками передо мной стояло мое собственное лицо, каким я его тысячи раз видел в зеркале во время тренировок,— абсолютно неподвижное и сплошь покрытое белилами, даже ресницы не вздрагивают, даже брови, одни только глаза: я ими двигаю медленно-медленно из стороны в сторону, как испуганный кролик, чтобы добиться того эффекта, который критики вроде Геннехольма называют «потрясающей способностью передавать животную тоску». А теперь я мертв, на тысячи часов заперт наедине с моим лицом — и нет мне больше спасения в глазах Мари.

— Говори же,— сказал я.

— Он посоветовал мне направить тебя к одному из лучших педагогов. На год, на два, может быть, на полгода. Геннехольм считает, что ты должен сосредоточиться, заниматься, овладеть собой до такой степени, чтобы ты снова вернулся к наивности. А главное — тренировка, тренировка и тренировка, да ты меня слушаешь? — Голос у него, слава богу, стал мягче.

— Да,— сказал я.

— И я готов тебя финансировать.

У меня было такое чувство, будто больное колено стало толстым и круглым, как газовая колонка. Не открывая глаз, я ошупью добрался до кресла, как слепой, нашел на столе сигареты. Отец испуганно ахнул. Я так хорошо умею изображать слепого, что кажется, будто

я ослеп. Я и себе показался слепым, а вдруг я таким и останусь? Я играл не просто слепого, а внезапно ослепшего человека, и когда я наконец взял в рот сигарету, я почувствовал огонек отцовской зажигалки, почувствовал, как она дрожит.

— Мальчик,— сказал он испуганно,— ты болен?

— Да,— сказал я тихо, глубоко затянулся сигаретой и вдохнул дым,— я смертельно болен, но я не ослеп. Болит живот, болит голова, болит колено, все больше растет чудовищная меланхолия, но самое скверное то, что я точно знаю: Геннехольм прав, прав, примерно процентов на девяносто пять, и я даже знаю, какие слова он дальше тебе сказал. Про Клейста говорил?

— Говорил,— сказал отец.

— Говорил он, что я сначала должен потерять свою душу, совершенно опустошиться и только тогда обрести ее вновь? Говорил?

— Да,— сказал отец,— откуда ты знаешь?

— Боже ты мой,— сказал я,— да знаю я все его теории, знаю, откуда он их выудил. Но душу свою я терять не намерен, наоборот, я хочу ее вернуть.

— А ты ее потерял?

— Да.

— Где же она?

— В Риме,— сказал я, открыл глаза и рассмеялся.

Видно, отец всерьез испугался, он был совсем бледный, совсем старый. Но он тоже рассмеялся с облегчением, хотя и немного раздраженно.

— Ах ты, шалопай! — сказал он.— Значит, ты все сыграл?

— К сожалению, не совсем,— сказал я,— да и сыграно не очень хорошо, Геннехольм сказал бы: слишком натуралистично, и был бы прав. Педерасты почти всегда правы, у них огромная интуиция, правда, больше у них ничего нет, но все-таки...

— Ах, шалопай! — сказал отец.— Как ты меня разыграл!

— Нет,— сказал я,— я тебя разыграл не больше, чем настоящий слепой тебя разыгрывает. Поверь мне, все эти ощущения, постукивания палкой вовсе не всегда обязательны. Многие слепые, настоящие слепые, еще к тому же играют слепых. Сейчас, на твоих глазах, я мог бы так прохромать отсюда к дверям, что ты бы закричал от боли и сострадания, немедленно вызвал бы врача,

лучшего хирурга в мире, самого Фретцера. Хочешь? — Я уже встал.

— Перестань, прошу тебя,— сказал он огорченно, и я снова сел.

— Сядь и ты, пожалуйста,— сказал я,— пожалуйста, сядь, я страшно нервничаю, когда ты стоишь.

Он сел, налил себе минеральной воды и растерянно посмотрел на меня.

— Не пойму тебя никак,— сказал он,— дай же мне ясный ответ. Я оплачу твои занятия где захочешь — в Лондоне, в Париже, в Брюсселе, все равно. Чем лучше, тем лучше.

— Нет,— устало сказал я,— тут чем лучше, тем хуже. Никакие занятия мне не помогут, мне нужно только работать. Я уже учился, и в тринадцать и в четырнадцать лет, я до двадцати одного года учился. Вы этого только не замечали. И если Геннехольм думает, что мне еще есть чему учиться, так он глупее, чем я предполагал.

— Он специалист,— сказал отец,— лучшего я не знаю.

— Да у нас лучшего и нет,— сказал я,— но он специалист, и только, он разбирается в театре, в трагедии, в комедии дель арте, просто в комедии, в пантомиме. Но ты посмотри, какой скверный комедиант он сам, когда он вдруг является в лиловых рубашках с черной шелковой бабочкой. Любой дилетант постеснялся бы. То, что критики критикуют, еще не самое в них скверное, скверно то, что они по отношению к себе лишены всякого чувства юмора, всякой самокритики. Вот что неприятно. Конечно, он безусловный специалист, но неужели он думает, что после шести лет на сцене мне еще надо учиться,— какая чепуха!

— Значит, деньги тебе не нужны? — спросил отец. В его голосе звучало какое-то облегчение, мне это показалось подозрительным.

— Наоборот,— сказал я,— деньги мне очень нужны.

— А что ты будешь делать? Опять выступать при такой ситуации?

— Какой такой ситуации?

— Ну как же,— смущенно сказал он,— сам знаешь, что о тебе писали.

— Писали? — сказал я.— Да я три месяца выступал только в провинции.

— Но я все собрал,— сказал он,— я проработал эти рецензии с Геннехольмом.

— Фу, черт,— сказал я,— и сколько же ты ему за это заплатил?

Он покраснел.

— Перестань, пожалуйста,— сказал он,— так что же ты намерен делать?

— Тренироваться,— сказал я,— работать полгода, год, не знаю.

— Где?

— Тут,— сказал я,— а где же еще?

Он с трудом попытался скрыть испуг.

— Нет, я вам надоедать не буду и компрометировать вас не стану, я даже на ваши «журфиксы» не приду,— сказал я. Он покраснел. Раза два я заходил на их «журфиксы» просто так, как гость, не лично к ним. Я там пил коктейли, ел оливки, выпивал чаю и, уходя, так открыто прятал в карман их сигареты, что лакеи, заметив это, краснели и отворачивались.

— Брось,— сказал отец. Он поерзал в кресле. Видно, ему очень хотелось встать и подойти к окну. Но он только опустил глаза и сказал: — Мне было бы больше по душе, если бы ты выбрал наиболее верный путь, как советует Геннехольм. Мне гораздо труднее финансировать что-то неопределенное. Но разве ты ничего не скопил? Ведь ты, должно быть, неплохо зарабатывал все эти годы?

— Ни одного пфеннига я не скопил,— сказал я,— у меня есть одна, да, одна-единственная марка.— Я вынул эту марку из кармана и показал ему. И он в самом деле наклонился и стал ее рассматривать, как редкое насекомое.

— Мне трудно тебе поверить,— сказал он,— во всяком случае, не я воспитал тебя мотом. Сколько же тебе нужно ежемесячно, как ты себе представляешь?

У меня забилося сердце. Никогда бы я не поверил, что он захочет мне так вот, непосредственно помочь. Я прикинул. Мне надо не много и не мало, но так, чтобы все-таки хватало на жизнь. Но я не имел ни малейшего представления, сколько мне может понадобится. Надо платить за электричество, за телефон, жить тоже как-то нужно. Я вспотел от волнения.

— Прежде всего,— сказал я,— мне нужен толстый резиновый мат, во всю эту комнату, семь на пять,

наверно, ты мне можешь достать его по дешевке, через вашу прирейнскую фабрику резиновых изделий.

— Отлично,— сказал он с улыбкой.— Это я даже могу тебе подарить. Значит, семь на пять, но ведь Геннехольм считает, что тебе не надо тратить время на акробатику.

— Я и не буду, папа,— сказал я,— но, кроме резинового мата, мне, наверно, нужна тысяча марок в месяц.

— Тысяча марок! — Он даже встал, и так искренне испугался, что у него задрожали губы.

— Ну ладно,— сказал я,— а ты как думал? — Я понятия не имел, сколько у него денег. По тысяче марок в месяц — настолько-то я считать умею — составляет двенадцать тысяч в год, от такой суммы он бы не погиб. Ведь он был самый настоящий миллионер, это мне объяснял отец Мари, он все доказал мне с цифрами в руках. Я плохо помню подробности, но у отца всюду были акции, всюду «своя доля». Даже в этой самой фабрике резиновых изделий.

Он расхаживал за своим креслом, с виду спокойный, и шевелил губами, словно что-то подсчитывая. Может быть, он и вправду считал, только длилось это слишком долго. Мне опять вспомнилось, как низко они себя вели, когда я уехал из Бонна с Мари. Отец написал мне, что он, из моральных соображений, отказывается меня поддерживать и надеется, что я «своим трудом» смогу прокормить себя и «ту несчастную порядочную девушку, которую соблазнил». Мне, мол, известно, что он всегда с уважением относился к старику Деркуму, и как к противнику, и как к человеку, и что все это — безобразная история.

Мы жили в пансионе в Кёльн-Эренфельде. Семьсот марок, которые Мари получила в наследство от матери, уже через месяц кончились, хотя у меня было чувство, что я очень бережливо и разумно их расходовал.

Жили мы близ Эренфельдского вокзала, из окон нашей комнаты мы видели красную кирпичную стену товарной платформы, в город приходили вагоны с каменным углем и уходили пустые — утешительное зрелище, умирительный шум: сразу вспоминалось финансовое благополучие нашего семейства. Из ванной комнаты видны были цинковые шайки, веревки для белья, в темноте иногда слышно было, как шлепается пустая банка

или бумажный пакет с мусором: кто-нибудь тайком выбрасывал его во двор. Часто, лежа в ванне, я пел псалмы, пока хозяйка не запретила мне петь — «не то люди подумают, что я прячу беглого патера», — а потом и вообще принимать ванну. Слишком я часто купался, она считала это излишней роскошью. Иногда она ворошила кочергой выброшенные пакеты с мусором, чтобы по содержимому определить, кто бросал: луковая шелуха, кофейная гуща, косточки от шницелей давали ей материал для сложнейших комбинаций, попутно дополняемых расспросами в зеленой и мясной, но всегда безуспешными. По мусору никак не удавалось определить личность виновника. Угрозы, которые она посылала в завешенное бельем небо, были сформулированы так, что каждый мог их принять на свой счет: «Меня не проведешь, я-то все знаю». По утрам мы всегда торчали в окне, подкарауливая почтальона — он иногда приносил нам посылочки от подруг Мари, от Лео, от Анны, изредка, через неопределенные промежутки, чеки от дедушки, но от родителей я получал только предложения «взять судьбу в собственные руки, своими силами преодолеть неудачи».

Потом мама даже написала, что она «исторгла меня из своего сердца». Она может быть безвкусна до полного идиотизма — это выражение она взяла из романа Шницлера «Разлад сердца». В этом романе родители «исторгают» дочку за то, что она отказывается произвести на свет дитя, зачатое от «благородного, но слабовольного художника», кажется актера. Мама дословно процитировала фразу из восьмой главы романа: «Совесьть мне повелевает исторгнуть тебя из своего сердца». Видно, она сочла эту цитату подходящей. Во всяком случае, она меня «исторгла». Уверен, что она это сделала лишь потому, что таким путем спасала не только свою совесть, но и свой карман. Дома ждали, что я начну самоотверженно трудиться: поступлю на фабрику или на стройку, чтобы прокормить свою возлюбленную. И все были разочарованы, когда я этого не сделал. Даже Лео и Анна не скрывали своего разочарования. Они уже представляли себе, как я на рассвете, с бутербродами и судком, уйду на работу, посылаю Мари в окно воздушный поцелуй, а вечером, «усталый, но довольный», возвращаюсь домой, читаю газету и смотрю, как Мари вяжет носки. Но я не делал ни малейшего усилия, чтобы претворить в жизнь придуманную ими картину. Я сидел

с Мари, и Мари приятнее всего было, когда я оставался с ней. Тогда — больше, чем потом, — я чувствовал себя «художником», и мы старались осуществить наши ребяческие представления о «богеме»: на столе — бутылки из-под кьянти, на стенах — серый холст, разноцветные рогожи. Даже сейчас я краснею от умиления, вспоминая тот год. Когда Мари ходила к хозяйке в конце недели с просьбой отсрочить плату за квартиру, та всегда начинала браниться и спрашивать, почему я не поступаю на работу. И Мари необыкновенно выразительно и приподнято говорила: «Мой муж художник, да, художник!» Я слышал, как она однажды крикнула с загаженной лестницы в открытую дверь хозяйкиной комнаты: «Да, художник!» — и хозяйка сиплым голосом отозвалась: «Ага, художник? И вам он — муж? Воображаю, как там в бюро регистрации радовались!» Больше всего ее злило, что мы обычно лежали в кровати до десяти, а то и до одиннадцати часов. У нее не хватало фантазии сообразить, что таким образом нам легче всего было экономить на еде и на электрической печурке, не знала она и того, что мне лишь около двенадцати разрешалось пойти тренироваться в зальце при церкви, потому что с утра там вечно что-нибудь происходило: то консультация для матерей, то занятия с конфирмантами, то курсы кулинарии, то совещания католических жилищных кооперативов. Мы жили неподалеку от церкви, в которой служил капелланом Генрих Белен, он мне и предоставил возможность тренироваться в этом зальце с подмостками и устроил нас в пансионе рядом. В то время многие католики очень хорошо к нам относились. Преподавательница кулинарных курсов при церкви всегда кормила нас всякими остатками, правда, обычно это был суп и пудинг, но изредка попадалось и мясо, а когда Мари помогала ей с уборкой, она совала ей то пачку масла, то фунтик сахара. Иногда она оставалась посмотреть, как я тренируюсь, помирала со смеху, а к вечеру варила мне кофе. Даже узнав, что мы не венчаны, она продолжала хорошо к нам относиться. По-моему, она и не рассчитывала, что артисты могут быть женаты «по-настоящему». Иногда, в холодные дни, мы приходили туда пораньше. Мари сидела на уроках кулинарии, а я забирался в раздевалку, поближе к электрической печке, и читал. Сквозь тонкую перегородку я слышал хихиканье в зальце, потом серьезные лекции про калории, витамины, калькуляцию, но, в общем, там, по-моему, было довольно весело.

Только когда собирались на консультацию матери, нам не разрешалось появляться, пока все не расходились. Молодая докторша, проводившая консультации, держала себя вполне корректно и любезно, но сурово и безумно боялась пыли, которую я подымал, носясь по сцене. Она утверждала, что пыль держится чуть ли не до следующего дня, и настояла, чтобы по крайней мере за сутки до консультации я не пользовался сценой. У Генриха Белена даже вышел скандал с его патером — тот вовсе и не знал, что я каждый день там тренируюсь, и предложил Генриху «не заходить слишком далеко в своей любви к ближнему». Иногда я вместе с Мари шел в церковь. Там было так тепло — я всегда садился поближе к отоплению — и очень тихо: уличный шум казался бесконечно далеким, и так приятно было, что церковь пустая — всего человек семь-восемь, и мне казалось, что я и сам принадлежу к этому тихому грустному семейству и делю с ним утрату чего-то родного, прекрасного в своем угасании. Кроме Мари и меня — одни старые женщины. И домашний голос Генриха Белена, прислуживавшего священнику, так подходил к этой темной некрасивой церкви. Один раз я даже стал ему помогать: в конце мессы, в ту минуту, когда надо было переносить Священное писание справа налево, служка куда-то запропастился. Я сразу заметил, что Генрих вдруг замешкался, потерял ритм, и я торопливо подбежал, взял книгу справа, проходя мимо алтаря, встал на колени и перенес ее налево. Мне казалось невежливым не прийти Генриху на помощь. Мари покраснела до слез. Генрих улыбнулся. Мы с ним давно знакомы, в интернате он был капитаном футбольной команды, и гораздо старше меня. Обычно мы с Мари ждали Генриха у ризницы, он приглашал нас к завтраку, забирал в долг из лавчонки яйца, ветчину, кофе, сигареты и был счастлив, как мальчишка, когда его экономка болела.

Я вспоминал всех, кто нам помогал, в то время как мои домашние сидели на своих поганных миллионах, «исторгнув» меня и наслаждаясь своей моральной правотой.

Отец все еще расхаживал за креслом и что-то подсчитывал, шевеля губами. Я уже был готов объявить ему, что отказываюсь от его денег, но мне казалось, что я имею какое-то право получить от него хоть что-то, и не хотелось разыгрывать героя с одной маркой в кармане —

я знал, что потом пожалею. Мне действительно нужны были деньги, нужны до зарезу, а он еще не дал мне ни пфеннига с тех пор, как я ушел из дому. Лео отдавал нам все свои карманные деньги, Анна иногда посылала домашнюю белую булку, позже даже мой дед подбрасывал понемножку денег: посылал чеки для безналичного расчета, то на пятнадцать, то на двадцать марок, а один раз по какой-то, мне до сих пор неизвестной причине на целых двадцать две марки. С этими чеками у нас всегда начинался чистый цирк: у хозяйки текущего счета в банке не было, у Генриха тоже, да и разбирался он в этих чеках не лучше нас. Первый чек он просто внес в банк, на текущий счет благотворительных сумм своего прихода, ему в сберегательной кассе объяснили, что такое чеки безналичного расчета на предьявителя, и он пошел к своему патеру и попросил выдать наличными пятнадцать марок, но патер чуть не лопнул от злости. Он объяснил, что наличными он ему ничего выдать не может, потому что надо будет отчитываться, куда израсходованы деньги, и вообще благотворительный счет дело щекотливое, его контролируют, и если он напишет: «Выдано столько-то капеллану Белену в оплату частного безналичного чека», то ему достанется, да и вообще счет прихода — не обменная касса для чеков «темного происхождения». Он может только принять этот чек как взнос на определенную цель, скажем на непосредственную помощь от Шнира-старшего Шниру-младшему, и потом выдать мне из благотворительного фонда наличными всю сумму. Это еще куда ни шло, хотя и не по правилам. В общем, прошло больше десяти дней, пока мы получили эти пятнадцать марок, потому что у Генриха была тысяча других дел, не мог же он целиком посвятить себя возне с моими чеками. Потом, получая от деда эти чеки, я каждый раз страшно пугался. Это было черт знает что такое — деньги и вместе с тем не деньги, и ни разу он нам не прислал то, в чем мы так страшно нуждались, — просто деньги наличными. Наконец Генрих завел свой счет в банке, чтобы оплачивать наши чеки наличными, но он часто уезжал на два-три дня, а однажды, когда пришел чек на двадцать две марки, он на три недели уехал в отпуск, и мне с трудом удалось отыскать в Кёльне моего единственного друга детства Эдгара Винекена, занимавшего какой-то пост — кажется, пост референта по вопросам культуры СДПГ. Адрес его я нашел в телефонной

книжке, но у меня не было двухгрошовой монетки, чтобы позвонить из автомата, и я прошел пешком из Кёльн-Эренфельда до Кёльн-Калька, не застал его дома и прождал до восьми вечера у дверей, потому что хозяйка отказалась впустить меня в его комнату. Жил он около очень большой и очень темной церкви на улице Энгельса (не знаю, может быть, он чувствовал себя обязанным жить именно на улице Энгельса, раз он был в СДПГ). Я совершенно вымотался, устал до смерти, проголодался, даже сигарет у меня не было, и я знал, что Мари сидит дома и беспокоится. К тому же и Кёльн-Кальк, и улица Энгельса, и близость химического завода — неутешительное окружение для меланхолика. Наконец я зашел в булочную и попросил хозяйку, стоявшую за прилавком, подарить мне булочку. Она была молодая, но какая-то потрепанная. Я подождал, пока лавка опустеет, быстро вошел и, не поздоровавшись, сказал: «Подарите мне булочку!» Я боялся — вдруг кто-нибудь войдет, но она посмотрела на меня, ее тонкие, бесцветные губы сначала сжались еще крепче, потом округлились, посвежели, она сунула в кулек три булочки и кусок пирога и молча подала мне. Кажется, я даже не поблагодарил ее, схватил кулек и выскочил вон. Я сел на ступеньки дома, где жил Эдгар, и стал есть булочки и пирог, время от времени ощупывая чек на двадцать две марки, лежавший у меня в кармане. Число «двадцать два» все-таки меня удивило. Я все раздумывал, как оно получилось; может быть, это был остаток с какого-то счета, может, просто шутка, но, вероятнее всего, это была просто случайность, удивительно было лишь, что там стояла не только цифра «22», но и «двадцать два» прописью, и дедушка, наверное, все же что-то думал, когда писал. Но я так до сих пор и не знаю, в чем дело. Потом я обнаружил, что прождал Эдгара на улице Энгельса всего полтора часа; мне они показались вечностью, полной уныния: эти темные дома, эти испарения химической фабрики. Эдгар мне обрадовался. Он просиял, похлопал меня по плечу, провел в свою комнату, где висела огромная фотография Брехта, под ней — гитара и много небольших книжек на самодельной полке. Я слышал, как он за дверью бранил хозяйку за то, что она меня непустила, потом вернулся с бутылкой водки и, весь сияя, рассказал мне, что в театральном объединении он только что выиграл бой «у этих прохвостов из ХДС», а потом потребовал, чтобы я ему рассказал все,

что со мной было с тех пор, как мы не виделись. Еще мальчишками мы с ним много лет подряд играли вместе. Его отец был учителем плавания, а потом заведующим стадионом неподалеку от нашего дома. Я попросил избавить меня от рассказов, вкратце разъяснил ему, в каком я положении, и попросил оплатить мне чек. Он был бесконечно мил, ни за что не хотел брать чек, как я его ни умолял. Я чуть не заплакал — так я просил его взять этот чек. Наконец, слегка обидевшись, он его взял, и я его пригласил прийти к нам посмотреть, как я тренируюсь. Он проводил меня до остановки трамвая у калькской почты, но когда я заметил на площади свободное такси, я помчался к машине, вскочил в нее и только издали увидел удивленное лицо Эдгара — растерянное, обиженное, бледное. Первый раз я позволил себе взять такси, но если уж кто заслужил поездку в такси, так это я в тот вечер. Мне было невыносимо трястись в трамвае через весь Кёльн, ждать целый час свидания с Мари. Такси стоило почти восемь марок. Я дал шоферу еще пятьдесят пфеннигов на чай и бегом взлетел на лестницу нашего пансиона. Мари с плачем бросилась мне на шею, и я тоже расплакался. Казалось, мы не виделись целый век, и так переволновались, что в порыве отчаяния даже не могли целоваться, только шептали, что больше никогда, никогда, никогда не расстанемся — «пока смерть не разлучит нас», как прошептала Мари. Потом Мари «привела себя в порядок», как она говорила: подкрасилась, намазала губы, и мы пошли в кабачок на Венлоерштрассе, съели по две порции гуляша, купили бутылку красного и вернулись домой.

Но эту поездку на такси Эдгар так и не простил мне до конца. Потом мы с ним виделись часто, он даже еще раз выручил нас деньгами, когда у Мари сделался выкидыш. Сам он никогда не упоминал эту поездку в такси, но у него остался какой-то осадок, не пропавший до сих пор.

— Боже мой,— громко сказал отец, совершенно другим, незнакомым мне тоном,— говори же громче и открой глаза. Больше я на эти фокусы не попадусь.

Я открыл глаза и посмотрел на него. Он сердился.

— А разве я что-нибудь говорил? — спросил я.

— Да,— сказал он,— ты все время бормотал что-то

под нос, я только два слова и мог разобрать: «поганные миллионы».

— А больше ты ничего понять и не можешь, да и не должен.

— И еще я понял слово «чек»,— сказал он.

— Да, да,— сказал я,— а теперь сядь и скажи мне, как ты себе примерно представлял ежемесячную поддержку в течение года.

Я подошел к нему, ласково взял за плечи и усадил в кресло. Он тут же встал, и мы так и остались стоять лицом к лицу, совсем близко.

— Я обдумал это дело со всех сторон,— сказал он тихо,— и если ты не желаешь принять мои условия, то есть получить солидное, регулярное образование, а хочешь по-прежнему работать тут, то, в сущности... да, думаю, что двести марок в месяц тебе вполне достаточно.— Я был уверен, что он хотел сказать двести пятьдесят или даже триста, но в последнюю секунду выговорил двести. Очевидно, его испугало выражение моего лица, и он сказал с торопливостью, так не идущей к его изысканной внешности: — Геннехольм утверждает, что аскетизм — основа всякой пантомимы.

Я все еще молчал, только смотрел на него «пустыми» глазами, как клейстовская марионетка. Я даже не злился, до того я был удивлен, что эта моя с трудом заученная гримаса — пустые глаза — стала моим естественным выражением. А он, видно, нервничал, на верхней губе выступили капли пота. Но во мне проснулась прежде всего не злоба, не горечь и уж конечно не ненависть: мои пустые глаза медленно наполнялись состраданием.

— Милый папа,— сказал я тихо,— двести марок вовсе не так мало, как ты, по-видимому, думаешь. Это вполне приличная сумма, и спорить с тобой я не собираюсь, но знаешь ли ты хоть по крайней мере, что аскетизм — очень дорогое удовольствие, во всяком случае тот аскетизм, о котором говорит Геннехольм. Он имеет в виду диету, а не аскетизм — много постного мяса, всякие салаты. Конечно, самая дешевая форма аскетизма — голодание, но голодный клоун... впрочем, это лучше, чем пьяный клоун.— Я отстранился от него, неприятно было стоять так близко и видеть, как у него над верхней губой все больше выступают крупные капли пота.— Слушай,— сказал я,— давай будем разговаривать, как

подобает джентльменам, не о деньгах, а о чем-нибудь другом.

— Но ведь я действительно хочу тебе помочь,— сказал он упавшим голосом,— я охотно дам тебе и триста марок.

— Не хочу слышать о деньгах,— сказал я,— лучше я тебе расскажу, что было самым поразительным открытием моего детства.

— Что же?— сказал он и посмотрел на меня так, словно ждал смертного приговора. Наверно, он думал, что я стану говорить про его любовницу, для которой он выстроил виллу в Годесберге.

— Спокойно, спокойно,— сказал я.— Да, ты удивишься, что самым поразительным открытием моего детства было то, что дома нам никогда не давали досыта пожрать.

Он передернулся, когда я сказал «пожрать», проглотил слюну, отрывисто рассмеялся и спросил:

— Ты хочешь сказать, что вы никогда не наедались досыта?

— Вот именно,— спокойно сказал я,— мы никогда не наедались досыта по-настоящему, по крайней мере у себя дома. Я до сих пор не понимаю, отчего так выходило—от скупости или из принципа, по-моему, если б вы делали это просто из скупости, оно было бы как-то лучше. Да знаешь ли ты вообще, что чувствует мальчишка после того, как он целый день катался на велосипеде, играл в футбол, купался в Рейне?

— Полагаю, что аппетит,— холодно сказал он.

— Нет,— сказал я,— голод. Да, черт побери, мы еще детьми знали, что мы богаты, страшно богаты, но от этого богатства нам ни черта не доставалось, даже поесть как следует не давали.

— Разве вам чего-нибудь не хватало?

— Да,— сказал я,— я же тебе говорю: не хватало еды, ну, и карманных денег тоже. Знаешь, чего больше всего хочется поесть ребенку?

— Бог мой!— сказал он испуганно.— Чего же?

— Картошки,— сказал я,— но мама уже тогда помешалась на похудении—сам знаешь, она всегда идет впереди своего времени,—и в доме у нас кишмя кишели всякие болтуны, каждый со своей теорией питания, но, к сожалению, ни в одной из этих теорий картошка никакой роли не играла. Прислуга на кухне иногда варила себе картошку, когда вас дома не было; картошку

в мундире, с маслом, солью и луком, и они, бывало, будили нас, разрешали выйти на кухню в пижамах, брали с нас клятвенное обещание молчать и кормили картошкой до отвала. А по пятницам мы ходили в гости к Винекенам, у них всегда бывал картофельный салат, и матушка Винекен накладывала нам тарелку с верхом, побольше. И потом, у нас дома всегда бывало слишком мало хлеба в хлебнице, да и вообще, какая это была хлебница — жалкое зрелище, дрянь. Одни эти проклятые хрустящие хлебцы да несколько ломтиков булки, всегда сухой «из гигиенических соображений». И придешь к Винекенам, Эдгар принесет свежий хлеб, и его мать прижмет ковригу к груди левой рукой, правой режет свежие ломти, а мы их подхватываем и мажем яблочным повидлом.

Отец устало наклонил голову, я протянул ему сигареты, он выбрал одну, я дал ему прикурить. Мне было жаль его. Трудно, наверно, отцу впервые в жизни всерьез разговаривать с сыном, которому уже стукнуло двадцать восемь лет.

— Ну, и тысяча других вещей, — сказал я, — вроде лакричных леденцов, воздушных шариков. Мама считала, что воздушные шары — чистое транжирство. Согласен. Это чистое транжирство, но чтобы пустить в воздух все ваши поганые миллионы в виде воздушных шаров, даже нашей расточительности не хватило бы. А эти дешевые леденцы, по поводу которых мама создавала необыкновенно мудрые теории запугивания, доказывала, что эти конфеты — яд, чистый, чистейший яд. Но вместо них она и не думала давать нам другие конфеты, неядовитые — нет, она просто нам никаких конфет не давала. В интернате всегда удивлялись, — добавил я тише, — что из всех мальчиков только я один никогда не ворчал из-за еды, наоборот, — съедал все дочиста, да еще похваливал.

— Ну вот видишь, — сказал он устало, — значит, и в этом были свои хорошие стороны. — Голос его звучал не очень уверенно и совсем невесело.

— О да, — сказал я, — да, мне совершенно ясна теоретическая и педагогическая ценность такого воспитания, но в том-то и дело, что тут была и теория, и педагогика, и психология, и химия, а в результате — чудовищная озлобленность. У Винекенов я сразу видел, когда получают деньги — по пятницам, и у Шнивиндов и у Холлератов всегда бывало заметно по первым числам

или по пятнадцатым, когда отец приносил получку, тут каждому перепадало что-нибудь лишнее — кусок колбасы потолще или пирожное, а матушка Винекен утром в пятницу даже ходила в парикмахерскую — ведь вечером... Ну, ты, наверно, сказал бы «вечер посвящался богине Венере».

— Что? — крикнул отец. — Неужели ты хочешь сказать... — Он покраснел и взглянул на меня, неодобрительно качая головой.

— Да, да, — сказал я, — вот именно. В пятницу после обеда детей отсылали в кино. А перед кино им еще позволяли пойти поесть мороженого так, чтобы их не было дома по крайней мере часа три с половиной, когда мать приходила от парикмахера, а отец приносил в конвертике получку. Сам знаешь, у рабочих квартирки тесные.

— То есть как? — сказал отец. — Как, неужели ты хочешь сказать, что вы знали, зачем детей посылают в кино?

— Конечно, не совсем, — сказал я, — главное я понял уже задним числом, когда вспоминал об этом, а еще позже я понял, почему она всегда так трогательно краснела, когда мы приходили из кино и садились есть картофельный салат. Потом, когда он стал заведовать стадионом, все изменилось, видно, он больше бывал дома. А я, еще мальчишкой, замечал, что она вечно чего-то стеснялась, и только потом мне стало ясно, чего именно. Что же им еще было делать в квартире, где одна большая комната с кухней и трое детей?

Отец был так потрясен, что я испугался, наверно, ему сейчас разговор о деньгах покажется пошлым. Наша встреча представлялась ему трагедией, но уже начинала доставлять какое-то удовольствие, в плане «благородного страдания», а если ему это переживание придется по вкусу, то трудно будет опять перевести разговор на те триста марок в месяц, которые он мне предложил. С деньгами было то же самое, что и с «плотским вожделением». Никто об этом откровенно не говорил, откровенно не думал: либо оно, как сказала Мари о «плотском вожделении» священников, «сублимировалось», либо считалось вульгарным, и никто не воспринимал деньги как то, что они в данный момент могли дать, — еду, такси, коробку сигарет или номер с ванной.

Но отец явно страдал, это было заметно и очень огорчительно. Он отвернулся к окну, вынул носовой

платок и вытер слезы. Никогда прежде я не видел, чтобы он плакал и пользовался носовым платком по-настоящему. Каждое утро ему давали два свежeweыглаженных носовых платка, и вечером он их бросал в корзинку у себя в ванной, слегка измятыми, но совершенно чистыми. Было время, когда мама, ради экономии, вела с ним бесконечные дискуссии о том, не может ли он носить с собой носовые платки хотя бы два-три дня. «Все равно ты ими не пользуешься, они у тебя и не пачкаются по-настоящему, а ведь надо же чувствовать свою ответственность перед обществом, перед народом». Она намекала на кампанию «Долой расточительство» и «Береги каждый грош». Но отец — и это был единственный случай на моей памяти — энергично запротестовал и настоял, чтобы ему по-прежнему каждое утро выдавалось два свежих носовых платка. Но я на нем никогда не видел ни пылинки, ни капельки влаги, ничего такого, чтобы понадобилось пустить в ход платок. А теперь он стоял у окна и вытирал не только слезы, но и более вульгарную влагу — пот с верхней губы. Я вышел на кухню, потому что он все еще плакал, даже слышно было, как он раза два всхлипнул. А человек не любит, если кто-то видит, как он плачет, и я подумал, что собственный сын, которого почти не знаешь, самый неподходящий свидетель. Сам я знал только одного человека, при котором я мог плакать, — Мари, и я не знал, мог ли отец плакать при своей любовнице, такая ли она была. Я ее видел только раз, мне она показалась очень милой, красивой и не без приятности глупенькой, но слышал я о ней очень много. Родственники изображали ее корыстной и жадной до денег, но у наших родственников всякий, у кого хватало бесстыдства напоминать, что человеку надо хоть изредка есть, пить и покупать обувь, считался корыстным. А уж тот, кто считает жизненно необходимым сигареты, теплые ванны, цветы и вино, — тот имеет все шансы войти в семейную хронику как «безумный расточитель». Я мог себе представить, что любовница дорого стоит: должна же она покупать себе чулки, платья, платить за квартиру, да еще всегда быть в хорошем настроении, а это возможно только при «совершенно прочном финансовом положении», как выразился бы мой отец. Когда он приходил к ней со смертельно нудных заседаний правления акционерных обществ, она непременно должна была быть веселой, душистой, только что от парикмахера. Я не мог

себе представить, чтобы она была такой уж корыстной. Наверно, она просто очень дорого стоила, а в нашей родне это было равнозначно жадности и корысти. Когда садовник Хенкельс, помогавший иногда нашему кучеру, вдруг с удивительной скромностью намекнул, что плата подсобным рабочим «вот уже года три» как стала много выше того, что он у нас получает, моя мать два часа визгливо разглагольствовала о «корыстолюбии и жадности некоторых людей». Как-то она дала почтальону на Новый год двадцать пять пфеннигов на чай и возмутилась, найдя на следующее утро в почтовом ящике конверт с этими деньгами и с запиской: «Не хватает духу ограбить вас на такую сумму, уважаемая». Разумеется, у нее был знакомый в министерстве связи, и она тут же нажаловалась ему на этого «корыстного, наглого человека».

На кухне я торопливо обошел лужу разлитого кофе, прошел в ванную, вытащил из ванны пробку и тут же вспомнил, что впервые за много лет, лежа в ванне, я не пел акафист Пресвятой Деве. Тихонько мурлыкая «Tantum Ergo», я стал постепенно смывать душем остатки мыла со стенок ванны. Я попробовал было затянуть акафист, мне всегда нравилась эта еврейская девушка Мариам, иногда я даже начинал в нее верить. Но и акафист не помогал — должно быть, он был слишком уж католическим, а я был зол на католиков и на весь католицизм. Я решил позвонить Генриху Белену и Карлу Эмондсу. С Карлом Эмондсом я не разговаривал после того ужасного скандала, который разразился два года назад, а писем мы друг другу никогда не писали. Он поступил по отношению ко мне подло, и главное, по совершенно идиотскому поводу: я вбил сырое яйцо в молоко для его младшего сына, годовалого Грегора — меня с ним оставили, когда Карл и Сабина ушли в кино, а Мари в свой «кружок». Сабина мне велела в десять часов подогреть молоко, налить в бутылочку и дать Грегору, а так как мальчишка мне показался очень бледным и щупленьким (он даже не плакал, а просто жалобно скулил), то я решил, что гоголь-моголь из яйца с молоком ему пойдет на пользу. Пока грелось молоко, я носил его на руках по кухне и приговаривал: «А что мы сейчас дадим нашему малышу, что мы ему дадим вкусное — мы ему дадим яичко, вот что!» — ну и так далее, а потом выпустил яйцо, взбил его хорошенько в миксере

и вылил Грегору в молоко. Остальные дети Карла уже крепко спали, нам с Грегором никто не мешал, и когда я ему дал бутылочку, у меня создалось впечатление, что ему было очень вкусно. Он улыбался и сразу заснул, даже не пикнул. А когда Карл пришел из кино и увидел яичную скорлупу на кухне, он вошел в гостиную, где я сидел с Сабиной, и сказал: «Вот хорошо, что ты себе сварил яичко!» Но я сказал, что вовсе не сам съел яйцо, а дал его Грегору, и тут поднялась настоящая буря: ругань, вопли. С Сабиной началась форменная истерика, она кричала мне: «Убийца!» Карл орал на меня: «Бродяга, сутенер проклятый!» — и я так взбесился, что назвал его «тупоумным буквоедом», схватил пальто и вылетел из их дома. Он мне еще вопил сверху: «Нахал безответственный!», а я ему кричал снизу: «Мещанин! Истеричка! Трясогузка несчастная!» А ведь я очень люблю детей, прекрасно умею их нянчить, особенно малышей, и не могу себе представить, чтобы яйцо повредило годовалому ребенку, но то, что Карл обозвал меня «сутенером», обидело меня больше, чем Сабинино «убийца». В конце концов, можно многое простить испуганной матери, но Карл-то отлично знал, что я вовсе не сутенер. Вообще наши отношения были до глупости напряжены, потому что он в глубине души считал мой «свободный образ жизни» просто «великолепным», а меня в глубине души привлекал его мещанский быт. Никогда я не мог заставить его понять, до чего смертельно однообразна моя жизнь, как педантично все в ней шло: поездка, отель, тренировка, выступление, игра в «братец-не-сердись», бутылка пива — и до чего меня привлекал его образ жизни, именно из-за мещанского благополучия. А к тому же он был уверен, что мы не хотим иметь детей, и выкидыши Мари ему казались «подозрительными». Он и не знал, как нам хотелось иметь ребенка. А теперь, несмотря на нашу ссору, я послал телеграмму с просьбой позвонить мне, но не собирался просить у него взаймы. С тех пор у него уже родился четвертый ребенок, и с деньгами было туговато.

Я еще раз сполоснул ванну, тихо вышел в прихожую и заглянул в столовую. Мой отец уже повернулся лицом к столу и больше не плакал. Красный нос, мокрые морщинистые щеки делали его похожим на любого старика, промерзшего и до странности бесцветного, почти что глупого. Я налил немного коньяку, подал ему стакан. Он взял его, выпил. Но до странности глупое

выражение лица не изменилось, и в том, как он допил коньяк и протянул мне стакан с беспомощной мольбой в глазах, было какое-то старческое слабоумие, раньше я никогда в нем этого не замечал. Он походил на человека, который уже ничем, совершенно ничем не интересуется, кроме детективных романов, вин определенной марки и плоских острот. Мятый мокрый платок он просто положил на стол, и это невероятное для него нарушение хорошего тона я воспринял как своеобразное выражение упрямства — словно у непослушного ребенка, которому тысячу раз внушали, что носовых платков на стол не кладут. Я ему налил еще немного коньяку, он выпил и сделал движение, которое только и могло означать: «Пожалуйста, подай мне пальто». Но я на это не реагировал. Мне надо было как-нибудь снова привести его на разговор о деньгах. Но я не мог придумать ничего умнее, чем вынуть мою единственную марку из кармана и начать жонглировать этой монеткой: я покатил ее вдоль вытянутой правой руки, а потом таким же путем обратно.

Он улыбнулся этому трюку довольно вымученной улыбкой. Я подбросил марку почти до потолка, поймал ее, но отец только снова жестом показал мне: «Пожалуйста, подай пальто». Я еще раз подбросил марку, поймал ее носком туфли и поднял высоко, чуть ли не к самому его носу, но он только раздраженно передернулся и проворчал:

— Перестань!

Пожав плечами, я вышел в прихожую, снял его пальто, шляпу с вешалки. Он уже стоял наготове, я помог ему надеть пальто, поднял перчатки, выпавшие из шляпы, подал ему. Он опять чуть не заплакал, смешно передернул носом и губами и шепотом спросил:

— Неужели у тебя не найдется для меня ласкового слова?

— Что ты,— сказал я,— помнишь, ты так ласково положил мне руку на плечо, когда эти идиоты меня судили, а потом, помнишь, как ты спас жизнь матушке Винекен, когда тот слабоумный майор чуть не пристрелил ее, это было так мило с твоей стороны.

— А-а,— сказал он,— а я уже почти все позабыл.

— Вот видишь,— сказал я,— с твоей стороны это особенно мило — взять и забыть, а вот я не забыл.

Он посмотрел на меня с немой мольбой — не называть имени Генриетты, и я не назвал, хотя и собирался

спросить его, почему он не был настолько мил, чтобы запретить ей эту увеселительную поездку в ПВО. Я кивнул головой, и он понял: о Генриетте я говорить с ним не буду. Сам же он наверняка сидел на заседаниях правления, рисовал человечков на промокашке, а иногда — букву «Г» и еще раз эту букву, а может быть, иногда и все ее имя полностью: Генриетта. Он был не виноват, только в нем сидела какая-то тупость, из-за нее он не воспринимал трагедий, а может быть, это и являлось предпосылкой для трагедий. Я его не понимал. Он был такой изящный, такой тонкий, седовласый, такой добрый с виду, а ведь он не послал мне даже милостыни, когда мы с Мари очутились в Кёльне. Откуда у этого милого, любезного человека, моего отца, столько твердости, столько силы, зачем он говорит с телевизионного экрана такие речи о долге перед обществом, о государственной сознательности, о Германии, даже о христианстве, хотя он, по собственному признанию, неверующий, — да еще так говорит, что всех заставляет верить ему. Наверно, тоже ради денег — не тех, конкретных, на которые покупают молоко, ездят в такси, содержат любовницу и ходят в кино, а ради денег отвлеченных, абстрактных. Я боялся его, а он — меня; мы оба знали, что мы не реалисты, и мы оба презирали тех, кто говорил о «реальной политике». Все было много серьезнее, дуракам этого никак не уразуметь. По его глазам я понял: не может он давать свои деньги клоуну, который с деньгами может сделать одно — истратить их, то есть именно то, что надо делать с деньгами. И я знал, что, дай он мне хоть целый миллион, все равно я его истрачу, а для него всякая трата денег была равносильна расточительству.

Пока я сидел на кухне и в ванной, чтобы дать ему выплакаться наедине, я еще надеялся, что его все это потрясет и он подарит мне крупную сумму, без всяких дурацких условий, но теперь я видел по его глазам, что этого он сделать не мог. Он не был реалистом, и я тоже, мы оба знали, что другие люди во всей своей ограниченности только реалисты, глупые, как все марионетки: тысячу раз они хватаются за свой воротник и все же не обнаруживают нитки, на которой пляшут.

Я еще раз кивнул, чтобы окончательно его успокоить; ни про деньги, ни про Генриетту я говорить не собирался, но про нее я подумал как-то не так, в каком-то неподходящем духе, я вдруг представил ее себе такой, какой она была бы сейчас: тридцать три года, уже

разведена с каким-то коммерсантом. Но я не мог себе представить, что она будет участвовать во всей этой пошлости, флиртовать, ходить в гости, «держаться христианской церкви», торчать во всяких комитетах и «быть особенно любезной с этими социал-демократами, иначе у них чувство неполноценности станет еще сильнее». Я мог ее представить себе только отчаянной бунтаркой, наверно, она делала бы то, что реалисты считают снобизмом, потому что у них самих фантазии не хватает. Например, вдруг вылить коктейль за шиворот одному из бесчисленных «директоров» или врезаться на своей машине прямо в «мерседес» какого-нибудь разъяренного сверхлицемера. Чего бы она только не наделала, особенно если бы не умела рисовать картинки или делать масленочки на гончарном станочке. Наверно, она не хуже меня чувствовала бы повсюду, где ощущаются хоть какие-то признаки жизни, ту невидимую стену, за которой деньги перестают быть тем, что можно тратить, и становятся неприкасаемыми, существуя только в виде символической цифры, хранимой, как святыня.

Я пропустил отца к выходу. Он снова вспотел, и мне стало его жалко. Я торопливо выбежал в столовую, схватил грязный носовой платок со стола и сунул ему в карман. От мамы можно ожидать больших неприятностей, если при ежемесячной проверке белья она вдруг чего-нибудь недосчитается: обязательно обвинит прислугу в воровстве или разгильдяйстве.

— Может, вызвать такси? — спросил я.

— Нет, — сказал он, — пройдусь немного пешком. Шофер меня ждет у вокзала. — Он прошел мимо меня, я открыл двери, проводил его до лифта и нажал кнопку. И тут я еще раз вынул свою марку, положил на протянутую правую ладонь и стал ее рассматривать. Отец отвернулся, словно ему стало противно, и покачал головой. Я подумал: неужели он не может хотя бы вынуть бумажник и дать мне пятьдесят или сто марок, но душевная боль, собственное благородство и ощущение своего трагического положения вознесли его на такие высоты сублимации, что всякая мысль о деньгах вызывала отвращение, а разговор о них казался кощунством. Я открыл перед ним дверцу лифта, он обнял меня, вдруг шмыгнул носом, хихикнул и сказал: — А от тебя и впрямь пахнет кофе, да, жаль, жаль, я бы с удовольствием сварил тебе отменный кофе — это я действительно умею. — Он отпустил меня, вошел в лифт, и прежде

чем лифт стал опускаться, я увидел, как он нажал кнопку и хитровато усмехнулся. Я постоял, посмотрел, как вспыхивают цифры: четыре, три, два, один, потом красный огонек потух.

Когда я вернулся к себе и запер двери, я понял, что поступил очень глупо. Надо было принять его предложение сварить мне кофе и задержать его еще немного. А в решительную минуту, когда он подал бы кофе и, радуясь своему умению, стал бы наливать его, мне надо было бы сказать: «Ну, давай деньги!» или: «Ну, выкладывай денежки!» В решающий момент всегда надо действовать примитивно, по-варварски. Тут просто говорится: «Вам достанется половина Польши, нам — половина Румынии. Да, кстати, не угодно ли взять две трети Силезии или хватит половины? Вы получите четыре министерских кресла, а мы — концерн Фикфок». Какой я болван — поддался и его настроению, и своему, а надо было прямо хватать его за бумажник. Надо было просто с самого начала заговорить о деньгах, обсудить с ним вопрос о деньгах, о мертвом, скованном, абстрактном капитале, который для множества людей — вопрос жизни и смерти. «Вечно эти деньги!» — испуганно восклицала моя мать в любых обстоятельствах, даже когда мы просто просили тридцать пфеннигов на тетрадку. Вечные деньги. Вечная любовь.

Я вышел в кухню, отрезал ломоть хлеба, намазал маслом, потом вернулся в столовую и набрал номер Белы Брозен. Я надеялся, что отец в таком состоянии — его, наверно, знобило от волнения — пойдет не домой, а к своей любовнице. Глядя на нее, можно было предположить, что она его уложит в постель, даст грелку, напоит горячим молоком с медом. А у моей матери была проклятая привычка: если человек себя плохо чувствовал, она ему говорила, что надо взять себя в руки, собрать всю волю, а с недавних пор она вообще считает холодный душ «единственным лекарством».

— Квартира Брозен, — сказала она, и мне понравилось, что от нее ничем не пахнет. Голос у нее был чудесный, низкий альт, теплый и ласковый.

Я сказал:

— Шнир, Ганс, вы меня помните?

— Помню ли? — сказала она сердечно. — Ну конечно, еще бы! И я так вам сочувствую. — Я не понял, о чем она говорит, и сообразил, только когда она продолжила: — Поймите одно — все критики такие глупые, тщеславные, самовлюбленные.

Я вздохнул.

— Если бы я этому поверил, мне стало бы легче.

— А вы поверьте, и все! — сказала она. — Просто поверьте. Вы не представляете себе, как тут помогает железное упорство — заставить себя верить, и все.

— А вдруг меня кто-нибудь из них похвалит, что тогда?

— О-оо! — Она рассмеялась, и из этого «о» спирально пошла вверх прелестная колоратура. — Тогда просто верьте, что вашего критика впервые в жизни одолела честность и он позабыл всю свою самовлюбленность.

Я рассмеялся. Я не знал, назвать ли мне ее просто Бела или госпожа Брозен. Мы ведь были почти незнакомы, а такого справочника, в котором можно найти, как обращаться к любовнице своего отца, вообще не существует. В конце концов я сказал «госпожа Бела», хотя эта актерская манера обращения показалась мне особенно идиотской.

— Госпожа Бела, — сказал я, — я попал в жуткий переплет. Отец был у меня, мы говорили о чем угодно, но я никак не мог поговорить о деньгах — ну никак! — Тут я почувствовал, что она покраснела, я считал ее вполне честным человеком, верил, что ее отношения с отцом основаны на «искренней любви» и «денежные дела» ей неприятны. — Выслушайте меня, пожалуйста, — сказал я, — забудьте то, о чем вы сейчас думаете, не стыдитесь, ведь я только прошу вас, если отец заговорит с вами обо мне, я хочу вас попросить, не можете ли вы внушить ему, что я страшно нуждаюсь в деньгах. В наличных деньгах. И немедленно — я совершенно без гроша. Вы меня слушаете?

— Да, — сказала она так тихо, что я перепугался. Потом я услышал, как она всхлипывает. — Вы считаете меня скверной женщиной, Ганс, — сказала она и уже откровенно расплакалась, — продажной тварью, каких много. Ну конечно, что же вам еще думать! О-оо-о...

— Ничего похожего! — сказал я громко. — Никогда я вас такой не считал, честное слово, никогда. — Я боялся, что она начнет говорить о своей душе, о душе моего отца — судя по ее неудержимому рыданию, в ней было

немало сентиментальности, можно было ждать, что она и о Мари заговорит.— Напротив,— сказал я не совсем уверенно, мне показалось подозрительным, что она уж слишком пренебрежительно отозвалась о «продажных тварях».— Напротив,— сказал я,— я всегда был убежден в вашем благородстве и ни разу не подумал о вас плохо.— Это была правда.— И кроме того,— тут я хотел назвать ее по имени, но не хватило духу еще раз выговорить отвратительно фамильярное «Белла»,— кроме того, мне уже под тридцать. Вы меня слышите?

— Да,— всхлипнула она и опять зарыдала там, у себя в Годесберге, как будто сидела в исповедальне.

— Постарайтесь внушить ему одно — мне нужны деньги.

— Мне кажется,— сказала она усталым голосом,— что неудобно заговорить с ним об этом так, прямо. Все, что касается его семьи, вы понимаете, это для нас табу, но есть другой подход.— Я промолчал. Ее рыдания перешли в тихие всхлипы.— Иногда он дает мне деньги для нуждающихся коллег,— сказала она,— тут мне предоставляется полная свобода, так вот, не считаете ли вы, что было бы вполне естественно, если бы я отдала эту небольшую сумму вам, как коллеге, который испытывает в данный момент нужду?

— Я действительно коллега, который испытывает нужду, и не только в данный момент, но по крайней мере на полгода вперед. Но скажите, пожалуйста, что вы называете «небольшой суммой»?

Она кашлянула, еще раз протянула «о-оо!» — на этот раз без колоратуры — и сказала:

— Обычно я получаю взнос для совершенно определенной помощи нуждающимся: если кто-то умирает, или болеет, или у женщины ребенок — понимаете, речь идет не о постоянной помощи, а, так сказать, о временной поддержке.

— А сколько? — спросил я.

Она ответила не сразу, и я попытался представить себе, какая она сейчас. Я ее видел пять лет назад, когда Мари силой затащила меня в оперу. Госпожа Брозен пела партию крестьянской девушки, соблазненной неким графом, и тогда я был поражен вкусом моего отца. Это была особа среднего роста, пышущая здоровьем, явная блондинка, с классически «волнующейся» грудью; прислоняясь то к изгороди, то к крестьянской телеге и,

наконец, опираясь на вилы, она старалась своим красивым сильным голосом выразить порывы простой души.

— Алло! — крикнул я. — Алло!

— О-оо! — протянула она, и ей опять удалось пустить колоратуру, хоть и очень слабенькую. — Вы так прямо ставите вопрос.

— В моем положении иначе нельзя, — сказал я. Мне стало не по себе. Чем дольше она не отвечала, тем меньше становилась сумма, которую она собиралась назвать.

— Видите ли, — сказала она наконец, — суммы колеблются примерно от десяти до тридцати марок.

— А если какой-нибудь ваш коллега попал в особенно затруднительное положение: скажем, сильно расшибся и нуждается в поддержке в течение нескольких месяцев, примерно марок по сто в месяц?

— Милый мой, — сказала она тихо, — неужто вы хотите, чтобы я шла на обман?

— Вовсе нет, — сказал я, — я действительно расшибся, а потом, разве мы с вами не коллеги, не артисты?

— Попробую, — сказала она, — но не знаю, клюнет ли он на это.

— Что? — крикнул я.

— Не знаю, удастся ли мне так изобразить это дело, чтобы убедить его. Фантазии у меня мало.

Этого она могла бы и не говорить, мне и так уже казалось, что более глупой бабы я в жизни своей не видел.

— Скажите, а что, если бы вы попробовали устроить мне ангажемент в здешний театр, конечно на выходные роли. Могу неплохо играть комиков.

— Нет, нет, мой милый Ганс, — сказала она, — мне и так не по нутру вся эта интрига.

— Ну хорошо, — сказал я, — скажу вам только одно: я с радостью приму самую маленькую сумму. До свидания, и большое вам спасибо! — Я положил трубку, прежде чем она успела еще что-то сказать.

У меня было смутное предчувствие, что из этого источника никогда ничего не капнет. Слишком она была глупа. И тон, каким она сказала «клюнет», вызвал во мне подозрение. Вполне возможно, что она эту «лепту» для нуждающихся коллег просто клала себе в карман. Мне было жаль отца, хотелось бы, чтобы любовница у него была и красивая и умная. Я все еще жалел, что не дал ему возможности сварить мне кофе. Эта дура отпетая,

наверно, улыбалась и втайне качала головой, как недовольная учительница, когда он у нее в квартире уходил на кухню варить кофе, а потом лицемерно восхищалась и хвалила его за этот кофе, как хвалят собаку, когда она подает поноску. Я был страшно зол, отошел от телефона к окну, распахнул его настежь и выглянул на улицу. Я боялся, что в конце концов придется прибегнуть к помощи, предложенной Зоммервильдом. Вдруг я схватил свою единственную марку, швырнул ее на улицу и в ту же секунду раскаялся, посмотрел ей вслед, ничего не увидел, но мне показалось, что я услышал, как она упала на крышу проходящего трамвая. Я взял со стола хлеб с маслом и съел его, все еще глядя на улицу. Было больше восьми, уже два часа, как я приехал в Бонн, уже поговорил по телефону с шестью так называемыми друзьями, говорил с матерью, отцом, и у меня не только не прибавилось ни одной марки, но стало на марку меньше, чем до приезда. Я охотно спустился бы вниз, поднял марку с мостовой, но стрелки часов приближались к половине девятого, и Лео мог каждую минуту позвонить или прийти.

Мари хорошо, она теперь в Риме, в лоне своей церкви, обдумывает, в каком платье ей пойти на аудиенцию к папе. Цюпфнер достанет ей фотографию Жаклин Кеннеди, и ему придется купить ей испанскую мантилью и вуаль, потому что, в сущности говоря, Мари теперь была чем-то вроде *first lady* германского католицизма. Я решил тоже поехать в Рим и выпросить аудиенцию у папы. В нем самом было что-то от мудрого старого клоуна, да ведь и образ Арлекина родился в Бергамо; надо будет получить об этом подтверждение от Геннехольма — он все знает. А папе я объясню, что, собственно говоря, мой брак с Мари разбился из-за всяких официальных брачных формальностей, и я его попрошу рассматривать меня как своего рода противоположность Генриху Восьмому: он был верующим полигамистом, а я — неверующий моногамист. Я ему расскажу, сколько самодовольства и низости в немецких «ведущих» католиках, пусть ему не втирают очки. Покажу ему два-три номера, что-нибудь изящное, легкое, вроде «Ухода в школу и возвращения домой», только своего «Кардинала» показывать не буду: он может обидеться, ведь он сам раньше был кардиналом, а уж его-то я меньше всего хотел бы обидеть.

Вечно я становлюсь жертвой собственной фантазии:

я так ясно представил себе аудиенцию у папы, видел, как я становлюсь на колени и прошу благословить меня, неверующего, а у дверей стоит папская гвардия и какой-нибудь благосклонный, но несколько презрительно улыбающийся монсеньор,— и все это я представил себе до того ясно, что сам чуть не поверил, будто я уже был у папы. У меня, наверно, появится искушение рассказать Лео, как я был у папы, имел у него аудиенцию. Да я и был в эту минуту у папы: видел его улыбку, слышал его красивый крестьянский голос и рассказывал ему, как деревенский дурачок из Бергамо стал Арлекином. Но в этих вопросах Лео очень строг, он вечно называет меня лгуном. Лео всегда приходил в бешенство, когда я, встречаясь с ним, спрашивал: «А ты помнишь, как мы с тобой распилили ту деревяшку?» Он сразу начинал кричать: «Да никакой деревяшки мы с тобой не распиливали!» И он по-своему, по-глупому, прав, хотя это не имеет никакого значения. Тогда Лео было лет шесть-семь, а мне лет восемь-девять, и он нашел в конюшне кусок дерева, видно обломок какого-то забора, и там же он нашел заржавленную пилу и стал меня упрашивать распилить с ним этот обломок. Я спросил его, зачем нам пилить эту дурацкую деревяшку, но он ничего объяснить не мог, ему просто хотелось попилить, и все, но я сказал, что это форменная глупость, и Лео проревел с полчаса; а потом, лет через десять, когда мы сидели на уроке немецкой литературы у патера Вунибальда и говорили о Лессинге, мне вдруг посреди занятий без всякого повода стало понятно, чего хотел Лео: ему просто-напросто хотелось пилить, именно в ту минуту, когда ему пришла охота, и пилить вместе со мной. И вдруг, через десять лет, я его понял, пережил и его радость, и ожидание, и волнение — все, что он испытывал в ту минуту, пережил настолько явственно, что тут же, на уроке, начал делать такие движения, словно пилил пилой. Я представлял себе раскрасневшееся от радости мальчишеское лицо Лео напротив меня и двигал ржавую пилу к нему, он — ко мне, но тут патер Вунибальд вдруг дернул меня за волосы, чтобы «привести в сознание». С тех пор я считаю, что в самом деле пилил с Лео эту деревяшку, но ему этого не понять. Он реалист. Теперь он уже не может понять, как иногда хочется немедленно сделать то, что кажется явной глупостью. Даже моей матери иногда непреодолимо хочется сделать что-то сию минуту: поиграть у камина в карты, собственноручно

заварить на кухне яблочный чай. Наверно, ей вдруг просто хочется сесть за наш красиво отполированный стол красного дерева, поиграть в карты в счастливом семейном кругу. Но всегда, когда ей приходила охота, ни у кого из нас охоты не было; и начинались сцены, она притворялась «непонятой матерью», настаивала, заставляла нас «выполнять свой долг послушания», четвертую заповедь, но потом понимала, что это будет весьма среднее удовольствие — играть с детьми, которые идут на это лишь из чувства долга,— и, расплакавшись, уходила к себе. Иногда она пробовала нас подкупить, обещала угостить нас чем-нибудь «особенно вкусненьким», и опять все кончалось слезами; такие вечера мама нам устраивала довольно часто. Она не знала, отчего мы так упорно сопротивляемся, но та семерка червей еще осталась в колоде, и при каждой игре мы вспоминали Генриетту, однако никто об этом не говорил, а потом, припоминая ее тщетные попытки изобразить у камина «счастливое семейство», я мысленно играл с ней в карты, хотя те игры, в которые можно играть вдвоем,— ужасно скучная штука. Но я действительно играл с ней в «бб» и в «войну», пил яблочный чай, даже клал туда мед, а мама, шутливо грозя мне пальцем, разрешала взять сигарету, а где-то в глубине комнаты Лео играл свои этюды, и при этом все мы, даже прислуга, догадывались, что отец сейчас «у той женщины». Видно, Мари каким-то образом узнала про эти мои «выдумки», потому что она всегда смотрела на меня с сомнением, когда я что-нибудь ей рассказывал, а ведь того мальчишку на вокзале в Оснабрюкке я видел *на самом деле*. Но иногда со мной бывает и наоборот: то, что я переживаю *на самом деле*, мне кажется неправдоподобным или нереальным. Например, тот случай, когда я поехал в молодежный кружок Мари, чтобы побеседовать с девушками о Пресвятой Деве. И то, что другие называют фактографией, мне кажется сплошной фикцией.

Я отошел от окна, потеряв всякую надежду найти свою марку в уличной грязи, и пошел на кухню намазать еще один бутерброд. Еды в доме оставалось не очень много: еще одна банка фасоли, банка слив (слив я не люблю, но Моника знать об этом не могла), полхлеба,

полбутылки молока, четвертушка кофе, пяток яиц, три ломтика сала и тубик с горчицей. На столе в комнате лежало еще четыре сигареты в пачке. Я чувствовал себя настолько худо, что уже потерял надежду когда-нибудь начать тренировку. Колено до того распухло, что брюки стали узки, голова так болела, что боль казалась нечеловеческой — сверлящая, неумная боль; на душе был сплошной мрак, такого со мной еще не бывало, и тут еще мучило «плотское вожделение», а Мари была в Риме. Мне нужна была она, ее руки у меня на груди. Как сказал однажды Зоммервильд, у меня «зоркое и точное ощущение физической красоты», и я люблю смотреть на красивых женщин вроде моей соседки госпожи Гребзель, но никакого «плотского вожделения» я к этим женщинам не испытываю, и большинство женщин на это обижаются, хотя, если бы я испытывал желание и попытался бы его удовлетворить, они, конечно, стали бы звать полицию. Удивительно сложная и жестокая штука это самое «плотское вожделение»: для мужчин-полигамистов это, наверно, вечное мучение, а для однолюбов вроде меня — постоянный повод для скрытой невежливости, потому что большинство женщин считают обидным, если не чувствуют в мужчине того, что они называют «эросом». Даже госпожа Блотерт, такая стойкая, такая набожная, тоже немножко обижалась. Иногда я понимаю тех «злодеев», про которых так много пишут в газетах, но когда я представляю себе, что есть такая вещь, как «супружеский долг», меня берет страх. Жуткие дела происходят, наверно, в таком браке, когда церковь и государство заставляют женщин делать «это» по принуждению. Разве можно предписывать человеку жалость? Надо было бы и об этом поговорить с папой. Его наверняка неправильно информируют. Я намазал себе еще один бутерброд, вышел в прихожую и вытащил из кармана пальто вечернюю газету, я ее купил в поезде из Кёльна. Иногда и вечерняя газета помогает: от нее я тоже становлюсь совсем пустой, как от телевизора. Я перелистал газету, просмотрел заголовки и вдруг попал на заметку, которая меня рассмешила. Доктор Герберт Калик награжден крестом за особые заслуги. Калик — тот самый юнец, который донес на меня, обвинил в пораженчестве и во время суда настаивал на жестоком, беспощадно жестоком наказании. Это у него появилась гениальная идея мобилизовать сиротский приют на битву до победного конца. Я знал, что теперь он

сделался важной шишкой. В вечерней газете было сказано, что этот крест он получил «за заслуги по демократическому воспитанию юношества».

Года два назад он пригласил меня к себе помириться. Не знаю, должен ли я был простить его за то, что Георг, сирота из приюта, погиб при упражнениях с ручными гранатометами, или за то, что он донес на меня, десятилетнего мальчишку, обвинил в пораженчестве и настаивал на жестоком, беспощадно жестоком наказании. Но Мари считала, что нельзя «пренебрегать попыткой примирения», и мы купили цветов и поехали к нему. Он жил в красивой вилле, почти у самого Эйфеля, с красивой женой и с тем, кого они с гордостью называли «наш единственный». Жена у него из тех красивых женщин, про которых толком не поймешь — живые они или заводные. Все время, что я сидел с ней рядом, меня так и подмывало схватить ее за руку или за плечи, даже, может быть, за ноги и проверить: а вдруг она и вправду кукла. Весь ее вклад в светскую беседу сводился к двум фразам: «Ах, какая прелесть!» и «Ах, какая гадость!». Сначала она мне показалась скучной, но потом я страшно увлекся и стал ей рассказывать всякую чушь про монетки, которые бросают в автомат, — мне просто хотелось посмотреть, как она будет реагировать. Когда я сказал, что у меня недавно умерла бабушка — кстати, это неправда, потому что бабушка умерла лет двенадцать назад, — она сказала: «Ах, какая гадость!» — а по-моему, про чью-то смерть можно сказать много глупостей, но уж никак не «какая гадость!».

Потом я ей рассказал, что некий Хумело (которого никогда на свете не было — я его тут же выдумал, чтобы запустить в автомат что-нибудь положительное), что этот самый Хумело получил доктора наук гонорис кауза, и она сказала: «Ах, какая прелесть!» Но когда я ей стал рассказывать, что мой брат Лео принял католичество, она на секунду замялась, мне и это показалось уже каким-то признаком жизни, потом взглянула на меня своими огромными пустыми кукольными глазами, словно выпытывая, к какой категории я сам отношу это событие, и затем сказала: «Гадость, правда?» Все-таки мне удалось извлечь из нее какой-то вариант обычных ее выражений. Я ей предложил отбросить всякие восклицания и говорить просто: «Гадость!» или «Прелесть!» — и она хихикнула, положила мне еще спаржи и только потом сказала: «Ах, какая прелесть!» Наконец, мы в тот

вечер познакомились и с их «единственным» — пятилетним бутузом, который мог бы хоть сейчас выступать в рекламах по телевидению. Все эти штучки прямо с рекламы зубной пасты: «Спокойной ночи, мамочка! Спокойной ночи, папочка!» — «Шаркни ножкой» — сначала перед Мари, потом передо мной. Удивительно, что телевизионная реклама его еще не открыла. Когда мы уселись у камина с кофе и коньяком, Герберт заговорил о «великих временах, в которые мы живем». Потом он принес шампанского и расчувствовался. Он попросил у меня прощения, даже встал на колени, чтобы я ему дал, как он выразился, «светское отпущение грехов»; я хотел было просто дать ему пинка в зад, но вместо этого взял со стола нож для сыра и торжественно посвятил его в рыцари демократии. Его жена воскликнула: «Ах, какая прелесть!» — и когда Герберт, растроганный до глубины души, уселся, я произнес речь о «жидовствующих янки». Я сказал, что некоторое время думали, будто фамилия Шнир происходит от «шноррен», то есть «попрошайничать», но потом было доказано, что она произведена от слов «шнайдер», или «шнидер», то есть «портной», а не от слова «попрошайка», и что я не еврей и не янки, — и тут вдруг, сам того не ожидая, я дал Герберту по морде, потому что вспомнил, как он велел нашему школьному товарищу Гецу Бухелю представить доказательства своего арийского происхождения и Гец попал в очень неприятное положение — мать у него была итальянка, родом из какой-то южноитальянской деревушки, а достать оттуда какие-нибудь сведения о его бабушке, хотя бы отдаленно подтверждавшие ее арийское происхождение, оказалось абсолютно невозможным, тем более что деревня, где родилась мать Геца, к тому времени уже была занята «жидовствующими янки». Тяжкие, опасные для жизни недели пришлось пережить и госпоже Бухель и Гецу, пока одному из учителей не пришла мысль обратиться к специалисту по расовым вопросам из Боннского университета. Тот установил, что Гец «чистый, абсолютно чистый образец романской расы», однако Герберт Калик тут же выдумал другую чушь: все итальянцы — предатели, и бедный Гец до самого конца войны не знал ни одной спокойной минуты. Это мне и вспомнилось, когда я попытался произнести речь о «жидовствующих янки», — и я просто отвесил Калику здоровую затрещину, швырнул в камин свой бокал с шампанским и нож для сыра, схватил Мари

за руку и выбежал из их дома. Такси нигде не было, пришлось довольно далеко идти пешком, до остановки автобуса. Мари плакала и все время повторяла, что я поступил не по-христиански и не по-человечески, а я сказал, что я не христианин и что исповедадьня для меня еще не открыта. Она спросила, неужто я сомневаюсь, что он, то есть Герберт, стал демократом, и я сказал: «Да нет же, вовсе не то, просто я его не выношу и никогда выносить не смогу».

Я взял телефонный справочник и стал искать номер Калика. У меня как раз было подходящее настроение поболтать с ним по телефону. Я вспомнил, что после той истории я еще раз встретил его у нас дома, на «журфиксе», и он посмотрел на меня умоляюще и покачал головой—в эту минуту он беседовал с каким-то раввином об «утонченности еврейского интеллекта». Мне было жаль этого раввина. Он был очень старый, с белоснежной бородой, очень добрый и такой безобидный, что мне стало как-то спокойно. Разумеется, Герберт рассказывал всем новым знакомым, что он был нацистом и антисемитом, но что «история открыла ему глаза». Между тем он еще в самый канун прихода американцев в Бонн проводил с ребятами учения в нашем парке и говорил им: «Как увидишь первую жидовскую свинью, так и швыряй!» Что меня задевало на «журфиксах» моей матери, это полнейшая наивность возвратившихся эмигрантов. Их так трогало все это раскаяние, все эти громогласные признания в любви к демократии, что они готовы были со всеми брататься и обниматься. Они не понимали, что секрет всего этого ужаса—в мелочах. Раскаиваться в серьезных проступках легче легкого: в политических ошибках, в супружеской измене, убийствах, антисемитизме, но кто может простить, кто может понять мелочи? То, как Брюль и Герберт Калик взглянули на моего отца, когда он положил мне руку на плечо, и как Герберт Калик, вне себя от бешенства, стучал костяшками пальцев по столу, впившись в меня оловянными глазами, требовал жестокости, беспощадной жестокости, или же как он схватил Геца Бухеля за шиворот и, несмотря на слабые протесты учителя, вытащил его на середину класса, говоря: «Взгляните на него—чем не жид?» У меня в памяти слишком много разных моментов, деталей, мелочей, да и глаза у Герберта ничуть не изменились. Мне стало жутко, когда я увидел, что этот старый, немножко простоватый раввин настроен так

миролюбиво, стоит с ним рядом, принимает от него коктейли и слушает его трепотню про «утонченность еврейского интеллекта». Эмигрантам и невдомек, что нацистов почти не посылали на фронт и перебили там главным образом совсем других людей, убили, например, Губерта Книпса, который жил рядом с Винекенами, и Гюнтера Кремера, сына пекаря, и хотя они и были вожаками гитлерюгенда, их послали на фронт потому, что они не проявляли «политической бдительности», не желали шпионить и доносить. А вот Калика на фронт не послали, он-то за всеми шпионил, как и сейчас шпионит. Он прирожденный шпик. Все было совершенно по-другому, чем представляли себе эмигранты. Они только и умеют делить людей на две категории — виновные и невиновные, нацисты и ненацисты.

Иногда в лавку к отцу Мари заходил крайсляйтер Киренхан, запросто брал из ящика пачку сигарет, без талонов и без денег, садился на прилавок перед отцом Мари и говорил: «Ну, Мартин, а что, если мы тебя упрячем в уютный, маленький, совсем не страшный концлагерь?»

И отец Мари ему отвечал: «Свинья свиньей и останется, а ты всегда был такой». Они знали друг друга чуть ли не с шести лет. Киренхан начинал злиться и говорил: «Мартин, не забывайся, не заходи слишком далеко». И отец Мари отвечал: «Я еще дальше зайду: ну-ка, убирайся отсюда!» И Киренхан говорил: «Ну, уж я постараюсь, чтоб тебя засадили не в хороший, а в самый скверный концлагерь». Так они препирались изо дня в день, и отца Мари, наверно, схватили бы, если бы сам гауляйтер не «простер над ним длань милосердия», взяв его под свою защиту по неизвестной нам причине — мы так ничего и не узнали. Разумеется, он не над всеми простирает свою длань, во всяком случае не над кожевником Марксом, не над коммунистом Крупе. Их прикончили. А гауляйтер сейчас живет припеваючи, у него свое строительное дело. Мари как-то встретила его, и он сказал, что ему «жаловаться нечего». Отец Мари всегда говорил мне: «Ты сможешь понять весь ужас этих нацистских времен, если представишь себе, что я действительно был обязан жизнью такой скотине, как этот гауляйтер, да еще должен был впоследствии письменно подтвердить, что я ему этим обязан».

Я уже нашел номер каликовского телефона, но не решался ему позвонить. Я вспомнил, что завтра мамин

«журфикс». Можно было бы пойти туда и хотя бы набрать, за счет моих родителей, полные карманы сигарет, соленого миндаля, взять с собой два мешочка — для маслин и для печенья с сыром, а потом обойти гостей с шапкой и провести сбор «в пользу нуждающегося члена семьи». Однажды, когда мне было лет пятнадцать, я провел такой сбор «на особые цели» и набрал около ста марок. У меня даже угрызений совести не было, когда я истратил эти деньги на себя, а если я завтра проведу сбор «в пользу нуждающегося члена семьи», то тут даже никакой лжи не будет: я действительно нуждающийся член семьи. А потом можно было бы пройти на кухню, поплакать Анне в жилетку и стащить хвостик колбасы. Все идиоты, собравшиеся у мамы, воспримут мое выступление как изумительную шутку, даже маме придется с кисло-сладкой миной принять эту шутку — и никто не будет знать, что все это совершенно серьезно. Ни черта эти люди не понимают. Они, конечно, знают, что клоун должен выглядеть меланхоликом, если он хороший клоун, но то, что у него меланхолия может быть всерьез, — до этого они никак не додумаются. У мамы на «журфиксе» я встречу их всех: Зоммервильда и Калика, либералов и социал-демократов, шесть президентов всяких обществ, даже людей из противоатомной лиги (мама целых три дня была борцом против атомной бомбы, но когда один из президентов чего-то такого разъяснил ей, что последовательная борьба против атомной бомбы приведет к катастрофическому падению акций, она в ту же минуту — буквально в ту же минуту! — помчалась к телефону, позвонила в комитет и «отмежевалась»). А потом — конечно, перед уходом, после того как я обойду всех со шляпой, — я бы дал Калику по морде, обозвал Зоммервильда ханжой и лицемером и обвинил бы присутствующего члена Союза католиков-мирян в подстрекательстве к супружеской измене и прелюбодеянию.

Я снял палец с диска и не позвонил Калику. Мне только хотелось у него узнать, преодолел ли он уже свое прошлое, как у него насчет сопричастности власти и не может ли он просветить меня по вопросу о «еврейском интеллекте». В свое время Калик делал доклад на собрании гитлерюгенда под названием: «Макиавелли, или Попытка сопричаститься власти». Я мало что понял в этом докладе, кроме того, что сам Калик «откровенно и безоговорочно становился на сторону сильной власти»,

но по лицам других представителей гитлерюгенда я видел, что даже на их вкус он перехватил. Калик почти и не говорил о Макиавелли, а все больше о Калике, и по физиономиям других вождей гитлерюгенда без слов было видно, что эта речь им кажется явным бесстыдством. В газетах часто читаешь про таких людей — про растлителей. Калик был просто политическим растлителем, и там, где он выступал, оставались растленные души.

Я радовался, что пойду на «журфикс». Наконец-то мне хоть что-нибудь перепадет из богатства моих родителей — маслины, соленый миндаль, сигареты, — наберу сигарет побольше, целыми пачками, а потом продам по дешевке. И я сорву орден с Калика и дам ему по морде. По сравнению с ним даже моя мать казалась мне человеком. Когда я с ним в последний раз встретился в прихожей родительского дома, он грустно взглянул на меня и сказал: «У каждого человека есть шанс на прощение, христиане называют его милосердием». Я ему ничего не ответил. В конце концов, я же не христианин. Мне вспомнилось, как он тогда в своем докладе говорил об «эросе жестокости» и о макиавеллизме пола. Как вспомню этот его сексуальный макиавеллизм, так мне становится жаль проституток, к которым он ходит, не меньше, чем замужних женщин, связанных супружеским повиновением с каким-нибудь развратником. И я подумал обо всех молоденьких и хорошеньких девчонках, чья судьба — делать то, к чему у них нет никакой охоты, либо с Каликом за деньги, либо с мужем — бесплатно.

18

Вместо номера Калика я набрал номер той лавочки, где учится Лео. Должны же они когда-нибудь кончить еду, дожевать все эти салаты, полезные для понижения сексуальной возбудимости. Я обрадовался, услышав тот же знакомый голос. Сейчас там курили сигару и капустный дух чувствовался меньше.

— Говорит Шнир, — сказал я, — помните?

Он засмеялся.

— Конечно! — сказал он. — Надеюсь, вы не приняли мои слова буквально и не сожгли своего Августина?

— А как же, — сказал я, — конечно, сжег. Разорвал всю книжку и сунул в печку страницу за страницей.

Минуту он молчал.

— Вы шутите,— хрипло сказал он.

— Нет,— сказал я,— в таких делах я очень последователен.

— Господи помилуй! — сказал он.— Неужели вы не поняли диалектики моих высказываний?

— Нет,— сказал я,— я натура прямая, честная, несложная. А что там с моим братцем? Скоро ли эти господа соблаговолят закончить свою трапезу?

— Только что подали десерт,— сказал он,— теперь уже недолго.

— А что им дали? — спросил я.

— На сладкое?

— Да.

— Собственно, я не должен говорить, но вам скажу. Сливовый компот со взбитыми сливками. Вы любите сливы?

— Нет,— сказал я,— я питаю необъяснимое и вместе с тем непреодолимое отвращение к сливам.

— Вам надо было бы прочесть статью Хоберера об идиосинкразиях. Все связано с очень-очень ранними переживаниями — обычно еще до рождения. Очень интересно. Хоберер обследовал подробнейшим образом восемьсот случаев. Вы, наверно, меланхолик?

— Откуда вы знаете?

— По голосу слышно. Вам надо бы помолиться и принять ванну.

— Ванну я уже принял, а молиться не умею,— сказал я.

— Очень жаль,— сказал он.— Придется подарить вам нового Августина. Или Кьеркегора.

— Он у меня есть,— сказал я,— скажите, не можете ли вы передать брату еще одну просьбу?

— С удовольствием.

— Скажите, чтоб захватил с собой денег. Сколько может.

Он что-то забормотал, потом громко сказал:

— Я все записал. Принести денег сколько может. Вообще вам надо было бы почитать Бонавентуру. Это великолепно — и пожалуйста, не презирайте девятнадцатый век. У вас такой голос, словно вы презираете девятнадцатый век.

— Правильно,— сказал я,— я его ненавижу.

— Это заблуждение,— сказал он,— чепуха. Даже архитектура была не так плоха, как ее изображают.— Он

рассмеялся.— Лучше подождите до конца двадцатого века, а потом уже можете ненавидеть девятнадцатый. Вы не возражаете, если я пока что доем свой десерт?

— Сливы? — спросил я.

— Нет,— сказал он и тоненько засмеялся.— Я попал в немилость и теперь получаю не с господского, а со служебного стола. Сегодня на сладкое пудинг. Но зато...— он, очевидно, уже набрал в рот пудинга, проглотил, хихикнул и продолжал:— ...зато я им тоже отомстил. Я часами говорю по междугородному телефону с одним старым коллегой в Мюнхене, он тоже был учеником Шелера. Иногда звоню в Гамбург, в справочную кинотеатров, иногда в Берлин, в бюро погоды,— это я так мщу. При автоматических соединениях можно звонить бесконтрольно.— Он снова съел ложку пудинга, хихикнул и шепотом сказал:— Церковь-то богатая. От нее просто смердит деньгами, как от трупа богача. А бедные покойники хорошо пахнут. Вы это знаете?

— Нет,— сказал я. Я чувствовал, как проходит головная боль, и рисовал красный кружок вокруг номера семинарии.

— Вы неверующий, правда? Нет, не отрицайте, я по голосу слышу, что вы неверующий. Угадал?

— Да,— сказал я.

— Это не важно, совершенно не важно,— сказал он,— у пророка Исаяи есть одно место, которое апостол Павел даже цитирует в Послании к римлянам. Слушайте внимательно: «Но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают».— Он злоратно захихикал.— Вы меня поняли?

— Да,— сказал я вяло.

Он громко сказал:

— Ну, доброй ночи, господин директор, доброй ночи! — и повесил трубку. Под конец в его голосе прозвучало злорадное подобострастие.

Я подошел к окну, посмотрел на часы, висевшие на углу. Было почти половина десятого. Что-то долго они там едят, решил я. С Лео я поговорил бы с удовольствием, но сейчас мне важно было только получить от него денег в долг. Постепенно я стал понимать всю серьезность своего положения. Иногда я не знаю, что правда: то ли, что я пережил осязаемо и реально, или то, что на самом деле со мной произошло. У меня все как-то перепутывается. Например, я не мог бы поклясться, что видел того мальчишку, в Оснабрюкке, но я мог бы дать

клятву, что пилил деревяшку с Лео. Не мог бы я и клятвенно подтвердить, что ходил пешком к Эдгару Винекену в Кёльн-Кальк, чтобы обменять дедушкин чек на наличные. Это нельзя доказать даже тем, что я так хорошо помню все подробности — зеленую кофточку булочницы, подарившей мне булочки, или дыры на пятках у молодого рабочего, который прошел мимо, когда я сидел на ступеньках, дожидаясь Эдгара. Но я был абсолютно уверен, что видел капельки пота на верхней губе у Лео, когда мы с ним пилили деревяшку. Помнил я и все подробности той ночи, когда у Мари в Кёльне сделался первый выкидыш. Генрих Белен устроил мне несколько выступлений в молодежном клубе по двадцать марок за вечер. Обычно Мари ходила туда со мной, но в тот вечер осталась дома — она плохо себя чувствовала, и когда я вернулся поздно вечером с девятнадцатью марками чистой прибыли в кармане, я нашел пустую комнату, увидел на неоправленной постели простыню в кровавых пятнах и нашел на комодке записку: «Я в больнице. Ничего страшного. Генрих все знает». Я сейчас же помчался к Генриху, и его брюзга экономка сказала, в какой больнице лежит Мари, я побежал туда, но меня не пустили, им пришлось искать в больнице Генриха, звать его к телефону, и только тогда монахиня-привратница пустила меня. Было уже половина двенадцатого ночи, и когда я наконец вошел в палату к Мари, все было кончено, она лежала в постели совсем белая и плакала, а рядом сидела монахиня и перебирала четки. Монахиня продолжала спокойно молиться, а я держал руку Мари, пока Генрих тихим голосом пытался ей объяснить, что станется с душой существа, которое она не могла родить. Мари как будто была твердо убеждена, что дитя — так она его называла — никогда не попадет в рай, потому что оно не было крещено. Она все повторяла, что оно останется в чистилище, и в ту ночь я впервые узнал, каким ужасающим вещам учат католиков на уроках Закона Божьего. Генрих чувствовал себя совершенно беспомощным перед страхами Мари, и именно эта его беспомощность показалась мне утешительной. Он говорил о милосердии Господнем, которое, «конечно, больше, чем чисто юридический образ мысли теологов». И все это время монахиня молилась, перебирая четки. А Мари — она проявляет необычайное упрямство в вопросах религии — все время спрашивала, где же проходит диагональ между учением церкви и милосердием

Божьим. Я помню именно это слово — «диагональ». В конце концов я вышел из палаты, мне казалось, что я изгой, совершенно лишний. Я остановился у окна в коридоре, закурил и стал смотреть на автомобильное кладбище по ту сторону каменной стены. Стена была сплошь покрыта предвыборными плакатами: «Доверься СДПГ», «Голосуйте за ХДС». Очевидно, они хотели этими своими несусветными глупостями испортить настроение тем больным, которые нечаянно выглянут из окна и увидят эту стену. «Доверься СДПГ» — нет, это просто гениально, это почти литературный шедевр по сравнению с тупостью тех, кто считает, что на плакате достаточно написать: «Голосуйте за ХДС». Было уже около двух часов ночи, и потом я как-то поспорил с Мари — видел ли я на самом деле то, что я увидел, или нет. Слева подошел бродячий пес, обнюхал фонарь, потом плакат ХДС, помочился на этот плакат и неторопливо побежал дальше в переулок, направо, где стояла сплошная темень. Потом, когда мы вспоминали эту унылую ночь, Мари всегда спорила со мной насчет пса, и даже если она признавала, что он «взаправду» был, то спорила, что он помочился именно на плакат ХДС. По ее словам, я настолько подпал под влияние ее отца, что даже не сознавая, что это ложь или искажение истины, буду утверждать, будто пес «сделал свинство» по отношению к плакату ХДС, хотя это был плакат СДПГ. А ведь ее отец куда больше презирал СДПГ, чем ХДС, и то, что я видел, я видел.

Было уже почти пять утра, когда я проводил Генриха домой, и по дороге, когда мы проходили Эренфельд, он бормотал, указывая на двери: «Все из моей паствы, из моей паствы!» Потом — визгливый голос его экономки, сердитый окрик: «Это еще что такое?» Я пошел домой и тайком в ванной выстирал простыню в холодной воде.

Эренфельд, поезда, груженные углем, веревки для белья, запрещение принимать ванну, иногда по ночам угрожающий шорох пакетов с мусором, летящих мимо наших окон, как неразорвавшиеся снаряды. Шорох замирал после шлепка об землю, только иногда яичная скорлупа шуршала по камням.

Генрих опять поцапался из-за нас со своим патером, он хотел взять денег из благотворительной кассы, но я еще раз пошел к Эдгару Винекену, а Лео прислал нам часы, чтобы мы их заложили. Эдгар выпросил для нас в рабочей кассе взаимопомощи немножко денег, и мы по

крайней мере смогли заплатить за лекарства, за такси и половину денег за лечение.

Я думал о Мари, о монахине, перебиравшей четки, о слове «диагональ», о собаке, предвыборных плакатах, автомобильном кладбище — и о своих руках, закоченевших от стирки простыни, но я не мог поклясться, что все это было. Не мог я и утверждать, что тот человек в семинарии Лео только что рассказывал мне, как он исключительно ради того, чтобы нанести денежный убыток церкви, звонит по телефону в берлинское бюро погоды, а ведь я сам слышал это, как слышал его чавканье и причмокивание, когда он ел свой пудинг.

19

Не раздумывая и не зная, что я ей скажу, я набрал номер Моники Сильвс. Только прогудел первый сигнал, как она уже подняла трубку и сказала:

— Алло!

Мне стало легче от одного ее голоса. Он такой умный, такой сильный. Я сказал:

— Это Ганс, я только хотел...— Но она перебила меня и сказала:

— Ах, это вы...

Ничего обидного, ничего неприятного в ее словах не было, но мне стало ясно, что она ждала не моего звонка, а чьего-то другого. Может быть, она ждала звонка подруги или матери, но я все-таки обиделся.

— Я только хотел поблагодарить вас,— сказал я.— Вы были так добры.— Я чувствовал ее духи «Тайга», или как они там называются, слишком терпкие для нее.

— Мне так жаль,— сказала она,— вам, наверно, очень плохо приходится.— Я не знал, о чем она: о рецензии Костерта, которую, очевидно, читал весь Бонн, или о свадьбе Мари, или о том и другом вместе.— Могу я вам чем-нибудь помочь? — спросила она тихо.

— Да,— сказал я,— приезжайте ко мне, пожалуйста мою бедную душу и мое бедное колено — оно страшно распухло.

Она промолчала. Я ждал, что она сразу скажет: «Хорошо»,— и мне было не по себе при мысли, что она действительно вдруг приедет. Но она только сказала:

— Сегодня я не могу, я жду гостей.

Ей надо было бы сразу сказать, кого она ждет, хотя

бы добавить: приятеля или приятельницу. От слова «гости» мне стало тоскливо. Я сказал:

— Ну, тогда хоть завтра, мне, наверно, придется полежать не меньше недели.

— Но может быть, я могу еще что-нибудь сделать для вас, помочь вам как-нибудь по телефону.— Она сказала это таким тихим голосом, что у меня появилась надежда: наверно, «гости» — это просто какая-нибудь подруга.

— Да,— сказал я,— вы мне можете сыграть мазурку Шопена. В-dur, опус седьмой.

Она рассмеялась и сказала:

— Ну и выдумщик! — При звуках ее смеха я впервые поколебался в своей моногамии.— Я не очень люблю Шопена,— сказала она,— и плохо его играю.

— Пустяки! — сказал я.— Это не имеет значения. Ноты у вас есть?

— Кажется, где-то были,— сказала она.— Минутку.— Она положила трубку на стол, и я услышал, как она вышла из комнаты. Прошло несколько минут, пока она вернулась, и я вспомнил, как Мари мне рассказывала, что даже у святых бывали подруги. Конечно, только в духовном смысле, но все же духовную сторону всего *этого* они от них получали. А у меня и того не было.

Моника снова взяла трубку.

— Да,— сказала она со вздохом,— вот все мазурки.

— Пожалуйста,— сказал я,— сыграйте мне эту мазурку, В-dur, опус седьмой, номер один.

— Но я много лет не играла Шопена, надо хоть немного поупражняться.

— Может быть, вы не хотите, чтобы ваши гости слышали, как вы играете Шопена?

— О-оо! — Она рассмеялась.— Пусть слушают!

— Это Зоммервильд? — спросил я очень тихо и, услышав ее удивленный возглас, продолжал:— Если это действительно он, стукните его крышкой рояля по голове.

— Он этого не заслужил,— сказала она,— он к вам прекрасно относится.

— Это мне известно,— сказал я,— я даже ему верю, но было бы приятнее, если у меня хватило бы решимости его прикончить.

— Я немножко поупражняюсь и сыграю вам мазурку,— торопливо сказала она.— Я вам позвоню.

— Хорошо,— сказал я, но мы оба еще держали трубки. Я слышал ее дыхание, не знаю, долго или нет, но

слышал, потом она положила трубку. А я бы еще долго держал трубку в руках, только чтобы слышать, как дышит Моника. О господи, хоть дыхание женщины...

Фасоль, которую я съел, еще тяжело лежала в желудке, усугубляя мою меланхолию, но я все-таки открыл и вторую банку, вывалил все в ту же кастрюльку, в которой разогревал первую порцию, и зажег газ. Я выбросил фильтр с кофейной гущей в мусорное ведро, взял чистый фильтр, положил туда четыре ложки кофе, поставил греть воду и попытался навести в кухне порядок. Кофейную лужу я собрал тряпкой, выкинул в ведро пустые консервные банки и яичную скорлупу. Ненавижу неубранные комнаты, но сам убирать не умею. Я пошел в столовую, собрал грязные стаканы, отнес их на кухню, в раковину. Никакого беспорядка в квартире не осталось, и все же она выглядела неубранной. Мари так ловко и так быстро умеет придать комнате убранный вид, хотя как будто ничего определенного, заметного она не делает. Должно быть, тут все дело в ее руках. При мысли о руках Мари, при одном только представлении, что она может положить эти руки на плечи Цюпфнеру, моя и без того глубокая меланхолия превратилась в отчаяние. Руки женщины могут столько выразить или так притвориться, что рядом с ними мужские руки мне всегда кажутся просто приклеенными чурбаками. Мужские руки созданы для рукопожатий, порки, ну и, конечно, для стрельбы и для подписей. Сжимать, пороть, стрелять, подписывать чеки — вот все, что могут мужские руки, ну и, разумеется, работать. А женские руки уже почти что не руки — все равно, кладут ли они масло на хлеб или ладонь на лоб. Ни один богослов еще не напал на мысль прочесть проповедь о женских руках в Евангелии: Вероника, Магдалина, Марфа и Мария — в Евангелии столько говорится о женских руках, с нежностью касавшихся Христа. А вместо этого читают проповеди о законах, моральных устоях, искусстве, государственной власти. А ведь, так сказать, в частной жизни Христос общался главным образом с женщинами. Конечно, ему были нужны также и мужчины, потому что они, как, скажем, Калик, сопричастны власти и смыслят кое-что в организации и прочей бессмыслице. Ему нужны были мужчины, как при переездах бывают нужны грузчики для тяжелой работы. Правда, Иоанн и Петр

были такие мягкие, ласковые, что в них почти ничего мужского не было, зато Павел был настоящим мужчиной, как и подобало римлянину. Дома при каждом удобном случае нам читали вслух Библию — в нашей родне попы кишмя кишат, но про женщин в Евангелии или про такую туманную вещь, как Маммона несправедный, никто не говорил. Да и в «кружке» у католиков никто не желал говорить о Маммоне несправедном, и Кинкель с Зоммервильдом только смущенно улыбались, когда я с ними об этом заговаривал, словно они поймали Христа на каком-то досадном промахе, а Фредбойль старался объяснить, что по ходу истории это выражение было искажено. Ему мешала «иррациональность» этого понятия, как он говорил. Будто деньги — это что-то рациональное. Но в руках у Мари даже деньги теряли сомнительный характер, она так чудесно умела обращаться с ними — небрежно и вместе с тем очень бережно. Так как я принципиально отказывался от чеков и всякой другой «формы оплаты», мне всегда выкладывали гонорар наличными, прямо на стол, вот почему нам приходилось планировать наши расходы не больше чем на два, от силы на три дня. Мари давала деньги каждому, кто ее просил, а иногда и тому, кто и просить бы не стал, а просто в разговоре выяснялось, что ему нужны деньги. Одному кельнеру в Геттингене она как-то дала денег на зимнее пальтишко для его сына — мальчик должен был поступать в школу. А в поездках она вечно доплачивала разницу за билет первого класса для каких-то беспомощных бабушек, ехавших на похороны и попадавших не в свой вагон. Эти бесчисленные бабушки вечно ездят поездом на похороны своих детей, внуков, невесток и зятьев, и постоянно — часто и нарочно, — кокетничая своей старушечьей беспомощностью, влезают прямо в купе первого класса и располагаются там со своими тяжелыми корзинами и сумками, набитыми копченой колбасой, шпиком и печеньем. Мари обязательно заставляла меня пристроить все эти сумки и корзинки в багажную сетку, хотя все купе знало, что у бабки в кармане билет второго класса. Потом Мари выходила в коридор и «улаживала» все с кондуктором, прежде чем бабушку успевали предупредить, что она ошиблась. Перед этим Мари всегда расспрашивала, куда она едет и кто именно помер, чтобы доплатить правильно, до места назначения. Обычно бабуся любезно комментировала: «И вовсе нынешняя молодежь не такая уж плохая,

как говорят», и гонорар мы получали в виде огромных бутербродов с ветчиной.

Особенно между Дортмундом и Ганновером — или, может быть, мне только так казалось — каждый день ездит бесконечное количество каких-то бабушек, и все на похороны. Мари всегда стеснялась, что мы ездим первым классом, и ей было бы очень неприятно, если бы человека выставили из нашего купе потому, что у него билет второго класса. С неисчерпаемым терпением выслушивала она подробнейшие описания всяких родственных взаимоотношений, рассматривала фотографии незнакомых людей. Один раз мы два часа просидели со старой крестьянкой из Брюккебурга, бабушкой двадцати трех внуков — и при ней были фотографии всех двадцати трех, мы выслушали двадцать три биографии, пересмотрели двадцать три фото молодых людей и молодых женщин, и оказалось, что они все чего-то достигли: тот стал инспектором в Мюнстере, та вышла замуж за начальника станции, другой управляет лесопилкой, а третий «занимает высокий чин в этой самой партии, ну, знаете, за которую мы всегда голосуем», а еще один в бундесвере, тот, по ее словам, «всегда знал, где верное дело». Мари целиком погружалась в эти истории, находила, что все это невероятно увлекательно, и говорила о «подлинной жизни», а меня всегда утомляло однообразие этих историй. Столько их было, этих бабушек между Дортмундом и Ганновером, чьи внуки служили помощниками начальников станции, а невестки преждевременно умирали, потому что «не желают рожать детей, сколько полагается, да уж эти мне нынешние, все оттого и бывает». Мари умела быть удивительно милой и приветливой с беспомощными старыми людьми: она даже помогала им, если приходилось, звонить по телефону. Как-то я сказал, что ей надо было бы поступить в бюро добрых услуг при вокзале, и она немножко обиженно ответила: «А почему бы и нет?» Но я совсем не хотел сказать ничего обидного или пренебрежительного. Зато теперь она попала-таки в своего рода бюро добрых услуг: по-моему, и Цюпфнер на ней женился, чтобы ее «спасти», и она вышла за него ради его «спасения», хотя я не был уверен, что он позволит тратить его деньги на доплату за билеты первого класса для всяких бабушек, да еще в курьерских поездах. Он, конечно, человек не скупой, но потребности его ограничены до противности, как у Лео. Однако и ограничены они не так, как у Фран-

циска Ассизского, тот мог себе представить, что у других людей бывают какие-то потребности, которых у него самого нет. Одна мысль о том, что у Мари в сумочке могут лежать цюпфнеровские деньги, была для меня невыносима, так же как слова «медовый месяц» и разговор о том, что мне надо за Мари драться. Ведь драться можно только физически. И пусть я даже плохой клоун, без тренировки, все равно я сильнее и Цюпфнера, и Зоммервильда. Они еще и в позицию стать не успеют, как я уже трижды перекувырнусь, кинусь на них сзади, положу на обе лопатки и возьму в оборот. А может быть, они представляли себе настоящий бой? С них станется, они могут еще и не так извратить сказание о нибелунгах. А может быть, они думали о духовном поединке? Я их не боялся, так почему же они не разрешали Мари отвечать на мои письма — это ведь тоже была своего рода духовная борьба? И как у них поворачивается язык произносить такие слова, как «медовый месяц» и «свадебное путешествие», а меня называть циником? Послушали бы они, что рассказывают друг дружке кельнеры и горничные про новобрачных! Каждый проходимец шепчет им вслед и в поезде и в отеле — везде, где они появляются: «Смотрите, новобрачные», и каждый ребенок понимает, чем они все время занимаются. А кто снимает простыни с постели, кто их стирает? Нет, когда она кладет ладони на плечи Цюпфнеру, она не может не вспомнить, как я грел под мышкой ее ледяные руки.

Ее руки — она открывает ими двери, поправляет одеяльце на маленькой Мари, включает тостер на кухне, ставит чайник, вынимает сигаретку из пачки. Записка от горничной лежит на этот раз не на кухонном столе, а на холодильнике: «Пошла в кино. Вернусь к десяти». В гостиной, на телевизоре, — записка Цюпфнера: «Срочно надо повидаться с Ф. Обнимаю. Гериберт». Холодильник вместо кухонного стола, «обнимаю» вместо «целую». И на кухне, когда ты мажешь гренки толстым слоем масла, толстым слоем ливерной колбасы и вместо двух ложек какао кладешь три, ты впервые чувствуешь, до чего противно соблюдать диету, чтобы не полнеть, вспоминаешь, как взвизгнула тебе в лицо госпожа Блотерт, когда ты взяла второй кусок торта: «Но ведь это больше пятисот калорий, неужели вы можете себе позволить такое?» И пронзительный взгляд на твою талию, ясно

говорящий: «Нет, не можете...» Ох, пресвятой «ка-ка-ка... нцлер» или «...толон»! М-да, ты начинаешь полнеть! Шепот идет по городу, по городу-шептуну: откуда в тебе эта тревога, эта тяга к одиночеству в темноте — в кино или в церкви и тут, в темной гостиной за чашкой какао с гренками? Что ты ответила этому оболтусу на вечеринке, который выпалил в упор: «Отвечайте сразу, сударыня, что вы любите больше всего?» Наверно, ты ответила ему правду: «Детей, исповедальни, кино, грегорианские хоралы и клоунов». — «А мужчин, сударыня?» — «И одного мужчину, — наверно, сказала ты, — но вообще мужчин не люблю — они такие глупые!» — «Ах, можно мне это обнародовать?» — «Нет, нет, ради Бога, не надо!» Но если она уж сказала «мужчину», почему же она не сказала «мужа»? Когда говоришь, что любишь только одного, тогда надо сказать не «мужчину», а «мужа» своего, законного. Ох эти похожие и все-таки разные слова!

Прислуга возвращается домой. Ключ в замке, дверь отворяется, дверь закрывается, свет в прихожей зажегся, потух, свет на кухне зажегся, дверца холодильника хлопнула, закрылась, свет на кухне потух. Из прихожей робкий стук в двери: «Спокойной ночи, госпожа директорша». — «Спокойной ночи. Мари хорошо себя велла?» — «О да, прекрасно!» Свет в коридоре тухнет, шаги на лестнице. (Ага, опять сидит в темноте, слушает церковную музыку.)

Ими, этими самыми руками, которые согревались у меня под мышкой, ты касаешься всего: проигрывателя, пластинки, ручки, пуговицы, чашки, хлеба, детских волос, детского одеяла, теннисной ракетки.

«А почему ты, собственно говоря, не ходишь на теннис?» Пожатие плечами. Охоты нет. Никакой охоты. А теннис так полезен супругам политических деятелей, супругам ведущих католиков. Нет, нет, эти понятия еще не совсем идентичны. Но теннис сохраняет стройность, гибкость, привлекательность. «Ф. с таким удовольствием играет с тобой в теннис. Разве ты его не любишь?» — «Нет, почему же. В нем столько сердечности». Да, говорят, что он пробился в министры «локтями и зубами». Его считают жуликом, интриганом, и все же он искренне привязан к Гериберту: люди продажные и грубые так часто любят честных и неподкупных. С какой трогательной щепетильностью провели постройку дома для Гериберта: никаких «особых кредитов», никакой

«помощи» от опытных в деле строительства товарищей по партии, по церкви. И только потому, что он выбрал участок «на взгорье», ему пришлось оплатить излишки, что он считает «по существу» коррупцией. К сожалению, именно участок на взгорье оказался неудачным.

Если строишь на взгорье, можно разбить садик вверх по склону или вниз. Гериберт выбрал садик вниз по склону — это будет мешать, когда маленькая Мари начнет играть в мячик, потому что мячи вечно будут скатываться на соседний участок, попадать на цветочную клумбу, ломать ветки, цветы, мять редкие нежные мхи и вызывать судорожные извинения: «Ну что вы, что вы, разве можно сердиться на такую очаровательную крошку?» Нет, нельзя. В серебристых голосах звучит деланная веселость, нарочитая непринужденность, рты судорожно сведены от постоянной боязни морщин, напряжены шеи, натянуты мускулы, во всем фальшивая приветливость, тогда как единственным облегчением была бы хорошая драка с крепкой бранью. Но все проглатывается, прикрывается фальшивой добрососедской приветливостью, пока в один прекрасный вечер за закрытыми дверями и спущенными шторами не начинают швырять изысканными сервизами в призраки нерожденных детей: «Я хотела ребенка, это ты, ты не захотел!» Изысканные сервизы звенят совсем не изысканно, когда их швыряют об стенку на кухне. Воеет сирена кареты «скорой помощи», мчащейся на взгорье. Сломанные крокусы, смятые мхи, детская ручка катит детский мячик на каменную горку, вой сирен возвещает необъявленную войну. «Ах, лучше бы мы выбрали садик вверх по взгорью».

Я вздрогнул от телефонного звонка. Снял трубку и покраснел: совсем забыл про Монику Сильвс. Она сказала:

— Алло, Ганс?

И я сказал:

— Да, — и не сразу догадался, зачем она звонит. И только когда она сказала:

— Вы разочаруетесь, — я вспомнила мазурку. — Отступить было поздно, сказать «не стоит» невозможно, пришлось пройти через это испытание мазуркой. Я слышал, как Моника положила телефонную трубку на рояль и начала играть. Играла она превосходно, рояль звучал

изумительно, но когда она заиграла, я расплакался от горя. Нельзя было пытаться повторить то мгновение, когда я вернулся домой от Мари и Лео в гостиной играл эту мазурку. Мгновения невозвратимы — их нельзя ни повторить, ни разделить с другими. Как тот вечер у нас в парке, когда Эдгар Винекен пробежал стометровку за десять и одну десятую секунды. Собственными руками я отметил время, собственными руками измерил для него дорожку, и в тот вечер он пробежал ее за десять и одну десятую секунды. Он был в превосходной форме, в превосходном настроении, но, конечно, нам никто не поверил. Мы сделали ошибку, что вообще об этом заговорили, хотели продлить, разделить с другими это счастливое мгновение. А надо было просто радоваться сознанию, что он действительно пробежал стометровку за десять и одну десятую секунды. Потом он, конечно, делал свои обычные десять и девять десятых или даже одиннадцать секунд, и никто нам не верил, над нами только смеялись. Даже упоминать о таких мгновениях неправильно, а пытаться их повторить — просто самоубийство. Для меня было почти самоубийством слушать по телефону, как Моника играет ту мазурку. Есть какие-то обрядовые мгновения, которые сами по себе требуют повторения, например когда матушка Винекен резала хлеб, — и я хотел это мгновение повторить с Мари и как-то попросил ее нарезать хлеб так, как это делала матушка Винекен. Но кухня рабочей семьи — не номер в гостинице, а Мари и отдаленно не походила на матушку Винекен, и нож у нее соскользнул, она порезала себе левую руку, и этот случай на три недели вывел нас из строя. Сентиментальность — коварная, предательская штука. Нельзя трогать мгновения, нельзя их повторять.

Когда Моника кончила играть, я даже плакать не мог от тоски. Наверно, она это почувствовала. Она взяла трубку и только тихо сказала:

— Вот видите.

Я сказал:

— Это я виноват, а не вы, простите меня.

Я чувствовал себя так, как если бы я валялся пьяный в канаве, в своей блевотине, бормотал похабную брань и вдруг попросил бы меня сфотографировать в таком виде и послать фотографию Монике.

— Можно мне еще как-нибудь позвонить вам? — спросил я тихо. — Дня через два-три. Я могу объяснить свое гнусное поведение только одним — мне так плохо,

что описать невозможно.— Я ничего не слышал, кроме ее дыхания, потом она сказала:

— Я на две недели уезжаю.

— Куда? — спросил я.

— На занятия семинара, — сказала она, — и немного на этюды.

— Когда же вы ко мне придете, — спросил я, — сделаете мне омлет с грибами и тот вкусный ваш салатик?

— Я не могу прийти, — сказала она, — сейчас никак не могу.

— А потом?

— Приду, — сказала она, и я услышал, что она заплакала перед тем, как положить трубку.

20

Мне казалось, что надо принять ванну, таким грязным я себя чувствовал, казалось, что от меня смердит, как от Лазаря, но я был совершенно чистый, и от меня ничем не пахло. Я поплелся на кухню, выключил газ под кастрюлькой с фасолью, под чайником, вернулся в столовую, отхлебнул коньяку прямо из горлышка — все равно не помогло. Даже телефонный звонок не мог вывести меня из тупого оцепенения. Я снял трубку, спросил:

— Да? — и услышал голос Сабины Эмондс.

— Ганс, что ты там вытворяешь? — Я промолчал, и она сказала:— Шлешь телеграммы. Можно подумать, какая-нибудь драма. Неужели все так плохо?

— Совсем плохо, — сказал я устало.

— Я гуляла с детьми, — сказала она, — а Карла нет — он на неделю уехал со своими учениками в лагерь. Надо было кого-то оставить с ребятами, чтоб можно было выйти позвонить.

Голос у нее был какой-то загнанный и, как всегда, немного раздраженный. Я не мог себя заставить попросить денег. После женитьбы Карлу все время приходится колдовать над своим прожиточным минимумом; когда мы поссорились, у него было уже трое детей и ждали четвертого, но сейчас у меня не хватило духу спросить Сабину, родился четвертый или нет. У них дома всегда царило нескрываемое раздражение, всюду лежали эти проклятые записные книжки, куда он заносит подсчеты, как ему выкарабкаться, как прожить на одно жалованье, а наедине со мной Карл впадает в самую противную

«откровенность», начинает эти «чисто мужские» разговоры про деторождение, он неизменно осыпает, упреками католическую церковь (и это передо мной!), и всегда наступала такая минута, когда он начинал смотреть на меня с видом пса, который вот-вот завоюет, и обычно тут входила Сабина и смотрела на него злыми глазами, потому что опять была беременна. Больше всего меня расстраивает, когда женщина смотрит на мужа злыми глазами, оттого что она беременна: В конце концов оба сидели и ревели, потому что любят друг друга на самом деле. А в дальних комнатах стоял детский крик, с наслаждением опрокидывались ночные горшки, мокрые тряпки шлепались о новехонькие обои, и хотя Карл вечно твердил: «Дисциплина! Дисциплина!» и «Абсолютное безоговорочное послушание!» — но мне самому приходилось идти в детскую и показывать ребятам какие-нибудь фокусы, чтобы их успокоить, правда, они ничуть не успокаивались, визжали от радости, и в конце концов все мы усаживались в кружок, держа детей на коленях, и позволяли им отпивать из наших рюмок. Карл и Сабина начинали спорить о книжках и календарях, где написано, когда именно женщины не беременеют. А сами все время заводят детей, и им никогда не приходило в голову, что все эти разговоры особенно мучительны и для меня, и для Мари, потому что у нас не было детей. А когда Карл начинал пьянеть, он ругательски ругал Рим, сыпал проклятия на кардинальские головы и на самого папу, и уморительнее всего было то, что именно я начинал заступаться за папу. Мари все знала лучше нас и просвещала Карла и Сабину, объясняя им, что к этому вопросу там, в Риме, другого подхода и быть не может. И тут у них обоих глаза становились хитрыми, как будто они хотели сказать: «Ну, вы-то, вы, наверно, знаете всякие рафинированные штучки, оттого у вас и детей нет». И все кончалось тем, что кто-нибудь из ребят, переутомленных донельзя, вырывал рюмку из рук у меня, у Мари, у Карла и Сабины и расплескивал вино на школьные тетрадки, навалом лежавшие на письменном столе Карла. Конечно, это было неприятно Карлу, который вечно проповедует своим ученикам дисциплину и порядок, а сам должен будет отдать им тетради в винных пятнах. Начинались шлепки, слезы, и Сабина, бросив нам один из тех взглядов, которые читаются: «Эх вы, мужчины!» — уходила с Мари на кухню варить кофе и, наверно, заводила с ней те «чисто женские» разговоры,

которые Мари так же ненавидела, как я — разговоры «чисто мужские». А когда я оставался с Карлом наедине, он опять начинал разговор про деньги, и в голосе его я слышал упрек, словно он хотел сказать: «Я говорю с тобой об этом, потому что ты славный малый, но понимания от тебя ждать нечего».

Я вздохнул и сказал:

— Сабина, я пропадаю — и как актер, и морально, и физически, и материально, совсем пропал...

— Если ты голодный, — перебила она, — так ты, конечно, знаешь, где для тебя всегда найдется тарелочка супу! — Я промолчал, меня растрогал ее голос, искренний и деловитый. — Ты слышишь? — спросила она.

— Слышу, — сказал я, — и не позже чем завтра приду съесть свою тарелку супу. А если вам кто-нибудь понадобится присмотреть за ребятами, так я... я... — Тут я запнулся. Нельзя же было предлагать делать за деньги то, что я всегда делал бесплатно, и притом я вспомнил идиотскую историю с яйцом, которое скормил Грегору.

Сабина рассмеялась и сказала:

— Ну, договаривай!

Я сказал:

— Я только хотел попросить — может, порекомендуете меня своим знакомым, у меня есть телефон — а возьму я не дороже, чем все.

Она промолчала, и я понял, что она потрясена.

— Слушай, — сказала она, — меня уже торопят, но ты все-таки скажи мне, что случилось? — Очевидно, она, единственная во всем Бонне, не читала рецензии Костерта, и я сообразил, что она могла и не знать, что произошло между мной и Мари. Ведь у нее в этом кругу ни одного знакомого не было.

— Сабина, — сказал я, — Мари меня бросила и вышла замуж за некоего Цюпфнера.

— Боже мой! — крикнула она. — Неправда!

— Правда, — сказал я.

Она замолчала, и я услышал, как кто-то колотит в дверь телефонной будки. Наверно, какой-нибудь кретин, которому не терпится сообщить партнеру по скату, как можно было бы выиграть на червах без трех.

— Надо было тебе на ней жениться, — тихо сказала Сабина, — ну, понимаешь... да ты сам понимаешь!

— Понимаю, — сказал я, — я сам этого хотел, но тут

выяснилось, что надо выправить эту подлую бумажку в муниципалитете и что я обязан дать подписку — ты понимаешь, подписку,— что наши дети будут воспитываться в католической вере.

— Но ведь не из-за этого же все расстроилось? — спросила она. В двери автомата загрохотали еще громче.

— Не знаю,— сказал я,— может, это было поводом, но тут, наверно, замешано многое такое, чего мне не понять. Дай отбой, Сабиночка, не то этот взбешенный представитель германской расы, там за дверью, еще прикончит себя. Страна кишмя кишит злодеями.

— Обещай, что ты придешь,— сказала она,— и помни: твой суп весь день стоит на плите.— Я услышал, как ее голос упал, она успела шепнуть:— Какая подлость, какая подлость! — но, очевидно, забыла положить трубку на аппарат и бросила ее на столик, где обычно лежит телефонная книжка. Я услышал, как тот тип сказал: «Ну наконец-то!» — но Сабина уже ушла. Я нарочно заорал в телефон:

— Помогите! Помогите! — визгливым тонким голосом, и этот тип попался на удочку, взял трубку и спросил:

— Чем могу быть полезен? — Голос у него был серьезный, сдержанный, очень мужественный, и я почувствовал, что он сейчас ел что-то кислое — маринованную селедку или что-то вроде того.— Алло, алло! — сказал он, и я сказал:

— Вы немец? Я принципиально говорю только с чистокровными немцами.

— Отличный принцип! — сказал он.— Так что же с вами такое?

— Ужасно беспокоюсь за ХДС,— сказал я,— надеюсь, вы всегда голосуете за ХДС?

— Но это же само собой понятно! — сказал он обиженно.

Я сказал:

— Теперь я спокоен,— и повесил трубку.

Надо было бы оскорбить этого типа по-настоящему, спросить его, изнасиловал ли он уже свою жену, выиграл ли гранд с двумя и проболтал ли со своими коллегами по службе положенные два часа про войну. У него был

голос почтенного супруга, честного немецкого гражданина, и его восклицание: «Ну наконец-то!» — было похоже на команду: «Огонь!» Голос Сабины Эмондс меня немножко утешил, хотя он и был какой-то раздраженный, даже загнанный, но я знал, что она действительно считает поступок Мари подлостью и что для меня всегда найдется тарелка супу у нее на кухне. Готовила она превосходно, и когда не была в положении и не смотрела на всех упорным взглядом «ох-уж-эти-мне-мужчины», она была очень веселая, и ее католицизм гораздо приятнее, чем католицизм Карла, сохранившего насчет «шестой заповеди» свои смешные семинаристские воззрения. Упрек во взгляде Сабины, конечно, относился ко всем представителям мужского пола, но когда она смотрела на Карла, виновника ее состояния, глаза ее темнели, становились почти грозowymi. Обычно я пытался отвлечь Сабину от этих мыслей, показывал какой-нибудь номер, и она волей-неволей начинала смеяться, долго и искренне, до слез, но когда подступали слезы, смех пропадал... Мари приходилось уводить ее, утешать, а Карл, с мрачной, виноватой физиономией, сидел рядом со мной и потом от отчаяния начинал править тетради. Иногда я ему помогал, подчеркивая ошибки красными чернилами, но он никогда не доверял мне, сам еще раз все просматривал и каждый раз злился, видя, что я ничего не пропустил и все ошибки подчеркнул правильно. Он никак не мог себе представить, что я могу проделать эту работу вполне точно и справедливо, в его духе. Все трудности Карла происходят только из-за денег. Если бы Карлу Эмондсу дать квартиру из семи комнат, всю его раздражительность, загнанность как рукой бы сняло. Как-то я поспорил с Кинкелем о его понимании «прожиточного минимума». Кинкель считался гением и специалистом по части таких тем, и, моему, именно он установил прожиточный минимум для одинокого человека в большом городе сначала в восемьдесят четыре, а потом в восемьдесят шесть марок, не считая квартплаты. Я даже не приводил против него в качестве довода то, что, судя по мерзкому анекдоту, который он сам рассказал, он для себя лично считает прожиточным минимумом сумму примерно раз в тридцать пять больше названной. Приводить такие доводы считается чем-то бестактным, безвкусным, но вся безвкусица именно в том и заключается, что такой тип смеет рассчитывать за других их прожиточный минимум.

В эту сумму — восемьдесят шесть марок — даже входят траты на культурные потребности: должно быть, кино или газеты, а когда я спросил Кинкеля, надеются ли они, что вышеупомянутый гражданин сможет на эти деньги посмотреть хороший фильм, что-нибудь облагораживающее, познавательное, он разозлился; а когда я спросил, как понимать пункт «возобновление бельевого запаса» и не наймет ли министерство какого-нибудь добродушного старичка, который будет бегать по Бонну и снашивать подштанники, а потом докладывать министерству, за какое время подштанники изнашиваются, — то жена Кинкеля сказала, что я заражен опасным субъективизмом, а я ей сказал, что еще могу понять коммунистов, когда они начинают планировать — придумывать образцовые обеды, определять степень прочности носовых платков и вообще заниматься всякой ерундой, — они хотя бы не лицемерят, не оправдываются всякими «надчеловеческими» соображениями. Но вот когда христиане вроде ее мужа занимаются такими вещами, это мне кажется просто неправдоподобным; на что она мне ответила, что я законченный материалист и не имею никакого представления о жертве, страдании, роке и о величии нищеты. От жизни Карла Эмондса у меня никогда не создавалось впечатления жертвенности, страдания, рока и величия нищеты. Зарабатывает он неплохо, и, в сущности, роковой и великой была только его постоянная раздраженность, так как он высчитал, что никогда не сможет оплатить хорошую квартиру. И когда я понял, что Карл Эмондс — единственный человек, у которого я еще мог бы попросить денег, я понял, в какое положение я попал. У меня не было ни пфеннига.

22

Я прекрасно знал, что ничего такого я делать не буду: в Рим не поеду, с папой разговаривать не стану, воровать сигареты и сигары у мамы на «журфиксе» не собираюсь и набивать карманы орехами тоже не буду. У меня уже не было сил даже верить во все это, как я верил в то, что мы с Лео действительно пилили деревяшку. Любая попытка связать оборванные нити и подтянуть себя, как марионетку, обязательно потерпит крах. Настанет такая минута, когда я дойду до того, что попрошу займы у Кинкеля, да и у Зоммервильда, а может, и у этого

садиста, у Фредебойля, — он-то, наверно, повертит у меня под носом пятимарковой монетой и заставит меня служить, как собаку. Я буду радоваться, если Моника Сильвс позовет меня пить кофе, не потому, что это Моника Сильвс, а потому, что кофе будет даровой. Позвоню я еще раз и этой дурехе Беле Брозен, буду к ней подлизываться, скажу, что никогда не стану спрашивать, какую сумму она мне может дать, что любая, любая сумма для меня благодеяние; а потом, в один прекрасный день, я пойду к Зоммервильду, очень «убедительно» докажу ему, что я раскаялся, все понял, готов вступить в лоно церкви, и тогда произойдет самое страшное: Зоммервильд инсценирует мое примирение с Мари и Цюпфнером, — впрочем, если я приму католичество, отец, наверно, никогда ничего для меня делать не станет. Для него наверняка ничего хуже нет. Надо было как следует об этом подумать. Для меня выбор был не между «rouge et noir» — красным и черным, а между темно-коричневым или черным: бурый углем или церковью. Тогда я бы стал таким, каким они хотят меня видеть: настоящим мужчиной, зрелым, никак не субъективным, а вполне объективным, готовым бодро отхватить в клубе хорошую партию в скат. Правда, на некоторых людей я еще мог слабо надеяться: на Лео, на Генриха Белена, на дедушку, даже на Цонерера — может быть, хоть он сделает из меня эстрадного гитариста, буду с причмокиванием петь: «Ветерок в кудрях твоих играет — значит, ты моя!» Как-то я пел эту песенку Мари, она сразу заткнула уши и сказала: «Какая пакость!» В конце концов, придется сделать последний шаг: перейти к коммунистам и показать им все номера, которые они с полным правом могли бы занести под рубрику антикапиталистических.

Я действительно однажды побывал у них и встречался в Эрфурте с некоторыми культпросветовскими работниками. Они устроили мне на вокзале довольно-таки пышную встречу, завалили цветами, в гостинице подали озерную форель, икру, мороженое со взбитыми сливками и море шампанского. Потом они поинтересовались, что бы нам хотелось посмотреть в Эрфурте. Я сказал, что охотнее всего я побывал бы там, где Лютер вел с учеными свой знаменитый спор, а Мари сказала, что она-де прослышала, будто в Эрфурте существует католический богословский факультет, ее привлекает религиозная сторона жизни города. Они сделали кислые

мины, но делать нечего, так что все чувствовали себя неловко: и культпросветовцы, и богословы, и мы. Богословы, по-видимому, решили, что мы имеем какое-то отношение к этим дуракам, так что никто из них не был откровенен с Мари, даже когда она затронула вопросы религии в разговоре с одним профессором. Он сразу понял, что мы не настоящие муж и жена. В присутствии функционеров он спросил ее: «Вы ведь католичка?» На что она, зардевшись, ответила: «Да, даже несмотря на то, что я погрязла в грехе, я все равно остаюсь католичкой». Мною овладело отвратительное чувство, когда я понял, что функционерам тоже не по душе пришлись наши отношения, ибо по пути в отель, где они устроили нам кофепитие, один из них принялся разглагольствовать о том, что, к сожалению, живы еще некоторые проявления мелкобуржуазного беззакония, которые он отнюдь не одобряет. Потом они спросили меня, какую программу я намерен показать в Лейпциге, Ростоке, не могу ли я показать своего «Кардинала», «Прибытие в Бонн» и «Заседание акционерного совета» (откуда им было известно о «Кардинале» — ума не приложу, потому что этот номер я разучил для себя и показывал его только Мари, но Мари уговорила меня не выступать с ним, ибо путь кардинала полон терний). Я, конечно, отказался, сославшись на то, что мне хотелось бы хоть немного ознакомиться с жизнью в их стране; ведь весь смысл комикса заключается в том, чтобы в абстрактной форме показать людям случаи, взятые из их действительности, а не чужой; а как известно, Бонна у них нет, акционерных советов тоже, не говоря уже о кардиналах. Они заволновались, один из них даже побледнел и сказал, что они представляли себе это несколько иначе, на что я ответил, что и я тоже. Все было ужасно мерзко. Я сказал, что после некоторого ознакомления я мог бы показать «Заседание окружного комитета» или «Выступление советника по вопросам культуры», или «Партийный съезд выбирает себе президиум», или же сценку: «Эрфурт — город цветов», поскольку возле эрфуртского вокзала можно было увидеть все что угодно, но только не цветы; тут поднялся их самый главный воротила и заявил, что они не потерпят никакой пропаганды против рабочего класса. Он был уже не бледный, а просто белый как мел; другие же выказали себя настолько смелыми, что даже позволили себе ухмыльнуться. Я не согласился с ним и сказал, что вовсе не вижу никакой пропаганды в том, если

покажу разученный мною номер «Партийный съезд выбирает себе президиум», и тут я совершил глупейшую оплошность, сказав «Бардийный съезд»; белый как мел фанатик разъярился и так хватил кулаком по столу, что взбитые сливки свалились с пирога на тарелку. «Мы заблуждались в вас», — сказал он, на что я отвечивал, что мне в таком случае лучше уехать. «Да, конечно, пожалуйста, и ближайшим поездом», — обрадовался он. Потом я предложил номер «Заседание акционерного общества» переделать в «Заседание окружного комитета», поскольку там будут приниматься решения по вопросам, по которым уже вынесено решение.

Тут уж они выказали верх неприличия: встали и ушли, даже не заплатив за наш кофе. Мари плакала, а у меня было такое скверное состояние, что хотелось кого-нибудь отхлестать по физиономии. А когда мы потом отправились на вокзал, нам пришлось еще тащить и наш багаж — что я терпеть не могу, — так как ни носильщика, ни боя не оказалось на месте. На наше счастье по дороге нам повстречался тот молодой богослов, с кем Мари беседовала сегодня утром. Увидев нас, он залился краской, но тут же взял из рук плачущей Мари тяжелый чемодан, и Мари всю дорогу тихонько уговаривала его не рисковать собой из-за нас.

Все было отвратительно. В сущности, мы провели в Эрфурте всего шесть или семь часов, но успели за это время перессориться как с функционерами, так и с богословами.

Сойдя в Бебре, мы направились в отель, где Мари проплакала всю ночь, а утром написала длиннющее письмо богослову, но нам так и не суждено было узнать, получил он его или нет.

Я считал, что примирение с Мари и Цюпфнером — последнее дело, но попасться в руки какому-нибудь из этих фанатиков и там показывать «Кардинала» — это уж самое, самое последнее. Мне еще оставались Лео, Генрих Белен, Моника Сильвс, Цонерер, дедушка и тарелка супу у Сабины Эмондс, а может быть, удалось бы заработать немножко денег, присматривая за ребятами. Я бы дал письменное обязательство не кормить их яйцами. Вообще, мне плевать на то, что другие именуют объективной ценностью искусства, но высмеивать за-

седания акционерных советов там, где их и в помине нет, я считал бы просто низостью.

Однажды я срепетировал довольно длинный номер под названием «Генерал», долго над ним работал, и когда я его показал, он имел то, что в наших кругах называют успехом, то есть те, кто надо, смеялись, а те, кто надо, злились. Когда я вошел в свою уборную с гордо выпяченной грудью, меня там ждала маленькая, совсем сухонькая старушка. А я после выступлений всегда раздражен и никого, кроме Мари, подле себя не выношу, но именно Мари и впустила старушку ко мне в уборную. И не успел я как следует закрыть двери, как она уже заговорила и объяснила мне, что муж ее тоже был генералом, что пал в бою, но до того еще успел написать ей письмо, где просил не брать за него пенсию. «Вы — человек еще очень молодой, — сказала мне она, — но все же достаточно взрослый, чтобы все понять», — и тут же ушла. С тех пор я больше никогда не мог выступать с номером «Генерал». Пресса, называвшая себя левой, писала впоследствии, что я, очевидно, дал реакции запугать себя, пресса, называвшая себя правой, писала, будто я понял, что играю на руку Востоку, а независимая пресса писала, что я, очевидно, отказался от всякого радикализма и от политики вообще. Все это полнейший маразм. Я просто не мог больше показывать этот номер, потому что каждый раз вспоминал сухонькую старушку — должно быть, она едва сводит концы с концами, а все над ней издеваются и смеются. А если мне номер не доставляет удовольствия, я его снимаю, но втолковать это газетчикам, вероятно, слишком сложно. Всегда им нужно что-то «учуять», «унюхать», а есть еще очень распространенная порода газетчиков, они над всеми скалят зубы оттого, что их грызет обида — почему они сами не артисты и даже «при искусстве» состоять не способны. У таких о нюхе и речи быть не может, все их разговоры сплошная трепотня, по возможности в присутствии хорошеньких молоденьких девушек, достаточно наивных, чтобы восторгаться любым мазилой только за то, что у него в какой-то газете есть своя «трибуна» и «связи». Есть удивительные, непризнанные формы проституции, перед которыми проституция настоящая — честнейшее ремесло: там хоть за деньги что-то дают.

Для меня был закрыт и этот путь — искать избавления в милосердии продажной любви: у меня не было денег. А Мари в это время примеряет свою испанскую ман-

тилью, чтобы с честью представлять first lady немецкого католицизма. Возвратившись в Бонн, она при всяком удобном случае будет присутствовать на чаепитиях, улыбаться, участвовать во всяких комитетах, открывать выставки «религиозной живописи» и «подыскивать приличную портниху». Все дамы, выходящие замуж за боннских чиновников, всегда «подыскивают приличную портниху».

Мари — first lady немецкого католицизма, с чашкою чая или бокалом коктейля в руке: «Видели вы этого прелестного маленького кардинала? Он приехал на открытие статуи Пресвятой Девы, работы Крёгерта. Ах, в Италии даже кардиналы — настоящие рыцари. Прелесть, просто прелесть!»

Мне даже хромать было трудно, я мог только ползти и выполз на балкон подышать родным воздухом, но и это не помогло. Я пробыл в Бонне слишком долго — почти два часа, а после этого боннский воздух в смысле перемены климата уже не помогает.

Я подумал — а ведь, в сущности, они должны быть благодарны только мне за то, что Мари осталась католичкой. Она пережила страшные религиозные сомнения, разочаровавшись в Кинкеле, в Зоммервилльде, а уж такой гнус, как Блотерт, даже святого Франциска Ассизского мог бы сделать атеистом. Одно время она даже в церковь не ходила, даже не думала о церковном венчании, была полна какого-то внутреннего сопротивления, и только через три года после нашего отъезда из Бонна она снова пошла в их кружок, хотя они постоянно приглашали ее. И я ей тогда сказал, что разочарование в людях еще ничего не значит. Если она действительно верит во все это, то тысяча Фредебойлей не могут нарушить ее веру, и в конце концов — это я ей сам сказал — есть же Цюпфнер, и хотя, по мне, он слишком чопорен и вообще человек не моего толка, но как католик он вполне заслуживает доверия. И наверняка есть много настоящих католиков, и я назвал ей некоторых патеров, чьи проповеди мы с ней слушали, напомнил о папе Иоанне, о Гари Купере и Алеке Гиннесе — и, уцепившись за папу Иоанна и Цюпфнера, она снова встала на ноги. Как ни странно, но Генрих Белен в то время уже был не в счет, напротив, она сказала, что он сальный тип, и всегда смущалась, когда я о нем заговаривал, и я подозреваю, что он к ней «искал подход». И ее никогда об этом не спрашивал, но подозрение было большое, а когда я пред-

ставлял себе экономку Генриха, я понимал, что он мог «искать подход» к женщинам. Самая мысль об этом мне была противна, но я мог его понять, как понимал многое очень противное, что творилось в интернате.

Только теперь я понял, что сам указал ей на папу Иоанна и на Цюпфнера, чтобы утешить ее в минуты сомнения. Я удивительно честно вел себя по отношению к католицизму, это-то и было ошибкой, но для меня Мари так естественно была католичкой, что мне хотелось сохранить в ней эту естественность. Я будил ее, чтобы она не проспала, когда надо было идти в церковь. Часто я вызывал такси, чтобы она не опоздала, а когда мы приезжали в протестантские города, я обзванивал все церкви, чтобы найти для нее, где служат мессу, и она всегда говорила, что это во мне «самое хорошее», но потом хотела меня заставить подписать эту проклятую бумажку и *письменно* обязать воспитывать наших детей католиками. Мы часто говорили о наших детях. С какой радостью я ждал детей, мысленно разговаривал с ними, носил на руках, делал им гоголь-моголь из сырых яиц, и меня беспокоило лишь то, что нам придется жить в гостиницах, а в гостиницах хорошо относятся только к детям миллионеров или королей. А на детей некоролей или немиллионеров, особенно на мальчишек, всегда орут: «Ты не у себя дома!» И в этих словах — тройная поддержка, так как предполагается, во-первых, что дома ты ведешь себя по-свински, во-вторых, что ты только тогда счастлив, когда ведешь себя по-свински, а в-третьих, что ребенок никогда не смеет быть счастливым. Девочке может еще повезти, про нее скажут: «Чудная крошечка!» — и будут с ней ласковы, но на мальчишек шипят, особенно в отсутствие родителей. Для немцев мальчишка всегда *невоспитанный* ребенок, и это прилагательное уже настолько слилось со словом «мальчишка», что его и выговаривать не надо. Если бы кому-нибудь пришла мысль проверить лексикон, которым пользуется большинство родителей в разговорах с детьми, то оказалось бы, что по сравнению с этим лексиконом словарный запас газеты «Бильд» — это просто толковый словарь братьев Гримм. Скоро немецкие родители будут разговаривать со своими детьми на языке мадам Калик: «Ах, какая прелесть!» или «Ах, какая гадость!» — только иногда они будут позволять себе более точные выражения, скажем: «Не смей спорить!» или «Этого ты не понимаешь!»

Мы с Мари даже говорили о том, как мы будем одевать наших детей, она стояла за «элегантные светлые пальтишки», а я—за куртки-канадки, я представлял себе, что ребенок в элегантном светлом пальтишке никак не сможет шлепать по лужам, а в куртках-канадках очень удобно дрызгаться в луже, и она—я все думал, что у нас будет девочка,—будет тепло одета, а ножки будут открыты, и если она начнет швырять в лужу камни, то брызги если и попадут, то только на чулки, а не на пальтишко, и если она начнет жестяной вычерпывать лужу и вдруг выплеснет грязную воду через край жестянки, то грязь не обязательно попадет на пальто, во всяком случае, скорее всего запачкаются только чулочки. Но Мари считала, что в светлом пальтишке она будет осторожнее, а вопрос, будут ли наши дети действительно дрызгаться в лужах, мы никогда толком и не выясняли. Мари всегда улыбалась, уклонялась от этих разговоров и говорила: «Подождем, подождем».

Если у нее от Цюпфнера будут дети, она их не сможет одевать ни в куртки-канадки, ни в элегантные светлые пальтишки, ей придется пускать детей без пальто, потому что мы с ней так подробно обсуждали все виды детских пальто. Говорили мы и какие штанишки шить, длинные или короткие, и про детское белье, носки, башмаки—нет, ей придется пускать детей по Бонну голышом, чтобы не казаться себе шлюхой и предательницей. Не мог я себе представить и чем она будет кормить своих детей: мы обговорили с ней и чем кормить детей, и как их кормить, и согласились единодушно, что наших детей мы никогда не будем пичкать, как пичкают других детей, постоянно закармливают их кашей, заливают молоком. Я не хотел, чтобы моих детей насильно заставляли есть, меня тошнило, когда Сабина Эмондс при мне пичкала двух своих старших детей, особенно старшую девчонку—Карл почему-то назвал ее Эдельтруд. Об этом несчастном гоголь-моголе я даже с Мари поспорил, она считала яйца вредными, и когда мы заспорили, она сказала, что это еда для богатых, и тут же покраснела, так что мне пришлось ее успокаивать. Я привык, что на меня смотрят как-то иначе, чем на других, обращаются со мной иначе, лишь потому, что я родом из «угольных» Шниров. Но Мари только дважды лягнула глупость по этому поводу: в тот первый день, когда я спустился к ней на кухню, и тут,

когда мы говорили про гоголь-моголь. Отвратительно иметь богатых родителей, и, конечно, еще отвратительнее, когда тебе от богатства ничего не перепадает. Дома мы редко ели яйца, мама считала их «определенно вредными». Кстати, Эдгару Винекену было тоже нелегко, но в обратном смысле: его везде представляли как сына рабочего, а некоторые священники доходили до того, что, знакомя его с кем-нибудь, говорили: «Настоящее дитя рабочего класса», и это звучало так, будто они говорили: «Гляньте, рогов у него нет, вид вполне интеллигентный». Это, конечно, тоже расовая проблема, надо бы маминому комитету и этим заняться. Единственные люди, которые непредвзято относились ко мне в этом вопросе, были Винекены и отец Мари. Они меня не шельмовали за то, что я родом из шнировской династии, и лаврами за это тоже не венчали.

23

Я поймал себя на том, что все еще стою на балконе и смотрю на Бонн. Приходилось крепко держаться за перила, колено невыносимо болело, но меня больше беспокоила марка, которую я бросил вниз. Я бы с удовольствием взял ее назад, но выйти на улицу не мог — каждую минуту ждал Лео. Должны же они когда-нибудь доесть свой компот со взбитыми сливками и прочесть молитву. Марки на улице видно не было: жил я высоко, а только в сказках монеты блестят так отчетливо, что их можно подобрать. Впервые в жизни я пожалел обо всем, что связано с деньгами, с этой выброшенной маркой: она означала двенадцать сигарет, две поездки в трамвае, сосиску с булочкой. Без раскаяния, но все же с некоторой грустью вспоминал я все доплаты за скорость и за разницу в стоимости билета первого класса, которые мы израсходовали на всяких нижнесаксонских бабушек,—вспоминал с той грустью, с какой вспоминаешь о поцелуях девушки, которая потом вышла замуж за другого.

На Лео нельзя было слишком надеяться, у него престранные представления о деньгах, примерно как у монахини о «супружеской любви».

Внизу на улице ничего не блестело, хотя освещение было яркое, никаких звездных талеров я не увидел, одни машины, трамваи, автобусы и боннские граждане.

Я надеялся, а вдруг марка упала на крышу трамвая и кто-нибудь из депо ее найдет.

Разумеется, я мог еще броситься «в лоно евангелической церкви», но при слове «лоно» меня пробирала дрожь. Я бы еще мог броситься на грудь к Лютеру, но «в лоно церкви» — никак. Уж если притворяться, то притворяться с выгодой, чтобы как следует позабавиться. Было бы очень занятно притвориться католиком, я бы на полгода совершенно «скрылся», потом начал бы посещать вечерние проповеди Зоммервильда, пока во мне не накопилось бы этих «католиков», как бактерий в гнойной ране. Но этим я отнял бы у себя последний шанс заслужить отцовскую благосклонность и подписывать в конторе угольного концерна расчетные чеки. Может быть, моя мать пристроила бы меня у себя в комитете, дала бы мне возможность излагать там свои расовые теории. Я бы мог им там рассказать, как я швырнул Герберту Калику золу с теннисной площадки прямо в физиономию, как меня заперли в сарай при тире, а потом меня судили: Калик, Брюль и Левених. Впрочем, рассказывать об этом — тоже притворство. Не могу я описать эти минуты, повесить их себе на шею, как орден. Каждый носит героические моменты своей жизни, словно ордена, на груди, на шее. А цепляться за прошлое — лицемерие и притворство, потому что нет человека, который знал бы, какие бывают минуты в жизни: была и такая минута, когда Генриетта, в своей синей шляпке, сидела в трамвае и ехала спасать «священную германскую землю» от «жидовствующих янки».

Нет, самым верным притворством была бы «ставка» на католическую церковь, тут уж любой билет — выигрышный.

Я еще раз взглянул поверх университетских крыш на деревья дворцового сада. Там, дальше, между Бонном и Годесбергом, на взгорье, будет жить Мари. И отлично. Лучше быть к ней поближе. Слишком легко она бы отделалась, если бы могла думать, что я надолго уехал куда-то. Пусть всегда знает, что может меня встретить и покраснеть от стыда при мысли, что ее жизнь — сплошное преступление и предательство, а если она попадетса мне навстречу со своими детьми и на детях будут светлые пальтишки, куртки-канадки или свитера, то ей вдруг покажется, что дети совсем голые.

В городе ходят слухи, что ваши дети бегают голышом. Это уж слишком. И потом, вы сделали маленькую ошибку, сударыня, в самый решающий момент: когда вы сказали, что любите только одного мужчину, надо было сказать «мужа». Ходит слух и о том, что вы подсмеиваетесь над сдержанным недовольством, которое здесь испытывает каждый по отношению к тому, кого зовут «стариком». Говорят, будто вам кажется, что все каким-то странным образом на него похожи. В сущности — так вы полагаете, — все они, как и он, считают себя незаменимыми, все, как и он, читают детективные романы. Разумеется, обложки детективов не очень идут к стилю квартир, обставленных с таким вкусом. Датчане забыли к стильной мебели придумать подходящие обложки для романов. Финны — те похитрее, они, наверно, подберут обложки в одном стиле со стульями, креслами, чашками и вазами. Но даже у Блотертов лежат детективы, их не старались стыдливо запрятать в тот вечер, когда мы обозревали обстановку квартиры.

И всегда вы сидите в темноте, сударыня, в кино, в церкви, в темной гостиной, слушая церковную музыку, вы избегаете светлых теннисных площадок. А слухи ползут. Полчаса, сорок минут — в исповедальне собора. Нескрываемое возмущение во взглядах окружающих. Бог мой, этой-то в чем каяться: замужем за самым красивым, милым, самым благородным человеком. Порядочным до глубины души. Очаровательная дочурка, две машины.

За решеткой — раздраженное нетерпение, бесконечное перешептывание о любви, браке, долге, снова о любви и, наконец, вопрос: «Но у вас и сомнений в вере нет, что же вам еще нужно, дочь моя?»

Но этого тебе не выговорить, ты даже подумать боишься о том, что знаю я. Тебе нужен клоун, официальное звание — комический актер, вероисповедания — свободного.

Я проковылял с балкона в ванную — надо было загримироваться. Я сделал ошибку, сидя и стоя перед отцом без грима, но я меньше всего рассчитывал на его посещение. А Лео во что бы то ни стало хочет всегда слышать мое истинное мнение, видеть истинное мое лицо, истинное мое «я». Вот пускай и увидит. Он всегда боялся моих «масок», моей игры, того, что он зовет

«несерьезным», когда я бываю без грима. Чемоданчик с гримом еще ехал где-то между Бохумом и Бонном. Я спохватился, открывая белый шкафчик в ванной, но было уже поздно. Надо было раньше подумать, какая убийственная сентиментальность присуща вещам. Тюбики и баночки, бутылочки и карандаши Мари — ничего в шкафчике не осталось, и то, что от нее *совершенно ничего* не осталось, было так же страшно, как если бы я нашел какую-нибудь ее баночку или тюбик. Все унесено. Может быть, это Моника Сильвс сжалилась надо мной и все запаковала и унесла? Я посмотрел на себя в зеркало: глаза совершенно пустые, впервые в жизни мне не надо было опустошать их, глядя по полчаса в зеркало и тренируя мускулы лица. Это было лицо самоубийцы, а когда я начал накладывать грим, лицо мое стало лицом мертвеца. Я намазался вазелином, разломал полувысохший тюбик с белилами, выдавил то, что там осталось, и наложил одни белила: ни черточки черным, ни точки красным, сплошь белое, даже брови забелены; волосы над белым казались париком, ненакрашенный рот — темный до синевы, глаза — светло-голубые, словно гипсовое небо, и пустые, как глаза кардинала, который не хочет себе сознаться, что давно потерял веру. Я даже не испугался себя. С таким лицом можно было сделать карьеру, даже притвориться, что веришь в то, что при всей своей беспомощности, наивности все же было мне относительно симпатичнее всего остального: то, во что верил Эдгар Винекен. По крайней мере у этого дела нет привкуса, оно, при всей своей безвкусоности, было самым честным среди нечестных дел, самым меньшим из всех малых зол. Ведь кроме черного, темно-коричневого и синего есть еще то, что слишком оптимистично, слишком условно называют «красным», скорее всего оно серое со слабым отблеском занимающейся зари. Печальный цвет для печального дела, но в этом деле, быть может, нашлось бы место и для клоуна, согрешившего самым тяжким из всех клоунских грехов — желанием вызвать к себе жалость. Одно было плохо: Эдгара я никак не мог обманывать, никак не мог перед ним лицемерить и притворяться. Я был единственным свидетелем того, что он действительно пробежал стометровку за десять и одну десятую секунды, и он был одним из немногих, кто принимал меня таким, каков я есть, видел меня таким, каков я есть. И верил он только в определенных людей — другие, те больше верили не в людей,

а в Бога, в деньги как отвлеченное понятие и в иные отвлеченные понятия, например «государство», «Германия». У Эдгара этого нет. В тот раз, когда я схватил такси, он очень огорчился. Мне его стало жаль, надо было бы ему все объяснить, хотя никому другому я объяснять бы не стал. Я отошел от зеркала — слишком не нравилось мне то, что я там видел. Это уже был не клоун, а мертвец, играющий мертвеца.

Я проковылял в нашу спальню — я еще туда не заходил, боялся увидеть платья Мари. Почти все платья я покупал ей сам, даже советовал портнихам, как их переделывать. Мари идут все цвета, кроме красного и черного, на ней даже серый цвет не кажется скучным. Очень ей к лицу розовый и зеленый. Наверно, я мог бы неплохо зарабатывать в дамском ателье мод, но если ты однолюб и не «такой», то это ужасное мучение. Обычно мужья дают своим женам расчетные чеки и советуют «подчиниться диктату моды». Если в моде фиолетовый цвет, все эти дамочки, которых закармливают чеками, наряжаются в фиолетовое, и какой-нибудь прием, где женщины, хоть сколько-нибудь «знающие себе цену», разгуливают в фиолетовых платьях, выглядит так, будто с трудом воскрешенные епископы женского пола собрались на конклав. Только немногим женщинам идет фиолетовый. Мари он был очень к лицу. Когда я еще жил дома, вдруг появилась мода на прямые, мешковатые платья, и все эти несчастные квочки, которым мужья велят одеваться «представительно», расхаживали на наших «журфиксах» в мешках. Мне до того было жаль некоторых из них — особенно высокую полную жену кого-то из бесчисленных председателей, — что хотелось подойти к ней и из чистого сострадания завернуть ее в какую-нибудь скатерть или занавеску. А ее муж, дурак стоеросовый, ничего не замечал, ничего не видел, ничего не слышал — он мог бы послать свою жену на рыночную площадь в розовой ночной рубашке, если б какой-нибудь псих завел такую моду. На следующий день он делал доклад — и полтора евангелических пасторов слушали, что значит слово «познать» в брачном кодексе. А сам он, вероятно, так и не «познал», что у его жены слишком костлявые коленки и ей нельзя носить короткие платья.

Я рывком открыл дверцы шкафа, чтобы не смотреться в зеркало: от Мари там ничего не осталось, ровно ничего, даже колодок для туфель, даже пояса, а женщины так часто забывают их в шкафу, даже запаха духов

почти не осталось,— надо было бы ей проявить больше жалости, забрать и мою одежду, раздарить ее или сжечь, но мое платье висело на месте: зеленые вельветовые брюки, которых я ни разу не надевал, черный твидовый пиджак, несколько галстуков и три пары башмаков на полочке внизу; в боковых ящиках, наверно, осталось все, что нужно: запонки, белые пластинки для воротничков, носки, носовые платки. Я так и думал: в вопросах собственности эти католики непоколебимы, всегда справедливы. Мне и открывать эти ящики не было нужды: все, что мне принадлежало, будет на месте, а все ее вещи убраны. Какое это было бы благодеяние — унести и мое барахлишко, но нет: в нашем шкафу царила справедливость, смертельно скучная корректность. И Мари, наверно, чувствовала жалость, унося все, что могло бы напомнить мне о ней, наверно, она даже всплакнула, как плачут женщины в фильмах с разводом, говоря: «Никогда мне не забыть дней, проведенных с тобой!»

Убранный, аккуратный шкаф (кто-то даже прошелся по нему тряпочкой) — ничего хуже она мне оставить не могла, все в порядке, все разделено, ее вещи разведены с моими. Слово шкафу сделали удачную операцию. Ничего не осталось, даже оторванной пуговки. Я оставил дверцы открытыми, чтобы не видеть зеркала, проковылял на кухню, сунул бутылку коньяку в карман, пошел в столовую, лег на диван и подтянул штанину. Колено сильно распухло, но боль стихла, как только я лег. В пачке лежало еще четыре сигареты, и я закурил одну из них.

Я подумал — что хуже: если бы Мари оставила свои платья здесь или, как сейчас, убрала — везде чисто, и даже нет записочки: «Никогда мне не забыть дней, проведенных с тобой». Может, так оно и лучше, и все же она могла бы оставить хоть пуговку, хоть поясик или же взять с собой весь шкаф и сжечь его дотла.

Когда пришло известие о смерти Генриетты, у нас дома как раз накрывали на стол и Генриеттина салфетка в желтом салфеточном кольце еще лежала на шкафу — Анна считала, что отдавать ее в стирку преждевременно,— и тут мы все посмотрели на эту салфетку, на ней были следы мармелада и маленькое бурое пятнышко — не то от супа, не то от соуса. Впервые в жизни я почувствовал, какой ужас таят в себе вещи, оставшиеся

после человека, который ушел или умер. Но мама сделала решительную попытку и начала есть, наверно, это должно было означать: жизнь продолжается, или что-то в этом духе, но я точно знал, что это не так, не жизнь продолжается, а смерть. И я выбил у нее ложку из рук, выбежал в сад, потом опять в дом, где поднялся вой и визг: маме обожгло лицо супом. Я ринулся наверх в Генриеттину комнату, распахнул раму и стал швырять за окно все, что мне попадалось под руку: коробочки и платья, кукол, шляпки, башмаки, береты; рванул ящик комода, там лежало белье и между ним — странные мелочи, которые, наверно, были ей чем-то дороги: засушенные колосья, камешки, цветы, обрезки бумаги и целые пачки писем, перевязанные розовыми ленточками. Теннисные туфли, ракетки, призы — все, что попадалось под руку, я выкидывал в сад. Лео потом говорил мне, что я был похож на сумасшедшего, и все произошло с такой бешеной быстротой, что никто не успел помешать. Целые ящики комода я просто опрокидывал за окно, помчался в гараж, притащил в сад тяжелый бидон с горючим, вылил его на грудку вещей и поджег; все, что валялось вокруг, я подтолкнул ногой в бушевавшее пламя, собрал все клочки и кусочки, все засушенные колосья и цветы, все письма — и швырнул в огонь. Я побежал в столовую, схватил с буфета салфетку в кольцо, кинул и ее в огонь. Лео потом говорил, что все произошло в пять минут, и пока сообразили, что происходит, костер уже пылал вовсю и я побросал в огонь все вещи. Откуда-то вынырнул американский офицер, он, видно, решил, что я жгу секретные документы, протоколы великого германского «вервольфа», но когда он подошел, все уже обуглилось, почернело, отвратительно запахло горелым, он хотел схватить пачку писем, я выбил их у него из рук и выплеснул в огонь остатки бензина из канистры. Позже подоспели и пожарные с уморительно огромными брандспойтами, и сзади кто-то вопил уморительно пискливым голосом самую уморительную команду, какую я слышал: «Воду — марш!» И им не было стыдно поливать эту несчастную грудку пепла из своих насосов, а так как одна из оконных рам немного затлелась, то кто-то из пожарных направил в окно струю воды, и все в комнате поплыло, а потом паркет вспучился, и мама рыдала над испорченными полами и обзванивала всякие страховые общества, выясняя, чему приписать повреждения — пожару, навод-

нению или лучше просто получить страховку за поврежденное имущество.

Я глотнул коньяку из бутылки, снова сунул ее в карман и ощупал колено. Когда я лежал, оно болело меньше. Если вести себя разумно, справиться с мыслями, опухоль спадет, боль стихнет. Можно будет достать пустой ящик из-под апельсинов, сесть у вокзала и, подыгрывая на гитаре, петь акафист Пресвятой Деве. Я положу — как бы случайно — свою шляпу или кепку рядом на ступеньки, и стоит только кому-нибудь сообразить и что-то туда бросить, как другие тоже возьмут с него пример. Деньги мне были необходимы хотя бы потому, что кончились сигареты. Лучше всего было бы положить в шапку грош и пару пятифенниговых монет. Наверно, Лео принесет мне хоть такую малость. Я уже ясно представил себе, как я там сижу: белое лицо на темном фоне вокзала, голубая рубашка, черная куртка и зеленые вельветовые брюки, — и тут я «зачинаю», под аккомпанемент вокзального шума: «*Rosa mystica — ora pro nobis — turris Davidica — ora pro nobis — virgo fidelis — ora pro nobis*»¹, и я просижу там, пока не придет поезд из Рима и моя *coniux infidelis*² не прибудет со своим католическим мужем. Должно быть, их венчание вызвало целый ряд неприятных осложнений. Мари не была вдовой, она и не разведенная жена, она — и это я случайно знал достоверно — уже не девушка. Зоммервильд, наверно, рвал на себе волосы — венчание без фаты портило ему всю эстетическую концепцию. А может быть, у них есть особые литургические каноны для падших дев и бывших наложниц клоунов? О чем думал епископ, совершая обряд венчания? Меньше чем на епископа они наверняка не согласились бы. Один раз Мари затащила меня на епископскую службу, и на меня произвела огромное впечатление вся эта церемония: снять митру — надеть митру, надеть белую перевязь — снять белую перевязь, епископский посох туда — потом сюда, повязать красную перевязь — снять белую; моей «утонченной артистической натуре» очень близка эстетика повторов.

Тут я стал обдумывать свою пантомиму с ключами. Можно было взять пластилин, сделать в нем оттиск

¹ Мистическая роза — молись о нас — твердыня Давидова — молись о нас — верная Дева — молись о нас (лат.).

² Неверная супруга (лат.).

ключа, налить воды в форму и заморозить в холодильнице; наверно, можно достать маленький портативный холодильничек, тогда я смог бы каждый вечер делать несколько ключей перед выступлением, на котором эти ключи будут постепенно таять. Может быть, эта выдумка и осуществима, но на данный момент я ее оставил — слишком уж все это сложно, мне придется зависеть от слишком большого реквизита, от множества технических неполадок, а если к тому же какой-нибудь из рабочих сцены на военной службе был обманут моим земляком с Рейна, он еще, чего доброго, выключит мой холодильничек и сорвет весь номер. Нет, вторая выдумка лучше: усесться на ступеньки боннского вокзала таким, как я есть, без грима, только с набеленным лицом, и петь акафисты, подыгрывая себе на гитаре. Рядом — шляпа, я ее надевал, имитируя Чаплина, вот только монет для приманки не хватило, хорошо бы положить туда десять пфеннигов, еще лучше — десять или пять пфеннигов, а самое лучшее три монетки — десять, пять и два пфеннига. Пусть люди видят, что я не какой-нибудь религиозный фанатик, который гнушается малой лептой, пусть видят, что каждое даяние — благо, даже медный грош. А потом я подложу и серебряную монетку, для ясности, пусть видят, что я не только не гнушаюсь крупной лептой, но и получаю ее. Я и сигаретку положу в шляпу, большинству людей легче открыть портсигар, чем кошелек. Конечно, потом обязательно появится какой-нибудь защитник моральных устоев, потребует разрешение петь на улицах или какой-нибудь представитель главного комитета по борьбе с богохульством подвергнет сомнению религиозную ценность моей интерпретации. На тот случай, что у меня могут спросить документы, я всегда буду держать наготове брикет угля с рекламой, известной каждому ребенку: «Шнир тебя согреет», я обведу черную надпись «Шнир» красным мелком, может, даже пририсую свой инициал «Г». Довольно громоздкая визитная карточка, зато выразительно и ясно: разрешите представиться — Шнир. В одном отец мог бы мне помочь, ему это даже ничего и не стоило бы. Он мог бы мне достать лицензию уличного певца. Ему стоило только позвонить обер-бургомистру или попросить его об этом в Коммерческом клубе, за партией ската. Это одолжение он мог бы мне сделать. Тогда я смогу спокойно сидеть на ступеньках вокзала и ждать прихода римского поезда. И если Мари сможет заставить себя пройти мимо и не обнять меня, то

еще останется самоубийство. Но не сейчас. Я не решался думать о самоубийстве по одной причине, хотя, может быть, это покажется слишком самоуверенным: я хотел сохранить себя для Мари. Ведь она может расстаться с Цюпфнером, и тогда наше положение будет идеальным повторением истории с Безевицем: церковный развод с Цюпфнером для нее невозможен, и она навеки сможет остаться моей «наложницей». И мне надо будет только обратить на себя внимание телевизионщиков, завоевать новую славу, и тогда церковь закроет на все это глаза. Мне-то вовсе не требуется церковный брак с Мари, поэтому им не придется даже заводить для меня старую волюнку про Генриха Восьмого.

Я чувствовал себя значительно лучше. Колено опало, боль стихла, остались только мигрень и меланхолия, но мне они привычны, как мысль о смерти. У художника смерть всегда при нем, как псалтырь у добросовестного патера. Я даже точно знаю, что будет после моей смерти: от фамильной усыпальницы Шниров я не избавлюсь. Мать будет рыдать и уверять всех, что она одна меня понимала. После моей смерти она обязательно всем станет рассказывать, «каким был наш Ганс на самом деле». На сегодня и, должно быть, на веки веков она твердо уверена, что я — человек «чувственный» и к тому же «корыстный». Она скажет: «Да, наш Ганс, он был такой способный, но, к сожалению, совершенно недисциплинированный, но очень способный, очень!» А Зоммервильд скажет: «Да, наш Шнир — чудо, чудо! К сожалению, в нем жили неискоренимые антиклерикальные предрассудки и полное непонимание метафизики». Блотерт — тот будет жалеть, что вовремя не провели закон о смертной казни, тогда можно было бы публично казнить меня. Для Фредебойля я буду «незаменимым образцом» человека, лишённого «каких бы то ни было социологических концепций». А Кинкель заплачет, искренне и горячо, потрясенный до глубины души, но уже будет поздно. Моника Сильвс будет всхлипывать, словно она — моя вдова, и раскаиваться, что сразу не пошла ко мне, не сделала мне ометик. Одна Мари просто не поверит, что я умер, — она уйдет от Цюпфнера и станет ездить из отеля в отель и везде спрашивать обо мне, но напрасно.

Отец мой до конца просмакует всю эту трагедию, полный раскаяния, что он, уходя от меня, не оставил мне хотя бы две-три бумажки в прихожей. Карл и Сабина будут плакать без всякого удержу, оскорбляя эстетические чувства всех присутствующих на похоронах. Сабина тайком запустит руку в карман пальто Карла, она вечно забывает носовой платок. Эдгар из чувства долга будет сдерживать слезы и, может быть, после похорон пройдет по дорожке для стометровки в нашем парке, потом один вернется на кладбище и положит большой букет роз у мраморной плиты с именем Генриетты. Никто, кроме меня, не знает, что он был влюблен в нее, никто не знает, что на конвертах, которые я сжег, вместо фамилии отправителя стояли инициалы Э. В. И еще одну тайну я унесу с собой в могилу: однажды я наблюдал, как мама в подвале тайком пробралась в кладовую с продуктами, отрезала себе толстый ломоть ветчины и съела его там же, внизу, торопливо разрывая пальцами, — и выглядело это не очень противно, только неожиданно, я был скорее тронут, чем возмущен. Я спустился в подвал, чтобы поискать в сундуке старые теннисные мячики, ходить туда нам было запрещено, и, услышав ее шаги, я потушил свет, но видел, как она сняла с полки банку яблочного повидла, потом поставила на место, видел, как ее локоть двигался, когда она что-то резала, и как она стала запикивать себе в рот куски ветчины. Этого я никому не рассказывал и не расскажу. Моя тайна будет покоиться со мной под мраморной плитой шнировского мавзолея. Как ни странно, но я хорошо отношусь к существам моей породы — к людям. И когда умирает кто-нибудь из нашей породы, мне грустно. Даже над гробом матери я, наверно, заплакал бы. А над могилой старика Деркума я просто не мог прийти в себя: все кидал и кидал лопатой землю на голые доски гроба, сзади кто-то шептал, что так не полагается, а я все кидал и кидал, пока Мари не отняла у меня лопату. Я не хотел смотреть ни на лавку, ни на дом, не хотел ничего брать на память. Мари отнеслась к его смерти трезво: она продала лавку и отложила деньги «для наших будущих детей».

Уже почти не хромя, я смог пойти в кладовую, взять оттуда гитару. Я снял чехол, сдвинул в столовой два кресла, поставил рядом с собой телефон, лег на кушетку и стал настраивать гитару. От этих звуков мне стало легче. А когда я начал петь, мне стало почти совсем

легко: «Mater amabilis — Mater admirabilis»¹, а для «Ora pro nobis» я взял аккорд на гитаре. Мне понравилась моя затея. С гитарой в руке, положив шляпу дном вниз, со своим истинным лицом, я буду ждать поезда из Рима. «Mater boni consilii»². Мари сама мне сказала в тот день, когда я привез деньги от Эдгара Винекена, что мы никогда, никогда больше не расстанемся: «Пока смерть не разлучит нас». А я еще не умер. Матушка Винекен всегда говорила: «Кто поет, тот живет» или: «Кому еда по вкусу, тот не пропадет». А я пел, и я был голоден. Меньше всего я мог себе представить, что Мари осядет на одном месте: мы с ней всегда разъезжали из города в город, из отеля в отель, и если застревали на несколько дней, она постоянно повторяла: «Открытые чемоданы смотрят на меня, будто голодные пасти, будто есть просят», и мы напихивали вещами голодные пасти чемоданов, а если я где-нибудь должен был задержаться недели на две, она бегала по городу, как по древним раскопкам. Кино, церкви, газетки поглупее, игра в «братец-не-сердись»... Неужели она и вправду захочет принимать участие в торжественной пышной церемонии, когда Цюпфнера будут посвящать в мальтийские рыцари, при канцлерах и президентах, а потом дома выводить утюгом сальные пятна воска с его рыцарского мундира? Дело вкуса, Мари, но у тебя не тот вкус. Гораздо лучше надеяться на неверующего клоуна — он непременно разбудит тебя пораньше, чтобы ты не опоздала на мессу, а если нужно, оплатит и такси до места. Мое голубое трико тебе стирать никогда не придется.

24

Когда зазвонил телефон, я на минуту растерялся. Я уже настроил себя на то, чтобы не пропустить звонка и открыть Лео входную дверь. Я положил гитару, посмотрел на звонящий аппарат, потом поднял трубку и сказал:

— Алло?

— Ганс? — сказал Лео.

— Да, — сказал я, — рад, что ты придешь. — Он помолчал, кашлянул, голос его прозвучал как-то незнакомо. Он сказал:

¹ Матерь благостная — Матерь прекрасная (лат.).

² Матерь — добрая советчица (лат.).

— У меня для тебя есть эти деньги.

Странно, что он сказал *эти* деньги. У Лео вообще удивительно странное представление о деньгах. Никаких потребностей у него нет, он не курит, не пьет, не читает вечерних газет, а в кино ходит только тогда, когда по меньшей мере пять человек, которым он вполне доверяет, скажут, что этот фильм стоит посмотреть, а случается это раз в два-три года. Он больше любит ходить пешком, чем ездить в троллейбусах. И когда он сказал «эти деньги», у меня сразу упало настроение. Если б он сказал «немножко» денег, я бы понял, что у него есть две-три марки. Я подавил испуг и хрипло спросил:

— Сколько?

— Да вот, шесть марок и семьдесят пфеннигов,— сказал он.

Наверно, для него, для его так называемых «личных потребностей», это была огромная сумма, ему бы хватило ее года на два: изредка — перронный билет, пакетик мятных лепешек, грошик для нищего, даже спички ему были не нужны, и если он покупал коробок, чтобы иметь при себе — вдруг понадобится дать прикурить «начальству», — то его хватало на год, и он может проносить коробок спичек целый год, а он у него все как новенький. Разумеется, ему надо иногда ходить к парикмахеру, но эти деньги он, вероятно, берет из тех, которые отец положил на его счет. Раньше он, бывало, покупал билеты на концерты, но и то мама по большей части отдавала ему свои пригласительные билеты. Богатым людям всегда дарят больше, чем беднякам, даже то, что им приходится покупать, они покупают дешевле. У мамы лежал целый каталог от оптового торговца: с нее станется, что она даже почтовые марки ухитрится покупать со скидкой. Шесть марок семьдесят пфеннигов — для Лео это внушительная сумма. И для меня в данный момент тоже, но он, должно быть, еще не знал, что я, как говорили у нас в семье, в данный момент «лишен всяких доходов».

Я сказал:

— Ладно, Лео, большое спасибо, да захвати для меня пачку сигарет, когда придешь.— Я услышал, как он опять кашлянул, ничего не ответил, и я спросил:— Ты слушаешь? А? — Может быть, он обиделся, что я сразу попросил его купить мне сигареты на его деньги.

— Да, да...— сказал он,— вот только... только...— Он запнулся и заикаясь сказал:— Мне очень неловко перед тобой... но прийти я не могу.

— Что? — крикнул я. — Не можешь прийти?

— Уже без четверти девять, — сказал он, — а в девять мне полагается быть дома.

— А если опоздаешь? — спросил я. — Тебя от церкви отлучат, что ли?

— Ах, брось, пожалуйста, — обиженно сказал он.

— Неужели ты не можешь попросить отпуск или как это у вас называется?

— Только не в это время, — сказал он, — надо было заявить до обеда.

— А если ты просто опоздаешь?

— На меня наложат строжайшую адгортацию, — тихо сказал он.

— Что-то похоже на сад, — сказал я, — если я еще не забыл свою латынь.

Он коротко рассмеялся.

— Скорее на садовые ножницы, — сказал он, — штука неприятная.

— Ну ладно, Лео, — сказал я, — не буду тебя заставлять подвергаться таким строгим взысканиям, но мне стало бы легче, если б кто-нибудь побыл со мной.

— Все это очень сложно, — сказал он, — ты должен меня понять. Взыскание я бы еще на себя взял, но если я на этой неделе получу еще одно взыскание, то это попадет в личное дело, и мне придется держать ответ в скрутиниуме.

— Где-где? — спросил я. — Ты скажи помедленнее.

Он вздохнул, что-то проворчал, потом медленно сказал:

— В скрутиниуме.

— О черт, — сказал я, — ей-богу, Лео, это похоже на какое-то препарирование насекомых, а уж «личное дело» — совсем как там, в Аннином «П.П.9». Там тоже все сразу заносили в личное дело, как у подсудственных.

— Слушай, Ганс, — сказал он, — неужели нам надо тратить время на споры о нашей воспитательной системе?

— Если тебе неприятно, не надо. Но ведь можно еще каким-то другим путем, вернее, непутем, оттуда выбраться, перелезть через ограду, вроде того, как делалось в этом «П.П.9». Я хочу сказать, что даже при самой строгой системе можно найти какой-то выход.

— Да, — сказал он, — можно, как и на военной службе. Но мне это отвратительно. Я хочу идти прямой дорогой.

— Неужели ты не можешь ради меня преодолеть отвращение и один раз перелезть через ограду?

Он вздохнул, и я себе представил, как он покачал головой:

— Неужто нельзя отложить до завтра? Завтра я мог бы пропустить лекцию и в девять быть у тебя. Разве это так спешно? Или ты сейчас же уезжаешь?

— Нет,— сказал я,— я еще побуду в Бонне. Дай мне хотя бы адрес Генриха Белена, я ему позвоню, может быть, хоть он приедет сюда из Кёльна или оттуда, где он сейчас живет. Понимаешь, я расшибся, разбил колено, сижу без денег, без ангажемента и без Мари. Правда, я и завтра буду сидеть с разбитым коленом, без денег, без ангажемента и без Мари, значит, все это не так спешно. Но может быть, Генрих уже стал патером, у него есть мотоцикл или еще что. Да ты меня слушаешь?

— Да,— вяло сказал он.

— Так ты дай мне, пожалуйста, адрес Генриха, его телефон,— сказал я.

Он промолчал. Вздыхал он так, словно сто лет просидел в исповедальне и сокрушался о безумствах и грехах человечества.

— Вот что,— сказал он наконец, с явным усилием,— видно, ты ничего не знаешь?

— Чего я не знаю? — крикнул я.— Господи боже, Лео, да говори же яснее!

— Генрих больше не служитель церкви,— сказал он тихо.

— А я думал, это на всю жизнь.

— Да, конечно,— сказал он,— но я хочу сказать, он больше не служит в церкви. Он уехал, пропал без вести, вот уже несколько месяцев.— Он с трудом выдавил из себя эти слова.

— Ничего,— сказал я,— он найдется.— И вдруг я спохватился: — А он один?

— Нет,— строго сказал Лео,— он сбежал с девушкой.— Это прозвучало так, будто он сказал: «У него чума».

Мне стало жаль девушку. Наверно, она католичка и ей очень неприятно жить с бывшим священником, где-нибудь в трущобе, и терпеть все нюансы «плотского вожделения», а вокруг валяется белье, подштанники, подтяжки, на блюдечке — окурки, корешки от билетов в кино, денег уже в обрез, а когда эта девушка спускается по лестнице купить хлеба, сигарет или бутылку вина

и в дверях на нее начинает орать хозяйка, она даже не может крикнуть ей: «Мой муж художник, да, художник!» Мне было жаль их обоих, и девушку еще больше, чем Генриха. В этих вопросах, особенно если речь идет не только об очень незаметном, но и об очень ненадежном капеллане, церковь чрезвычайно строга. Для такого типа, как Зоммервильд, она на многое, очень многое закрыла бы глаза. Да и экономка у прелата не с гусиной кожей на ногах; это красивая, цветущая особа, он зовет ее Маддалена, она отлично готовит, всегда аккуратная, веселая.

— Что же поделаешь,— сказал я,— значит, он для меня пока что отпадает.

— Бог мой,— сказал Лео,— ну и хладнокровие у тебя, просто невозможно!

— А я не епископ Генриха Белена, не очень интересуюсь такими делами, и огорчают меня только детали. Но по крайней мере у тебя есть адрес и телефон Эдгара?

— Это Винекена, что ли?

— Да,— сказал я,— ведь ты помнишь Эдгара? Ты у нас с ним встречался в Кёльне, а когда мы жили дома, мы всегда у них играли, ели картофельный салат.

— Ну конечно,— сказал он,— конечно, я его помню, но, насколько мне известно, Винекен давно в отъезде. Кто-то мне рассказывал, что он поехал в научную экспедицию, в командировку, в Индию или в Таиланд, что ли, точно я не знаю.

— Ты уверен? — спросил я.

— Да, почти уверен,— сказал он,— да, сейчас вспомнил, мне об этом рассказал Гериберт.

— Кто? — закричал я.— Кто тебе рассказал?

Он молчал, даже вздохов слышно не было, и теперь я понял, почему он ко мне не может прийти.

— Кто? — крикнул я еще раз, но он не ответил. И это покашливание, как в исповедальне, он его здорово себе усвоил, я часто это слышал, поджидая Мари в церкви.— Лучше ты и завтра ко мне не приходи,— сказал я тихо.— Жаль пропускать лекцию. Чего доброго, ты еще скажешь, что видел и Мари.

Очевидно, он действительно не научился ничему, кроме вздохов и покашливаний. Он опять вздохнул глубоко, горько, протяжно.

— Можешь не отвечать,— сказал я,— передай только поклон тому славному малому, который сегодня два раза со мной разговаривал от вас по телефону.

— Штрюдеру? — спросил он.

— Не знаю, как его фамилия, но мне с ним было приятно потолковать.

— Да его никто всерьез не принимает,— сказал он,— ведь он, так сказать, живет тут из милости.— Лео ухитрился при этом даже выдать из себя что-то вроде смешка: — Он иногда пробирается к телефону и говорит глупости.

Я встал, посмотрел сквозь щель между занавесями на часы внизу, на улице. Было без трех минут девять.

— Тебе пора,— сказал я,— не то еще попадешь на заметку. И не прозевай завтра лекцию.

— Но пойми же меня,— умоляюще сказал он.

— О черт,— сказал я,— я тебя хорошо понимаю. Даже слишком хорошо.

— Что ты, в сущности, за человек? — спросил он.

— Я клоун,— сказал я,— и собираю мгновения. Пока.— И я положил трубку.

25

Я совсем забыл расспросить его о службе в армии, но, может быть, когда-нибудь еще представится возможность. Наверно, он будет хвалить «питание» — дома нас никогда так хорошо не кормили,— а учения он будет считать «чрезвычайно полезными в воспитательном отношении», а контакт с простыми людьми из народа «глубоко поучительным». Я мог обойтись и без этого. Но в эту ночь, в своей семинаристской постели он глаз не сомкнет, будет метаться от угрызений совести и задавать себе вопрос: правильно ли он сделал, что не пошел ко мне? А я столько хотел ему сказать, объяснить, что лучше бы ему изучать теологию в любой части света, хоть в Южной Америке, хоть в Москве, но только не в Бонне. Ведь тому, что он называет своей верой,— и он должен это понять,— не место в Бонне, между Зоммервильдом и Блотертом, и что здесь обращение в католичество одного из Шниров, который к тому же собирается стать священником, могло бы, наверно, укрепить курс акций. Непременно надо будет поговорить с ним обо всем, лучше всего у нас дома, на «журфиксе». И мы с ним, блудные сыновья, уселись бы на кухне, около Анны, пили бы кофе, вспоминали о минувших днях, тех славных днях, когда у нас в парке учились швырять противотанковые гранаты и военные машины останавли-

вались у ворот, привозя расквартированных офицеров вермахта. Обычно это был офицер — майор или еще какой-нибудь чин, — с ним фельдфебели, солдаты, и ни о чем другом они не думали, как только сожрать яичницу-глазунью, выпить коньяку, покурить и полапать горничных на кухне. Иногда они начинали проявлять служебный пыл, то есть напускали на себя важность, и офицер, выстроив их перед нашим домом, выпячивал грудь и даже засовывал руку за пазуху, как скверный актер, играющий полковника, и орал что-то о «победе до конца». Неловко, смешно, бессмысленно. А когда вдруг обнаружилось, что мамаша Винекен тайком пробралась через лес, мимо немецких и американских позиций, чтобы достать на той стороне у брата-пекаря немного хлеба, их служебный пыл стал опасным для жизни. Офицер хотел расстрелять мамашу Винекен и двух других женщин за шпионаж и саботаж (на одном из допросов мамаша Винекен призналась, что разговаривала там с американским солдатом). Но тут мой отец — насколько я помню, второй раз в жизни — проявил необычайную энергию, вывел женщин из импровизированной тюрьмы — нашей прачечной — и спрятал на лодочной пристани у самого берега. Он вел себя настоящим храбрецом, кричал на офицера, а тот — на него. Самое смешное в этом офицере были ордена, подпрыгивавшие у него на груди от возмущения, причем моя мать своим мягким голосом повторяла: «Но, господа, господа, есть же все-таки границы...» Ее во всем этом деле расстраивало только то, что два «джентльмена» кричали друг на друга. Отец сказал: «Этих женщин вы тронете только через мой труп — стреляйте!» И он действительно распахнул пиджак перед офицером и подставил грудь, но тут солдатам пришлось отступать, потому что американцы уже заняли прирейнские холмы, и женщины могли спокойно вылезти из лодочного сарая. Да, самое неуместное в этом майоре — или кто он там был такой — были его ордена. Без орденов ему, быть может, еще удалось бы выказать хоть какое-то достоинство. И теперь, когда я вижу на маминых «журфиксах» этих поганных мешан с их орденами, я всегда вспоминаю того офицера, и даже зоммервильдовский орден мне кажется сносным: «Pro Ecclesia» или что-то в этом духе. Для своей церкви Зоммервильд делает серьезные дела, своих «художничков» он держит на цугундере, и у него хватает вкуса считать, что орден «как

таковой» носить неловко. Он его и надевает только на процессиях, на парадных мессах и на телевизионных передачах. Но эти передачи лишают его даже тех остатков стыда, которые ему как-никак присущи. Вообще, если наш век заслуживает какого-то названия, то его надо назвать веком проституции. Люди привыкли к словарю публичных девок. Как-то я встретил Зоммервильда после одного из выступлений по телевидению («Может ли современное искусство быть религиозным?»), и он меня спросил: «Ну, как я, хорош? Я вам понравился?» Ну в точности те вопросы, какие проститутки задают на прощание своим клиентам. Не хватало еще, чтобы он сказал: «Порекомендуйте меня своим знакомым». Я ему тогда сказал: «Вы мне вообще не нравитесь, так что и вчера понравиться не могли». Это его совсем пришибло, хотя выразил я свое впечатление о нем, стараясь щадить его самолюбие. А выступал он отвратительно: чтобы блеснуть какими-то дешевыми примерами своей эрудиции, он из собеседника, несколько беспомощного социалиста, «сделал котлету», «оставил от него мокрое место», а может, просто «стер в порошок». С хитрым подходцем он спрашивал: «Так, так! Значит, раннего Пикассо вы считаете абстракционистом?» И перед десятью миллионами телезрителей изничтожал старого седого человека, бормотавшего что-то о «политике в искусстве», срезав его вопросом: «Ах, вы, наверно, говорите о социалистическом искусстве, может быть, даже о социалистическом реализме».

Но когда я назавтра встретил его на улице и сказал, что он мне не понравился, он совершенно сник. То, что он не понравился *одному* из десяти миллионов, тяжело ранило его самолюбие, но это с лихвой было искуплено настоящим «потокм приветствий и похвал» во всей католической прессе. Все писали, что он одержал победу «за правое дело».

Я закурил третью из оставшихся сигарет, взял гитару и стал потихоньку брэнчать что попало. Думал я о том, что хотелось рассказать Лео, о чем его расспросить. Но нам вечно мешает что-нибудь: когда мне хочется с ним поговорить всерьез, у него то экзамены, то он боится «скрутиниума». Подумал я и о том, стоит ли мне петь акафисты, пожалуй, лучше не стоит — не то еще примут меня за католика, объявят меня «своим» и сделают из этого хороший материал для пропаганды, они же все «используют», и выйдет сплошная путаница и недо-

разумение из-за того, что я вовсе не католик, а просто люблю акафист Деве Марии и питаю нежность к простой еврейской девушке, которой он посвящен, впрочем, и этого никто не поймет, все будет так передернуто, что во мне найдут миллионы этих «католонов», устроят из меня телевизионную передачу — и курс акций поднимется еще выше. Нет, надо поискать другой текст, а жаль — мне больше всего хотелось петь именно этот акафист, но петь его на ступеньках боннского вокзала... Нет, тут, пожалуй, недоразумений не оберешься. А жаль. Я неплохо его разучил, а «Oga pro nobis» на гитаре звучало совсем хорошо.

Я встал — надо было подготовиться к выступлению. Наверно, мой агент, Цонерер, от меня «отречется», если я начну петь на улице под гитару. Если бы я пел акафист «Tantum Ergo» и все псалмы, которые я так люблю петь и так долго разучивал, сидя в ванне, он еще, может быть, «рассиропился» бы — дельце-то выгодное, вроде рисования мадонн. Я верил, что он ко мне хорошо относится — чада земные куда сердечнее божьих чад, но «в деловом отношении» я стану для него пустым местом, как только пристроюсь на ступеньках боннского вокзала.

Я уже мог пройтись, не особенно хромя. Значит, не надо брать ящик из-под апельсинов, только сунуть под левую руку диванную подушку, под правую — гитару, и можно идти работать. Две сигареты у меня еще остались, одну я выкурю, другую положу в черную шляпу — это будет неплохая приманка; хорошо бы рядом положить хотя бы одну монетку. Я стал рыться в карманах брюк, даже вывернул их совсем: два билета в кино, красная фишка, мятая бумажная салфетка, но денег никаких. Я открыл ящики гардероба в прихожей: платяная щетка, квитанция на боннскую церковную газету, талон на пивную бутылку, но денег никаких. Я перерыл все ящики на кухне, бросился в спальню, искал между запонками, застегками, пуговками, носками и носовыми платками, обшарил карманы зеленых вельветовых штанов — ни черта. Я снял темные брюки — они остались лежать, как слинявшая кожа, бросил на них белую рубашку и натянул голубую: ярко-зеленый и бледно-голубой, я посмотрелся в зеркало — блестяще! Так здорово я еще никогда не выглядел. Белила я наложил слишком густо, они провалялись в шкафчике несколько лет и совсем высохли, и теперь я увидел в зеркале, что слой грима потрескался, весь пошел

трещинами, как лица ископаемых надгробий. Темные волосы казались настоящим париком. Я стал тихонько напевать только что придуманные строчки: «Разнесчастный римский папа, ХДС с ним мучится: не везет он их тележку — ничему не учится». Для начала и это пойдет, уж тут Комиссия по борьбе с богохульством никаких возражений против этого текста не найдет. Надо будет еще придумать несколько куплетов и петь их в балладном духе. Мне очень хотелось плакать, но мешал грим, он так хорошо лег, весь в трещинах, в пятнах уже осыпавшихся кое-где белил, а слезы все испортили бы. Поплакать можно будет и потом, на отдыхе, если будет настроение. Профессиональные привычки — лучшая защита, поразить не на жизнь, а на смерть можно только святого или любителя. Я отступил от зеркала, углубился в себя еще больше и стал себе еще больше чужим. Если Мари увидит меня таким и у нее после этого хватит сил выпаривать утюгом пятна воска с его мальтийского рыцарского мундира, — значит, она умерла, и мы расстались навеки. Тогда мне только и останется, что грустить над ее могилой. Я надеялся, что у них у всех будет при себе достаточно денег, когда они пройдут мимо меня: у Лео чуть больше десяти пфеннигов, у Эдгара Винекена — он уже вернется из Таиланда, — может быть, найдется старинная золотая монета, а дед, вернувшись с Искьи, по крайней мере даст мне расчетный чек. Теперь я уже научился превращать эти чеки в наличные. Моя мать, наверно, сочтет, что достаточно бросить два-три пфеннига, Моника Сильвс, может быть, нагнется и поцелует меня, а Зоммервильд, Кинкель и Фредебойль, возмущенные моим безвкусным поведением, даже и сигаретки в мою шляпу не кинут. А я тем временем, в перерыве между римскими поездками, съезжу на велосипеде к Сабине Эмондс и съем свой супчик. Может быть, Зоммервильд позвонит Цюпфнеру в Рим и посоветует ему выйти, не доезжая Бонна, в Годесберге. Тогда я поеду на велосипеде за город, усядусь у виллы на взгорье и спою там мою песенку: пусть Мари подойдет, посмотрит — а там увидим, живая она или мертвая. Единственный, кого я жалел, был мой отец. Он так хорошо поступил — спас этих женщин от расстрела, и с его стороны было так хорошо положить мне руку на плечо, и теперь — это я увидел в зеркале — в своем гриме я не просто напоминал его, я был поразительно на него похож, и тут я понял, почему он так

резко осуждал обращение Лео в католичество. А Лео мне не жалко — у него есть его вера.

Не было еще и половины десятого, когда я спустился вниз в лифте. Мне вспомнился христианнейший господин Костерт, который задолжал мне бутылку водки и разницу между билетом первого и второго класса. Надо будет послать ему открытку без марки, разбередить его совесть. Он должен был еще прислать мне багажную квитанцию. Удачно, что я не встретил мою хорошенькую соседку, госпожу Гребзель. Пришлось бы ей все объяснять. А когда она увидит меня на ступеньках вокзала, объяснять уже ничего не придется. Не хватало мне только угольного брикета — моей визитной карточки. Вечер был прохладный, мартовский, я поднял воротник пиджака, нахлобучил шляпу и ощутил в кармане последнюю сигарету. Подумал было о бутылке из-под коньяка, она выглядела бы весьма декоративно, но мешала бы проявлениям благотворительности: марка была дорогая, по пробке видно. Зажав подушку под левой, а гитару под правой рукой, я пошел к вокзалу. Только по пути я заметил приметы тех дней, что у нас зовутся «шальными». Какой-то юнец, загримированный под Фиделя Кастро, попытался пристать ко мне, но я от него ушел. У входа на вокзал целая компания — матадоры с испанскими доннами — ждали такси. Я совсем забыл, что шел карнавал. Это была удача. Профессионалу легче всего скрыться среди любителей. Я пристроил подушку на третьей ступеньке снизу, снял шляпу, положил туда сигарету — не посредине, а немного с краю, будто ее мне бросили откуда-то сверху — и затянул песенку: «Разнесчастный римский папа». Никто не обращал на меня внимания, да это было и не нужно: через час, другой, третий меня уже начнут замечать. Я перестал играть, услышав голос радиодиктора. Он объявил поезд из Гамбурга, и я опять заиграл. Я перепугался, когда первая монетка — десять пфеннигов — упала в мою шляпу, она попала в сигарету и сдвинула ее на самый край. Я ее поправил и снова запел.

САМОВОЛЬНАЯ ОТЛУЧКА



Перевод Л. Черной

ПОВЕСТЬ



ENTFERNUNG VON DER TRUPPE

Erzählung

I

Прежде чем перейти к сути этой повести, к ее пружине (пружину здесь надо понимать в том же смысле, что и пружину часового механизма), то есть к семейству Бехтольдов, в которое я вошел в пять пополудни 22 сентября 1938 года, на двадцать втором году жизни, я хотел бы дать кое-какие разъяснения касательно моей особы, уповая на то, что они будут и ложно поняты, и ложно истолкованы. По всей видимости, пришло наконец время приоткрыть некоторые тайны и показать, чему я обязан бравым видом, здоровым духом в здоровом теле — здоровье его иногда подвергается сомнению, — а также дисциплинированностью и твердостью, за которую меня винят друзья и бранят враги, — словом, всеми теми качествами, какие необходимы каждому современнику, ежели он человек нейтральный и неангажированный, дабы он мог выстоять в наш век, требующий особой стойкости при, в, для... Тут читатель вправе выбрать то, что он в данный момент пожелает: оборону, наступление, боевую готовность при, для или в — футб. клуб, Общество католич. студ. или католич. Союз подмастерьев, НАТО, СЕАТО, Варшавский пакт, Восток и Запад, Восток или Запад; в этом месте разрешается даже задать еретический вопрос: ведь на компасе есть и другие страны света, а именно Север и Юг, нельзя ли вписать и их тоже? В бланк могут быть внесены и так называемые абстрактные понятия, как-то: вера, неверие, надежда, отчаяние, а если кто из читателей ощущает досадную нехватку в руководящих идеях или же недостаточное знание конкретных и абстрактных понятий, я рекомендую ему обратиться к самой многотомной энциклопедии, где он сумеет подыскать себе что-нибудь подходящее между «Аарау» и «Ящуром».

Я намеренно не касаюсь здесь ни кроткой церкви верующих, ни грозной церкви неверующих, и не из осторожности, а из животного страха перед тем, что меня опять могут призвать на службу: слово «служба» («я на службе», «мне надо на службу», «моя служба») всегда вселяло в меня страх.

Всю жизнь, а уж особенно после 22 сентября 1938 года, когда я, можно сказать, пережил второе рождение, я упорно стремился к одной цели — стать негодным к службе. Цели этой я так и не достиг, хотя несколько раз был к ней близок. Я не только готов был в любое время дня и ночи глотать таблетки, терпеть уколы и разыгрывать из себя сумасшедшего (что, впрочем, удавалось мне хуже всего), но даже позволил людям, которых не считал своими врагами, хотя они имели все основания считать меня их врагом, всадить мне пулю в правую ногу, продырявить левую руку щепкой (правда, не непосредственно, а, так сказать, посредством немецкой теплушки, вместе с которой я взлетел на воздух), а также прострелить мне череп и тазобедренный сустав: но ничто не помогало мне: ни дизентерия, ни малярия, ни понос, ни нистагм (дрожание глазного яблока), ни невралгия, ни мигрень (болезнь Меньера), ни микоз. Медики упорно признавали меня «годным к службе». Только один врач сделал серьезную попытку признать меня «не годным к службе». Самым отрадным последствием этого явилось то, что меня послали на десять дней в Париж, Руан, Орлеан, Амьен и Абвиль в *служебную* командировку, снабдив служебным удостоверением, служебными талонами на питание и служебными направлениями в гостиницы. Эту командировку мне устроил милейший глазной врач (нистагм); в вышеупомянутых городах я должен был скупить для него по длиннейшему списку *les oeuvres complètes de Frédéric Chopin*¹, ибо Шопен, как он мне признался, был для него тем же, чем абсент для ранних символистов. Но, к сожалению, я не смог полностью обеспечить его шопеновскими вальсами. Он не то чтобы рассердился, но был опечален и огорчен тем, что я не привез все вальсы, особенно вальс № 9 *As-Dur*, который я так и не сумел раздобыть. Не помогла мне и наспех придуманная, довольно примитивная социологическая теорийка насчет того, что этот вальс по причине его меланхоличности потребляют

¹ Полное собрание сочинений Фредерика Шопена (*фр.*).

в больших дозах дамы, бренчащие на рояле в городах и весях данной местности; он все равно был разочарован, и когда я предложил ему командировать меня в неоккупированную зону Франции, опять-таки обстоятельно разъяснив, что в Марселе, Тулузе и Тулоне наверняка не царит та удушливая тыловая атмосфера, которая превращает вальс № 9 As-Dur в лекарство, пользующееся особым спросом, он лишь криво усмехнулся и сказал:

— Всякое может случиться.

Наверное, он считал, что с неоккупированного юга мне легко будет дезертировать, и решил помешать этому, но вовсе не потому, что желал мне зла (мы с ним ночи напролет сражались в шахматы, ночи напролет беседовали о дезертирстве, и ночи напролет он играл мне Шопена), а, видимо, потому, что боялся, как бы я не натворил глупостей. Я же готов присягнуть, что действительно не намеревался дезертировать там, на юге, правда, по той только причине, что на родине меня ожидала любящая жена, позже — жена и ребенок, а еще позже — только ребенок. Но как бы там ни было, его попытки культивировать мой нистагм несколько ослабли, и спустя несколько дней он спихнул меня главному офтальмологу армейской группы «Запад» «как пациента, представляющего большой научный интерес», — слов этих я ему век не прощу, по-моему, это равносильно самой низкой форме предательства; главный офтальмолог подавил меня своими пышными наплечными украшениями и своим научным весом. Полагаю, что из мести (он, наверное, почувствовал мою антипатию) сей муж два дня подряд вливал мне в глаза какое-то мерзопакостное зелье, из-за которого я не мог ходить в кино. Я видел теперь не далее трех-четырёх метров, а в кино любил сидеть в последних рядах. Все, что находилось за пределами трех-четырёх метров, казалось мне расплывчатым и туманным, и я бегал по Парижу, словно маленький Ганс, потерявший свою преданную сестрицу Гретель. Не годным к службе меня так и не признали, а просто отправили в часть с резолюцией: «Посылать на стрельбища не нужно». После чего мой начальник (прелестное слово, прямо тает во рту!) несколько видоизменил окончание в слове «нужно» и обрек меня на занятие, которое я в какой-то степени уже успел изучить. У солдат-сверхсрочников оно обычно фигурирует под названием «чистить нужники». Сей специальный термин я употребляю не без известных душевных колебаний и исключительно из уважения

к исторической истине и ко всевозможным профессиональным жаргонам. Первые шаги на почетном ассенизационном поприще я сделал три года назад, когда во время упражнений с саперной лопаткой внезапно — раньше я всегда с этим хорошо справлялся — ударил лопаткой по коленной чашечке моего начальника, и на его вопрос насчет моих занятий на гражданке по легкомыслию ответил: мол, был «студентом филологического факультета» — и тут в игру вступила исконная любовь немцев ко всем видам и разновидностям умственного труда, и меня закатали, так сказать, на ассенизационные нивы, дабы «сделать из меня человека».

Словом, я уже знал, как смастерить ковш из старого ведра, палки, проволоки и гвоздей; кроме того, мне были знакомы физические и химические условия моей работы; и вот несколько недель подряд от семи утра до полпервого дня и от половины второго до полшестого я расхаживал по длинной французской деревне, неподалеку от Мерле-Бен, держа в каждой руке по ведру, и унавоживал аккуратные грядки нашего батальонного командира, который до армии был директором сельскохозяйственного училища и решил здесь, во Франции, точно воспроизвести истинно немецкий огород — он посадил капусту, лук, лук-порей, морковь и засеял целое поле кукурузой («для моих курочек»). Самым неприятным в батальонном командире была его привычка «проявлять чуткость во внеслужебное время», то есть подходить к подчиненным и «вступать с ними в беседу». Чтобы не нарушать единства стиля (начальники, проявляющие чуткость, всегда вызывали во мне особое отвращение), а также соблюсти свое достоинство и напомнить ему о его достоинстве, мне всякий раз приходилось жертвовать целым ведром экскрементов; я выплескивал ведро ему под ноги таким манером, чтобы он, чего доброго, не подумал, будто это случилось по неловкости, но и не подчеркивая *слишком* явно, что я делаю это нарочно: ведь моя цель заключалась в том, чтобы сохранить между нами дистанцию. Против батальонного командира как такового я ничего не имел: он был мне глубоко безразличен. Вот и видно, что во всяком, даже самом грязном, деле важно, как себя поставить. Я поставил себя так, что практически сделался для него недосягаем, ибо я постоянно окружал себя зоной из экскрементов. Не моя вина, что у него от отвращения как-то разлилась желчь (в лицо ему попали брызги из ведра); капитану за-

паса, по-моему, *такая* брезгливость не пристала. Любовница командира — дома ему такая роскошь была бы не по карману — числилась в наших батальонных списках как «проходящая службу» судомойка, она без конца потчевала его вальсом № 9 As-Dug, и я подозревал и до сих пор подозреваю, что именно эта дама выхватила у меня из-под носа в Абвиле ноты сего самого вальса и разрушила мои надежды на нистагм. В теплые осенние вечера она иногда разгуливала по деревне вся в лиловом, с хлыстом в руке, в лице ни кровинки — ни дать ни взять госпожа Бовари коллаборационистского толка, не столько распутная, сколько беспутная.

Здесь мой терпеливый читатель может перевести дух. Я несколько уклоняюсь от темы, но не в сторону, а назад, и торжественно возвещаю: ассенизационный вопрос еще не совсем исчерпан, зато с шопеновским уже покончено, во всяком случае, ничего качественно нового я не сообщу, правда, количественно мне еще предстоит кое-что добавить — из соображений композиции. Но вообще этот вопрос больше не будет обсуждаться. А сейчас я в припадке раскаяния бью себя в грудь — в ту самую грудь, количественные показатели которой можно узнать у моего портного, а качественные определить столь трудно... Так вот, мне бы очень хотелось представиться на этих страницах по всем правилам, как положено солдату, проходившему службу; к примеру: политические взгляды — демократ, однако можно ли говорить так о человеке, который не пожелал быть запанибрата с начальством и который, правда с помощью экскрементов, держал его на известном расстоянии? Или возьмем такую графу, как вероисповедание. Тут прямо напрашивается вставить какое-либо из ходких сокращений; выбор невелик, например: еванг., еванг.-лют., еванг.-реф., кат., рим.-кат., ст.-кат., изр., иуд. и т. д. Меня всегда неприятно поражало, что религии, над смыслом которых посвященные и непосвященные бились на протяжении двух тысяч, шести тысяч или по меньшей мере четырехсот лет, разрешают низвести себя до нескольких жалких букв, но даже если бы я хотел воспользоваться этими буквами, мне бы они все равно ничего не дали. И здесь следует сразу же указать на один мой недостаток, который, будучи чуть ли не моим врожденным пороком, принес мне немало неприятностей и вызвал немало недоразумений. Мои родители — люди разной веры —

были такими нежными супругами, что не решились огорчить друг друга, раз и навсегда определив мое вероисповедание (только на похоронах мамы я узнал, что евангелическую церковь в этом браке представляла она). Любящие родители разработали очень сложную систему взаимного уважения — каждый из них по воскресеньям попеременно ходил то в церковь Троицы на Фильценграбене, то в церковь Девы Марии в Лизкирхене; это было, так сказать, верхом терпимости в вопросах веры, причем главным украшением ее являлось то, что каждое третье воскресенье никто из них вообще не ходил в церковь. Мой отец неоднократно уверял, что я христианин, поскольку меня крестили; тем не менее уроки Закона Божьего я никогда не посещал. По сию пору я блуждаю в потемках — хотя мне уже под пятьдесят, и финансовое ведомство считает меня атеистом, так как я не плачу церковного налога. Я с удовольствием стал бы иудеем, чтобы избежать неприятных прочерков в графе «вероисповедание», но отец считает, что перед его смертью, если он откроет тайну своей религии, мне придется отречься от иудаизма, и люди могут истолковать это превратно. Поэтому в частных беседах я охотно называю себя «христианином грядущего», что навлекает на меня несправедливое подозрение, будто я адвентист. Да, в вопросах веры я, так сказать, «чистый лист», человек, приводящий всех в отчаяние; для атеистов — бельмо на глазу, для верующих — «трудный случай», безответственный субъект, который слишком нянчится с памятью покойной матери; ведь в конце концов, как мне недавно заявил один священнослужитель, «терпимость вовсе не богословская категория». Весьма сожалею, ибо в противном случае я был бы очень набожным. Все, что в этой повести касается меня, и не только меня, но и всех других персонажей, я хотел бы изложить не в форме связной записи, а в той форме, в какой составлены альбомы «Раскрась сам», известные всем нам со времен нашего золотого детства: их можно было купить за десять пфеннигов (а в магазине стандартных цен за десять пфеннигов — даже две штуки). Альбом «Раскрась сам» был традиционным подарком не слишком изобретательных, малость скуповатых тетушек и дядюшек, которые считали само собой разумеющимся, что у ребенка уже есть коробочка красок или набор цветных карандашей. В этих альбомах контуры были намечены тонкими линиями, а то и пунктиром, который

можно было превратить в линии. Уже это предоставляло некоторую свободу творчества, а при раскраске свобода и вовсе была *полной*. Фигуру, которая, если судить по слегка намеченным воротнику и тонзуре, изображала священника, вы могли покрыть черной краской, цветом всех церковников, но при желании также и белой краской, коричневой и даже фиолетовой. В верхней части каждой страницы обычно оставалось свободное место, что также способствовало полету фантазии; вы имели право пририсовать священнику любой головной убор — от маленькой шапочки до тиары; наконец, вы могли переделать патера в раввина или же, изобразив брыжи, дать понять, что это священник постреформатского вероисповедания. В крайнем случае можно было взять энциклопедию, раскрыть ее на «Церковном облачении» и точно выяснить, во что следует облачать шею, голову и ноги служителей того или иного культа (например, надеть сандалии на францисканца). И потом, разумеется, вы могли вообще игнорировать «священника» — благо, он был намечен скупыми штрихами — и изобразить вместо него крестьянина, пекаря, пивовара или даже императора, хироманта, а то и клоуна. Кондуктора — пунктир, штрихи и компостер — довольно-таки топорное изображение — можно было сделать трамвайным, железнодорожным или автобусным. Ну, а если бы кто пожелал (в печатной инструкции это отнюдь не возбранялось), он мог несколькими смелыми штрихами превратить кондукторский компостер в потухшую трубку или же пририсовать трость, а компостер переделать в набалдашник, и вот уже перед ним оказался бы музейный служитель, сторож или старый вояка, который бодро чеканит шаг на встрече ветеранов. Что касается меня, то я всюю использовал предоставленную мне свободу и, к ужасу моей матушки, превращал явных поваров в хирургов; разливательные ложки я переделывал в скальпели, а лица поваров расширял с тем расчетом, чтобы их колпаки казались пониже. С женскими фигурами я обращался еще более вольно — самое легкое, как известно, рисовать решетки, — поэтому всех женщин без разбора я делал монахинями за решеткой; отец, правда, принимал иногда моих монахинь за одалисок в гареме.

Всякий поймет, что несколько штрихов, умело дополненных пунктиром, который придает штрихам определенную целенаправленность, предоставляют куда большую свободу, нежели столь вожаделенная абсолютная

свобода творчества, где все зависит от фантазии индивидуума, а ведь индивидууму зачастую ничего не приходит в голову, равным счетом ничего, да и пустой лист бумаги ввергает его в такое же отчаяние, как свободный вечер, когда вдруг испортился телевизор.

Этот пассаж прощания с вымирающим искусством «Раскрась сам» — слезы и прочувствованные слова — служит не только для того, чтобы отвлечь внимание от моей персоны. С тех пор как наши дети научились малевать на чистых листах бумаги картины, годные для выставок, и в четырнадцать лет рассуждать о Кафке, иные полотна взрослых стали просто невыносимы, так же как и иные рассуждения взрослых о литературе. Невинная овечка, если она и впрямь невинна и умеет толковать улыбку авгуров, еще способна накануне заклания оригинально и со смыслом распорядиться своим нутром, предварительно наглотавшись булавок, иголок, скрепок, партийных и прочих значков или же квитанций об уплате церковного налога, в то время как овечка, потерявшая невинность и дар разгадывать улыбку авгуров, просто выворачивает свои внутренности, и мы видим их такими, какие они есть на самом деле: жалкие кишки, а по ним никак нельзя предсказать будущее. Итак, я предлагаю читателю всего несколько штрихов и точек, пусть он использует их на манер картинки из детского альбома, чтобы украсить мою небольшую повесть, которая является не чем иным, как возведенной, но еще не расписанной часовней; на голых стенах этой часовни он может изобразить все, что ему угодно, использовать фреску, сграффито или мозаику.

Передний и задний планы я оставляю совершенно пустыми: тут есть место для предостерегающе поднятых пальцев, заломленных от возмущения или от отчаяния рук, для укоризненно покачивающихся голов, для губ, поджатых со старческой мудростью и строгостью, для нахмуренных лбов, для зажатых носов, для лопнувших воротничков (воротнички могут быть с галстуками и без оных, их заменяют также брыжи духовных лиц и т. д.), для виттовой пляски и пены на губах, а то и для печеночных и почечных камней, появлению которых я, возможно, способствовал.

Подобно прижимистому дядюшке или скуповатой тетушке, я предполагаю, что у читателя уже есть коробка красок или набор цветных карандашей. А тот, у кого под руками окажется всего лишь черный карандаш, черниль-

ница или тушь на донышке пузырька, пусть испробует свои силы в монохромной живописи.

Если же кто-нибудь останется недоволен тем, что в повести нет второго, третьего и четвертого планов, я могу предложить ему взамен разные исторические пласты: пыль веков, которую каждый получает совершенно задаром, и хлам истории, который стоит и того меньше. Разрешаю также удлинить на картинке мои ноги или же сунуть мне в руку археологическую лопатку, тогда я сумею извлечь на свет божий что-нибудь забавное: например, браслетку Агриппины, которую сия матрона, напившись, потеряла в драке с пьяными матросами римско-рейнского флота как раз в том месте, где стоял (и вновь стоит) мой отчий дом, либо башмак Святой Урсулы, а быть может, пуговицу от пальто генерала де Голля, вырванную с мясом восторженной толпой, а потом проникшую по каналам новейшего происхождения в более интересные исторические пласты. Лично я уже раскопал кое-что весьма стоящее: рукоятку меча Германика — он обронил ее в ту минуту, когда с излишней горячностью, пожалуй даже нервно (чтобы не сказать — истерично), схватился за ножны, дабы показать ропщущей толпе римско-германских мятежников меч, который так часто вел их к победам; и еще отлично сохранившуюся белокурую истинно германскую прядь волос — без малейшего труда я установил, что в свое время она украшала голову Тумелика; кое-какие вещицы я вообще не называю, чтобы не возбуждать у туристов зависти и охотничье-археологических инстинктов.

Но больше мы уже не отклонимся от темы ни назад, ни в сторону, а прямым путем двинемся к цели, наконец-то подойдем к чему-то реальному, а именно к Кёльну. Гигантское наследие, грандиозный исторический багаж (действительно грандиозный, если исходить из его объема). Однако прежде чем завязнуть в тине истории, скажем то, что говорят матросы: «Корабль к бою!» Стоит мне только упомянуть, что Калигула именно здесь нарочно провоцировал стычки с врагами — тенктерами и сиграмбрами, — чтобы упрочить свою раздутую и дутую славу, как мы уже пускаемся в дальнейшее плавание без всякой надежды достичь берегов. А если бы я захотел проникнуть в пласт Калигулы — четвертый снизу, мне пришлось бы полностью снять позднейшие напластования, примерно двенадцать по счету, и тут я обнаружил бы, что даже самый верхний слой совершенно забит

исторической дребеденью: кусками цемента, обломками мебели, человеческими скелетами, солдатскими касками, коробками от противогазов и пряжками от солдатских ремней, что это только слегка утоптанно, слегка утрамбовано, не говоря уже обо всем прочем; и как бы я мог объяснить молодому поколению, что означает надпись на пряжке: «С нами Бог»? Раз уж я признал, что родился в Кёльне (обстоятельство, которое заставит в отчаянии заломить руки всех правых, левых, срединных и грегорианских католиков, рейнских и прочих протестантов, равно как и доктринеров любых мастей, а следственно, почти всех без исключения), то почему бы мне еще не создать дополнительно почву для всякого рода недомолвок и недоразумений; с этой целью я предлагаю как место моего рождения по меньшей мере четыре улицы на выбор: Рейнауштрассе, Гроссе Вичгассе, Фильценграбен и Рейнгассе,— и пусть каждый, кто подумает, будто я помещаю свой отчий дом в рискованной близости к тем обителям, где Ницше в свое время потерпел фиаско, а более поздний философ имел успех, пусть он знает, что на этих улицах не занимались и не занимаются ремеслом, каковое пьяные римские матросы приписали Агриппине, и если после этого ищейки от археологии возьмутся за дело, чтобы установить, где Агриппина действительно дралась с матросами, где Тумелик действительно причалил к берегу, а Германик произнес свою знаменитую речь, я попытаюсь еще усилить всеобщую неразбериху: когда в моей коллекции найдут шкатулку из слоновой кости и спросят, чьи волосы в ней хранятся, я заявлю, что эта прядь украшала голову одного из натурщиков Лохнера или голову Святого Энгельберта; такого рода путаница весьма обычна и привычна в городах, где много паломников.

На вопрос о моей национальности я без обиняков отвечаю: иудей-германец-христианин. Промежуточное звено этой триады можно без ущерба заменить названием какой-либо из многочисленных народностей, населяющих Кёльн, чистой или смешанной, например чистокровный самоед, или помесь шведа с самоедом, или гибрид словака с итальянцем; но от первого и от последнего звеньев триады — «иудей-христианин», которые, так сказать, скрепляют мою помесь, я отказаться не могу, поскольку человек, который не соответствует ни одной из трех перечисленных здесь категорий или соответствует только одной (например, помесь славянина с германцем),

«годен к службе» и должен тотчас явиться с повесткой на призывной пункт. Условия явки известны: быть чисто вымытым и готовым в любую минуту раздеться донага.

II

Итак, мы покончили с внутренним содержанием моей персоны и можем немедленно перейти к внешним данным: рост 1 м 78 см, масть — темно-русая. Вес — в пределах нормы. Особые приметы — легкая хромота (как результат ранения тазобедренного сустава).

22 сентября 1938 года, примерно без четверти полудни, когда я сидел в седьмой номер трамвая у Кёльнского главного вокзала, на мне была белая рубашка и серо-зеленые штаны; увидев их, каждый посвященный сразу понял бы (тогда), что это солдатские штаны. Человек, находившийся на некотором расстоянии и, следовательно, не ощущавший запаха, который от меня исходил, счел бы, что я имею «вполне приличный» вид. Но люди, знавшие меня, были бы поражены (ибо всем, кто меня знал, известно, что от моего прапрадедушки со стороны отца, родом из деревни близ Немвегена, я унаследовал мизофобию — манию мытья рук; таким образом, я сообщаю еще одну мою особенность, которая могла бы завести нас очень далеко), — так вот, всех знавших меня, наверное, очень удивили бы и даже умилили мои руки с трауром под ногтями. Что касается грязных ногтей, то у меня есть на это исчерпывающее объяснение: в том идейно-казарменном сообществе, чью форму я, собственно, должен был бы носить (как только поезд отошел, я сбросил в туалете и упрятал в чемодан все ее составные части, за исключением штанов, которые не снял из соображений благопристойности, и башмаков, которые оставил из соображений целесообразности), — в этом казарменном сообществе я в совершенстве усвоил одно правило: быстро чистить ногти вилкой перед тем, как их проверяет начальство, то есть за обедом. Но тот день я почти целиком провел в поезде (денег на вагон-ресторан не было, а следовательно, не было и вилки для чистки ногтей) и поэтому, несмотря на сравнительно поздний час, разгуливал по дорогам истории с грязными ногтями. Еще и сейчас, четверть века спустя, сидя за праздничным или за обычным столом, я с трудом удерживаюсь от того, чтобы

быстренько не почистить себе ногти вилкой; кельнеры нередко мечут на меня грозные взгляды, принимая меня за голодранца, а бывает, смотрят с уважением, принимая за сноба. Сообщая читателям об этой моей привычке, я хочу указать на то, какой неизгладимый след оставляет в человеке военная муштра. Если ваши дети садятся за стол с грязными ногтями, незамедлительно посылайте их на освидетельствование, а затем сразу в казарму. Довожу до сведения читателя, которого, быть может, затошнит или у которого, упаси бог, возникнут какие-либо сомнения гигиенического свойства, что мы в нашем казарменном сообществе не только вытирали затем вилки о штаны, но и споласкивали их в горячем супе. Время от времени, когда я остаюсь один — что случается не так уж часто, — то есть когда меня не опекает и не контролирует теща или внучка и когда я закусываю не в обществе деловых людей, а сам по себе, на открытой веранде рейхардовского кафе, я машинально хватаю вилку и чищу ногти. На днях один турист-итальянец за соседним столиком спросил меня: не является ли это исконно немецким обычаем, на что я без колебаний ответил: да. Более того, я указал ему на Тацита и на термин, известный еще со времен итальянского Возрождения: «forcalismo teutonico». Турист тотчас же, разумеется, записал это, переврав, в свой путевой блокнот и шепотом переспросил: «Forcalismo teutonico?» Я оставил его в этом приятном заблуждении, ведь слова «forcalismo teutonico» — «формальная тавтология» звучали очень красиво, почти как «тевтонский формализм».

Итак, если не считать грязных ногтей, вид у меня был вполне пристойный. Даже башмаки надраены до блеска. Правда, не моей рукой (я до сих пор упорно уклоняюсь от этого дела), а рукой моего однополчанина, который не знал, как отблагодарить меня за оказанные ему услуги. Из чувства такта он не решался предложить мне ни деньги, ни табак, ни прочие материальные блага; мой товарищ был неграмотный, и я писал за него пылкие письма двум девицам в Кёльне, которые обитали хоть и недалеко от моего отчего дома (всего за два или за семь кварталов), но вращались в совершенно незнакомой мне среде (как раз в той, с которой связывали Агриппину, в той, где Ницше так не повезло, а более позднему философу так повезло). Мой сотоварищ по фамилии Шменц, сутенер по профессии, в порыве необузданной

благодарности набрасывался на мои башмаки и сапоги, стирал мне рубашки и носки, пришивал пуговицы и утюжил штаны, ибо пылкие письма приводили адресаток в восторг. Письма эти были на редкость благородные, несколько таинственные и стилизованные под «жестокий романс», что ценилось в той среде почти наравне с перманентом. Как-то раз Шменц отдал мне даже половину своего пудинга с патокой — блюдо это скрашивало наши воскресные дни, долгое время я считал, что он не любит пудинга с патокой (я не встречал людей, более привередливых, чем сутенеры), пока не убедился, что именно пудинг с патокой — один из его любимейших десертов. Вскоре пошла молва, как пылко я пишу, и мне волей-неволей — скорее неволей — пришлось писать множество писем. Так я стал если не присяжным писателем, то присяжным писцом. В качестве гонорара я получал довольно-таки своеобразные привилегии: у меня больше *не* воровали табак из тумбочки и мясо из миски, меня больше *не* сталкивали во время утренней зарядки в сточные каналы, мне больше *не* подставляли ножку во время ночных переходов, — словом, я имел все те льготы, какие только возможны в подобных сообществах. Позднее многие мои друзья — марксисты и немарксисты — упрекали меня в том, что, сочиняя любовные письма, я действовал неправильно. Моим долгом было, «используя любовный жар, накопившийся у этих неграмотных людей, повлиять на их мировосприятие, быть может, даже поднять на мятеж»; кроме того, как человек честный, я обязан был каждое утро барахтаться в сточных канавах. Каюсь, я действительно не проявил достойной сознательности и был непоследователен по двум совершенно разным причинам: первая из них коренится в моем врожденном пороке, вторая в моем дурном воспитании — я человек вежливый и боюсь мордобоя. Мне и впрямь было бы приятнее, если бы Шменц не чистил моих сапог, а все остальные продолжали бы сталкивать меня в сточные каналы и за завтраком окунать мою папиросную бумагу в кофе, но я просто не мог набраться невежливости и смелости, чтобы отказаться от этих привилегий. Да, я клянусь себя, признаю виновным без смягчающих обстоятельств; теперь, быть может, люди, которые уже приготовились в отчаянии заломить руки, опустят их; нахмуренные лбы разглядятся, и кто-нибудь сотрет пену с губ. Торжественно обещаю, что в конце этой повести я во всем сознаюсь,

преподнесу готовую мораль, а также дам истолкование вышесказанного, что избавит от вздохов и сомнений целую толпу толкователей — от гимназистов до профессиональных интерпретаторов на архиученых семинарах. Истолкование мое будет настолько просто, что даже самый немудрящий, самый неискушенный читатель сможет «проглотить его, не разжевывая», оно будет гораздо проще, чем инструкция по заполнению бланка для уплаты подоходного налога. Терпение, терпение. До конца еще далеко! Признаю сразу, что в нашем свободном и плюралистском индустриальном мире я предпочитаю всем остальным свободного чистильщика сапог, гордо отвергающего чаевые.

Ну, а теперь оставим на несколько минут мою особу, мои грязные ногти и начищенные до блеска башмаки в седьмом номере трамвая. Семерка, уютно и старомодно покачиваясь (современные трамваи стали прямо-таки автоматами для водворения и выдворения пассажиров), проезжает мимо восточного крыла собора, заворачивает в Унтер Ташенмахер, едет к Альтермаркту и уже приближается к Сенному рынку, но только у Мальцмюле или самое позднее на повороте к Мальбюхелю, где я обычно соскакиваю на ходу, придется принять важное решение: пойти ли вначале домой, чтобы помочь отцу (или родителям; папина телеграмма: «Мать скончалась», которой я был обязан временным освобождением от моего идейно-казарменного сообщества, вполне могла оказаться блефом — ради меня мама была способна даже притвориться мертвой), или же доехать до Перленграбена, чтобы сперва посетить Бехтольдов. Оставим этот вопрос без ответа, пока трамвай не доберется до Мальцмюле, а сами вернемся на ассенизационные нивы, где я познакомился с Энгельбертом Бехтольдом, который в дальнейшем будет именоваться, как и все кельнские Энгельберты, просто Ангелом¹. Так его звали дома, в казарме, так его звал я, таковым он был по внешнему виду.

Во исполнение заветной мечты моего начальника «сделать из меня человека», того самого начальника, которого я ткнул во время учения саперной лопаткой в подколенную впадину (и притом ткнул не намеренно, в чем меня упрекают мои друзья — марксисты и немарксисты, — и это мое признание повергнет их всех в ужас — а исключительно повинаясь воле Провидения),

¹ Der Engel (нем.) — ангел.

так вот, во исполнение заветной мечты моего начальника меня во мгновение ока укатили в те райские кущи, где Ангел — в нашей части личность почти легендарная — уже три месяца, не разгибая спины и с несгибаемой волей, выполнял самую разнообразную черную работу: ежедневно чистил громадную выгребную яму, не имевшую стока для нечистот (от цифровых данных я избавляю и себя и читателя), наливал помои в корыта для свиней, чистил и топил печи наших предводителей, носил для них уголь, устранял следы их пиршеств (главным образом, блевотину, состоявшую из смеси пива и ликера с винегретом) и без конца перебирал наши почти неисчерпаемые картофельные запасы в погребе — выбрасывал гнилую картошку, чтобы гниль не распространялась дальше.

Стоило мне очутиться рядом с Ангелом, как я понял, что не моя воля и уж тем более не какая-то дурацкая «закономерность» или злоба моего предводителя, а божественное Провидение привело меня именно сюда, чтобы «сделать человеком». Увидев Ангела, я понял также, что, коль скоро такой Ангел оказался на службе, он должен был чистить нужники, для меня просто честь составлять ему компанию и заниматься тем же.

В казарменных сообществах воистину «становятся людьми» не те, кому даются льготы, а как раз те, кому достаются тяготы. (Терпение! Я прекрасно знаю, что тяготы могут обернуться льготами, и потому всегда настороже!) Например, моя шопеновская служебная командировка до сих пор представляется мне в известной степени пятном, которое можно извинить разве что моей относительной молодостью — мне тогда было двадцать два. Другие льготы (не «тяготы на выворот», а истинные льготы) я не рассматриваю как пятна — к примеру, то обстоятельство, что, будучи батальонным поставщиком угля — отсюда явствует, что я таскал не только ведра с экскрементами, — я вел с настоятельницей монастыря бенедиктинок близ Руана сложнейшие переговоры, сильно затянувшиеся по причине взаимного влечения, но самого возвышенного влечения. Мы ежедневно беседовали по несколько часов, сговариваясь об одном дельце (попутно я должен был рассеивать ее страхи, убеждая, что не донесу на нее): в обмен на хороший уголь, который срочно требовался настоятельнице для прачечной, она должна была разрешить мне принимать два раза в неделю ванну. Обе договаривающи-

еся стороны дошли прямо-таки до высшей математики в дипломатии и взаимном влечении в духе Паскаля и Пеги Шарля. Хотя монашки догадывались, что с моим вероисповеданием не все благополучно, они приглашали меня на праздничную мессу в день Вознесения Богородицы, а после потчевали чаем с песочными пирожными (настоятельница знала, что я терпеть не могу кофе). Я отблагодарил монахинь по-рыцарски, презентовав лишние полцентнера угля и три офицерских белоснежных носовых платка, которые собственноручно стянул — чем особенно горжусь — на вещевом складе немецких вооруженных сил, а потом дал одной парализованной учительнице, и она за мой счет вышила на них слова: «Нет лучше друга, чем несправедливый Маммона. *Votre ami allemand*»¹. Чтобы не усложнять излишне эту повесть, мне не хотелось бы перечислять многие другие, а уж тем паче все без исключения льготы, которых я удостоился: так, скажем, в одной лавчонке тканей в Яссах на редкость красивая румынская еврейка поцеловала меня в обе щеки, в губы и в лоб, пробормотав на жаргоне странные слова: «За то, что вы принадлежите к такому несчастному народу»; этот случай имел и свою предысторию, и свое продолжение; я рассказываю его с середины, ибо все остальное слишком сложно объяснить. А уж о венгерском полковнике, который помог мне подделать одну справку, я и вовсе не хочу упоминать.

Давайте еще раза два слегка отклонимся от темы: вначале вернемся назад к седьмому номеру трамвая, который только-только проехал Мальцмюле и, жалобно позванивая, приближается к Мюленбаху, откуда потащится в гору, к Вайдмаркту, а потом снова обратится к ассенизационному кварталу нашего поселения, где я внезапно очутился рядом с Ангелом, который, сидя на выступе стены между кухней, лазаретом и отхожим местом, поедал свой завтрак: ломоть черствого хлеба, самокрутку и кружку суррогатного кофе. В эту минуту он напоминал подметальщиков улиц в моем родном городе; я всегда восхищался и всегда завидовал той благородной манере, с какой они вкушали свой завтрак на ступеньках памятника, изображающего атлетов, тянущих канат. Ангел, подобно всем ангелам на полотнах Лохнера, был светловолосый, скорее даже златоволосый, маленького роста, довольно неуклюжий, и хотя лицо его

¹ Ваш немецкий друг (фр.).

было абсолютно лишено классических черт — приплюснутый нос, слишком маленький рот и почти подозрительно высокий лоб, — он прямо-таки переворачивал вам всю душу. В темных глазах Ангела не было и тени меланхолии. Когда я появился, он сказал «привет» и кивнул мне так, словно мы уже лет четыреста назад сговорились об этой встрече и я просто чуть-чуть опоздал, а потом, не отнимая кружку ото рта, вскользь заметил:

— Тебе бы следовало жениться на моей сестре. — После этого он поставил кружку на выступ стены и продолжал: — Она красивая, хотя похожа на меня, ее зовут Хильдегард.

Я молчал: ведь человеку, внемлющему гласу и повелению ангела, не остается ничего иного, как молчать.

Ангел загасил свою самокрутку о стену, сунул чинарик в карман, поднял с земли пустые ведра и начал давать мне указания делового характера о предстоящей работе; в основном они касались некоторых деталей из области физики: вместительности ведер в килограммах, грузоподъемности палки, на которой висели ведра. Потом он добавил еще несколько разъяснений химического свойства, но воздержался от всяких гигиенических замечаний, поскольку над отхожим местом красовался большой плакат: «Коль сюда вошел перед едой, руки тщательно помой». Как мы видим, родитель, отправляющий своего сына на военную службу, может не опасаться: там ничего не упустят. К этому еще следует добавить, что в столовой нашей части висел плакат: «Труд делает свободным»; стало быть, начальство позаботилось обо всем — и о лирике и о мировоззрении.

Всего лишь две недели я занимался вместе с Ангелом той деятельностью, которая и по сей день дает мне возможность во всякое время заработать кусок хлеба в качестве ассенизатора или сортировщика картофеля. Никогда в жизни я не видел столько картошки сразу, как в те дни в подвале под нашей кухней: пробиваясь сквозь крохотные оконца, тусклый дневной свет освещал коричневатую картофельную гору, и казалось, она дышит, подобно пузырящейся трясине; сладковатый алкогольный дух наполнял все помещение, когда мы, отобрав целую грудку гнилого картофеля, складывали его, чтобы поднять наверх. Позитивная часть нашей программы состояла в том, что мы наполняли драгоценными овощами ведра (во имя спокойствия мамаш разъясняю, что это были *другие* ведра), уносили их на кухню и ссыпали

в заранее приготовленные чаны для ежевечерней коллективной чистки картофеля. После того как несколько ведер уже было внесено на кухню, нам давали команду, которую наш шеф-повар (один из немногих субъектов в этом казарменном сообществе, не имевший судимости) называл командой «на брюхе вперде»; это означало, что мы должны были броситься ничком на липкий пол, а потом ползать на животе вокруг гигантской плиты; при этом нам разрешалось поднимать голову лишь настолько, чтобы не ободрать лицо о пол. Передвигаться можно было исключительно с помощью носков ног, если же мы упирались в пол руками или коленками, а не то и вовсе замирали в изнеможении, то нас наказывали — заставляли петь по команде: «Эй, запевай, запевай что-нибудь веселенькое!»; до сего дня не знаю, чем можно объяснить — просто ли интуицией или родством душ Ангела и моею, — во всяком случае, я в первый же раз затянул песню, которая, видимо, была коронным номером в репертуаре Ангела: «Германия, Германия превыше всего». Таким образом, мы видим, что в процессе «делания человек» начальство не пренебрегало и патриотическими струнами нашей души: отцы, которые боятся, что их отпрыски могут, не дай бог, забыть свою принадлежность к немецкой нации, незамедлительно должны, как уже было сказано на странице 491, отправить их на военную службу и желать им по возможности самой суровой муштры. Во время пения я с присущим мне педантизмом размышлял, действительно ли можно называть песню, которую мы пели, «веселенькой». Впрочем, описанный здесь метод — это я сообщаю авансом для будущих толкователей — является самым лучшим, самым действенным методом для успешного вбивания в голову подрастающему поколению того, какой оно национальности и какое подданство имеет. Рекомендую сей метод швейцарцам, французам и другим народам. Не каждому ведь дано вкусить поцелуй от красивой еврейской девушки в румынской лавчонке.

Никого не удивит, если я скажу, что мы были очень измучены и не могли поэтому петь по-настоящему, с тем совершенством, с каким поют в певческих ферейнах. Лежа на липком кафельном полу, мы невнятно бормотали незабвенные и незабытые слова гимна. Ну, а потом мне — именно мне! — запретили петь этот германский гимн; однажды наш обер-предводитель — он же командир части — разыскал меня в картофельном погребе и,

наорав за то, что у меня не оказалось свидетельства о крещении, неожиданно — так ли уж это было необоснованно, до сегодняшнего дня не знаю, дело темное — обозвал меня «жидом пархатым», а сие ругательство я всегда воспринимаю как своеобразный обряд не то крещения, не то обрезания. С тех пор мне не разрешалось петь немецкий гимн, и вместо этого я пел «Лорелею».

Никого не удивит также, если я скажу, что мы почти не разговаривали больше с Ангелом, тем паче о Хильдегард. Чаще всего мы уже около половины десятого утра были так измучены, что с трудом справлялись с нашими многообразными обязанностями — нас шатало и тошнило от усталости и отвращения. Объяснялись мы только знаками: кивали и качали головой. А рвоты, головные боли и крайняя усталость яснее ясного показывали — не надо опасаться, что наши тяготы обратятся в льготы. Когда Ангел — отчасти виновато, отчасти упрямо — пожимал плечами, я знал, что он хочет сесть на груды картофельных мешков, чтобы помолиться. («Я обещал маме», — говорил он извиняющимся тоном.)

Разумеется, и в этом нашем казарменном сообществе существовала «чуткость во внеслужебное время» и даже вариант оной — «чуткость в служебное время»; представлял и претворял ее в жизнь некий молодой предводитель, лютеранин с благородной внешностью, бывший студент богословского факультета, который иногда подходил к нам, чтобы «вступить в беседу». Для него я всегда держал наготове специальную смесь из гнилого картофеля и экскрементов, которую в нужный момент выливал рядом с собой; зато преисполненный христианского смирения Ангел и впрямь «вступал с ним в беседу»; раза два за те четырнадцать дней он минуты по три принимал подаяние в виде слов: «необходимость», «всемогущий дух», «судьба» — будто робкий нищий, принимающий в качестве милостыни черствую горбушку.

Тем временем семерка уже подъезжает к Вайдмаркту, и я думаю только о Хильдегард Бехтольд. За последние две недели я не раз собирался написать ей и с места в карьер «попросить ее руки» (другого, лучшего выражения для данной ситуации я не знал тогда и не знаю по сию пору), но как раз в те дни меня особенно осаждали и мне особенно досаждали и угрожали ежевечерние клиенты, ибо стиль моих писем казался им все же чересчур заумным. Грубые нежности, которые мои кли-

енты желали высказать своим партнершам (первичные и вторичные половые признаки употреблялись во всевозможных сочетаниях, а эти сочетания, в свою очередь, перемежались названиями других частей тела), я научился переводить в иную, более возвышенную плоскость и выработал настолько изысканно-туманный стиль, что и сейчас еще могу писать письма от любого лица мужского пола любому лицу женского пола так, что они пройдут любую цензуру; все в них будет сказано и ничего не написано. Стало быть, я всегда могу заработать свой кусок хлеба и как сочинитель писем. А поскольку я люблю писать самыми черными чернилами или самым мягким карандашом на самой белой бумаге, то считаю эту свою специальность той привилегией, которой не следует стыдиться.

На Вайдмаркте мое беспокойство перешло прямо-таки в нервозность; еще минута — и я сойду на Перленграбене. Решение принято. (Мама умерла, и я это знал.) Но поскольку даже здесь, на площадке седьмого номера трамвая, запах экскрементов образовал вокруг меня зону отчуждения, и я был как бы заключен в башню из слоновой кости, так называемый внешний мир воспринимался мною несколько нереально и нечетко (а может, и четко), как он воспринимается сквозь тюремную решетку. Штурмовик (и как только человек может надеть такую форму!), господин с шелковым галстуком, явно принадлежавший к образованному сословию, молоденькая девушка, которая своими детскими пальцами вынимала из бумажного пакета виноградины, и кондукторша — ее молодое грубоватое лицо казалось красивым благодаря выражению неприкрытой чувственности, отличавшему в свое время лица всех кельнских кондукторш, — все они шарахались от меня, как от прокаженного. Я прошел к передней площадке, соскочил с трамвая и помчался по Перленграбену; три минуты спустя я уже подымался по лестнице на четвертый этаж доходного дома. Толкователю, который гонится за истиной, я советую начертить полукруг западнее Зеверинштрассе с радиусом в три минуты, установив ножку циркуля на трамвайной остановке Перленграбен, а потом выбрать себе одну из улиц в этом полукруге; чтобы точнее определить радиус, мне следовало бы сообщить мою скорость: предлагаю нечто среднее между скоростью Джесси Оуэнса и скоростью бегуна-любителя, добившегося неплохих результатов. Меня ничуть не удиви-

ло, когда я увидел над дверью квартиры Бехтольдов надпись: «Глядите на него. На кого? Се жених грядет! Как грядет? Как Агнец!» Не успел я нажать на кнопку звонка — говорить об этом излишне, но для верности все же скажу, — как Хильдегард уже отворила дверь, упала в мои объятия, и вся вонь вокруг меня исчезла.

III

Изобразить на этих страницах хотя бы несколькими штрихами силу нашей любви, а тем паче проанализировать ее, не входит в мои намерения и выходит за рамки моих возможностей. Одно ясно: то не была любовь с первого взгляда. Только час спустя, когда я уже прошел обряд посвящения, неминуемый в бехтольдовском клане, выпил свой жениховский кофе и наполовину изничтожил жениховский пирог, у меня впервые появилась возможность как следует разглядеть Хильдегард. Она была куда красивее, чем это позволяло предположить ее сходство с Ангелом; и я вздохнул с облегчением. Хотя я любил ее вот уже две недели, мне было приятно, что она оказалась еще красивее. Боюсь, если я сообщу теперь, что с той поры мы с Хильдегард как можно чаще, хотя и недостаточно часто, заключали друг друга в объятия, и напомним, что приписываю это божественному Провидению, которое заставило меня в ту секунду, когда раздалась команда «лопату к ноге», позабыть внезапно всю прошлую выучку, это наведет заботливых папаш на мысль посылать своих сыновей «на службу» не только из воспитательных соображений, но и с той целью, чтобы они, пусть окольными путями, неправильно исполнив команду «ружье к ноге» (саперных лопаток сейчас уже не водится), заполучили себе такую милую, умную и красивую жену, какую заполучил я. Я хотел бы предостеречь от этого, сославшись на сказку «Метелица» (и на другие аналогичные сказки), в которой говорится, что человек, совершающий добрые поступки без заранее обдуманного намерения, пожинает куда более богатые плоды, нежели человек, подражающий ему и совершающий добрые поступки с заранее обдуманным намерением; еще раз торжественно клянусь, что я делал все не преднамеренно. (Тут я оставляю в альбоме «Раскрась сам» несколько чистых страниц, а злыдни пусть скрежещут зубами, ведь, одержимые своими черными замыслами, они не желают верить, что божественное Провидение

может привести к чему-то хорошему и того, у кого нет никаких замыслов.) Разумеется, мне не дано постичь все намерения Провидения, но *одно* из них, безусловно, состояло в том, чтобы обеспечить семейство Бехтольдов кофе не только в военные годы, но и во все последующие времена (отец мой занимался оптовой торговлей кофе и передал мне свое дело).

Другая побочная цель состояла в том, чтобы продемонстрировать мне с помощью моих двух шуринов то безумие двадцатилетних, о котором я не имел понятия до 22 сентября 1938 года (буржуазная семья, аттестат зрелости, один семестр у Бертрама, в национал-социалистской партии и в прочих нацистских организациях не состоял). Далее. Провидение, возможно, позаботилось и о том, чтобы подыскать мне, когда я потерял маму, хорошую тещу, которая любила бы меня, как родная мать (моя теща не только готова была притвориться ради меня мертвой, она пошла еще дальше, что соответствовало ее крутому характеру, — с большим трудом пробилась к большому военному начальнику и обозвала его «законченным кретином», потому что он не желал продлить мне увольнительную, когда моя дочурка заболела скарлатиной). И наконец, еще одна цель: предоставить моему папаше, в лице старого Бехтольда, собеседника на всю жизнь, с которым он мог бы ругательно ругать нацистов, а также обеспечить младшего брата Ангела — Иоганна, который был заядлым курильщиком, моим табачным пайком на все то время, что табак выдавался по талонам (стало быть, почти на одиннадцать лет). Возможно также, божественное Провидение замыслило сбалансировать экономическое положение двух семей: у нас были деньги, у Бехтольдов их не было. В отношении кофе мне, во всяком случае, все абсолютно ясно: ни одному семейству не пришлось бы так туго с кофе во времена, какие вскоре наступили, как Бехтольдам. При каждом удобном случае каждый из членов этой семьи вопрошал: «А не сварить ли мне кофейку?» — хотя можно было не сомневаться, что уже до этого на стол раза четыре или пять ставили кофейник. Позднее, когда война действительно разразилась, я дважды крупно просчитался: во-первых, снизил потребление кофе в бехтольдовской семье с двухсот фунтов до семидесяти пяти ежегодно и установил продолжительность войны в семь лет, не знаю по какой причине — то ли из пессимизма, то ли из мистической приверженности к числу

«семь», — как бы то ни было, я заставил отца спрятать на складе соответствующее количество кофе в зернах. А вторых, вдолбил в голову теще, что кофе необходимо экономить, и напугал ее картиной бескофейной эпохи, какая грозит наступить, если теща не будет достаточно экономной.

IV

Прежде чем продолжить свой рассказ, я хочу заверить, что ассенизационная тема исчерпана так же, как на странице 485 была исчерпана шопеновская. Я собираюсь покончить также с описанием воспитательных мероприятий в военных организациях. У читателя легко может возникнуть подозрение, будто эта повесть написана с антимилитаристских позиций или даже с позиций борьбы за разоружение — иначе говоря, враждебных вооружению. Нет, нет, дело идет о более высоких материях, — ведь каждый непредвзятый читатель давно уже это понял — о любви и невинности. Не моя вина, если обстоятельства сложились так, что детали, с помощью коих я пытаюсь изобразить любовь и невинность, вынуждают меня описывать известные учреждения, установления и порождения; это вина судьбы, на которую каждый может роптать, сколько его душе угодно. Разве я виноват, что пишу по-немецки, что в погребке немецкого казарменного сообщества его предводитель обругал меня «жидом» и что в задней комнате нищей румынской лавчонки красивая еврейка подарила мне поцелуй только потому, что я немец? Родись я в Баллахулише, я писал бы самыми черными чернилами или самым мягким карандашом на самой белой бумаге о любви и о невинности с совершенно иными реалиями и деталями. Я воспел бы собак, лошадей и ослов, воспел бы милых дев, которых целовал после танцев у живой изгороди, обещая то, что собирался исполнить, но потом не исполнил, — соединить с ними свою судьбу. Рассказал бы о лугах и болотах, о ветре, который воеет в торфяных ямах, о заливающей темные торфяные ямы воде, которая вздымается так, как вздымалась черная шерстяная юбка девы, той самой, что хотела утопиться, ибо юноша, целовавший ее и обещавший назвать своей женой, стал священником и покинул родные края. Я бы исписывал страницу за страницей, чтобы воздать хвалу собакам из Дингуолла; эти умные и верные животные — чистокров-

ные, как все дворняжки, — уже давно заслужили памятник хотя бы на бумаге. Но от себя не уйдешь, и я снова чиню карандаш — не для того, чтобы нарочно сообщить нечто безрадостное, а для того, чтобы сообщить, как все было, — и мы волей-неволей, вздохнув, возвращаемся в Кёльн, на улицу, которую можно обнаружить западнее Перленграбена, в трех минутах ходьбы от трамвайной остановки, если эту улицу вообще можно обнаружить. О нет, земля ее не поглотила! Ее смело, стерло с лица земли, и чтобы в альбоме «Раскрась сам» эта страница не осталась совершенно пустой и, таким образом, не возникло бы путаницы, я сообщу несколько мелких примет этой улицы: табачная лавка, меховой магазин, школа и много-много светло-желтых домов, домов почти такого же цвета, какие я видел в Пльзене, но не таких высоких. Рекомендую дотошным и одаренным читателям нарисовать три экскаватора: на одном из них будет болтаться меховой магазин, на втором — табачная лавка, на третьем — школа, а в качестве эпиграфа для этой страницы я предлагаю слова: «Труд делает свободным».

Одно плохо: никто не будет знать, где надо прибить мемориальную доску, если в один прекрасный день люди решат, что Ангел был святым. Я вполне отдаю себе отчет, что не являюсь представителем церковной конгрегации и без помощи «адвоката дьявола» не могу ставить вопрос о причислении к лику святых, но поскольку мое вероисповедание неясно, надеюсь, никого не оскорбит, если я протащу лишнего святого в какую-либо религию, к которой, по всей вероятности, не принадлежу. Как и все в моей повести, это будет непредумышленно. Конечно, тот факт, что Ангел был, можно сказать, моим сватом, а также моим шурином, заставит людей недоброжелательных воскликнуть: «Ага!» Но раз графа «вероисповедание» все равно остается в альбоме незаполненной, я, по-моему, могу позволить себе некоторую вольность: ведь с Ангелом я как-никак провел целых две недели; почуяв его святость, люди, возможно, перестанут чують в этой повести запах экскрементов. Вижу, вижу, мне ничего не позволят, подозревая злые умыслы. Но тогда я оставлю все, как есть, ведь терпимость (как говорят) не является богословской категорией. А потом отец мой еще жив и уже давно перестал ходить попеременно в разные церкви; он в них вообще не ходит и свои бланки на уплату церковных налогов мне не показывает, он по-прежнему, теперь уже вместе со

старым Бехтольдом, моим тестем, ругательски ругает нацистов. Впрочем, оба старичка нашли себе еще одно занятие: они исследуют прошлое Кёльна, его пласты. День и ночь возятся в раскопе, который мой папаша вырыл у нас во дворе и велел покрыть навесом; вполне серьезно, хотя и хихикая, они уверяют, что открыли развалины храма Венеры. Теща моя — католичка на свой особый, весьма милый лад; как и все кёльнцы, она придерживается лозунга: «Что такое католицизм, мы здесь сами знаем». Когда мне приходится беседовать с ней на религиозные темы (как-никак я отец двадцатичетырехлетней дочери, которая согласно горячему желанию моей умершей жены была воспитана католичкой, но потом вышла замуж за лютеранина и, в свою очередь, стала мамой трехлетней дочурки, которая согласно ее горячему желанию воспитывалась католичкой), так вот, когда мы с ней беседуем на эти темы и я на основе достоверных фактов доказываю, что ее точка зрения не соответствует официальной позиции церкви, теща возражает мне и при этом произносит сентенцию, которую я воспроизвожу не без душевных колебаний: «Тогда, стало быть, сам папа римский ошибается». А если при наших беседах присутствуют церковные должностные лица — чего иногда не избежать — и если они нападают на ее, мягко выражаясь, своеобразное отношение к папе, она не отступает ни на шаг и ссылается на нечто такое, что столь же трудно доказать, как и опровергнуть. «Мы, Керкхоффы, — говорит она (моя теща урожденная Керкхофф), — всегда были католиками «по инстинкту». Не мое дело разубеждать тещу. Для этого я ее слишком люблю. Но чтобы еще довершить путаницу в отношении этой любезной особы (во время войны она как-то раз собственноручно спустила с лестницы молодчика из полевой жандармерии, который выслеживал ее сына Антона — дезертира; собственноручно, в буквальном смысле слова), я сообщаю еще одну деталь для альбома «Раскрась сам»: моя теща полтора месяца руководила коммунистической ячейкой, пока не решила, что «это дело» не согласуется с ее «католицизмом по инстинкту», и, кроме того, она возглавляла и до сих пор возглавляет молитвенный кружок.

Предлагаю покрасить фон хотя бы на одной из посвященных ей в альбоме страниц голубым цветом; любой человек, изображавший небо над Неаполем, хорошо знаком с этим цветом. А если читатель теперь «уж

вовсе не знает, что и подумать» о моей теще, значит, я достиг цели; пусть каждый хватает цветные карандаши, коробку с акварелью или палитру и красит мою тещу в тот цвет, который символизирует для него «нечто подозрительное» или даже «скандальное». Лично я рекомендую пастельный красный с фиолетовым отливом. Не стану распространяться больше о моей теще; она мне так дорога, что я не хочу бросать на нее чересчур яркий свет; основные черты ее облика я сохранию в своей личной камере-обскуре — памяти. Зато с удовольствием сообщу ее внешние приметы: теща — женщина маленького роста, была когда-то хрупкой, «но затем основательно раздалась в ширину», до сих пор поглощает кофе в неизменных количествах; в преклонных годах, семидесяти двух лет, пристрастилась к курению, со своими внуками обращается прямо-таки «непозволительным образом»: детей моего погибшего шурина Антона, который был безбожником и «явно левым», двух молоденьких девиц восемнадцати лет и двадцати одного года, она загоняет на кухню, сует им в руки четки и молится с ними; детям моего второго, здравствующего и поныне шурина Иоганна, которые воспитываются в ортодоксально-церковном духе, десятилетнему мальчугану и двенадцатилетней девчужке, она, напротив, «прививает упрямство и строптивость» (слова, взятые в кавычки, являются цитатами из ее речей).

Для тещи я по-прежнему «славный мальчик, с которым моя Хильда была так счастлива, а с моим Ангелом он много месяцев (на самом деле всего четырнадцать дней) чистил нужники» (во имя исторической правды я снова вынужден употребить сие грубое слово). Оба эти обстоятельства она не забыла, равно как и тот факт, что я снабжал ее кофе «и в военные и в мирные годы». Другие мои заслуги, чисто практические, она всегда перечисляет под конец, что, пожалуй, говорит в ее пользу. А в общем старуха считает меня «наивным простачком», хотя бы по той причине, что «он, как идиот, разрешил в себя стрелять настоящими пулями и даже допустил, чтобы в него попали».

Здесь она не признает никаких «но». Теща уверяет, что, ежели «умный человек не имел ничего общего с тем делом ни фактически, ни формально (под «тем делом» она в данном случае подразумевает нацистский режим), он должен был как-то ловчить». Наверное, она права; когда я начинаю с ней спорить и напоминаю, как погиб

Ангел, теща говорит: «Ты прекрасно знаешь, что Ангел был не слишком умный, а может, наоборот, чересчур умный»; и тут она права. Сам не пойму, как я разрешил в себя стрелять настоящими пулями и даже допустил, чтобы в меня попали. Ведь я был освобожден от стрельбы; почему же я находился там, где стреляли, сам не сделав ни одного выстрела? В моем сознании и на моей совести это темное пятно. Наверное, мне просто надоел Шопен, а может, я устал от Запада и стремился душою на Восток; не знаю точно, что со мной было, не знаю, что заставило меня пренебречь медицинской справкой, выданной главным офтальмологом армейской группы «Запад». Хильдегард писала тогда, что она меня понимает, но сам я себя не понимал. Теща вполне права, характеризуя мою тогдашнюю, да и нынешнюю позицию «идиотской». Все это так запутано и темно, что разрешаю каждому, кто пожелает, обмакнув кусок ваты в черную тушь, посадить здоровую кляксу в том месте альбома «Раскрась сам», где должно обретаться мое сознание. Как бы то ни было, я сразу распрощался с мыслью о дезертирстве: у меня не было желания менять мою тогдашнюю тюрьму на какую-либо другую.

— Ну, а что играют на рояле русские? — спрашивала меня теща, когда я приезжал на побывку.

Не покривив душою, я сказал, что всего несколько раз слышал игру русских на рояле и что всякий раз это был Бетховен.

— Хорошо, — сказала она, — очень хорошо.

Здесь, в самой середине нашей идиллии, мне хочется, хоть и с некоторым опозданием, выполнить свой долг: на одной или двух страницах воздвигнуть часовню, чтобы увековечить память погибших героев этой повести.

1. Хильдегард Шмёльдер, урожденная Бехтольд, родилась 6 января 1920 года, умерла 31 мая 1942 года во время воздушного налета на Кёльн, недалеко от Хлодвигплатц. Ее бранные останки так и не были найдены.

2. Энгельберт Бехтольд, прозванный Ангелом, родился 15 сентября 1917 года, убит 30 декабря 1939 года между Форбахом и Сент-Авольдом французским часовым, который, как видно, решил, что Ангел хочет напасть на французский пост, хотя тот просто собрался перебежать. Его бранные останки так и не были найдены.

3. Антон Бехтольд, родился 12 мая 1915 года, расстрелян в феврале 1945 года у веранды кафе Рейхарда в Кёльне, между теперешним Домом радио и теперешней

резиденцией каноников, недалеко от транспортного агентства, just in front of the cathedral, у веранды, где ничего не подозревающие туристы и уж вовсе ничего не подозревающие сотрудники кельнского радио потягивают кофе с мороженым. Его бранные останки так и не были найдены, зато нашлось его «дело». В официальных бумагах он именуется «дважды дезертиром» и, кроме того, обвиняется в краже армейского имущества, в торговле оным на «черном рынке» и в сколачивании группы дезертиров в подвалах разрушенных домов неподалеку от Хоэпфорте, в старом городе—группа вела под его руководством настоящие оборонительные бои против «органов порядка вооруженных сил Велико-Германии». Вдова его, Моника Бехтольд, в свое время очень много говорила «об этом», сейчас она больше не говорит «об этом».

Воздвигнув сию часовенку, я не стану ее украшать, пусть пребывает в незаконченном виде. Но каждый вправе украсить ее по своему вкусу и разумению шиповником, анютиными глазками или бирючиной. Розы тоже не возбраняются, можно также произносить молитвы, и уж тем паче вполне дозволено размышлять о бренности нашего праха. Тех, кто хочет молиться, я прежде всего прошу не забывать Антона: раньше я его не любил, но теперь желаю ему, чтобы в тот миг, когда зазвучат трубы Страшного суда, его поцеловал бы самый милый ангел, не из архангелов, а кто-нибудь попроще, кого не допустят трубить, а разрешат только начищать трубы. Я желаю Антону освободиться от фальшивого демонизма, огульного порицания и отрицания. Пусть ангел вернет ему то, что было, наверно, когда-то дано и ему,—невинность.

V

Вот уже и военная тема почти исчерпана, во всяком случае в этом произведении, и мы вновь возвращаемся к тому мирному сентябрьскому дню, когда я в первый раз поцеловал Хильдегард и вся вонь вокруг меня внезапно исчезла.

Передняя Бехтольдов представляла собой примерно восьмиметровый темный закут, в который выходило пять дверей—три из спален, одна—из кухни, одна—из ванной. В узких простенках между дверьми прямо в штукатурку были вбиты крючки. На них болтались

платья, пальто, куртки, платки, заношенные халаты и «мамины дурацкие шляпенции», то и дело эти вещи застревали в какой-нибудь из дверей, и Бехтольды вытаскивали их, иногда прищемляя себе пальцы.

В ту минуту, когда Хильдегард упала в мои объятия, открылись сразу три двери: госпожа Бехтольд вышла из кухни, старик из спальни, Антон и Иоганн из своей комнаты, и все четверо затаили хором: «Се, жених грядет! Как грядет? Как Агнец!», а Хильда — пятый член этой семейки — в это время молча орошала мою грудь слезами радости.

Самое позднее, здесь искушенный читатель разгадает один секрет: а именно — эта повесть и впрямь задумана как идиллия чистой воды, и вочь клоаки несет в ней ту же смысловую нагрузку, что в иных произведениях аромат роз; где можно, мы не будем хулить войну или, во всяком случае, сделаем это лишь мимоходом, а вопрос о нацизме рассмотрим как нечто промежуточное между обыкновенным насморком и серным дождем, а если на одной из последующих страниц читатель узнает еще, что мы с Ангелом вступили — правда, порознь, но все же оба в СА, хотя и фиктивно, — служили-то мы известно где и никогда не облачались в эту ужасную форму штурмовиков, — он скажет: лучше бы автор родился в Баллахулише, лучше бы на его писчей бумаге был иной водяной знак — не герб города Кёльна, а лира. Не к чему мне было родиться немцем, напрасно я родился кёльнцем, а если я еще признаю, что после войны стал владельцем отцовской кофейной фирмы и в данный момент упорно стараюсь не огорчаться и не расстраиваться из-за того, что оборот в истекшем году повысился всего на три и семь десятых процента, тогда как в прошлом году — на четыре и девять десятых процента по сравнению с позапрошлым годом, — читателю станет ясно, что мои шурины были правы, называя меня «стыдливой мимозой». Тщетно я пытаюсь успокоить моего нервного поверенного премиальными. Он не понимает моих намерений на огненную колесницу, которая вознесла на небо Илью-пророка, не понимает также, почему я позволяю моей трехлетней внучке баловаться с нашими сложными, дорогостоящими счетными машинами; и когда я подсовываю финансовому ведомству счета за ремонт этих машин, он возмущен, морально подавлен, точно так же, как и тем, что для меня эти технические шедевры всего лишь усовершенствованные ткацкие станки. Его опасе-

ния насчет того, что дело «катится по наклонной плоскости», меня не страшат. Куда же еще катиться? Ведь каждый раз, спускаясь к пристани Лея и прогуливаясь вдоль Франконской верфи, я должен напрячь волю, чтобы не броситься в темные воды Рейна. Только рука моей внучки удерживает меня от этого шага, и еще мысль о теще. Что мне эта кофейная торговля, ведь сам я пью только чай?

Отцу и тестю меня не удержать. Их возраст открыл перед ними новые просторы, новую область утех, столь же древнюю, как и хлам, в котором они роются. Они «слились воедино с Кёльном», и отнюдь не мудрость, а всего лишь убывающая мужская сила мешает этим хихикающим старцам заменять свои утехы амурными проказами. Старый Бехтольд, чья прямота рабочего мне когда-то так нравилась, приобрел изысканные манеры, и теперь, когда старики вылезают из своего раскопа и выносят на свет божий какой-нибудь камень или обломок, на котором что-то нацарапано, они напоминают мне собак — и не только из-за своей привычки облизываться: их хихиканье укрепляет мои подозрения в том, что все мы — и Ангел, и Хильдегард, и я — были лишь приманкой; каждый из нас был приманкой для другого, а в глубине сцены кто-то все время хихикал. То, что с нами случилось, и то, что делали мы сами — отпускали ли кофе или чистили выгребные ямы, разрешали в себя стрелять, жили или умирали, — всегда было кому-то на руку. Смерть мамы и та была на руку всем — Бехтольдам, мне, даже отцу, который «больше не в силах был смотреть на ее страдания», да и маме самой — она не выносила нацистские рожи и их мундиры, не была ни набожной, ни невинной, но и не настолько отпетой, чтобы жить в этой клоаке. Не хочу повторять, что говорил у ее могилы евангелический священник, — до того это было ужасно. Некоторые формы лицемерия я вообще обхожу с истинно божественной терпимостью. Надеюсь, что в тот час, когда затрубят трубы Страшного суда, ангелы не станут запихивать ему в рот гору сахарной ваты — все те слова, которые он произнес при жизни.

После похорон, выражая соболезнование отцу и мне, пастор неодобрительно взглянул на мой штатский костюм и строго прошептал:

— Почему вы не пришли в своей доблестной форме?

За это замечание объявляю его самым несимпатичным персонажем моей повести, гораздо более несимпа-

тичным, чем наш предводитель, который заставлял нас в этом доблестном мундире ползать на брюхе. Я протянул пастору руку с ногтями в траурной кайме — словно вызов. Это единственная преднамеренная дерзкая грубость, какой я могу похвастаться. Только через двадцать лет на свадьбе моей дочери я снова встретился с ним — он оказался родным дядей моего зятя — и я снова протянул ему руку, на сей раз с чистыми ногтями, и это уже было не преднамеренной грубостью, а просто условным рефлексом, что могут подтвердить все психологи. Пастор залился краской, начал заикаться на каждом слове и не принял наше приглашение на семейный завтрак; зять до сих пор сердит на меня за то, что я нарушил «гармонию этого дня».

Пусть экскурсии вперед и назад не нервируют читателя. Любой школьник самое позднее на седьмом году обучения узнает, что такие экскурсии называются переходами из одного повествовательного плана в другой. Нечто подобное бывает на фабриках с разными сменами — этим я хочу сказать, что стыки разных планов отмечены у меня как места, где я должен снова очинить карандаш, чтобы нанести на бумагу очередные штрихи и точки. В этой повести вы видите меня в возрасте двадцати одного года и двадцати трех лет; потом увидите двадцатипятилетним, а затем уже почти пятидесятилетним. Вы видите меня женихом, супругом, потом увидите вдовцом и дедушкой; пролетело почти двадцать лет, а перед нами одни пустые страницы; я набросал на них кое-какие контуры, но ничего больше не изображу. Ну, а теперь, очинив карандаш, вернемся поскорее в старый план этого повествования, к 22 сентября 1938 года, к четверти шестого.

VI

Слова приветственного хора отзвучали; на моей шее и щеках я ощутил слезы Хильдегард, длинные пряди ее волос — белокурых, как на картинах Лохнера, — разметались по моей рубашке. Из распахнутой кухонной двери донесся запах только что снятого с плиты кофе — кто будет заваривать мне в этом доме чай? — и только что вынутой из духовки бабы (в других местах ее именуют кексом). Сквозь открытую дверь спальни братьев я увидел мольберт Антона Бехтольда — желтые и фи-

олетовые пятна, хаос, но несмотря на это, можно было ясно различить (на мой взгляд, *слишком* ясно), что сие живописное произведение изображало обнаженную женщину, покоящуюся на фиолетовой тахте. Сквозь другую раскрытую дверь я увидел кипу красновато-желтых кусков кожи размером этак пятьдесят сантиметров на восемьдесят, низенький стул, на каких сидят сапожники, громадную пепельницу в виде пруда с лебедями, а в ней дымящуюся сигару. После неудачного суда и вполне удавшегося банкротства, хотя и не злостного, папаша Бехтольд вынужден был закрыть свою сапожную мастерскую и заняться мелким ремонтом обуви на дому; впрочем, он зарабатывал себе на хлеб — «Какой это хлеб? Так, одно недоразумение!» (цитирую свою тещу) — как агент по продаже кожсырья.

Все смущенно молчали, что вполне естественно после свершившегося чуда. Если кто-нибудь спросит меня: «Откуда Бехтольды узнали, что вы приедете, а если они и узнали, что ваша мама умерла — кстати, отчего она умерла? — то как удалось Энгельберту известить их обо всем этом настолько быстро, что они успели подготовить вам такую торжественную встречу?» — я смогу дать только один правдивый ответ: в полном недоумении пожать плечами; пожатием плеч я уже привел в отчаяние немало любопытных. Могу присовокупить также, что казармы нашего сообщества находились на расстоянии более трехсот километров от Кёльна, в тех самых лесах, где разыгрывалось большинство сказок братьев Grimm; к тому же Ангела постоянно лишали увольнительных — одним словом, Бехтольды, бесспорно, не могли узнать, что я приеду и что мама умерла; тут, правда, можно вспомнить специальных английских гонцов или передачу вестей при помощи барабанов тамтам... Иных, более реалистических, объяснений этого факта, во всяком случае, не в силах придумать.

Смущенное молчание прервал папаша Бехтольд; покачивая головой так, что мне стало жутко (я подумал, что так качают головой палачи), он сказал:

— Лучше, если вы сразу с этим покончите.

И меня тут же вырвали из объятий Хильдегард и потащили туда, где стоял мольберт, а потом дверь захлопнулась. Я разглядел две неряшливо заправленные кровати, две тумбочки и книжную полку с подозрительно малым количеством книг — штук семь или десять; зато в комнате было много мазни, между прочим, кажется,

двенадцать только что намалеванных Антоном картин из задуманной им серии «Грех» («Грех буржуа», «Грех помещански», «Грех по-пролетарски», «Грех церковника» и т. д.). Меня подтолкнули к комоду, Иоганн сунул мне в руки кожаный стаканчик с игральными костями и заставил «попытать счастья», — то был первый и последний раз, когда я бросал кости, и все же Антон и Иоганн, судя по их мимике, высоко оценили мою технику. Я метнул, и на костях выпало две «пятерки» и одна «шестерка», что побудило Иоганна в ярости замахнуться горячей сигаретой и воскликнуть: «Говно!» (Цитата!) Тут я должен мимоходом заметить, что оба вышеупомянутых представителя мужской части семьи Бехтольдов в отличие от Ангела и от своего папаши были брюнеты, небольшого роста, жилистые и оба носили маленькие мефистофельские усики; после того как братья выбросили жалкие «двойки» и «тройки», я робко осведомился о ставке в игре, но они без лишних слов заставили меня метнуть кости снова; на этот раз выпали две «пятерки» и одна «четверка», и тут братья начали изрыгать бранные слова, которые я обойду молчанием с той же божественной терпимостью, с какой обошел лицемерную болтовню пастора. Некоторые формы мужской откровенности и употребляемые при этом сексуальные термины мне всегда подозрительны, так же как патока, даже если это относится к профессиональному жаргону, как, например, жаргону сутенеров; кроме того, именно благодаря общению с сутенерами я был несколько избалован в этом вопросе и особенно чувствителен к хорошему стилю. Как бы то ни было, я не покраснел, обманув их ожидания. Правда, я вспотел и почуял, что вонь снова пристала ко мне; лишь после того как я явно выиграл и в третий раз, мне стало известно, ради чего мы сражаемся, — речь шла о том, кому из трех братьев Бехтольдов выпадет тяжкий жребий вступить в СА, и меня избрали бросать кости вместо Ангела. Один бывший однокашник папаши Бехтольда — среди прочего он ведал поставками кожи кельнским штурмовым отрядам в районах Центр — Юг, Центр — Запад и Центр — Восток — как-то раз намекнул Бехтольду, что «ты, мол, можешь рассчитывать на неплохой заказик, если хоть один из твоих парней вступит в наши ряды». И получилось так, что, несмотря на возражения моей тещи, один из парней действительно попросился в СА, и этим парнем был Ангел, несмотря на мою успешную игру в кости; ну, а я не захотел оставлять

его одного и подал заявление одновременно с ним; к несчастью, нас обоих приняли, хотя наш обер-предводитель дал нам из рук вон плохие характеристики, ведь я даже не мог представить свидетельство о крещении; но объяснить все эти запутанные события, и тем паче объяснить правдоподобно, превыше моих слабых сил; для очередной страницы альбома «Раскрась сам» предлагаю беспорядочное нагромождение линий, которое может сойти за стилизованный рисунок «лесные дебри». И еще я должен признаться, что все военные годы, все без исключения, получал к Рождеству, где бы я его ни проводил (как-то я провел его в тюрьме), посылку: полфунта мелких пряников, три сигареты и два больших пряника, и что в качестве отправителя на посылке значилось: «Штаб СА, Кёльн, Центр — Юг», к посылке прилагалось отпечатанное на гектографе письмо, которое начиналось словами: «Нашему товарищу, штурмовику, сражающемуся на фронте» — и кончалось: «С наилучшими пожеланиями. Ваш штурмфюрер»; теперь каждый поймет, что меня можно с полным правом причислить к категории лиц, извлекших выгоду из нацистского режима, хотя папаша Бехтольд так и не дождался «заказика» и не продал СА ни унции кожи. Совершать глупости достаточно горько, но еще горше совершать их бесцельно. И все же мое признание вынуждает меня дать подробный отчет о шести годах моей жизни для соответствующей страницы альбома «Раскрась сам», которая представляет собой лист плотной бумаги примерно шесть сантиметров на восемь.

Дабы избежать пробела, упомяну еще об одном персонаже этой повести, относящемся к тысяча девятьсот тридцать восьмому году и оставшемся в живых, если не считать меня, моего отца, тещи и тестя,— о моем шурине Иоганне. После грешной молодости он и впрямь закалился и очистился в горниле войны и, явившись домой в чине фельдфебеля пехоты, вернулся к религии своих предков (католической), поступил в университет, получил диплом и избрал себе почтенное поле деятельности — торговлю мануфактурой; о своем погибшем брате он и слышать не хочет, поскольку тот был «левым смутьяном». К моей особе также относится с недоверием: ведь на мне лежит клеймо бывшего штурмовика. Из-за той же божественной терпимости я не желаю напоминать ему о сцене с игральными костями в его прежней комнате. Думаю, если я все же решусь напо-

нить об этой сцене, он испепелит меня взглядом и назовет лжецом.

Мою дочь и внучку, равно как зятя и его мать, я не упоминаю среди уцелевших, а вернее, среди живущих, потому что на их счет у меня особые замыслы. Разместив их в порядке моей симпатии к ним, я использую их на последних страницах этого идиллического альбома, как камни свода для часовни. Мне придется их немножко обтесать и стилизовать — тогда они станут на место и украсят все сооружение.

Моя теща настояла на скорейшей свадьбе не из каких-либо меркантильных соображений, хотя она постоянно твердит, что была очень рада «пристроить дочку за хорошего человека». Просто теща позаботилась о том, чтобы легализовать и официально санкционировать то положение, которое она именовала «их явным тяготением друг к другу» и их «бесконечными уединениями». Она честно признавала, что боится, как бы ее не наградили «внебрачными или скороспелыми внуками, которые родились подозрительно быстро после свадьбы». Поскольку я был совершеннолетний, а фотокопировщики великолепно работали, выполняя лозунг: «Каждому немцу — справку об арийском происхождении», и все документы можно было достать быстро и за умеренную плату (кроме свидетельства о моем крещении), нам удалось после поспешных и печальных похорон моей матери поспешно сыграть свадьбу, от которой даже сохранился фотоснимок. Хильдегард кажется на этом снимке меланхоличной, зато достойны восхищения иронически ухмыляющиеся физиономии обоих шуринов. Сохранилось также брачное свидетельство, выданное отделом регистрации браков, со свастиками и гербовыми орлами; в нем я именуюсь «студентом филологического факультета, ныне проходящим службу». Наш союз с Хильдегард по ее желанию был скреплен церковью, и у меня до сих пор лежит церковное свидетельство с печатью прихода Иоанна-Крестителя. Свадебный завтрак состоялся в квартире Бехтольдов («Нет, нет, такое событие надо отметить у нас!»); после импровизированной кадрили и полонеза Хильдегард и меня отпустили с миром в поспешно снятую меблированную комнату (двадцать пять марок в месяц) вести семейную жизнь, которая должна была длиться двадцать три часа, но растянулась почти на целую неделю. Если юные, а также пожилые читатели сочтут, что для семейной жизни это довольно-

таки короткий срок, я позволю себе заметить, что многие браки двадцатилетней давности не длились и недели. А чтобы тот факт, что меня арестовали и отправили в совсем другое сообщество не в первый же день, а лишь на седьмой, не показался читателю свидетельством не-расторопности или небдительности тогдашних властей, я должен указать на стойкость всего бехтольдовского клана и моего отца, которые заявили, что мы «отбыли в неизвестном направлении». Мы так и не узнали, кто на нас наступал. Меня арестовали в магазине Батто «Масло, яйца и сыр» на Зеверинштрассе, где я, облаченный, как и прежде, в серо-зеленые штаны, с хозяйственной сумкой в руках, синей в белую полоску, закупал (уже по карточкам) масло и яйца на завтрак (свежие булочки лежали в сумке), а Хильдегард в это время прибирала нашу комнату. Я был «как идиот» погружен в блаженно-сомнамбулическое состояние, и двое молодцов в серо-зеленых мундирах, внезапно схватившие меня за руки, показались мне дурным сном, а крики милой продавщицы у Батто — демонстрацией симпатии (что, впрочем, так и было). Я оказал сопротивление и выкрикивал (вопреки своей привычке) ругательства, а на позднейших допросах не только не раскаялся, но даже проявил нечто такое, что в официальных бумагах красиво называли «строптивостью и неповиновением». Те месяцы, что мне оставалось провести в моем казарменном сообществе, я просидел в тюрьме и карцерах всевозможных видов, в том числе несколько дней в кельнской городской тюрьме — именно оттуда я и отправил письменное ходатайство о зачислении меня в СА. Ангела я так больше и не увидел, Хильдегард встретил только через год и девять месяцев. Нам разрешили послать друг другу несколько писем, проверенных цензурой, но письма, проверенные цензурой, для меня уже не письма; я признаю их только как средство дать знать о себе. Раз или два Хильдегард тайно посетила меня, несколько раз я ее, но встречи эти я расцениваю не как семейную жизнь, а скорее как свидания. За это время на меня успели составить специальное «дело» и перевести из одного казарменного сообщества в другое; семейную жизнь я вел еще раз — дней пять в 1940 году, когда у меня родилась дочка, и еще раз — недели две в начале 1941 года — я лечился тогда после черепного ранения, которое получил по милости одного француза, имевшего все основания считать меня своим врагом. Я буквально

налетел на него в темноте, когда он перебежал через дорогу с двумя пулеметами, видимо изъятymi с оружейного склада моего тогдашнего казарменного сообщества. Я заговорил с ним на изысканном французском языке, каким изъясняются начальницы гимназии, попросил не вынуждать меня вести себя невежливо — как именно, я и сам не знал,— пусть лучше бросит эти штуковины и удирает или же пусть, бог с ним, удирает вместе с *этими* штуковинами, но так, чтобы я, опять-таки без всякой невежливости, мог следовать за ним, разумеется на некотором расстоянии,— любого рода «боевые действия» меня не прельщают. Но француз не дал мне выговориться, прострелил из пистолета мой череп и оставил меня лежать на дороге в луже крови, из-за чего я попал в крайне неприятную ситуацию: «Нежданно-негаданно показал себя героем», как заявил впоследствии предводитель нашего казарменного сообщества. Все это происшествие мне чрезвычайно не нравится, упоминаю о нем только из соображений композиции.

Тем самым исчерпана как военная, так и семейная тема: отныне в этой повести будет сплошной аромат роз — мир и благодать. Те военные и послевоенные события, о которых мне еще необходимо будет упомянуть — для соблюдения правильных пропорций,— я преподнесу в стилизованном виде: либо в немецкой декоративной манере начала двадцатого века, либо в манере художников Шпитцвега и Макарта. Как бы то ни было, я перемещу их в сферу живописи, и они смогут украсить любую почтовую открытку. Чувство, какое я испытываю к войне, не совсем сродни чувству, какое питает любитель чая к кофейной торговле, скорее это чувство, с каким пешеход относится к машинам.

VII

В этом самом качестве, то есть в качестве пешехода, я предлагаю здесь, в особом разделе, кое-какой исторический материал. Даю его в сыром, необработанном виде — вместо карандаша вооружаюсь ножницами. Пусть каждый использует мой материал, как ему заблагорассудится — может изготовить из него аппликацию для своих детишек или же оклеить ими стены. Материал этот отнюдь не полный, наоборот — в нем

полно пробелов; кто хочет, пусть смастерит из него бумажного змея и запустит в небо или же склонится над ним с лупой, чтобы подсчитать мушиные следы. В каком виде ни рассматривать материал, который я здесь даю, в увеличенном или в уменьшенном, ясно одно: он — подлинный, а как его используют — не мое дело. Быть может, лучше всего склеить из него своего рода траурную рамку для нашего альбома «Раскрась сам». В свое время я считал все это хоть и подлинным, но нереальным, поэтому предоставляю каждому извлечь из моих отрывков ту реальность, которая ему нравится.

В Аахене состоялся первый всегерманский шахматный турнир национал-социалистской организации «Сила через радость». Некий Йон избрал французскую защиту, некий Леман — староиндийскую защиту, Забиенский — голландскую, некий Тильтю выиграл у некоего Рюскена, который применил сицилианскую защиту, но не добился успеха.

В Лондоне была проведена встреча немецких и английских ветеранов первой мировой войны: ветераны заявили о своем горячем стремлении к прочному миру.

В Берлине состоялась научная конференция, посвященная психологии животных. На конференции подчеркивалось, что ученые, занимающиеся психологией животных, — союзники, соратники и коллеги ученых, занимающихся психологией человека. Особенно убедительно выступал некий профессор Йенш на тему «Психология домашней курицы»; он заявил, что к ряду проблем человеческой психики можно весьма успешно подойти, исходя из психологии курицы, ибо в мироощущении курицы, точно так же как и в мироощущении человека, решающую роль играют зрительные факторы. «Курица, — заявил оратор, — должна стать подопытным животным психолога, точно так же как кролик является подопытным животным физиолога».

В эти же дни в Берлине проходил конгресс по вопросам отопления и вентиляции, на котором подробно обсуждались некоторые принципы устройства вентиляции, а также правила вентиляции, принятые «О-вом нем. инж.».

Неслыханное веселье сулило некое заведение в Кёльне под названием «Циллерталь». У Милловича играли «Гадину». В Драматическом театре шло «Укрощение строптивой».

В тот же день в Кёльн прибыло тридцать пять

гитлеровских отпускников, тепло встреченных крупным чиновником имярек, который указал им на то, что в эти часы взоры всего мира прикованы к Рейнской области.

Как и следовало ожидать, в то время в Европе снизилась рождаемость.

Ветераны бывшего 460-го стрелкового полка и 237-й стрелковой дивизии объявили о своей очередной встрече в пивной «Зальцрюмпхен», неподалеку от училища правоведения.

Что касается «большого футбола», то в эти дни встал огромной важности вопрос: удержат ли свои места лидирующие команды?

В хлестко написанном репортаже рассказывалось о ходе фортификационных работ на западе рейха.

«Мы сворачиваем за угол, и вот уже нам навстречу движется дымящаяся полевая кухня — ее тащит в гору пара здоровенных лошадей. Запахло кислой капустой и свиной.

Сколько здесь нового! Отыскать здесь что-нибудь — дело нелегкое. Никто не может дать нужную справку. Ибо солдат «Трудового фронта» не гуляет попусту. Он знает только то, что ему положено: свое место, дорогу к своему лагерю. К тому же люди дают справки неохотно, с опаской. Каждый преисполнен здоровой бдительности.

Такие «Трудовые лагеря» расположены повсюду, множество лагерей мы уже проехали, но наша цель добраться туда, где вчера побывал доктор Лей.

Лагерь этот можно назвать лагерем спайки в лучшем смысле этого слова. В нем собрались немцы из всех концов рейха — из Мекленбурга, из Померании, Гамбурга, Вестфалии, Тюрингии, Берлина; и наших кёльнцев тут немало. Со времени первой войны известно, что в воинской части, где соберутся земляки из Кёльна, всегда царит здоровый юмор и добрый смех. Кёльнцы и здесь не подкачали. Но дело не только в этом. Бодрое настроение, по словам шеф-повара, лучшее доказательство того, что в лагере уделено надлежащее внимание физическому здоровью и желудку. Мы охотно верим ему: еда, оставленная нам от обеда, очень вкусна. Распределением продуктов ведает «Трудовой фронт», он следит за тем, чтобы у каждого было всего в изобилии, не говоря уже о духовной пище; и следует признать, что

**В ЭТОМ СМЫСЛЕ ДЕЛАЕТСЯ ВСЕ
ВОЗМОЖНОЕ И НЕВОЗМОЖНОЕ.**

Каждому солдату выдается на день 125 г мяса, 750 г кар-

тофеля, 250—500 г овощей в зависимости от вида, 750 г хлеба, 70—83 г масла, 125 г колбасы, сыра и проч.; и дополнительно — шоколад, сигареты или консервы.

Кинопередвижка всегда тут как тут, лагеря обеспечены радиоточками, имеются библиотека, шахматы и другие игры, а также спортивный инвентарь.

Мы увидели это собственными глазами: наш фронт на западе непоколебим. Он создан немецкими трудовыми руками. Весь немецкий народ строит здесь свой оборонительный вал.

Экскурсии организации «Сила через радость» в Грецию и Югославию. В 1938—1939 годах пять океанских пароходов-гигантов отправятся на юг. Национал-социалистская организация «Сила через радость» составила на текущую зиму 1938/39 года программу путешествий по Средиземному морю, превзошедшую все известные до сих пор программы.

Полковник генерального штаба по фамилии Фёрч опубликовал фундаментальный труд о значении переподготовки резервистов. Он трезво разъяснил, что оборонеспособность нации опирается прежде всего на обученные резервы. По словам Фёрча, мимолетное недовольство, которое возникает у некоторых призывников-резервистов, исчезнет без следа, как только в стране снова воцарится тот дух, какой царил повсюду в 1935 году, в день Памяти героев, когда воспрянул буквально весь народ, узнав, что в Германии снова введена всеобщая воинская повинность. Сознание необходимости обороны государства и готовность нации к жертвам — веки, определяющие масштаб оборонительных мероприятий. «Если целое поколение немцев, — пишет Фёрч далее, — в течение четырех лет, с 1914 по 1918 год, могло вести небывалую героическую борьбу, то только потому, что этому поколению не было в тягость потратить четыре недели на переподготовку».

Управление юридических консультаций немецкого «Трудового фронта» опубликовало решение имперского суда по трудовому конфликту (за № 154/37), в котором суд рассматривал дело об увольнении без предупреждения за отказ вступить в «Трудовой фронт». Управление юридических консультаций одобрило эту меру, заявив, что за отказ следует увольнять без предупреждения. Увольнение с предупреждением за невступление в «Трудовой фронт» уже давно практикуется и считается законным; допустимо также увольнение без предупреждения

дения, если данное лицо отказывается вступить в «Трудовой фронт» из-за своих социально враждебных настроений.

ВЫРЕЗАТЬ. СОХРАНИТЬ. НАКЛЕИТЬ

Каждый дом должен подготовиться к тушению пожаров в соответствии с инструкцией противовоздушной обороны и иметь для этой цели простейшие противопожарные средства:

1. Ведра в возможно большем количестве.
2. Бочку не менее чем на 100 литров воды.
3. Огнесбивалку для сбивания огня и для тушения труднодоступных очагов пожаров. Она представляет собой палку с куском материи, который перед употреблением погружается в воду.
4. Ящик, вместимость которого не менее $\frac{1}{4}$ кубометра песка или земли, и обычные лопаты (например, лопаты для угля).

Или:

5. Заступы, совки, ломы.
 6. Топоры или колуны.
 7. Скребок.
 8. Веревку (длинная крепкая бельевая веревка).
- Все это обычно имеется в каждом хозяйстве или может быть приобретено без особых затрат. По сигналу воздушной тревоги весь инвентарь необходимо вынести и распределить на лестничной клетке, руководствуясь указаниями ответственного по противовоздушной обороне.

Прогноз погоды: при ветре слабом до умеренного на юге по утрам усиление тумана, днем — ясная погода, временами небольшая облачность, тепло. Дальнейшие прогнозы: сухо и ясно. Вчера на границе между теплым субтропическим климатом и мягким морским на северо-востоке Франции и в районе Ла-Манша наблюдались осадки. Однако эти неблагоприятные факторы не распространились сколько-нибудь ощутимо к востоку. В результате повсеместного увеличения атмосферного давления в Западной и Центральной Европе район высокого давления продвинулся с востока Европы дальше на запад. Неблагоприятные факторы в Атлантике, выразившиеся сегодня утром в ураганных ветрах в районе Ирландия — Ньюфаундленд, не повлияют в ближайшее время на погоду в западных областях Германии.

Максимальная температура 23,3 градуса. Средняя дневная температура 19,2 градуса. Самая низкая температура прошлой ночью 15,4 градуса. Без осадков.

Некий скульптор считает необходимым сообщить, что изготовленная им для штабного здания по заказу военно-строительного ведомства эмблема — орел как символ верховной власти — была сделана в одной из старейших художественных мастерских, но по *его* эскизам.

Дабы ознакомить читателей, не имевших счастья проживать в Рейнской области, с весьма распространенным в то время жанром стихов о матерях, попытаюсь перевести один из таких опусов, написанных на кельнском диалекте, на более или менее приемлемый литературный язык:

Сын, иди гуляй по белу свету,
Это вряд ли повредит тебе,
Мать твоя оценит жертву эту,
Каждый твой товарищ по борьбе
Отчий дом покинул и кочует,
Бороздит пустыню или снег.
Мать его нисколько не горюет:
«Милый мальчик, ты был лучше всех,
Как бы там вдали ни стало тяжко,
Все же ты не должен забывать
Ни очаг родимый, мой бедняжка,
Ни тобой горящую мать».
Мать такую назову я гордой
И храбрее тысячи мужчин.
Ты ушел. Она осталась твердой,
Хоть у ней для горя сто причин¹.

В Кёльне состоялся международный съезд парикмахеров; в нем согласились участвовать представители двадцати наций; впервые среди парикмахеров оспаривалось первенство, борьба шла за учрежденный доктором Леем переходной приз — все это не могло не стать предметом законной гордости всех немцев, во всяком случае жителей Кёльна.

Если я сообщаю далее об активной деятельности кролиководов в Бергиш-Гладбахе, то отнюдь не для того, чтобы посмеяться над этими достойными гражданами, и также не из композиционных соображений в связи с вышеупомянутым конгрессом специалистов по психологии животных, а просто из чувства справедливости и потому, что в этом городишке у меня были друзья.

¹ Перевод Б. Слуцкого.

Союз кролиководов в Бергиш-Гладбахе объявил, что ежегодная прогулка членов союза и их семей не имеет на этот раз точного маршрута, и призвал всех друзей и покровителей союза принять участие в экскурсии и разделить предстоящее веселье.

Солдатское объединение в том же городке оповестило о своем очередном ежемесячном слете, а местное отделение нацистской организации «Сила через радость» обещало жителям много радостей и удовольствий, но об этом я рассказываю только лишь для полноты картины.

И наконец, я предусмотрительно напоминаю о нескольких мелочах, хотя о них и так уже знает «каждый ребенок», однако есть основания думать, что не каждый взрослый; словом, из предусмотрительности я вновь отмечаю то, что известно «каждому ребенку».

А именно:

Во второй половине сентября, а может даже как раз 22 сентября, в Берлинском институте кайзера Вильгельма, в Далеме, ученые обнаружили новый тип ядерной реакции, ныне знакомый нам всем. Несколько месяцев спустя с соблюдением всех предосторожностей, как это принято в науке, были опубликованы первые сообщения о результатах исследований, а еще через месяц физики-атомники во всем мире уже знали, что стало возможным создание атомной бомбы и что началась новая эра.

В тот же самый день, 22 сентября 1938 года, в Бад-Годесберг прибыл английский премьер Невилл Чемберлен, чтобы обсудить так называемый судетский кризис; разумеется, это известно не только каждому ребенку, но, можно сказать, каждому младенцу, и если я повторяю и подчеркиваю сей факт, то исключительно для взрослых. *«Когда Чемберлен,— повествует летописец,— прибыл сюда из Кёльна, он с явным удовольствием обозрел из окна залитую солнцем прирейнскую долину и выразил свое полное удовлетворение выбором места встречи, расценив его широкие горизонты как символический знак; фотографы запечатлели благожелательную и открытую улыбку премьера, которая благодаря его смелому полету за одну ночь приобрела мировую известность».*

Моя трехлетняя внучка никогда не называет меня дедушкой; она со мной на «ты» и называет Вильгельмом, а в разговоре с другими людьми говорит: «он сделал то-то», или «Вильгельм сделал то-то». Поэтому я всегда бываю застигнут врасплох, когда она спрашивает о своей бабушке. Гуляя с ней вдоль пристани Лея и Франконской верфи, а потом по набережной кайзера Фридриха и возвращаясь домой (мы ходим медленно, шаг у меня нетвердый), я рассказываю внучке об Анне Бехтольд, моей теще; рассказываю, как она из-за своих стычек с полевой жандармерией сидела в Зигбургской каторжной тюрьме, дважды бежала: один раз добралась до Грембергхофена, другой — до Кёльна-Дейца, но оба раза ее поймали; я повествую об этом в стиле баллад, и таким тоном, каким пересказывают сагу о Ганнесеживодере; в моем рассказе бомбы с адским воем низвергаются с небес, орудия яростно грохочут, а молодчиков из полевой жандармерии я живописую во всей их устрашающей воинственности. Но тут малютка Хильда дергает меня за рукав и напоминает, что она просила рассказать вовсе не о прабабушке, а о бабушке, и я начинаю то карабкаться вверх, то слезать вниз по генеалогическому дереву, пока не нахожу, как мне кажется, подходящую ветвь — Катарину Бертен, мать ее отца, моего зятя. Эту даму я старательно избегаю, несмотря на то что она признанная красавица и одних лет со мной; в свое время делались даже попытки сосватать нас. Но Катарина напоминает мне моих кокетливых кузин и их игру в фанты, от которой у меня сохранились самые мрачные воспоминания, еще более мрачные, чем о некой Герте из обители профессиональной любви, с которой я без конца обменивался письмами, правда, не от своего имени. Чудовищное безличие профессионального разврата — а Герта служила ему пять лет — вернуло ей нечто вроде невинности. («Неужели он и впрямь погиб?» — «Да». — «Вы видели это собственными глазами?» — «Да». — «Где? Ах... — И даже без приглушенной барабанной дробы. — А ведь он так любил пудинг с паточкой».)

— Ну конечно, Бертены происходят из древнего кёльнского рода; этот род уже в...

— Да нет, — обеими руками внучка дергает меня за рукав, будто за веревку колокола.

Бабушка — это Хильдегард. Как трудно представить себе, что для кого-то Хильдегард бабушка. Что я могу о ней рассказать? Ничего. Только то, что волосы у нее были светлые и что она была очень-очень милая, и что любила занавески, а еще книги и герань, и что у Батто ей постоянно давали больше яиц, чем полагалось по карточкам. Кто возьмется живописать невинность? Я не берусь. Кто возьмется живописать откровение любви? Счастье? Я не берусь. Неужели я должен представить Хильдегард моей трехлетней внучке так, словно представляю ее медкомиссии по освидетельствованию призывников — чисто вымытой и раздетой донага? Не могу же я описать три десятка наших совместных завтраков, каждый в отдельности? Это невысказано. Не столь уж трудно объяснить трехлетней крошке, что означает самовольная отлучка из части, но как объяснить ей, из *какой* части? На это я не способен. Процесс «делания человека» начинается лишь тогда, когда ты отлучаешься из части, из действующей части; этот вывод я без обиняков советую усвоить грядущим поколениям. (Но будьте осторожны, если опять начнется стрельба, всегда найдутся кретины, которые будут целиться и попадать в цель!) В беседах с внучкой я ограничиваюсь вариантом в стиле мещанских картин Шпитцвега: хорошенькая молодая женщина выглядывает из своей мансарды — она поливает из желтой лейки герань в ящике за окном; на заднем плане в кухонном шкафчике виднеются «Идиот» Достоевского, «Пальма Кункель», сказки братьев Grimm и «Михаэль Кольхаас», а по бокам две фарфоровые банки с надписями «Рис», «Сахар», около шкафчика детская коляска с барахтающимся младенцем, которому кто-то (это был я; в припадке раскаяния бью себя в грудь кулаками) смастерил погремушку из веревки и ременных пряжек. На пряжках вооруженный биноклем шпик без труда различил бы лопату в обрамлении колосьев. («И это была моя мама?» — «Да».) А если я выбираю другое место для прогулки — не пристань Лея и не Франконскую верфь, а дровяной рынок и Байенштрассе, да еще даю себя увлечь на бульвар у Убиринга, то тут внучка с детской настойчивостью и неумолимостью тащит меня на улицу, название которой я однажды выболтал, местоположение которой однажды выдал. («Где стоял этот дом?» — «Вон там». — «Где была ваша комната?» — «Приблизительно тут». — «А как же бомба не попала в маму?» — «Она была у бабуш-

ки». — «Ты хочешь сказать: у прабабушки?» — «Да».) Я торжественно обещаю — и намерен выполнить это обещание — прочесть ей вслух «Идиота», «Михаэля Кольхааса» и «Пальму Кункель». Сказки братьев Гримм мы с ней уже читали. Прогулки в сторону Байенштрассе обычно заканчиваются визитом к прабабушке. Там пьют кофе (я не пью), едят пироги (бабу, которую в других городах именуют кексом и которую я не ем), курят (я не курю), молятся (я не молюсь). Заложив руки за спину, я подхожу к окну и смотрю на Зеверинстор. Когда над городом появляются самолеты — или, как изящно пишут в газетах: «стрелой проносятся самолеты», — у меня начинается то внезапное, почти эпилептическое подергивание, которое наводит на мысль, что со здоровьем у меня неблагополучно, — и здесь уж каждый читатель догадается, о чем давно догадался читатель искушенный, я — психопат. Иногда припадки длятся долго: на обратном пути я волочу ноги, руки у меня трясутся. Недавно одна мамаша, указав на меня пальцем, громко и внятно сказала своему сыну, парню лет пятнадцати:

— Погляди-ка, вот типичный случай болезни Паркинсона.

Что, впрочем, не соответствует действительности. При виде экскаваторов я иногда также начинаю подергиваться и шепчу про себя: «Труд делает свободным». Это обстоятельство побудило на днях одного молодого человека, шедшего позади меня, воскликнуть: «Знакомый тип!» К тому же я заикаюсь — последствие черепного ранения; только песни беспрепятственно слетают с моих уст, а что может спеть человек моего поколения, кроме как: «Германские девы, германская верность, германское пиво, германские песни?» Так что замечания вроде: «Знакомый тип!» — мне приходится выслушивать часто. Я к ним привык. Добавьте к этому, что, несмотря на чистые руки, под ногтями у меня вечно грязь, что я не ходатайствовал о пенсии по инвалидности, хотя являюсь инвалидом войны, и что тем самым лишил себя официального документа, в котором объяснялось бы происхождение моих явных физических изъянов, — и вы поймете, как трудно людям удержаться от замечаний: «Знакомый тип», но я упрямо пропускаю эти замечания мимо ушей. Чего можно ожидать от людей со здравым рассудком?

Советы я приемлю только от тещи. «Почему ты не бреешься? Надо больше интересоваться делами фирмы.

Не расстраивайся из-за этого Бертена, очень жаль, что твоя дочь вышла за него замуж. Неужели некому пришить тебе пуговицу? Поди-ка сюда!»

Что правда, то правда: шить я не умею; поэтому с удовольствием изображу в альбоме «Раскрась сам» много-много пуговиц, потерянных мною за те долгие годы, которые прошли со дня, когда мне минуло двадцать один, и до сего дня, когда мне уже стукнуло сорок восемь,—пуговицы будут круглые и овальные. И круглые и овальные пуговицы читатель может видоизменить и раскрасить по собственному усмотрению. Если ему захочется, пусть превратит круглые пуговицы в маргаритки или в ромашки; можно также сделать из них монеты, часы, луны или же сахарницы и электрические розетки—вид сверху; предоставляю полную свободу фантазии читателя: мои пуговицы он может превратить во что угодно—лишь бы оно было круглое, хоть в значки нацистской партии или в медали за спасение утопающих. Пуговицы овальные—их обычно пришивают, и притом довольно-таки слабо, к курткам и сходным одеяниям—легко могут быть превращены в шоколадные конфеты с ромом, в полумесяцы, в ванильные рожки и в запятые, а также в елочные украшения и серпы. С каждого года, вплоть до 1949-го, читатель может получить по дюжине, а после сорок девятого по полдюжине пуговиц—круглых и овальных, не считая нескольких сломанных «молний», весьма пригодных для превращения их в заросли терновника или же в колючую проволоку. Ну, а что касается крошечных пуговок от рубашек—к сожалению, они бывают только круглые,—то мы просто насыпем их полными пригоршнями на страницы альбома, как сахарную пудру на готовый пирог. Могу предоставить также богатый выбор дырок разных фасонов—дырки в носках, дырки в рубашках, так называемые прорехи; дырки—особенно ценный материал для любителей раскопок, ведь каждому ребенку известно (я повторяю это для взрослых, у которых вообще короткая память), что для археологии нет ничего более важного, нежели дыра. А вдовец, который, подобно мне, упорно не желал освоить портняжное искусство и столь же упорно не хотел надраивать себе башмаки, может предоставить сколько угодно дырок. На днях один профессиональный чистильщик сапог—их теперь днем с огнем не сыщешь—сказал мне тоном упрека:

— Видно, вы даже не представляете себе, что значит следить за обувью.

Уверен, что во времена оны он был фельдфебелем, а стремление воспитывать — у каждого немца в крови. Зато теща меня не воспитывает, она просто старается привести меня в божеский вид: то снимет пушинку с пальто, то «поправит» плечи — два ватных валика, вшитые в пиджак и в пальто, то нагнется, чтобы покрепче затянуть (а не развязать) шнурки и засунуть их в ботинки. Она особым образом нахлобучивает мне шляпу со словами, «нельзя отставать от моды» (под этим она понимает то, что считалось модой в двадцатых годах), а потом вдруг раздражается слезами, обнимает меня, целует в обе щеки и говорит, что я всегда был ей настоящим сыном, больше, чем ее родные сыновья, за исключением, конечно, Ангела, но тот был для нее «даже больше, чем сын». Своего сына Иоганна она запросто именует «вонючкой», своих невесток — «лишним балластом», а своего мужа — «пролетарским выскочкой»; с тех пор как старик завел себе пуделя (желтый ошейник, желтый поводок), он для нее вообще не существует. «Жизнь нас так развела, как не разведет ни один суд». И когда теща говорит мне: «Ты все еще в самовольной отлучке», я знаю, что она имеет в виду.

Время от времени я приглашаю ее в ресторан, а потом катаю на такси по Кёльну: хочу, чтобы она уяснила себе, до какой степени можно разрушить разрушенный город. Я требую счет за обед (на аппетит она, слава богу, не жалуется, любит «вкусно покушать») и за поездку на такси, а потом пишу на счетах: «Деловая беседа между поставщиками фирмы». И всякий раз после этого у моего щепетильного и дотошного поверенного слегка разливается желчь: во-первых, нельзя писать *между* поставщиками, надо писать «с...», во-вторых, потому что это вообще «некорректно». Недавно, сидя в такси, теща посмотрела на меня своими темными глазами, вернее, бросила взгляд под названием «я тебя вижу насквозь» и сказала:

— Знаешь, чем тебе надо заняться, знаешь, что ты должен делать?

— Нет, не знаю, — сказал я с беспокойством.

— Тебе надо бы опять приняться за учение.

Впервые за последние восемнадцать лет я расхохотался, без преувеличения могу сказать, что это был оглушительный смех. В последний раз я хохотал столь

оглушительно, когда один американский лейтенантик назвал меня «focken German Nazi». Вероятно, оба они были правы — и теща, и американский лейтенант. В присутствии лейтенанта я запел вполголоса то, что часто напеваю, уже почти произвольно, особенно когда сижу в одиночестве на веранде в кафе Рейхарда. «Германские девы, германская верность, германское пиво, германские песни...»

Иногда мы сидим в кафе Рейхарда вместе с тещей — она тихонько плачет, и я не требую объяснений, сам ничего не объясняю и тем более не навязываю ей своих утешений; она оплакивает погибших детей и размышляет о том, что никто из них не нашел успокоения на кладбище. И нет могил, чтобы их можно было убрать цветами, нет успокоения и той обманчивой, грустной, украшенной цветами тишины, которая притягивает к кладбищам романтиков (таких, как я) и превращает сии печальные обители чуть ли не в санатории для психопатов (таких, как я), ибо, сидя под сенью кладбищенских деревьев и кустов, они могут созерцать вдовиц, выпалывающих сорную траву на могилах, (как ни странно, вдовцы, выпалывающие сорную траву на могилах, редкое явление), и размышлять о бренности человеческого бытия.

Итак, когда я сижу на веранде кафе Рейхарда in front of the cathedrale, у меня есть все основания жалеть, что я нахожусь не на базарной площади в Баллахулише и не ожидаю прибытия бродячего цирка, который появится там этак месяцев через восемь.

Внучка спрашивает, почему плачет прабабушка, и вопрос этот сблизает ее с кельнерами и их клиентами, которых ужасно смущает эта «диковинно одетая плачущая старуха» и отдаляет от нас, низводя меня и прабабушку прямо-таки до уровня неандертальцев. Недаром моя дочь и зять наотрез отказываются появляться с нами в общественных местах. У дочери, правда, хватает почтительности не анализировать причины своего отказа, зато зять не скрывает, что мы для него — «нечто среднее между слабоумными и асоциальным элементом». Пока лишь внучка сохраняет ту невинность души, которая позволяет ей развлекаться в нашем обществе. Но если бы я захотел ответить на ее вопрос и объяснил, что в каких-нибудь двух-трех метрах от нас расстреляли ее двоюродного дедушку, она вряд ли поверила бы; куда легче верить обоим прадедушкам, которые с такой точностью датируют свои археологические

находки. И уж вовсе бесполезно объяснять ей, что есть люди, которые плачут на могилах и на местах казней, особенно если один из казненных — их сын; тут, пожалуй, даже наша малышка решит, что такого рода взрывы чувств основаны на комплексах и старомодной злопамятности. Напрасно я ссылался бы на Деву Марию, которая, как говорят, плакала у подножия распятия, — все равно мою тещу не спасешь от всякого рода ярлыков и все равно мой расстрелянный шурин Антон будет вызывать ассоциации с некоторыми кинофильмами. Да и нашу малышку уже не спасти, и не потому, что она воспитывается католичкой, а скорее вопреки этому. Религия будет для нее тем же, чем для иных женщин духи — ведь некоторые женщины всю жизнь душатся одними и теми же духами; через несколько лет духи моей внучки повысятся в цене, так как станут редкостью.

Теща тихо плачет и вытирает слезы чересчур большим платком, внучка лакомится мороженым, а я тем временем придумываю бесспорно бразильские фамилии для нашего счета, который намерен положить на стол своему добросовестному поверенному в качестве документа, поскольку «представительские» расходы не облагаются налогами. Не знаю, на какой фамилии остановиться — на Оливейро или на Эспиньяго? Разумеется, я сделаю их владельцами кофейных плантаций или же крупными оптовиками и в любое время буду готов поручиться, что вел с ними переговоры по делам фирмы. А уж после моей присяги Оливейро или Эспиньяго станут правомочными лицами для всякого рода официальных документов. Очень возможно, что я пристегну к ним еще какую-нибудь донну Маргариту или Хуаниту и опять-таки под присягой засвидетельствую, что послал ей в номер цветы.

О моем пристрастии к чаю я уже сообщал. Надо ли после этого объяснять, что означала для меня торговля кофе? Ну конечно же ровным счетом ничего. С этим кофейным бизнесом меня не связывают никакие духовные узы. Бумаги, которые мне дает поверенный, я подмахиваю не глядя. Но иногда я все же вынужден беседовать с плантаторами или крупными кофейными торговцами — на этот случай у меня в шкафу, разумеется, висит то, что люди называют «черной парой». Заиканье и нервное подергивание выглядят при деловых свиданиях не только эффектно, но, я бы даже сказал, изысканно. Они придают моей внешности нечто декадентское, и это

впечатление еще усугубляется тем, что я демонстративно пью чай. Всякие разговоры, даже в отдаленной степени напоминающие «частные беседы», я пресекаю в корне легким движением руки и гримасой, которую нельзя истолковать иначе чем гримасу отвращения. Я всегда терпеть не мог фамильярности, а так называемое «проявление чуткости» слишком живо напоминает мне полную бесчувственность. Зять, который участвует во всех деловых встречах фирмы, восхищается, с одной стороны, моим стилем, с другой (по вполне понятным причинам) — ненавидит его; иногда он смотрит на меня так, будто я статуя, только что извлеченная из земли и неожиданно начавшая производить какие-то телодвижения.

Скоро я окончательно переберусь к теще, и возможно, даже последую ее гениальному совету: опять примусь за учение. Придется только обождать, пока фирма перейдет в руки зятя и юридически и фактически. Он сам предостерег меня, посоветовав внимательно изучить каждый параграф нашего будущего договора и не полагаться на его гуманность, «так как в делах гуманность — пустой звук». Это его признание можно считать почти гуманным, во всяком случае добросовестным, но я не доверяю добросовестным людям, у которых нет собственного лица; придется поэтому подойти к договору с сугубой осторожностью. Старик Бехтольд уже фактически выехал из своей комнаты, правда, там все еще валяются образчики кож и по-прежнему стоит низкий сапожный стульчик (Бехтольды переезжали пять раз, и он все время таскал его с собой), хотя с того дня, как мы с его сыновьями метали жребий, кому вступить в штурмовики, он не починил ни одной пары башмаков. Комнату нужно заново оклеить и расставить там мою мебель. Анна Бехтольд уже подготовила программу нашего совместного житья — «в самовольной отлучке ты займешься науками». Я обещал ей также спустя двадцать с лишним лет выяснить наконец, что значит тот самый «рейнский гульден», о котором Хильдегард так взволнованно рассуждала вечером накануне смерти, когда она принесла малышку Хильдегард к бабушке. Ну и конечно, нам предстоят визиты родственников. Замуровать себя в четырех стенах все равно не удастся, продукты покупать надо, хочешь не хочешь. Итак, к нам будут захаживать «вонючка» Иоганн, «лишний балласт» — невестки, а также внуки, правнучки. Время от времени нам придется лицезреть и моего зятя; хитро

посмеиваясь, он даст понять, что ему все равно удалось обвести меня вокруг пальца, но его совесть будет совершенно чиста, ведь он меня предостерег. Я даже готов согласиться с романтическими представлениями тещи о «студенческой каморке». И поскольку у нее есть опыт в обхождении с «квартирантами», могу следовать также ее представлениям о «моде» — у меня лично они совершенно отсутствуют, — хотя эти представления почерпнуты из практики двадцатых годов; до сих пор теща применяла их, лишь нахлобучивая на меня шляпы «по моде». Теща вызвалась даже научиться заваривать чай.

Не знаю, сообщал ли я уже, что она, хоть и считается грамотной, пишет с трудом и что мне поэтому придется писать под диктовку ее мемуары — самыми черными чернилами на самой белой бумаге. Если я этого еще не сообщил, то сейчас восполняю пробел.

IX

Зять просит меня, чтобы в своих записках я «уделил больше внимания, пусть в отрицательном смысле», ему и его жене, раз уж я все равно выбалтываю семейные тайны. По отношению к дочери я в трудном положении: в конце войны, когда ей было четыре года, она пережила тысячу тяжелых воздушных налетов (теща не хотела уезжать из Кёльна «именно потому, что здесь у меня погибло двое детей») ... Как же можно обижаться на то, что дочь охвачена жаждой жизни? Внешне это проявляется в несколько лихорадочной погоне за материальными благами. Даже в самых приятных чертах ее характера — она обычно помалкивает, и у нее широкая натура — есть что-то лихорадочное. Со мной она не очень-то терпелива (по причине уже известных читателю травм я весьма медлителен — медленно раздеваюсь и одеваюсь, медленно ем, а мои припадки вызывают у нее отвращение, которое ей трудно скрыть), но я охотно списываю дочери по десять бестактностей на каждый воздушный налет; таким образом, дочь пользуется у меня почти неограниченным кредитом. К сожалению, она похожа не на Хильдегард, а на меня (факт более прискорбный для дочери, нежели для отца), и это еще повышает ее кредит. Даже в ее набожности чувствуется что-то лихорадочное — пунктуальность, приверженность к догмам; в результате брака с человеком иной религии

она впала сейчас в своего рода религиозный транс, который, впрочем, пройдет, как проходит действие любых возбуждающих средств. При встречах мы улыбаемся друг другу, но эта улыбка всего лишь вариант пожимания плечами. Дочь целиком находится под влиянием моего отца и своего мужа и усердно собирает «старинную мебель», которой обставит мои комнаты, как только я выеду; мысленно она уже выбрасывает мою мебель и ставит свою, взглядом специалиста по интерьерам измеряет расстояния, прикидывает различные варианты перестановок, соображает, какие цвета будут эффектней; я не удивлюсь и не обижусь, если, неожиданно войдя к себе в комнату, застаю ее там со складным метром в руках. Правда, это маловероятно: из-за моего нервного тика и больной ноги я поднимаюсь по лестнице очень медленно и отнюдь не бесшумно, тем самым я заранее предупреждаю о моем приходе. В связи с моей техникой хождения по лестницам я уже не раз слышал словечко «ползет». Однако о ползании на брюхе, о «делании человеков» и о чистке нужников пока, как уже сказано выше, еще речи не было. Иногда меня называют «идеалистом», потому что я не ходатайствовал о пенсии как инвалид войны. Но, по моему скромному разумению, это вызвано не идеальными, а вполне материальными причинами, связанными с моей мизофобией, то есть с манией чистоплотности. Мне всегда казалось непорядочным обогащаться на том, что хоть как-то связано с дурацким поведением особей мужского пола в военные годы. Тот факт, что немцы-мужчины оказались в эти годы в дураках, может, на худой конец, вызвать сострадание, но уж никак не уважение... Нет, я не смирюсь — буду и впрямь заниматься науками, что и является, возможно, результатом смирения, и не только для меня одного.

...Кто ищет, тот обрящет: меня всегда можно будет разыскать там, где, не рискуя сломать себе шею, я могу глядеть на Зеверинстор.

ДОПОЛНЕНИЯ

Я трижды крещен: как иудей — бранью, как немец — поцелуем, как христианин — в купели.

1. *Важное признание.* Мне так и не удалось изобразить выражение лиц обоих Бехтольдов после того, как я трижды обыграл их в кости,— этакую смесь

почтительности и изумления с истерической злобой и унынием; а когда позднее я предложил им, как будущий зять, заменить одного из сыновей Бехтольдов и вступить в СА, они завизжали от ярости: им хотелось запятнать Ангела, хотелось, чтобы именно он стал штурмовиком.

Маму я обозначаю всего лишь пунктиром — и на это есть основания: она была слишком хрупкая — вот-вот сломится, и рисунок не удастся; поэтому лучше, если читатель наклеит в альбом «Раскрась сам» какое-нибудь готовое клише или воспользуется переводной картинкой — мать была буржуазная дама, так сказать, эпохи тридцать восьмого года, лет сорока пяти — субтильная, но отнюдь не томная. Окружающее вызывало у нее отвращение, но не по социальным причинам.

Что касается меня, то я уже признал, что являюсь романтиком, а также психопатом и питаю склонность к идиллиям; повторяю это исключительно для взрослых.

Все эти двадцать лет я знаю, что это за история с «рейнским гульденом», о которой Хильдегард говорила с таким волнением. Казарменное сообщество, где меня благословили ползать на брюхе, обругали жидом, приказали чистить нужники, чтобы «сделать из меня человека», и где я встретил Ангела, находилось в лесных дебрях, тех самых, где разыгрывались многие сказки братьев Grimm; приказы, ругань и благословенья предводители этого сообщества в большинстве случаев произносили на диалекте, на котором, вероятно, изъяснялась нидерцверенская сказочница, развлекавшая братьев Grimm своими небылицами. Поэтому нет ничего удивительного, что я подарил Хильдегард на свадьбу «Михаэля Кольхааса» и «Сказки братьев Grimm» («Идиота» и «Пальму Кункель» она принесла в приданое); не удивительно также, что Хильдегард любила читать сказки и что сказка «О том, как дети играли в бойню» произвела на нее сильное впечатление, показала ей, так сказать, актуальной. Наверное, она знала ее наизусть, раз все время повторяла фразу, которую так и не поняла теща: «И вот они берут рейнский гульден, берут рейнский гульден». Стало быть, я знаю, в чем дело, но дело это такое сложное, что я не берусь объяснить его теще. Да и у меня у самого кое-что построено на *догадках*. Во всяком случае, актуальность «рейнского гульдена» не подлежит сомнению. Кому придет в голову брать яблоко, если каждому ребенку известно, что за гульден можно купить,

наверное, сто яблочек? Все мы играли друг с другом в войну, хотя уже выросли из детского возраста, невинность — не разменная монета. Если я еще добавлю, что *моя любимая сказка* — «Поющая косточка», читатель и вовсе умрет со смеху.

2. *Мораль.* Настоятельно рекомендуется самовольная отлучка из части. Дезертирство и побеги в этой повести скорее поощряются, нежели осуждаются: ведь, как уже сказано, есть кретины, которые не только целятся, но и попадают в цель, поэтому каждый должен помнить, что он рискует многим. С огнестрельным оружием шутки плохи. Напоминаю вам об Ангеле и об Антоне Бехтольде.

Отлучка из нерегулярных частей особенно опасна: у так называемых мыслящих людей, обычно страдающих недомыслием, она, можно сказать, автоматически возбуждает подозрение, будто «отлучающийся» — ренегат и хочет перейти в регулярные части. Итак, будьте сугубо осторожны.

3. *Толкование текста.*

А. Три офицерских носовых платка (белых), которые были подарены монахиням и украдены на армейском складе, не что иное, как три лилии, превращенные в платки: белые лилии кладут к подножью алтарей Святого Иосифа, Девы Марии и вообще всех, кто сохранил невинность и был причислен к лику святых. Упомянутые лилии непосредственно связаны с *самой* белой бумагой, на которой я пишу, с моей манией мытья рук, с отвращением ко всякого рода смотрам и к собственноручному надраиванию сапог, а также с моей явной любовью к чистоте. Иначе кто стал бы из-за разрешения вымыться красть военное имущество, ведь армейский уголь хоть и был добыт в Лотарингии, но *по праву* принадлежал германскому вермахту; да и сложные переговоры, и именно с монахинями, свидетельствуют о полнейшей моей невинности.

С другой стороны, частые упоминания экскрементов и грязных ногтей, равно как и почти сладострастное изображение собственных недугов: припадков эпилептического характера, хромоты и болезненного отвращения к гулу самолетов, который и вызывает упомянутые припадки, — все это показывает, что рассказчик совершенно справедливо назвал себя психопатом, а также справедливо причислил себя к разделу романтиков и людей смирившихся. Нельзя также не отметить авторской

тенденции говорить об «избранных», пусть даже речь идет об «избранной касте» золотарей. Следует выяснить также, не связано ли отвращение к «рейнскому гульдену» с нежеланием (совершенно непонятным) выхлопотать и получить то, что положено в качестве компенсации за ранения и травмы?

Б. Упоминание о Гансе и Гретель объясняется обстоятельствами, которые нетрудно установить: рассказчик неоднократно находился в лесах в отлучке из своей части, трудившейся не покладая рук; он блуждал один, не имея ничего, кроме куска хлеба в кармане, и с тоской думал о Гретель, утешавшей своего братца. А тот факт, что третья сказка, упомянутая автором в качестве его «любимой сказки» — «Поющая косточка», несомненно, как-то связан с «рейнским гульденом».

В. Попытку поставить знак равенства между наукой и смирением или, во всяком случае, как-то сблизить эти понятия можно объяснить глубоко укоренившимся с детства подсознательным отвращением к собиранию гербариев.

Г. Ангел (Энгельберт) не является символом ангела, хотя его так звали и хотя он, по словам автора, был похож на оного.

Д. Рассказчик что-то скрывает. Что именно?

РАДИОПЬЕСЫ



HÖRSPIELE

© Черная Л. Б., Оттен Н., Архипов Ю. И.
Переводы. 1996 г.

СТУК, СТУК, СТУК...

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

М у ж, около сорока пяти.

Ж е н а, между тридцатью и сорока.

С в я щ е н н и к.

Ю л и у с.

С у д ь я.

М у ж. Часто я просыпаюсь среди ночи и жду, что сейчас услышу перестук.

Стук в стенку: три раза, шесть, четыре, один.

Если стука нет, я вспоминаю ночь, когда впервые ничто не нарушило тишину. Это было в ту ночь, когда Юлиуса провели по коридору, чтобы расстрелять во дворе. Я слышал его крик, глухие удары в двери камер — наш последний ему привет.

Крик. Сперва тихие глухие, робкие, а потом нарастающие удары в железные двери, переходящие в грохот.

Юлиус умер без священника, не получив отпущения грехов, а он всей душой жаждал отпущения грехов. Я был его восприемником, когда он крестился в тюремной душевой. Я прикрывал спиной священника, а Юлиус прятался за широкой спиной взломщика, пока священник торопливо произносил положенные слова.

С в я щ е н н и к. Я крещу тебя во имя отца и сына и святого духа...

М у ж. Юлиус сидел в соседней камере, справа от меня, а священник — в камере слева, и я должен был передавать то, что выстукивал Юлиус, священнику, и то, что выстукивал священник, Юлиусу. Вопрос Юлиуса — ответ священника, вопрос священника — ответ Юлиуса.

Это были те самые вопросы и те самые ответы, которые я снова слышал сегодня днем, когда мои дети готовились к первому причастию.

Слышен беспорядочный стук. Потом:

С в я щ е н н и к . Отрекаешься ты от дьявола?

Стук.

Ю л и у с . Отрекаюсь.

М у ж . Сначала это длилось по полчаса, затем целыми часами. Я уставал, засыпал и снова просыпался, если Юлиус или священник стучал уж очень сильно.

Кто-то барабанит кулаком за стеной, сперва громко,
потом все тише.

Это лишь жена. Месит тесто. Песочное тесто для торта, который мы будем завтра есть. А это стены моей квартиры, мои шкафы. Слышите, я открываю и снова закрываю их.

Шаги.

Я иду в комнату напротив, где спят наши дети. Кто может устоять перед соблазном взглянуть на спящего ребенка? Вероятно, мне все это снится. Эта квартира не существует, и стены ее — только сон, а дети — только привиделись.

Стук из соседней комнаты.

Это стучит Юлиус или священник, а может, моя жена месит тесто? Завтра мы празднуем первое причастие нашего старшего, а Юлиус так и не дожил до первого причастия. Ночи напролет отдавался перестук в моих ушах.

Перестук. Быстро, медленно, потом снова быстро.

Стучал Юлиус, в ответ стучал священник — символ веры, Отче наш. В один из последних вечеров священник простучал: «Твои грехи отпускаются тебе...» Я передал это дальше. У меня были ободраны суставы пальцев; в санчасти их всегда смазывали мазью, одной и той же мазью от всех болячек.

Шаги. Маленькая пауза. Открывается дверь.

Это ванная. Вот лежит мыло, зубная паста, аккуратно, в ряд стоят стаканчики с зубными щетками, щеток четыре: синяя, красная, желтая и зеленая; зеленая —

моя. Я дома. Тут на гвозде висит мой купальный халат, я сам вбил этот гвоздь пятнадцать лет назад. Тот же гвоздь, тот же купальный халат. Даже зеркало не пострадало в войну. А вон там — целлулоидная утка и корабль из сигарных коробок, который дети пускали в ванной. Сейчас в ванне охлаждается вино, которое мы завтра будем пить. Рано утром принесут мороженое. Не забыть бы открыть консервированные ананасы, — жена об этом просила, ведь за все то время, что мы женаты, она так и не научилась открывать консервные банки. Дверь закрывается. Шаги. Затем тишина, и снова слышен настойчивый стук.

С в я щ е н н и к. Юлиус, веруешь ли ты в Бога, всемогущего отца, Творца земли и неба?

Частый перестук.

Ю л и у с. Верую.

М у ж. Священник был маленький, рыжий, стриженный наголо, в арестантской одежде он скорее походил на убийцу. Мы все ходили на убийц. Но я никого не убивал. Я дал кусок хлеба и несколько сигарет поляку, который проходил мимо нашего дома. Это видел сосед, а он знал, что по закону такие вещи запрещены. Сосед соблюдал законы, он такой и сейчас. Его донос стоил мне года тюрьмы; после прочтения приговора судья сказал:

С у д ь я. Учитывая мягкий приговор, подсудимому предложено отказаться от своего права на апелляцию.

М у ж. Я отказался от своего права на апелляцию.

Звон разбитой посуды, открывается дверь. Шаги.

Мука? Упала банка с мукой?

Ж е н а. Прости, я что-то нервничаю. Столько еще надо сделать. Даже если будет и не так много гостей.

М у ж (*тихо*). Юлиуса казнили за пол-ложки муки. Я не могу смотреть, когда просыпают муку... Я... Прости...

Ж е н а. Прости ты меня... Понимаешь... Ты должен понять...

М у ж. Стоит мне увидеть белую пыль над грузовиком, который везет муку с мельницы в пекарню, и я думаю, что это во сто крат больше того, за что пришлось умереть Юлиусу.

Ж е н а. Я ведь нечаянно.

М у ж. Мука на лице пекаря, на его колпаке, на его

волосах. Мука, которую он по вечерам стряхивает с куртки,— это как раз столько муки, за сколько Юлиусу...

Ж е н а. И должно же это было случиться со мной как раз сегодня!

М у ж. Хорошо, что это случилось сегодня. Только не трогай муку. Я сам ее смету. Ты уже со всем управи-лась?

Ж е н а. Да. Мясо зажарено, торт испекся. Смотри, как он подрумянился. Красные и зеленые фрукты сверху и сливки, белые; как только что выпавший снег. Дети уже спят, но еще не поздно. Ровно девять. Успеем выспаться. И я, вроде, могу быть довольна: даже кофе и то смолот, все выглажено, а утром придет Хильда — она мне поможет.

М у ж. Но ты почему-то грустная?

Ж е н а. Я вижу, как ты смотришь на муку. Но ведь я нечаянно. Неужели ты не можешь забыть? Попробуй забыть. Вот уже час я слышу, как ты ходишь из угла в угол и что-то бормочешь, будто ты не здесь, а где-то еще. Прямо страшно становится.

М у ж. Можно провалиться в прошлое, как в яму. Тогда все сливается — и настоящее, и прошлое, и будущее — и ты не знаешь, что это — прошлое в настоящем или настоящее в будущем? Все едино. Я сижу в камере и жду, когда раздастся стук. (*Стучит в дверь костяшками пальцев: два раза, пять раз, четыре, один.*)

Ж е н а. У тебя ободраны суставы пальцев. Может, положить на них мазь?

М у ж. Да, пожалуйста.

Открывают и снова закрывают шкаф.

Правда, хорошая мазь. Знаешь, что означал тот стук? Муку. Это значило, что Юлиусу удалось добыть муку. Пол-ложки. Но для того, чтобы принять причастие, надо было еще о многом позаботиться. Надо было тайком доставить в камеру священника вино. Мы достали его в санчасти, на бутылке была этикетка «Микстура от кашля». Нужен был утюг, и надо было его накаливать. При помощи горячего утюга Юлиус приготовил облатки. Они были не очень белыми, скорее коричневыми, как поверхность утюга, и крохотными, как грошики. Из пол-ложки муки их получилось двадцать. Вот тогда священник смог отслужить в своей камере мессу и освятить святые дары, и я думаю о тех мессах, на которых

никогда не присутствовал, как о чем-то очень мне дорогом.

Ж е н а. А те, на которых ты можешь присутствовать — здесь, теперь, завтра, — должны быть тебе еще дороже. Та жизнь была для тебя чужой, ненастоящей, а наша жизнь — настоящая. У нас есть специальные пекарни, выпекающие облатки, и никому не надо умирать за пол-ложки муки.

М у ж. Маленькие облатки, которые ночью освятил священник, были завернуты в конвертики из газетной бумаги, и утром на тюремной прогулке их передавали из рук в руки, как нелегальную записку. Первую я получил из рук убийцы, который шел впереди меня.

Ж е н а. Почему ты вечно думаешь о всех этих ужасах?

М у ж. Потому что не считаю это ужасом, да и тогда не считал. Казалось, что так и должно быть. *(Делает несколько шагов и открывает окно.)* Там внизу, у этих самых ворот, стоял поляк, которому я дал хлеб, — помнишь? Это п р а в д а, что я дал ему хлеб?

Ж е н а. Да, ты дал ему хлеб. Я будто его вижу: маленький, светловолосый, совсем еще ребенок. Был вечер, фонарей не зажигали, потому что шла война. Он ничего не сказал, только молча протянул руки к нашему кухонному окну, и ты вышел и дал ему хлеба и сигареты. Не забуду, как он здесь стоял и молча протягивал руки.

М у ж. И я даже гордился тем, что был осужден за это, а не за убийство и не за грабеж. Но крошечный конвертик из газетной бумаги мне дал убийца.

Ж е н а. Почему он это сделал?

М у ж. Не знаю. Но сделал. Он не верил ни в Бога, ни в церковь, ни в священника, ни в святые дары. Он только передал мне тайком конвертик, где лежала освященная облатка.

Ж е н а. А он знал, что тебе дает?

М у ж. Он знал, что мы в это верили, и знал, что должен передать это м н е и никому другому, поэтому никому другому он этого и не отдал.

Ж е н а. Он действительно убил человека?

М у ж. Он признался в этом на суде. Когда его вели на казнь, мы и ему барабанили на прощание.

Удары кулаками о железные двери. Шум усиливается и переходит в грохот.

Последний привет. Я знаю лишь его имя — Вальтер,

у него были маленькие, нежные руки. Потом уже другой шел передо мной на прогулке по кругу. Я получил следующий конвертик из рук взломщика. Он был тучный, с тяжелыми лапищами. Его звали — Курт. Он — единственный, кто вышел на свободу, единственный, кого я встречаю.

Ж е н а. Что он сейчас делает?

М у ж (смеется). Я его ни разу об этом не спрашивал. Когда мы встречаемся, мы останавливаемся друг против друга, смеемся и не произносим ни слова, а когда мы расходимся — все, что было, предстает предо мной как видение, а то, что есть, кажется таким же призрачным. Белая облатка, которую завтра положит мне в рот священник, ничем, по существу, не отличается от той, которую я получил из маленьких, нежных рук убийцы Вальтера, или той, что я взял из лапищ громилы Курта. Когда я встречаю Курта, я всегда смотрю на его руки.

Ж е н а. Я часто просыпаюсь ночью и слышу, как ты во сне стучишь в стену.

М у ж. Ритм, навязанный Юлиусом и священником, засел во мне. Часто я проклинал их обоих, так я уставал. Они, кажется, никогда не уставали. Помню, как я был напуган, когда однажды утром услышал только одно короткое слово и передал его дальше.

Короткие, длинные и снова короткие удары. Стук в стену.

Ж е н а. Что это значит?

М у ж (медленно). Верую.

Ж е н а. А почему ты так испугался?

М у ж. Сам не знаю почему. Но испугался. Это было так просто, ясно и так убедительно, как ничто. Ты ведь знаешь, Юлиуса я никогда не видел. Он работал на кухне, доставал муку, делал для нас облатки задолго до того, как они понадобились ему самому. Мы так никогда и не узнаем, кто его предал. Его вдруг обыскали, и когда нас вывели на утреннюю прогулку, облатки, которые у него нашли, лежали на земле — желтовато-белые кружочки, крохотные, как грошики, растоптанные, опять превращенные почти в ту же муку. На этот раз одна из облаток должна была достаться Юлиусу, но так ему и не досталась, а мы лишились их на полгода. Пока не сняли начальника тюрьмы. Потом возобновились службы в тюремной церкви, а прежнего начальника наказали за то, что он нам их запрещал.

Ж е н а. Наказали?

М у ж (смеется). Конечно. Он поступал незаконно.

Ж е н а. Почему ты смеешься?

М у ж. Курт презирал нас, ведь теперь мы по закону получали то, что прежде было запрещено... И когда я потом сидел в тюремной церкви и думал о Вальтере, я казался себе каким-то жалким. Он рисковал головой, когда передавал мне конвертик, — что бы он подумал, если бы увидел, как сейчас мы без малейшего риска получаем то же самое на глазах у тюремщиков?

Ж е н а. Для него это не было бы тем же самым, хотя это то же самое!

М у ж. Да. И после этого ты удивляешься, что я во сне стучу в стену? Провожая Вальтера, шлю последний привет Юлиусу? Ты удивляешься, когда я, проснувшись, лежу и жду стука или когда я прихожу в ужас при виде просыпанной муки? Даже такая малость, как пудра на ресницах у мальчика из булочной, который по утрам ставит хлеб у нашей двери, та белая пыль, что покрывает его воротничок и его рукава. И не так из молитв священника, как из выстукивания Юлиуса — «верую».

Короткий, длинный, короткий стук.

Я понял, чего стоит то, что никогда не досталось Юлиусу, человеку, с таким простодушием выстукивавшему через стену символ веры. А я передавал его дальше. Эту длинную молитву из долгих и коротких стуков в стену.

Стук, короткие и длинные сигналы, сменяющие друг друга.

Ю л и у с. ...Умер и погребен, и на третий день воскрес из мертвых.

Ж е н а. Мне часто становится страшно — кажется, что ты где-то рядом с нашей жизнью. Ты стучишь в стены, которые тут не стоят, передаешь сигналы людям, которых я не знаю. Я боюсь, что ты никогда целиком не вернешься в наш мир.

М у ж. А мне часто бывает страшно прикоснуться к двери, к стене, к шкафу — я боюсь, что от моего прикосновения они превратятся в прах, как скелет, который долго пролежал в могиле и может рассыпаться от малейшего дуновения.

Сильно стучит по столу, в дверь, в стену.

Ж е н а. Но ты видишь, какое все это крепкое!

(Смеется.) Слышишь? (Стучит в дверь.) Ты слышишь, как она выдерживает удары?

М у ж. Меня поражает твое мужество.

Ж е н а. Попробуй, убедись сам, что вещи вокруг нас не разлетаются в прах. Возьми бутылку вина, откупорь ее.

Он откупоривает бутылку вина.

Выпьем в память Юлиуса, если ты хочешь за него выпить. Хочешь?

М у ж. Хочу. И я выпью за нашу маленькую дочку, которая завтра получит то, что так и не досталось Юлиусу,— маленькую белую облатку. (Небольшая пауза.) Я открою банку ананасов, буду есть торт, жаркое, сливки, такие белые, как только что выпавший снег. Я буду жить дальше в этом мире, который нашел таким же, каким оставил. Наш дом по-прежнему номер восемьдесят семь. Ключ от дома все тот же, что и до тюрьмы. Моя зеленая зубная щетка стоит рядом с твоей желтой, а теперь к ним добавились еще две: синяя и красная. Я вижу, как дышат наши дети, когда стою около их постелей. Каждую жилку их дышащего тельца наполняет жизнь. Кто может спокойно смотреть на мирно спящего ребенка? Платье для первого причастия висит на вешалке, оно белоснежное, утром его украсят свежей зеленью. Разве о них не будет сказано то же, что и обо всех нас?..

С в я щ е н н и к. Memento, quia pulvis es et in pulverem reverteris. Помни, что прах ты и в прах возвратишься.

М у ж. Это он сказал о них?

Ж е н а. Да. Он это сказал о них. Но и другой тоже.

С в я щ е н н и к. Кто верит, тот будет жить, даже если умрет.

М у ж. Часто, когда я вставляю ключ в замочную скважину, я боюсь, что дом обратится в прах и я останусь стоять один, с ключом в руке перед миром, для которого не нужно ключа. Перед миром, где я наконец увижу Юлиуса, которого никогда не видел. Он был осужден за государственную измену. Надеюсь, и в самом деле он совершил ее: это могло утешить Юлиуса, когда он умирал. Не могла же его утешить мысль, что он умирает за пол-ложки муки. Я слышу короткий перестук.

Раздается стук: короткий, длинный, короткий.

Юлиус. Я верую.

Муж. И более долгий.

Долгое выстукивание.

Юлиус. Когда ты дашь мне хлеб, в котором заключена жизнь?

Священник. Завтра.

Муж. Завтра. Будущее. На него уповаю, хотя ни прошлое, ни настоящее не дают на это оснований. Мир без стен, без камер, без перестука, без страха, без насилия. Мир, в котором ничто больше не превращается в прах. Не бойся, я знаю, как дороги эти маленькие кружочки белого хлеба; может быть, они так дороги потому, что Юлиус так сильно мечтал о них. Я был только передатчиком, я перестукивал дальше «верую». Когда дашь ты мне хлеб, в котором заключена жизнь?

Священник. Завтра.

Муж. Это «завтра» для Юлиуса так и не настало. Не бойся, если я снова начну стучать в стены этого мира, чтобы убедиться: стены эти устойчивы, не бойся, если я захочу передать сигналы государственного преступника Юлиуса убийце, которого звали — Вальтер, чтобы их услышали в другом мире.

Тихие, глухие стуки, которые постепенно затихают.

Но я все еще не могу привыкнуть к этому миру, который создан из праха: есть еще вино в бутылке, в которой никогда не было микстуры от кашля; в шкафу стоят книги, а в стаканчиках — зубные щетки; свежее испеченный торт лежит на деревянном блюде; у входа светит фонарь; сосед все так же блюдет закон, и судья все так же прав; а я до сих пор не знаю, что делает Курт, человек со здоровенными лапищами; теперь ведь больше не судят за то, что ты дашь кому-нибудь кусок хлеба или сигарету, и когда я вставляю ключ в дверь дома, я не стою перед прахом, который медленно оседает. Но когда я слышу молитву, я слышу ее не так, как произнесет молитву завтра моя маленькая дочь, а так, как я слышал ее от Юлиуса.

Выстукивание — тихое, потом громкое, снова тихое; постепенно все затихает.

1960

ДОМОФОН¹

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Франц Ребах, под пятьдесят.

Марианна Ребах — его жена, сорок с небольшим.

Франц Ребах — его сын, почти шестнадцать.

Роберт Кёлер, под пятьдесят.

Примечание автора: диалог должен быть «тонирован» (кроме сцен, в которых Ребах беседует с сыном и женой) всеми техническими средствами; помехи, которые возникают при разговоре через домофон, должны своеобразно мелодически окрасить диалог, сделать его словно потусторонним по сравнению с обыденным звучанием семейных сцен.

I

Слышен звонок. Один, другой. Не слишком громко.

Ребах. Ты же сказал, что меня нет дома.

Франц. Да, я ему сказал.

Пауза.

Ребах (*вздыхая*). Кажется, он, слава богу, ушел... Смотри, Франц, я принес тебе на редкость красивую марку — испанская... Филипп Второй. Погляди, как хорош золотой фон, а на нем — он, этот черный, торжественный король. Ты ведь знаешь, кем был Филипп Второй и какую он сыграл роль?

Франц. Да, папа... Прекрасная марка.

Ребах. А вот еще одна красивая марка — шведская, с драгоценным камнем... Ты знаешь этот камень?

Франц. Это топаз, папа... Красиво...

Ребах. Какое строение у камня!.. Великолепно. Это целая серия... Посмотрю, нет ли...

Снова звонят, один раз, очень робко.

Вот настойчивый тип! Бывают же такие люди. Знать не желают, что человеку тоже нужен покой. (*Сердито.*) Ничего не понимают.

¹ «Домофон», или «переговорное устройство» («Sprechanlage») — двухсторонняя связь через микрофон и громкоговорители между квартирой и людьми за наружной дверью. (*Примеч. ред.*)

Еще раз звонят.

Франц. Пойти открыть?

Ребах. Да, пойд и скажи, что меня нет дома... Но будь немного решительнее.

Франц (*уходит, оставляя открытой дверь; слышно, как в некотором отдалении, в передней, он говорит в микрофон*). Я же вам сказал, что отца нет дома.

Неразборчивое бормотание из динамика.

(*Неуверенно.*) Нет, его видеть нельзя.

Бормотание из динамика.

Хорошо... Я сейчас узнаю. (*Возвращается, говорит, стоя у двери.*) Я ему сказал...

Ребах (*шепотом*). Ты выключил эту штуку?

Франц. Да... Но он говорит...

Ребах (*сердито*). Ты просто был недостаточно решителен. Сперва говоришь, что меня нет дома, а потом — что меня нельзя видеть. По твоему голосу можно понять, что ты лжешь. Возьми себя в руки, говори уверенно.

Франц. Он сказал, что, если я назову тебе его имя, ты окажешься дома.

Ребах. Его имя?

Франц. Он говорит, что его зовут — Роберт.

Ребах (*растерянно*). Роберт?.. Роберт?.. А фамилия?

Франц. Он не назвал. Говорит, что будет достаточно, если я скажу, что с тобой хочет говорить Роберт.

Ребах (*тихо*). Роберт?.. Не может ведь это быть Роберт Кёлер... Роберт Кёлер!.. (*Встает, стремительно идет в переднюю, со страхом в голосе говорит в микрофон.*)

II

Ребах. Кто вы?

Кёлер (*смеется*). Я — Роберт.

Ребах. Роберт Кёлер?

Кёлер (*смеется*). Не знаю, сколько Робертов ты знаешь, чей голос...

Ребах (*взволнованно*). Роберт, ты должен сейчас же подняться сюда. Ты должен... Нет, лучше я спущусь

вниз. Где ты все время пропадал, Роберт?.. Сейчас я иду...

Кёлер (*холодно*). Если ты спустишься—я уйду. Оставайся там, наверху.

Ребах. Хорошо, но тогда поднимись ты.

Кёлер (*мягче*). Нет, я не поднимусь. Я не хочу тебя видеть. Мне надо только с тобой поговорить.

Ребах. Почему ты не хочешь меня видеть?

Кёлер (*смеется*). Мне не хочется видеть лицо, на которое я в последний раз смотрел семнадцать лет назад...

Ребах. Но... Роберт...

Кёлер. Оставь, не хочу. Мне и слушать тебя тошно, а еще и видеть... (*Смеется*.)

Ребах. Не понимаю, что я тебе сделал,—ты так со мной говоришь. Я так рад, что ты снова здесь. Мы считали тебя пропавшим без вести, мы тебя так искали, так искали... Никаких следов твоих не нашли: Почему ты не хочешь подняться, Роберт? Иди сюда. Ты ведь знаешь: все, что принадлежит мне,—твое.

Кёлер (*смеется*). Все?

Ребах. Да. Почему ты все время смеешься?

Кёлер. Смех—это то, чем я живу. (*Смеется*.) Это мой хлеб, мое вино.

Ребах. Ужасно, что мы тут стоим и разговариваем через это ужасное устройство...

Кёлер (*смеется еще громче и продолжительнее*). А я считаю, что это устройство—просто волшебство: можно разговаривать с человеком и на него не смотреть.

Ребах. Ты стоишь внизу и не хочешь подняться, а мне не позволяешь спуститься. Уж лучше позвонил бы по телефону. Это менее жестоко. Почему, Роберт?..

Кёлер. Телефонный разговор стоит денег. (*Смеется*.)

Ребах. Тебе нужны деньги?

Кёлер (*смеется*). Это звучит так, будто ты и не представляешь себе, как можно не иметь денег. (*Передрознивает Ребаха*.) Тебе нужны деньги? Тебе нужен воздух? Может, тебе нужна пара носков? В самом деле, Франц, мне пригодятся и носки и деньги.

Ребах. Боже мой, у тебя так плохи дела? Роберт... расскажи же, что ты все это время делал?.. Где был?.. Что с тобой случилось?.. Где ты пережил конец войны?.. Таких людей, как ты, нам не хватает, людей, которые...

К ё л е р. Вам не хватает таких людей, как я? А кто же вы? *(Смеется.)* Вы, которым не хватает таких людей, как я?..

Р е б а х. Ну, я подразумеваю... Наш город, наше общество, да, я не стыжусь сказать — все человечество. Мы... Мы...

Кёлер смеется долго и от всей души.

Р е б а х. Тебе смешно, Роберт?

К ё л е р. Да, только смешно! *(Передразнивая Ребаха.)* Таких людей, как я, вам не хватает! *(Холодно.)* Я не знаю никого, кому бы меня не хватало.

Р е б а х. Но ты знаешь меня, Роберт.

К ё л е р *(смеется)*. Тебя я знаю. Недавно даже тебя видел. *(Смеется.)* В газете, Франц. Твой портрет. В каком-то парке из какого-то мусорного ящика я вытащил газету и увидел твой портрет. Ты где-то делал доклад об «организованном обществе». *(Смеется очень долго, очень громко и очень искренне.)*

Р е б а х. Роберт, я полагаю, что ты должен мне все объяснить. Мы были друзьями, мы пережили вместе тяжелые времена. *(Растроганно.)* Ты спас мне жизнь, Роберт... Не смейся, прошу тебя, не смейся.

К ё л е р. Хорошо, я не буду смеяться, хотя... Допустим: я спас тебе жизнь, мы были друзьями, мы вместе пережили тяжелые времена... Прекрасно. Разве из этого следует, что я должен давать тебе объяснения? Можно подумать, что как твой спаситель... *(Тише.)* Пожалуй, ты прав. Но почему я не должен смеяться? Мне ведь очень тяжело не смеяться. Ты находишь мой смех горьким, Франц?

Р е б а х. Нет... Как ни странно... нет... твой смех веселый...

К ё л е р *(смеется)*. Я и сам веселый, но мое веселье пропадает, когда я слишком много вижу. Ей-богу, увидеть твое лицо в газете было невесело. Ты на меня не обижайся, ты ведь можешь всегда посмотреть на себя в зеркало, а пока я не вижу тебя своими глазами, я могу себя убедить, что твой облик просто исказила плохая фотография, дрянная газетная печать. И проверять это я не хочу. *(Смеется. Откашливается.)* Мы говорили о деньгах...

Р е б а х. Сколько тебе нужно?

К ё л е р. Сколько у тебя есть?

Р е б а х. Здесь? Дома?

К ё л е р (*смеется*). У тебя есть деньги и в другом месте? (*Долго смеется.*) Акции? Счет в банке? Франц!.. (*Смеется.*)

Р е б а х. Прости, но это ребячество. Ты действительно считаешь, что я должен держать свои деньги дома?

К ё л е р. А их у тебя так много? Сколько же у тебя?

Р е б а х. Что ты имеешь в виду? Всего?

К ё л е р. Да, конечно, всего! Раз мне принадлежит все, что у тебя есть, надо же мне знать, сколько именно. (*Смеется.*) Я ведь имею право получить выписку из твоего текущего счета.

Р е б а х. Если бы я не знал твой голос, я бы не поверил, что это тот самый Роберт.

К ё л е р (*смеется*). Зачем же так, Франц? Ты же сам сказал: все, что принадлежит мне,— твое. Может, ты этого вовсе и не думал?

Р е б а х. Нет, думал.

К ё л е р. Тогда скажи. Мне и правда нужны деньги. Я пришел у тебя их попросить. (*Тихо.*) Они нужны мне, Франц.

Р е б а х (*сердечно*). Я сейчас же к тебе спущусь. Я принесу тебе все, что есть в доме. Тебе нужна одежда? Ты голоден? Сейчас иду.

К ё л е р. Если ты спустишься, я тут же исчезну. И ты никогда больше обо мне не услышишь. Может, ты хочешь, чтобы я исчез?

Р е б а х. Я хочу тебя видеть... И как же я дам тебе деньги, одежду и еду, если я не могу спуститься, а ты не хочешь подняться наверх?

К ё л е р (*смеется*). Прости, что я смеюсь. Но ведь существует старый, проверенный способ: брось все это в окно.

Р е б а х. Бросить в окно? Но так бросают только мелочь бродячему музыканту.

К ё л е р (*смеется*). Тебе нестерпима мысль, что ты швыряешь деньги в окно? Ты можешь взять коробку и положить в нее деньги. Конечно, я не знаю, какая там будет сумма...

Р е б а х. У меня в доме наберется марок пятьсот. Я могу тебе дать еще чек.

К ё л е р. Пятьсот марок? Столько я давно не держал в руках.

Р е б а х. Я дам тебе три тысячи, четыре... Но у меня их нет при себе. Наличными. Я выпишу тебе чек...

К ё л е р. Чек мне бесполезен...

Р е б а х. Ты можешь пойти в банк...

К ё л е р (смеется). Стоит мне появиться в банке, как швейцар тут же поднимет тревогу. (Смеется.)

Р е б а х. Неужели у тебя такой вид?

К ё л е р (смеется). Ты не можешь себе представить, какой вид у человека, при одном взгляде на которого швейцар банка поднимает тревогу? (Смеется.)

Р е б а х. Почему ты все время смеешься?

К ё л е р. Оставь мне хотя бы смех. Разве он горек? Или пошл? Или полон упрека?

Р е б а х. Нет-нет, но только... (Запинается.)

К ё л е р. Что — только? Чем он тебе не нравится?

Р е б а х. Он звучит так безответственно.

Кёлер долго и громко смеется.

Да, я выразился точно: безответственно.

К ё л е р (смеется). Давай побыстрей деньги, а то тебя осенит, что давать мне деньги тоже безответственно.

Р е б а х. Ты... (с запинкой) больше не занимаешься своим делом?

К ё л е р. А ты служишь в благотворительном обществе?

Р е б а х. Нет, я твой друг.

К ё л е р (смеется). Тот же вопрос мне задала Елена.

Р е б а х (смеется от всего сердца). Ты был у Елены?

К ё л е р. Смотри-ка, теперь уж смеешься ты...

Р е б а х. Елена стала такая смешная! (Смеется.) Ну прямо чудачка. Даже чересчур. Фанатичка. (Смеется.) Я сам стою за порядок... Но для нее порядок — святыня. Когда ты у нее был?

К ё л е р. Я от нее иду. У нее, увы, нет микрофона, и мне пришлось опустить последние гроши в телефонный автомат.

Р е б а х. Она тебе ничего не дала?

К ё л е р. Ничего. Сказала, что такой интеллигентный человек, как я, и так далее... Затем она хотела непре-

менно знать, где я прятался все это время... (*Смеется очень громко.*) Продвинулся ли я... (*смеется*) продвинулся ли я дальше...

Ребах. А где ты все это время прятался?

Кёлер. Послушай, дорогой Франц! Брось-ка сначала деньги вниз, ладно?

Ребах. Ты был... ты был в тюрьме?

Кёлер (*смеется*). Конечно, не все эти годы...

Ребах. Куда ты скрылся из Осбергена? Тогда...

Кёлер. К французам... Послушай, Франц, ты приготовил коробку?

Ребах. Они хорошо относились к тебе, я хочу сказать, они...

Кёлер. Они были просто чудо, просто чудо! Сразу докумекали, что со мной стряслось. Сразу до этого дошли, говорю я тебе. (*Смеется.*) Сделали меня бургомистром. Все полномочия, свобода, еда, питье... Но какой я бургомистр, я — художник... был художником.

Ребах. Ты больше не пишешь?

Кёлер. Нет, я теперь только рисую.

Ребах. Могу я посмотреть твои рисунки?

Кёлер. Ты хочешь знать, есть ли у меня талант? Подаю ли я надежды? (*Смеется.*) Нет, я рисую только в определенных условиях.

Ребах. Понимаю. Нет материала. Нет мастерской.

Кёлер. Материал. Мастерская... (*Смеется.*) Нет-нет... Мне мешает климат.

Ребах. Понимаю... Солнце. Тепло... Может быть, тебе нужен юг?

Кёлер. Ничего ты не понимаешь, Франц. Я рисую, когда придется, правым указательным пальцем на запотевших стеклах, а они запотевают не всегда, только рано утром. (*Смеется.*) И в ванной, но ванная... (*Настойчиво.*) Почему ты не бросаешь вниз деньги? Ведь все мое или нет? Друг ты мне или нет? А? Ты еще здесь?..

Ребах (*после мгновенной паузы*). Я еще здесь. (*Решившись.*) Хорошо, я брошу тебе вниз деньги. Подожди.

Кёлер. Я жду.

Ребах. А ты сразу же уйдешь, если я брошу тебе деньги... (*тихо*) через окно?

К ё л е р (смеется). Ты начинаешь мне действительно надоедать, Франц. Бросай деньги вниз, и ты увидишь, останусь я или нет. Или ты хочешь поставить это условием? Давай-ка без условий, а?

Р е б а х. Ты уже был у Георга?

К ё л е р. Нет. Ты думаешь, он мне что-нибудь даст?

Р е б а х. Мы постоянно говорим о тебе, Роберт. Он так обрадуется, когда тебя увидит... а ты еще спрашиваешь, даст ли он тебе что-нибудь! Почему ты не пришел раньше, Роберт?

К ё л е р. Меня задержали... (Смеется.) Высшие силы. (Впервые с горечью.) Бросишь ты деньги или нет?

Р е б а х (нетерпеливо). Да, сейчас... Тебе так некогда?

К ё л е р. Да, мне очень некогда. Мне нужны деньги, Франц. Ты разве не слышал?

Р е б а х. Подожди. (Идет обратно в комнату.)

III

Ф р а н ц. Что это за человек, папа?

Р е б а х. Ты подслушивал?

Ф р а н ц. Дверь была открыта. Я не подслушивал.

Р е б а х. Все?

Ф р а н ц. Все, что говорил ты. Это действительно Роберт Кёлер? Тот человек, о котором ты столько рассказывал?

Р е б а х. Да, это он.

Ф р а н ц. Почему он не поднимется сюда?

Р е б а х. Не хочет.

Ф р а н ц. А почему ты не спустишься к нему?

Р е б а х. Он не хочет, чтобы я спускался.

Ф р а н ц. Почему?

Р е б а х (немножко сердясь). «Почему! Почему!»
А я откуда знаю почему?

Ф р а н ц. Отсюда его совсем не видно.

Р е б а х. А ты пытался?

Ф р а н ц. Да, я высунулся из окна. Он, видно, прижался к входной двери.

Р е б а х. Иди спать, Франц, уже поздно.

Ф р а н ц. Мама разрешила мне ждать ее возвращения.

Р е б а х (*сердито*). Ладно, жди, мне все равно.

Слышны шаги Ребаха в комнате. Он выдвигает ящик.
Шуршит бумага.

Ф р а н ц. Что ты там делаешь, папа?

Р е б а х. Я брошу ему деньги вниз.

Ф р а н ц. Через окно?

Р е б а х. Да.

Ф р а н ц. Через окно...

IV

Р е б а х (*идет в переднюю и говорит в микрофон*). Роберт!

К ё л е р. Да?

Р е б а х. Я сейчас брошу их вниз!

К ё л е р. Обещай не смотреть, как я буду поднимать пакет.

Ребах молчит.

Ты обещаешь?

Р е б а х. Думаешь, это — любопытство... Нет, это гораздо больше, Роберт.

К ё л е р (*мягко*). Знаю, Франц, знаю. Но поверь, нам лучше не видеть друг друга.

Р е б а х (*поколебавшись*). Хорошо, я не буду смотреть.

Ребах идет в комнату, открывает окно. Слышно, как падает пакет.
Ребах возвращается в переднюю.

Р е б а х. Роберт?

К ё л е р. Что? Спасибо, я взял, Франц. (*Смеется.*) Спасибо, Франц. (*Слышно через динамик, как он разрывает пакет, шуршит бумагой. Вдруг громко смеется.*) Но тут нет пятисот марок, Франц. Тут ровно двести десять. (*Смеется.*) Ты просчитался или не знал, сколько у тебя дома денег? Если мне принадлежит все, то ты должен мне все минус двести десять марок. А почему — десять марок? (*Смеется.*) Почему — не ровно двести? Пятьсот... Спасибо, Франц, это много денег... но по сравнению со всем, что ты имеешь, это очень мало!

Р е б а х. По-моему, ты сейчас несправедлив.

К ё л е р. Я лишь точен! Ведь не я же говорил, что

мне принадлежит все. (*После короткой паузы.*) Ты еще здесь, Франц?

Ребах. Я рад, что ты еще здесь.

Кёлер. Я жду остального, Франц. Недостающую часть до пятисот. Учти, что я не смогу пойти к Георгу.

Ребах. Почему?

Кёлер. Ты ему позвонишь, все расскажешь, может, даже предостережешь. (*Словно цитируя.*) Роберт появился неизвестно откуда, явно опустился, деморализован... У него темное прошлое... ему нужны деньги... И Георг меня где-нибудь подкараулит, зацапает. (*Смеется.*) Скажи ему, что я приду... но не сегодня, как-нибудь... познакомь его с нашим способом: бросать через окно. Ты слышишь?

Ребах молчит.

Ты еще здесь?

Ребах (*тихо*). Да. Я думаю об Осбергене. Что мы вместе пережили, друг для друга сделали, о чем мы друг с другом говорили. Ты спас мне жизнь, поставив на карту свою. Среди ночи ты покинул наше убежище, чтобы достать лекарства, врача, молоко... А теперь?

Кёлер. Я все тот же Роберт. Тот же самый Роберт Кёлер. (*Смеется.*) Хотя и был какое-то время бургомистром. (*Смеется.*) Они были просто чудо, эти французы. Вы не могли меня найти. Я изменил свое имя и фамилию и назывался — Коль, Фридрих Коль. Имя — это ордер на арест, Франц. И лицо и портрет — тоже. Все, что позволяет тебя узнать, — это ордер, ордер на арест. (*Смеется.*) Меня искали с ордером на арест и нашли. Тебе хочется знать, почему? Ты будешь разочарован, если я тебе скажу. Не думай об этом и брось мне остальные деньги, Франц. (*Кричит.*) Почему ты не бросаешь остальные деньги?

Ребах. Не кричи на меня. Ты ведь знаешь, что я никогда не мог ни на кого кричать.

Кёлер (*тихо*). Прости.

Ребах. Я тебя никогда больше не увижу?

Кёлер. Я приду снова, когда мне понадобятся деньги... Но это будет не скоро.

Ребах. Ты знаешь, что я твой должник.

Кёлер. Поэтому, может, ты бросишь мне остальные деньги?.. Нет, ты у меня не в долгу, Франц. Я охотно

ушел из нашего убежища, чтобы разок увидеть другую женщину, а не Елену. (Смеется.) Спас тебе жизнь...

Слышны изумленный возглас женщины и шаги стремительно убегающего Кёлера.

Р е б а х. Роберт, Роберт, подожди, подожди... Я сейчас брошу тебе остальное... Роберт...

V

Дверь в переднюю открывается, М а р и а н н а Р е б а х входит в прихожую и захлопывает за собой дверь. Она задыхается.

Р е б а х. Что случилось, Марианна? Ты его видела?

М а р и а н н а (взволнованно). Да, я его видела. Это был он?

Р е б а х (удивленно). Ты о ком?

М а р и а н н а. Это тот человек, о ком ты все время рассказывал?

Р е б а х (удивленно). Да. Как он выглядел?

М а р и а н н а. Я не могу тебе сказать, как он выглядел. Я его видела... Его...

Р е б а х (смеется). Да... и?

М а р и а н н а. Не смейся, Франц. Я не могу тебе больше ничего сказать. Но я его видела... О каком остатке ты кричал?

Р е б а х. Я бросил ему вниз деньги... (Запнулся.)

М а р и а н н а. Не все?

Р е б а х. Нет... И я хотел дать ему еще чек.

М а р и а н н а (смеется). Чек?..

Р е б а х. Почему ты смеешься? Тебе я даю чеки?

М а р и а н н а. Да, мне... Прости... Разве ты можешь знать?.. (Смеется.) Ему — чек...

Р е б а х. Что же мне делать?

М а р и а н н а. Ждать, пока он снова придет.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ ГОЛОСОВ

Голоса:

Бас
Тенор
Альт
Сопрано

Бас. Мой начальник все жалуется, что мне не хватает честолюбия. Мою изобретательность, организаторскую хватку, аккуратность он сравнивает с тремя колесами и говорит, что если б к ним добавить четвертое колесо — честолюбие, то получился бы не работник, а чудо... Сравнение, конечно, не бог весть какое удачное и уж совсем не образное, но ведь начальники никогда не блещут образной речью. Я на него не обижаюсь. В конце концов, не нужно — как бы это сказать? — требовать от человека слишком многого. На то он и начальник, чтобы сравнивать как придется. Мое же дело — работать, исполнять, так сказать, свой долг. (Смеется.) Хотя звучит это странно: я ведь продаю шляпы. За прилавком, правда, стоять не приходится — не умею устанавливать прямой контакт с публикой. Мешает цинизм — качество, которое начальник упорно не хочет во мне замечать; что делать, люди не могут жить без иллюзий. Я даже не рисую шляпы, я их планирую. Я лишь произношу: пора быть новым шляпам — и на мой стол уже сыплются проекты. Мне остается определить, какой из них запускать в производство. До сих пор я ни разу не ошибся. Начальник называет это инстинктом. Он не знает, что различные методы рекламы я заимствовал из прошлого. Чтобы сделать мои шляпы модными, я пользуюсь правилами, принятыми в салонах. То есть начинаю с верхушки, а верхушка для меня — это интеллигенты. Не понимаю, почему они всё жалуется, что не имеют влияния, что их недооценивают, что ими пренебрегают? Стоит мне только навязать новую шляпу нескольким радиоредакторам, киношникам или телевизионщикам, как, глядишь, дело сделано, шляпа пошла. Чего им еще нужно? Народ носит те же шляпы, что и они, или те, о которых идет молва, что они их носят. Интеллигентность ведь в моде, интеллигентами все хотят быть. А встречают человека, как известно, по одежке. Поэтому главное в моей работе — навязать новую модель этому народу с радио и телевидения, а уж как это мне удастся — секрет. Во

всяком случае, шляпа скоро приобретает поэтический ореол мужественности. Порой, конечно, меня гложет совесть,—это неизбежно, когда веришь в высшие ценности, а я в них верю. Иногда бывает не по себе, как подумаешь, сколько в жизни зависит от глупости тех, на кого равняются. Стороннему человеку—а бывают такие?—и представить себе невозможно, как народ сходит с ума из-за шляп, когда они входят в моду. Их у нас тогда буквально вырывают из рук. Уж сколько раз в лавках дело доходило до драки, когда партия модных шляп подходила к концу. А это еще подливало масла в огонь. Кто же вырывает у нас эти шляпы из рук? Интеллигенты. Я бы мог, конечно, назвать имена, привести примеры из числа известных лиц, не устающих болтать о массовом обществе, да секреты фирмы не позволяют. Но как бы там ни было—совесть меня гложет. Так всегда: сделаешь что-нибудь, в чем не очень уверен,—мучайся потом раскаянием. Что тут будешь делать? Для начала, конечно, поговорил с женой. Бесполезно. Даже не поняла, в чем вся соль. Шляпы?—говорит, что ж им теперь, не носить, что ли, шляпы, или ты заставляешь насильно их покупать? Да, говорю, в известной степени я заставляю их покупать шляпы—принуждаю, навязываю. Ну и радуйся, говорит, что это у тебя получается. Словом, говорить с ней—никакого толку. Она жена и мать, а не аналитик. Куда податься порядочному католику со своими угрызениями? Конечно, к священнику. Пошел к нему. Совершенно бесполезная затея. Он, знай, талдычит о Боге. Бог-де создал дождь и ветер, снег, солнце и стужу. Читали ль вы, говорит, что писал о солнце Франциск Ассизский в своих духовных стихах? Нет? Обязательно почитайте, сейчас же, здесь, я вам подарю экземпляр. Дождь, ветер, солнце, снег, стужа—а что делаете вы? Шляпы. Весьма, весьма полезная деятельность. Когда я попытался объяснить, что мои шляпы не от дождя и снега, он прервал меня и сказал: значит, для красоты. И полчаса говорил о красоте, о задаче человека созидать красоту. Ушел я, не испытав утешения. Разве не цинично, что после этого визита мне пришел в голову церковный фасон, который стал у нас так моден?

Сопрано. Отец—душка, он очень добрый, ни на кого не дует. Иногда, правда, бывает в меланхолическом настроении. По-моему, у него комплексы. Далась ему эти шляпы. Мало того что он круглый год ходит

с непокрытой головой — в любую погоду, в дождь и стужу, — он теперь перестал по воскресеньям ходить в церковь. Говорит, видеть не может, как они все — ну, это он, конечно, преувеличивает — надевают его шляпы после службы. А шляпы у него такие шикарные. По-моему, это слишком — не ходить из-за шляп в церковь. Он вообще больше никуда не ходит. Изредка только в гости к начальнику или на прием в какой-нибудь отель или на заседание, где дискутируют (*смеется*) о шляпах. Шляпное заседание — смех, конечно, но что бывает, то бывает. Отец ведь делает и солидные шляпы — для государственных деятелей, деловых людей и прочих, как он говорит, шишек. Эти дорогие шляпы продаются по каким-то удостоверениям или рекомендациям. Так хочется помочь бедняге отцу, что-то он у нас загрузил.

А л ь т. Эрвин — настоящий талант. Он всегда знает, на что будет спрос. Даже низкую шляпу с широкими полями — и ту он продвинул, хотя я очень на ее счет сомневалась. Теперь вот цилиндр. Увидишь, говорит, цилиндры пойдут, как... Сравнение так и не пришло ему в голову — надоело, видно, сравнивать с горячими пирожками. И что же — инстинкт его не подвел. Люди гонятся за традиционными образцами. Можно не сомневаться, Эрвин и молодежь обратит в поклонников цилиндра. Он бывает циничен. Недавно говорит: жаль, что рынок сбыта кардинальских шапочек так узок, у меня в этой области интересные идеи. Но что меня не на шутку тревожит — так это то, что Эрвин пренебрегает своими религиозными обязанностями. Оставь, говорит, меня с этим в покое, я читаю Франциска Ассизского, пока вы в церкви. Подходящее чтение для человека, который имеет дело со шляпами. Я разговаривала с нашим священником. Он на редкость мягкий человек. Говорит, ваш супруг находится в кризисе, который обещает быть для него плодотворным. Угрызения совести, говорит, что-то вроде болезни. Благая крепость супружеских уз, сердечное тяготение к детям излечат его, и он вновь будет производить свои шляпы без всякой внутренней укоризны. Вы говорите, он читает святого Франциска? Великолепно. Терпение, терпение... Но как раз терпения мне не хватает. Мне все кажется, нужно срочно что-то предпринимать. Эрвин все больше опускается, совершенно не следит за собой: уходит на службу небритый, не умывшись, в грязной рубашке, в съехавшем набок галстуке. Его начальник часто звонит мне, гово-

рит, нужно что-то предпринимать. Так дальше нельзя. Эрвин хоть и по-прежнему неистощим и невероятно полезен на работе, фирма не может без него обойтись, но что слишком, то слишком. И у странностей должны быть свои границы, а когда от человека дурно пахнет, то это уж слишком. Да, так и сказал: дурно пахнет. *(Вздыхает.)* Нужны были радикальные меры. Я просто забрала у Эрвина белье, пока он спал, и отдала в стирку, а утром ему пришлось одеваться во все чистое. К счастью, погода оказалась на моей стороне — было холодно, он порылся в корзине с бельем, не нашел свою грязную одежду и надел чистую. Ругался он при этом безбожно. И вот последствия моего вмешательства: с тех пор он ложится в постель не раздеваясь. Даже галстук не снимает. А утром поест и даже крошки с бороды не стряхнет — так и идет на службу. *(Разражается рыданиями.)*

Тенор. Утром я ухожу, когда отец еще спит, а возвращаюсь вечером — он уже в постели. Поэтому я и не знал обо всей этой истории. Вижу только, что мать чем-то удручена, да сестра все время на что-то намекает, а... запаха я никакого не замечал. По воскресеньям я ухожу из дому рано — с девяти до двенадцати мы поем в церкви, а вечером возвращаюсь поздно — мы дискутируем о проблемах массового общества. В самом деле, когда последовал панический звонок его шефа, я вдруг установил, что я не видел отца уже шесть недель, а именно в последние шесть недель и возник, по-видимому, этот кризис. Факты соответствуют заявлению: от отца действительно пахнет. Никак иначе это не назовешь. Разумеется, объяснение может быть только одно: запоздалая половая жизнь. Война выбила его поколение из равновесия. Отец никогда не говорил об этом, но я уверен: все дело в комплексах. Отсутствие душевной гигиены выражается в болезненном желании быть негигиеничным и физически. Средства против этого: психотерапия и ванна. Я думаю, мы должны быть суровыми: его упрямство не оставляет нам выбора. Может быть, тут замешан и секс. Что ни говори, мужчина в пятьдесят лет... В воскресенье сразу после мессы схожу к Губерту, у его отца лучшая психиатрическая клиника в городе. И надо же было этому случиться как раз теперь, когда отец — как сказал мне его начальник по телефону — до зарезу нужен фирме: у него великолепный инстинкт, всегда полно интересных идей. Фирма не может обойтись без него — шеф так и сказал. Разго-

варивал с матерью, но без толку — одни слезы да причитания. Полная неспособность вникнуть в суть дела. Сестра просто дура: ей, видите ли, нравится, как выглядит отец. Наверно, у нее не все в порядке с обонянием. Я пропустил два урока математики и один латыни, в воскресенье позже обычного пошел в церковь — чтобы только понаблюдать за ним. По-моему, сплошной романтический бред — недаром он ни днем ни ночью не расстается с Франциском Ассизским. Не удивительно, что ему хочется походить на нищего. А на самом деле он совсем не похож на нищего. На месте прежней щетины уже выросла борода, хоть она и не очень ухожена. Костюм у него высшего качества, мать все время чистит его щеткой, поэтому он выглядит почти сносно. Все это может еще сойти за художественскую небрежность. Вот только — запах... Ночью он все-таки снимает пиджак и брюки, мать могла бы не только чистить тайком, как она делает, но и смачивать эссенциями, убивающими запах нижнего белья. Но она никак не додумается до такой простой вещи. Можно было бы во время сна поменять ему также галстук — старый его совсем истрепался. Жаль, что женщины так туго соображают. Конечно, все это временные меры, а не окончательное решение проблемы, этим не излечишь. Но важно выиграть время. И потом: зря она показывает всем своим видом, что с ним что-то неладно: плачет, жалуется, ходит как в воду опущенная. Все это — бальзам на душу такому романтику, как мой отец. Я вот веду себя с ним, как будто он вполне нормальный. Вчера подал ему руку, поцеловал в щеку, как всегда при встрече. Он, правда, отреагировал странно на мой поцелуй, сказал: «У Иуды это получалось лучше». Хорошо, хоть сказал спокойно, почти равнодушно, мне было легче вести себя как ни в чем не бывало: я сел напротив него, налил кофе, сделал бутерброд — при этом успел заметить, что аппетит у него не испортился. Факт любопытный — обычно у ипохондриков пропадает аппетит. Он съел три бутерброда с маслом и два — с ветчиной, выпил три чашки кофе, закурил, уткнулся в газету — я специально запоминал все подробности, чтобы облегчить диагноз отцу Губерта. Я спросил его о работе, он равнодушно ответил, что вынашивает идею новой тиары. Должно быть, очередная циничная шутка. Он без них никогда не обходится, говоря о религии. Когда я снова хотел его поцеловать на прощанье, он отвернулся. Я успел заметить, что руки он

все-таки моет по-прежнему тщательно. Наверно, это что-то вроде комплекса Пилата.

А л ь т. Я долго думала, что это обычная депрессия перед весенним сезоном. Он всегда нервничает в это время. Ведь иногда он поставлял на рынок довольно рискованные модели. В последний раз он превзошел самого себя: модель из козлиной шкуры действительно напоминает кардинальскую шапочку, хотя не такая круглая и более плоская. Когда он мне показал эту шляпу, я сказала: в ней все похоже на клоунов, а когда на квартире у шефа стали примерять их манекенам, они были ужасно смешны и в самом деле походили на клоунов, а какой молодой мужчина согласится выглядеть как паяц? Но шеф сказал: теперь уже поздно возвращаться, нам остается только идти вперед; а Эрвин сказал: так точно, господин генерал, нападение — лучшая защита. Еще хуже велюровая модель, которую он предложил для мужчин от тридцати пяти до пятидесяти, — какая-то заостренная, как средневековые еврейские колпаки. Супруга шефа заплакала, увидев их на манекенах. Алоис, сказала она мужу, этого никто не станет носить, все кончено, мы разорились. Настроение у всех было подавленное. За столом почти никто не ел, кроме Эрвина. По совету сына я вычистила ночью его костюм с помощью эссенций и выгладила — так что он выглядел вполне прилично и... от него не пахло. А ел он действительно с аппетитом. И за первым и за вторым блюдом не отказывался от добавки. За десертом вел себя не очень корректно, курил за мороженым и настоял, чтобы ему к мороженому принесли кофе. Супруга шефа шепотом призналась мне, сколько вложено в эти новые шляпы. Вы представить себе, говорит, не можете, как поднялись в Париже цены на козлиные шкуры, когда там узнали, сколько их нам нужно. Ваш муж, говорит, ведет себя как гений, но боюсь, он уже исписался. За коньяком Эрвин вдруг встал и обратился к шефу с тостом: вперед, господин генерал, нападение — лучшая защита. По-моему, это ребячество. Но произошло чудо: обе модели имеют неслыханный успех. Когда я впервые увидела на улице эти шляпы, меня чуть не задушил смех, но, странно, вскоре я привыкла. Между тем на рынке появились цилиндры Эрвина для молодежи: такой же успех. Вошло в моду ходить в цилиндре на танцы, свидания, экзамены, считается «шикарным» ездить в цилиндре на мотоцикле. Автопромышленники вот только

стали жаловаться, что роскошные низкие машины перестали пользоваться спросом, с тех пор как вошли в моду цилиндры. Эрвин не растерялся и тут, быстро разработал модели складных цилиндров, которые в машине превращаются в плоские шляпы. Нельзя же, говорит, наносить ущерб индустрии. Увы, Эрвин опроверг предположения, его депрессия была вызвана нервозностью накануне весеннего сезона. С тех пор как я ночью вычистила его костюм, а он разразился проклятьями и перевернул весь дом, разыскивая свое грязное белье, он опять спит в костюме и ботинках. Мне не осталось ничего другого, как покинуть спальню и постелить себе в гостиной. Священник тоже считает, что я имела на это право. Есть все же границы, и что слишком, то слишком. Как будет дальше, не знаю. Просто ума не приложу — что делать. Насильно ведь не отведешь его к психиатру, а врач, который притворился клиентом и внимательно его осмотрел, пришел к потрясающему выводу: вполне здоровый интеллигент со склонностью к коварству. Фирме он нужен, нужнее, чем когда-либо, и для нас он все-таки отец и супруг. Священник наш ведет себя как-то неблаговидно, все уваливает от прямых ответов. Говорит, Писание гласит: пока не разлучит смерть. Мол, не запах, а смерть... но я не стала слушать.

С о п р а н о. Как я волновалась и радовалась, когда смогла наконец сообщить священнику, что отец обещал снова ходить в церковь. Мне стоило такого труда его уговорить. Вообще я не могу сказать, чтобы он был особенно удручен. Разве только с матерью. Говорит, она его предала. Преувеличивает, конечно, но что-то в этом есть. Итак, я помчалась к священнику сообщить ему радостную весть. Он сказал: дитя мое, я не сомневался, что он возвратится в лоно церкви. У него такое доброе щедрое сердце. А то, что он решился изменить свой взгляд на гигиену... Тут я его перебила и сказала, что в этом я не смогла его переубедить. Священник сказал: но ты ведь не хочешь сказать, что он в таком виде собирается в церковь? Именно в таком, говорю. Священник сказал: дитя мое, заклинаю тебя, воспрепятствуй ему в этом. Грешно быть нечистым, грешно перед Богом и человеком. Я сказала, что не могу обещать, а священник сказал: лучше пусть совсем не приходит, чем придет в таком виде.

Б а с. Шеф не хочет поддержать мою идею — создать тиару. Согласитесь, говорит, что для нее будет

всего один-единственный клиент. Да, говорю, но какой? В конце концов, наша фирма производит головные уборы, а тиара — головной убор. У вас, говорит, склонности к святотатству, и вообще, между нами, католиками, — тут он перешел на шепот — выполняете ли вы свои христианские обязанности? Насколько мне дозволено, говорю. Священник передал с моей дочерью, что в таком виде он не хочет видеть меня в церкви. Понимаю, говорит шеф, вам-то ясно, что ваш вид действительно не совсем в порядке? Почему же? — спрашиваю. Дорогой мой, говорит, ведь от вас пахнет! Ну и что, говорю, мало ли от кого пахло, не я первый. Но, дорогой мой, говорит шеф, мы живем в такое время... Тут я прервал его и говорю: откуда вам знать, в какое время мы живем?..

1962

РАССКАЗЫ



ERZÄHLUNGEN

© Переводы. Архипов Ю., Бергелсон Г., Вильмонт Е., Колесов Е., Рудницкий М., Щербакова И. 1995 г.

ГОРОД ПРИВЫЧНЫХ ЛИЦ

Кёльн для меня город привычных лиц, лиц людей, с которыми я никогда не был знаком и чьи имена не узнал бы на могильных плитах. Реальность этих лиц исчезнет, если они станут «господином Шмидтом» или «фройляйн Рейнардс». Яркость их образов в моей памяти определена безымянностью. С некоторыми из них я, правда, обменивался словами, но никогда наша беседа не шла далее: «Конечная остановка. Благодарю вас» или «Два банана, пожалуйста. Спасибо», а с большинством я и слова не сказал, и именно поэтому они олицетворяют для меня Кёльн.

И поныне я не знаю, чем занимается тот холеный господин, которого я помню еще брюнетом, потом видел с проседью в волосах, а потом и совсем седым, до сих пор я не знаю, кто он — судебный ли исполнитель или контролер электростанции. Он всегда держит под мышкой маленький черный портфель, в половину школьного ранца, не больше, — и я никогда не узнаю, лежат ли там исполнительные листы на опись имущества или счета электрокомпании, а может быть, вовсе гранки или копии заявлений, с которыми не расстанутся люди, всю свою жизнь борющиеся с какой-то несправедливостью. Я встречаю этого господина то часто, то с интервалом в четыре-пять лет, в разное время дня, в разных районах города, вид у него всегда сосредоточенный, словно он устремлен к важной цели, и все же я опасюсь, что он ее никогда не достигнет. За двадцать пять лет я дважды видел его в кафе, оба раза он пил чай и ел коржик, который тщательно ломал на кусочки. Всякий

раз, как я его встречаю, я чувствую, что нахожусь в Кёльне.

Мои родственники и знакомые куда меньше выражают для меня Кёльн, чем эти безымянные привычные лица. У родственников, друзей и знакомых есть имена, знаешь, где они проводят отпуск, как зарабатывают деньги, какие книги читают, каковы их политические убеждения, и все же ими не определяется то, что называешь «у нас дома». Моя жена остается моей женой и в Эйфельдорфе, и мои дети остаются моими детьми даже, когда я сижу с ними в лондонском кино. Можно переехать в другое место и увезти с собой свою семью, друзья могут навестить вас, писать письма, там найдешь себе новых друзей, новых знакомых — фройляйн Г., господина К. Все это приятно, но... «у нас дома» — это те безымянные, которых часто годами не видишь, но всегда сразу узнаешь. По их лицам я слежу за бегом времени лучше, чем по календарю и по лицам тех, кто стареет рядом со мной.

Эти привычные лица принадлежат вагоновожатым, уличным торговцам, газетчикам, полицейским и тем праздным дамам, которых с девяти до половины первого утра или от трех до шести вечера можно встретить в кафе. Это лица тех владельцев табачных лавочек, куда, может быть, зайдешь раз в три года, чтобы купить сигарет, как это бывает, когда шатаешься по городу; или тех часовщиков, которым раз в пять лет приносишь чинить часы. Кельнеры и кельнерши к их числу не относятся — они слишком много знают о тебе, и ты о них слишком много знаешь; они знают, какие газеты ты читаешь, что любишь есть и пить, с кем встречаешься. Все это становится известным уже после четырех-пяти посещений одного и того же ресторана; они делают что-то вроде знакомых; вскоре ты узнаешь, в каких условиях они живут, какие отметки получают их дети в школе, обмениваешься с ними житейскими советами; нет, этого слишком много. С «привычными лицами» совсем не разговариваешь, а если и случается, то обе стороны обходятся строго ограниченным набором слов: «Конечная остановка», «Прямо и направо. Спасибо. Пожалуйста», «Два банана, пожалуйста». Едва ли больше слов, чем в ответах хора священнику во время церковной службы: «Услышь нас, Господи», «Избавь нас, Господи».

— Два банана, пожалуйста,— сказал я в 1929 году пятнадцатилетней девочке на маленькой площади перед собором Св. Северина. Цветущая юность вчерашней школьницы! С какой беззаботностью рылась она в зеленой жестяной коробочке, набирая мне сдачи; ту же фразу, на том же месте я сказал ей в 1959 году. Пугающими выглядели шершавые морщинистые руки женщины средних лет, которая озабоченно глядела в ту же зеленую коробочку. Нигде я яснее не увижу, как это много — тридцать лет.

Мороженщик с Перленграбена записывал наши долги толстым циммермановским карандашом прямо на крашеной стенке своего киоска. Черточка обозначала пять пфеннигов, треугольник — грош, квадратик — пятнадцать пфеннигов. Когда кто-нибудь из нас погасил свой долг, мороженщик, послунявив большой палец, стирал соответствующую строчку геометрических фигур, а вскоре на новом месте исчерченной стены появлялся новый счет. Двадцать лет спустя: мороженщик за буфетной стойкой большого кафе, безупречный костюм, серый галстук, заколотый жемчужной булавкой, лоснящееся лицо над штабелями тортов и вафель и словно специально для меня, как финал этой сцены, прозвучали его слова, обращенные к буфетчице: «Я иду к маникюрше, скоро вернусь». Можно подумать, что у него никогда не было других забот, кроме как холить ногти; а ведь писал же он с озабоченным видом свою долговую геометрию на синей стенке киоска и после пасхальных каникул стирал строчки тех, кто ушел из школы или надул его. «Тиблер — три черты, два треугольника, один квадратик — пятьдесят пфеннигов полетели к чертям». И двадцать лет спустя тот же голос: «Я иду к маникюрше, скоро вернусь...»

Пожалуй, самым неуместным в таких случаях было бы пуститься в разговор о былых годах. Молчанием сбережешь чужие воспоминания, а стоит позволить себе растворить их в сентиментальных словах, как они тотчас поблекнут.

— А помните, тогда, на Перленграбене, двадцать лет тому назад... Вы слюнявили палец... Бухгалтерия на голубой стенке киоска... Толпа ребятишек на том самом Перленграбене, который чуть ли не пятнадцать лет после войны все еще пугал своими помпейскими руинами.

Стоило только дать волю всем этим: «А помните...», и прошлое обесцветилось бы. Точно так же бережно надо относиться к прошлому городов и государств. Подобные ошибки всегда превращают встречи школьных товарищей, да и попойки однополчан в тоскливые сборища. В мимолетном воспоминании о движении руки, звуке, запахе больше содержания, нежели в многочасовой хвастливой болтовне. Живая память о голосе, который прозвучал в переулке прохладным утром, в понедельник, в тот момент, когда мы шли в физкультурный зал: «Я... я убью тебя!..» Зеленый халат, копна черных волос, бледное, еще не умытое лицо; женщине было лет двадцать пять, она была красива, она еще хороша собой и в сорок семь лет — теперь она сидит за окошечком кассы в кино и говорит: «С вас марка восемьдесят, двадцать пфеннигов сдачи; с вас две марки пятьдесят, пятьдесят пфеннигов сдачи; в ложу билетов уже нет». А двадцать два года назад она крикнула всего одну-единственную фразу: «Я... я убью тебя!..»

.Видеть и молчать, слышать и знать. Он нес красный флаг, нес его с вдохновенным лицом впереди шагающей колонны; по узким переулкам прокатывалось яростное эхо громких песен; Ойленгартен, Шнургассе, Анкерштрассе; безработные стояли вдоль тротуара, аккуратно гасили сигареты, недоверчиво глядели на демонстрантов. А он выкрикивал в серое ноябрьское небо: «Мы за Тельмана!» Рука аскета, крепко сжимающая древко флага, лицо аскета, запрокинутое к небу, и крик: «Мы за Тельмана!» Лицо человека, который позавчера придирчивым взглядом педанта изучал мой паспорт, рука, которая протянула его мне из окошечка в банке вместе с отсчитанными деньгами, была рукой праведника; я не забыл того, что он сам, быть может, давно забыл.

Я не мог бы сосчитать привычные лица, а тем более их перечислить. Некоторые исчезают, и я этого не замечаю, другие внезапно возникают: двадцатипятилетние, которые когда-то шести- или десятилетними детьми с ранцем за плечами или с хозяйственной сумкой в руках пробегали мимо окон одной из наших квартир, то ли на бульваре Каролингов, то ли на Матернусштрассе; теперь я их встречаю где-нибудь в парке или на улице, они гуляют, держа за руки своих шести- или десятилетних детей; привычные лица и еще не

привычные, но которые со временем станут привычными.

Среди привычных лиц есть особо приметные — это газетчики, из уст которых я услышал всю историю последних десятилетий в броских заголовках: Брюнинг избран канцлером, фон Папен избран канцлером, Шлейхер избран канцлером, Гитлер избран канцлером; путч Рема провалился: победа на западе; стратегические отступления на Восточном фронте; первый массированный налет на Кёльн; новые предписания военного министра; Аденауэр — сын нашего города, становится федеральным канцлером; напряжение в Бонне; примирение Аденауэра и Эрхарда.

Есть что-то бесчеловечное в этом всегда одинаково восторженном голосе, который с равным усердием рекламирует «Кельнише цейтунг» и «Фоссише цейтунг», «Штюрмер» и «Фелькишер беобахтер», «Ди вельт» и «Абендпост», сообщающие о новой модной песенке, о запуске спутника и о посещении Хрущевым США. Какую газету это привычное лицо будет восхвалять через десять лет? Оно кажется мне бессмертным, почти что памятником, бросающим вызов времени, точно так же, как и те праздные дамы из кафе, всегда *up to date*¹ в вопросах моды и косметики, которые с трудом переходят от улыбки соблазнительной к материнской улыбке и все же вдруг признают себя в годах и принимают просвещать подрастающее поколение; их стараниями дочери и дочери подруг обучаются высокому искусству праздности. Я ничего не знаю об этих дамах, не знаю, потеряли ли они сыновей или предали друзей, — они всего лишь привычные лица, а не друзья и не знакомые, на добрые и злые поступки которых мы горячо реагируем.

Все они вместе взятые и составляют для меня Кёльн. Дома я чувствую себя там, где живет моя семья и где у меня есть знакомые, Кёльн — это город, где мне знакомы еще и незнакомые, он лежит на берегу Рейна, в нем много церквей и мостов, все в нем дышит историей; римские легионеры заполнили свою страницу кирпичными сооружениями; средневековые зодчие воздвигли романские церкви, куда более кёльнские, чем собор, который кажется в городе несколько чужим, да и построенным для чужих, — он стоит рядом с вок-

¹ Современны (англ.).

залом, слишком близко от больших отелей, — чересчур легко вообразить, что знаешь Кёльн, когда смотришь на собор из окна отеля; для меня Кёльн расположен на Перленграбене и на площади Св. Северина, это город незнакомых, которых я знаю.

1959

КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

Когда началась война, я лежал животом вниз на подоконнике, засучив рукава рубахи, и пристально глядел мимо ворот, мимо часовых, на окно телефонной станции штаба полка, ожидая условного сигнала от моего друга Лео: он должен был подойти к окну, снять с головы фуражку и снова ее надеть; всегда, когда можно было, я лежал на подоконнике и всегда, когда можно было, звонил по телефону одной девочке в Кёльн и маме; вот сейчас Лео подойдет к окну, снимет фуражку и снова наденет, а я опрометью кинусь через казарменный двор в телефонную будку ждать вызова.

Другие телефонисты сидели с непокрытой головой, в нижних сорочках, и когда они подавались вперед, чтобы всунуть штеккер в гнездо, или вытащить его, или щелкнуть дверцей клапана, из расстегнутого ворота свешивался медальон с личным номером, но он снова исчезал, едва они выпрямлялись. Один Лео сидел в фуражке, и то лишь затем, чтобы, сняв ее, подать мне знак. Лео был истый ольденбуржец — крупные черты лица, розовая кожа, льняные волосы; при первом взгляде лицо его поражало простодушием, при втором взгляде оно поражало невероятным простодушием, и никто не присматривался к Лео настолько, чтобы увидеть что-либо сверх этого. Весь его облик наводил такую же скуку, как мальчишечьи лица на рекламе сыра.

Полдень миновал, но жара не спадала. За прошедшую неделю обстановка боевой готовности стала привычной, дни, проведенные в праздном ожидании, напоминали неудачные воскресенья; обезлюдевшие дворы казались вымершими, и я был рад, что могу хоть голову высунуть наружу, хоть ненадолго вырваться из атмосферы

ры казарменного товарищества. А в окнах напротив телефонисты все кого-то соединяли и разъединяли, шелкали дверцами клапанов, отирали пот со лба, и среди них сидел Лео в фуражке, из-под которой выбивались густые льняные волосы.

Вдруг я заметил, что ритм соединений-разъединений изменился, движения телефонистов потеряли привычную размеренность, стали четкими, а Лео трижды всплеснул руками: знак, о котором мы не уславливались, но по нему я понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее; потом я увидел, как один телефонист взял лежавшую на коммутаторе каску и надел ее; в каске он выглядел комично — потный, в нижней сорочке, с болтающимся на шее медальоном, но мне не захотелось над ним смеяться; я вспомнил, что каску как будто надевают после объявления боевой тревоги, и мне стало страшно.

Ребята, дремавшие на койках за моей спиной, тем временем поднялись, закурили сигареты и разбились на две обычные группы. Трое будущих учителей, все еще надеявшихся получить освобождение от военной службы для «деятельности на поприще народного образования», возобновили свой нескончаемый спор о мировоззрении Эрнста Юнгера, двое других — фельдшер и приказчик — завели речь о женском теле; они не отпускали грязных острот, не хихикали, а разбирали предмет так, как скучнейшие учителя географии разбирают рельеф пересеченной местности. Обе темы меня совсем не интересовали. Быть может, психологам, людям, имеющим особую склонность к психологии, и тем, кто как раз готовится к экзамену по психологии в Высшей народной школе, будет любопытно узнать, что в эту минуту мне сильнее, чем за все последние недели, захотелось позвонить девочке в Кёльн; я подошел к своему шкафчику, достал фуражку, надел ее и снова улегся на подоконник: это был условный сигнал для Лео, означавший, что мне нужно с ним срочно поговорить. Лео кивнул мне, давая понять, что сигнал принят; тогда я облачился в мундир, быстро сбежал по лестнице и принялся ждать Лео у входа в штаб полка.

Стало еще жарче, еще тише, дворы еще больше опустели, а, пожалуй, ничто так не соответствует моему представлению об аде, как раскаленные, тихие, пустые казарменные дворы. Вскоре появился Лео, тоже в каске;

на лице его застыло одно из тех пяти выражений, которые замечал только я: с этим выражением лица он сидел у коммутатора, когда, дежуря поздно вечером или ночью, подслушивал секретные разговоры и передавал мне их содержание либо вдруг, выдернув штеккер из гнезда, прерывал какой-нибудь секретный разговор, чтобы предоставить мне тоже срочный и тоже секретный разговор с моей девочкой в Кёльне; потом я садился на его место, а он звонил сперва своей девочке в Ольденбург, а потом отцу; время от времени он отрезал от окорока, который ему прислала мать, куски в палец толщиной, затем рассекал их на кубики, и мы не торопясь пожирали эти ветчинные кубики. Когда было мало работы, Лео учил меня искусству определять чин абонента по тому, как отскакивают дверцы клапанов. Сперва я думал, что для этого достаточно отмечать, с какой силой отскакивает клапан, — чем сильнее он отскакивает, тем выше воинское звание абонента: ефрейтор, унтер-офицер и т. д. Но дело оказалось значительно хитрее, и Лео мог точно сказать, кто именно просит соединения — усердствующий сержант или усталый полковник. Мало того, глядя на дверцы клапанов, он различал то, что различить было почти невозможно: снял трубку раздражительный капитан или вспыльчивый обер-лейтенант. В течение ночного дежурства на лице Лео сменяли друг друга и остальные известные мне выражения: беспощадной ненависти или извечного коварства, и тут он становился вдруг крайне педантичным, и голос его звучал предельно вежливо, когда он произносил свои: «Так точно» или «Вы еще не закончили?», и при этом с пугающей меня быстротой перемещал штеккеры, отчего служебный разговор о сапогах превращался в разговор о сапогах и боеприпасах, разговор о боеприпасах — в разговор о боеприпасах и сапогах, а в интимную беседу ротного фельдфебеля с женой врывался гневный голос обер-лейтенанта: «Я требую наказания, я на этом настаиваю». С быстротой молнии Лео вдруг снова перекидывал штеккеры, и абоненты наконец могли договориться и о сапогах и о боеприпасах, а что до супруги ротного фельдфебеля, то и она получала возможность пожаловаться на боли в желудке. После того как мы управлялись с ветчиной и на смену заступал другой телефонист, мы шли по тихому двору в нашу казарму, и тогда на лице Лео появлялось последнее, пятое, выражение — безумное; выражение такой абсолютной не-

винности, которая уже не имеет ничего общего с детской.

В любое другое время я бы всласть поиздевался над Лео за то, что он появился передо мной в каске, как символе чрезвычайной важности происходящего. Он глядел куда-то мимо меня, в сторону конюшен, видневшихся за вторым двором. Третье выражение на его лице сменилось пятым, а на пятое вдруг наплыло четвертое, и тогда он сказал мне:

— Началась война, война, война — они своего добились!

Я промолчал, и он спросил:

— Ты, конечно, хочешь с ней поговорить?

— Да,— ответил я.

— Со своей я уже говорил. У нее не будет ребенка, и я не знаю, радоваться мне этому или нет.

— Радуйся,— сказал я.— Думаю, в войну плохо иметь детей.

— Всеобщая мобилизация,— сказал он.— Боевая тревога. Через день-другой здесь все ходуном пойдет — не скоро нам теперь удастся на велосипедах покататься. (Когда нам давали увольнительную, мы с Лео брали велосипеды и катили куда-нибудь подальше, в луга, а потом заворачивали в какой-нибудь крестьянский дом, и хозяйка жарила нам глазунью и густо мазала салом толстые ломти хлеба.) Да, вот тебе первый военный анекдот,— добавил Лео.— Меня произвели в унтер-офицеры — за особые способности и особые заслуги в деле телефонной связи; а теперь отправляйся в телефонную будку и, если через три минуты я тебя не вызову, можешь меня разжаловать за бездарность.

В будке я облокотился о телефонную книгу, закурил и стал глядеть сквозь дырку в матовом стекле на двор казармы; никого не было видно, кроме супруги ротного фельдфебеля в окне одного из строений, кажется четвертого — она поливала из желтой лейки герань; я ждал, поглядывая на свои часы: минута, две, три, и я испугался, когда и в самом деле раздался звонок, и еще больше испугался, когда тут же услышал голос девочки из Кёльна: «Мебельный магазин Майбах, Шуберт», и тогда я сказал: «Ах, Мари, началась война, понимаешь, война», и она сказала: «Нет». И я сказал: «Началась, да, да»,

и тогда она с полминуты молчала, а потом спросила: «Приехать?», но прежде чем я успел, поддавшись порыву, ответить: «Да, да, да», в наш разговор ворвался голос какого-то офицера, видимо в большом чине: «Нам нужны боеприпасы, срочно нужны боеприпасы». Девочка сказала: «Ты слушаешь?» Офицер завопил: «Свинство!»; за это время я смог обдумать, что в ее голосе было мне чуждо, что меня пугало: в нем звучали брачные ноты, и я вдруг ясно понял, что мне не хочется на ней жениться. Я сказал: «Наверное, мы еще сегодня выступим». Офицер все орал: «Свинство!» Должно быть, покрепче он ничего не мог придумать, а девочка сказала: «Я еще успею на четырехчасовой, и тогда около семи я буду у тебя», но я сказал быстрее, чем позволяла вежливость: «Поздно, Мари, слишком поздно», — и услышал в ответ только офицера, который, явно потеряв всякое самообладание, продолжал орать: «Так как же с боеприпасами? Получим мы их или нет?» И тогда я сказал железным голосом (я научился этому у Лео): «Нет, нет, хоть тресни, не видать тебе боеприпасов», и положил трубку.

Когда мы начали грузить сапоги из товарных вагонов в грузовики, было еще светло, но пока мы грузили сапоги из грузовиков в товарные вагоны, стало уже темно, а когда мы грузили сапоги из товарных вагонов снова в грузовики, было еще темнее, а потом рассвело, и мы грузили прессованное сено из грузовиков в вагоны, и еще долго было светло, и мы все грузили это сено из грузовиков в вагоны; а потом снова стемнело, и ровно в два раза дольше, чем мы грузили сено из грузовиков в вагоны, мы грузили его из вагонов в грузовики; за это время к нам один раз приезжала полевая кухня, и каждый из нас получил много гуляша, и немного картошки, и настоящий кофе, и сигареты, за которые не надо было платить; все это нам давали, кажется, в темноте, потому что я помню голос, который произнес: «Натуральный кофе и бесплатные сигареты — это верный признак войны», но лица, связанного с этим голосом, у меня в памяти не осталось. Когда мы строим возвращались в казарму, уже снова рассвело, а едва мы свернули в улицу, ведущую к казарме, как повстречали первый выступающий батальон. Впереди шел оркестр и играл: «Ах зачем, ах зачем...», потом шла первая рота, за ней бронемашины, а следом — вторая, третья и, наконец, четвертая с тяжелыми

пулеметами. Ни на одном лице, просто ни на едином я не заметил признаков воодушевления; на тротуаре стояли, конечно, люди, и девушки тоже, но я не видел, чтобы хоть одну солдатскую винтовку украсили цветами; нет, воодушевлением и не пахло.

Постель Лео стояла нетронутой; я отпер его шкафчик — такая степень доверия между нами вызывала глубокое неодобрение будущих учителей, которые, сокрушенно качая головой, говорили: «Это уж слишком»; все там было на своих местах: фотография ольденбургской девчонки, которая стояла, опираясь на велосипед, под березкой; фотография родителей Лео на фоне их крестьянской усадьбы. Возле окорока лежала записка: «Меня направили в штаб дивизии, скоро дам о себе знать, возьми весь окорок, у меня есть еще. Лео». Не прикасаясь к окороку, я запер шкафчик; есть мне не хотелось, а на столе лежал сухим пайком наш двухдневный рацион: хлеб, баночки паштета, масло, сыр, мармелад и сигареты. Один из будущих учителей — тот, что был мне наиболее неприятен, сообщил, что его произвели в ефрейторы и на время отсутствия Лео назначили старшим по комнате; затем он приступил к дележу продуктов; это длилось очень долго; меня интересовали только сигареты, а их он раздавал в последнюю очередь, потому что сам не курил. Когда я наконец получил свою долю, я тут же вскрыл пачку, лег, в чем был, на постель и закурил; от нечего делать я стал наблюдать, как едят остальные ребята. Они мазали на хлеб толстый слой паштета — в палец, не меньше, и обсуждали «превосходное качество масла». Покончив с едой, они спустили на окна шторы затемнения, разделись и легли в постель; было очень жарко, но мне не хотелось раздеваться; сквозь щели у краев штор в помещение пробивалось солнце, и в такой полосе света сидел вновь испеченный ефрейтор и нашивал на мундир ефрейторский уголок. Нашить его — дело нелегкое: уголок должен находиться в определенном, точно обусловленном расстоянии от шва, кроме того, надо следить, чтобы он не оказался перекошенным; учителю пришлось несколько раз спарывать нашивку; два битых часа, если не больше, просидел он, спарывая и пришивая один уголок, казалось, терпение у него никогда не лопнет. Каждые сорок минут по двору проходил полковой оркестр, я слышал, как «Ах зачем, ах зачем» звучало сперва у строения номер 2, потом у стро-

ения номер 7, потом у номера 9, потом у конюшен, музыка приближалась, становилась все громче, затем удалялась, затихала; это повторилось ровно три раза, прежде чем ефрейтор пришел себе уголок на рукав, и то он был пришит криво; к этому времени у меня кончились сигареты, и я заснул.

После обеда нам уже не надо было ничего грузить — ни сапоги из грузовиков в вагоны, ни прессованное сено из вагонов в грузовики; нас отправили в распоряжение обер-фельдфебеля, полкового кладовщика, который считал себя гением по части организации труда; он потребовал в помощь столько людей, сколько было номеров в списках полученного обмундирования и снаряжения; к одним только плащ-палаткам он приставил двух солдат да еще третьего в качестве писаря. Первые два выносили из кладовой плащ-палатки и расстилали их, аккуратно расправив, на бетонном полу конюшни; как только весь пол был устлан, первый солдат клал на каждую плащ-палатку по два подворотничка, второй шел за ним следом, раскидывая по два носовых платка, потом выступал я с котелками и прочей посудой и так далее, пока все предметы, для которых, как выражался фельдфебель, «размеры роли не играют», не были разложены, а тем временем сам фельдфебель вместе с «более грамотной частью» своей команды готовил те вещи, для которых размеры играют роль: мундиры, сапоги и тому подобное; у него кипами лежали солдатские книжки, и по указанным там весу и росту он подбирал мундиры и сапоги, да еще клялся, что все будет впору, «если только эти скоты не разжирили на гражданке»; все это надо было делать очень быстро, безостановочно, и это делали очень быстро, безостановочно, а когда все обмундирование наконец разложили, в конюшню ввели мобилизованных и указали им их плащ-палатки; каждый связал свою в узел и, взвалив на плечи, отправился в казарму переодеваться. Почти ничего не приходилось менять, а если и приходилось, то лишь потому, что мобилизованный и впрямь «разжирел на гражданке». Так же редко случалось, чтобы чего-нибудь не хватало в комплекте: сапожной щетки, например, или там ложки с вилкой, а если и не хватало, то тут же выяснялось, что кто-то другой получил две сапожные щетки или два прибора,— обстоятельство, подтверждавшее теорию фельдфебеля, что мы недостаточно механически работаем, «слишком утружда-

ем свой мозг». Что до меня, то я свой мозг нимало не утруждал, и поэтому недостатки котелков и мисок в комплектах обнаружено не было.

В тот миг, когда первый солдат из очередной роты вскидывал на плечи свой узел, первый из нашей команды должен был расстелить на освободившемся месте новую плащ-палатку. Все шло у нас как по маслу, а вновь произведенный ефрейтор тем временем отмечал каждый предмет в толстой книге. Почти во всех графах он должен был проставлять единицу, и только там, где были обозначены подворотнички, носки, носовые платки, сорочки нательные и кальсоны, он проставлял двойки.

И все же выпадали «мертвые минуты», как их называл фельдфебель, и нам разрешалось употребить их на то, чтобы немного подкрепиться. Мы располагались на топчанах конюхов и ели бутерброды с ливерной колбасой, а иногда с сыром или с пластовым мармеладом, а когда и на долю фельдфебеля выпадали две-три «мертвые минуты», он подсаживался к нам и объяснял, в чем заключается разница между воинским званием и должностью; ему казалось необычайно интересным, что сам он — унтер-офицер интендантской службы («это моя должность»), а чин имеет фельдфебеля («а это мое воинское звание»). «Таким образом,— говорил он,— даже ефрейтор может быть унтер-офицером интендантской службы, да что там ефрейтор — рядовой солдат». Эта тема никак не давала ему покоя, и он все придумывал и придумывал новые случаи несоответствия звания и должности — некоторые из них свидетельствовали о том, что его фантазия может толкнуть его на путь государственной измены. «Так что вполне может случиться,— говорил он,— что ефрейтор станет командиром роты, а то и батальона».

Десять часов кряду я раскладывал котелки и миски по плащ-палаткам, потом шесть часов спал, а потом снова десять часов раскладывал котелки и миски; затем снова шесть часов спал и за все это время не имел никаких известий от Лео. Когда пошли третьи десять часов раскладывания котелков и мисок, ефрейтор во всех графах, где надо было писать единицы, стал писать двойки, а где надо было двойки — единицы. Его сменили и поручили ему раскладывать подворотнички, а второго молодого учителя назначили писарем. Меня же так

и оставили на котелках и мисках: фельдфебель считал, что я, на удивление, успешно справляюсь с порученным заданием.

Во время «мертвых минут», когда мы, примостившись на топчанах, уминали хлеб с сыром, хлеб с мармеладом и хлеб с ливерной колбасой, стали распространяться какие-то странные слухи. Рассказывали, например, историю про одного довольно известного, теперь уже уволенного в отставку генерала, которому по телефону было передано предписание явиться на небольшой островок и принять там под свою команду особо важную и особо секретную часть; генерал вытащил из шкафа мундир, поцеловал на прощанье жену, детей и внуков, похлопал по крупу любимого коня, сел в поезд и доехал до нужного пункта на побережье Северного моря, там нанял моторку и прибыл на указанный остров; по глупости генерал отправил моторку назад прежде, чем обнаружил на этом острове свою «особо секретную часть». Начался прилив, и генерал, угрожая оружием, — так, во всяком случае, рассказывали, — заставил местного крестьянина с риском для жизни переправить его на весельной лодке на материк. После обеда это уже рассказывали в ином варианте: будто бы в лодке генерал и крестьянин схватили друг друга за грудки, вывалились за борт и утонули. Мне становилось жутко оттого, что история про генерала — и другие ей подобные — воспринимались и как рассказы о происках врага и как анекдоты, а я не находил в них ни ужасного, ни смешного. Я не мог принять всерьез мрачного и жалкого слова «саботаж», которое звучало в этих байках неким нравственным камертоном, но не мог и потешаться над ними и зубоскалить вместе со всеми.

В любое другое время строевой марш «Ах зачем, ах зачем», одолевший мой мозг, вторгшийся в мой сон и заполнивший недолгие минуты бодрствования, так же как и нескончаемый поток мужчин, бежавших с картонками под мышкой от трамвайной остановки к воротам казармы, а час спустя покидавших казарму под звуки «Ах зачем, ах зачем», и даже речи, которые мы слушали вполуха, речи, где без конца повторялось слово «сплоченность», — все это в любое другое время показалось бы мне комичным, но то, что прежде было бы комичным, теперь не было комичным, и над тем, что прежде казалось бы мне смешным, я уже не мог ни смеяться, ни

насмехаться; даже над фельдфебелем, даже над ефрейтором — его уголок так и остался пришитым криво, и он то и дело клал на плащ-палатки по три подворотничка вместо двух.

По-прежнему стояла жара, по-прежнему был август, а то, что трижды шестнадцать составляет сорок восемь, то есть ровно двое суток, я понял, только когда проснулся в воскресенье часов в одиннадцать утра и впервые с тех пор, как Лео получил новое назначение, улегся на подоконник; будущие учителя, облачившись в парадную форму, уже были готовы отправиться в церковь и с порога вопросительно взглянули на меня.

— Идите, идите, я следом, — ответил я и понял по их лицам, что они рады обойтись без моего общества. Всякий раз, когда мы вместе шли к мессе, они дорогой на меня смотрели так, словно собирались тут же отлучить от церкви, потому что всякий раз что-то во мне самом или в моем мундире их не устраивало: плохо вычищенные сапоги, неаккуратно подшитый подворотничок, слабо затянутый ремень или давно не стриженные волосы; причем возмущались они не как солдаты одной со мной части (на что они, с моей точки зрения, объективно говоря, может быть, и имели право), но как католики; им было бы куда приятней, если бы я не заявил без обиняков, что мы с ними принадлежим к одной церкви; для них это было весьма прискорбное обстоятельство, но что поделаешь, если в моей солдатской книжке стоит буква «К» — католик.

Они так радовались, что в это воскресенье могут отправиться в церковь без меня, — я ясно видел это, глядя, как они, такие чистенькие, такие подтянутые, такие ладные, шагали мимо казармы в город. Иногда, когда у меня случались приступы сочувствия к ним, я думал о том, как им повезло, что Лео — протестант, они, пожалуй, не выдержали бы, окажись и Лео католиком.

Приказчик и фельдшер еще спали; явиться в конюшню нам надо было к трем часам дня. Я некоторое время полежал еще на подоконнике — как раз столько, сколько можно было, чтобы попасть в церковь к концу проповеди. Когда я одевался, я снова открыл шкафчик Лео и ужаснулся: шкафчик был пуст — там ничего не было, кроме записки и здорового куска окорока. Лео запер

шкафчик, видно, только для того, чтобы я получил его записку и ветчину. В записке я прочел: «Я погорел, они отправляют меня в Польшу. Ты, наверное, уже об этом слышал?» Я сунул записку в карман, замкнул шкафчик и быстро надел мундир.словно в каком-то оцепенении отправился я в город, вошел в церковь, и даже укоризненный взгляд учителей, которые обернулись на меня, покачали головами, а потом вновь устали на алтарь, не привел меня в чувство. Видимо, они хотели выяснить, не пришел ли я после возношения даров, дабы возбудить дело об отлучении меня от церкви. Но я в самом деле пришел до возношения даров, так что сделать они ничего не могли, а я тоже был готов остаться католиком. Я думал о Лео, и мне было страшно, я думал и о девочке из Кельна и чувствовал себя немного подонком, но я готов был отдать голову на отсечение, что в ее голосе звучали брачные ноты. Чтобы окончательно взбесить своих казарменных единоверцев, я еще в церкви расстегнул крючок воротника.

Выйдя из церкви после мессы, я остановился в тенистом уголке, как раз между ризницей и калиткой, и прислонился к ограде. Я снял фуражку, закурил и стал разглядывать выходящую из портала толпу; я думал о том, как бы мне познакомиться с какой-нибудь девчонкой, погулять с ней по улицам, выпить кофе, а может быть, и пойти в кино; оставалось три часа до того, как мне снова придется раскладывать по плащ-палаткам котелки и миски. Мне хотелось бы, чтобы эта девчонка была не слишком глупой и по возможности хорошенькой. Я думал и о своем обеде в казарме, который теперь пропадет; надо было сказать приказчику, чтобы он съел мою котлету и сладкое.

Я докуривал уже вторую сигарету, наблюдая, как верующие останавливались, собирались в группки, снова расходились, а когда я прикуривал третью сигарету от окурка второй, то заметил, что сбоку на меня упала чья-то тень; я обернулся направо и обнаружил, что человек, отбрасывающий эту тень, еще чернее своей тени: это был тот капеллан, который только что отслужил службу. Он казался очень приветливым, был еще не стар, лет тридцати, не больше, белокур и, пожалуй, чересчур упитан. Сперва он поглядел на мой расстегнутый воротник, затем на мои сапоги, затем на непокрытую голову и на

мою фуражку, которую я, сняв, положил на цоколь ограды, но она оттуда упала и валялась теперь на асфальтовой дорожке: наконец его взгляд остановился на моей сигарете, скользнул по-моему лицу, и у меня возникло впечатление, что все, что он увидел, ему не понравилось.

— Что случилось? — спросил он. — У вас какие-нибудь неприятности?

И едва я успел кивнуть в ответ, как он уже выпалил:

— Хотите исповедаться?

«Проклятье! — подумал я. — У них в голове только исповедь, и в ней-то их интересуется лишь одно».

— Нет, — сказал я, — исповедаться я не хочу.

— Так что же? Что отягощает вашу душу?

Этот вопрос прозвучал так, словно вместо «душу» он хотел сказать «желудок».

Он явно потерял терпение, не сводил глаз с моей фуражки, его раздражало — я это чувствовал, — что я все еще ее не поднял. Я охотно превратил бы его нетерпение в терпение, но ведь не я с ним заговорил, а он со мной, и поэтому я его спросил, по-глупому запинаясь, не знает ли он какой-нибудь милой девушки, с которой я мог бы погулять по городу, выпить кофе и, быть может, даже вечером пойти в кино; вовсе не обязательно, чтобы она была красавицей, но хоть чуть-чуть привлекательной она все же должна быть, а главное, не из так называемой хорошей семьи, потому что эти девушки чаще всего оказываются глупенькими; я дам ему адрес капеллана в Кёльне, у которого он может навести обо мне справки, в крайнем случае позвонить ему по телефону, чтобы удостовериться, что я из добропорядочной католической семьи. Я говорил долго, в конце даже перестал запинаться и все время наблюдал, как менялось выражение его лица: сперва оно было благожелательным, чуть ли не приветливым — правда, только в самом начале, когда он, видимо, считал, что я представляю собой интересный и, быть может, даже чем-то примечательный случай слабоумия, и находил меня психологически забавным. Впрочем, эти переходы от благожелательного выражения к приветливому, от приветливого к заинтересованному были едва уловимы, но потом он вдруг — как раз в тот момент, когда я объяснял ему, какими физическими достоинствами должна обладать девушка, — побагровел от бешенства. Я испугался, потому что мама мне говорила, как опасно, когда у полных людей лицо

внезапно наливается кровью. Потом он начал на меня орать. А когда на меня орут, я теряю всякое самообладание. И он не унимался. У меня, мол, недопустимо расхлябанный вид — «расстегнутый воротник, нечищенные сапоги, фуражка валяется в грязи, да, да, в грязи», и я, мол, распускаю себя — курю сигарету за сигаретой, и уж не спутал ли я католического священника со сводником. Я был настолько возмущен, что совершенно перестал его бояться, только весь дрожал от злости. Я спросил его, какое ему дело до моего воротника, сапог, фуражки, и уж не думает ли он, что призван заменять моего унтер-офицера.

— И вообще,— сказал я,— вы все твердите, что к вам надо идти со всеми своими заботами, а вот когда обращаешься к кому-нибудь из вашей братии, вы словно с цепи срываетесь.

— Что за наглость! — в ярости зашипел он.— Что за тон! Мы как будто еще не побратались.

— Да, вы правы,— сказал я. Что ему было до идей христианства.

Я поднял с земли фуражку, надел ее, не отряхнув, и неторопливым шагом пересек церковную площадь. Он крикнул мне вслед, чтобы я хоть воротник-то застегнул, что грешно быть таким ожесточенным; я хотел было обернуться и крикнуть в ответ, что ожесточен он, а не я, но вовремя вспомнил слова матери: «Ладно уж, говори правду священнику, но дерзости все же лучше оставляй при себе», и, не оборачиваясь, направился в город. Крючка на ворота я так и не застегнул, я шел и думал о католиках: ведь началась война, а они глядят на воротники да сапоги; они все твердят, чтобы обращались к ним со всеми своими заботами, а только сунешься, как их охватывает ярость.

Я медленно брел по улицам в поисках кафе, в котором никому не надо было бы отдавать честь. Эти идиотские приветствия отравляли мне все удовольствие от кафе; я разглядывал всех встречных девушек, даже оборачивался им вслед и смотрел на ноги, но не было ни одной, в чьем голосе не зазвучали бы брачные ноты. Я был в отчаянии, я думал о Лео, о своей девочке из Кёльна, я чуть было не решил послать ей телеграмму. Я был почти готов рискнуть жениться на ней только ради того, чтобы оказаться с девушкой наедине. Я остановился у витрины фотоателье, чтобы спокойно подумать о Лео. Я боялся за него. В стекле я увидел свое

отражение — грязные сапоги, расхлястанный ворот — и поднял было руки, чтобы застегнуть крючок, но потом подумал, что это ни к чему, и снова опустил руки. Фотографии в витрине производили тяжкое впечатление — почти сплошь портреты солдат в парадной форме, кое-кто даже в касках, и когда я размышлял над тем, какие же из этих физиономий угнетают меня больше — те, что в касках, или те, что в фуражках, из дверей ателье вышел фельдфебель, неся под мышкой фотографию в рамке; фотография была большого формата, не меньше чем шестьдесят на восемьдесят, а рамка из блестящего серебристого багета; фельдфебель снялся в парадном мундире и в каске. Он был еще очень молод, не намного старше меня, ему было никак не больше двадцати одного, сперва он хотел пройти мимо, но потом почему-то остановился с несколько смущенным видом, и пока я колебался, надо ли поднять руку и приветствовать его, он сказал:

— Да брось, но вот воротник я на твоём месте застегнул бы, и мундир тоже, можешь нарваться на такого, который спуску не даст.

Потом он рассмеялся и ушел. С тех пор я отдаю некоторое предпочтение тем, кто фотографируется в касках, а не в фуражках.

Вот бы с Лео стоять сейчас перед витриной и разглядывать эти снимки! Кроме портретов военных, в витрине висело еще несколько фотографий новобрачных, детей после первого причастия и студентов с корпоративными значками, опоясанных лентами с пивными пробками на концах; я долго думал, почему они не обвязывают этими лентами голову, кое-кому из них это, пожалуй, пошло бы... Мне нужно было общество, а его у меня не было.

Капеллан, видно, подумал, что я либо страдаю от сексуального голода, либо антиклерикально настроенный нацист; но я не страдал от сексуального голода и не был ни антиклерикалом, ни нацистом. Я всего-навсего нуждался в обществе, и притом не в мужском; это было настолько просто, что казалось невысказанно сложным; конечно, в городе было полно доступных девиц и даже проституток (это ведь был католический город), но доступные девицы и проститутки в одинаковой мере обижаются, когда ты не испытываешь сексуального голода.

Я долго торчал перед витриной фотоателье. По сей день в чужих городах я всегда рассматриваю фотовитри-

ны. Они везде выглядят примерно одинаково и везде производят примерно то же угнетающее впечатление, хотя не везде есть портреты студентов с корпоративными значками. Было уже около часа, когда я наконец двинулся дальше в поисках кафе, где никого не надо приветствовать, но они в своих мундирах заполнили все кафе, и в конце концов я пошел в кино на первый сеанс, в час пятнадцать. Помню только хронику: очень неблагородного вида поляки измывались над очень благородного вида немцами; в зале было так пусто, что я без опаски мог курить; последнее воскресенье августа 1939 года выдалось очень жаркое.

Когда я вернулся в казарму, три уже давным-давно пробило, но по какой-то причине приказ начать в три часа раскладывать в конюшне плащ-палатки, котелки, миски и подворотнички был отменен; я пришел как раз вовремя, чтобы успеть переодеться, пожевать хлеба с ливерной колбасой, несколько минут полежать на подоконнике и услышать обрывки разговоров об Эрнсте Юнгере — с одной стороны, о женском теле — с другой, обе эти темы обсуждались теперь еще серьезней и еще скучней. Фельдшер и приказчик вплетали в свои рассуждения латинские названия — и без того гнусный их разговор становился еще гнуснее.

В четыре часа нас собрали во дворе, и я было подумал, что нам снова придется перегружать сапоги из автомашин в товарные вагоны или из товарных вагонов в автомашины, но на этот раз нас заставили перетаскивать картонные коробки из-под стирального порошка «Персиль» из спортивного зала, где они были сложены штабелями, на грузовики, а потом из грузовиков в почтовый склад, где их тоже укладывали в штабеля. Коробки были не тяжелые, с адресами, напечатанными на машинке; мы становились цепочкой, и одна за другой все эти картонки прошли через мои руки; этой работой мы занимались весь воскресный вечер до поздней ночи, почти без «мертвых минут», так что некогда было даже перекусить; нагрузив машину картонками, мы ехали на почту, снова выстраивались цепочкой и принимались за разгрузку. Иногда мы дорогой обгоняли колонну пехоты с оркестром во главе, игравшим «Ах зачем, ах зачем», или же колонна попадалась нам навстречу; у них появилось уже три духовых оркестра, и дело шло

быстрее. Было уже поздно, далеко за полночь, когда мы вывезли из казармы последние картонки,— и руки мои, еще помнившие, какую прорву котелков и мисок им пришлось перетаскать, едва ли ощущали разницу между котелками и картонками из-под «Персиля».

Я страшно устал и хотел было тут же, не раздеваясь, завалиться на койку, но на столе снова появилась гора хлеба, ливерной колбасы, мармелада и масла, и наши решили немедленно приступить к дележке; мне нужны были только сигареты, но пришлось ждать, пока продукты не были разделены со скрупулезной точностью, потому что ефрейтор, конечно, снова оставил сигареты напоследок; он делал все невероятно медленно, то ли для того, чтобы приучить меня к умеренности и дисциплине, то ли, чтобы выразить свое презрение к моим желаниям; когда же я наконец получил вожаденные сигареты, я растянулся, в чем был, на койке, закурил и стал глядеть, как они мажут ливерную колбасу на хлеб, и слушать, как они похваляют полученное масло и вяло спорят о том, из чего сделан мармелад: из клубники, яблок и абрикосов или только из клубники и яблок. Они ели очень долго, и я никак не мог уснуть; потом я услышал приближающиеся шаги в коридоре и сразу понял, что это ко мне: мне стало страшно, и в то же время я испытывал облегчение, но удивительно было то, что все сидевшие за столом — приказчик, фельдшер и троица учителей — вдруг перестали жевать и уставились на меня; и тут ефрейтор решил, что настал момент на меня наорать; он вскочил с места и крикнул:

— Какого черта вы сапоги не снимаете?..

Есть вещи, в которые трудно поверить, даже сегодня мне еще не верится, хотя я слышал собственными ушами, что он ни с того ни с сего обратился ко мне на «вы»; мне вообще было бы приятней, если бы мы с самого начала говорили друг другу «вы», но это неожиданное «вы» прозвучало так комично, что впервые с тех пор, как началась война, я рассмеялся. Тем временем дверь распахнулась, и у моей койки очутился ротный писарь, он был очень взволнован и, должно быть, потому не отчитал меня за то, что я валялся в сапогах и мундире, да еще курил. Он только сказал:

— Вам приказано через двадцать минут явиться в походном снаряжении к четвертому строению. Ясно?

Я ответил:

— Да.

И тогда он добавил:

— Там доложите ротному фельдфебелю.

И я снова сказал «да» и принялся все выгребать из своего шкафчика, и как раз когда я засовывал фотографию моей девушки в карман брюк, я вдруг снова услышал голос ротного писаря — оказывается, он все еще стоял здесь.

— Я должен сообщить вам печальную новость, да, печальную, хотя вам есть чем гордиться: первый павший на поле боя из нашего полка — это ваш сосед по койке, унтер-офицер Лео Зимерс.

На второй половине фразы я обернулся к ротному писарю, и теперь все они, и он в том числе, уставились на меня. Я почувствовал, что бледнею, и не знал, дать ли волю охватившему меня гневу или молчать; потом я тихо сказал:

— Ведь еще не объявлена война... Он не мог быть убит... И он не был бы убит...

И вдруг я заорал:

— Лео не убьешь! Нет, нет... Вы это прекрасно знаете!

Никто ничего не сказал, и унтер-офицер тоже, и пока я продолжал выгребать из шкафчика и засовывать в ранец все, что полагалось, я услышал, что он вышел в коридор. Я поставил ранец на табуретку, чтобы мне не надо было к ним оборачиваться, их словно не было в комнате, даже чавканья их я не слышал. Собрался я очень быстро. Хлеб, ливерную колбасу, сыр и масло я оставил в шкафчике и запер его на ключ. Когда мне все же пришлось обернуться, я обнаружил, что они умудрились без единого звука разобрать свои койки и улечься в постель. Я кинул ключ от шкафчика приказчику и сказал:

— Все, что там осталось, — твое.

Хоть он был мне несимпатичен, все же был чем-то симпатичнее остальных четырех; потом я сожалел о том, что не ушел молча, но ведь мне не было еще и двадцати. Я хлопнул дверью, взял из пирамиды свою винтовку, спустился по лестнице и засек время по часам на штабном корпусе — без двух минут три. Было тихо и все еще тепло в этот последний понедельник августа 1939 года. Ключ от шкафчика Лео я выкинул во дворе казармы, когда шел к четвертому строению. Все уже выстроились

на плацу, и оркестр занял свое место перед ротой, а офицер, всегда державший речь о сплоченности перед выступлением очередной части, шел через двор; он снял фуражку, вытер пот со лба и снова надел ее. Он напомнил мне вагоновожатого, который переводит дух на конечной остановке.

Ротный фельдфебель сам подошел ко мне и спросил:

— Вы из штаба?

Я ответил:

— Да.

Он кивнул; он был бледен, очень молод и немного растерян; я глядел мимо него, на темные, едва различимые шеренги. Собственно, различал я только блестящие трубы оркестра.

— Вы случайно не телефонист? — спросил меня фельдфебель.— Дело в том, что мы потеряли телефониста.

— Телефонист,— ответил я быстро и с воодушевлением, которое, видно, удивило его, потому что он посмотрел на меня вопросительно.— Да, да, практически я овладел этой специальностью.

— Хорошо,— сказал он,— тогда вы явились как нельзя более кстати. Пристройтесь где-нибудь к концу колонны, дорогой мы все уточним.

Я двинулся вправо, туда, где темно-серые шеренги, казалось, немного светлели; когда я подошел к ним вплотную, я даже узнал некоторые лица. Я стал в самом конце роты. Кто-то крикнул:

— Напра-во, шаго-ом марш!

И не успел я поднять ноги, как они все уже запели свое: «Ах зачем, ах зачем...»

1961

КОГДА КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

Уже совсем рассвело, когда мы подъехали к немецкой границе: слева — широкая река, справа — лес, глухой и темный, даже по опушке видно; в вагоне все притихли, поезд медленно полз по наспех расчищенному полотну, мимо разбитых домишек и изрешеченных телеграфных столбов. Сопляк, примостившийся подле меня, снял очки, старательно протер их и прошептал:

— Бог ты мой, куда это нас завезли! Ты представляешь себе, где мы?

— Да,— ответил я.— Река, которую ты только что видел, называется у нас Рейном. Этот вот лес справа — Рейхсвальд. А сейчас будет Клеве.

— Разве ты из этих мест?

— Нет.

Он мне надоел. Всю ночь напролет протараторил он своим петушиным голосом старшекласника и чуть не свел меня с ума: он, мол, тайно читал Брехта, Тухольского, Вальтера Беньямина, а также Пруста и Карла Крауса, он бормотал, что поставил себе целью изучить социологию, а также теологию, ибо намерен содействовать обновлению Германии; а когда эшелон под утро остановился в Нимвегене и кто-то сказал, что скоро будет немецкая граница, он вдруг засуетился и начал приставать ко всем, не обменяет ли кто-нибудь моточек ниток на два окурка; так как никто не отозвался, я предложил содрать темно-зеленые нашивки с моего воротника, которые, кажется, называются петлицами, и распустить их. Я снял мундир и стал наблюдать, как он, вооружившись кусочком жести, аккуратно отпарывал эти штуки, мотал нитки в клубок, а затем и в самом деле принялся обшивать свои юнкерские погоны галуном. Я спросил его, уж не под влиянием ли Брехта, Тухольского, Беньямина и Карла Крауса занялся он рукоделием, или это следует приписать влиянию Юнгера, в котором он, правда, не признался, но которое побуждает его вновь утвердить себя в своем воинском звании с иголкой в руках — этой пикой Мальчика-с-пальчик. Сопляк покраснел и сказал, что с Юнгером он давно покончил и свел с ним все счеты, а когда мы въехали в Клеве, прервал свое шитье и снова подсел ко мне, стискивая в пальцах свою пику Мальчика-с-пальчик.

— Вот о Клеве ничего не могу вспомнить... Решительно ничего,— сказал он.— А ты?

— А я могу,— ответил я.— «Лоэнгрин» — фирма маргарина, лебедь в голубой рамке. Помнишь? А еще Анна Клевская, одна из жен Генриха VIII.

— В самом деле «Лоэнгрин»? Но у нас дома покупали маргарин «Санелла». Возьмешь окурки?

— Нет. Сбереги их для своего отца. Надеюсь, он даст тебе по морде, когда ты явишься домой с юнкерскими нашивками.

— Ах, тебе этого не понять,— вздохнул он.— Прус-

сия, Клейст, Франкфурт-на-Одере, Потсдам, принц Гомбургский, Берлин...

— Что ж,— сказал я,— Клеве, кажется, уже давно стал прусским городом, а где-то против него, по ту сторону Рейна лежит маленький городок Везель.

— Ну как же,— воскликнул он,— конечно, Шилль!

— Впрочем, за Рейном пруссакам так и не удалось обосноваться. Они захватили там только два плацдарма — Бонн и Кобленц.

— Пруссаки,— сказал он.

— Бломберг,— сказал я.— Тебе нужны еще нитки?

Он снова покраснел и замолк.

Поезд полз медленно, и все толпились у открытых дверей теплушки и глазели на Клеве. По перрону расхаживали английские часовые: небрежно одетые, хмурые, равнодушные и все же настороженные — ведь мы все еще были пленные; на шоссе столб со стрелкой: «На Кёльн». Башня Лознгрина проглядывала сквозь осеннюю листву. Октябрь в низовьях Рейна, голландское небо; кухни в Ксантене, тетки в Кевеларе, напевный говор, шепот контрабандистов в пивных, шествия в честь Святого Мартина, пекари, карнавал в духе Брейгеля, и везде пахнет мятными пряниками, даже там, где ничем не пахнет...

— Да пойми ты меня,— бормотал Сопляк.

— Оставь меня в покое,— оборвал я его.

Хотя он еще не был мужчиной, он скоро им станет, и поэтому я его ненавидел. Он обиделся, отсел от меня и стал дошивать второй погон. Мне его даже не было жалко: неуклюже, исколотыми в кровь пальцами втыкал он иголку в синее сукно своей летной формы; стекла его очков помутнели, и я не мог определить, плачет он или это только так кажется; я тоже чуть не плакал: ведь через два часа, самое большее через три мы будем в Кёльне, а оттуда рукой подать до местечка, где жила та, на которой я женился и в чьем голосе никогда не звучали брачные нотки.

Внезапно из-за угла товарного склада выбежала женщина, и прежде чем часовые успели опомниться, она подскочила к нашему вагону и развернула синий платок, в котором, как я сперва решил, запеленат ребенок. Там оказался хлеб, большая буханка хлеба. Женщина протянула ее мне, и я ее взял; буханка была тяжелая, и, на

мгновение потеряв равновесие, я чуть было не вывалился из движущегося вагона; хлеб был темный, еще теплый, и мне хотелось крикнуть «спасибо, спасибо!», но слово это я вдруг счел почему-то глупым, а тут еще поезд прибавил скорость, и я остался стоять на коленях с тяжелой буханкой в руках; и поныне я ничего не знаю о той женщине, кроме того, что голову ее покрывал темный платок и что она была уже в годах.

Когда я наконец поднялся на ноги, в вагоне стало еще тише, чем прежде, глаза всех уперлись в хлеб, который под их взглядами становился все тяжелее; я знал эти глаза, знал их рты, зияющие под этими глазами, и много месяцев подряд пытался определить, где же проходит у меня граница между ненавистью и презрением, но так и не нашел этой границы; некоторое время я делил этих людей на пришивальщиков и непришивальщиков — это было, когда нас перевели из американского лагеря военнопленных (где было запрещено ношение знаков различия) в английский (где ношение знаков различия не возбранялось), — и к непришивальщикам я даже испытывал некоторую симпатию, пока не выяснилось, что у них у всех вообще не было никаких чинов и пришивать им было просто нечего; один из них, Эгелехт, даже попытался устроить надо мной нечто вроде суда чести, чтобы лишить меня права считаться немцем (и я мечтал, чтобы этот суд, так никогда и не состоявшийся, имел бы власть отнять у меня это право). Но они не знали, что всех их, и нацистов и ненацистов, я ненавидел не только за их пристрастие к пришиванию петлиц или за их политические взгляды, но и за то, что они были мужчинами, что все они были одного пола с теми, с кем я жил бок о бок целые шесть лет. За это время понятия «мужчина» и «дурак» для меня стали почти тождественными.

Где-то в глубине вагона раздался голос Эгелехта: — Первый немецкий хлеб! И надо же, чтобы он достался именно ему.

В голосе Эгелехта слышались сдавленные всхлипывания, я и сам едва сдерживал слезы, но им никогда не понять, что это не только из-за буханки, не только потому, что мы уже пересекли границу Германии, а главным образом потому, что впервые за последние восемь месяцев я почувствовал прикосновение женской руки.

— Ты, — тихо сказал Эгелехт, — ты, наверное, даже этому хлебу откажешь в его немецком происхождении.

— Да, я поступлю как типичный интеллигент и задумаюсь над тем, не прибыла ли мука, из которой испечен этот хлеб, из Голландии, Англии или, чего доброго, из Америки. Поди-ка сюда,— добавил я,— и раздели его на всех, если тебе охота.

Большинство из них я ненавидел, многие были мне безразличны, а что до Сопляка, который последним примкнул к группе пришивальщиков, то им я тяготился все больше, и все же я считал, что должен разделить с ними этот хлеб — ведь я понимал, что он предназначался не мне одному.

Эгелехт медленно протиснулся вперед: он был долговязый и тощий, такой же долговязый и тощий, как и я, ему было двадцать шесть, столько же, сколько мне; в течение трех месяцев он пытался мне вдолбить, что националист — это не нацист, что слова Честь, Верность, Родина, Достоинство никогда не могут потерять своей непреходящей ценности, а я противопоставлял мощному потоку его красноречия всего только пять слов: Вильгельм II, фон Папен, Гинденбург, Бломберг, Кейтель,— и его бесило то, что я никогда не упоминал имени Гитлера, даже тогда, когда первого мая часовой бежал по лагерю и орал в рупор: «Hitler is dead, dead is he!»¹

— На,— сказал я,— дели хлеб.

— Рассчитайсь! — крикнул Эгелехт.

Я дал ему буханку, он снял шинель, расстелил ее на полу вагона подкладкой вверх, разгладил подкладку, положил на нее хлеб, а вокруг нас тем временем шел расчет.

— Тридцать второй! — крикнул Сопляк.

Стало тихо.

— Тридцать третий! — сказал после паузы Эгелехт и посмотрел на меня, потому что «тридцать третий» должен был крикнуть я, но я промолчал, отвернулся и стал глядеть в раскрытую дверь на шоссе, окаймленное старыми деревьями, тополями и вязами наполеоновских времен, под которыми мы с братом устраивали привал, когда ехали на велосипедах из Вееце к голландской границе, чтобы купить дешевого шоколада и сигарет.

Я чувствовал, что они там за моей спиной ужасно обижены; я видел на обочинах желтые указатели: «На Калькар», «На Ксантен», «На Гельдерн»; слышал звя-

¹ Гитлер умер, он умер! (англ.)

канье самодельного ножа, ощущал, как обида нарастает, словно грозное облако; они всегда находили повод обидеться — они обижались, когда английский часовой протягивал им сигарету, и обижались, когда он ее не протягивал; они обижались, когда я ругал Гитлера, а Эгелехт смертельно обижался, когда я не ругал Гитлера; Сопляк тайно читал Бенъямина и Брехта, Пруста, Тухольского и Карла Крауса, но когда мы пересекли немецкую границу, он срочно обшил погоны юнкерскими галунами. Я вынул из кармана сигарету, которую выменял на свои ефрейторские нашивки, обернулся и присел возле Сопляка. Я наблюдал, как Эгелехт делил хлеб: он разрезал буханку пополам, обе половинки — на четыре части, а восьмушки — снова на четыре части, таким образом на долю каждого доставался хороший толстый ломоть — темный хлебный кубик, граммов, должно быть, в шестьдесят.

Эгелехт разрезал уже последнюю восьмушку, и каждый, каждый знал, что те, кому достанутся средние куски, получат граммов на пять, а то и на десять больше остальных, потому что, хотя буханка и была горбатой, Эгелехт резал все ломти одинаковой толщины. Но потом он взял оба средних ломтя, отсек у них лишек и сказал:

— Итак, тридцать три порции — пусть младший начнет.

Сопляк поглядел на меня, залился краской, наклонился, взял кусок хлеба и тут же запихнул его в рот; все шло как по маслу, пока Бувье, который вечно говорил о своих самолетах и доводил меня этим до бешенства, не взял себе куска, потому что за ним наступал мой черед, а потом — Эгелехта, но я не шелохнулся. Мне хотелось закурить, но у меня не было спичек и никто мне не предложил огонька. Все, кто уже взял хлеб, испуганно перестали жевать; те, кто еще не взял, не знали толком, что происходит, и все же они поняли: я не хотел преломить с ними хлеб; они чувствовали себя оскорбленными, тогда как первые (уже получившие хлеб) были лишь в замешательстве; я пытался смотреть в дверь, на тополя и вяза наполеоновских времен, на эту аллею с просветами, затянутыми голландским небом, но попытка сделать вид, что меня все это не касается, не удалась; я боялся, что меня отлупят; драться я не очень-то умел, но даже если бы и умел, меня это все равно не спасло бы, они меня так и так разделали бы под орех, как тогда,

в лагере под Брюсселем, когда я сказал, что предпочитаю быть мертвым евреем, чем живым немцем. Я вынул сигарету изо рта, отчасти потому, что курить в эту минуту мне показалось смешным, отчасти же потому, что боялся потерять ее в свалке, и поглядел на Сопляка, который сидел рядом, красный как рак. Потом Гугель, следующий за Эгелехтом, взял себе кусок и тут же сунул его в рот, и все остальные последовали его примеру; осталось всего три куска хлеба на шинели, когда вперед вышел человек, которого я еще толком не знал; в нашу палатку он попал только в лагере под Брюсселем; он был в годах, на вид лет пятидесяти, невысокого роста, с серым, испещренным шрамами лицом; в наших яростных спорах он никогда не участвовал, стоило нам схватиться, как он тотчас выходил из палатки и принимался шагать вдоль колючей проволоки, и по виду его было ясно, что это занятие ему не внове. Я даже не знал, как его зовут. На нем была сильно выгоревшая форма колониальных войск и совершенно штатские полуботинки. Из глубины вагона он двинулся прямо на меня, подошел вплотную, остановился и сказал неожиданно мягким голосом:

— Возьми хлеб.

Я не взял, он покачал головой и сказал:

— У всех вас проклятый дар придавать всему символический смысл. Это хлеб, всего лишь хлеб, и женщина подарила его тебе... Ну, бери же!..

Он взял кусок с шинели, вложил его в ладонь моей бессильно висевшей руки и крепко стиснул мои пальцы. У него были темные, но не черные глаза, и, судя по лицу, он много намотался по тюрьмам. Я кивнул и сделал усилие, чтобы удержать хлеб; вздох облегчения пронесся по вагону; Эгелехт взял свой ломоть, а за ним и старик в колониальной форме.

— Проклятье,— сказал он,— двенадцать лет я не был в Германии, но постепенно я все же начинаю понимать вас, безумцев.

Прежде чем я успел сунуть хлеб в рот, поезд остановился и мы вышли.

Большое аккуратное свекольное поле; несколько часовых-бельгийцев с фламандскими львами на околышах и на петлицах бежали вдоль поезда и кричали:

— Выходить!.. Всем выходить!..

Сопляк не отходил от меня ни на шаг, он протер свои очки и прочитал название станции:

— Вееце... Тебе что-нибудь приходит на ум?

— Конечно,— сказал я.— Вееце расположен северней Кевелара и восточнее Ксантена.

— Ах,— воскликнул он,— Кевелар — Генрих Гейне.

— Ксантен — Зигфрид, если ты это забыл.

«Тетя Элен,— думал я,— Вееце. Почему мы не доехали до Кёльна?» От Вееце ничего не осталось, кроме нескольких кирпичных развалин, красневших между деревьями. Тетя Элен держала в Вееце лавку, большую деревенскую лавку, и каждое утро она совала нам несколько монеток, чтобы мы покатались на лодках по Ниерсу или отправились бы на велосипедах в Кевелар. По воскресеньям — проповеди в церкви: предавались анафеме контрабандисты и прелюбодеи.

— Ну, чего топчетесь на месте? — закричал часовой-бельгиец.— Пошли! Пошли! Ты что, 'домой не хочешь?

Я вошел в лагерь. Сперва английский офицер вручил каждому из нас по двадцать марок, в получении которых надо было расписаться. Потом — очередь к врачу. Врач был немец — молодой насмешливый парень; он подождал, пока в кабинете собралось человек двенадцать — пятнадцать, и объявил:

— Если кто из вас настолько болен, что не хочет сегодня — понимаете, сегодня же — отправиться домой, пусть поднимет руку.

И, конечно, нашлось несколько человек, которые рассмеялись этой немисливо смешной шутке. Затем мы по очереди подходили к его столу, где он каждому шлепал печать на свидетельство об освобождении, и выходили в другую дверь. Я задержался на несколько секунд у открытой двери и услышал, как врач говорил следующей группе:

— Если кто из вас настолько болен, что...

Я вышел, и уже в конце коридора до меня донеслись раскаты смеха, а я направился к следующей инстанции. Это был английский фельдфебель, который стоял у наспех вырытого отхожего места без крыши.

— Предъявляйте свои солдатские книжки и вообще все бумаги,— скомандовал фельдфебель.

Он произнес это по-немецки, и когда они вытаскивали из карманов документы, он, махнув рукой в сторону отхожего места, приказывал кидать все в дыру, добавляя всякий раз тоже по-немецки:

— Не стесняйтесь, наслаждайтесь!

И большинство смеялось и этой шутке. Я вообще установил, что у немцев вдруг пробудился вкус к шуткам, но только если шутили иностранцы: даже Эгелехт смеялся в лагере, когда американский капитан, указав на проволочное ограждение, сказал:

— Boys¹, не воспринимайте это трагически — наконец-то вы свободны.

У меня английский фельдфебель тоже спросил документы, но я смог предъявить только свидетельство об освобождении, потому что свою солдатскую книжку загнал за две сигареты еще в лагере одному американцу; я сказал:

— Никаких других бумаг у меня нет.

И это его так же разозлило, как в свое время американского фельдфебеля, когда на вопрос: «Гитлерюгенд? СА? Член партии?» — я ответил: «No»². Американец на меня наорал, назначил наряд вне очереди, выкрикивал мне вслед ругательства и обвинил мою бабушку в каком-то сексуальном извращении, природу которого мне так и не удалось выяснить из-за недостаточного знания американского сленга. Они стервенеют, если кто-нибудь не подходит под заготовленную ими мерку. Английский фельдфебель побагровел от бешенства, вскочил и принялся меня обыскивать; долго искать ему не пришлось — он тут же наткнулся на мой дневник, толстую самодельную тетрадку: листы, вырезанные из бумажных пакетов, были прошиты проволокой — я записывал туда все, что случилось со мной с середины апреля до конца сентября, начиная с того дня, как был взят в плен американским сержантом Стивенсоном, вплоть до последней записи, которую я сделал уже в поезде, когда мы проехали мрачный Антверпен, где я прочел на одной стене надпись: «Vive le roi!»³. Больше ста страниц грубой оберточной бумаги, плотно исписанных... Взбешенный фельдфебель схватил мой дневник, швырнул его в дыру отхожего места и буркнул зло: «Didn't I ask you for papers?!»⁴. Потом он разрешил мне идти.

Мы толпились у лагерных ворот и ждали бельгийских грузовиков, которые, как стало известно, должны были

¹ Мальчики (англ.).

² Нет (англ.).

³ Да здравствует король! (фр.)

⁴ «Ведь я же спрашивал вас насчет документов?!» (англ.)

доставить нас в Бонн... Бонн? Почему именно в Бонн? Кто-то рассказал, будто въезд в Кёльн закрыт, потому что город завален непогребенными трупами, другой утверждал, что нас заставят в течение тридцати, а то и сорока лет разбирать руины «и нам даже тачек не дадут, так что мусор и битый кирпич придется таскать на себе, в корзинках». К счастью, возле меня не стоял ни один из тех, с кем я вместе спал в палатке или ехал в вагоне. Болтовня незнакомых людей была мне не так отвратительна, как разглагольствования знакомых. Кто-то впереди меня сказал:

— А у еврея он хлеб взял.

А другой ему в ответ:

— Вот такие типы и будут теперь задавать тон.

Сзади кто-то толкнул меня и спросил:

— Махнем сто грамм хлеба на сигарету?

И тут же перед моим лицом появилась рука с куском хлеба, и я сразу узнал один из тех кубиков, которые нарезал Эгелехт в вагоне. Я покачал головой. Рядом раздался чей-то голос:

— Бельгийцы торгуют сигаретами по десять марок за штуку.

Мне это показалось очень дешево: в лагере немцы продавали сигарету за сто двадцать марок.

— Кому нужны сигареты?

— Мне,— сказал я и сунул свои двадцать марок в чью-то ладонь.

Все торговали со всеми. Это было единственное, что их всерьез интересовало. За две тысячи марок плюс поношенный мундир кто-то получил гражданский костюм; обмен и переодевание произошли прямо тут же, в толпе, и я услышал чей-то возмущенный голос:

— Подштанники относятся к костюму, это же ясно! И галстук тоже...

Кто-то загнал часы за три тысячи марок. Но главным товаром было мыло. Те, кто содержался в американских лагерях, имели много мыла, некоторые до двадцати кусков, потому что каждую неделю там выдавали по куску мыла, но воды для мытья не было никогда; те же, кто прибыл из английских лагерей, мыла и в глаза не видали; зеленые и красные куски передавались из рук в руки, вид мыла пробудил кое в ком честолюбие художника: из мыла были созданы собачки, кошечки и всевозможные гномы. Но тут выяснилось, что честолюбие художника несовместимо с торговлей: простой кусок

мыла ценится по курсу выше мыльной фигурки, ибо в этом случае не был гарантирован чистый вес.

Неведомая мне рука, в которую я сунул двадцать марок, вдруг снова вынырнула с двумя сигаретами; я был почти умилен такой честностью (да, почти умилен, но только пока не узнал, что бельгийцы торгуют сигаретами по пять марок штука. В самом деле, сто процентов прибыли — неплохой бизнес, особенно между товарищами).

Мы стояли у ворот, сбившись в тесную кучу, не меньше двух часов, и в памяти моей остались только руки, руки спекулянтов, которые передавали мыло слева направо и справа налево и деньги слева направо и снова справа налево. Мне представилось, что я попал в змеиное гнездо, руки извивались вокруг меня, проползали по моим плечам, касались головы, передавая товар и деньги во всех направлениях.

Сопляку удалось снова протиснуться ко мне. Он примостился рядом со мной в бельгийском грузовике, который ехал на Кевелар, через Кевелар на Крефельд, в объезд Крефельда, на Нейсс; на полях и в городках было тихо, мы почти не видели людей, лишь изредка попадалась лошадь или корова, и темное осеннее небо низко нависло над землей; слева от меня сидел Сопляк, справа — бельгийский солдат, и мы глядели через борт на шоссе, которое я так хорошо знал: ведь мы с братом столько раз проезжали здесь на велосипедах. Сопляк все пытался начать разговор, чтобы оправдаться, а я всякий раз обрывал его, но он все равно не унимался, из кожи вон лез, лишь бы показаться остроумным.

— Но вот к Нейссу ты уж точно ничего не подберешь,— сказал он.— Что может прийти человеку в голову по поводу такой дыры, как Нейсс?

— Шоколад фирмы «Новезия»,— сказал я.— Кислая капуста и Квирин, но о фиванском легионе ты, верно, никогда не слышал.

— Не слышал,— признался он и снова покраснел.

Я спросил бельгийского часового, правда ли, что въезд в Кёльн закрыт и что город завален трупами.

— Нет,— ответил он,— но вид у него неважный. А ты что, кёльнский?

— Да,— сказал я.

— Ну, тогда держись... Мыло у тебя есть?

— Есть.

— Гляди-ка,— сказал он, вынул из кармана пачку табаку, распечатал ее и ткнул мне в нос светло-желтым, душистым торцом.— Два куска мыла, и она твоя. Разве не честно?

Я кивнул, полез в карман шинели за мылом, дал ему два куска и спрятал табак. Он сунул мне в руки свой автомат и рассовал мыло по карманам. Когда я протянул ему автомат, он вздохнул:

— Видно, нам еще придется потаскать эти проклятые штуки. Для вас все сложилось не так уж скверно, как вы думаете... Чего ты плачешь?

Я мотнул головой налево: Рейн. Мы ехали в сторону Лорманена. Я заметил, что Сопляк снова открывает рот, и крикнул:

— Ради бога, помолчи!.. Да заткнись же ты наконец!

Должно быть, он хотел меня спросить, что мне приходит на ум при виде Рейна. К счастью, он всерьез обиделся и молчал, насупившись, до самого Бонна.

От Кёльна действительно осталось несколько домов; я увидел идущий трамвай, каких-то людей, даже женщин: одна из них нам кивнула; мы свернули с Нойсерштрассе в район бульваров. Я все время ждал, что заплачу, но слез почему-то не было; здание страхового агентства на бульваре было тоже разрушено, а на месте Гогенштауфеновских бань кое-где поблескивали голубые плитки. Я все надеялся, что грузовик куда-нибудь свернет, потому что мы жили на бульваре Каролингов; но он никуда не сворачивал, а мчался вниз по бульварам: площадь Барбароссы, бульвар Саксов, бульвар Сальери; я не решался глядеть в сторону нашего дома, да так и не поглядел бы, если бы у площади Хлодвига не случился затор и наш грузовик не остановился бы как раз перед домом, в котором мы раньше жили, и тут я поднял глаза. Понятие «полностью разрушен» неточное; лишь в редких случаях удается полностью разрушить дом: даже трех или четырех прямых попаданий может оказаться недостаточно, для верности он должен еще и сгореть; дом, в котором мы жили, был полностью разрушен не в техническом смысле, а по сути дела, иначе говоря, я все же смог его узнать: сохранились парадный вход и звонок у двери, а я думаю, что дом, у которого еще есть парадный вход и звонок у двери, строго говоря, нельзя назвать «полностью разрушенным», во всяком случае, в техническом смысле. Но в доме, в котором мы жили, можно было узнать куда больше, чем парадный вход и звонок:

две комнаты в первом этаже почти совсем уцелели, а во втором этаже по какой-то нелепой случайности сохранились даже три — остаток стены поддерживал третью, хотя она, наверно, обрушилась бы под струей воды; от нашей квартиры, расположенной на третьем этаже, осталась одна комната, но передней стены, той, что выходит на улицу, не было, выше громоздился узкий высокий фронтон с зияющими глазницами окон; однако внимание мое привлекли два человека, которые разгуливали по нашей гостиной, как у себя дома. Один из них снял со стены репродукцию Терборха, которую очень любил мой отец, подошел туда, где прежде были окна, и показал ее третьему человеку, стоявшему на тротуаре перед нашим домом, но тот покачал головой с таким видом, словно он находился на аукционе и эта вещь его не интересовала; тогда человек, орудовавший в нашей гостиной, вернулся к задней стене, повесил репродукцию на место и даже приподнял уголок, чтобы она не висела косо; меня растрогала такая аккуратность — он отошел на шаг назад, чтобы убедиться, что картина теперь и в самом деле висит правильно, и удовлетворенно кивнул. Тем временем его партнер снял со стены гравюру лохнеровского алтаря, но и она явно не пришлась по вкусу человеку на тротуаре; в конце концов первый, который отнес на место Терборха, снова вышел вперед, сложил ладони рупором и крикнул:

— Есть пианино!

Человек на тротуаре заулыбался, закивал, тоже сложил ладони рупором и крикнул в ответ:

— Иду за лямками!

Пианино мне видно не было, но я знал, где оно стояло: в правом углу гостиной, которого я не мог видеть и где как раз скрылся человек с гравюрой.

— А где ты жил в Кёльне? — спросил бельгийский часовой.

— Да в той стороне, — сказал я и неопределенным жестом указал в сторону западной окраины.

— Слава богу, тронулись, — сказал часовой, повесил на шею автомат, который на время стоянки положил перед собой на днище кузова, и поправил фуражку, фламандский лев на ее околыше был уже совсем грязный. Когда мы выехали на площадь Хлодвига, я понял причину затора: там, по всей видимости, происходило нечто вроде облавы. На площади стояли грузовики английской военной полиции, битком набитые штатски-

ми с поднятыми руками, а вокруг теснилась толпа, молчаливая, встревоженная: поразительно много народу для такого тихого, разбитого города.

— Это черный рынок,— объяснил бельгиец,— время от времени здесь наводят порядок.

Я задремал еще до того, как мы выехали из Кёльна, пожалуй, уже на Боннском шоссе, и мне приснилась мамина кофейная мельница: эту мельницу на лямках спускал вниз тот человек, который снял со стены Терборха, но другой, стоявший внизу, забраковал ее, и тогда первый вновь поднял мельницу наверх, отворил дверь в прихожую и хотел было ее приладить к стене, туда, где она всегда висела, слева от двери в кухню, но там больше не было стены, однако он все же упорствовал, и это стремление к порядку растрогало меня даже во сне. Указательным пальцем правой руки он пытался нащупать крюк, на котором прежде висела мельница, и, ничего не обнаружив, в озлоблении погрозил кулаком осеннему небу, которое отказывало кофейной мельнице в опоре; в конце концов он сдался, обвязал ее снова лямкой и спустил вниз; но человек внизу снова ее отверг, и тогда первому пришлось еще раз поднять ее наверх; затем он отвязал лямку и засунул мельницу, как нечто очень ценное, себе под куртку, а лямку аккуратно смотал — получилась плоская штука вроде диска, и он швырнул ее в лицо тому, что стоял внизу. Меня все время мучил вопрос, что случилось с тем человеком, который так же безуспешно предлагал Лохнера, но я никак не мог его обнаружить; что-то мешало мне посмотреть в угол, туда, где стояли пианино и письменный стол моего отца, и я приходил в отчаяние при мысли, что он, может быть, читает отцовские записные книжки. Человек с мельницей вернулся тем временем в гостиную и пытался теперь привинтить мельницу к дверной филенке, казалось, он твердо решил куда-то ее пристроить, и я был готов полюбить его еще прежде, чем обнаружил, что он один из тех многочисленных друзей нашей семьи, которые частенько находили утешенье, сидя за чашкой кофе под маминой мельницей, как раз тот самый, который погиб почти в самом начале войны, во время бомбежки.

Бельгийский часовой растолкал меня, когда мы подъезжали к Бонну.

— Открой глаза, парень, свобода не за горами!

Я выпрямился, одернул куртку и стал думать о всех тех, кто сживал под сенью маминой кофейной мельни-

цы: прогулявшие школу ребята, которых она освобождала от страха перед уроками, нацисты, которых хотела урезонить, ненацисты, которых пыталась приободрить; все они сидели на стуле под кофейной мельницей — мать утешала и обвиняла, защищала и давала срок одуматься, горькими словами разрушала их идеалы, кроткими словами дарила им то, что переживет эти трудные времена: слабым — жалость, преследуемым — утешение.

Старое кладбище, рынок, университет. Бонн. Через Кобленцские ворота въезжаем в Придворный парк.

— Прощайте,— сказал бельгийский часовой.

А Сопляк — его детское лицо побледнело от усталости — попросил:

— Напиши мне как-нибудь.

— Ладно,— пообещал я.— Я пошлю тебе всего моего Тухольского.

— Вот здорово! — обрадовался он.— И Клейста тоже?

— Нет,— сказал я.— Только то, что у меня есть в двух экземплярах.

Перед воротами в ограде из колючей проволоки, через которые нас окончательно выпускали на свободу, стоял человек с двумя большими корзинами: одна была полна яблок, в другой лежало несколько кусков мыла.

— Витамины, ребята, за кусок мыла — яблоко! Налетай! — выкрикивал он.

И я почувствовал, что у меня слюнки потекли. Я даже забыл, как выглядят яблоки; я сунул ему кусок мыла, получил яблоко и тут же откусил, потом постоял еще немного у ворот и поглядел, как выходят остальные; выкрикивать про яблоки было уже не к чему: торговля шла безмолвно — он брал из корзины яблоко, получал взамен кусок мыла и кидал его в пустую корзину, раздавался глухой, но резкий звук; не все выходящие брали яблоки — не у всех было мыло, но дело шло так же быстро, как в магазине самообслуживания, и когда я доел свое яблоко, корзина с мылом оказалась уже до середины заполненной. Все шло как по маслу, без задержки, без слов, даже самые бережливые и расчетливые при виде яблока не могли устоять перед соблазном, и мне становилось их жалко. Родина любовно встречала своих сынов витаминами.

Прошло немало времени, прежде чем мне удалось найти в Бонне телефон; в конце концов какая-то девушка на почте объяснила мне, что телефоны теперь остались

только у врачей и священников, да и то лишь у тех, которые не были нацистами.

— Они так ужасно боятся «вервольфов»,— сказала девушка.— Нет ли у вас случайно сигаретки?

Я вынул пачку табака из кармана и спросил:

— Вам скрутить?

Но она сказала, что не надо,— это она и сама умеет. Я глядел, как она вынула из кармана пальто папиросную бумагу и быстро и ловко скрутила толстую сигарету.

— Кому вы хотите позвонить? — спросила она, и я ей ответил:

— Моей жене.

Она рассмеялась и сказала, что я не похож на женатого человека. Я тоже свернул сигарету и спросил, нельзя ли здесь продать кому-нибудь кусок мыла. Мне нужны были деньги на дорогу, а у меня не было ни пфеннига.

— Мыла? — переспросила она.— Покажите-ка!

Я вытащил кусок мыла из-под подкладки шинели, она вырвала его у меня из рук, понюхала и сказала:

— Господи, настоящее «Пальмолив», кусок стоит... стоит... Я дам вам за него пятьдесят марок.

Я с изумлением взглянул на нее, и она поспешно добавила:

— Да, я знаю, за него можно получить и восемьдесят, но мне это не по карману.

Я не хотел брать столько денег, но тогда она просто сунула мне бумажку в карман шинели и выбежала на улицу. Она была, пожалуй, красива какой-то голодной красотой, которая придает голосам молоденьких девушек особую звучность.

Первое, что меня поразило на почте, а затем на улицах, когда я бродил по Бонну, это отсутствие студентов с корпоративными пестрыми лентами да еще запахи: все люди пахли дурно, и я понял, почему та девчонка пришла в такое неистовство от куска мыла. Я пошел на вокзал и попытался выяснить, как мне добраться до Оберкершенбаха (там жила та, на которой я женился), но никто мне ничего не смог сказать; я знал об этом местечке только то, что оно находится где-то вблизи Бонна, на берегу Эйфеля; карты тоже не было, так что и посмотреть было негде; очевидно, их отовсюду сняли из-за «вервольфов». Я всегда любил точно знать, где расположены интересующие меня места, и то, что я не знал и никак не мог выяснить, где находится Оберкершенбах, вселяло в меня тревогу. Я перебирал

в уме всех знакомых в Бонне, адреса которых я помнил, но среди них не было ни врачей, ни священников; наконец мне пришло на ум имя одного профессора теологии, у которого я перед самой войной побывал вместе со своим другом. У этого теолога произошли какие-то конфликты с Римом из-за Индекса, и мы просто зашли к нему, чтобы выразить свое сочувствие. Я уже не помнил названия улицы, на которой жил профессор, но знал, где она находится, и пошел вниз по Попельсдорфераллее, затем свернул налево и еще раз налево, узнал дом и облегченно вздохнул, прочтя фамилию на дверной табличке. Профессор сам мне открыл, он очень изменился, постарел, похудел, сгорбился и стал совсем седым.

— Вы меня, конечно, не помните, господин профессор,— сказал я.— Я заходил, когда была эта заваруха с Римом из-за Индекса, можно к вам на минутку?

Он рассмеялся при слове «заваруха» и, дав мне закончить, сказал:

— Прошу вас.

И повел меня в свой кабинет. Я сразу обратил внимание на то, что тут больше не пахнет табаком, в остальном все было, как и прежде: книги, ящики с картотекой, фикусы. Я сказал профессору, что слышал, будто телефоны теперь остались только у врачей и священников, и что мне необходимо позвонить жене. Он выслушал меня, не перебивая, что случается очень редко, а потом сказал, что хотя он и священник, он не принадлежит к числу тех, у кого оставили телефон.

— Видите ли,— пояснил он,— на мне ведь не лежит забота о душах прихожан.

— Уж не «вервольф» ли вы? — спросил я и предложил ему табаку: он так посмотрел на табак, что у меня сжалось сердце. Мне всегда становится невыносимо горько при виде стариков, которые вынуждены отказываться от того, что приносит им радость; когда он набивал свою трубку, руки его дрожали не только от старости. Наконец он зажег ее — у меня не было спичек, и я не мог ему помочь — и сказал мне, что телефоны есть не только у врачей и священников, но и во всех этих кафешантанах, которые пооткрывали во множестве для оккупационных солдат, и что мне следует попытаться счастья там. Тут за углом как раз есть подобное заведение. Когда я, прощаясь, насыпал ему на стол несколько щепоток табаку, он заплакал и сквозь слезы спросил меня, понимаю ли я, что делаю, и я ответил, что да и что я

прошу его принять эти скромные щепотки как дань запоздалого восхищения той храбростью, которую он проявил тогда в споре с Римом. Я бы охотно подарил старику и кусок мыла — у меня оставалось за подкладкой шинели еще пять или шесть кусков, но побоялся, что от радости его хватит удар: он был такой старый и слабый.

Название «кафешантан» было явно чересчур благородным для указанного мне заведения, но это обстоятельство меня смутило куда меньше, чем английский часовой у дверей. Он был еще молод и строго посмотрел на меня, когда я подошел к нему. Он указал мне на дощечку с надписью: «Немцам вход запрещен», но я сказал ему, что здесь работает моя сестра, что я только что вернулся на любимую родину, а ключ от дома у нее. Он спросил меня, как зовут мою сестру, и я решил, что вернее всего назвать самое немецкое из всех немецких женских имен, и я сказал:

— Гретхен.

— Ах, это та блондиночка, — сказал он и пропустил меня; я избавлю себя от описания того, что увидел там, внутри, ссылкой на соответствующую литературу «для девиц», на кино и телевидение; я избавлю себя даже от описания Гретхен (смотри выше), важно лишь то, что Гретхен оказалась на редкость сообразительной и тут же согласилась за кусок мыла «Пальмолив» соединить меня по междугородному с приходом Кершенбах (я надеялся, что таковой все же существует) и вызвать к телефону ту, на которой я женился. Гретхен сняла трубку, заговорила с кем-то по-английски — говорила она свободно — и объяснила мне, что ее друг попробует заказать служебный разговор, так, мол, будет быстрее. Пока мы ждали, я предложил ей закурить, но у нее был лучше табак; тогда я попытался сунуть ей авансом обещанный кусок мыла, но она наотрез отказалась, она, мол, не возьмет за это вознаграждения, а когда я стал настаивать, она заплакала и сказала, что один ее брат в плену, другой — убит, и я пожалел ее, потому что таким девушкам, как Гретхен, плакать не к лицу; она созналась даже в том, что тоже католичка, но как раз в тот момент, когда она собиралась вытащить из ящика свою конфирмационную фотографию, раздался звонок; Гретхен сняла трубку и сказала:

— Господин священник.

Но я уже успел расслышать, что там звучал не мужской голос.

— Минуточку,— сказала Гретхен и протянула мне трубку.

Я был так взволнован, что не мог удержать трубку, она в самом деле просто выпала у меня из рук, к счастью, прямо на колени Гретхен; Гретхен взяла ее и поднесла к моему уху, и тогда я сказал:

— Алло, это ты?

— Да,— сказала она,— а ты, ты где?

— Я в Бонне,— ответил я.— Война кончилась — для меня.

— Господи,— сказала она.— Просто не верится. Нет, это неправда.

— Это правда,— сказал я.— Ты получила тогда мою открытку?

— Нет,— сказала она.— Какую открытку?

— Когда я попал в плен... нам тогда разрешили написать по открытке.

— Нет,— сказала она.— Вот уже восемь месяцев, как я ничего о тебе не знаю.

— Сволочи! — сказал я.— Проклятые сволочи!.. Скажи мне только еще, где находится Кершенбах?

— Я...— она плакала так сильно, что не могла уже говорить, я слышал, как она всхлипывала и глотала слезы, пока наконец не прошептала: — Жди на вокзале в Бонне, я приеду за тобой.

Больше я не слышал ее голоса, кто-то сказал еще что-то по-английски, но я не понял, что именно.

Гретхен поднесла трубку к своему уху, еще мгновение послушала и наконец положила ее, покачав головой. Я поглядел на нее и понял, что не могу уже предложить ей мыло. «Спасибо» сказать я ей тоже не мог, слово это показалось мне слишком глупым. Я беспомощно поднял руки и выбежал.

Я шел назад к вокзалу, и в ушах у меня звенел голос, в котором никогда не звучали брачные ноты.

1962

ШМЕК НЕ СТОИТ СЛЕЗ

1

Когда Мюллер почувствовал, что сдерживать рвоту ему уже невозможно, в аудитории как раз воцарилась восторженная, благоговейная тишина. Нарочито беззвуч-

ный, искусно сдавленный до хрипотцы голос профессора Шмека вдруг (за семнадцать минут до конца лекции) окрасился теми бархатными, вкрадчивыми модуляциями, одновременно убаюкивающими и возбуждающими, которые безотказно действуют на определенную часть студентов (ярко выраженный интеллектуальный тип, называвшийся прежде «синим чулком»), вводя их в почти сексуальный транс; в эти мгновения они были готовы умереть за Шмека. Как любил говорить сам Шмек, правда, только в доверительных беседах, «к концу лекции моя мысль, доведенная до крайнего предела выразительности, до максимального напряжения, при всем своем рационализме начинает оказывать на слушателей иррациональное воздействие. Если вы вспомните, друзья мои,— добавлял он всегда,— что церковная служба длится столько же, сколько любовный акт, а именно, сорок пять минут, вы согласитесь со мной, что такие элементы, как ритм и пауза, подъемы и спады, кульминация и разрядка, неотъемлемы не только от богослужения и любви, но и, по моему глубокому убеждению, от университетской лекции».

К этому моменту, а наступал он примерно на тридцать третьей минуте лекции, в аудитории больше не было равнодушия: только благоговение или отвращение, причем восторженные слушатели доходили до такого накала, что готовы были вопить в исступлении, на что скептики (а их было меньшинство) тотчас ответили бы провокационным визгом. Когда вероятность столь бурного, отнюдь не академического изъяснения чувств перерастала в угрозу, Шмек прерывал начатую фразу и прозаическим жестом отрезвлял аудиторию, чтобы довести лекцию до ее логического финала: он вынимал пестрый, в крупную клетку, носовой платок (из тех, что прежде назывались «радость ломового извозчика») и громко сморкался, а тот заинтересованный взгляд, который он неизбежно бросал на платок прежде, чем спрятать его в карман, приводил в чувство даже самых исступленных девиц, слушавших чуть ли не с пеной на губах. «Мне необходимо поклонение,— любил говорить Шмек,— но я его не выношу».

Всякий раз после этого отрезвляющего жеста по рядам пробегал глубокий вздох, и сотни молодых людей клялись себе, что никогда больше не пойдут на лекции Шмека, и все же в следующий вторник они снова толпились у дверей аудитории за полчаса до начала лекции,

стояли в очереди, чтобы сесть поближе к кафедре, с которой Шмек читал лекцию, пропускали лекции профессора Ливорно, его противника, ибо Шмек (надо сказать, что часы этих двух лекторов всегда совпадали) назначал свои лекции только после того, как Ливорно уже стоял в расписании; ради этого он каждый год как раз в то время, когда составлялось расписание, пускался в такие далекие путешествия, что даже по телеграфу с ним нельзя было связаться; перед началом прошлого семестра он, например, отправился в экспедицию к индейцам племени варрау, и его несколько недель невозможно было обнаружить в дебрях устья Ориноко, а потом, вернувшись в Каракас, он телеграфно сообщил дни и часы своих лекций — как всегда, они в точности совпадали с лекциями Ливорно, что заставило секретаршу деканата сказать: «Дело ясное, у него и в Венесуэле есть свои шпионы».

Этим глубоким вздохом, пробежавшим по рядам, Мюллер и решил воспользоваться, чтобы сделать то, что должен был сделать уже четверть часа назад, но никак не мог отважиться: выйти в туалет и облегчиться. Когда он, слегка придерживая рукой портфель, встал и начал пробираться между скамьями, по лицам студентов пробежало выражение возмущения и изумления, они лишь нехотя потеснились, чтобы дать ему пройти: даже противники Шмека не могли допустить, что кто-то способен добровольно упустить хоть минуту этого блестящего каскада мыслей — и тем более такой рьяный поклонник Шмека, о котором поговаривали как о возможном кандидате на место первого ассистента. Когда Мюллер добрался наконец до двери, он едва расслышал конец той фразы, которую Шмек прервал, чтобы высморкаться — «...к основному звену проблемы: грубошерстное пальто — одежда случайная или типическая, выражает ли она определенный социальный слой?».

2

Мюллер влетел в уборную в самую последнюю секунду, рывком расслабил узел галстука и расстегнул ворот рубашки; он услышал, как вырванная пуговка, звякнув о кафедру, покатила в соседнюю кабинку, бросил портфель прямо на пол, и... его вырвало; он почувствовал,

как выступивший на лбу холодный пот ледяными струйками покатился по щекам, к которым вновь прилила кровь; не открывая глаз, ощупью спустил он воду и с удивлением обнаружил, что не только полностью освободился от тошноты, но и как-то очистился, словно заново родился: вода в унитазе смыла куда больше, чем рвоту: часть его мировоззрения, подтвержденную страшную догадку, бешенство — он просиял от внезапно наступившего облегчения, вытер платком рот, наспех затянул галстук, поднял с пола портфель и вышел из кабинки. Товарищи не раз смеялись над ним за то, что он всегда таскал с собой мыло и полотенце, но теперь он лишний раз убедился, как это может пригодиться, — пусть себе смеются сколько влезет над его «мелкобуржуазной мыльницей»; он открыл эту мыльницу, и ему захотелось расцеловать маму, которая ему навязала ее три года назад, когда он отправлялся в университет: мыло ему сейчас нужно было больше всего; в нерешительности он взялся было за галстук, но потом передумал, просто снял пиджак и повесил его на ручку двери, тщательно вымыл лицо и руки, провел мокрой ладонью по шее и торопливо вышел из уборной: лекции еще не кончились, в коридорах было пусто; если он поспешит, то сумеет прийти домой раньше Мари. «Я спрошу ее, — думал он, — может ли отвращение, отвращение чисто духовного свойства, вызвать вполне физическую рвоту».

3

Стояла ранняя весна, день был мягкий, сырой, и впервые за годы учебы в университете он забыл о трех ступеньках в главном портале, споткнулся, с трудом удержал равновесие и почувствовал, что последние ужасные пятнадцать минут не прошли бесследно: кружилась голова, мир вокруг вырастал, словно из тумана, но не казался враждебным. В саду между зелеными деревьями с портфелями и книгами под мышкой неторопливо расхаживали девушки, по виду филологички, их лица виделись ему чувственными, нечеткими, словно написанными в импрессионистской манере; даже студенты-богословы, спорящие о чем-то посреди университетского двора, не показались ему на этот раз такими отвратительными, как обычно, их пестрополосатые фуражки и ленты в петлицах могли быть лоскутками поблекшей

радуги. Мюллер медленно шел к воротам и машинально кивал в ответ на приветствия, с трудом прокладывая себе дорогу во все нарастающем потоке спешащих на лекции студентов, тех, кто занимался во вторую смену.

4

Только в трамвае, проехав три остановки, он немного пришел в себя, и предметы постепенно стали приобретать обычную четкость очертания, словно он надел очки, компенсирующие недостающие диоптрии. Из пригорода в центр, а из центра в другой конец города почти час езды, за который можно все обдумать и во всем разобраться. В это немыслимо было поверить. Какая нужда была Шмеку обкрадывать его, Рудольфа Мюллера, студента третьего курса? Он изложил Шмеку свою идею написать цикл исследований на тему «Социология одежды». И даже сообщил название первой статьи этого цикла: «Опыт социологического исследования грубошерстного пальто», и Шмек восторженно приветствовал эту идею. Пожелал удачи и посоветовал довести работу до самых широких обобщений. Разве он не читал Шмеку в кабинете первые страницы своего «Опыта», те самые страницы, которые он сегодня слово в слово услышал на лекции? Мюллер снова побледнел и, судорожно расстегнув портфель, принялся что-то искать; из портфеля выпали мыльница и учебник Шмека «Основы социологии». Где же его рукопись? Что это, сон, воспоминание или галлюцинация, но он явственно увидел сцену: улыбающийся Шмек в дверях своего кабинета, листы рукописи в руках профессора... «Конечно, я с удовольствием просмотрю вашу работу». Потом начались пасхальные каникулы, сперва он поехал домой, а затем с группой студентов на три недели в Лондон. И вот сегодня первая в новом семестре лекция Шмека: «Введение в социологию одежды, часть первая: социологическое исследование грубошерстного пальто...»

5

Пересадка. Он машинально вышел из трамвая, дождался нужного номера, сел в вагон и, заметив, что его узнала пожилая кондукторша, тяжело вздохнул. Неуже-

ли она и сегодня повторит свою обычную шутку, которую неукоснительно отпускала с того дня, как он предъявил ей свой студенческий билет? Да, она ее повторила: «Полдень, а господин студент уже свободен от трудов праведных, теперь, ха-ха, можно и к девочкам». Пассажиры засмеялись, Мюллер покраснел и протиснулся на площадку; ему хотелось выскочить на ходу, броситься бежать и поскорее оказаться дома, в своей комнате, чтобы окончательно во всем убедиться. Его дневник послужит доказательством, а может быть, взять в свидетельницы Мари, ведь она печатала его работу, он прекрасно помнит, как она вынула из ящика копирку и предложила печатать в два экземпляра, но он сказал, что не надо, это лишь первый набросок, так сказать, проба пера,— он ясно увидел руки Мари, увидел, как она убрала копирку в ящик и принялась печатать: «Рудольф Мюллер, студент философского факультета, Гречишная, 17»; когда он ей диктовал заголовок, ему пришла мысль о том, что можно также написать социологическое исследование пищи — гречневая каша, оладьи, мясо с тушеной капустой, считавшееся в рабочих поселках, где прошло его детство, самым праздничным блюдом, в шкале радостей стоявшим по соседству с плотскими утехами,— сладкий рис с корицей, гороховый суп с салом; и прежде чем начать диктовать Мари, он думал о том, что вслед за «Социологическим исследованием грубошерстного пальто» он непременно напишет работу о жареной картошке. Замыслов хоть отбавляй, и он знал, что в силах все их осуществить.

6

Ох, эти бесконечно длинные окраинные улицы, когда-то они были военными трактами и по ним шагали римские легионеры, а потом наполеоновские солдаты. Номера домов уже перевалили за девятьсот. Снова почему-то вспомнилось все связанное с утренним происшествием: голос Шмека, неудержимый позыв на рвоту, когда Шмек впервые произнес «грубошерстное пальто», восемь-девять минут единоборства с тошнотой, тем более трудного, что он сидел в первом ряду; затем на тридцать третьей минуте лекции клетчатый платок Шмека, взгляд Шмека, оценивающий результаты шумного сморканья, наконец, уборная, а потом туманная сырость универси-

тетского сада, плывущие перед глазами чувственные лица филологичек, пестро-полосатые банты богословов, словно лоскутки гаснущей радуги, двенадцатый трамвай, потом пересадка на восемнадцатый, шутка кондукторши — и вот уже номера домов на Майнцерштрассе: 980, 981... Из верхнего кармана куртки он вынул одну из трех сигарет, которые составляли его норму на первую половину дня, и пошарил в карманах, ища зажигалку.

— Эй, студент, поди-ка сюда, дай прикурить!

Устало улыбнувшись, он пошел по вагону к пожилой кондукторше, которая слезла со своего пьедестала. Он поднес горящую зажигалку к ее окурку, зажег и свою сигарету, затянулся и был приятно удивлен, что его не затошнило.

— Что, молодой человек, неприятности?

Он кивнул, напряженно посмотрел на ее грубое, с красными прожилками лицо, боясь услышать в виде утешения сальную шутку, но кондукторша лишь кивнула и сказала:

— Спасибо, кавалер.

И схватилась за его плечо, когда вагон дернуло при повороте на кольце.

Трамвай остановился, она вышла первая и заковыляла к моторному вагону, где вожатый уже отвинчивал стаканчик своего термоса.

7

Как малы эти серые домишки, а эти улочки до того тесны, что стоящий у тротуара мотоцикл чуть ли не загораживал весь проезд; тридцать лет тому назад даже прогрессивно мыслящие люди не верили, что автомобиль сможет войти в быт; мечты о будущем успели здесь воплотиться в жизни и умереть; все, что в дальнейшем проявляло себя как новое и перспективное, принималось тут в штыки. Все улицы в этом районе были похожи друг на друга, начиная с Астровой и кончая Ясеновой; ромашка и чеснок, подорожник и богородицина травка (впрочем, от этого названия сперва хотели отказаться, считая, что оно звучит чересчур церковно, но потом все же решили ориентироваться только на ботанику), бирючина и бузина — одним словом, все, что растет, нашло свое отражение в названиях улиц этого района, в центре которого была площадь Энгельса, а вокруг шел бульвар Маркса. (Улицы Маркса и Энгельса еще раньше появи-

лись в других рабочих районах.) Маленькая церквушка была выстроена много лет спустя, когда выяснилось, что у всех воинствующих атеистов верующие жены и что избирательный округ Цветочный двор (так назывался этот район) в один прекрасный день подал больше голосов за центр, чем за СДПГ (у верующих матерей подросли воспитанные ими дети). Тогда пристыженные старые социалисты с горя напились и решили перейти в КПГ. Маленькая церквушка давным-давно стала тесна, особенно для воскресных служб, и в приходском совете был выставлен макет новой, большой. В ультрасовременном стиле. Церковь собирались построить на бульваре, но так как места для запроектированного здания там не хватает, то приход Св. Бонифация, расположенный по соседству, выделил часть своей земли для строительства церкви Св. Иосифа, покровителя рабочего люда. Ажурные краны уже подняли свои клювы в весеннее небо.

Думая о своем отце, Мюллер обычно пытался улыбнуться. Но тщетно Мюллеру казалось, что в этих маленьких серых домиках все еще гнездится просветительский антирелигиозный пафос двадцатых годов, что все еще жив культ свободной любви, и хотя теперь уже не поют: «Братья, к солнцу, к свободе!» — ему слышались на узких улочках отзвуки этой песни, и улыбка тут была неуместна. Настурциевая, Тюльпановая, Фиалковая, а вот и новая серия улиц в алфавитном порядке: Акациевая, Буковая, Вишневая и наконец он дошел до Гречишной («все, что растет»). Вот и дом номер семнадцать, а когда он увидел велосипед Мари, он наконец улыбнулся. Велосипед был прислонен к железной ограде, которой дядя Вилли обнес мусорный ящик, — грязный, разболтанный подростковый велосипед баронессы фон Шлимм, представительницы младшей ветви этого знатного рода. Исполненный нежности к велосипеду, он слегка пнул ногой покрышку заднего колеса. Распахнув дверь в тесную прихожую, откуда несло жареной картошкой, он крикнул: «Здравствуй, тетя!», взял пакет, лежавший на последней ступеньке лестницы, и помчался вверх. Лестница была такая узкая, что он всегда терся локтем о красно-коричневую панель стены, и тетя Кэте утверждала, что она может с точностью подсчитать по следам локтя на крашеной стене, сколько раз он поднимался по этой лестнице. За три года учебы в университете, с тех пор как он поселился у тетки, на панели протерлась светлая проплешина.

Мари. Всякий раз он бывал взволнован силой своего чувства к ней, и всякий раз (а они провели вдвоем уже больше трехсот дней, он записывал в дневнике каждую их встречу) он удивлялся, до чего она тоненькая — в мыслях она не виделась ему такой худенькой, очевидно, потому, что, когда они бывали вместе, он переставал это замечать, а при очередной встрече вновь поражался ее хрупкости. Сняв туфли и чулки, она прилегла на его кровать; темные волосы подчеркивали бледность ее лица, бледность, которая наводила на мысль о чахотке, хотя он и знал, что она здорова.

— Пожалуйста, не целуй меня, — тихо сказала она. — Все утро я слушала грязные шутки насчет любви, лучше помассируй мне ноги — они ноют.

Он швырнул куда попало портфель и пакет и принялся растирать ей ноги от колена до щиколотки.

— Спасибо, ты милый, но, надеюсь, ты не пристрастишься к уходу за больными. А то с вашим братом никогда ничего не знаешь наперед. И прошу тебя, — добавила она еще тише, — давай останемся дома: я слишком устала, чтобы тащиться куда-то обедать. То, что я ухожу в каждый обеденный перерыв, и так уже расценивается нашей заведующей как антиобщественный поступок.

— Черт-те что! Почему ты не покончишь с этой пыткой? Что за свиньи!

— Ты кого имеешь в виду — начальников или наших девчонок?

— Конечно, начальников. А то, что ты называешь грязными шутками, всего лишь выражение тех единственных радостей, которые доступны вашим девчонкам. Твои буржуазные уши...

— Уши у меня вовсе не буржуазные, а феодальные, раз уж ты настаиваешь на социологическом определении моих ушей.

— Феодализм не выдержал натиска буржуазии, он вступил в брак с промышленностью, и она его обуржузила. Ты не различаешь, что в тебе типическое, а что случайное; так упорно не желать расстаться со своей фамилией, хотя ты так мало ее ценишь, — скажи, это ли не проявление буржуазного идеализма, и притом позднего? Разве тебя не тешит сознание того, что в ближайшем будущем ты перед Богом и людьми — как принято говорить в вашей среде — станешь Мари Мюллер?

— У тебя хорошие руки,— сказала она.— Но когда ты сможешь прокормить трудом этих рук жену и детей?

— Как только ты подсчитаешь, сколько денег у нас останется после уплаты налогов, если ты не бросишь работу.

Она рывком приподнялась на кровати и затараторила, как школьница, отвечающая урок:

— Твоя стипендия, заметь, повышенная, составляет двести сорок три марки. Как помощнику ассистента, тебе причитается двести марок, но семьдесят пять из них вычитают, поскольку ты еще учишься. Таким образом, у тебя должно оставаться триста шестьдесят восемь, но заработок твоего отца семьсот десять марок, то есть на двести шестьдесят больше суммы, не облагаемой налогом, а ты единственный сын, следовательно, из твоих денег вычитается еще половина — сто тридцать марок, и выходит, что ты работаешь помощником ассистента задаром, и в итоге наличными остается двести тридцать восемь. Как только мы поженимся, из твоего заработка будет вычитаться половина суммы, превышающей триста марок, то есть две марки пятнадцать пфеннигов. Вот и получится, что ты, как глава семьи, реально принесешь в дом двести тридцать марок восемьдесят пять пфеннигов.

— Поздравляю, ты все великолепно подсчитала.

— Во всяком случае, ясно одно: на эту скотину Шмека ты работаешь бесплатно.

Он перестал массировать ее ногу.

— «Скотину Шмека», ты-то почему так говоришь?

Она взглянула на него и села, опустив ноги с кровати; он пододвинул ей свои шлепанцы.

— Что у тебя произошло со Шмеком? Что случилось? Да перестань возиться с моими ногами. Ну, говори!

— Подожди минутку.

Он поднял с пола портфель и пакет и положил их на кровать рядом с Мари, вынул из верхнего кармана куртки две оставшиеся сигареты, прикурил одну, протянул ее Мари, затем закурил сам, направился к книжной полке, вытащил свой дневник — толстую школьную тетрадь, стоявшую между томиками Кьеркегора и Коцебу, и уселся на полу у ног Мари.

— Послушай,— начал он.— Вот: тринадцатого декабря. Когда я гулял с Мари по парку, мне пришла мысль написать социологическое исследование грубошерстного пальто.

— Да,— сказала Мари,— ты мне тут же об

этом рассказал и, наверное, помнишь мои возражения.

— Конечно, помню,— он еще полистал дневник.— Слушай: второе января. Приступил к изучению материалов. Наброски. Мысли. Посетил магазин Майера, надеялся просмотреть картотеку его клиентов, но из этого ничего не получилось... Дальше январь, февраль, каждый день записи о ходе работы.

— Ну да, а в конце февраля ты мне продиктовал первые тридцать страниц.

— А вот то, что я ищу,— первое марта. Визит к Шмеку, которому я показал первые страницы моей работы и даже прочел вслух отдельные места. Шмек попросил меня оставить ему рукопись, чтобы он мог на досуге ее просмотреть...

— Отлично помню, а на следующий день ты уехал к себе домой.

— Ну да, а потом в Англию, вернулся вчера, а сегодня первая лекция Шмека; и слушали ее все с таким интересом, с таким напряжением, с таким восторгом, как никогда,— ведь тема была настолько новой, настолько необычной, во всяком случае, для всех остальных. А теперь я прошу тебя угадать, что это была за тема? Ну, угадай, моя дорогая баронесса!

— Если ты меня еще раз назовешь баронессой, то я назову тебя...— Мари улыбнулась.— Нет, не бойся, я так тебя называть не буду, даже если ты будешь называть меня баронессой. Скажи, тебе было бы обидно, если бы я тебя так назвала?

— Если ты — нет. Ты можешь называть меня, как хочешь,— сказал он тихо.— Но не думай, что так уж приятно, когда за твоей спиной шепчут, когда на доске в аудитории пишут: «Рудольф — рабочее отродье». Я — редкость, я — живое чудо, я — один из тех, кого бывает пять на сто, пятьдесят на тысячу,— чем больше число, тем фантастичней соотношение, я из тех, кого бывает всего пять тысяч на сто тысяч; я и в самом деле сын рабочего, который учится в университете в Западной Германии. А в университетах Восточной Германии все наоборот, из ста студентов там девяносто пять — дети рабочих. Там я был бы до смешного повседневным явлением, а здесь я знаменитый пример, которым козыряют в спорах, доказательство для обеих сторон — настоящий, подлинный, «всамделишный» сын рабочего — и даже способный, очень способный... Но ты ведь так и не попыталась отгадать, что сегодня клеймил Шмек.

— Может быть, телевидение?

Мюллер рассмеялся.

— Настоящие снобы теперь за телевидение.

— Нет,— сказала Мари и погасила сигарету о пепельницу, которую Мюллер держал в руке,— нет, не мог же он заняться социологией грубошерстного пальто?

— А то чем же? — тихо спросил Рудольф.— Чем же еще?..

— Нет,— повторила Мари,— этого он не мог сделать.

— Но тем не менее он это сделал, и в его лекции я узнал фразы, которые помню, помню из-за той радости, которую испытывал, когда наконец сформулировал...

— Слишком радовался...

— Да, подумать только, он шпарил целые абзацы из моей работы.

Мюллер поднялся с полу и стал ходить взад-вперед по комнате.

— Сама знаешь, как мучаешься, стараясь понять, себя ли цитируешь или кого-то другого, вот услышишь что-то, что как будто уже слышал или даже сам говорил, и никак не можешь вспомнить, в самом ли деле ты это сам говорил или только думал, а может, вовсе кто-то другой при тебе говорил или ты читал это... Одним словом, сходишь с ума, потому что память в этих случаях вдруг отказывает...

— Да,— сказала Мари,— вот так я терзалась, вспоминая, пила ли я воду перед святым причастием. Мне все казалось, что пила — оттого, что раньше я уже столько раз пила натошак воду — тысячу раз пила,— а перед причастием я вовсе и не пила...

— Когда вот так ни на чем не можешь остановиться, очень важен дневник.

— Знаешь, ты мог бы не ломать голову над этим вопросом: совершенно ясно, что Шмек тебя обокрал.

— И тем самым угробил мою диссертацию.

— Господи,— сказала Мари; она встала с постели, положила руку Рудольфу на плечо и поцеловала его в шею,— господи, ты прав, он в самом деле перерезал у тебя жизненный нерв... А ты не можешь на него пожаловаться?

Мюллер рассмеялся.

— В университетах всего мира, от Массачусетса до Лима, от Геттингена или Оксфорда до Нагасаки, все разразятся дружным смехом, если некий Рудольф

Мюллер, сын рабочего, начнет утверждать, будто Шмек его обокрал. Даже люди племени варрау язвительно усмехнутся, ибо и им известно, что мудрый белый человек, по имени Шмек, все знает про людские отношения. Но вот если выступит Шмек — а это будет неизбежным следствием моей жалобы — и заявит, что его обокрал некий Мюллер, то он всех убедит.

— Его надо уничтожить, — сказала Мари.

— Наконец-то ты отказалась от буржуазного образа мыслей.

— Не понимаю, как ты еще можешь шутить.

— На это у меня есть причина, — сказал Мюллер и подошел к кровати; он взял пакет, положил на стол и начал его распаковывать, терпеливо распутывая бечевку и развязывая многочисленные узелки; это длилось так долго, что Мари рывком выдвинула ящик, вынула из него нож и молча подала Рудольфу.

— Уничтожить, да, это мысль, — сказал Мюллер, — но я ни за что на свете не разрежу бечевку, это был бы удар прямо в сердце моей матери, которая всегда аккуратно развязывает и сматывает бечевочку, — она ведь может пригодиться. Когда мать приедет меня навестить, она непременно спросит у меня эту бечевку, и если я не смогу ее предъявить, решит, что наступил конец света.

Мари закрыла перочинный нож, спрятала его назад в ящик и оперлась о плечо Рудольфа — он уже развернул пакет и аккуратно складывал оберточную бумагу.

— Ты мне так и не объяснил, как ты все еще можешь шутить, — сказала она. — То, что сделал с тобой Шмек, — это предел подлости и коварства, а ведь он еще собирался назначить тебя своим ассистентом и предсказывал тебе блестящее будущее.

— Ну вот и готово, — сказал Мюллер. — Так ты в самом деле хочешь знать почему?

Она кивнула:

— Скажи.

Он положил посылку на стол и поцеловал Мари.

— Не будь тебя, — пробормотал он, — я бы сделал невесть что, клянусь!

— А ты все равно сделай, — тихо сказала она.

— Что?

— Сделай ему что-нибудь плохое, — сказала Мари, — я тебе помогу.

— Что же мне сделать? В самом деле уничтожить его?

— Нанеси ему какое-нибудь физическое увечье— моральными средствами тебе его не одолеть. Уничтожь хоть наполовину.

— Как ты говоришь?

— Ну, может, просто избеи. Но сейчас давай поедим: я голодна, а через тридцать пять минут мне надо ехать назад.

— Я не уверен, что ты поедешь назад.

Мюллер осторожно снял еще один слой бумаги, развязал еще одну бечевку, которой была перехвачена картонка из-под обуви, взял записку, лежавшую на крышке («Кладите в посылку, опишь содержимого»), и наконец— Мари вздохнула— снял крышку. В картонке лежали кровавая колбаса, кусок сала, домашний бисквит, несколько пачек сигарет и пакетик глутамина. Мари взяла со стола записку и прочитала вслух:

— «Дорогой мальчик, я рада, что ты так задешево совершил такое далекое путешествие в Англию. Все же теперь в университетах кое-что делают для студентов. Когда приедешь к нам в гости, расскажешь про Лондон. Помни, что мы тобой очень гордимся. Итак, ты приступил теперь к диплому— я еще не могу в это поверить. Любящая тебя мама».

— Они и в самом деле гордятся мной,— сказал Мюллер.

— У них для этого есть все основания,— ответила Мари и убрала присланные продукты в шкафчик под книжной полкой, потом достала начатую пачку чая.

— Я спущусь на минутку, заварю чай.

9

— Странно,— сказала Мари,— когда я сегодня прислонила свой велосипед к изгороди, я уже знала, что после обеденного перерыва не вернусь в наш синтетический ад; такие предчувствия ведь бывают. Как-то, придя из школы, я, как всегда, бросила свой велосипед у живой изгороди; он обычно наполовину тонул в ней, опрокидывался, руль цеплялся за какую-нибудь толстую ветку, переднее колесо оказывалось в воздухе,— так вот, в тот раз я уже знала, что никогда больше не пойду в школу. Не то чтобы мне просто надоело ходить в школу, это было что-то гораздо более сильное, я вдруг поняла, что

мне невольно еще хоть раз пойти в школу; отец никак не мог это взять в толк, потому что до аттестата зрелости оставался ровно месяц, но тогда я ему сказала: «Ты слышал когда-нибудь о грехе обжорства?» — «Слышал! — ответил он мне. — Но ведь ты не обжиралась школой». — «Нет, это я привела только как пример — вот если ты выпил на глоток больше кофе или съел на кусочек больше пирога, чем ты должен был съесть или выпить, — разве это не было бы обжорством?» — «Это верно, — согласился он, — и я даже могу себе представить что-то вроде интеллектуального обжорства, однако...» Но тут я его перебила: «Просто в меня больше ничего не лезет, я чувствую себя как откормленная гусыня». — «Жаль, — сказал отец, — что это случилось с тобой как раз за месяц до экзаменов на аттестат зрелости. Ведь аттестат — такая нужная вещь». — «Для чего? — спросила я. — Может, для поступления в университет?» — «Да», — сказал он. «Нет, — сказала я. — Уж если я пойду на фабрику, то на настоящую, и всерьез». Так я и сделала. Тебе неприятно это слушать?

— Да, — сказал Мюллер, — очень неприятно, когда человек выбрасывает то, о чем несметное число людей мечтает и тоскует. Можно смеяться и над платьями, пренебрегать ими, если они висят у тебя в шкафу или ты можешь в любую минуту их получить, можно смеяться над всем, что тебе кажется от рождения само собой разумеющимся.

— Да я вовсе не смеялась над этим и этим не пренебрегала, мне и в самом деле больше хотелось пойти работать на настоящую фабрику, чем учиться в университете.

— Тебе я верю, — сказал он, — тебе я всегда верю — даже, когда уверяешь, что ты католичка.

— Кстати, вчера я тоже получила из дома посылку, — сказала Мари. — Угадай-ка, что там было.

— Кровяная колбаса, сало, домашний бисквит, сигареты, — сказал Мюллер. — Но глутамина там не было. И конечно ты разрешила бечевку ножницами, бумагу скомкала и...

— Точно! — рассмеялась Мари. — Абсолютно точно. Ты только забыл...

— Нет, я ничего не забыл. Просто ты меня перебила. А то бы я сказал, что ты тут же откусила кусок колбасы, кусок бисквита и закурила сигарету.

— Ну, а теперь пошли в кино. А потом мы убьем Шмека, только не до смерти. Сегодня!

— Сегодня?

— Непременно сегодня. Все, что считаешь правильным, надо делать тут же, и жена должна быть мужу опорой в его борьбе.

10

Когда они вышли из кино, уже совсем стемнело. Сторож стоянки велосипедов был зол как собака, потому что стоянка опустела и он охранял только грязный, разболтанный велосипед Мари. Старик сторож, в длинном, до пят пальто, ходил взад-вперед, потирая от холода руки, и бормотал ругательства.

— Дай ему на чай,— тихо сказала Мари и в смущении осталась стоять у столбика с цепью, которой была отгорожена стоянка.

— Мои принципы запрещают мне давать на чай, за исключением тех случаев, когда чаевые предусмотрены официально, это оскорбление человеческого достоинства.

— А может быть, у тебя превратное представление о человеческом достоинстве: мой предок, первый Шлимм, лет семьсот назад получил баронский титул и земли в качестве чаевых.

— А может быть, именно поэтому ты так мало ценишь человеческое достоинство. О господи! — вздохнул он и, понизив голос, добавил:— Сколько надо дать в таком случае?

— Я думаю, пфеннигов двадцать или тридцать или сигарет на эту сумму. Ну, прошу тебя, иди помоги своей помощнице, мне ужасно неловко.

Мюллер нерешительно подошел к сторожу, держа в руке номерок, словно документ, в подлинности которого не уверен, а когда сторож повернул к нему свое злое лицо, он вытащил из кармана пачку сигарет и сказал:

— Мне очень жаль, что мы несколько задержались.

Старик взял у него всю пачку, сунул в карман пальто, с молчаливым пренебрежением махнул рукой в сторону велосипеда и двинулся мимо Мари к трамвайной остановке.

— Все-таки в любви к худому мужчине есть одно преимущество: его можно возить сзади себя на багажнике,— сказала Мари.

Лавируя между замершими перед светофором машинами, она выехала к самому перекрестку.

— Осторожно, Мюллер, не поцарапай ногой лак на крыльях. Владельцы машин этого терпеть не могут. Они скорее согласятся, чтобы царапали их жен, чем их автомобили.

Владелец стоящей рядом с ними серой машины опустил стекло, и тогда Мари громко сказала:

— На твоём месте я написала бы социологическое исследование легковых автомобилей. Езда на машинах превратилась в школу ловкачества, нет хуже этих так называемых рыцарей руля. А от их судорожной «демократической» приветливости просто тошнит. Это чистое лицемерие: за самые элементарные вещи они требуют, чтобы им чуть ли не памятники ставили.

— Да,— подхватил Мюллер,— и самое гнусное в них то, что они уверены, будто выглядят иначе, нежели все остальные, а на самом-то деле...

Владелец машины быстро поднял стекло.

— Мари, желтый свет.

Мари нажала на педали и прямо перед носом серой машины повернула направо, а Мюллер исправно вытянул правую руку.

— У меня появилась прекрасная помощница,— сказал он, когда они въехали в темный переулок.

— Помощница,— повторила Мари,— это приблизительный перевод латинского *adjutorium*. В этом слове есть еще оттенок радости. Так где же он живет?

— Моммзенштрассе, тридцать семь.

— Слава богу, он живет на такой улице, название которой его бесит всякий раз, когда он его читает, произносит, пишет. Надеюсь, что это происходит не реже трех раз на день. Небось ненавидит Моммзена...

— До смерти ненавидит.

— Ну и пусть живет на Моммзенштрассе. Который час?

— Половина восьмого.

— Осталось четверть часа.

Они въехали в еще более темный переулок, который вел прямо в парк. Она затормозила. Мюллер спрыгнул и помог перетащить велосипед через ограду. Они прошли несколько шагов по темной аллее, остановились у куста, и Мари слегка толкнула машину на упругие ветви, они поддались под тяжестью, велосипед почти утонул в них, но зацепился за какую-то ветку потолще и повис.

— Совсем как дома,— сказала Мари.— Для стоянки велосипедов лучше кустов ничего не придумаешь.

Мюллер поцеловал ее в шею. Мари прошептала:

— Не слишком ли я худа для жены?

— Молчи, помощница,— сказал он.

— Ты ужасно боишься. Я и не знала, что можно ощутить, как у кого-то бьется сердце. Скажи, ты правда так боишься?

— Конечно,— ответил он.— Это ведь мое первое нападение. И я вообще никак не могу поверить, что мы здесь притаились, чтобы заманить Шмека в ловушку и избить его. Никак не могу поверить, что все это происходит в действительности.

— Это потому, что ты веришь в духовное оружие, в прогресс и тому подобное — за такие ошибки приходится платить; если и существовало когда-либо духовное оружие, то сегодня оно уже никуда не годится.

— Пойми же,— прошептал он,— какой процесс идет в моем сознании: я ведь стою здесь.

— Бедняги, вы все становитесь шизофрениками. Мне хотелось бы быть не такой худой — я где-то прочла, что шизоидам вредно иметь дело с худыми женщинами.

— Твои волосы в самом деле пахнут этим мерзким искусственным волокном, а руки стали шершавыми.

— Да,— сказала она тихо,— я как героиня из современного романа: баронесса, которая порвала со своим классом и решила жить настоящей, честной жизнью. Который час?

— Почти три четверти.

— Тогда он скоро появится. Мне так нравится, что мы ловим его на удочку собственного тщеславия. Ты бы только послушал его интонацию, когда он выступал по радио: «Размеренность, ритм — это мой жизненный принцип. В четверть восьмого — легкий ужин: еды почти никакой, но непременно крепкий чай, а без четверти восемь — ежедневная обязательная прогулка в городском парке...» Так ты обдумал план действий?

— Да,— ответил Мюллер,— как только он появится, ты бросишь велосипед поперек аллеи, а когда я свистну, побежишь и ляжешь рядом с велосипедом. Он, конечно, бросится к тебе.

— А ты тогда выскочишь из засады и как следует его отлупишь... Да так, чтобы он не сразу пришел в себя, а мы тем временем смоемся.

— Это звучит не слишком пристойно.

— Непристойно? Это тебе только кажется.

— А вдруг он позовет на помощь? Вдруг мне с ним не справиться, ведь он весит по крайней мере на центнер больше, чем я. И кроме того, как я уже тебе сказал, слово «засада» мне не по душе.

— Ну, конечно, у вас свои представления о чести — поднятое забрало, открытый бой и тому подобное, а в результате вы всегда оказываетесь в дураках. Не забывай, что я тоже тебе помогу и буду лупить его изо всех сил. А в крайнем случае мы бросим велосипед и убежим.

— Чтобы оставить вещественное доказательство? Я думаю, это единственный велосипед в городе, который нельзя не узнать.

— Твое сердце бьется все сильнее, все громче. Ты, видно, действительно здорово струсил.

— А ты разве не боишься?

— Конечно, боюсь. Но я твердо знаю, что наше дело правое и что это для нас единственная возможность свершить правосудие — ведь весь мир, вплоть до племени ботокудов, будет на его стороне.

— Черт возьми! — прошептал Мюллер. — Вот он и в самом деле идет...

Мари выскочила на аллею, рывком вытянула из куста велосипед и положила его перед собой на землю. Мюллер наблюдал за Шмеком — без шляпы, в расстегнутом, развевающимся на ветру пальто, он спускался по переулку к парку.

— Господи! — вздохнул Мюллер. — Мы же забыли про пса, погляди только на этого зверя, овчарка величиной с теленка!

Мари подошла к Мюллеру и из-за его плеча наблюдала за Шмеком, который хрипловатым голосом позвал: «Сольвейг, Сольвейг!» — отстранил собаку, радостно скакавшую вокруг него, и, подняв с земли камень, швырнул его в кусты — камень упал метрах в десяти от Мюллера.

— Вот сука! — сказала Мари. — Теперь бессмысленно лезть в драку. Это же волк, а не собака, да еще натасканный на человека — сразу видно. Ну, теперь у нас, конечно, разовьются всякие там комплексы из-за того, что мы не довели дело до конца, но все равно затевать что-либо бессмысленно.

Она снова вышла на аллею, подняла велосипед и, тронув за руков Мюллера, сказала:

— Ну, пошли, нам надо идти. Да что с тобой?

— Ничего,— ответил Мюллер, взяв Мари за руку.— Я даже не предполагал, до чего я его ненавижу.

Шмек стоял под фонарем и гладил свою овчарку, которая положила к его ногам принесенный из кустов камень; заметив, что какая-то пара вошла в круг света, падающий от фонаря, Шмек поднял глаза, потом еще раз взглянул на собаку, а затем снова на молодых людей и вдруг широко улыбнулся, распростер руки и двинулся навстречу Мюллеру.

— Мюллер,— сказал он сердечно.— Дорогой мой Мюллер! Вот не ожидал встретить вас здесь...

Но Мюллеру удалось глядеть прямо в лицо Шмеку и вместе с тем как бы сквозь него, не встречаясь с ним взглядом. «Если я встречу с ним глазами, я пропал,— думал он.— Задача не в том, чтобы делать вид, что его нет, он ведь есть, но я должен как бы уничтожить его своим взглядом». Шаг навстречу Шмеку, второй, третий, Мюллер почувствовал, как Мари вцепилась в его руку, он дышал все тяжелей и учащенней, будто поднимал все большую тяжесть.

— Мюллер!— крикнул Шмек.— Это ведь вы? У вас что, совсем нет чувства юмора?

Остальное было уже легко. Просто идти своей дорогой, быстро, но не слишком. Они слышали, как Шмек еще раз громко крикнул «Мюллер!». Потом голос его становился все тише и тише. «Мюллер, Мюллер, Мюллер...», и наконец они завернули за угол.

Вдруг Мари так тяжело вздохнула, что он испугался, он повернулся к ней и увидел, что она плачет. Он взял у нее велосипед, прислонил его к ограде какого-то сада, смахнул указательным пальцем слезы с ее щек и обнял ее за плечи.

— Мари,— сказал он тихо.— Ты что?

— Я боюсь тебя,— ответила она.— Ты не только напал на него, ты его уничтожил. Я теперь боюсь, что Шмек вечно будет бродить по этому жалкому парку, бормоча: «Мюллер, Мюллер, Мюллер...» Как в ночном кошмаре. Дух Шмека в сопровождении адского пса бродит меж мокрых кустов, он оброс бородой, такой длинной, что она волочится за ним, как обтрепанный пояс, и все шепчет: «Мюллер, Мюллер, Мюллер». Может быть, мне сбегать поглядеть, как он там?

— Нет,— сказал Мюллер,— не надо бегать. Он чувствует себя недурно. Но если ты ему так сочувствуешь — подари ему ко дню рожденья грубошерстное пальто. Ты

даже не можешь измерить, какое зло он мне причинил. Он превратил меня в эдакого вундеркинда из рабочих, он мне покровительствовал, так, что ли, это называется? И видимо, ожидал получить мое «грубошерстное пальто» в виде дани, а я ему не дал, во всяком случае, добровольно. Завтра утром, едва зайдя в профессорскую, он скажет своему первому ассистенту Вегелоту: «Да, кстати, Мюллер все же перешел в реакционный лагерь профессора Ливорно, он звонил мне вчера вечером и сказал, что намерен выйти из моего семинара». Потом старательно прикроет дверь и, подойдя вплотную к Вегелоту, добавит: «Жаль мне Мюллера, очень способный студент, однако его тезисы к дипломной работе оказались на редкость беспомощными, ниже всякой критики. Этим людям такие вещи даются особенно трудно, потому что им нужно бороться не только с окружающим миром, но и со средой, из которой они вышли. А жаль!» И он выйдет из профессорской, покусывая губы.

— Ты уверен, что это будет именно так? — спросила Мари.

— Абсолютно. Пошли домой, Мари, Шмек не стоит слез.

— Я плакала не о Шмеке.

— Уж не обо мне ли?

— Да, ты такой невысказанно храбрый.

— Это уж в самом деле звучит как строчка из самого современного романа. Так пошли домой?

— Ты не придешь в ужас, если я захочу хоть раз в день, буквально один раз съесть что-нибудь горячее?

— Не приду, — рассмеялся Мюллер, — вези меня в ближайший ресторан.

— Давай лучше пойдем пешком. В эти часы здесь всегда много полицейских: близость парка, мало фонарей, весенний воздух, попытки изнасилования. А штраф за проезд на багажнике равняется стоимости двух отличных гуляшей.

Мюллер повел велосипед. Они медленно двинулись вниз по улице вдоль городского парка. Когда они отошли от фонаря, то увидели полицейского, прислонившегося к стволу дерева у ограды.

— Вот видишь, — сказала Мари так громко, что полицейский мог слышать. — Вот мы уже и сэкономили две марки, но как только отойдем немного подальше, сразу прыгай на багажник.

Едва они завернули за угол, как Мари села на

велосипед и уперлась ногой в тротуар, чтобы дать Мюллеру сесть. Она быстро покатила вниз и, не замедляя хода, обернулась и крикнула:

— Что ты теперь будешь делать?

— Что? — переспросил Мюллер.

— Я спрашиваю, что ты будешь делать?

— Сейчас или вообще?

— И сейчас и вообще.

— Сейчас я еду с тобой есть гуляш, а вообще завтра я пойду к профессору Ливорно, запишусь к нему в семинар и предложу тему для диплома.

— Какую?

— Критический разбор работ профессора Шмека.

Мари подъехала к тротуару, остановилась и, повернувшись к Мюллеру, переспросила:

— Какую, какую?

— Да я же сказал: «Критический разбор сочинений профессора Шмека». Я знаю их вдоль и поперек, чуть ли не наизусть, а ненависть — хорошие чернила.

— А любовь?

— А любовь — это наихудшие чернила из всех существующих, — сказал Мюллер, — поехали, помощница!

1962

О ПАДЕНИИ ТРУДОВОЙ МОРАЛИ

Анекдотическая история

В одной из гаваней западного побережья Европы в рыбацкой лодке удобно устроился бедно одетый мужчина, он спит. С иголки одетый турист заправляет в аппарат цветную пленку, чтобы запечатлеть эту идиллическую картину: синее небо, изумрудное море с мирными, увенчанными белоснежными гребешками волнами, темные борта лодки, красная рыбацкая шапка. Щелк. Еще раз: щелк и — на всякий случай — Бог ведь троицу любит, — в третий раз: щелк. Сухой и какой-то неприятный звук заставляет рыбака вздрогнуть, он поднимается, сонно озираясь, сонная рука шарит вокруг в поисках сигарет, но прежде чем она наткнется на пачку, деятельный турист успевает поднести ему под нос свою, чуть ли не сует сигарету рыбаку прямо в рот, щелк — раздается в четвертый раз, — но это уже зажигалка, которая завершает этот танец суетливой веж-

ливости. Избыток ее почти незаметен, трудно понять, в чем он заключается, но в результате возникает неловкость с легким оттенком раздражения, которую турист, благо язык этой страны ему знаком, торопится сгладить, завязывая разговор.

— Наверно, вернетесь сегодня с богатым уловом?

Рыбак отрицательно мотает головой.

— А мне говорили, будто погода очень благоприятная.

Рыбак согласно кивает.

— Так вы что, не пойдете в море?

Утвердительный жест рыбака; усиливающаяся нервозность туриста. Он, разумеется, принимает благополучие этого бедно одетого человека близко к сердцу, и ему грустно, что тот упускает свой шанс.

— Ах, вы плохо себя чувствуете?

Рыбак наконец переходит от языка жестов к разговорной речи.

— Прекрасно себя чувствую,— говорит он.— Хорошо, как никогда.— Он встает и потягивается, похоже для того, чтобы продемонстрировать свое атлетическое сложение.— Просто великолепно себя чувствую.

Лицо туриста вытягивается все больше и больше, наконец он не выдерживает и задает вопрос, который не дает ему покоя:

— Почему же вы тогда не выходите в море?

Ответ, более чем краткий, не заставляет себя ждать.

— Потому что я уже утром там был.

— И много поймали?

— Достаточно, чтоб второй раз не ходить, все корзины набил — четыре омара, одной скумбрии больше двух десятков...

Рыбак уже окончательно проснулся, повеселел, он дружески похлопывает туриста по плечу, мол, все в порядке. А у того на лице пусть и неуместная, но все же трогательная и совсем нешуточная забота.

— И на завтра хватит, и на послезавтра,— говорит рыбак, чтобы утешить иностранца.— Сигарету?

— Да, спасибо.

Теперь у обоих в зубах по сигарете, в пятый раз раздается щелчок, турист откладывает фотоаппарат в сторону, чтобы освободить руки, которые теперь нужны ему для подкрепления слов, и, качая головой, усаживается на край лодки.

— Я вовсе не хочу вмешиваться в ваши дела,—

говорит он,— но предположим, вы вышли бы в море во второй, третий, даже в четвертый раз, ведь вы тогда наловили бы в три, четыре, пять, даже в десять раз больше скумбрии... вы только представьте себе это.

Рыбак кивает.

— И если бы вы,— продолжает турист,— не только сегодня, но и завтра, послезавтра, да и вообще в любой удачный день — два, три, даже, может быть, четыре раза выходили бы в море — представляете, что тогда произошло бы?

Рыбак пожимает плечами.

— Самое позднее через год вы смогли бы купить мотор, через два — вторую лодку, спустя три-четыре года — приобрести бы маленький катер, с двумя лодками и катером вы могли бы ловить уйму рыбы, и вот в один прекрасный день у вас уже два катера...— от восторга у туриста на мгновение даже перехватывает дыхание,— затем вы становитесь владельцем холодильной установки, строите коптильню, затем консервную фабрику, летаете на собственном вертолете, обнаруживаете косяки и передаете вашим катерам их координаты по радиации. Наконец, вы покупаете лицензию на отлов лососевых, открываете рыбный ресторан и экспортируете омаров прямо в Париж, без посредников, и тогда...— тут у него снова перехватывает дыхание. Почти забыв про прелести отдыха, он смотрит на лениво набегающие волны, в которых весело резвится вся эта непойманная рыба, и в глубоком огорчении качает головой.

— И тогда,— но волнение опять не дает ему говорить, и рыбак хлопает его по спине, как ребенка, который подавился.

— Что тогда? — спрашивает он негромко.

— Тогда,— отвечает турист с тихим восторгом,— вы бы могли спокойно сидеть здесь на берегу, дремать на солнышке и любоваться этим великолепным морем.

— Но ведь именно это я и делаю,— отвечает рыбак,— сижу себе преспокойно в лодке и подремываю, меня только ваше щелканье и разбудило.

И наш турист в задумчивости отправился прочь, это был хороший урок, ведь он всегда думал, что работает для того, чтобы в один прекрасный день перестать работать. В его душе теперь уже не было сочувствия к бедно одетому рыбаку, только легкое чувство зависти.

ЭССЕ. РЕЧИ, ИНТЕРВЬЮ



ESSAYS, REDEN, INTERVIEWS

© Бергельсон Г. Ю., Вильмонт Е. Н., Колесов Е. Н., Литвинец Н. Н., Лунгина Л., Рудницкий М. Л. Переводы. 1996 г.

О САМОМ СЕБЕ

Я родился в Кёльне, где Рейн, устав от изощренных красот среднерейнского пейзажа, становится широченной рекой и течет по однообразной равнине навстречу туманам Северного моря; когда государственная власть никогда не принималась слишком всерьез, а церковная хоть и принималась, но куда меньше, чем принято думать в Германии; где Гитлера забросали цветочными горшками, где открыто смеялись над Герингом, этим кровавым фатом, который умудрился за час своего пребывания в городе трижды сменить мундир; я стоял вместе с тысячами кёльнских школьников, выстроенных вдоль тротуаров, когда он ехал по улицам, облаченный в свой третий, белоснежный мундир; я предчувствовал, что гражданское легкомыслие моих земляков сделает их бессильными против неотвратимо надвигающейся беды. Я родился в Кёльне, который знаменит своим готическим собором, хотя скорее должен был прославиться романскими церквями; в Кёльне, давшем приют самой старой в Германии еврейской общине и бросившем ее на произвол судьбы; гражданственность и юмор были бессильны против беды — тот юмор, которым Кёльн знаменит не меньше, чем собором, юмор, пугающий в своем официальном проявлении, но порой великий и мудрый на улице.

Я родился в Кёльне 21 декабря 1917 года, в то время, как мой отец, народный ополченец, стоял в карауле на мосту. В самый тяжелый, в самый голодный год мировой войны у него родился восьмой ребенок; двух малышей он до этого уже похоронил; я родился в то время, как мой отец проклинал войну и болвана кайзера, памятник которому он показал мне потом. «Вон там наверху,— сказал отец,— он все еще скачет на запад на своем

бронзовом жеребце, а ведь на самом-то деле он давным-давно колет дрова в «Доорне». И теперь еще кайзер скачет на запад на своем бронзовом жеребце.

Мои предки со стороны отца, корабельные мастера, несколько сотен лет назад перебрались сюда с Британских островов, потому что были католиками и изгнание предпочли государственной религии Генриха VIII. Достигнув Голландии, они двинулись вверх по Рейну: они всегда больше любили город, чем деревню, и, оказавшись вдали от моря, стали плотничать. С материнской стороны мои предки были крестьяне и пивовары, в самом корне своем состоятельные и работающие, однако среди их потомков затесался расточитель, так что в следующем поколении семья обеднела, но зато в ней появился дельный труженик, потом все снова покатило под гору, и родители моей матери уже не пользовались уважением, были бедны, и на них, собственно, род и угас.

Мое первое воспоминание: возвращение домой гинденбургской армии — аккуратные серые колонны с лошадьми и пушками уныло двигались мимо наших окон; сидя на руках у матери, я глядел на улицу, где нескончаемой вереницей тянулись солдаты к мостам через Рейн; позже: мастерская моего отца — запах дерева, запах клея, лака, протравы, свежеструганные доски, сарай на задворках доходного дома, где разместилась мастерская. В том доме жило больше людей, чем в иной деревне, они пели, ругались, развешивали белье на сушилах; еще позже: звонкие германские названия улиц, на которых я играл, — Тевтбургерштрассе, Эбуроненштрассе, Веледаштрассе, и воспоминания о переездах с квартиры на квартиру, переездах, которые любил мой отец, — мебельные фургоны, пьющие пиво грузчики, печально качающая головой мать — она всякий раз привязывалась к новому очагу и никогда не забывала снять кофейник с огня, прежде чем кофе закипал. Мы всегда жили недалеко от Рейна, и дети обычно играли на пароме, во рвах старых укреплений, в запущенных парках — садовники вечно бастовали; воспоминание о первых деньгах, которые мне дали в руки: это была купюра с цифрой, достойной банковского счета Рокфеллера, — один биллион марок; на нее я купил длинный полосатый леденец; чтобы расплатиться со своими помощниками, отец привозил деньги на тачке; несколько лет спустя марка вновь стабилизировалась, и каждый пфенниг был уже на счету; школьные товарищи кланчили у меня на переменах

кусочек хлеба — их отцы были безработные; беспорядки, забастовки, красные знамена — вот что я видел, когда ехал на велосипеде в школу по улицам самых густонаселенных кварталов Кёльна. Спустя несколько лет безработные оказались пристроенными — они стали полицейскими, солдатами, палачами, рабочими военных заводов либо попали в концлагеря; статистика подтверждала процветание, рейхсмарки текли рекой; расплачивались по счетам позже — нами, когда мы, к тому времени неожиданно став мужчинами, старались расшифровать постигшую всех нас беду, но не могли найти подходящего кода; сумма страданий была слишком велика, чтобы взыскать ее с тех немногих, кого явно можно было назвать виновными, толучался остаток — он и по сей день еще не поделен.

Писать я хотел всегда, сызмальства брался за перо, но лишь потом нашел слова.

1958

В ЗАЩИТУ ДОМАШНИХ ПРАЧЕЧНЫХ

После выхода в свет очередной моей книги один критик похвалил меня, одобрительно похлопывая по плечу, за то, что я, наконец, расстался с миром бедняков, что мои книги перестали вонять прачечной и взывать к социальной справедливости. Этой похвалы я удостоился в то время, когда пресса изобиловала сведениями о том, что две трети человечества голодают, что в Бразилии дети умирают, так и не узнав вкуса молока: я удостоился этой похвалы в мире, насквозь пронизанном гнусной эксплуатацией, в мире, где бедность давно уже перестала быть шагом на пути к классовой борьбе или мистической родиной, превратившись в своего рода проказу, которой следует опасаться и которую писатель не должен делать объектом своих исследований: ибо ему этого не простят, хотя и не попытаются при этом даже выяснить, насколько избранная им форма соответствует содержанию.

Лично меня эти упреки почти не задевают: гораздо более важным представляется мне туманность мысли, обусловленная подобным вокабулярием, потому что ежели прачечную считать местом, не достойным литературы, то где же достойные ее места, где же она, выражаясь

столь популярным ныне туманным языком, должна быть прописана? Пусть ее прописывает тот, кто может, кто берет кредит в стройбанке и использует всевозможные налоговые скидки.

Призрак, которого опасается такая мысль, носит мерзкое имя, и имя это — мещанство. Но о чем свидетельствует это слово в эпоху, когда даже короли омещаниваются более, чем это когда-либо удавалось нашим дедам; когда маршалы стараются так завязывать галстук, чтобы это понравилось уличным прохожим; когда каждый, объявляющий себя инакомыслящим, опасливо следит за внимающей ему публикой; что же возмутительного в домашней прачечной, если даже вышедшие в отставку генералы охотно становятся менеджерами рекламных бюро банно-прачечных трестов.

А я, между прочим, не припомню, чтобы где-то в своих рассказах или в романе описывал или хотя бы упоминал прачечную; теперь же я считаю себя прямо-таки обязанным уделить внимание домашней прачечной в одной из следующих своих книг; быть может, я напишу даже целый роман о прачечной, но действие его, пожалуй, перенесу в Китай или на Ближний Восток. Тогда бы мне, правда, не пришлось воспользоваться описанием отдельных деталей, известных мне по рассказам жены. Дело в том, что в маленьком городке, где родилась ее бабушка (по странной случайности моя бабушка родилась в том же городке, так что мои описания приобретают совершенно невероятную убедительность), день стирки был своего рода праздником. Во времена наших бабушек в Дюране (так назывался этот городок) день всеобщей стирки праздновали по-настоящему. В те времена бельевые шкафы ломились от всякого белья, и стирку устраивали раз в месяц, но зато уж перестирывали целые горы, затем устилали бельем долины Рура, где оно отбеливалось; а тем временем с повозок сгружали бочки с пивом, ветчину, хлеб и маленькие бочоночки масла; к юным прачкам подбирались тогдашние молодые парни, еще подростки, охочие до безделья, как и нынешние; в этот день было принято танцевать, петь, играть в разные игры, а вечером чистое белье, опустошенные бочки и корзины снова грузили на повозки и везли домой. Стирка была веселым занятием, и мне жаль, что я до сих пор так ни разу и не описал этого веселья.

Конечно, моя мать тоже стирала белье (какое

унизительное времяпровождение!); она стирала его в нашей домашней прачечной, главным образом по понедельникам, с утра. По понедельникам, ближе к вечеру, по всему белу свету полоскались на ветру рубашки и полотенца, носовые платки и те части туалета, которые не принято произносить вслух, и картина эта никогда не удручала меня, наоборот: она утешала, возвещая о неизбывном стремлении человечества содержать себя в чистоте; по сию пору, как и во времена моего далекого детства, снуют вверх и вниз по Рейну лодки, расцвеченные трепещущим на ветру бельем. Нет, я ничего не имею против стирки, и уж тем более против домашних прачечных; просто в наш век — век стиральных машин, они все более становятся редкостью, так что, быть может, в один прекрасный день их можно будет лицезреть лишь в краеведческих музеях: домашняя прачечная в мещанской семье начала двадцатого столетия.

Я легко могу представить себе, как в такой прачечной разыгрывается какая-нибудь драма; почему бы и нет, ведь разыгрывалось же столько драм в замках — драм, в которых все четыре часа действия занимает диалог, состоящий из нуднейших банальностей. Я с легким сердцем выступаю в защиту домашних прачечных, которых никогда не описывал. И когда я приносил матери в прачечную щепу для растопки и брикеты угля, обнаружив при этом полную неспособность к обращению с огнем, что подтвердилось и позже, во время моей службы в вермахте бессловесным солдатом, я познал немало полезных истин; я узнал, сколько волов забивали на ярмарку, как уносили по субботам деньги из трактирной залы наверх, в жилые комнаты, целыми фартуками; как некоторые горожане уезжали утренним поездом в Кёльн, чтобы, как это у них называлось, почитать «Кёльнскую газету», как упорно спивался один из моих родственников старшего поколения, пока — он сам, «собственными глазами видел!» — пока не отдал последнюю рубашку за две-три кружки пива.

Что же касается мира бедняков, то я уже давно задаю себе вопрос: а какие еще миры существуют? Мир приличных людей, мир людей маленьких (по принципу «мал, да удал»), мир великих людей; от необходимости изучать мир великих я избавлен благодаря нашей вседушной рекламе — всем известно, что великие мира сего носят часы фирмы «Роллекс». О чем же еще писать? О маленьких людях? Но я не различаю масштабов; как

есть люди, не различающие цветов, я не различаю этих миров и пытаюсь обходиться без предрассудков, что, увы, слишком часто принимают просто за безрассудство. Масштаб человеческой личности не зависит от того, в каком социальном мире она существует, подобно тому, как от этого не зависят радость и боль; в домашних прачечных ведь тоже часами могли звучать одни банальности, да и среди великих мира сего, наверное, иногда встречаются действительно великие люди; давайте уж дадим им этот шанс. У романов Достоевского нередко бывают крайне неприятные названия: «Униженные и оскорбленные», «Бедные люди», и если приглядеться как следует к тому миру, где обитает, скажем, Родион Раскольников или пусть даже князь Мышкин, то мир этот покажется поистине возмутительным; подарить бы им часы фирмы «Роллекс», чтобы они почувствовали себя великими людьми, а Достоевскому — посоветовать, чтобы писал о более приличных людях; и попутно задать ему вопрос: действительно ли в его время тоже две трети человечества голодали?

Были времена, когда все, не принадлежавшее к благородному сословию, считалось недостойным литературы: если перо писателя касалось столь низменного предмета, каковым считался, например, торговец, это воспринималось как революция, да и было ею; позже появились нарушители этих правил, изобразившие в литературе, в искусстве даже рабочего; ныне уже существуют эстетствующие теории, объявляющие все, *не* имеющее отношения к рабочему классу, не достойным литературы. Быть может, нашему обществу в противовес этой следовало бы создать какую-то свою теорию? Это было бы интересно, поучительно и достойно подробного анализа.

1959

ЯЗЫК КАК ОПЛОТ СВОБОДЫ

Речь, произнесенная по случаю вручения премии имени Эдуарда фон дер Хейдта в городе Вуппертале

Почести, оказанные мне сегодня в городе Вуппертале, заставляют меня, обрадованного и растроганного, обратиться к той единственной инстанции, которая вправе решить, по заслугам ли эти почести, а именно: к со-

вести. Только, пожалуйста, не пугайтесь, что я здесь начну отречься от самого себя. Вероятно, я для этого уже недостаточно молод и еще недостаточно стар, и мне было бы мучительно прослыть скромником — я им не являюсь. Как и любого человека, признание меня не просто радует, а придает мне силы, и если я скажу, что подобные почести лишь относительно могут быть заслуженными, то должен еще присовокупить: относительно заслуженными они были бы в любом случае, так и должно быть, ибо это заложено в природе искусства — всегда находится в стадии эксперимента. Я уверен, кое-чему научиться можно; писатель в конечном счете учится у самого себя, на собственном опыте, но именно эта уверенность, что «чему-то научился», усиливает впечатление, которое может подтвердить любой художник: учатся только ремеслу, раскрывают, так сказать, только собственные тайные помыслы и по возможности стараются заслужить что-то вроде звания мастера. И все-таки каждый художник знает — нельзя создать шедевр, создавая, что создаешь шедевр. Ничто не может лучше объяснить нам, что же такое искусство, чем неудачные творения тех, кто носит или носил звание мастера. Тут удача от неудачи отстоит, как говорится, «на волосок», а мы знаем, сколь тонок волосок, это весьма ничтожный базис, и тем не менее почести, коих я сегодня удостоился, зиждутся на таком вот ничтожном базисе, ибо их удостоилось мое искусство. Тот, кто водит знакомство со словом, кто питает к нему страсть, в коей и я должен сознаться, тот, чем дольше он это знакомство водит, все больше впадает в задумчивость, ибо ничто его не спасет от сознания, до чего же двойственна суть слов в нашем мире. Едва произнесенные или написанные, они уже преображаются и взваливают на того, кто их произнес или написал, ответственность, всю тяжесть которой редко можно выдержать: тот, кто напишет или скажет слово «хлеб», не знает, что он тем самым натворил — вокруг этого слова могут разразиться войны, начаться убийства, оно чревато тягчайшими последствиями, и тот, кто его пишет, обязан знать, какими последствиями оно чревато и на какие превращения способно. Если бы мы сознавали, какие последствия влечет за собой каждое слово, если бы мы взяли за изучение словаря, этого каталога нашего богатства, мы обнаружили бы, что за каждым словом стоит целый мир, и тот, кто орудует словами, кто строчит заметку в газету или пишет на

бумаге стихи, обязан знать, что он приводит в движение миры, давая свободу двойственной сути слов: то, что тешит одного, может смертельно ранить другого.

И вовсе не случайно, что там, где дух воспринимается как опасность, во все времена первым делом запрещают книги, подвергают строжайшей цензуре газеты, журналы, радиопередачи; между двух строк, на этой крохотной белой типографской линии огня может быть заложено достаточно динамита, чтобы взорвать целые миры. Во всех государствах, где правит террор, слова боятся едва ли не больше, чем вооруженного сопротивления, и зачастую последнее бывает следствием первого. Язык может стать последним оплотом свободы. Мы знаем, что разговор, тайно распространяемое стихотворение могут быть дороже хлеба, которого требуют восставшие во время всех революций.

Таким образом, вам, видимо, будет понятно, что мне, свободному гражданину, в этом свободном городе оказана честь как человеку, который имеет дело со словами и апеллирует к инстанции, казалось бы ничего общего с искусством не имеющей: к совести, но не к той художественной совести, с которой художник каждый день сверяется в тишине своей каморки, не отделила ли уже пропасть шириною с волос его от его искусства,— нет, я обращаюсь к совести человека, как существа общественного. Слова действительны, это мы узнали на собственной шкуре, слова могут подготовить войну, могут спровоцировать ее, но не всегда слова могут установить мир. Слово, предоставленное бессовестному демагогу, чистейшему тактику, оппортунисту, может стать смертным приговором для миллионов людей; машина, формирующая общественное мнение, может стрелять словами, как пулемет пулями: четыреста, шестьсот, восемьсот в минуту; любая, слишком четко классифицированная группа сограждан может быть словом обречена гибели. Мне достаточно назвать одно слово: еврей. Завтра это может быть другое слово: атеист, например, или христианин, или коммунист, конформист или нонконформист. Выражение «если бы слова могли убивать» уже давно утратило сослагательное наклонение, давно перешло в изъявительное: слова могут убивать, и это вопрос совести и только совести, дать или не дать языку скалиться туда, где он может стать убийственным. Многие слова из нашего политического лексикона подвергнуты опале, которая как проклятие лежит на наших свободно

и радостно растущих детях; я назову два: Одер-Нейсе, словосочетание, отданное на откуп демагогу или механизмам, формирующим общественное мнение, может оказаться куда более разрушительным, чем целые караваны грузовиков с нитроглицерином.

Вам, вероятно, покажется странным, что человек, известный как страстный поклонник языка, произносит здесь речь, содержащую, кажется, одни лишь мрачные политические прогнозы, выбирая при этом из прошлого и настоящего слова либо уже ставшие, либо могущие стать смертоносными, и словами же закликает будущее. Однако политический акцент подобных заклятий и воспоминаний, все мои предостережения и угрозы исходят из знания, что политику вершат словами, что именно слова сделали человека объектом политики и заставили его претерпеть все беды истории, да, слова, сказанные, напечатанные; это исходит из знания, что средства, формирующие общественное мнение, общественный настрой, всегда пользуются словами. Все эти средства налицо — пресса, радио, телевидение, они, обслуживаемые свободными людьми, потчуют нас безобидной пищей, довольствуясь коммерцией, рекламой, развлечениями, но — ничтожный поворот рычажка власти, и мы убедимся, что безобидность этих средств была прозрачной. Сегодня они расхваливают нам стиральные порошки или сигареты, но что может случиться, если они начнут с той же интенсивностью навязывать нам атеистов или христиан, конформистов или коммунистов или начнут вбивать нам в головы «Одер-Нейсе» — всего лишь слова?

Тот, кто чувствует свободного писателя, подобно тому как сегодня чувствует меня город Вупперталь, писателя и его произведения, тот чувствует обещание, заложенное в самом искусстве, но чувствует также и свободу и возможные заблуждения и глупости, могущие произрасти из этой свободы; но никогда эти заблуждения или глупости не будут убийственными, покуда язык и совесть еще неотделимы друг от друга, покуда не возникнет то шизофреническое состояние, когда человек, в распоряжении которого есть язык, это невероятное богатство, станет довольствоваться жалкой монеткой, которую сильные мира сего имеют обыкновение платить в качестве гонорара каждому, кто заявит о своей готовности пустить по ветру слова, доставшиеся ему в наследство, каждому, кто между строк, на узенькой белой линии

огня, оставленной наборщиком писателю, не заметит все то, чем может быть язык, наше самое великое естественное достояние, а он может быть дождем и ветром, оружием и возлюбленной, розой, ночью, солнцем, динамитом, братом и сестрой, всеми теми мирами, которые нам предлагает словарь, каталог нашего богатства. Писатель, кланяющийся сильным мира сего, предоставляет себя в их распоряжение, совершая тем самым наихудшее из преступлений, хуже воровства, хуже убийства. Для воровства и убийства есть определенные статьи, осужденному преступнику закон дает своего рода утешение: он понесет заслуженное наказание, определить меру этого наказания бывает труднее, нежели решить арифметическую задачку; однако писатель, совершивший предательство, предает всех тех, кто говорит на его языке, и получает свою кару не единожды, ибо он подчиняется лишь неписаным законам; не писаны еще те законы, которые затрагивали бы его искусство и его совесть; у писателя есть только выбор: или отдать все, что он может отдать в настоящий момент, или ничего, то есть промолчать. Он может заблуждаться, но в миг, когда он произносит то, что впоследствии может оказаться заблуждением, он обязан верить, что это абсолютная истина. Он не имеет права это свое заблуждение постоянно таскать в кармане как охранную грамоту, ведь тогда он оказался бы в отчаянно ложном положении, подобно человеку, который, прежде чем согрешить, уже знает, что он скажет на исповеди. И тут уж не годится диалектический трюк так называемой самокритики, которая, подчиняясь вечно меняющемуся перечню грехов, о которых следует рассказать на исповеди, сама себя упрячет в сумасшедший дом, где возможны любые фокусы. Подобная свобода не есть свобода шута. Шут, то и дело получающий оплеухи за свои наглые выходки от своенравного властелина, всегда выставляет напоказ знаки своего шутовства — колпак и погремушку. Он — личность, исполненная человеческого достоинства, сравнимая с тем, кто на мостках общественного мнения управляет собой, как марионеткой, всегда готовой совершить кувырок через голову. Существуют ужасающие способы попрания человеческого достоинства: побои и пытки, путь на эшафот, но худшим способом мне представляется тот, который как медленная болезнь овладевает моим духом и может принудить меня произнести или написать фразу, что не выдержит испытания

в той инстанции, о коей я вам уже говорил: инстанция эта—совесть свободного писателя, который повинен в заблуждениях и небрежностях и будет повинен в них и впредь, который в тишине своей кельи, куда он не сможет ввести вас, должен разобраться в своем искусстве, искусстве писать черным по белому, не только в смысле издательской техники, но и в смысле более широком; свобода его не есть свобода шута, ибо даже его шутки, те редкие шутки, которые позволяет ему его язык, метят не во властелина и не могут быть оплачены пощечиной—пожалуйста, не надо никакой шутовской свободы, ибо писатель не терпит над собою земного владыки, пусть будет свобода, пределы которой лежат лишь в границах искусства.

В какой-то степени, которую сейчас, как и всякий раз, трудно определить, свобода это еще и материальная независимость, и потому я позволю себе принять дар, связанный с нынешними почестями, этот кусок свободы, не отягощенной никакими условиями: дар, пожалованный мне за уже созданное произведение, будет служить еще не созданным, и вручая его мне, вы тоже, как и я, идете на риск, которому подвержен любой художник. Ту честь, что мне сегодня оказана, я могу принять лишь в том случае, если посмею поверить, что она оказана мне не только как личности, но и—позвольте уж мне такое обобщение—как институции: институции свободного писателя, возможной лишь в свободном обществе, институции, которая, пользуясь словом, сама себе демонстрирует свое богатство и свое убожество. Не для собственного развлечения и не всегда с наилучшими последствиями для произведения, она может представить только то, что позволяет ей ее искусство. Утешение, ценнейший ингредиент нашей жизни, никогда не поступит на распродажу—оно так же не может быть дешевым товаром, как и безутешность.

Таким образом, этой премией вы поощряете и то общество, в котором еще возможны и свободный писатель и свободный художник. Я приношу вам сердечную благодарность и как человек, получивший здесь награду, и как представитель институции, что подчиняется неписаным законам, не признает над собой земных владык и словом охраняет и защищает достоинство человека.

НУЖНЫ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ

Родители всех времен рассказывали детям, в какой строгости воспитывали их самих: тогда, мол, без разбора ели все, что подавалось на стол, розги стояли всегда наготове, учителя были необразованны, бедны и строги, школы — мрачны и тесны, а дети рано начинали понимать, что жизнь — это борьба. Сладости были лишь по праздникам, в подарок дарили одни полезные вещи — пару чулок, рубашку или талер от крестного, да и талер этот тут же убирался в папин железный сундучок и извлекался оттуда только ко дню четырнадцатилетия или даже восемнадцатилетия, когда пора было «занять свое место в мире». Человек вступал в мир, не скрывавший от него своей мрачности, имея за душой лишь одни принципы. И у каждого из нас, наверное, был дядюшка, который рассказывал, как он однажды прошел пешком целых одиннадцать километров, чтобы сэкономить пять пфеннигов — плату за проезд.

Мы со страхом слушали эти торжественно преподносимые нам небылицы: ведь мы ели сладости не только по великим праздникам (а всякий раз, когда они нам доставались), нам нравилось не все, что подавалось на стол, да и розог на нас припасено не было, а если кто-то дарил нам деньги, мы делали все возможное, чтобы спасти их от копилки и прочих железных гробниц; мы не проходили пешком и километра ради того, чтобы сэкономить двадцать пфеннигов. Мы любили своих родителей за то, что они избавили нас от тех тягот, о которых рассказывали нам, однако мы побаивались последствий такого мягкого отношения: у нас-то ведь и принципов за душой не будет, когда придет пора «занять свое место под солнцем», и поэтому мы добровольно обрекали себя на лишения, мы создавали спартанские группы, спали на голой земле, неделями не ели пирожных, подкладывали камни в башмаки, чтобы умиловить этими жертвами богиню будущего, которой мы так боялись. То, что родители заняли свое место в мире, увеличивало наше восхищение ими, но и вселяло страх, а хватит ли у нас сил на все это — платить за квартиру, покупать хлеб и башмаки? Ответ на этот вопрос мы все откладывали. Заметив наше отчаяние, взрослые отводили нас в сторону и пытались утешить относительно будущего: нам, мол, легче будет, чем им. Они забывали при этом, что у детей своя логика: слово «будущее» было для них жупелом,

отнимавшим всякую прелесть у настоящего: разве теперешнее прошлое, это размягченное, ни на что не способное настоящее не было в свое время будущим наших родителей? Что же они с ним сделали! Это они вырыли такую пропасть; время перестало быть постоянной измеримой величиной, его можно было лишь установить по календарю и часам. В застенках детской фантазии часы растягивались до размеров вечности, недели съезживались в минуты, годы простирались горными массивами, которые нам суждено было преодолеть, а позади лежали тысячелетия, сплошь неудавшееся будущее. Откуда бралась у взрослых эта дурацкая уверенность, что именно наше будущее окажется лучше? Мы чувствовали, что это не так, только мы не находили слов, чтобы выразить это чувство, и потому воздерживались от комментариев по поводу такого оптимизма взрослых. Мы вовсе не были уверены, что для нас отыщется место в этом будущем. Пусть другие, пусть иные наши сверстники говорят: «Через пять лет я окончу школу и стану столяром; в восемнадцать сдам экзамен по профессии». Чужаки, они были для нас еще более чужими, чем взрослые, потому что, хотя и причисляли себя к нам, но распоряжались часами и календарем с их легкостью, нарезая свое будущее на куски, точно торт. Они были уже молодыми людьми, а мы — еще детьми; ребенок — это не молодой человек, таковым становишься только когда в кармане начинают весело брэнчать деньги, когда уже точно знаешь, что за них можно получить; для ребенка же блестящий пфенниг ценнее захватанной бумажки в пятьдесят марок; вполне естественно, что детям ничего не стоит сжечь банкноты как никому не нужные клочки бумаги, зато они сберегут медный обойный гвоздик, найденный в водостоке, как настоящую драгоценность. Дети лишены сентиментальности. Медный гвоздик и впрямь *ценнее* клочка бумаги. Мы с вами забыли об этом и уже начинаем с той же торжественностью преподносить нашим детям все те же небылицы: в какой строгости нас воспитывали, сколь суровой была наша юность, каким безликим, беспринципным стало нынешнее настоящее; боже мой, да разве мы ходили в кино, разве ели сладости? Что мы только не пережили: и террор, и войну, и лишения, и плен, и все равно, несмотря на эти тяготы, мы заняли свое место в мире. Разве мы не истинные герои?

Стать взрослым означает: забыть то отчаяние, кото-

рое часто испытывают дети. Неужели мы отличаемся от других поколений родителей только тем, что у нас язык не поворачивается заговорить о некоем лучшем будущем? Хотя через несколько лет мы наверняка будем способны на такую ложь. Оптимизм—явление возрастное, воспоминания же—это искусство, которое подвластно лишь немногим; мы не лжем в наших рассказах, мы просто умалчиваем кое о чем: о том, что где-то, быть может, совсем рядом с нами, жили еще и бабушка с дедушкой, они могли многое рассказать, больше, чем любое кино, и не просто рассказать; они сами были очевидцами этого: дедушка видел короля, да, да, *видел* собственными глазами, на которые указывал пальцем, когда говорил об этом. Он прекрасно изображал, как надо чинить стол, доить корову, он даже умел подражать звуку, который издает струя молока, ударяясь о стенку ведра; в девять лет его отец уже разрешал ему бить в колокол на церковной колокольне и помогал давить на мехи органа на хорах. Бабушка пекла пироги на большом жестяном листе; дед часто дарил нам монетки, и оба многозначительно улыбались, когда их упрекали в том, что они нас балуют. Бабушка с дедушкой помнили о своих родителях и о родителях своих родителей; а мы сидели в полутьме, освещенные мерцающим пламенем очага, и хотя в их рассказах много говорилось о смерти, болезнях и о войне, та вера в будущее, которую пытались привить нам родители с помощью разных пустых фраз, вроде «все будет гораздо лучше» или «все будет иначе», становилась здесь, в комнате бабушки и дедушки, как бы осязаемой: оказывается, люди тогда ели хлеб, собирали яблоки, доили коров, звонили в колокола. Родителей нам было жаль, потому что они так старательно, почти отчаянно боролись за наше счастье; жалеть же дедушку с бабушкой не было необходимости—даже их болезни казались нам проявлением здоровья: то была старость, и слово это звучало приятно. Когда мы теперь рассказываем о нашем безрадостном детстве, о нашей трудной юности, мы умалчиваем уже о большем, о том, например, что ручей тогда был еще ручьем, а не подобием канавы, воду в которой следует проверить, прежде чем позволить детям играть возле нее; хлеб, который мы тогда ели, продается теперь лишь в нескольких специальных магазинах, для избранных, для тех, у кого есть время, чтобы съездить за ним, и достаточно денег, чтобы заплатить за него; это—«натуральный хлеб», который станет скоро

дороже омаров. Натурального вообще почти ничего не осталось: оно перешло в разряд достопримечательностей: деревья и те пришлось взять под охрану государства, а старость считается теперь чуть ли не пороком; хотя «продолжительность жизни» и увеличивается, стариков становится все меньше. То, что родители нервничают и в отчаянии поглядывают на часы и календарь, связано с двойственностью их существования: однажды «заняв свое место в мире», они вынуждены это место постоянно защищать, и они вовсе не уверены, что знают, как им надо будет повести себя в следующий момент; нормальному ребенку обычно всегда жалко своих родителей — те часто вынуждены вносить поправки в свои воспоминания; иногда, например, им вдруг приходит на память, что у них в доме был чулан, где хранился всякий хлам: шкафы с обломанными ножками, разбитые зеркала, штабеля коробок со шляпами, изъеденные молью платья, старая скрипка, журналы; там стояли детские коляски, какие-то ящики и баулы. Теперь таких чуланов не бывает, в наших квартирах для них нет свободного места.

Школы становятся все просторнее, учителя все образованнее, а вот дедушки и бабушки — хотя вроде стариков должно бы становиться все больше — вымирают. Не удивительно, что дети все чаще ходят в кино и собираются по темным углам, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. Кто не слышал громких вздохов облегчения, когда детский сеанс наконец заканчивался и в кинозале зажигался свет? Взрослых возмущает и удивляет, когда дети принимают за чистую монету то, что им показывают с экрана. Дети находятся как бы постоянно в бегах: они скрываются от часов и календарей, но пугь у этих бедных беглецов только один, и ведет он все в то же неизведанное будущее. Из истории им понятны лишь отдельные детали: шляпа Наполеона, треуголка (хотя носил ли он ее на самом деле?), это конкретно и ясно. Ну, а то, что тот совершил, хорошо было или плохо? И ответ на этот вопрос должен быть свободен от каких бы то ни было сентиментальных дополнительных рассуждений: все, что не укладывается в рамки простого «да» или «нет», кажется им подозрительным. В кино тоже показывают добро или зло либо, в редких случаях, что-то промежуточное, но на пути к исправлению. Все остальное представляется скучным и подозрительным.

Мы, взрослые, очутились в отчаянном положении; мы же хотим, чтобы все было только прекрасным; ведь темные школы—ужасны, необразованные учителя—кошмарны, чуланы—негигиеничны; да и почему бы нам не прилагать все усилия, чтобы помочь детям занять свое место в жизни? Тут и психология, и психотерапия, медикаменты и санатории, веселые детские сады и красивая мебель: грех экономить, когда речь идет о благе детей. Но, быть может, именно поэтому мы больше всего и докучаем детям и достигаем лишь того, что свое место в жизни они занимают слишком рано, выращиваем этаких маленьких чудовищ, которые уже в четыре года считают, что Ганс-Счастливчик был попросту не в своем уме, когда променял слиток золота на точильный камень?

Бабушки обижаются, когда их так называют, дедушки обирючиваются в домах для престарелых и в мебелированных комнатах, они ищут себе побочных занятий, потому что их основное занятие—быть дедом—больше никому не нужно; у нас светлые квартиры, просторные школы, есть даже стеклянные палаты для новорожденных, но вот дедушек с бабушками, старинного полумрака больше нет, а старье, когда-то заполнявшее чуланы, видимо, передано теперь в ведение городского транспортного парка. Даже в церквях у нас больше нет таинственного полумрака; единственные места, где он сохраняется, это кино-театры.

Во все времена и во всех культурах взрослые мучили детей, навязывая им свои взгляды на жизнь. Свои проповеди они завершали грозным предостережением: ведь ты уже не ребенок! Тем самым ребенка не столько отпускали наконец на свободу, сколько приговаривали пожизненно: ты больше не ребенок, а сын, дочь, лицо ответственное, подчиненное закону времени, обязанное достичь некоей определенной цели, а именно: занять свое место в мире. Но и когда кончается детство, ребенок не становится молодым человеком: тогда он как раз и становится по-настоящему ребенком, ибо он познает новые ужасы, другие радости. Мы, взрослые, стоим на своих позициях с невероятной самоуверенностью: мы заняли свое место в мире—или, еще хуже: мы сделали свою жизнь, мы достигли точки покоя, мы знаем свои возможности. То доверие, которое дарят нам дети, можно разрушить одним неверно понятым взгля-

дом; мы и не подозреваем, как велик кредит, предоставляемый нам детьми, и как быстро он может быть исчерпан.

1957

РОЗА И ДИНАМИТ

Мысль о том, что якобы существует такое понятие, как «христианский роман», трогательна, но, к сожалению, лишена оснований. По укоренившейся традиции христиане ожидают от романа, написанного христианином, литературного подтверждения догматов веры, доказательств той истины, что порядок является залогом счастья. Они напоминают мне тех здоровых людей, что то и дело бегают к врачу. Как сердце — не пошаливает ли? А кровь — надежно ли она циркулирует? Да и пищеварение — в порядке ли? «Да, да», — отвечает врач, скрывая свое раздражение, — ведь это, в конце концов, его хлеб насущный, и с частными пациентами надо обращаться бережно. «Да, да, — говорит он, — все в полном порядке», — и здоровый человек, успокоившись, отправляется восвояси: впереди у него целый день, который можно прожить, не заботясь о здоровье. Или, быть может, врач что-то скрывает? Да, он скрывает что-то — смерть, приход которой режиссуре врача не подвластен.

Странное заблуждение: христиане ожидают от *своей* литературы то, чему в категорической форме учат их детей на уроках Закона Божьего — «Не убий! Не желай жены ближнего своего! Не...» — словом, учат тем правилам, какие можно найти в Священном Писании. К литературе, создаваемой христианами, следует подходить с теми же мерками, что и к литературе вообще; нет христианского стиля, и христианских романов тоже нет; есть только христиане-писатели, и чем больше такой художник заботится о стиле и форме выражения своих мыслей, тем более христианским становится его произведение. Язык — это дар Божий, один из самых великих, ибо в своем откровении Бог всегда пользовался языком; для того, кто пишет, язык — это возлюбленная, у которой всегда наготове бесчисленные дары; язык — это дождь и солнце, роза и динамит, оружие и брат, и в каждом слове, пусть невидимо, неслышно, всегда

присутствует это что-то — смерть, ибо все, что написано, направлено против смерти.

Писательство — опасное ремесло, потому что возлюбленная противится легализации своей связи: она не желает выходить замуж, превращать любовь в обязанность, а кое-что отпугивает ее больше всего — это когда партнер втискивает ее в корсет своих мыслей; она мстит тем, что приносит ему деревянных детей — христианскую литературу (или такую, которой подошла бы униформа социалистического реализма). Бывали счастливые исключения, когда кто-то был одновременно и гением, и святым, например, святой Франциск Ассизский со своими гимнами солнцу или Сан-Хуан де ла Крус со стихами и поэмами; это литература, созданная христианами, но она же и христианская литература, однако ни святость, ни гениальность анализу не поддаются.

Если бы писатели-христиане признавали за расхожим понятием христианской литературы значение некоего критерия, они уподобились бы врачам, которые со своими частными пациентами обращаются куда как бережнее, чем с теми, что пользуются услугами больницы.

Христианская литература — это понятие рыночное, но рынок, о котором мы ведем речь, велик; пишут ни для, ни против него. Тот, кто пишет, подчиняется законам, выходящим за пределы его религии.

У литературы своего богословия нет. А если бы таковое было, оно приводило бы порою к ошеломляющим выводам: кое-кого из нехристиан ему пришлось бы возвести в ранг «провозвестников», а иного христианина — предать анафеме, потому что, потакая рыночным вкусам, он нарушил законы искусства, а значит, и порядок нарушил.

Много мистической литературы остается пока что под спудом, ибо она и то, и другое — и роза, и динамит, благоухающая взрывчатка, изъятая из архивов, охраняемых ангелами, но также и злыми духами; тайна еще не раскрыта.

1960

ЧТО ЗНАЧИТ «КЁЛЬНСКОЕ»?

Вероятно, перед взором того, кто живет не в Кёльне, а в каком-то другом месте, при слове «кёльнское» возникает картина, в которой нечто смутное, благочестивое и буржуазное причудливо переплелось с Кёльнским собором, карнавалом, Рейном, вином и девушками. По очень разным, даже прямо противоположным поводам устремляются в этот город по субботам и воскресеньям толпы людей из окрестностей. Кёльн все еще притягивает к себе паломников, но истинные цели этого паломничества не всегда ясны и порою лишь кажутся противоположными. Кто же возьмется построить такой поворотный треугольник, который позволит локомотивам благочестия, разума и природы избежать столкновения и беспрепятственно разъехаться в трех разных направлениях? На некоторых полотнах Макса Эрнста в центре мы видим ухо; рот же обладателя этого уха парит в отдалении—где-то в углу картины. Макс Эрнст, с пеленок проникшийся атмосферой города Кёльна, хорошо ее чувствовал и описывал; таинство наделило его волшебной силой. В прохладных стенах собора вершит свое дело духовник; ухо слушает, но не слышит; уста, отделенные от этого уха пространством, могут снять с души грех, какой отпустит не всякий священник. В кёльнском присловье: «Пусть сходит в собор да исповедуется» отражено то смешанное со страхом благоговение, какое в тюрьме случайные преступники, ворышки, мошенники испытывают перед бандитом крупного масштаба. В детстве я любил наблюдать за помощниками моего отца, когда они, склонясь над эскизами исповедален, прилаживали доски и составляли из отдельных деталей все строение; свою работу они сопровождали грубыми, едкими комментариями, на какие способны лишь бывшие католики; это были комментарии коммунистов, безбожников всех мастей, и все-таки в присутствии ребенка никто из них не позволил бы себе зайти слишком далеко, перейдя некую незримую границу; и в карнавале, именно там, где он питается соками вульгарности, эта граница остается незыблемой, и переступают ее лишь там, где с карнавалом путают столь чуждый для Кёльна маскарад: карнавал вульгарен, все величие и весь ужас вульгарности проявляются в нем, но он ни в коем случае не фриволен; маскарад—изобретение богемы, карнавал же—это порожденное на-

родом бесклассовое явление; ему, подобно заразной болезни, классовые различия неведомы. В жизни городов маскарады не занимают особого места, можно и не замечать их, не заметить же кёльнский карнавал не удастся никому, разве что если удалишься из зоны заражения. Карнавал немыслим без вездесущего уха, увековеченного Максом Эрнстом; если бы мне довелось предлагать новый вариант герба города Кёльна, ухо стало бы обязательным компонентом сложной символики, показывающей, что значит «кёльнское», а рот я поместил бы где-нибудь в другом углу герба.

Собору в моем гербе места не нашлось бы; то, что бомбы явно щадили его, тогда как великолепные романские церкви такой пощады не удостоились, породило превратное сентиментальное представление о сущности «кёльнского»: в соборе «кёльнского» гораздо меньше, чем в иных церквях; в этом городе он даже как епископская церковь не получил полного признания. Веками длился спор между Кёльном и его епископами; шли бои, плелись интриги, Рим склоняли к провозглашению анафемы, город лишали святых и священнослужителей, и чаще всего велась борьба за деньги, за владения и за привилегии. Большинство кёльнских епископов были скорее князьями, чем епископами, а князь — это почти всегда то же, что должник. Лишь с тех пор, как епископы перестали быть князьями, между ними и городом установился мир; миру этому всего полтора года лет, и относиться к нему без некоторой иронии нельзя; всем хорошо известно: из всего, что может вызвать раздоры, ничто так не ощутимо, как добротные кёльнские талеры. Лишь полтора года лет минуло с тех пор, как епископ вновь поселился в городе; с этого времени во всех его пастырских посланиях и проповедях слышатся примирительные, чуть ли не заискивающие нотки, и это в городе, где не более двадцати процентов католиков блюдут свои церковные обязанности; епископ только недавно оказался в городских стенах, и церковь его, собор, расположена очень неблагоприятно — на небольшой возвышенности, в окружении огромных отелей, неподалеку от вокзала, на самом продуваемом месте города, которое, вероятно, уже римские часовые возненавидели из-за проклятых ветров. Нет, собор не вошел бы в тот воображаемый герб, там ему не нашлось бы места. Церковь Св. Герона, храм мученика, храм мятежника — фиванец, восставший против Рима, дал этой церкви свое имя, — для такой роли

подходит, а главный признак ее архитектуры называется как-то по-домашнему: десятиугольник. Итак, в воображаемый герб войдут небольшое ухо, крохотный рот и церковь Св. Герона; добавим еще половину епископского посоха и — на правах последней церковной и религиозной эмблемы — изображение мадонны. Каменная мадонна, найденная неповрежденной в руинах, и ее сестра на картине Стефана Лохнера, которые глядят на нас с бесчисленных плакатов и книжных репродукций, все еще сохраняют свою силу и типичность. Снова и снова их порождают снизу *vulgus*¹ со своей вековой знатностью особого рода, или сверху — знать городская; они сидят в вагоне трамвая или за рулем спортивного автомобиля, продают губную помаду в магазинах Вулворта, внимают лекциям об экзистенциализме; их не так уж много, но они существуют, эти чисто кельнские женские лица, одно каменное, чуть насмешливое и все-таки: несомненная мадонна, другое — кроткое, приветливое и тоже: несомненная мадонна.

Ухо, рот, Герон и мадонна — этих церковных и религиозных эмблем было бы достаточно. Нужны еще и светские: здание страхового ведомства или банка. И конечно же, рядом две руки, одна из которых моет другую; пусть царят повсюду компромиссная сделка, *gentleman's agreement*², сговор перед голосованием, коррупция, взяточничество, но ведь все это вовсе не темные махинации, а всего лишь кельнский вариант формулы: «Будьте друг к другу добры!» Если кто-то по-доброму просит у тебя хлеба, а ты не можешь его дать или обладаешь властью, дающей тебе право отказать этому человеку в хлебе, подай ему три ломтя; если он бросит их тебе под ноги, настаивая на всей буханке хлеба, то, значит, он не добр и нет в нем ничего кельнского; многовековая обывательская мудрость подсказывала тебе, что три ломтя хлеба, наверно, одарят его неожиданной радостью. Надо еще, чтоб над руками, одна из которых другую моет, парил Говорун-Хохотун, чисто кельнский персонаж, чья рука то дает себя мыть, то сама моет. Он не принимает всерьез ничего, даже то, что заслуживает серьезного отношения; все что угодно — мужской хор и эмансипация женщин, школьная реформа и депортация — все превращается для него в разно-

¹ Народ (*лат.*).

² Джентльменское соглашение (*англ.*).

видность карнавального развлечения и служит поводом для того, чтобы рассказывать анекдоты да требовать повсюду доброты; хотя ему известна истина: не бойся плиту дровами кормить,—в тарелке-то суп сумеет остыть, он кладет поменьше дров, чтоб наверняка супом губ не обжечь; можно, чтобы в гербе у парящего между обеих рук Говоруна-Хохотуна лицо было вульгарное, а платье как у патриция, глаза подмигивающие, как у Шэля, а нос сизый, как у Тюннеса, и чтобы руки у него были изящные, а ноги нескладные или же наоборот; он страшится духовного, и страх этот даже заставляет его порою забыть свое исконное свойство—юмор; когда у него появляется серьезное настроение, становится как-то не по себе: он, значит, почуял духовное, своего заклятого врага, и боится, что теперь уже не избежать чего-то недоброго, а когда нет добра, то Кёльн уже больше не Кёльн, и куда же тогда податься нашему простачку? От родных мест его, беднягу, не оторвешь.

Но мы перечислили еще далеко не все составные части, которые превращают слово «кёльнское» в полноценное имя прилагательное, претендующее на все грани смысла этого понятия. Сюда, конечно, относятся и Рейн, и фабрики, и предместья, и римские стены. Хотя тюрьмы имеются во всех городах,—а в иных есть даже Рейн, а также римские стены, мосты и предместья,—городскую тюрьму Клингельпютц можно считать чем-то типичным для Кёльна; это безобразное, но какое-то «свойское» здание всегда переполнено и давно уже не считается *up to date*¹, и все же проект нового здания наполняет грустью сердца нынешних, бывших и потенциальных обитателей этого заведения; то, что специалисты именуют преступностью, которая в такой мере присуща лишь портовым городам, по доселе не выясненным причинам весьма распространена в Кёльне. Поэтому, употребляя ходкое выражение: «Сидит в Пютце», люди здесь имеют в виду обычно не столько печальное событие, сколько просто несчастный случай, а число жителей Кёльна, знающих «Пютц» изнутри, столь велико (остерегусь приводить здесь цифры), что для них это заведение и впрямь стало «свойским». Интересно, сколько ли горожан знает изнутри собор, сколько их познакомилось с Клингельпютцем? Постараюсь остаться добрым. Ясно одно: самый многочисленный приход во

¹ Современным (*англ.*).

всем архиепископстве — у тюремного священника. И вот сидят они, те, кто не владеет сложным инструментом темных махинаций и чья неспособность быть добрым засвидетельствована документально.

Не мешало бы, вероятно, дополнить мой воображаемый герб города еще одной деталью — решеточкой, которая может быть истолкована по-разному: как ограда парка, как заграждение на набережной Рейна, как тюремная решетка.

1960

У НАС В СТРАНЕ

Отправляясь около полуночи на Центральный вокзал, мы оба подавленно молчали; разговора не получилось; гость рассчитывал на мои точные наблюдения касательно жизни в Федеративной Республике, я же оказался не в состоянии точно определить столь неоднозначную страну. Изыскать стройную формулу для такой неоднородной структуры, как Федеративная Республика Германии, этого не сумел бы, пожалуй, и сам Эйнштейн. На вопрос гостя: «Чем отличаются нынешние жители ФРГ от своих соотечественников образца тридцать третьего года?» — я ответил: «Ничем, ясное дело», потом, правда, добавил: «Экономическое положение теперешних лучше, чем у тех тогда». Другой вопрос: «Остались ли у вас в стране люди нацистских убеждений?» Мой ответ: «Разумеется. Неужели вы верите, что одна-единственная дата, 8 мая 1945 года, способна мгновенно перекрыть всех?»

По дороге на вокзал, уже в такси, я добавил к ответу на часом раньше заданный вопрос — хотя никто меня об этом не просил — следующее: «У нас в стране вы не услышите, чтобы кто-то сказал «Германию победили», вы услышите только одно — «катастрофа». Слова «после катастрофы» обозначают период с мая сорок пятого до денежной реформы, порой, вспоминая, говорят: «Это было до денежной реформы». Время с двадцатого июня сорок восьмого года вплоть до наших дней обозначают как «после денежной реформы», в просторечии — «до и после новых денег», причем в это самое «до новых денег» безошибочный инстинкт включает и само военное время, когда деньги как раз текли рекой. Нынче у нас

двенадцатый год «после новых денег». До «катастрофы» у нас были нацистские времена, которые, в свою очередь, распадаются на шесть лет мира и шесть лет войны. Вы наверняка знаете еще с уроков истории, что все на свете *распадается* на периоды, на период правления Икса и период правления Игрека, на период войны и период мира. А до нацистских времен была Веймарская республика, которая, в свою очередь, распадается на периоды правления различных президентов; до Веймарской же республики — впрочем, это заведет нас слишком далеко. Когда я вспоминаю, что родился в 1917 году и, стало быть, в младенчестве был еще кайзерским подданным, сие кажется мне даже более невероятным, чем если бы мой отец вдруг абсолютно серьезно принялся повествовать о своем участии в Третьей Пунической войне, — *немыслимо...*»

Гость ничего не ответил; шофер такси тоже молчал, он пребывал в скверном расположении духа: три часа дожидаться на стоянке, а в итоге поездка всего на пять марок; перед ним уже замаячила перспектива следующего трехчасового ожидания, а это испортит настроение кому угодно. У нас в стране к услугам такси прибегают не очень охотно, столь же неохотно пользуются у нас телефоном и чековыми книжками; эти несомненно полезные вещи все еще отдают для нас каким-то расточительством; у нас в стране люди с готовностью отправятся на развеселую пирушку вскладчину, но под конец станут тревожно прислушиваться, не прошел ли последний трамвай, и тогда совсем не дешево доставшееся приподнятое настроение растворится в зябком ожидании на трамвайной остановке, а ведь разница в оплате такси и цене трамвайных билетов в ночное время составляет разве что стоимость скромной бутылки вина. Человек, раскошеливающийся у нас в стране на чековую книжку, вполне может считаться преуспевающим, между тем стоимость чековой книжки всего семьдесят пять пфеннигов, зато те пятьдесят чеков, которые она содержит, сослужат вам весьма недурную службу в увлекательнейшей игре для начинающих, каковую должен освоить каждый желающий пользоваться кредитом. Сей вид спорта называется: «Не давай деньгам лежать мертвым грузом». Если двум тысячам марок не дать лежать мертвым грузом пятьдесят раз, выйдет уже сто тысяч, то есть весьма внушительный оборотный капитал. Оборотный же капитал — самое большое богатство, он откроет

вам новый кредит, еще больший, предположим, шесть тысяч, эти шесть тысяч, перешедшие из мертвого груза в оборотный капитал, скажем, сто раз, доведут ваш общий оборот до шестисот тысяч. Нужно только знать, как именно следует не давать деньгам лежать мертвым грузом: отсюда — туда, оттуда — сюда; главное — следить, чтобы этот мыльный пузырь не лопнул. Не удивительно поэтому, что в стране, где по сей день живуче великосветское отвращение к математике и точному счету, люди, занимающиеся подобным видом спорта, имеют определенные шансы на успех. Адам Ризе, прямо скажем, напрасно прожил свою жизнь; прекрасный устный счет нынче вызывает скорее подозрение, представьте, что будет, если всем вдруг напомнить, как великолепно считал Гете! Улицы этой сентябрьской ночью были пусты, нам попало лишь несколько машин городского дорожного управления; тихо крутились валки мусоросборников, нежно гудели моторы автомобилей, поливающих улицу. Водитель с благодарностью взял сигарету, предложенную моим спутником; уверен, что сам он в жизни не осмелился бы угостить пассажира сигаретой (не исключено, что на сей счет существует даже некое предписание), и вовсе не из-за мелкого скарденничества, но потому, что в данный момент пассажир воплощает в себе нечто, у нас в стране обожествляемое и презираемое одновременно, — клиента. Выражаясь точным экономическим языком — потребителя. Мы — нация потребителей. Галстуки и конформизм, сорочки и нонконформизм — все имеет у нас своего потребителя, необходимо лишь, чтобы и сорочка, и конформизм были настоящим фирменным изделием. Потребителю наверняка не достанет ни инстинкта, ни опыта, чтоб безошибочно определить качество товара, посему он требует качества, подтвержденного соответствующей фирменной маркой, а такое качество стоит недешево. Если некто решит попытать удачи в роли торговца фруктами, он должен знать, что самым ходким товаром окажутся наиболее дорогие яблоки, а приди ему в голову пошутить, поменяв таблички с ценой в сорок и восемьдесят пфеннигов, не исключено, что он намного удачнее продаст дорогие яблоки худшего качества, нежели хорошие и дешевые. Какая молодая хозяйка станет в наши дни брать яблоко в руку, пробовать его на ощупь? Возможно, и это мое наблюдение лишь подтверждает существующее на сей счет общее предписание.

Я с нетерпением ждал момента, когда такси свернет на улицу, ведущую прямо к вокзалу. Здания здесь словно излучают особое достоинство и благородство, прекрасный гранит обработан в духе времен нацистских партийных съездов, когда господствовал девиз — строить солидно и на века. Иметь в руках власть и «строить на века» — это по сути одно и то же, а кто у нас в стране строит и имеет власть, видно на этой улице особенно хорошо. Когда проезжаешь по этой улице в такси, водитель обычно предосторожности ради еще раз оценивает обувь, одежду и выражение лица пассажира, дабы удостовериться, что комментарий, который позволяет себе народ относительно всех этих роскошных зданий, прозвучит в данном случае уместно: «На наши денежки все это построено».

И наш водитель тоже в этой теплой сентябрьской ночи впервые нарушил собственное недовольное молчание; он высказался еще более определенно, нежели в таких случаях обычно высказываются другие: «Вот они, денежки, которые мой отец сорок лет подряд платил государственному страхованию».

Здесь нужно иметь в виду, как трудно вообще-то вывести из себя немца, особенно при виде подобных роскошных строений, да еще глубокой ночью; легкий желтоватый свет придает отливающим медью окнам и дверям налет солидной респектабельности, вполне оправдывающей расходы, что вызваны счетами за электричество. На фронтонах домов местный вольный дух прекрасно сочетается с религиозной символиккой; может, правильнее бы сказать «отдает ей надлежащую дань»? Вопрос в том, принимают ли святые «надлежащую дань»? Никто из них не глядится в качестве модели для скульптора-монументалиста столь удачно, как святой Христофор, переносящий улыбающегося младенца Иисуса через бурно клокочущие воды, к тому же он считается покровителем всех находящихся за рулем, а кто из едущих в собственном автомобиле не хотел бы заручиться подобным покровительством? Так деловые интересы сплетаются с религиозными, долг представительства — с меценатством, к тому же можно публично выразить собственное презрение к искусству абстрактному, или, как некогда говорили, вырожденческому. Одним ударом семерых! Вот это умение! Гость мой был поражен, завидев столь ярко освещенный в ночи квартал роскошных зданий. «Что это за сатрапы? — спросил

он.—Какой провинцией управляют они отсюда, в каком рейхе?»—«Вам, наверное, лучше,— ответил я,— в следующий ваш визит к нам в страну поинтересоваться у финансового эксперта, по каким таинственным законам сто обычных рейхсмарок в одних руках превращались в семь, в других — сразу в пять тысяч. Вас постараются убедить, что деньги — это весьма рациональная сфера. Люди, сомневающиеся в том, что пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек, не поверят и в то, что столь же чудодейственным способом возможно украсть хлеб у пяти тысяч человек. Нашим детям и впредь будут вбивать в голову, что $2 \times 2 = 4$, воспитывая в них прежде всего бережливость. Достойный всяческого уважения Адам Ризе, судя по всему, не много смыслил в чудесах. А может, немецкое чудо основывается на формуле $7 = \text{бесконечность}$?»

Водитель явно нервничал, он даже превысил скорость, чтобы быстрее подкатить к вокзалу, кажется, он старался избавиться от нас как можно скорее; до вокзала было уже рукой подать. Богатые пассажиры, при которых он воздержался бы от своего комментария, на вопрос о денежной реформе отвечают обычно, что в ГДР в результате обмена денег у дураков, не умеющих вертеться, осталось на руках еще меньше. У них всегда в запасе для нас множество подобных утешений. Если когда-нибудь меня, ни в чем не повинного, упекут на шесть лет в тюрьму, тут же полезет с утешениями сосед по камере, которого, тоже ни в чем не повинного, упекли на целых восемь лет.

Когда мы высадились у вокзала, водитель остолбенел при виде чаевых, врученных ему гостем: две марки на пять! И это от клиента, которого он счел вполне достойным своего комментария! Неужто наметанный глаз обманул его? Может, лучше было бы придержать язык за зубами? А вдруг мы коммунисты и приняли его за того же поля ягуду? Нужно быть начеку! Испуг его, к нашему разочарованию, мгновенно сменился подобострастием. Как бережно вынимал он сумку моего спутника из багажника! У нас в стране щедрость не умеют ценить точно так же, как бережливость. Наши представления о деньгах отягощены сентиментальностью. Что, впрочем, и не удивительно в стране, где бедность давно уже перестала быть прибежищем мистических учений, как, впрочем, и отправной точкой классовой борьбы. Даже в сознании так называемых интеллектуа-

лов такие понятия, как «бедность», «честность», «труд», до сих пор неразделимы, а из этого следует, что, поскольку рабочие нынче не бедны, бедности вообще не существует — да и сами рабочие уже не те бедные, но честные парни, каковыми они были когда-то. Те, кого обычно называют людьми социальных убеждений, у нас пока в меньшинстве, а что асоциальное поведение вполне возможно и в среде сатрапов — к такой мысли у нас вообще пока никто не пришел; человек, раскуривающий трубку стомарковой купюрой, вправе рассчитывать скорее на всеобщее восхищение, чем на презрение и ненависть. А что вместе со стомарковой купюрой он сжигает и частицу нашей свободы — такой вывод показался бы большинству абсурдным. Деньги не могут быть средством обретения свободы там, где бедности не гарантирована независимость. У нас в стране дающий чаевые в равной степени теряет свое достоинство, как и принимающий их.

Поезд, с которым должен был уехать мой гость, отходил через несколько минут; отдельные пассажиры уже дремали, другие убивали время с помощью вечерних газет и горячих сосисок. Мой гость вошел в вагон, отыскал свое место, опустил окно, теперь до отправления остались считанные минуты — слишком мало, чтоб возобновить наш незадавшийся разговор. Я попробовал представить себе, что чувствует он в этот момент; ведь он родился в этом городе, закончил здесь школу и в тридцать седьмом году эмигрировал, его родители задержались до тридцать девятого, за свою веру в немецкую добропорядочность они едва не заплатили жизнью; тремя годами позже — в сорок втором — жизнью платили уже за все: за горсть картошки, принесенной тайком еврею в его убежище, или — если ты польский военнопленный — за беглый поцелуй с арийской девушкой у калитки; и поцелую у калитки, и горсти картошки, и брошенному ненароком критическому замечанию в подвале во время воздушного налета — всему этому была одна цена: жизнь. Моя мать, не боявшаяся наряду со свойственной ей житейской мудростью и силой чувств демонстрировать неприкрытую ненависть к происходившему, позволила себе подобное замечание в сороковом году в присутствии некоего целеустремленного молодого человека, который вовсе не был тогда членом нацистской партии, не вступил он в нее и позже, просто преисполнен был непомерного тщеславия, реализовавшегося в карьер-

ере унтер-офицера. Жизнь матери висела тогда на волоске, она целиком зависела от решения местного группенляйтера, который не считал нужным пустить донос дальше; лучше всего понять, что такое немцы, можно было отнюдь не в тридцать третьем, но именно в победном угаре сорокового, когда маршальские жезлы сыпались кругом словно манна небесная. Целеустремленный молодой человек, повзрослев, но отнюдь не поумнев со временем, предстал в сорок шестом году на местных выборах одним из лидеров ХДС — он ведь никогда не был членом нацистской партии. Вполне возможно, что местный группенляйтер, спасший жизнь моей матери, пребывал в это время в лагере для нацистских преступников. Сколько доносов он пустил по инстанциям, а сколько положил под сукно — не знаю. Зато хорошо знаю одно: встречая давних знакомых, я тут же пытаюсь вспомнить, что они делали, что думали в сороковом году, в год наших «блистательных побед», когда одиночки, осмеливавшиеся ненавидеть, особенно остро ощущали собственное одиночество; мы убедили тогда матушку воздерживаться впредь от замечаний в бомбоубежище, свое отношение к происходящему она выражала с тех пор лишь взглядом, но ее большие темные глаза говорили даже больше, чем слова; целеустремленный молодой человек впадал в состояние, близкое к иступлению, наталкиваясь на взгляд этих глаз. Мне неизвестно, поплатился ли кто жизнью за один только взгляд; впрочем, в те времена такое было вполне возможно.

Всего три минуты до отхода поезда, и бессмысленно искать нужные слова, чтобы выразить свои мысли; на соседней платформе усталые бродяги дожидаются отхода местного поезда, следующего в какое-то захолустье. Быть может, именно с этой платформы отправляли в Польшу евреев, и в сорок втором году продолжавших верить в немецкую добропорядочность? И даже когда поезд отходил от платформы, они все еще не могли поверить в самое страшное. Да и кто бы смог поверить в такое? Беглый поцелуй у калитки, горсть картошки, критическое замечание в бомбоубежище, где *не было* явных нацистов. Только не надо копаться в психологии. Попробуем лучше понять язык вокзалов, почувствовать лирику рельсовых путей, послушаем пение ступеней, выводящих на платформы: вот это польские пленные, это русские рабы, евреи, солдаты, дети, отправляемые в не-

ведомое,— сколько же обреченных на смерть прошагало по этим ступеням. Люди, на исходе жаркого летнего дня в раздражении возвращающиеся с неудавшегося пикника, торопливо заглатывающие здесь противный теплый лимонад,— когда-то они провожали здесь сыновей и братьев, и прямо отсюда поезда увозили их в смерть. Как же удалось нынче убить их скорбь, развеять воспоминания? И как мало у нас в стране человеческих лиц, позволяющих предположить, что им ведомы скорбь и воспоминания. Скорбящему даровано будет утешение, но вот пребывающему в раздражении— никогда. Если б одна из матерей разрыдалась вдруг на платформе в голос, вспомнив, что именно отсюда увезли однажды на смерть сына,— ее, наверное, ободряюще потрепали бы по плечу, сочтя в глубине души излишне сентиментальной; ну как можно так распускаться— помнить то, что случилось шестнадцать, семнадцать лет назад. А если бы та же самая женщина без признаков душевного волнения спокойно наблюдала, как семеро пожарных стараются изо всех сил спасти кошку, провалившуюся в канализационный люк, ее сочли бы чудовищем. Научись реагировать на происходящее согласно шаблону расхожих сентиментальных клише, иначе тебя сочтут опасным; а воспоминание о смерти соседа не заслуживает нынче даже скорбного всплескивания рук. Все, что могло бы сегодня пробудить наши воспоминания, уничтожает психологическая наука изобретенным ею смертельным оружием, нынче оно доступно каждому— модное словечко «рессентимент», означающее в данном случае неосознанную, запоздалую обиду; словно нож, вгоняют его в грудь каждому осмеливающемуся демонстрировать подлинные чувства. Чтоб уберечься от смертоносного оружия, люди жаждут изгнать воспоминания и чувства, сей перманентный душевный аборт и делает лица такими пустыми; рыдают и кричат от ужаса теперь лишь в психиатрических клиниках. Отсутствие подлинных чувств, лицемерная сентиментальность— вот что отныне диктует законы рынку, он же в изобилии предоставляет объекты, к которым дозволяется испытывать сердечную привязанность, это идолы самых разных величин и соответственно цен— от Мекки до нового высотного дома. Сердце и совесть больше не в чести, цены на них падают, зато на товары бытового назначения растут. Чиновник, в тридцать шестом году вступивший в нацистскую партию, чтобы спасти семью от

нищеты, представляется мне теперь вполне достойным человеком; для него тогда ведь и в самом деле много было поставлено на карту, со всех сторон испытывал он угрозу собственному существованию, и не было ни одной общественной инстанции и ни одной церковной, которая помогла бы ему от этого чувства избавиться, подарила бы внутренний покой. Единственная же угроза, которая повергает немца в ужас *сегодня*,— это возможное сокращение сбыта. Как только угроза эта обретает реальность, воцаряется паника, на всех приборах загораются красные лампочки. У нас в изобилии умных, толковых, неплохо владеющих пером молодых людей, информированность и образование которых внушают скорее тревогу, а ведь их учили постигать внутреннюю связь вещей, и в причинах, вызвавших Третью Пуническую войну, они разбираются так же хорошо, как и в творчестве Фолкнера; я лишь то и дело спрашиваю себя, когда же начнется или по крайней мере могло бы начаться их внутреннее сопротивление, их бунт. Они не испытывают страха ни перед Аденауэром, ни перед Олленхауэром; уличенные в незначительных отступлениях от тех или иных этических норм, они тут же приводят в качестве аргумента некий обобщенный символ, много опаснее, чем любой человек в отдельности,— это Лизхен Миллер, «девушка из народа», миф, кажущийся мне порождением их нечистой совести. Лизхен Миллер и проблема сбыта увязаны самым тесным образом. Кто вредит сбыту, имеет реальный шанс спровоцировать моего соотечественника на что угодно. Раз увиденная смерть соседей и друзей не научила его ценить жизнь, боль не придала ему мудрости, скорбь не придала сил, он как-то подурячки беден, ибо перед лицом постоянной угрозы сокращения сбыта не способен даже в полной мере насладиться моментом относительного благополучия. Голодные годы «до новых денег» не наделили моих соотечественников мудрой способностью наслаждаться благословенным мгновением; даже из нищеты не извлекли они жизненной мудрости; тех, чья память простирается далее последнего десятилетия, объявляют душевнобольными, их необходимо погрузить в забвение, дабы затем с новыми силами пробудить для сегодняшнего дня. Горсть картошки, беглый поцелуй у калитки, критическое замечание в подвале, где *не было* явных нацистов,— такова была цена жизни, достойной человека. Быть может, причина подобного исчезновения памяти в та-

инстинктивной сути того неведомого закона, согласно которому жизнь наша *распадается* на время до и после «новых денег».

Вот что мне хотелось бы объяснить своему гостю, но нужных слов в разговоре я не нашел. Быстрое пожатие руки, короткое «адъё» — поезд тронулся. Я спустился по лестнице, отдал перронный билет и отправился домой. На столе, где стояли еще неубранные бутылки, свидетели нашего незадавшегося разговора, я обнаружил грифельную доску младшего сына с заданиями по арифметике: $7 + 5 = 12$, $9 + 6 = 15$. Чье сердце не тронет наивная вера, с какой решаются все эти примеры? Я крупно написал на свободном пространстве $7 = \text{бесконечность}$, убрал пустые бутылки и попытался сформулировать письменно, что не сумел высказать гостю в беседе. Пусть не всю таинственную формулу целиком, хотя бы отдельные ее компоненты, из которых никто пока не сумел сложить уравнение, которое полностью бы сошлось. Кто возьмет на себя смелость судить местного группенляйтера, который *не* предал мою мать, но наверняка предал многих других? Остается лишь верить, что целеустремленный молодой человек, который вправе был бы подать на меня в суд, обзови я его нацистом, будет хоть иногда вспоминать темные глаза моей матери.

Быть немцем — в парижском отеле это значит: тебя могут оскорбить просто потому, что ты немец; но вот, возвращаясь назад, ты оказываешься в купе рядом с молодым фашистом, он в восторге от последовательности, с какой у тебя в стране насаждался антисемитизм; быть немцем — это значит: ты лишен права вмешаться в разговор, который французы ведут между собой о войне в Алжире; не исключено, что право высказаться ты получишь лишь тогда, когда в Алжире уничтожат столько же людей, сколько в находившейся под немецким господством Европе в 1933—1945 годах. Кто выставляет эти таинственные счета нациям? Кто регулирует цену человеческой жизни? Быть может, хоть завтра мы сумеем разобраться в этом? Тайная биржа, диктующая свой зловещий курс, ведь кто-то приводит ее в движение? Оскорбление в парижском отеле может выпасть на долю именно того немца, что принес укрывающемуся еврею горсть картошки, а английский таможенник тонкими своими пальцами брезгливо, словно справку прокаженного, возьмет паспорт как раз того человека, что не послал дальше донос. Если б у нас в стране наметились

хотя бы первые подходы к постановке проблемы коллективной вины, начать следовало бы с того момента, когда вместе с появлением «новых денег» началась распродажа боли, скорби и воспоминаний.

Ужасно то, что существует достаточно поводов для справедливого гнева, который можно было бы обрушить на нашу страну и на отдельных ее жителей, но кому нужен этот гнев? Они ведь готовы заглотить все что угодно; можно увидеть в телевизионном репортаже, как, скажем, в дорожном происшествии погибает твой сосед; житель нашей страны на мгновение вздрогнет, возможно, даже произнесет: «Кажется, я его знаю» — и тут же уставится на экран в ожидании следующего сюжета. При очередной денежной реформе можно будет пересчитать деньги в отношении $100 = 0,1$ (состояние ловких дельцов, разумеется, в несколько ином отношении), все повздыхают, поругают немного правительство, а затем, засучив рукава, примутся вкалывать, вкалывать, вкалывать; таким способом еще можно устроить небольшое чудо, не опасаясь, что кто-то займется неизвестным в предложенном ему уравнении. Обратная сторона чуда с умножением пяти хлебов — воровство хлеба. Лица специалистов, пытающихся оправдать сие чудо гладкими, обтекаемыми фразами, мертвы, словно лунный диск.

Уже светало, когда я поднялся из-за стола. Невинные колонки цифр на грифельной доске сына утратили реальность; я стер свое уравнение $7 = \text{бесконечность}$; оно лишь принесло бы мальчишке неудовлетворительную оценку да дополнительное задание, чего он вовсе не заслужил; в школе пока еще непререкаемым авторитетом считается Адам Ризе, в школе исторические эпохи *распадаются* на отдельные периоды. Мой гость наверняка давно уже спал, его поезд несся где-то между Брюсселем и Остенде; и хотя у него британский паспорт, тонкие, слегка раздвинутые пальцы таможенника в Дувре, возможно, выразят все же некоторое презрение, ведь мой друг выглядит немцем больше, чем многие сегодняшние немцы; одежда, жесты, выговор — все выдает его, и давно уже по сути не являясь немцем, он тоже платит по счетам, которые все считают ныне утратившими силу и которые тем не менее столь актуальны, что только мы, немцы, в состоянии это понять.

1960

ПРИКАЗ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПРОЦЕССА ЭЙХМАНА

Завтра в Иерусалиме перед судом предстанет человек, виновный в гибели такого количества людей, какое превышает число жителей Гамбурга. Обезлюдивший Гамбург, обезлюдившие окрестности этого города — такое даже не представишь себе, и все же это так, и люди, за гибель которых несет ответственность Адольф Эйхман, жили такой же жизнью, что и жители Гамбурга и его окрестностей. Они ходили в школу, имели текущие счета, звонили по телефону, садились в трамвай, смотрели кинофильмы, ругались и молились, скучали, радовались часам отдыха, и среди них было столько же образованных и столько же необразованных людей, что и среди жителей Гамбурга, тех, кто каждое утро спрашивается о погоде, завтракает и идет — более или менее охотно — на работу. У них было какое-то, пусть даже и жалкое, место на этой земле, и были всякие люди среди них — и толковые, и бестолковые. Человек, несущий ответственность за гибель этих людей, ни единого из них собственноручно не убивал; он не убийца; у всякого убийцы есть какая-то побудительная причина: ревность, алчность, ненависть либо та темная, необъяснимая страсть к разрушению, в которой всегда коренится нечто болезненное; Адольф Эйхман не больной человек, он, быть может, даже не питал ненависти к своим жертвам, на счету у него не злые деяния, а просто деятельность: он готовил убийство и управлял им; именно заурядность этого человека заставляет нас задуматься над ужасной сущностью его деятельности. Никто не обратил бы внимания на него, если бы он был страховым агентом и в этой роли постучался бы к нам в дверь, или, став репортером какой-нибудь местной газеты, собирал бы сведения о пожарах и несчастных случаях, или же в качестве заведующего ателье химчистки со всей учтивостью вручал бы нам вычищенные брюки; он абсолютно нормален... и он немец. Это наша история, история Германии, привела его на пост, позволявший управлять смертью такого количества людей, какое превышает число жителей Гамбурга.

Рассуждая о наследии немецкой истории, мы с легкостью говорим о том, что оно «не преодолено и не дает нам покоя», и радуемся тому, что вот, мол, нашли

броские словесные формулы, но попробуем, прежде чем пользоваться ими, отказаться от отрицательной частицы «не» и посмотрим, какие неожиданные мысли вызывают слова: «преодоление» и «покой». Найдется ли хоть один единственный немец, который сможет, преодолев наследие прошлого, подыскать себе уютное местечко в нашей действительности и в ожидании лучшего будущего наслаждаться покоем, развалившись в мягком кресле? Такое преодоление без осознания ответственности было бы самообманом, как и поиски покоя в нашей немецкой действительности. Процесс Эйхмана не объяснит ничего такого, что без этого процесса не могло быть объяснено. Дело Эйхмана неясностей не вызывает; о личной вине этого человека выскажутся судьи в Иерусалиме. Ясно одно: не один Эйхман предстанет там перед судом; история, приведшая его на тот пост, основана не на случайностях, случайным в ней может считаться, пожалуй, лишь появление Эйхмана, чье место мог занять кто-то другой. Он действовал по приказу, и это слово не раз сойдет с его уст; он исполнял приказ, передавал его своим подчиненным; бесчисленное количество доносчиков и палачей делали для него грязную работу; к услугам Эйхмана было целое тайное государство, государство эсэсовцев, та зловещая паутина, которая являла собою лишь *один* пласт нечестивой державы, а пластов этих — неразрывно связанных, проникающих друг в друга — было великое множество; во всех церквах священники служили молебны о ниспослании победы, а тем временем их братьев по вере изо дня в день терзали в лагерях палачи; было очень много людей, старавшихся предотвратить то, что необходимо было предотвратить, но они не добились бы этого, если бы не проникли во все поры государства; было сопротивление, открытое и тайное, огромная армия, где в разных долях сливались это проникновение и сопротивление, и было также несметное число равнодушных, не желавших что-либо видеть, слышать, знать и лишь бездумно тащившихся от завтрака к обеду, от обеда к ужину сквозь ужасающие будни войны, которая частично предстанет перед судом в Иерусалиме вместе с Адольфом Эйхманом. Было бы проще всего считать, что процесс Эйхмана — это очередной взнос в счет погашаемой в рассрочку ответственности: столько-то за Олендорфа, столько-то за Хёсса или же Баха-Целевского, за которым числится *один* покойник, и так далее, пока не будет выплачен последний

взнос, но так просто с этим делом не обойтись: часть ответственности всегда будет оставаться невозмещенной, и ее переложат на плечи невиновных, на плечи наших детей, предъявив им счет за ответственность. Национал-социалистская чума страшна прежде всего тем, что к ней нельзя подходить как к эпизоду, навеки канувшему в прошлое: она заразила разум, воздух, который мы вдыхаем, заразила слова, которые мы произносим и пишем,—так все это отравила, что никакой трибунал не поможет от нее очиститься; в сфере действия этой чумы не нашлось места слову «ответственность», его заменили словом «приказ», которое как раз и предстанет перед судом в Иерусалиме. Но последней каплей, вызвавшей всеобщее презрение к национал-социалистам, было то, что после 1945 года ни одного из них на месте не оказалось: их пришлось выуживать из отдаленнейших уголков земли, отрывать от самых неожиданных профессий и отдавать под суд, дабы они могли отречься от всякой ответственности! Главными отличительными чертами всех пораженных этой чумой являются невероятная трусость и уход от всякой ответственности. Это в полном смысле слова непостижимо, и то, что не может постичь разум, не постигнет никакой комментарий прессы, никакая газетная «шапка». Делать из процесса Эйхмана сенсацию столь же безответственно, как и наживать на нем политический капитал, будь он со знаком плюс или минус. То, что этот процесс расскажет об Адольфе Эйхмане как личности, настолько ясно, что нескольких строк здесь будет вполне достаточно: анкетные данные, биография—и неоспоримый факт: виновность в гибели стольких людей, сколько жителей в Гамбурге. Но уже пишутся киносценарии, уже подготовлены съемки, уже заряжают пленкой камеры и проверяют надежность экспонометров; мир с жадностью ожидает того, что он и так знает почти двадцать лет. Эта жадность ничего не исцелит, ничего не разъяснит: не поддается ни исцелению, ни разъяснению слово, которое предстало перед судом в Иерусалиме, это слово—приказ. Все начинается с мелких приказов, которые могут вызывать смех и которые можно выполнять, посмеиваясь в душе: «налево!», «направо!», «кругом»; затем идут приказы более значительные: стрелять по картонной мишени; потом все больше и больше приказов—мелких и значительных,—дающих в сумме чудовищный приказ: убивать людей. Убивать можно различными способами, но об одном

следует помнить всегда: тем, кого убивают, на этой земле делать нечего, они враги, они отбросы, и ни о какой ответственности за их смерть говорить не приходится; за всем этим стоит страшное слово, освобождающее от ответственности: приказ.

В Иерусалиме будут часто произносить это слово, а заодно и другое, с ним неразрывно связанное: повинование. Надо бы устраивать очную ставку Адольфу Эйхману не только с теми, кто уцелел и кто был очевидцем, но и с теми, кто *не* выполнял приказы,— ведь находились и такие, и было их гораздо больше, чем мы думаем; в этой войне, которую судят вместе с Эйхманом, было так много невыполненных приказов: о расстрелах, о взрывах. Люди были спасены от смерти, города и мосты—от разрушения, потому что кто-то *не* выполнил приказ; нарушение приказа—это почетный деликт; в школьных хрестоматиях надо бы увековечить ее, эту многочисленную когорту тех, кто, нарушив приказ, умер, потому что не хотел убивать и разрушать, и тех, кто пытался устранить силы, приведшие Адольфа Эйхмана на тот пост, занимая который он мог выполнять приказы. Он повиновался в такое время, когда неповиновение было добродетелью. Несколько дней тому назад я услышал из уст одной писательницы слова:

«Терпение— вот униформа наших дней, а слабая звездочка надежды над сердцем—знак отличия. Ее вручают за уход от знамен, за храбрость, проявленную при спасении друга, за разглашение позорных тайн и за невыполнение любого приказа».

1961

ЗА РАБОЧИМ СТОЛОМ

БЕСЕДА С ХОРСТОМ БИНЕКОМ

Хорст Бинек. Господин Бёлль, в вашем рабочем кабинете на полках стоит довольно много книг, немало среди них и новинок. Но ваших собственных сочинений что-то не видно. Значит ли это, что вы, так сказать, поворачиваетесь спиной к своим законченным работам—по крайней мере, когда пишете что-то новое.

Генрих Бёлль. Не только когда пишу что-то новое. Я вообще редко заглядываю в прежние свои книги, разве

что для какого-нибудь переиздания вношу небольшие поправки, да и то это делает обычно моя жена.

Хорст Бинек. Вы написали много книг — романы, повести, рассказы, сатирические миниатюры. Какой из этих литературных жанров вам особенно дорог? Иными словами, в какой форме, на ваш взгляд, вы выражаете себя наиболее удачно?

Генрих Бёлль. Форма, которую я избираю, зависит от материала. Материал мне ее, так сказать, диктует, поэтому бывает и такой материал, для которого я никогда не найду форму. Возможно, потому, что я до сих пор не писал ни стихов, ни пьес, а надо бы уметь и это, тогда, возможно, я выразил бы то, что в привычных, знакомых формах выразить не могу. Но бывает и такой случай, вернее, случаи, когда то, что я хочу выразить, вполне подошло бы под знакомые мне формы, однако «ключика» для него я не нахожу. Это все — несостоявшиеся рассказы. Не бывает рассказа вообще. У каждого — свои собственные законы, и именно эта форма, рассказ, мне дороже других. Она, по-моему, в подлинном смысле этого слова современна — свежа, энергична, упруга. Она не терпит ни малейшей небрежности и остается для меня наиболее притягательной в прозе, поскольку меньше остальных поддается шаблону. И еще, наверно, потому, что меня очень занимает проблема времени в повествовании, а рассказ вмещает в себя все элементы времени: вечность, миг, столетия. Это ужасное, роковое недоразумение, когда редактор предлагает автору: «Знаете, напишите-ка нам рассказ. Вам же это пара пустяков». С тем же успехом он мог бы попросить: «Достаньте-ка мне поскорее вон ту звезду с неба». Иногда проходят годы, прежде чем я доведу рассказ «до ума», то есть прежде чем смогу его записать, ибо, когда я сажусь записывать, он, как правило, уже готов. Иной раз ищешь какое-нибудь одно слово, фразу, — для определенного настроения или персонажа.

Хорст Бинек. Фолкнер однажды не без иронии заметил: «Мечта всякого писателя — работать в лирике. Когда он видит, что лирика не выходит, он обращается ко второму по сложности литературному делу — к жанру рассказа. И лишь потерпев и тут неудачу, начинает писать романы». Ну, а у дилетантов, как, впрочем, отчасти и у издателей, совсем иные представления об иерархии сложностей. Коротенький рассказ ценится тут куда меньше большого романа. В случае с вами, госпо-

дин Бёлль, видимо, нельзя говорить об эволюции от малых повествовательных форм к большим, или все-таки можно?

Генрих Бёлль. Нет, полагаю, эта гипотеза — движение от малых форм к большим — ко мне не подходит. Когда я начинал, лет так в семнадцать—восемнадцать, я сперва писал романы и лишь много позже написал первый свой рассказ. Я написал романа четыре, а то и пять, если не все шесть, три из них потом во время войны здесь, в одной из кёльнских мансард, сгорели, остальные до сих пор где-то в подвале валяются. О писателе принято — и совершенно правильно принято — судить по опубликованным вещам. Но для него-то важно все, что он пишет. А публикуется из этого лишь часть — по крайней мере у меня. И вообще, по-моему, нельзя сказать: автор развивался от так называемых малых форм к большим. Тут заблуждение, не ухватывающее самой сути дела, его природы. Это различие не в рангах, а скорее в степени. Вопрос о развитии от малых форм к большим основан на неверной предпосылке, ибо малая форма попросту ничего общего с большой не имеет. Тут так же мало общего, как между бабочкой и бегемотом, — ну разве что оба живые создания.

Хорст Бинек. Когда у вас есть материал для большого произведения — ну, скажем конкретно, для романа — и вы приступаете к его осуществлению, делаете ли вы какие-то специальные предварительные разработки?

Генрих Бёлль. Нет. Во всяком случае, не письменные. У меня обычно бывает лишь несколько листочков с ключевыми словами, и за каждым таким словом кроется целая глава романа, которую я держу в уме. А записывать сажусь лишь тогда, когда готов приняться за роман в целом. Ошибочно полагать, будто каждый автор специально изучает описываемую им среду. На мой взгляд, он должен знать только первоосновы человеческой жизни, а их он, как мне представляется, должен бы усвоить самое позднее годам к двадцати, к двадцати одному году, еще в относительно невинном, наивном возрасте. Все, чему он учится потом, слишком отчетливо носит характер образования, а образование, в традиционном, буржуазном смысле этого слова, по-моему, каждому художнику только вредит либо выталкивает его на совершенно ненужные, окольные, пути-дороги. Можно прочесть три тысячи книг, допустим, о проблеме бедности, хороших книг, умных. Можно начать эту проблему

исследовать, скажем, поселившись среди так называемых бедных людей или среди богатых. Но от всего-этого проку мало, если ты прежде на себе не испытал, что бедность—это просто когда нет денег на карамель, молоко, сигареты, выпивку, когда нечем накормить детей, а богатство—это обычно скука и страстная тяга ко всему, как принято говорить, элементарному. Таким вещам—все они очень тесно переплетены друг с другом и в основе своей очень сложны, поскольку отчасти связаны и с религией,—невозможно научиться. Когда начинаешь им обучаться, они становятся не искусством, а искусственностью. Голод, смерть, любовь и ненависть, счастье и бедность, Бог и время. Научиться можно тому, что для автора гораздо важнее, чем «исследование жизни»,—можно научиться писать.

Хорст Бинек. А как протекает у вас непосредственно сам процесс работы, когда вы садитесь за стол и начинаете писать? Нужны ли вам какие-то особые стимуляторы—пьете ли вы во время работы чай или кофе, или сперва читаете книгу, а может, идете гулять?

Генрих Бёлль. Гуляю я очень много, конечно, когда есть время. Но непосредственно за работой, когда пишу, мне нужна только тихая комната, очень много сигарет, через каждые два часа кофейничек кофе или столько же чаю, большая бутылка минеральной воды и пишущая машинка.

Хорст Бинек. Попутный вопрос: есть у вас то, что другие писатели называют интуицией?

Генрих Бёлль. Ну, не знаю, мне трудно точно на это ответить. По-моему, интуиция приходит во время работы. Редко раньше.

Хорст Бинек. А когда начинаете писать, имеете ли вы четкое представление о фабуле и персонажах романа?

Генрих Бёлль. Это очень по-разному бывает. Есть работы, целиком основанные на абстрактной придумке, например, в сатирических вещах, которые я могу писать почти рассудочно, как только подыщу для материала, для придумки соответствующее место, точку опоры, от которой можно оттолкнуться. Другие же вещи возникают просто из языкового соблазна.

Хорст Бинек. А что управляет самим процессом писания? Ассоциации? Либо есть какие-то изначальные «клеточки» или какие-то еще элементы перед вашим мысленным взором?

Генрих Бёлль. Это тоже очень по-разному. Собствен-

но, писать для меня означает — преобразовать и слагать воедино. Пояснить это я могу разве что на примере, допустим, моего романа «Бильярд в половине десятого». Первая «клеточка» этого романа — вторая половина главы о бейсболе. И в основе этой клеточки — исторический факт. Если не ошибаюсь, в 1934 году по приказу Гёринга здесь, в Кёльне, были обезглавлены четверо молодых коммунистов. Самому молодому из них было семнадцать или только что восемнадцать исполнилось, то есть столько же, сколько и мне в ту пору, я тогда как раз начинал пробовать силы в писательстве. Задумано все было как рассказ, и начинал я это как рассказ, но почему-то почувствовал: будет роман. Потом тема преобразилась, причем неоднократно, после того как я в Генте увидел алтарь братьев Ван Эйков с образом Бога-агнца в центре. Какое-то время спустя я еще раз съездил посмотреть на этот алтарь. Это все, что я знаю. Остальное — очень сложный процесс, где, как всегда в писательстве, сознательное и бессознательное переплетено и перемешано в самых разных, постоянно меняющихся сочетаниях. А еще позже я об этих двух побудительных толчках, если их можно так назвать, забыл. Другие образы и мотивы то становились для меня важнее, то снова утрачивали важность. Это все меняется в горячке работы и с последующим необходимым охлаждением, причем меняется постоянно.

К тому же роман — это не только и не просто роман. Это тайник, где можно припрятать два-три важных слова в надежде, что читатель их отыщет. И для тайника роман, конечно, гораздо лучше приспособлен, чем рассказ, в нем просто больше места. В романе можно прятать и людей, и чувства, можно, наконец, укрыть в нем и целый город.

Хорст Бинек. Получается, что персонажи, ситуации и темы романа не приходят извне, а развиваются, так сказать, из самих себя? Но тогда не бывает ли так, что какой-нибудь персонаж начинает жить своей жизнью и движется в этой истории совсем иными путями, чем это автором, то есть вами, изначально задумано?

Генрих Бёлль. Да, конечно, сперва я как бы несую всю историю на своих плечах, пока не перегружу эту ношу на плечи действующих лиц. А что с этими действующими лицами произойдет, я заранее не знаю. Вернее, знаю только о тех, кто — до того как я начал писать —

заведомо и безвозвратно умерли еще до начала повествования.

Хорст Бинек. Когда вы начинаете записывать свой роман, что конкретно вы о нем знаете? Можно ли сказать, что вся концепция уже у вас в голове, или она мало-помалу развивается, подчиняясь персонажам, ассоциациям или определенным постоянно возвращающимся символам и мотивам?

Генрих Бёлль. Ну, я начинаю записывать роман, когда он, так сказать, грозит перелиться через край, убежать,—и тогда я просто бросаюсь к столу и пишу как одержимый. И пишу очень долго, не останавливаясь, не приходя в чувство. Это состояние крайнего раздражения, потому что надо, наконец, увидеть перед собой все целиком, и меня просто ужасает объем, количество. Это прекрасное время, но и очень утомительное. И только потом, когда вся совокупность романа в первом варианте готова, начинается настоящая работа, при которой я пользуюсь очень простым вспомогательным средством: цветным графиком с тремя, условно говоря, уровнями или пластами. Первый—реальный, его можно назвать современностью; второй—это область воспоминаний и размышлений, третий—это мотивы. Для каждого мотива у меня свой цвет, как и для персонажей, но персонажи ведь «задействованы» только в первом и втором пласте. Затрудняюсь объяснить почему, но просто вижу, что эти переплетения разноцветных линий—а первый такой график я нарисовал к первому же своему роману—становятся все сложнее. Собственно, это всего лишь подпорки для памяти и построения композиции, с помощью которых потом, когда первый вариант готов, можно определять структуру романа, править и вообще многое менять. Часто это сущие мелочи, которые уточняешь и подправляешь по этому контрольному рисунку, и если первая стадия работы протекает в горячке, почти бессознательно и очень азартно, то последующие, наоборот, требуют относительно холодной головы и проходят очень осознанно. Что касается так называемых мотивов, то, в сущности, это не что иное, как пунктуация. Знаки препинания—это ведь знаки времени, ритмические знаки.

Хорст Бинек. Меня в этой связи вот что интересует: начиная роман, знаете ли вы, что случится с персонажами в конце, кто умрет, а кто будет жить дальше?

Генрих Бёлль. Нет, не знаю, вернее, знаю только о тех, кто, как я уже сказал, умер до начала действия, а про живущих — нет.

Хорст Бинек. Господин Бёлль, предположим, внутренне вы закончили роман. Значит ли это, что он уже готов к печати, или вы еще пишете много вариантов, вносите правку, делаете несколько параллельных редакций, редакций, которые только варьируют текст, но не содержание книги?

Генрих Бёлль. Ну, мне почти никогда не удавалось, особенно в рассказах, обойтись меньше чем тремя редакциями. Некоторые рассказы имели по пять, по шесть вариантов, и лишь очень редкие — один. Точно так же и с главами романов. А еще — мне обязательно нужен критик. Мой первый критик — моя жена, которая совершенно неподкупна, второй — редактор издательства, иногда это два редактора, потом друзья. И всегда очень полезная проверка — читать написанное вслух. Надо, так сказать, пропустить это через губы, по многу раз. Тогда всякое рыхлое место, всякое глупое выражение чувствуешь, как укол иглы. Такая правка очень важна. Последний, примерно четвертый или пятый по счету, этап — издательская корректура, и вот он-то, по правде говоря, самый горький. В печатном слове есть какая-то мертвенная безысходность. Я, конечно, и тут стараюсь править, что только возможно, хотя, как, видимо, и всякого другого автора, ко времени корректуры меня охватывает почти полная апатия и мне меньше всего хочется этим заниматься. Но именно тут, как назло, в глаза лезут досаднейшие промахи, важные мелочи, многие из которых в свое время ты упустил, — к примеру, даты, номера домов и комнат. Обычно я, когда пишу, заношу все эти вещи отдельно в школьную тетрадку, записываю в порядке их появления, а потом по черновому оттиску правлю. И после этого, как говорится, выпускаю книгу из рук, прощаюсь с ней. Причем это не столько прощание с азартом вложенной в дело страсти, сколько прощание с формой. Материал-то может снова разгореться, потребовать нового воплощения, а вот эту конкретную форму уже не вернешь. Это вообще превратное представление, думаю, тоже из области образования, будто бы автор, закончив книгу, может теперь, что называется, «обратиться к новым темам». Не так уж много на свете тем: детство, память, любовь, голод, смерть, ненависть, грех и вина, справедливость, ну, и еще несколько.

Хорст Бинек. А ощущаете ли вы различия между отдельными романами по части формы и композиции? Некоторые критики как раз по поводу последнего вашего романа «Бильярд в половине десятого» заметили, что вы отошли от традиционных повествовательных форм и обратились к многослойной, или, скажем так, более сложной, повествовательной структуре. Я имею в виду прежде всего трактовку времени в романе.

Генрих Бёлль. Не вижу различий ни в структуре, ни в степени сложности, разве что в числе персонажей и в самом материале, который, разумеется, способен вызвать к жизни более сложные формы.

Хорст Бинек. Но все-таки есть разница в том, что в прежних ваших романах повествование развивалось последовательно на протяжении определенного отрезка времени, а в «Бильярде в половине десятого» все действие сжато в одном-единственном дне.

Генрих Бёлль. Не вижу тут особой разницы. В первом романе, сколько я помню, действие как таковое, весьма, кстати, скудное, тянется несколько месяцев. В двух следующих, однако, оно уже сжато до одного-двух дней, ну, а в последнем — до восьми — десяти часов. Но, по мне, все эти подсчеты слишком относительны в сравнении с временем как категорией, способной вместить в себя все: миг, вечность, столетия. В идеале, я бы так сказал, действие романа должно продолжаться минуту. Лишь с помощью такого вот заострения я могу, пожалуй, приблизительно дать понять, к чему стремлюсь в трактовке времени как категории.

Хорст Бинек. Но как раз в связи с этой проблемой, столь важной для современной литературы, многие критики усматривают параллели между «Бильярдом в половине десятого» и другими романами XX века. Господин Бёлль, питаете ли вы особую признательность к тем или иным авторам прошлого и настоящего?

Генрих Бёлль. Да, и к очень многим. Полагаю, каждый, кто пишет, испытывает на себе влияние всякой книги, которую только что с увлечением прочел или во время этих своих — не важно, первых или последних — опытов еще читает. А это значит — подверженность самым различным, порой диаметрально противоположным влияниям, от Карла Мая до Марселя Пруста. Помню только, что первой подаренной мне книгой был томик Хебеля и что я эти его истории и сказочки снова и снова читал; уверен, они не прошли для меня бес-

следно, как и многие другие книги — от Достоевского и Джека Лондона до Хемингуэя, от Камю до Фолкнера, Грина и Томаса Вулфа, а потом снова обратно — до Хебеля, Штифтера, Фонтане и Йозефа Рота.

Я ставлю себя на место молодого художника, впервые оказавшегося в Лувре или даже музее поскромней. Какая безнадежная затея — после всего увиденного пытаться обрести какой-то там собственный стиль! И тем не менее, как ни удивительно, это происходит. В послевоенной Германии, по-моему, было особенно трудно это сделать, потому что отсутствовала настоящая традиция, точнее говоря, было, собственно, три традиции: литература эмиграции, потом так называемые внутренние эмигранты и, наконец, третья — литература, которая устраивала цензоров, главным образом пресловутая литература «крови и почвы», да еще, если можно так выразиться, литература «несломленного боевого духа». Ни к одной из этих трех традиций, в наименьшей мере, разумеется, к последней, невозможно было толком пристать, и ни одна не была по-настоящему современна, чтобы против нее взбунтоваться. И тут в нашу жизнь ворвался почти необозримый поток зарубежной литературы, это было все равно что Лувр для того молодого живописца. Пошли возникать моды, детские болезни, неизбежные при всяком эксперименте. Я знаю, тут иногда возражают, дескать, власть и произвол цензуры при фашизме были не так уж страшны. Это верно. Несмотря на цензуру, многие книги были доступны. Их можно было найти в публичных библиотеках и частных собраниях. Но книга не тогда доступна, когда идешь за ней в библиотеку, заранее зная, что именно тебе нужно. Книга доступна, когда на нее есть отзывы критики, когда она повсюду продается и случайно может попасть в руки каждому. Впрочем, она доступна и тогда, когда ее передают из рук в руки, тайком, как это было в ту пору с многими произведениями. Но передают ее не всякому, а лишь тому, кого хорошо знают, и передают в большинстве случаев не просто так, молодому же автору как раз нужно, чтобы книга была именно просто так, была, и все.

Раз уж мы заговорили о традициях и долге признательности, надо бы сделать еще одну очень важную оговорку: нас — тут я вынужден ненадолго воспользоваться патетическим местоимением «мы», — нас было очень немного. Ведь это поколение, родившееся в первую

мировую войну, его либо безжалостно употребляли, либо — тех, кто не позволял себя употребить, — запикивали в тюрьму. Это излюбленный аргумент иных критиков, которые с плохо скрытыми хамскими интонациями обожают порассуждать о том, как, дескать, негусто посеяна литература нашего поколения. Аргумент при ближайшем рассмотрении попросту свиный. Прошу простить, я не хотел обидеть свиней. Но если вы взглянете в статистический справочник и поинтересуетесь, сколько осталось в живых из моего поколения, родившихся в том же году, что и я, и вообще в 1914—1922 годах, вы просто не подберете иных слов, чтобы охарактеризовать эту порослячью — я снова прошу прощения, теперь уже у поросят — глупость, особенно если учесть, что так высказываются именно критики того поколения, представители которого призывали нас тогда к послушанию, верности, долгу, к жертвам, к подвигу и попросту имеют на своей совести жизни многих наших ровесников. Тут уж глупость предстает поистине в апокалипсических масштабах. Да, нас было не много, и это не облегчало задачу. Стилль ведь обретается из соприкосновения с другими, от взаимного трения, а трения не было, как не было очень долго и так называемого отзвука.

Хорст Бинек. Господин Бёлль, но вслед за вашим, если так можно выразиться, средним поколением в литературе подросло поколение новое, молодое, оно тоже уже публикуется, печатается. Что вы можете сказать о своем отношении к молодой немецкой литературе, а заодно и к французскому «новому роману»?

Генрих Бёлль. Полагаю, молодым будет не легче, чем нам. Впрочем, одно может им пойти на пользу: их больше. Следовательно, больше трения, больше различий. Очень существенных различий, как я их вижу, допустим, между Грассом и Вальзером, между Энциенбергером и Рюмкорфом. Само обозначение «молодые», на мой взгляд, ошибочно, ибо вызывает неверные ассоциации, произвольно говорит о равенстве. На деле же литература плюралистична, как и всякое искусство. Если вы вспомните, что Кафка, Рот, Томас Манн, три совершенно разных писателя, были людьми одного примерно возраста, то станет ясно, что не бывает какой-то одной-единственной возможности. И это закономерно для любого поколения. У каждого свои пути и свои обходы, свои тупики, каждое извлекает свои уроки

и попадает в свои переделки. Сейчас все страшно боятся—и это, конечно, льстивые опасения,—как бы нынешних молодых не испортило радио и телевидение. Не дай бог, телевидение их испортит, кричат все в один голос и дружно ищут все новые и новые способы, один другого нелепее, как бы этому воспрепятствовать,—как будто истинная поэзия способна возникать лишь на захламленных чердаках, где раковина забита кофейной гущей, а судебный исполнитель в кровь ссадил кулаки, стучась в дверь. Глупости все это. На чердаках пишется ровно столько же дряни, сколько и в роскошных барочных замках. Поэзию порождают не условия, а лишь тот, кто ее творит. И ему нужны свои трудности, и я думаю, нынешние молодые свои трудности еще встретят.

Первая, обычная трудность—это отсутствие успеха. Когда эта трудность позади, приходит следующая, и имя ей, как ни странно, как раз успех. Сейчас все у нас—радио и телевидение, газеты и издательства—способствует только разбазариванию таланта. Стоит кому-то написать один хороший сценарий, его тут же подбивают писать пять плохих. Весь вопрос лишь в том, даст ли он себя на это подбить, даст ли себя испортить. Иной с удовольствием позволяет себя испортить, и даже за небольшую цену. Примечательно, что о хлебе насущном любит поразглагольствовать обычно лишь тот, кто на самом-то деле подразумевает черную икру. Тому, кто действительно бьется ради хлеба, многое можно простить. Но он-то как раз чаще всего и не нуждается в прощении. Через все это нынешним так называемым «молодым» еще предстоит пройти. И тут не помогут никакие советы, никакие «правила поведения»—надо просто подвергнуть себя опасностям, чтобы в них выстоять.

Хорст Бинек. В одной из ваших статей вы выдвинули понятие «автоматический роман». Очевидно, это выпад не столько против каких-то конкретных молодых авторов, сколько против определенных тенденций в современной литературе.

Генрих Бёлль. Вы, вероятно, имеете в виду «новый роман»?

Хорст Бинек. Да.

Генрих Бёлль. Знаете, на мой взгляд, по поводу этого романа слишком много разводится всяких теорий. Как есть догмы ангажированности, так и тут, по-моему, возникает догма неангажированности, что самому делу,

которое я считаю, кстати, небезынтересным, способно только повредить. Верность принципам — вообще-то вещь хорошая, но верность принципам начисто обезличенного романа означала бы для меня прекратить писать.

Хорст Бинек. В той же статье вы говорили об ответственности писателя. Полагаете ли вы,—и это связано с уже затронутым вопросом об ангажированности автора,— что человек интеллектуального труда обязан сегодня занимать и четкую политическую позицию?

Генрих Бёлль. Я считаю, что это почти само собой разумеется, особенно для писателя. По-моему, писатель, так называемый свободный писатель, сегодня один из последних оплотов свободы. Там, где под угрозой свобода, под угрозой и язык, и наоборот. Наступление на свободу почти всегда начинается с попыток внести упорядоченность и регламент в язык, затем, вторыми по очередности, идут изобразительные искусства. Есть разные степени актуальности, участия, ангажированности. И видимо, самый трудный для писателя вопрос — какую степень избрать для себя. Актуальность его творчества вовсе не должна быть всем очевидной, это не инструкция, которой он обязан придерживаться; актуальность иного автора непросто обнаружить. Но он не имеет права оставаться безучастным — это для меня само собой разумеется. Сопричастность времени — для меня это главная предпосылка, если угодно, грунтовка, и все, что я делаю по этой грунтовке, и есть то, что я называю для себя искусством. Я не могу сказать, за что или против чего я выступаю, это как раз те вещи, которые я прячу в своих романах, видимо, прячу без особого успеха. Но я знаю, что это я. Как я уже сказал, это только грунтовка. Но художник, ратующий за беспредметную живопись, чтобы быть последовательным до конца, должен бы отказаться от таких предметов, как кисть, холст, краски, и рисовать в воздухе, точно так же как последовательный писатель-беспредметник должен бы умолкнуть навсегда либо публиковать только запятые, точки и тире. Я вполне могу понять, что подобная последовательность возникает перед лицом мира, в котором государство, церковь, общественные институты предают нас каждый день и каждый час. Но я такую последовательность не принимаю, ибо верю, что есть вещи достойные сообщения, и верю в долговечность языка. Язык

для меня—это нечто абстрактное, но одновременно и связующее.

Хорст Бинек. Хотелось бы тогда затронуть и еще одну актуальную проблему. Сейчас идут жаркие дискуссии о том, должен ли писатель, вообще художник, определять свое отношение к тем или иным политическим событиям—допустим, в форме протеста, совместных резолюций, воззваний? Сила, убедительность его слова, его творчества—ибо за каждым его словом все равно стоит все его творчество,—не снашивается ли она оттого, что он слишком часто выступает с протестами? Но, с другой стороны, разве не долг всякого писателя в случае необходимости возвысить свой голос, чтобы поддержать чье-то «Я обвиняю!»?

Генрих Бёлль. Не думаю, что это всенепременно долг. Вовсе не каждый обязан подписывать воззвания, а кроме того, по-моему, тут прежде всего вопрос в качестве самого воззвания. Подписи ведь тоже можно разбазаривать. На этот вопрос можно с уверенностью ответить, лишь твердо зная, сколько воззваний тот или иной человек *не* подписал, но рыться в чужих корзинах для бумаг—не по моей части. Разумеется, бывают вещи, когда надо и участвовать, и подписываться. Там, где ты знаешь, о чем речь и в чем дело, к тому же это просто вопрос солидарности. Бывает, впрочем, и опрометчивая солидарность. Но это не беда.

Хорст Бинек. Верите ли вы, что в нашем насквозь организованном обществе отдельные, индивидуальные воззвания хоть сколько-нибудь действенны?

Генрих Бёлль. Думаю, да. Действенность или недейственность вообще трудно проверить. А когда что-то черным по белому написано, оно уже есть, от него так просто не отмахнешься. Действенность же или недейственность воззвания однозначно установить едва ли возможно.

Хорст Бинек. Вас часто называют католическим романистом. По-вашему, это удачное определение или ярлык?

Генрих Бёлль. Я просто не думаю, что бывают католические романисты. Мне очень жаль, но это так. Сам же я, смею полагать, романист и одновременно католик. Эта формулировка принадлежит не мне, и лучшей я пока что не нашел.

Хорст Бинек. Во всех ваших романах, повестях и рассказах очень важную роль играет ваша малая родина, Рейнская область, и особенно ваш родной город Кёльн. Кроме того, в ваших книгах можно обнаружить и теплое отношение к Ирландии. Есть ли какая-то связь между Кёльном и, допустим, Дублином?

Генрих Бёлль. Непосредственных, я бы сказал, пожалуй, нет. Просто есть некая интернациональная общность городов. Мне кажется, в каждом большом городе, допустим, вроде Дублина, который, кстати, меньше Кёльна, есть районы и кварталы, где я чувствую себя как дома. Я родился в предместье Кёльна, и мир предместий, колорит предместья, по-моему, играет очень важную роль в моих романах. Прозе вообще, по-моему, очень нужно чувство места и — только не пугайтесь — почвы. Для Кафки такой почвой была Прага. А для меня, само собой разумеется, такой почвой стал город, который я больше всего знаю, но который я редко — да, собственно, пожалуй что никогда — не называл в своих книгах по имени. Кёльн в моих романах, вероятно, совсем нетрудно обнаружить, и все-таки мне хочется думать, что я его в своих книгах спрятал, укрыл. Это только частицы Кёльна, и по имени я называю лишь нечто гораздо более важное, чем Кёльн, — я называю Рейн, который я при всем желании просто не смог бы укрыть. Слишком уж велик он оказался. Так что приходится все время величать его по имени. По-моему, поименно можно называть только либо очень большие города, либо совсем маленькие деревушки, столь большие и столь маленькие, что это уже как бы за гранью реальности. Ну, например, Париж, Петербург, Москву, Нью-Йорк и Лондон. Я с нетерпением жду, когда смогу добавить сюда Токио и Пекин.

Хорст Бинек. Господин Бёлль, разрешите под конец задать вам еще один вопрос. Какую из ваших работ — будь то роман или радиопьеса — вы считаете для себя самой лучшей? А может, вы заодно и скажете нам, какая из них при написании доставила вам больше всего огорчений?

Генрих Бёлль. Это очень трудный вопрос. Это постоянно меняется, понимаете? Есть у меня, конечно, свои любимчики, они ходят в любимчиках год или два, а потом перестают быть любимчиками, уступая место другим. К тому же, сдается мне, это никак не связано с объективными достоинствами того или иного любимчи-

ка, но, признаюсь честно, одна из книг, которые мне особенно дороги,—это мой первый роман «Где ты был, Адам?».

1961

ИНТЕРВЬЮ С АЛОИЗОМ РУММЕЛЕМ

Алоиз Руммель. Тому, кто уже в относительно молодые годы снискал большой успех в литературе, грозит серьезная для писателя, для его искусства, опасность ослепления удачей. Блеск славы особенно опасен для писателя критической направленности. От этого страдает внутренняя правдивость, как сказал однажды Томас Манн, ибо, как пояснил он дальше, писатель уже не обречен на художественную аскезу. Так вот, господин Бёлль, позвольте спросить: осознаете ли вы эту опасность? И если да, как вы с ней справляетесь?

Генрих Бёлль. Почти все подобные вопросы—это вопросы совести. И у общественности нет никакого права требовать от писателя отчет о его взаимоотношениях с собственной совестью. Мы ведь, кажется, не при такой власти живем, чтобы вменить самокритику и публичное покаяние кому-то в обязанность и сделать их привычным общественным ритуалом. В конце концов, у общественности перед глазами то, что писатель публикует. Вот пусть она и разработает средства судить о писателе именно по его публикациям. А все остальное, на мой вкус, слегка отдает сыском и слезкой. Не мое это дело—выявлять тонкие различия между профанацией и проституцией. Наши дедушки и отцы еще знали, что такое публичное лицо. Писатель публикует свои произведения, но он не публичное лицо. Кроме того, то, что вы называете внутренней правдивостью, важно не только для авторов «критической направленности»: столь же важна она и для тех, кто это обозначение—«писатель критической направленности»—к себе не относит. Есть внутренняя правдивость формы, и она много важнее внутренней правдивости содержания, ибо содержание—это всегда, так сказать, подарок, поскольку оно всегда—выдуманная правда, вымышленное сообщение, к тому же обретается только в единстве с формой, с ритмом, со своими внутренними законами.

Алоиз Руммель. Как утверждают иные критики, вы,

господин Бёлль, принадлежите к числу отставших, старомодных авторов, к числу тех, кто не идет в ногу с общим развитием. Вопрос вот какой: подобные утверждения для вас—хвала или хула? Как вы это воспринимаете? И в чем, на ваш взгляд, выражается в вашем творчестве прогрессивность, а в чем—консерватизм, или, если угодно, старомодность?

Генрих Бёлль. Для меня эти определения—«старомодный», «новомодный»—ровным счетом ничего не говорят. Происходят они, если память мне не изменяет, из словаря портных и парикмахеров. Во избежание обид и недоразумений, которые вам, работнику радио, наверняка знакомы, хочу тут же сделать само собой разумеющуюся оговорку: ремесло портных и парикмахеров я считаю и важным, и почтенным занятием. Бог мой, да что бы мы делали без портных и парикмахеров?! К сожалению, я уже не в том возрасте, чтобы позволить себе бегать непричесанным и полуголым, как какой-нибудь битник или бродяга. Так что и мне приходится время от времени обращаться к услугам парикмахера и портного. Но вряд ли уместно переносить на литературу понятия из портняжного или парикмахерского лексикона. Рассказ, например,—и тут я снова вынужден повторить нечто само собой разумеющееся, но даже само собой разумеющиеся вещи в нашем тщеславном, запутавшемся, сбитом с толку обществе уже не разумеются сами собой—так вот, рассказ—это не короткая прическа, а роман—не брюки. Один редактор как-то мне написал: он ждет от меня текст высшего сорта. Пришлось ответить, что я не галстучная фабрика и не вижу возможности поставлять ему первосортные изделия. А что касается выражения «идти в ногу с общим развитием», то по этому поводу я уже однажды высказывался и повторяться не хочу. В конце концов, хваленое общее развитие не всегда поспевает у нас за самим собой. Слишком уж много вздора у нас говорится и пишется, слишком много вздора легко принимается на веру, вот среди всей этой болтовни все и путается, в высшей степени традиционные вещи представляются «последним криком», а истинно новое, в подлинном смысле этого слова современное кажется старомодным. Это все действительно как мода, а мода быстро меняется, обычно два раза в год.

Алоиз Руммель. Господин Бёлль, вас называют христианским, даже католическим писателем, хоть

я и знаю, что вы последовательно и четко держитесь на дистанции от, так сказать, официальных католических зон, и делаете это совершенно сознательно. Может ли вообще — это мой к вам вопрос — существовать внутри современной литературы литература специфически христианская?

Генрих Бёлль. Как там меня называют, мне с некоторых пор более или менее безразлично. Я знаю, кто я, или, лучше сказать, знаю, кем я хочу быть, и вам я этого не открою. Я уже сказал, у общественности перед глазами то, что писатель публикует. Вот пусть она и разработает средства судить о писателе именно по его публикациям. Исходя из собственного скромного опыта смею полагать, что ни общественность, ни церкви, ни конфессии и партии политических направлений подобных средств пока что не нашли. Вопрос же о вероисповедании относится по сути к налоговой тайне и, следовательно, дело весьма щекотливое; но ладно, раз уже иначе нельзя, так и быть, признаюсь: я плачу налоги католической церкви. Все остальное опять-таки относится к области сыска и слежки. А то недавно в связи с публикацией обо мне в одном католическом журнале читатели даже обратились в редакцию с вопросом, действительно ли я практикующий католик. Подобные вопросы вполне отвечают всеобщему упадку старых добрых нравов. И к тому же попахивают инквизицией. Другие же люди без всяких шуток позволили себе — я сейчас говорю о так называемых академических католиках, которые ссылались при этом на информацию из своего так называемого академического объединения, — так вот, они позволили себе обратиться ко мне с письменным запросом, действительно ли я отлучен от церкви. Как видите, упадок нравов почти полнейший. В конце концов, если ты считаешь себя образованным католиком, то должен бы знать, что есть лишь два лица, способных ответить на подобный — праздный и в высшей степени омерзительный — вопрос: священник и епископ интересующего тебя прихожанина. Вам также, несомненно, известно, что видные политические деятели обожают перед выборами сниматься в коленопреклоненной позе на молитвенных скамеечках; но вот вам другой пример — президент Кеннеди, который вежливо, но решительно отклонил присутствие журналистов и корреспондентов, когда посетил святую мессу в Кёльнском соборе.

Хотелось бы надеяться, что такт этого великого человека послужит хорошим уроком для других.

Алоиз Руммель. И все-таки, господин Бёлль, невозможно отрицать, что специфически христианская литература, даже специфически христианская поэзия несомненно существует. Достаточно назвать хотя бы Клоделя, а из немецких авторов — Гертруду фон Ле Форт. Или вы предпочли бы сказать иначе: существует религиозная литература вообще?

Генрих Бёлль. Второй вопрос — существует ли религиозная литература вообще? — я считаю скорее риторическим. Величайших авторов современности — Кафку, Фолкнера, Бернаноса — я рассматриваю как авторов религиозных, даже Камю. У общественности, как я уже сказал, просто нет средств это установить. Разумеется, есть нечто вроде атеистической инквизиции в нашей литературной критике, которая все религиозное объявляет попросту несуществующим, а все христианское — не способным к литературе. Эту атеистическую инквизицию я считаю столь же высокомерной, глупой и неприятной, как и всякий иной вид инквизиции. Что же до моей так называемой дистанции по отношению к католическим институтам, то мне ничего не известно ни о дистанции, ни о близости или попытках сближения, и какие бы человек ни платил церковные налоги, понятия «дистанция» или «близость» не имеют ни малейшего отношения к тому, что он делает как писатель, как художник. Никакая конфессия не в состоянии что-либо предписать писателю или тем паче помочь ему. У нее для этого просто нет инструментария. Степень ее беспомощности и замешательства вы можете себе уяснить хотя бы по тому, что фильм Бергмана «Молчание» соответствующими католическими инстанциями был одобрен, а некоторые абсолютно безобидные публикации тех, кто платит налоги католической церкви, напротив, были во всеуслышание подвергнуты осуждению. Если же своим вопросом о дистанции вы намекали на небезызвестные опрометчивые заявления небезызвестных верховных пастырей, то я склонен — ввиду всеобщего замешательства в умах — великодушно оставить эти опрометчивые заявления без внимания. Я считаю, в нашем сугубо материалистическом мире это даже лестно (хоть мне, вероятно, вовсе не хотели польстить) — быть заподозренным в спиритуализме, возможно, пусть и без достаточных к тому оснований.

Алоиз Руммель. Господин Бёлль, значит, категория религиозной литературы все-таки существует. Зачисляете ли вы свои произведения в эту категорию?

Генрих Бёлль. На этот вопрос сам я, видимо, не могу ответить.

Алоиз Руммель. Но все же писатель исходит из какой-то духовной или религиозной основы, и я предполагаю, что в его творчестве находит отражение то, чем он живет, из чего черпает силы. Так что, спрашивая вас, являются ли ваши произведения религиозной литературой, я спрашиваю одновременно о ваших духовных первоосновах. Иными словами, поймите меня правильно, я спрашиваю только об одном: отмечены ли ваши произведения, ваше творчество печатью религиозного сознания,—не христианского, об этом я после всего, что вы сказали, разумеется, не спрашиваю.

Генрих Бёлль. Что ж, полагаю, определение «религиозный» подойдет.

Алоиз Руммель. И вы считаете, что выражение «религиозная литература» можно употреблять в качестве литературной категории?

Генрих Бёлль. Конечно.

Алоиз Руммель. Тогда, господин Бёлль, у меня к вам следующий вопрос: способно ли еще в нашей современной историко-культурной ситуации существовать нечто вроде цельной, органичной литературы, или утрата сердцевины, стержня необратима и для современной словесности?

Генрих Бёлль. Полагаю, я не слишком сведущ для ответа на подобный вопрос, поскольку никогда не мог себе толком представить, что такое цельная литература и что такое сердцевина, как, впрочем, не могу представить и нечто им противоположное. Людям, которые привыкли обижаться на литературу,—я имею в виду доктринеров, функционеров, чиновников всех мастей,—похоже, и в голову не приходит, что некую цельность автор ищет в области формы, но как им это объяснишь, когда все вокруг занимаются исключительно разбором содержания. Вообще-то есть доктрина цельной литературы, там почти сплошь акцентируется положительное, все конфликты разрешаются своим чередом и по порядку, а в конце воцаряется всеобщая благодать и умиротворение. Доктрина, которую я имею в виду,—это доктрина

социалистического реализма. Похоже, именно такого рода литература мила сердцу наших доктринеров, функционеров и чиновников.

1962

ПОСЛЕСЛОВИЕ К КНИГЕ КАРЛА АМЕРИ «КАПИТУЛЯЦИЯ»

Опыт о немецком католицизме, выпущенный кем-то, кого никак нельзя считать уполномоченным Центрального Комитета немецких католиков, заведомо обречен попасть в разряд сочинений сомнительных. К тому же название — «Капитуляция», к тому же с послесловием автора этих строк, чьи высказывания к тому же несколько раз цитируются в книге, — я уже слышу, как официозные соловушки заводят песню о двух негодниках, которые во всем друг с другом заодно. Что ж, они правы — я с Карлом Амери заодно.

Душевный настрой этой маленькой книжицы — пока что не отречение, а всего лишь меланхолическое раздумье, и она почти в одиночку противостоит разбухшему публицистическому аппарату, что всегда наготове к услугам немецкого католицизма. Книга Амери непреклонна, точна в историческом анализе, но вовсе не исполнена непримиримости, она благородна — и противостоит аппарату, для которого благородство отнюдь не самое знакомое и употребительное из человеческих слов.

Книга немецкого католика о немецком католицизме — тут не обойтись без некоторых предварительных замечаний. Что такое немецкий католик — еще как-то можно объяснить: это тот, кого крестили по католическому обряду, не отлучили от церкви, не лишили немецкого гражданства и кто сам от него не отрекся. Немецкий католицизм, как он понимается у нас, представлен в гремиумах, комитетах, на конференциях. Немецкие католики и немецкий католицизм — не одно и то же, тут нет единства, существуй оно, это единство, Райнхольду Шнайдеру дали бы возможность выступить на съезде католиков со своей речью против ремилитаризации. На примере Райнхольда Шнайдера лучше, чем на каком-либо ином, можно видеть, сколь оскорбительно и безжалостно умеет немецкий католицизм обращаться с немецкими католиками. В Райнхольде Шнайдере было все, что только мог пожелать немецкий католицизм: он был по-рыцарски консервативен, этот поэт внутреннего

сопротивления, осыпанный похвалами и почестями, то и дело выставляемый напоказ, но стоило ему выступить против первых симптомов капитуляции немецкого католицизма перед послевоенным оппортунизмом, как его партнеры немедленно обнаружили свою истинную сущность — они предали его и оклеветали. Еще бы, ведь тот, кого так удобно было «подавать» в качестве образцового консервативного католика, вдруг «заупрямился». Где, спрашивается, были пастыри и верховные пастыри церкви, обязанные его защитить?

Немецкий католицизм никогда не высказывается официально, а тем паче *ex officio*¹ — всегда только официозно, в церковных бюллетенях, в католических ежедневных газетах или через КАН². Слово «официозно» выражает эту манеру как нельзя более четко, ибо официальная точка зрения нигде не излагается, однако во всех высказываниях сквозит мысль, которую воспринимают как официальную, а именно: что бывают хорошие и плохие немецкие католики. Хороших — в жаркое под названием «немецкий католицизм», плохих — в помой, на прокорм КАН. Кому при этой рассортировке на хороших и плохих уготована роль отбросов, никто толком не ведает. И лишь одно, конечно, досадно — что плохие немецкие католики все равно католики и все равно немцы и отнять у них два этих свойства никак нельзя.

Впрочем, речь в книге Карла Амери не о том, чтобы уберечь нескольких «отщепенцев», индивидуалистов и сектантов от немилосердной подчас опеки родного немецкого католицизма, речь о гораздо большем, по сути — о самом важном, о том, как исцелить немецкий католицизм от его навязчивой шизофрении. «Оплошность» Райнхольда Шнайдера была политической, не религиозной, но ни один из верховных пастырей церкви не решился публично взять его под защиту.

Безжалостный мир и безжалостные нравы. Как тут не вспомнить о роли, которую сыграл господин фон Папен: последняя ключевая фигура немецкого католицизма, член партии центра, которого Гинденбург, вообще-то не слишком жаловавший «этих католиков», звал не иначе как «мой дорогой младший друг», господин фон Папен совместно с Оскаром фон Гинденбургом направил

¹ По обязанности, по долгу службы (*лат.*).

² Католическое Агентство Новостей.

беду в столь любезное сердцу немецкого гражданина русло легальности. Фон Папен подружил Гитлера с крупным капиталом, он же вкупе с Каасом принес немецкому католицизму самый почетный трофей — конкордат о рейхе. А всего лишь год спустя после заключения конкордата, 30 июня 1934 года нацисты учинили свою кровавую варфоломеевскую ночь. Ближайший советчик Папена Эдгар Юнг был расстрелян, сам Папен выжил, жив до сих пор.

У нас двадцать шесть миллионов западногерманских католиков и только один западногерманский католицизм. Вопрос, насколько и как он способен представить интересы всех двадцати шести миллионов, никогда толком не задавался. Зато у нас любят при случае порассуждать о так называемых «католиках по метрике», о «равнодушных», которые лишь исправно платят церкви свои налоги, но, видимо, эти «нечестивые» деньги все же не настолько грязны, чтобы с возмущением их отринуть. Нет такой теологической возможности — назвать человека «католиком лишь по метрике». И кто представляет в немецком католицизме интересы этого несметного числа «равнодушных»? Не знаю, были бы церковные власти столь же щепетильны, если бы одновременно с автоматическим отлучением прихожанина или прихожанки от церкви ввиду неправомочного брака давали своим финансовым службам указание не принимать больше деньги от такого-то грешника или такой-то грешницы? А кто представляет в немецком католицизме «плохих» католиков, тех, кто имел несчастье угодить в отбросы? Да их просто «зачисляют в разряд», не важно, откуда и какими путями они попадают в «плохие» — «справа» ли, как Райнхольд Шнайдер, или, наоборот, «слева», как многие другие.

Но в книге Карла Амери вовсе не о том речь, чтобы выработать вспомогательную классификацию и распределить католиков на «правых» и «левых». Есть ведь и среди «правых» неисправимые упрямы, и среди «левых» вполне податливые приспособленцы. Речь о двусмысленном капитулянтстве, с которым немецкий католицизм покорился одному-единственному политическому образцу, объявив его — и только его — истинно душеспасительным. Как же это должно быть скучно — изо дня в день муштровать сплошь образцовых паймальчиков, обучая их лишь одному — и дальше быть образцовыми! На это, пожалуй, сгодились бы и электрон-

ные мозги, напичканные катехизисом и исправно выдающие вопросы и ответы. А уж тогда можно всякое мышление, даже попытку размышления объявить «разлагающим интеллектуализмом», исторический опыт зачеркнуть как «мстительное самокопание» — и желанное единство было бы установлено.

Немецкий католицизм самым прискорбным образом связал себя с интересами и делами той партии, которая единственная из всех включила в свое название букву Х, присвоив себе право именоваться христианской. (Да простят меня за то, что я не провожу между ХДС и ХСС особых разграничений, которые, допуская, во имя соблюдения формальностей и стоило бы провести.)

Настойчивый, уже почти жалостливый призыв ХДС к общению и контактам с интеллигенцией, то есть с теми, кто этой партии возражает, — не рожден ли этот призыв убийственной скукой при виде собственной, напичканной функционерскими словесами свиты.

Книга Карла Амери — это не приглашение к диалогу и не просьба о нем, нет, патетически выражаясь, это голос поколения, которое, само о том не ведая (нам было по пятнадцать — шестнадцать лет, когда поддержанные нашими отцами католические партии благословили приход Гитлера к власти), разделило ответственность за капитуляцию немецкого католицизма, получив свою долю расплаты и оказавшись в весьма двусмысленном положении. И не вполне чисто плотно со стороны немецкого католицизма сегодня, тридцать лет спустя, щеголять своими борцами Сопротивления, то и дело поминая этих многих и многих смельчаков; сопротивление отдельного католика, даже отдельного католического священника — это его личное дело. Немецкий католицизм весьма ловко устроился: когда требуется подтвердить его лояльность, он предъявляет конкордат, пагубные последствия которого Карл Амери очень точно описывает; когда же эта лояльность подвергается нападкам, немецкий католицизм предъявляет своих борцов Сопротивления, но повторяю: сопротивление было личным делом, официальный же статус определялся именно конкордатом. Впрочем, в этом умении ловко устраиваться немецкий католицизм успешно соперничает с другими общественными группами. Однако выбор между неисчислимыми безымянными, теми, кто отважился оказать сопротивление, и Францем фон Папенем, не так уж трудно сделать.

В том-то и главный вопрос книги Карла Амери: останется ли сопротивление неискоренимому оппортунизму партий, сопротивление усугубляющейся политизации мира по-прежнему только личным делом каждого? Будет ли молодой немец-католик, решившийся отказаться от воинской службы, вынужден идти по стопам Швейка, с помощью всевозможных трюков и уловок уклоняясь от воинской повинности, либо он сможет рассчитывать на защиту своего высшего духовного пастыря? Но верховные пастыри безмолвствуют, для них, судя по всему, существует только немецкий католицизм и его органы, иные из которых принадлежат к числу самых одиозных в Федеративной Республике. Быть может, голос Карла Амери все же пробьется через стену немецкого католицизма и дойдет до слуха пастырей, а также тех, кому так нужна уверенность в своем неодионочестве.

1963

КОММЕНТАРИИ

Корпус третьего тома Собрания сочинений образуют работы зрелого Бёлля (конца 50-х—60-х гг.): два, пожалуй, самых знаменитых его романа — «Бильярд в половине десятого» и «Глазами клоуна», бурлескно-эксцентрическая повесть «Самовольная отлучка», а также ряд рассказов, радиопьес, эссе, статей и интервью.

БИЛЬЯРД В ПОЛОВИНЕ ДЕСЯТОГО

«Бильярд в половине десятого» являет собой одну из вершинных точек в творчестве писателя. В романе со сложно переплетающимися временными пластами, как бы составленном из внутренних монологов действующих лиц, отражены в преломлении через личные судьбы и личное мировосприятие представителей трех поколений семьи архитекторов Фемелей важные коллизии первых пяти десятилетий германской истории XX века (1907—1958 гг.) — с акцентом на событиях 30-х—40-х годов, очерчены сложные этико-социальные конфликты, в которые течением этих событий вовлечены герои повести. «Бильярд...» поразительно органично сочетает в себе, казалось бы, несочетаемые вещи — агрессивную публицистичность в решении антивоенной и антифашистской темы с элегантно изысканностью художественной формы, подкупает тонкостью превосходно разработанной оригинальной образности и суровым нравственным ригоризмом в оценке недавнего германского прошлого (а отчасти и настоящего — конца 50-х гг.). Она насквозь провокативна: автор полемически выдвигает, казалось бы, совершенно абсурдное, шокирующее и оскорбляющее добропорядочного и набожного немецкого современника утверждение (реализуемое на всех уровнях образно-художественной системы), что живой реальный фашизм, увы, как это ни прискорбно, *совместим* с западноевропейской культурной традицией (особенно если она усвоена поверхностно; здесь Бёлль продолжает тему, хорошо намеченную в рассказе «Путник, придешь когда в Спа...»), а главное, что уж совсем выходит за всякие

рамки,— со строгой, католически ориентированной, христианской этикой (кстати, на практике обычно усваиваемой также весьма поверхностно). Выяснение отношений с католической церковью, в целом не выдержавшей испытания фашизмом,— особая тема книги. В центре сюжета романа — важная деталь, логически вытекающая из подобной установки: построенный в 1908 году Фемелем-старшим архитектурный комплекс бенедиктинского аббатства (символически материализующий в себе этические, эстетические и религиозные идеалы общества, способного взрастить и регенерировать фашизм, и, кроме того, олицетворяющий собой такую христианскую обитель, монахи которой, как оказалось, готовы охотно распевать нацистские гимны), по мнению Роберта Фемеля, подрывника, заслуживает только одного — уничтожения. Хладнокровное разрушение Фемелем-сыном столь крупного культурно-исторического памятника, разумеется, не имеет никакого отношения к геростратовскому комплексу — это сознательный, этический и политический акт отмежевания от мира «слезливых убийц, вступающих за культуру».

По ряду формальных признаков роман этот можно отнести к числу примечательных образцов постмодернистской литературы начала второй половины XX века; это не традиционный западноевропейский (немецкий) социально-исторический роман, а весьма изящная, тщательно выверенная и тонко отделанная художественная конструкция с симметричной структурой, усложненной системой образов и развитым символично-метафорическим планом.

Впервые был опубликован в 1959 году кёльнским издательством «Кипенхойер унд Вич». Многократно переиздавался. На русском языке впервые вышел в переводе Л. Черной (М., Изд-во иностранной литературы, 1961).

Стр. 7. ...отеля «Принц Генрих»...— Прусский принц Генрих (1862—1929)— брат германского кайзера Вильгельма II, морской офицер (адмирал); с 1909 г.— генеральный инспектор германского военно-морского флота; верховный главнокомандующий вооруженными силами Германии на Балтийском море в период первой мировой войны 1914—1918 гг.

Стр. 11. Хейс (Хойс) Теодор (1884—1963)— германский (после 1945 г.— западногерманский) политический деятель и писатель. Один из основателей партии западногерманских либералов (Св ДП, 1946 г.) и ее лидеров. Федеральный президент ФРГ (1949—1959).

Стр. 20. «И правая их рука полна подношений». — Неточная цитата: Псалтирь, псалом 25. Целиком фраза в русском тексте Библии выглядит так:

«8 Господи!.. 9 Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, 10 У которых в руках злодейство, и которых правая рука полна мздоимства».

Стр. 31. ...*во славу отца Колпинга и святого Алоизия*.— Колпинг Адольф (1813—1865)—немецкий католический теолог, общественный деятель. Основатель (1846 г.) католических объединений ремесленной молодежи, преследовавших цели воспитания подростков в христианском духе и оказания взаимопомощи в решении повседневных проблем (ныне входят в крупную международную организацию с центром в Кёльне). У Бёлля фигура отца Колпинга несет важную смысловую нагрузку: воплощает собой живой пример истинного пастыря молодежи и одновременно пример человека, сумевшего практически следовать основополагающим принципам христианской этики—в противоположность морально обанкротившимся церкви и школе, институционально виновных, по Бёллю, в том, что в Германии середины XX в. выросло целое заблудшее поколение, «которое никто не пас». Святой Алоизий—Алоизий (Луиджи) Гонзага (1568—1591), итальянский монах-иезуит. Во время чумы в Риме ухаживал за больными и, заразившись от них, умер в возрасте 23 лет. Покровитель учащейся католической молодежи.

Стр. 38. *Гёльдерлин* Фридрих (1770—1843)—крупнейший немецкий поэт-романтик, культивировавший классицистически строгие стихотворные формы.

Стр. 39. ...*«И, сострада, сердце Всевышнего твердым останется»*.—Неточно цитируемая Бёллем концовка стихотворения Ф. Гёльдерлина «Как в праздник на поля свои взглянуть...».

В переводе В. Микушевича:

Отчий луч не сожжет нас,
И, сильного страданьям сострада,
Потрясаемое горней бурей Бога,
Когда он приближается,— наше сердце
Не содрогнется...

...*пароход «Сила через радость»*...—Речь идет о пароходе нацистского союза «Сила через радость», учрежденного в 1933 г. в качестве одной из массовых организаций, подведомственных объединению нацистских профсоюзов «Дойче арбайтсфронт». Являвшийся важным звеном тоталитарной системы, союз ведал вопросами «организованного» и предельно идеологизированного досуга «трудящихся». Его подраздел «Путешествия, спортивный туризм и отпуск» располагал небольшой флотилией собственных круизных судов; одно из них как раз и попадает на глаза Роберту Фемелю в цитируемом отрывке.

Стр. 40. ...*головы Антиноя*...— Антиной—красивый юноша, любимец римского императора Адриана, утонувший в Ниле. В память о нем по велению Адриана было изваяно множество скульптурных портретов Антиноя.

Стр. 44. *Шато-Тьерри*—городок на Марне в 80 километрах к востоку от Парижа (департамент Эна). Крайняя точка во Франции, куда смогли продвинуться немецкие войска в первую мировую войну.

Здесь в мае 1918 г. произошло сражение, во многом решившее исход войны.

Стр. 45. *Святой Северин*—епископ Кёльна (живший в конце IV—начале V в.). Достоверных сведений о нем не сохранилось. В Кёльне (нарисованный в книге городской ландшафт очень похож на кёльнский) есть церковь Св. Северина.

Стр. 46. ...«*Паси агнцев Моих*»...—Фраза, которую трижды произносит Христос, обращаясь к Симону Петру во время своего третьего явления ученикам по воскресении из мертвых (Евангелие от Иоанна, 21, 15—17), тематически прямо соотносится с одной из лейтмотивных линий романа—прозрачно и настойчиво формулируемой констатацией постыдного бездействия католической церкви перед лицом грозных событий 30—40-х гг. и неспособности (или нежелания) немецких священнослужителей твердо следовать одной из фундаментальных заповедей Христа, в частности, выполнять пастырские обязанности по воспитанию молодого поколения, оставшегося в ту пору духовно беспризорным. Непосредственно связана с как бы случайным упоминанием имени отца Колпинга (см. коммент. к с. 31)—одного из немногих, кто воспринимал эту заповедь не как абстрактный, реально трудновыполнимый принцип, а сумел реализовать ее практически.

Стр. 54. *Май Карл* (1842—1912)—немецкий писатель, автор популярных в Германии приключенческих романов («Через пустыню», 1892; «Текумзе», 1892; «Виннету», 1893; «Сокровище Серебряного Озера», 1894, и многих других).

Стр. 63. «*Агнец Божий*»—название Иисуса Христа, основывающееся на словах Иоанна Крестителя (Евангелие от Иоанна, 1, 29), который именует Христа агнцем, искупляющим грехи людей.

Стр. 66. ...*аббатство Святого Антония*...—Вероятно, аббатство носит имя Антония Великого (251/252—356), одного из патриархов отшельничества (как ранней формы монашества).

Стр. 68. *Святой Себастиан*—римский мученик (живший во второй половине III в.); обстрелянный лучниками, умирал медленной и мучительной смертью; отсюда—покровитель стрелков и стрелковых обществ.

Стр. 73. *Тройное правило* (в арифметике)—правило, формулирующее принцип решения задач (с одним или несколькими неизвестными), в которых величины связаны соотношениями прямой или обратной пропорциональности.

Стр. 78. *Гогенцоллерны*—династия бранденбургских курфюрстов (1415—1701), прусских королей (1701—1918) и германских императоров (1871—1918).

Стр. 82. «*О рассвет, рассвет печальный*».—Начальная строка «Утренней песни всадника» В. Гауфа. «*Аннемари, Розмари*»—немецкая народная песня.

Стр. 83. ...*толпы горланили «Стражу на Рейне» и выкрикивали имя*

дурака, который...— «Стража на Рейне» — знаменитая немецкая патриотическая песня (автор текста М. Шнеккенбургер, музыки — К. Вильгельм), приобретающая уже к началу первой мировой войны явно шовинистическое звучание. *...имя дурака...* — то есть германского императора Вильгельма II.

Стр. 85. *Фенрих* — воинское звание, существовавшее в старой германской армии и присваивавшееся лицам, которые готовились стать офицерами (т. е. курсантам офицерских училищ и военнотружущим срочной службы из сержантского состава).

Стр. 90. *Святая Цецилия* (? — 230/232) — римская мученица и святая. Св. Цецилия считается (вероятно, по недоразумению) покровительницей церковной музыки и обычно изображается сидящей за органом.

Стр. 92. «*Петр, Божий привратник...*» — строка из стихотворения неизвестного автора.

Стр. 93. «*...И ангелы служили Ему...*» — Евангелие от Матфея, 4, 11. («...и се, Ангелы приступили и служили Ему».)

Стр. 94. «*Дрожат дряхлые кости*» — одна из наиболее воинственных нацистских песен (автор текста — Г. Бауманн). Заканчивается словами: «Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — весь мир».

Стр. 101. *Святой Бенедикт* — Бенедикт Нурсийский (ок. 480 — 547?) — основатель старейшего западноевропейского монашеского ордена (ок. 530 в Монтекассино). С 1964 г. считается заступником Европы.

Стр. 103. *...я был... Давидом, хрупким юношей...* — Давид — юный пастушок из Вифлеема. Вооруженный лишь посохом и пращей, отважился выступить от имени израильского войска против грозного филистимлянского воина гиганта Голиафа и сумел хитростью одолеть его (см. Первую Книгу Царств). Позднее — один из создателей Израильского царства (см.: там же, гл. 16 — 17).

Стр. 104. *...а также Даниилом во рве со львами...* — Даниил — иудей, вавилонский сановник, позднее — библейский пророк. В молодости, после падения царя Валтасара, был назначен персидским царем Дарием одним из трех князей над 120 сатрапами. По наущению врагов Даниила Дарий издал указ, запрещающий подданным молиться в течение месяца. Даниил, однако, не мог нарушить завет Моисея и тайно молился Яхве трижды в день. За это был брошен Дарием в ров с голодными львами, но чудесным образом остался жив («Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, — говорит на следующий день Даниил Дарию, — и они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». См.: Книга Пророка Даниила, 6, 22).

...тело Лазаря... — Лазарь Четверодневный — новозаветный персонаж, человек, воскрешенный Иисусом через четыре дня после его погребения.

Стр. 105. «*Что там в лесу блестит на солнце?*» — Начальные слова знаменитого стихотворения Карла Теодора Кёрнера (1791 — 1813) «Дикая охота Лютцова».

Стр. 106. «*Том-рифмоплет*» — стихотворение Теодора Фонтане (1819 — 1898), написанное в 1851 г.

Стр. 109. *Назарейцы* — группа немецких и австрийских художников-романтиков, «Союз Святого Луки», образовавшаяся в 1810 г. (Ф. Овербек, Ф. Пфорт, П. Корнелиус, В. Шадов, Ю. Шнорр фон Карольсфельд, Ф. Фейт и др.). Преодолевая художественную закоснелость позднего классицизма, назарейцы стремились возродить религиозное искусство в духе мастеров средневековья и Ренессанса, ориентируясь в первую очередь на эстетику Дюрера, Рафаэля и Перуджино.

Стр. 110. «*Mea culpa...*» — Слова, произносимые в начале католической мессы как выражение признания собственной (и общей) вины и призыв к покаянию.

Лохнер Стефан (1410 — 1451) — немецкий живописец эпохи поздней готики, сочетавший позднеготический спиритуализм с поэтической предметностью мира.

Лейбль Вильгельм (1844 — 1900) — немецкий живописец, один из крупнейших реалистов XIX в. Писал главным образом портреты и сцены патриархального крестьянского быта.

Стр. 112. ...*закорючку на хвостике собаки Товии*. — Товия — сын Товита, персонажа ветхозаветного предания; речь идет об эпизоде, где Товит, вспомнив, что когда-то оставил в Мидии серебро, снаряжает туда сына Товию с его собакой и дает ему в провожатые Азарию (т. е. архангела Рафаила). Существует множество картин на этот сюжет, но можно предположить, что Бёльль имеет в виду полотно итальянского живописца А. Поллайоло (1433 — 1498) «Товия и архангел».

Стр. 121. *Икар* — в греческой мифологии бог, соорудивший крылья из перьев и воска (чтобы спастись из лабиринта, куда был заключен вместе с отцом) и поднявшийся в воздух. Упал в море из-за того, что поднялся слишком высоко и солнце растопило воск.

Стр. 123. «*Дикие гуси с шумом несутся сквозь ночь*» — нацистская солдатская песня (автор текста — В. Флекс); входила также в боевой песенный «репертуар» гитлерюгенда.

Стр. 125. «*Rorate coeli...*» (лат.) — «Кропите небеса свыше, и облака да опустятся дождем справедливым» — с этими словами в Пепельную Среду посыпают голову пеплом.

Стр. 126. ...*в день рожденья того дурака, в январе...* — очевидно, в день рождения (27.01.1859 г.) германского императора и прусского короля Вильгельма II.

Демель Рихард (1863 — 1920) — немецкий поэт, драматург и романист, близкий к импрессионизму.

Стр. 128. *Лендлер* — старый крестьянский парный танец, поя-

вившийся в Южной Германии и Австрии еще в средние века; характерные его элементы вошли впоследствии в хореографию вальса.

Стр. 136. «*Мне отмщение, и Аз воздам*».— Новый Завет. Послание Апостола Павла к Римлянам, 12, 19.

Стр. 140. *Святой Серватий*— по легенде, епископ в Тонгерне (Бельгия).

Святой Бонифаций (672—754)— миссионер и реформатор церкви. Мученик.

Святой Модест— сицилийский мученик, воспитатель святого Витуса (ум. ок. 313 г.).

Стр. 150. «*Memento quia pulvis es...*»— Слова из богослужения Пепельной Среды (которая открывает Великий пост в западной традиции).

Стр. 162. *Замок Святого Ангела*— древний замок, расположенный у стен Ватикана (построен во II в.). Служил усыпальницей римских императоров, позднее, начиная с раннего средневековья, был превращен в крепость (внутренние подвальные помещения служили тюрьмой); в XVII в. использовался как казарма и арсенал; ныне— музей.

Стр. 163. *Гонориускирхе*.— Гонориус— имя, которое носили римские папы: Гонориус I (?—638), Гонориус II (1010—1072), Гонориус III (1150—1227) и Гонориус IV (1210—1287).

Стр. 177. *...всегерманский спортивный праздник*.— Вероятно, имеется в виду спортивный праздник 1933 г. в Штутгарте.

Стр. 205. *Лурд*— город у подножия Пиренеев, ставший с середины XIX в. излюбленным местом паломничества благодаря легенде о якобы состоявшемся там в 1858 г. явлении Богородицы; знаменит своим источником, обладающим, как утверждают, целебными свойствами.

Стр. 206. *Ливий Тит* (59 до н. э.—17 н. э.)— римский историк, автор «Римской истории от основания города».

Стр. 215. *Тракль Георг* (1887—1914)— крупнейший австрийский поэт эпохи раннего экспрессионизма.

Стр. 217. *...бросил на дорогу несколько монет... для Гензеля и Гретель*.— В сказке братьев Grimm «Гензель и Гретель» мальчик, чтобы найти дорогу из леса, бросает на землю блестящие камешки.

Стр. 230. «*Kyrie eleison*» (греч.)— «Господи, помилуй!»— Слова одной из начальных молитв (молитв покаянного чина) католической литургии.

Стр. 234. «*Suscipiat Dominus...*»— Слова одной из молитв католической литургии. Католическая литургия структурно делится на две большие части: в первую— Литургию Слова— входят приготовительные к священнодействию молитвы, входные песнопения (антифоны, интроиты), стихи из псалмов, исповедь священника и молящихся, великое славословие, чтение Евангелия и символа веры, молитвы, образующие предварение «канона» (т. е. основной, второй, части) литургии; вторую часть— Литургию Таинства— составляет «канон»

мессы (молитвы освящения даров и причащение). «*Suscipiat Dominus...*»—общая молитва всех присутствующих на мессе, завершающая первую часть евхаристической литургии (в ее латинской традиции); произносится в тот момент, когда предназначенные к освящению дары (хлеб и вино) находятся уже на алтаре; является ответом паствы на призыв священника к молитве о приготовленных к евхаристии дарах.

Стр. 240. *...прости меня за то, что я смеюсь, мой Давид, но из тебя не вышло Авраама....*—Авраам, по библейскому преданию, один из древнееврейских патриархов (по воле Господа ставший «отцом множества народов») и реформатор религии. *...зато в себе я ощущаю что-то похожее на смех Рахили...*—Героиня, по воле автора, путает библейские мотивы: историю бесплодной Сарры, жены Авраама, которая на пороге своего девяностолетия получила от Яхве весть о том, что у нее будет ребенок, и, услышав это, «внутренне рассмеялась» (Бытие, 18, 12), и сходную историю Рахили, которой, как и Сарре, пришлось искать мужу наложницу, чтобы обзавестись наследником, прежде чем она родила сама; причем на этот сюжет наслаивается сюжет с похищением Рахилью статуэток («идолов») — Бытие, гл. 31) — прозрачная параллель с пистолетом Иоганны.

Стр. 245. *Кампфбунд* — одна из милитаристских организаций в ФРГ 50—60-х гг.

Стр. 251. *Вотан* (Водан) — верховный бог в германской мифологии; бог войны и покровитель героев, бог мудрости и поэзии.

Стр. 266. *Нагорная проповедь* — один из особо важных эпизодов в Новом Завете (Евангелие от Матфея, гл. 5—7): речь Христа, произнесенная к собравшимся на непоименованной горе в Галилее; содержит основополагающие нравственные постулаты его учения, определяющие главные пути нравственного совершенствования человека (любовь к ближнему, отказ от богатства, власти, от погони за мирскими благами и т. д.).

ГЛАЗАМИ КЛОУНА

Роман «Глазами клоуна» вызвал в свое время весьма разноречивые критические отклики: одни авторы указывали на явные, по их мнению, признаки творческого и мировоззренческого кризиса, будто бы переживаемого писателем (усматривавшиеся ими и в повести «Самовольная отлучка»), на сдвиги в системе используемых художественных средств в сторону «окарикатуривания» наблюдаемых писателем общественных явлений, ближе к эстетике кричащих диссонансов, к плоской сатире и т. п., другие же, наоборот, отмечали возросшую творческую самодисциплину писателя, удачный выбор центрального персонажа, очень заметное размежевание между чувством и сентиментальностью, отсутствовавшее в предыдущем романе «Бильярд...».

Впервые увидел свет в 1963 г. в кёльнском издательстве «Кипенхойер унд Вич». Русские переводы: Р. Райт-Ковалевой («Иностранная литература», 1964, № 3, с. 19—143) и Л. Черной (М., Прогресс, 1965).

Стр. 279. «*Не имевшие о Нем известия...*»—Новый Завет, К Римлянам, 15, 21.

Стр. 287. *Кьеркегор Сёрен* (1813—1855)—датский философ-иррационалист, теолог и писатель.

Клее Пауль (1879—1940)—швейцарский живописец, график. Один из видных деятелей европейского экспрессионизма, тяготевший к абстрактному искусству.

Фома Аквинский (1225/1226—1274)—философ и теолог, один из крупнейших средневековых философов-схоластов; основатель томизма. С середины XVI в. признан как пятый «учитель церкви» (после св. Амвросия Медиоланского, Блаженного Августина, Григория I и св. Иеронима).

Франциск Ассизский (1181/1182—1226)—итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор религиозных поэтических произведений, один из католических святых.

Бонавентура (наст. имя и фам. Джованни Фиданца; 1221—1274)—средневековый философ-мистик, представитель августиновского платонизма. Глава францисканского ордена.

Лев Тринадцатый (1810—1903)—римский папа (с 1878 г.). Автор энциклики «Рерум новарум». Реформатор церкви, стремившийся ко вселенскому ее единству. Считается одним из самых выдающихся римских пап.

Стр. 291. *Айфель*—горный массив в ФРГ (западная часть Рейнских Сланцевых гор).

Стр. 292. *Рюбецаль*—согласно легенде, злой дух, обитающий в недрах гор.

Стр. 296. *Доктор гонорис кауза*—титул почетного доктора наук.

Стр. 299. *Геррес Йозеф* (1776—1848)—немецкий публицист, филолог и философ, близкий к кружку поздних (гейдельбергских) романтиков, рьяно исповедовавший католицизм.

Искья—остров и город в Италии (недалеко от Неаполя).

Стр. 301. *Царица Савская*—персонаж восточных легенд. Согласно ветхозаветной легенде (Третья Книга Царств, 10, 1—13), услышав о славе царя Соломона, приходила в Иерусалим испытать его и, поразившись его мудрости, одарила его бесценными сокровищами.

Стр. 308. *Гунтер, Зигфрид, Брюнхильда, Кримхильда*—персонажи средневекового германского героического эпоса «Песни о Нибелунгах» (XIII в.).

Стр. 329. *Августин*—Блаженный Августин Аврелий (354—430), христианский теолог и церковный деятель, один из «отцов церкви».

Николай Кузанский (1401—1464)— философ эпохи раннего Возрождения, предвосхитивший многие черты философии нового времени.

Стр. 331. *Гиннесс* Алек (род. в 1914 г.)— английский актер и режиссер.

...принадлежал к Третьему Ордену.— Третий Орден — союз мирских сторонников духовного ордена, не принимающих монашеского обета, но подчиняющихся орденскому уставу.

Стр. 333. *...человечнее всем сразу опустить большой палец вниз.*— Знак возмущения, соответствующий возгласу «Долой!» (очевидно, восходящий к аналогичному жесту древних римлян, требовавших смерти проигравшему бой гладиатору).

Стр. 337. *Бени* Готфрид (1886—1956)— немецкий писатель (ФРГ). Начинал как поэт-экспрессионист. Один из крупнейших представителей немецкой философской лирики первой половины XX в.

Стр. 341. *Гвардини* Романо (1885—1968)— немецкий католический философ и теолог (итальянец по происхождению); профессор в Бреслау, Берлине, Тюбингене и Мюнхене.

Блуа Леон (Анри-Мари) (1846—1917)— французский писатель, один из крупнейших католических писателей конца XIX—начала XX в.

Стр. 343. *Беккет* Самюэл (1906—1989)— ирландский драматург, один из основоположников «драмы абсурда».

Ионеско Эжен (род. в 1912 г.)— французский драматург, один из родоначальников «драмы абсурда».

Стр. 353. *Клодель* Поль (1868—1955)— французский писатель религиозного (католического) направления.

Стр. 354. *Грок* Адриен (1880—1959)— швейцарский цирковой артист.

Стр. 356. *«И почил в день седьмый от всех дел Своих!»*— Бытие, 2, 2.

Стр. 360. *Католон* (греч. «общность, общество») — здесь, по всей вероятности, случай индивидуального словоупотребления, подразумевающий идею единого общества, основывающегося на идеалах католицизма, а также сам факт коллективного осознания членами этого общества сути и силы объединяющей их идеи.

Стр. 361. *Гюфмансталь* Гуго фон (1874—1929)— австрийский писатель. В лирике был близок к символизму.

Ньюмен.— Вероятно, имеется в виду Джон Генри Ньюмен (1801—1890)— английский теолог, педагог, публицист и церковный деятель. В 1845 г. перешел из англиканской веры в католичество. Выступал как сторонник свободной «открытой теологии».

Стр. 366. *Вулф* Томас (1900—1938)— американский писатель, по существу, классик литературы XX в. Знаменит автобиографическими романами «Взгляни на дом свой, ангел» (1929), «О Времени и Реке» (1935), «Паутина и Скала» (1939) и «Домой возврата нет» (1940).

Стр. 367. *Алкивиад* (ок. 450—404 до н. э.)— афинский государ-

ственный деятель и полководец. Отличался вздорностью нрава и крайней непоследовательностью поступков. Организовал в 415 г. до н. э. поход против Сиракуз, затем перешел на сторону Спарты; разработал план войны против Афин и через некоторое время бежал в Персию.

Стр. 368. ...*кайзер*... *смысля*...—Германский император и прусский король Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941) в ходе событий ноябрьской революции 1919 г. был вынужден оставить трон и бежать из страны. Из Германии он отправился в нидерландский городок Доорн.

Стр. 381. ...*выставляют своего Генриха Восьмого*...—Вероятно, имеется в виду тот факт, что одним из поводов разрыва Англии с католичеством и обращения ее к англиканству послужило обстоятельство в известном смысле личного свойства: отказ римского папы признать расторжение брака между английским королем Генрихом VIII (1491—1547) и его первой женой Екатериной Арагонской (1485—1536).

Стр. 383. *Кокто* Жан (1889—1963)—французский писатель, художник, театральный деятель, кинорежиссер и сценарист. Был близок к сюрреализму (и другим течениям искусства XX в.); выступал сторонником широкого художественного экспериментаторства.

Стр. 407. ...*как клейстовская марионетка*.—Очевидно, формальная отсылка к знаменитому эссе немецкого писателя-романтика Генриха фон Клейста (1777—1811) «О театре марионеток» (1810).

Стр. 455. «*Бильд*» («*Бильд-цайтунг*»—«Иллюстрированная газета»)—бульварная массовая газета, выпускающаяся шпрингеровским концерном. Рассчитана на самые низкие вкусы и примитивные запросы малограмотной публики.

САМОВОЛЬНАЯ ОТЛУЧКА

Критики—как отечественные, так и немецкие—обычно удаляют повесть «Самовольная отлучка» лишь очень умеренным и прохладным вниманием, а то и вовсе «деликатно» обходят ее, сосредоточиваясь на рассмотрении других бёллевских работ. Между тем думается, что необходимости в подобном деликатном ее замалчивании нет. Если, скажем, по типу письма и интонации она от многих других образцов бёллевской прозы заметно отличается (что ничуть не идет ей в ущерб)—на сей раз в качестве основного структурообразующего средства избран иронико-эксцентрический гротеск, оттеняемый непривычно спокойной, уравновешенной (почти фельетонной) повествовательной интонацией,—то в остальном—по типу исповедуемого гуманизма, по кругу излюбленных тем и образов, по адресации сатиры—это повесть вполне бёллевская и ни в какой защитительной аргументации не нуждается. Авторская игра в этический (и прочий) релятивизм, ведущаяся здесь более открыто, чем где-либо еще у Бёлля, вряд ли

может рассматриваться как обстоятельство, снижающее художественную ценность книги,—это ведь, разумеется, только эстетическая игра.

Впервые опубликована отдельной книгой в 1964 году в кёльнском издательстве «Кипенхойер унд Вич». На русском языке впервые опубликована в журнале «Новый мир» (1965, № 1), позднее — в составе бёллевского сборника «Долина Грохочущих Копыт» (М., Молодая гвардия, 1971).

Стр. 485. *Госпожа Бовари* — героиня одноименного романа Г. Флобера (1821—1880).

Стр. 486. ...*называю себя «христианином грядущего», что навлекает... подозрение, будто я адвентист.*— В оригинале здесь труднопереводимая игра слов, строящаяся, в частности, на идентичности звучания в немецком языке слов «христианин» и «Христос». Адвентисты — религиозная секта в протестантизме, представители которой проповедуют близость второго пришествия Христа и наступления на земле тысячелетнего царства Божия.

Стр. 491. *Агриппина*.— Очевидно, имеется в виду Агриппина Старшая (14 до н. э.—33 н. э.), жена Германика, мать Калигулы (см. ниже). Сопровождала Германика во время его походов в Германию (14—16 и позднее).

Святая Урсула (?—452) — мученица. Достоверных сведений о ее жизни и деяниях не сохранилось. По легенде, происходила из английской королевской семьи; вместе с десятью спутницами совершила паломничество в Рим и на обратном пути была убита гуннами (под Кёльном).

Германик Юлий Цезарь (15 г. до н. э.—19 г. н. э.) — римский полководец, консул. Муж Агриппины Старшей. В 13 г. назначен главнокомандующим силами на Рейне. В 14—16 гг. предпринял большие походы против германцев.

Тумелик — сын вождя германского племени херусков Арминия (18/16 г. до н. э.—19/21 г. н. э.).

Калигула — прозвище римского императора Гая Цезаря Германика (12—41 гг.), правление которого отличалось крайним деспотизмом и произволом.

Тенктеры, сигамбры — племена древних германцев, заселявшие территории между средним течением Рейна и верховьями Везера.

Стр. 490. ...*и более поздний философ*... — Имеется в виду немецкий философ Шелер Макс (1874—1928).

Лохнер Стефан — см. коммент. к с. 110.

Святой Энгельберт (ок. 1185—1225) — кёльнский архиепископ (1216—1225 гг.), регент при короле Генрихе (с 1220 г.). Убит родственником (Фридрихом Изенбургским) из-за политических разногласий. Один из неканонизированных католических святых.

Стр. 492. ...*я указал ему на Тарита*... — Вероятно, имеются в виду

следующие слова Тацита из его работы «О происхождении германцев и местоположении Германии»: «...левкины (одно из германских племен.—*Ред.*)... речью, образом жизни, оседлостью и жилищами повторяют германцев. Неопрятность у всех, праздность и косность среди знати». (Перевод А. С. Бобовича.)

Стр. 494. *...ради меня мама была способна даже притвориться мертвой.*—В оригинале: «...была способна сыграть роль Рихмодис фон Адухт». С именем Рихмодис (Рихмондис) фон (дер) Адухт в сознании жителей Кёльна связывается средневековая европейская легенда о будто бы умершей и потом вновь пробудившейся к жизни женщине (пробуждение, по легенде, наступает в тот момент, когда гроб с ее телом открывают злоумышленники, чтобы похитить ее украшения). В европейских вариантах легенды героиня чаще всего фигурирует без имени.

Стр. 496. *Паскаль Блез (1623—1662)*—французский философ, писатель, математик и физик. *Пеги Шарль (1873—1914)*—французский писатель и публицист.

Стр. 498. «...Германия, Германия превьшие всего».—Начальные слова патриотической песни немецкого поэта Гофмана фон Фаллерслебена (1798—1874) «Песня немцев» (1841), превращенной впоследствии в гимн немецких шовинистов (а затем и нацистов).

Стр. 500. *Оуэнс Джеймс Кливленд (Джесси) (1913—1980)*—знаменитый в 30-е годы американский легкоатлет. На Олимпийских играх 1936 г. завоевал сразу четыре золотые медали. Выдающимися спортивными достижениями (в спринте и прыжках в длину в первую очередь) вывел легкую атлетику на новые рубежи.

Стр. 501. *Глядите на него. На кого? Се жених грядет! Как грядет? Как Агнец!*—Очевидно, компиляция из двух евангельских цитат: «Вот жених идет...» (Евангелие от Матфея, 25, 6) и «Вот Агнец Божий...» (Евангелие от Иоанна, 1, 29).

Стр. 503. *Баллахулли*—городок в Шотландии, на побережье залива Лох-Линне, в ста километрах северо-западнее Глазго.

Стр. 504. *...без... «адвоката дьявола»...*—Акту причисления к лику святых (канонизации) по католическому церковному праву предшествует ряд сложных процедур, одной из которых является своего рода публичное разбирательство («процесс»), в котором ключевую роль играют «судья» (лат. *Postulator*, т. е. ведущий процесс, он же *advocatus Dei*—«адвокат Господа Бога») и его оппонент (лат. *Promotor fidei*—«адвокат веры», он же «*advocatus diaboli*»—«адвокат дьявола»).

Стр. 517. *Шпитцвег* Карл (1808—1885)—немецкий живописец эпохи позднего романтизма; с сочувствием изображал жизнь тихих городских обывателей. *Макарт Ханс (1840—1884)*—австрийский живописец, представитель помпезного академизма. Упоминание обоих художников в одной «связке» рассчитано, конечно, на комический эффект.

Стр. 518. *Йени Эрих Рудольф* (1883—1940)—немецкий психолог, профессор Марбургского университета (с 1913 г.). Известен благодаря работам в области эйдетики (разновидности особо развитой образной памяти).

Стр. 519. *Лей Роберт* (1890—1945)—нацистский политический деятель. Глава нацистских «профсоюзов» («Дойче арбайтсфронт»).

Стр. 520. *Фёрч Герман* (1895—1961)—немецкий генерал, начальник генштаба 12-го армейского корпуса (с 1941 г.), начальник генштаба группы войск «Ф» (1943—1944 гг.), в начале 1945 г.—командующий 1-й армией вермахта.

...снова введена всеобщая воинская повинность.—Всеобщая воинская повинность была отменена в 1919 г. по условиям Версальского договора. 21 мая 1935 г. введена снова специально принятым законом.

Стр. 523. *...Чемберлен, чтобы обсудить... судетский кризис.*—Чемберлен Невилл (1869—1940)—английский политический и государственный деятель, один из лидеров консервативной партии. В 1937—1940 гг.—премьер-министр. Судетский кризис—острый политический кризис, назревший осенью 1938 г. ввиду активизации судетских фашистов, требовавших отделения Судетской области от Чехословакии, а с другой стороны, ввиду возросшей агрессивности гитлеровской Германии. Упомянутому визиту Чемберлена в Бад-Годесберг для встречи с Гитлером предшествовал мятеж судетских фашистов 13 сентября, подавленный чехословацкой армией, берхтесгаденское свидание (с Гитлером же), на котором Чемберлену пришлось дать согласие на передачу Германии пограничных территорий Чехословакии, состоялось 15 сентября; англо-французский ультиматум о передаче Германии части чехословацкой территории принят 21 сентября президентом Э. Бенешем. В Бад-Годесберге Чемберлену пришлось обсуждать новые еще более наглые притязания германского правительства. Встреча явилась одним из событий, предшествовавших Мюнхенскому соглашению (29—30 сентября 1938 г.).

Стр. 524. *...пересказывают сагу о Ганнесе-живодере.*—Речь идет о разного рода легендах, сложившихся вокруг кровавых бесчинств большой разбойничьей банды Иоганна Бюклера (1783—1803), орудовавшей в прирейнских областях.

Стр. 525. *...«Пальма Кункель»... и «Михазель Кольхаас»...*—«Пальма Кункель»—сборник гротескно-фантастических стихов немецкого поэта Кристиана Моргенштерна (1871—1914). «Михазель Кольхаас»—новелла немецкого писателя-романтика Генриха фон Клейста (1777—1811).

Стр. 534. *...нидерцверенская сказочница...*—Доротея Фиман (1755—1815), дочь хозяина постоялого двора в деревушке Нидерцверен под Касселем. Оказала братьям Гримм неоценимую помощь в собирании сказок ко второму тому их сборника (1812—1815).

...сказка «О том, как дети играли в войну»...—Речь идет о сказке под

номером 22/1, помещенной в первом гриммовском сборнике 1812—1815 г., но исключенной потом из второго (1819) и всех последующих изданий. Поскольку в известный русскому читателю канонический состав гриммовского сборника сказка не вошла, имеет смысл привести ее здесь.

«В городе Франекере, что в Западной Фрисландии, собрались однажды маленькие дети, пяти и шести лет от роду, девочки и мальчики, вместе поиграть. После долгих споров и препирательств решили они, что одному быть мясником, то бишь забойщиком скотины, другому — поваром, а третьему — свиньей. Одной девочке — поварихой, а другой — помощницей поварихи. Вот помощнице поварихи велели притащить большую посудину, чтобы кровь собрать и из нее потом колбасу изготовить. Потом мясник, как и положено, подступился к мальчику, который свиньей был, повалил его на землю и взрезал ему горло ножичком, а поварихина помощница, как ей велено было, кровь в посудину собрала. Случилось тут мимо городскому советнику проходить, и видит он — несчастье. Берет «мясника» с собой — и к бургомистру, а тот сразу весь совет созвать велит. Сидят они, рядят, ума не приложат, как им с этим «мясником» поступить. Ведь шалость детская тут была и по детскому недомыслию горе-то приключилось. И вот один из них, старик древний, седой такой, совет подает: пусть, говорит, верховный судья в одну руку красивое красное яблоко возьмет, а в другую — рейнский гульден, подзовет к себе мальчика и обе руки ему для выбора предложит: яблоко возьмет мальчик — идти ему с миром, а гульден возьмет — умереть ему. На том и порешили. Мальчик подходит, смеясь, берет яблоко... — и отпускают они его на все четыре стороны, безо всякого наказания».

...они берут рейнский гульден... — Такой фразы в сказке нет. (См. коммент. выше.) Вкладывая в уста своих героев вольно перефразированную ее концовку, автор обращает внимание читателя на то, что общему умонастроению немцев описываемого им времени больше соответствовал бы как раз кровожадный ее вариант.

Стр. 535. *Святой Иосиф*. — Очевидно, Иосиф Каласанцский (Каласанца) (1556—1648) — основатель ордена пиаристов (1617 г.); основатель также бесплатной народной школы в Риме (1597 г.).

РАДИОПЬЕСЫ

Стук, стук, стук. — Впервые передана в эфир гамбургской студией «Норддойчер рундфунк» 11.06.1960 г. и пятью днями позже — кельнской студией «Вестдойчер рундфунк» (16.06.1960 г.). Напечатана в альманахе «Радиопьесы» (1961) во франкфуртском издательстве «С. Фишер». На русском языке впервые опубликована в сборнике: Бёлль Г. Семь коротких историй. М., Искусство, 1968.

Стр. 546. «...прах ты, и в прах возвратишься».—Ветхий Завет, Бытие, 3, 19.

Домофон.—Впервые передана в эфир гамбургской студией «Норддойчер рундфунк» (10.10.1962 г.) и баден-баденской студией «Зюдвестфунк» (16.10.1962 г.). Впервые опубликована во франкфуртском альманахе «Лабиринт» (1961, № 5). На русском языке вышла в свет под заголовком «Микрофон» в сборнике: Бёлль Г. Семь коротких историй. М., Искусство, 1968.

Стр. 548. *Филипп II* (1527—1598)—король Испании (с 1556 г.).

Концерт для четырех голосов.—Впервые прозвучала в эфире 10.10.1962 г. в передаче гамбургской студии «Норддойчер рундфунк». Впервые опубликована в ежегоднике «Яресринг» 1962/63» (Штутгарт, Дойче Ферлагсанштальт, 1962). На русском языке увидела свет в сборнике: Бёлль Г. Город привычных лиц. М., Молодая гвардия, 1964 (перевод Л. Лунгиной).

Стр. 560. ...*что писал о солнце Франциск Ассизский в своих духовных стихах?*—Речь идет о гимне солнцу («Кантика брата Солнца, или Похвала творению», 1224). (См. коммент. к с. 287.)

РАССКАЗЫ

Город привычных лиц.—Впервые опубликован в составе сборника: Бёлль Г. Рассказы. Радиопьесы. Статьи. Кёльн, изд-во «Кипенхойер унд Вич», 1961. На русском языке увидел свет в составе одноименного сборника, вышедшего в изд-ве «Молодая гвардия» в 1964 г.

Когда началась война.—Впервые напечатан в сборнике: Бёлль Г. Когда началась война. Когда кончилась война. Два рассказа. Франкфурт-на-Майне, изд-во «Инзель», 1962. На русском языке впервые опубликован в сборнике: Бёлль Г. Город привычных лиц. М., Молодая гвардия, 1964.

Стр. 575. ...*о мировоззрении Эрнста Юнгера*...—Юнгер Эрнст (род. в 1895 г.)—немецкий (западногерманский) писатель и философ. Представитель позднебуржуазного нигилизма и (до середины XX в.) милитаристски окрашенного активизма. В 20—30-е гг. стяжал себе скандальную славу писателя, восхвалявшего войну как эффективный путь самоосуществления личности.

Когда кончилась война.—Первая публикация и первый перевод на русский язык—в тех же изданиях, что и предыдущий рассказ (см. выше).

Стр. 592. ...тайно читал Брехта, Тухольского, Вальтера Беньямина... Пруста и Карла Крауса...—Речь идет о писателях и публицистах, запрещенных в гитлеровской Германии.

Тухольский Курт (1890—1935)—немецкий писатель-сатирик, поэт, литературный критик, один из крупнейших публицистов периода Веймарской республики. Писал сатирические стихи, тексты песен, памфлеты, фельетоны, сцены для театра кабаре. С приходом к власти нацистов книги Тухольского были публично сожжены, а их автор лишен немецкого гражданства (1933 г.).

Беньямин Вальтер (1892—1940)—немецкий философ (интерпретатор и критик культуры, эстетик), социолог и литературный критик, близкий к марксизму. Одним из первых исследовал феномен редукции общественной функции искусства в условиях индустриального тиражирования художественных произведений.

Краус Карл (1874—1936)—австрийский писатель-сатирик, поэт, публицист, критик культуры. Автор стихотворных драм и грандиозной (800-страничной) антивоенной драмы «Последние дни человечества» (1922). В литературно-критических статьях выступал за чистоту языка, деформируемого буржуазной прессой и массовой культурой.

Лознгрин—герой эпической поэмы «Рыцарь лебедя» немецкого поэта Конрада Вюрцбургского (ок. 1220—1287) и романтической оперы Р. Вагнера «Лознгрин» (пост. в 1850 г.).

Стр. 593. *Клейст Генрих фон* (1777—1811)—немецкий писатель-романтик, видный представитель позднеромантической новеллистики в Германии. Автор романтических драм на исторические сюжеты, в том числе драмы «Принц Гомбургский» (1809/11, опублик. в 1821 г.), в основе которой—битва под Фербеллином (1678 г.), где войска курфюрста Бранденбургского Фридриха Вильгельма, основателя Прусского королевства, нанесли серьезное поражение шведам. Имя Клейста упоминается в связи с тем, что писатель был родом из семьи потомственных прусских офицеров.

Потсдам—вторая резиденция прусских королей (с конца XVIII в.). *Берлин*—столица Бранденбурга (с 1486 г.), затем Пруссии, в 1871—1945 гг.—объединенной Германии.

...маленький городок Везель... *Шилль!*—Шилль Фердинанд фон (1776—1809)—один из прусских национальных героев. Ввиду пассивности прусского правительства во время войны между Францией и Австрией в 1809 г. Шилль, будучи командиром гусарского полка, принял самовольное решение двинуть свой полк против французов в надежде увлечь за собой короля и армию. После некоторых успешных операций был вынужден отступить на север страны, где в конце концов (в Штральзунде) пал в уличном бою с превосходящими силами противника. *Везель*—городок, где были расстреляны французами одиннадцать боевых офицеров—соратников Ф. Шилля.

...шествия в честь Святого Мартина...—карнавальные шествия,

устраиваемые 11 ноября, в день Св. Мартина, в прошлом знаменовали собой завершение сезона сельскохозяйственных работ и переход к зимнему распорядку. Святой Мартин—Мартин Турский (316/317—397)—епископ и миссионер. Сын римского трибуна. В 18 лет оставил военную службу и спустя некоторое время принял монашеский постриг. Основал первый в Галлии монастырь. С 371 г. епископ в Туре. Ревностный проповедник христианства в Галлии.

Стр. 595. *Папен Франц фон* (1879—1969)—германский политический деятель, представитель крайне правого крыла католической партии «Центр». Способствовал приходу нацистов к власти. В июле—ноябре 1932 г.—глава правительства. С 1933—1934 гг.—германский вице-канцлер. Военный преступник.

Бломберг Вернер фон (1878—1946)—немецкий генерал. С 1933 г. министр рейхсвера. В 1935—1938 гг. военный министр в гитлеровском правительстве и главнокомандующий вооруженными силами Германии. Первый с момента создания вермахта получил звание генерал-фельдмаршала.

Кейтель Вильгельм (1882—1946)—немецкий генерал-фельдмаршал, военный преступник. В 1938—1945 гг. начальник штаба верховного главнокомандования вермахта.

Стр. 598. *Кевелар* (Кевлар)—городок севернее Дюссельдорфа (места, где родился Г. Гейне), часто встречающийся в стихах поэта (см., например, стихотворение «На богомолье в Кевлар» из цикла «Возвращение на родину»).

Ксантен... Зигфрид.—См. «Песнь о Нибелунгах» (авентюра II):

В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рожден на свет он был
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На Нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.

(Пер. Ю. Б. Корнеева)

Стр. 601. *Шоколад фирмы «Новезия»*...—Новезий (или Новезия)—в I в. лагерь римского легиона; во II—IV вв.—укрепленная стоянка вспомогательных римских войск (нынешний Нейсс на Нижнем Рейне).

Квири (Квири́н Нейсский; ?—130?)—по легенде, римский трибун; претерпел мученичество во времена императора Адриана (76—138). В 1050 г. его останки были перевезены из Рима в Нейсс. С тех пор—святой—покровитель города Нейсса, а также защитник от болезней (подагры, паралича и др.).

Фиванский легион—располагавшийся у Новезия легион солдат-христиан, предназначенный императором Максимианом (250—310) для преследования их единомышленников. Отказавшись выполнить приказ императора, легион, как гласит легенда, обрек себя на мученическую смерть.

Стр. 603. *Терборх Герард* (1617—1681)—голландский живописец. Наиболее известны его жанровые композиции из жизни зажиточных горожан.

Стр. 606. *Индекс* (лат. Index librorum prohibitorum)—публикуемый Ватиканом (с 1559 г.) список запрещенных книг («черный список»).

Шмек не стоит слез.—Впервые опубликован в 1962 г. в сборнике «Ателье. Современная немецкая проза» (сост.: К. Вагенбах)—во франкфуртском издательстве «С. Фишер». На русском языке впервые вышел в сборнике: Бёллль Г. Город привычных лиц. М., Молодая гвардия, 1965.

Стр. 618. *Коцебу* Август Фридрих Фердинанд (1761—1819)—второразрядный писатель и драматург эпохи немецкого романтизма.

...между томиками Кьеркегора и Коцебу...—характерное для Бёлля ироничное соединение как бы равнозначных явлений европейской культуры.

Стр. 621. *Варрау* (гуарани)—племя южноамериканских индейцев, заселяющих дельту р. Ориноко в Венесуэле.

Стр. 625. *Помощница*... это приблизительный перевод латинского *adjutorium*.—Вероятно, преднамеренная неточность: *adjutorium*—помощь, содействие, *adjutor*—помощник, пособник.

Моммзен Теодор (1817—1903)—крупнейший немецкий историк, автор фундаментальных трудов по истории Древнего Рима и римскому праву.

Стр. 627. *Ботокуды* (боруни)—племя южноамериканских индейцев, заселявших в прошлом территории Восточной Бразилии. Истреблено в результате европейской колонизации.

О падении трудовой морали. Анекдотическая история.—Впервые напечатан в кёльнской газете «Вельт дер арбайт» (в номере за 22 ноября 1963 г.) под заголовком «Дремлет рыбак». На русском языке публикуется впервые.

ЭССЕ, РЕЧИ, ИНТЕРВЬЮ

О самом себе.—Впервые напечатано в сборнике «Особые приметы. Автопортреты современных авторов» (сост.: Карл Уде. Мюнхен, Лист, 1964). На русском языке впервые опубликовано в сборнике: Бёллль Г. Город привычных лиц. М., Молодая гвардия, 1964.

Стр. 636. ...изгнание предпочли государственной религии Генриха VIII.—В 1534 г. после разрыва с папой король Генрих VIII был провозглашен парламентом главой англиканской церкви.

...звонкие германские названия улиц... *Тевтобургерштрассе*, *Эбуроненштрассе*, *Веледаштрассе*...—Тевтобургерштрассе—улица, названная в честь битвы в Тевтобургском лесу. Тевтобургский лес—гряда низких гор в нынешней ФРГ между долинами рек Везер и Эмс. В I в. германское войско во главе с Арминием одержало победу над римлянами. Эбуроны—кельтское племя белгов, населявшее долины рек Маас и Рейн. После разгрома эбуронов войском Цезаря в 53 г. до н. э. эти места позднее были заселены племенами тунгров и убиев. Веледа (I в.)—одна из пророчиц древних германцев. Призывала германские племена к войне против Рима, предвещая победу.

В защиту домашних прачечных.—Впервые опубликовано в библиографическом сборнике «Писатель Генрих Бёлль», выпущенном в 1959 г. кёльнским издательством «Кипенхойер унд Вич». На русском языке впервые увидело свет в переводе В. Седельника в сборнике: Бёлль Г. Каждый день умирает частица свободы. М., Прогресс, 1989.

Язык как оплот свободы.—Речь, произнесенная 24 января 1959 г. по случаю вручения Г. Бёллю премии им. Эдуарда фон дер Хейдта городскими властями Вуппертала. Впервые напечатана в сборнике «Писатель Генрих Бёлль» (Кёльн, Кипенхойер унд Вич, 1959). На русском языке публикуется впервые.

Стр. 640. *Хейдт* Эдуард фон (1882—1964)—немецкий банкир, коллекционер и меценат. Часть собранной им большой коллекции произведений искусства стран Азии и Африки находится в цюрихском музее «Ритберг», другая—в музее, носящем его имя, в Вуппертале.

Нужны бабушки и дедушки.—Впервые напечатано в гамбургском еженедельнике «Цайт» (№ 11, 13 марта, 1959). На русском языке публикуется впервые.

Роза и динамит.—Впервые напечатано в сборнике «Существует ли сегодня христианская поэзия?» (сост. Хайнц Линнерц. Реклингхаузен, Паулос, 1960). На русском языке публикуется впервые.

Что значит «кёльнское»?—Впервые напечатано в гамбургском журнале «Мериан» (№ 8, 1960). На русском языке публикуется впервые.

Стр. 653. *Эрист* Макс (1891—1976)—немецкий художник и скульптор. Один из основателей дадаизма в Германии (1919). Позднее (1924)—один из основателей сюрреализма.

Стр. 654. *Герейон*—святой, один из 318 солдат Фиванского легиона

(см. коммент. к с. 601), казненных императором Диоклетианом (245—316).

Стр. 655—656. *Гворун-Хохотун, Шэль, Тюннес* — кельнские карнавальные маски (и соответствующие им комические персонажи).

У нас в стране.— Впервые напечатано в журнале «Лабиринт» (сентябрь 1960 г.). Вошло в сборник Г. Бёлля «Рассказы, радиопьесы, статьи», выпущенный кельнским издательством «Кипенхойер унд Вич» в 1961 г. На русском языке впервые опубликовано в книге: Бёлль Г. Каждый день умирает частица свободы. М., Прогресс, 1989.

Стр. 657. ...дата 8 мая 1945 г. ...— День победы над фашистской Германией в странах Западной Европы отмечается 8 мая.

...до денежной реформы...— Денежная реформа в Западной Германии была проведена 21 июня 1948 г. Она явилась одним из решающих факторов на пути укрепления западногерманской экономики.

Стр. 659. *Ризе (Рис) Адам (1492?—1559)* — немецкий математик («счетных дел мастер»), занимавшийся совершенствованием техники практических вычислений — главным образом устных. Автор нескольких книг по технике счета и сборника арифметических таблиц (для коммерсантов), оказавших серьезное влияние на преподавание арифметики в школах.

Стр. 660. *Святой Христофор* — мученик, один из 14 католических святых — заступников страждущих и бедствующих, покровитель мореплавателей, извозчиков, шоферов и т. п. — вообще всех путешествующих. Достоверных сведений о жизни и деяниях св. Христофора не сохранилось. По одной из версий, св. Христофор был подвергнут страшным пыткам и казнен римским императором Децием, гонителем христиан (III в. н. э.).

Стр. 661. ...в ГДР в результате обмена денег...— В ГДР (точнее, в Восточной зоне оккупации) денежная реформа была проведена 23 июня 1948 г.

Стр. 665. *Олленхауэр Эрих (1901—1963)* — германский (и западногерманский) политический деятель, один из лидеров западногерманской социал-демократии.

...*Лизхен Миллер, «девушка из народа»*...— тип героини, нарисованный Ф. Шиллером в его «мещанской трагедии» «Коварство и любовь» (1784); первоначально пьеса так и называлась — «Луиза Миллер».

Стр. 666. ...*французы... о войне в Алжире*...— Военные действия Франции в Алжире продолжались с 1954 по 1962 г.

Приказ и ответственность. Размышления по поводу процесса Эйхмана.— Впервые это выступление прозвучало по радио 10 апреля 1961 г. (студия «Норддойчер рундфунк». Гамбург). На русском языке публикуется впервые.

Стр. 668. *Эйхман Адольф* (1906—1962)—нацистский военный преступник. Возглавлял подотдел «по делам евреев» в имперском управлении безопасности (с 1939 г.). Руководил отправкой транспортов с евреями в лагеря смерти. После разгрома Германии бежал в Аргентину. В 1960 г. вывезен в Израиль, там осужден и казнен.

Стр. 669. *Олендорф Отто*—нацистский военный преступник. Штандартенфюрер СС. Начальник одного из отделов имперского управления безопасности, позднее—командир спецгруппы «Д» при 11-й армии, участвовавший в массовом истреблении евреев.

Хёсс Рудольф—нацистский военный преступник. Комендант Освенцима; позднее начальник управления «Д-1»—главного административно-хозяйственного управления СС.

Бах-Целевски Эрих фон—нацистский военный преступник. Обергруппенфюрер СС. Отвечал среди прочего за уничтожение партизан в зоне действия армий «Центр».

За рабочим столом. Беседа с Хорстом Бинек.— Впервые это интервью было опубликовано в книге «Беседы в писательской мастерской». Мюнхен, Ханзер, 1962. На русском языке публикуется впервые.

Бинек Хорст (род. в 1930 г.)—немецкий писатель (поэт и романист). До 1951 г. жил в ГДР, где некоторое время работал в театре «Берлинер ансамбль»; был репрессирован (4 года тюрьмы и лагерей); с 1956 г. в ФРГ (редактор на радио и в издательстве). С конца 70-х гг.—свободный писатель. Автор нескольких стихотворных сборников и романной тетралогии о событиях времен его юности в Верхней Силезии.

Стр. 680. *Рюмкорф Петер* (род. в 1929 г.)—западногерманский писатель. Принадлежал к «Группе 47». Как поэт и драматург заявил о своей приверженности социально ангажированному искусству, изобретательной словесной игре и языковому эксперименту. Автор литературно-критических эссе. Получил известность среди прочего как чтец собственных стихов под джазовые импровизации.

Интервью с Алоизом Руммелем.—Напечатано в сборнике: Бёлль Г. Статьи, критические работы, речи. Кёльн, Кипенхойер унд Вич, 1967. На русском языке публикуется впервые.

Послесловие к книге Карла Амери «Капитуляция».—Статья является послесловием к книге: Амери К. Капитуляция, или Немецкий католицизм сегодня. Райнбек под Гамбургом, Ровольт, 1963. На русском языке публикуется впервые.

Стр. 690. *Амери Карл* (род. в 1922 г.)—западногерманский

писатель (прозаик, драматург) и публицист. Своей известностью в значительной степени обязан книге «Капитуляция». В 60-е гг. выступал как критически настроенный католический писатель. С середины 70-х гг. в творчестве К. Амери на первый план выходит экологическая проблематика.

Шнайдер Райнхольд (1903—1958)— немецкий (западногерманский) писатель и историк культуры, один из крупнейших «христианских» писателей XX в.

Стр. 692. *Папен* Франц фон— см. коммент. к с. 595.

Каас Людвиг (1881—1952)— католический теолог и политический деятель (партии «Центр»). В марте 1933 г. сблизился с фон Папеном, поддерживал закон о предоставлении чрезвычайных полномочий Гитлеру. В том же году отправился в Рим, чтобы содействовать подписанию конкордата между Ватиканом и гитлеровским правительством, где и остался в качестве протонотария и секретаря конгрегации.

...почетный трофей—конкордат...— Конкордат был подписан 20 июля 1933 г.

Юнг Эдгар (1894—1934)— публицист и политический деятель (консервативной Немецкой Народной партии), ближайший советник фон Папена. Арестован и казнен гитлеровцами в ходе кровавой расправы над сторонниками Рёма.

...Папен выжил, жив до сих пор.— Франц фон Папен умер 2 мая 1969 г.

Г. Шевченко

СОДЕРЖАНИЕ

БИЛЬЯРД В ПОЛОВИНЕ ДЕСЯТОГО. Роман. Перевод <i>Л. Черной</i>	7
ГЛАЗАМИ КЛОУНА. Роман. Перевод <i>Р. Райт-Ковалевой</i>	279
САМОВОЛЬНАЯ ОТЛУЧКА. Повесть. Перевод <i>Л. Черной</i>	481
РАДИОПЬЕСЫ	
Стук, стук, стук... Перевод <i>Л. Черной и Н. Оттена</i>	539
Домофон. Перевод <i>Л. Черной и Н. Оттена</i>	548
Концерт для четырех голосов. Перевод <i>Ю. Архипова</i>	559
РАССКАЗЫ	
Город привычных лиц. Перевод <i>Л. Лунгиной</i>	569
Когда началась война. Перевод <i>Л. Лунгиной</i>	574
Когда кончилась война. Перевод <i>Л. Лунгиной</i>	591
Шмек не стоит слез. Перевод <i>Л. Лунгиной</i>	609
О падении трудовой морали. Перевод <i>И. Щербаковой</i>	630
ЭССЕ, РЕЧИ, ИНТЕРВЬЮ	
О самом себе. Перевод <i>Л. Лунгиной</i>	635
В защиту домашних прачечных. Перевод <i>Е. Колесова</i>	637
Язык как оплот свободы. Перевод <i>Е. Вильмонт</i>	640
Нужны бабушки и дедушки. Перевод <i>Е. Колесова</i>	646
Роза и динамит. Перевод <i>Г. Бергельсона</i>	651
Что значит «кёльнское»? Перевод <i>Г. Бергельсона</i>	653
У нас в стране. Перевод <i>Н. Литвинец</i>	657
Приказ и ответственность. Перевод <i>Г. Бергельсона</i>	668
За рабочим столом. Беседа с Хорстом Бинekom. Перевод <i>М. Руд- ницкого</i>	671
Интервью с Алоизом Руммелем. Перевод <i>М. Рудницкого</i>	685
Послесловие к книге Карла Амери «Капитуляция». Перевод <i>М. Рудницкого</i>	690
Комментарии <i>Г. Шевченко</i>	695

Бёлль Г.

Б43 **Собрание сочинений.** В 5-ти т. Т. 3. Романы; Повесть; Радиопьесы; Рассказы; Эссе; Речи; Интервью. 1959—1964: Пер. с нем./Редкол.: А. Карельский, Н. Павлова, И. Фрадкин; Сост. И. Фрадкина; Коммент. Г. Шевченко. — М.: Худож. лит., 1996. — 718 с.

ISBN 5-280-01218-1 (Т. 3)

ISBN 5-280-00825-7

В третий том Собрания сочинений Генриха Бёлля входят произведения, написанные им в 1959—1964 гг. Это романы «Бильярд в половине десятого», «Глазами клоуна», повесть «Самовольная отлучка», радиопьесы, рассказы, а также речи, эссе и интервью.

Б 4703010100-001 Подписное
028(01)-96

ББК 84.4Г

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

Собрание сочинений в пяти томах

Том III

Зав. редакцией *М. Климова*

Редактор *И. Солодунина*

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технические редакторы

В. Нефедова,

Л. Ситицына

Корректоры

Н. Пехтерева,

Т. Меньшикова

ИБ № 5896

Издат. лицензия ЛР № 010153 от 27 декабря 1991 г.

Сдано в набор 01.03.90. Подписано к печати 30.11.95. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага тип. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 37,8.
Усл. кр.-отт. 37,8. Уч.-изд. л. 40,18. Тираж 25 000 экз. Изд. № VI-3778.
Заказ № 821. «С»-281.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Диалозитивы текста изготовлены Санкт-Петербургской типографией № 2, головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Санкт-Петербургского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой.
Отпечатано АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.



